

Герберт Спенсер

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

ЛИЧНОСТЬ
И ГОСУДАРСТВО

I
ТОМ

СОЦИАЛЬНАЯ
СТАТИКА

II
ТОМ

ИСТОРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ

III
ТОМ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ОПЫТЫ

IV
ТОМ

ЭТИКА
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ

V
ТОМ

Герберт
СПЕНСЕР

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ОПЫТЫ



Москва • Челябинск

УДК 321.01:342.7+316.244

ББК 66.0

С71

Спенсер, Герберт

С71 Политические сочинения : в 5 т. / Г. Спенсер. — Москва ; Челябинск : Социум, 2015.

ISBN 978-5-906401-14-4

Т. IV : Политические опыты. — 549 с.

ISBN 978-5-906401-18-2

Статьи, собранные в этом томе, тематически связаны со статьями первого тома и с сочинением «Этика общественной жизни», публикуемом в пятом томе. Спенсер с горечью наблюдал и комментировал в своих статьях упадок либерализма в Великобритании и усиление государственного вмешательства в экономику и общественную жизнь. В возрождении воинственного духа и отношений субординации он видел признаки возврата к варварству и сословному обществу — социальному порядку, основанному на иерархии. В последних статьях, опубликованных за год до его смерти, Спенсер резко критикует охватившие британское общество — политиков, прессу, народные массы — империалистические, ура-патриотические и милитаристские настроения, в конце концов вылившиеся в агрессивную англо-бурскую войну. Названия статей сборника говорят сами за себя — за одним исключением: в статье с обманчиво нейтральным названием «Государственное народное образование» автор показывает неприглядную роль английских газет в разжигании военного психоза путем искажения информации, поступающей с театра военных действий.

УДК 321.01:342.7+316.244

ББК 66.0

ISBN 978-5-906401-14-4

ISBN 978-5-906401-18-2 (Т. IV)

© ООО «ИД «Социум», 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Гипотеза развития	1
II. Прогресс, его закон и причина	7
III. Обычай и приличия	57
IV. Нравственность и политика железных дорог	105
V. Торговая нравственность.	165
VI. Этика тюрем	201
VII. Этика Канта	239
VIII. Абсолютная политическая этика	264
IX. Вмешательство государства в денежные и банковские дела	276
X. Парламентская реформа: опасности и предохранительные меры	308
XI. «Коллективная мудрость»	335
XII. Политический фетишизм	340
XIII. Американцы.	348
1. Разговор 20 октября 1882 г	348
2. Речь	357
XIV. Нравственность и нравственные чувства	369
XV. Польза и красота	388
XVI. Империализм и рабство	393
XVII. Поворот к варварству	404
XVIII. Субординация	418
XIX. Самопроизвольные реформы	428
XX. Государственное народное образование	434
XXI. Патриотизм	444
XXII. Партийное правление	448
XXIII. Санитарное дело в теории и на практике	456
XXIV. О причинах разногласия с философией О. Конта	464
Примечание	489
Добавление А	490
Добавление Б	493

XXV. Милль против Гамильтона.	
Критерий истины	495
КОММЕНТАРИИ	521
АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	528

I | ГИПОТЕЗА РАЗВИТИЯ¹

В споре по поводу *гипотезы развития*, переданном мне недавно одним из друзей моих, один из споривших высказал мнение, что так как мы ни в одном из наших опытов не получаем чего-либо подобного перерождению видов, то ненаучно принимать, чтобы перерождение видов когда-либо имело место. Если бы я присутствовал при этом споре, то, оставляя в стороне такое положение, открытое для критики, я ответил бы, что так как ни в одном из наших опытов мы никогда не встречали *сотворенных* видов, то точно так же нефилософично принимать, что какие-нибудь виды когда-либо были сотворены.

Те, которые бесцеремонно отвергают теорию развития как недостаточно подтвержденную фактами, кажется, совершенно забывают, что их собственная теория вовсе не подтверждается никакими фактами. Как большая часть людей, держащихся данных верований, они требуют самых строгих доводов от противного верования, принимая в то же время, что их собственное верование не нуждается ни в каких доводах. Мы насчитываем (по *Гумбольдту*) до 320 000 видов растительных и (по *Карпентеру*) до 2 000 000 видов животных организмов, рассеянных по поверхности земли; а если прибавим к этому число вымерших видов, то смело можем принять общий итог видов, существовавших и существующих на земле, не менее как в *десять миллионов*. Какая же будет самая рациональная теория относительно происхождения этих десяти миллионов видов? Вероятно ли, чтобы десять миллионов разновидностей произошли вследствие постоянных изменений, обусловливаемых окружающими обстоятельствами, подобно тому как еще доселе производятся разновидности?

¹ Впервые напечатано в «*Leader*» от 20 марта 1852 г. Несмотря на всю краткость этого опыта, я поместил его самым первым частью потому, что, за исключением столь же короткого опыта «*Польза и красота*», он появился раньше других по времени, но главным образом потому, что он предвяряет все остальные логически и служит камертоном для дальнейших рассуждений.

Без сомнения, многие ответят, что для них легче понять, что десять миллионов появились как отдельные творения, нежели понять, что десять миллионов разновидностей произошли путем последовательных изменений. Однако при исследовании окажется, что все подобные господа находятся под влиянием обольщения. Это — один из тех многочисленных случаев, когда люди не верят на самом деле, а скорее *верят, что они верят*. Они не могут на самом деле понять, чтобы десять миллионов появились как отдельные творения: они *думают, что они понимают это*. Серьезный взгляд на дело кажется им, что они еще никогда не выяснили себе процесс сотворения даже и *одного* вида. Если они составили себе определенное понятие о таком процессе, то пусть скажут нам, как создается новый вид и каким образом является он. Ниспадает ли он с облаков? Или мы должны держаться того понятия, что он вырывается из земли? Его члены и внутренности берутся ли разом из всего окружающего? Или мы должны принять старое еврейское понятие, что Бог формует новое творение из глины? Если они скажут, что новое творение не производится ни одним из этих способов, которые слишком нелепы, чтобы им можно было верить, — тогда они должны описать способ, посредством которого новое творение *может* быть произведено, способ, который бы не казался нелепым. Окажется, что такой способ они не старались постигнуть и не могут постигнуть.

Верующие в «отдельность творений» сочтут, может быть, недобросовестным с нашей стороны требовать от них описания способа, по которому произошли отдельные творения; в таком случае я отвечу, что это требование далеко умереннее того, которое они предлагают защитникам гипотезы развития. От них требуют показать только *понятный* способ. Они же требуют не только *понятного* способа, но и *действительного* способа. Они не говорят: покажи нам, как это *может* быть; а говорят: покажи нам, как это *бывает*. Хотя и неразумно ставить им подобный же вопрос, но совершенно основательно было бы потребовать указания не только *возможного* способа отдельного творения, но и *несомненно доказанного* способа; такое требование было бы все-таки не больше того, какое они заявляют своим противникам.

Посмотрим теперь, насколько удобнее защищать новое учение, нежели старое. Если бы защитники гипотезы развития

могли только показать, что происхождение видов посредством процесса изменения понятно, то они находились бы уже в лучшем положении, нежели их противники. Но они могут сделать гораздо более. Они могут показать, что процесс изменения, который совершался и совершается, производил перемены во всех организмах, подвергавшихся изменяющим влияниям. Хотя, по недостатку фактов, они и не в состоянии указать многочисленные фазисы, через которые прошли существующие виды прежде, нежели достигли настоящего своего состояния, или воспроизвести те влияния, которые были причиной постепенных изменений; однако они могут показать, что все существующие виды, как животные, так и растительные, будучи поставлены в условия, отличные от их прежних условий, немедленно начинают претерпевать некоторые изменения в своем строении, приспособляющие их к новым условиям. Можно показать, что эти изменения происходят и в последующих поколениях до тех пор, пока наконец новые условия не сделаются для них естественными. Эти изменения можно показать на разведении растений, одомашнении животных и на различных человеческих расах. Можно показать, что степени изменения, таким образом происшедшие, бывают часто — как, например, в собаках — значительнее тех изменений, какие принимаются за основу различия видов. Можно показать (о чем еще идет спор), составляют ли некоторые из таких измененных форм только разновидности или же отдельные виды. Можно показать также, что изменения, ежедневно происходящие в нас самих, — навык, приобретаемый долгой практикой, и утрата его, когда практика прекращается, — укрепление страстей, постоянно удовлетворяемых, и ослабление таких, которые подавляются, — развитие всякой способности, телесной, нравственной и умственной, соразмерно ее упражнению, — все это легко объясняется на основании того же принципа. Таким образом можно показать, что во всей органической природе *есть* известный изменяющий фактор, который сторонниками гипотезы развития признается основой этих специфических различий, — фактор, который хотя действует и медленно, но может с течением времени произвести существенные изменения, если тому благоприятствуют обстоятельства, — фактор, который в течение миллионов лет и под влиянием разнообразнейших условий, принимаемых

геологией, должен был, по всей вероятности, произвести известную сумму изменений.

Которая же гипотеза после этого рациональнее? — гипотеза «отдельности творений», которая не имеет фактов для своего доказательства и даже не может быть определенно понята; или гипотеза изменений, которая не только определенно понимается, но находит себе поддержку в привычках каждого существующего организма?

Для тех, кто незнаком с зоологией и кто не знает, до какой степени ясным становится родство между самыми простыми и самыми сложными формами, когда рассмотрены посредствующие формы, кажется очень смешным, чтобы *простейшее*, при посредстве какого бы то ни было ряда перемен, могло когда-нибудь сделаться млекопитающим. Привыкнув видеть вещи более в их статическом, нежели в динамическом, виде, они никак не в состоянии допустить того факта, что сумма накопившихся изменений может мало-помалу быть воспроизведена с течением времени. Удивление, ощущаемое такими людьми при встрече со взрослым человеком, которого они видели в последний раз мальчиком, переходит у них в неверие, когда степень изменения становится больше. Тем не менее на стороне способа, каким можно посредством незаметных изменений перейти к самым различным формам, находится множество свидетельств. Несколько времени тому назад, рассуждая об этом предмете с одним ученым-профессором, я таким образом пояснял свое положение: — Вы не допускаете никакого заметного родства между кругом и гиперболой. Один есть сомкнутая кривая; другая есть бесконечная кривая. У одной все части сходны между собой; у другой — нет и двух частей подобных (за исключением частей симметричных). Одна ограничивает известное пространство, другая вовсе не ограничивает пространства, хотя бы была продолжена до бесконечности. Между тем, как бы ни были противоположны эти кривые во всех своих свойствах, они могут быть связаны рядом посредствующих кривых, из которых ни одна не будет чувствительно отличаться от последующей. Таким образом, если мы будем рассекать конус плоскостью под прямыми углами к его оси, мы получим круг. Если же, вместо совершенно прямых углов, плоскость составит с осью угол в $89^{\circ}59'$, мы будем иметь эллипс, который никакой

человеческий глаз, даже при помощи самого точного циркуля, не в состоянии отличить от круга. Уменьшая постепенно угол, эллипс будет сначала делаться едва заметно эксцентрическим, потом явно эксцентрическим и скоро приобретает столь продолговатую форму, что уже не будет представлять никакого явного сходства с кругом. При продолжении этого процесса эллипс незаметно переходит в параболу и, наконец, вследствие дальнейшего уменьшения угла, — в гиперболу. Тут мы получаем четыре различных вида кривой — круг, эллипс, параболу и гиперболу, имеющие свои особенные свойства и отдельные уравнения; но первый и последний из них, будучи совершенно противоположны по природе, связываются между собой как члены одного ряда, получаемые вследствие одного только процесса нечувствительного изменения.

Но слепота тех, кто считает нелепым, чтобы сложные органические формы могли произойти путем преемственных изменений простейших форм, становится поразительною, когда мы припоминаем, что сложные органические формы ежедневно производятся таким образом. Дерево неизмеримо отличается от семени во всех отношениях — по величине, строению, цвету, форме, химическому составу: различие тут до такой степени сильно, что нет возможности указать, между тем и другим, какого бы то ни было рода сходство. Однако в течение нескольких лет одно изменилось в другое — и изменилось с такой постепенностью, что ни в один момент нельзя было сказать: семя теперь перестает быть семенем и становится деревом. Где может быть более сильное различие, как между новорожденным дитятей и маленьким, полупрозрачным, студенистым, сферическим тельцем, составляющим человеческое яйцо? Дитя имеет столь сложное устройство, что для описания его составных частей нужна целая энциклопедия. А зародышевый пузырек так прост, что может быть определен в одной строке. Однако достаточно нескольких месяцев для того, чтобы последний развился в первое, и притом с рядом столь незначительных изменений, что если бы зародыш был исследуем постепенно в каждый из последующих моментов, то и при помощи микроскопа с трудом можно было бы открыть в нем какое-нибудь заметное изменение. Нет ничего странного, если гипотеза, что все существа, не исключая и человека, с течением времени могли развиться

из простейшей монады, показалась смешною человеку вовсе не образованному или недостаточно образованному. Но физиологу, который знает, что каждое индивидуальное существо развивается этим путем, который знает, кроме того, что зародыши всех растений и каких бы то ни было животных в самом раннем их состоянии столь сходны между собой, «что нет никакого уловимого различия между ними, по которому можно было бы определить, составляет ли отдельная молекула зародыш нитчатки или дуба, зоофита или человека»¹, — такому физиологу затрудняться тут непозволительно. Конечно, если из одной клеточки, при некоторых на нее влияниях, в течение двадцати лет, может развиваться человек, то нет ничего нелепого в гипотезе, что, при некоторых других влияниях, в течение миллионов лет, клеточка может дать начало человеческому роду.

В участии, принятом некоторыми учеными в этой борьбе «Закона против Чуда», мы имеем прекрасный пример упорной живучести суеверий. Спросите любого из передовых наших геологов или физиологов, верит ли он в легендарное объяснение сотворения мира, — он сочтет ваш вопрос за обиду. Он или вовсе отвергает это повествование, или принимает его в каком-то неопределенном, неестественном смысле. Между тем одну часть этого повествования он бессознательно принимает, и принимает даже буквально. Откуда он заимствовал понятие об «отдельности творений», которое считает столь основательным и за которое так мужественно сражается? Очевидно, он не может указать никакого другого источника, кроме того мифа, который отвергает. Он не имеет ни одного факта в природе, который мог бы привести в подтверждение своей теории; у него не сложилось также и цепи отвлеченных доктрин, которая могла бы придать значение этой теории. Заставьте его откровенно высказаться, и он должен будет сознаться, что это понятие было вложено в его голову еще с детства, как часть тех рассказов, которые он считает теперь нелепыми. Но почему, отвергая все остальное в этих рассказах, он так ревностно защищает последний их остаток, как будто почерпнутый им из какого-нибудь достоверного источника, — это он затруднится сказать.

¹ *Carpenter. Principles of Comparative Physiology. P. 474.*

II | ПРОГРЕСС, ЕГО ЗАКОН И ПРИЧИНА¹

Обыкновенное понятие о прогрессе несколько изменчиво и неопределенно. Иногда под прогрессом разумеют немного более простого возрастания, как в тех случаях, когда дело идет о народе, по отношению к его численности и пространству, занимаемому им. Иногда оно относится к количеству материальных продуктов, как в тех случаях, когда речь идет об успехах земледелия и промышленности. Иногда его видят в улучшении качества этих продуктов, а иногда в новых или усовершенствованных способах, посредством которых они производятся. Далее, говоря о нравственном или умственном прогрессе, мы относимся к состоянию той личности или того народа, в котором он проявляется; рассуждая же о прогрессе в науке или искусстве, мы имеем в виду известные отвлеченные результаты человеческой мысли и человеческих действий. Обыкновенное понятие о прогрессе не только более или менее смутно, но и в значительной степени ошибочно. Оно обнимает не столько действительный прогресс, сколько сопровождающие его обстоятельства, не столько сущность его, сколько его тень. Умственный прогресс, замечаемый в ребенке, вырастающем до зрелого человека, или в диком, вырастающем до философа, обыкновенно видят в большем числе познанных фактов и понятих законов; между тем действительный прогресс заключается в тех внутренних изменениях, выражением которых служат увеличивающиеся познания. Социальный прогресс видят в производстве большего количества и большего разнообразия предметов, служащих для удовлетворения человеческих потребностей, в большем ограждении личности и собственности, в расширении свободы действий; между тем как правильно понимаемый

¹ Впервые напечатано в «Westminster Review» за апрель 1857 г. Идеи и примеры этого опыта в конечном счете были инкорпорированы в «First Principles», тем не менее, на мой взгляд, уместно воспроизвести его здесь для того, чтобы дать представление о том, в каком виде впервые появилась общая доктрина эволюции.

социальный прогресс заключается в тех изменениях строения социального организма, которые обуславливают эти последствия. Обиходное понятие о прогрессе есть понятие телеологическое. Все явления рассматриваются с точки зрения человеческого счастья. Только те изменения считаются прогрессом, которые прямо или косвенно стремятся к возвышению человеческого счастья; и считаются они прогрессом только *потому*, что способствуют этому счастью. Но чтобы правильно понять прогресс, мы должны исследовать сущность этих изменений, рассматривая их независимо от наших интересов.

Например, перестав смотреть на последовательные геологические изменения Земли как на такие, которые сделали ее годною для человеческого обитания, и *поэтому* видеть в них геологический прогресс, мы должны стараться определить характер, общий этим изменениям, закон, которому все они подчинены. Так же нужно поступать и во всех других случаях. Оставляя в стороне побочные обстоятельства и благодетельные последствия прогресса, спросим себя: что он такое сам по себе?

Относительно прогресса, представляемого развитием каждого индивидуального организма, вопрос разрешен немецкими учеными. Исследования *Вольфа, Гёте, фон Бэра* утвердили ту истину, что ряд изменений, через которые проходит семя, развиваясь до дерева, или яйцо — до животного, состоит в переходе от однородности строения к его разнородности. В первоначальном состоянии каждый зародыш состоит из вещества, совершенно однообразного как по ткани, так и по химическому своему составу. Первый шаг есть появление различия между двумя частями этого вещества, или, как физиологи называют, *дифференцирование*. Каждая из этих дифференцировавшихся частей немедленно сама проявляет различия в своих частях, и мало-помалу эти второстепенные дифференцирования становятся столь же определенными, как и первоначальные. Этот процесс повторяется непрерывно и одновременно во всех частях развивающегося зародыша, и бесконечные дифференцирования производят наконец то сложное сочетание тканей и органов, которое образует зрелое животное или растение. Это история каждого из организмов. Бесспорно доказано уже, что органический процесс состоит в постепенном переходе от однородного к разнородному.

Здесь мы намерены прежде всего показать, что закон органического прогресса есть закон всякого прогресса. Касается ли дело развития Земли или развития жизни на ее поверхности, развития общества, государственного управления, промышленности, торговли, языка, литературы, науки или искусства — всюду происходит то же самое развитие простого в сложное через ряд дифференцирований. Начиная от первых сколько-нибудь заметных изменений и до последних результатов цивилизации, мы находим, что превращение однородного в разнородное есть именно то явление, в котором заключается сущность прогресса.

С целью показать, что *если* гипотеза туманных масс основательна, то генезис Солнечной системы представляет наглядное доказательство этого закона, допустим, что вещество, из которого состоят Солнце и планеты, находилось некогда в рассеянном виде и что вследствие тяготения атомов произошла постепенная концентрация. По этой гипотезе Солнечная система, при зарождении своем, существовала как среда, пространство которой было неограниченно и которая была почти однородна по плотности, температуре и прочим физическим свойствам. Различие плотности и температуры внутренних и внешних частей массы явилось первым толчком к уплотнению массы. В то же время внутри массы возникло вращательное движение, быстрота которого изменялась соразмерно удалению от центра. Эти дифференцирования возрастали в числе и степени до тех пор, пока не развилась известная нам организованная группа Солнца, планет и спутников, группа, представляющая многочисленные различия как в строении, так и в действиях своих членов. Так, между Солнцем и планетами есть огромное различие в объеме и весе; есть второстепенное различие одной планеты от другой или планет от спутников. Есть столь же резкое различие между Солнцем — телом, почти неподвижным (относительно планет Солнечной системы), и планетами, вращающимися вокруг него с большой быстротой, и второстепенное различие в быстроте и периодах вращения разных планет, и в простых и двойных возмущениях их спутников, двигающихся в одно и то же время вокруг напугнутого ими тела и вокруг Солнца. Далее, существует большая разница между Солнцем и планетами в отношении температуры; и есть основание предполагать,

что планеты и спутники их разнятся между собой как в степени собственной теплоты, так и той, которую они получают от Солнца. Если, вдобавок ко всем этим разнообразным различиям, мы примем еще в соображение, что планеты и спутники разнятся и во взаимных расстояниях между собою, и в расстояниях от главного тела, в наклонении их орбит и осей, во времени вращения вокруг оси, в удельном весе и в физическом строении, — мы увидим, какую высокую степень разнородности представляет Солнечная система сравнительно с той, почти совершенно однородной туманной массой, из которой, как предполагают, возникла эта система.

От этого гипотетического пояснения, которое и должно приниматься только сообразно истинной его ценности, обратимся к более положительному свидетельству. В настоящее время геологами и физиогеографами принято, что Земля представляла вначале массу расплавленного вещества. Если это было действительно так, то вещество это было первоначально однородно в своем составе и, в силу движения разгоряченной жидкости, должно было быть сравнительно однородно и в отношении температуры; оно должно было быть окружено атмосферой, состоявшей частью из элементов воздуха и воды, а частью из разных других элементов, превращающихся в газы при высокой температуре. Медленное охлаждение, путем лучеиспускания, до сих пор еще постоянно продолжающееся в размерах, которые невозможно определить, и притом хотя первоначально несравненно более быстрое, нежели теперь, но все-таки требовавшее огромного времени для того, чтобы произвести какую-нибудь решительную перемену, — это охлаждение должно было иметь окончательным результатом отвердение той части, которая наиболее способна была отделять теплоту, — именно поверхности. В тонкой коре, образовавшейся таким образом, представляется нам первое заметное дифференцирование. Дальнейшее охлаждение и зависящее от него утолщение коры, сопровождаемое осаждением всех способных к уплотнению элементов, содержащихся в атмосфере, должны были наконец произвести и сгущение воды, существовавшей сначала в виде пара. Из этого возникло второе существенное дифференцирование, и так как сгущение должно было произойти на самых холодных частях поверхности, именно около

полюсов, то таким образом должно было образоваться первое географическое различие в частях Земли. К этим доказательствам возрастающей разнородности, которые хотя и основаны на известных законах материи, но все-таки могут считаться более или менее гипотетическими, геология прибавляет длинный ряд таких, которые были установлены индуктивным путем. Исследования ее показывают, что Земля становилась все более и более разнородной по мере умножения слоев, образующих ее кору; далее, что она становилась все разнороднее и относительно состава этих слоев, из которых последние, образовавшиеся из обломков старых слоев, сделались чрезвычайно сложными через смешение содержащихся в них материалов и, наконец, что эту разнородность значительно усиливало действие все еще раскаленного ядра Земли на ее поверхность, отчего и произошло не только громадное разнообразие плутонических гор, но и наклонение осаждавшихся слоев под разными углами, образование разрывов, металлических жил и бесконечные неправильности и уклонения. Геологи говорят еще, что размеры возвышений на поверхности Земли изменялись; что древнейшие горные системы наименее высоки и что Анды и Гималаи суть возвышения новейшие; между тем, по всем вероятностям, и на дне океана происходили соответственные изменения. Результатом этих непрерывных дифференцирований оказывается, что на поверхности Земли нет двух сколько-нибудь значительных пространств, одинаковых между собою в очертании, в геологическом строении или в химическом составе, и что характеристические свойства Земли изменяются почти на каждой миле. Кроме того, не должно забывать, что одновременно с этим происходило и постепенное дифференцирование климата. По мере того как Земля охлаждалась и кора ее твердела, возникали значительные изменения в температуре между более или менее открытыми Солнцу частями ее поверхности. Мало-помалу, соразмерно успехам охлаждения, различия эти выдавались все сильнее, пока не произошли резкие контрасты между странами вечных льдов и снегов, странами, в которых зима и лето царствуют попеременно в периоды, изменяющиеся сообразно широте, и, наконец, странами, где лето следует за летом при едва заметных изменениях. В то же самое время последовательные возвышения и осаднения различных частей

земной коры, способствовавшие настоящему неправильному распределению суши и воды, имели тоже следствием различные изменения климата, сверх тех, которые зависят от широты места; того же рода дальнейшие изменения, порождаемые возрастающими различиями в возвышениях, соединили наконец в иных местах арктический, умеренный и тропический климат на расстоянии нескольких миль. Общий же результат всех этих изменений — тот, что не только каждый обширный край имеет свои метеорологические условия, но что даже каждая отдельная местность в крае отличается более или менее от других как относительно этих условий, так и относительно своего строения, очертания и почвы. Итак, степень разнородности между нашей, настоящей, Землей, с ее разнообразной поверхностью, явления которой еще не изведаны ни географами, ни геологами, ни минералогами, ни метеорологами, и расплавленным ядром, из которого она выработалась, достаточно поразительна.

Переходя от самой Земли к растениям и животным, которые жили или живут на ее поверхности, мы находимся в некотором затруднении по недостатку фактов. Что всякий существующий организм развился из простого в сложный, это, конечно, первая из всех признанных истин, и что всякий прежде существовавший организм развивался таким же образом, это — заключение, вывести которое не затруднится ни один физиолог. Но, переходя от индивидуальных форм жизни к жизни вообще и пытаясь исследовать, виден ли тот же самый закон в целом ее проявлении, имеют ли новейшие растения и животные более разнородное строение, нежели древнейшие, и разнороднее ли нынешняя флора и фауна, нежели флора и фауна прошедшего, мы находим такие отрывочные свидетельства, что всякое заключение становится спорным. Принимая в соображение, что три пятых земной поверхности покрыты водой, что значительная часть открытой Земли недоступна геологам или незнакома им; что большая часть остального пространства едва исследована ими самым поверхностным образом; что даже наиболее известные части, как, например, Англия, до того плохо исследованы, что новые ряды слоев открыты были в течение последних четырех лет¹ — принимая все это в соображение, становится очевидно

¹ Написано в 1857 г.

невозможным сказать с достоверностью, какие творения существовали в известный период и какие нет. Если еще принять во внимание недолговечность многих низших органических форм, метаморфозы многих осадочных слоев, разрывы, происшедшие в других, то мы найдем еще больше причин не доверять нашим выводам. С одной стороны, неоднократные открытия позвоночных остатков в слоях, в которых их первоначально не предполагали; открытие пресмыкающихся в таких слоях, в которых предполагали только существование рыб; млекопитающих там, где прежде не допускали существ выше пресмыкающихся, — все это ежедневно делает более очевидным, как ничтожно значение отрицательного свидетельства. С другой стороны, столь же ясно становится несостоятельность предположения, будто бы мы открыли самые ранние или хоть подобие ранних органических остатков. Неопровержимым становится, что древнейшие из известных осадочных пород значительно изменялись от действия огня и что еще более древние породы были совершенно преобразованы им. Допустив факт расплавления осадочных слоев, образовавшихся ранее каких-либо из известных нам, мы должны допустить и невозможность определить, когда началось это разрушение осадочных слоев. Таким образом, очевидно, что название *палеозоические*, будучи придано первейшим из известных нам слоев с ископаемыми остатками, заключает в себе *petitio principii** и что, сколько мы знаем, до нас могли прийти только немногие, последние, главы биологической истории Земли. Поэтому ни с одной из сторон нет заключительных свидетельств. Несмотря на это, мы не можем не думать, что как ни скудны факты, но, взятые вместе, они стремятся показать, что наиболее разнородные организмы развивались в позднейшие геологические периоды и что проявления жизни вообще становились все разнороднее с течением времени. Приведем для пояснения историю позвоночных. Самые ранние известные нам позвоночные остатки — это остатки рыб, а рыбы — самые однородные из позвоночных. Более поздними и разнородными являются пресмыкающиеся. Еще более поздними и еще более разнородными — птицы и млекопитающие. Если нам возразят, что палеозоические остатки, не будучи дельтовыми (*estuary*) остатками, не должны, по всей вероятности, содержать в себе остатков земных позвоночных, которые,

однако, могли существовать в этот период, то мы ответим, что указываем только на главные факты, *каковы они есть*. Но, во избежание подобных критических замечаний, возьмем только отдел млекопитающих. Самые ранние из известных нам остатков млекопитающих суть остатки маленьких сумчатых, представляющих низший тип млекопитающих; между тем как высший тип, человек, есть тип новейший. Свидетельства того, что фауна позвоночных, как целое, стала гораздо разнороднее, — значительно сильнее. Против аргумента, что фауна позвоночных палеозоического периода, состоящая, сколько мы знаем, единственно из рыб, была менее разнородна, нежели новейшая, заключающая в себе многочисленные роды пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, — можно возразить, как и выше, что дельтовые осадки палеозоического периода, если бы мы могли открыть таковые, показали бы, может быть, и другие разряды позвоночных. Но подобного возражения нельзя сделать против аргумента, что, между тем как морские позвоночные палеозоического периода состояли исключительно из хрящевых рыб, — морские позвоночные позднейших периодов заключают в себе многочисленные роды костистых рыб и что, следовательно, новейшая фауна морских позвоночных более разнородна, нежели древнейшая из известных нам. Точно так же нельзя сделать подобного возражения и против факта, что третичные формации заключают в себе остатки гораздо многочисленнейших разрядов и родов млекопитающих, нежели вторичные формации. Если б мы хотели удовольствоваться лучшим из решений вопроса, мы могли бы привести мнение д-ра *Карпентера*, который говорит, что «общие факты палеонтологии, кажется, утверждают предположение, что *один и тот же план* можно проследить как в явлениях, которые можно назвать *общей жизнью земного шара*, так и в *индивидуальной жизни* каждой формы организованных существ, населяющих его ныне». Или мы могли бы привести как решительное, мнение профессора *Оуэна*, который полагает, что наиболее ранние образцы каждой группы творений порознь гораздо менее удалялись от общего прототипа, нежели позднейшие; что, взятые отдельно, они были менее несходны с основной формой, общей целой группе, т.е. составляли менее разнородную группу творений. Но из уважения к авторитету, который мы ставим очень высоко и который

полагает, что свидетельства, полученные донныне, ни в коем случае не достаточны для произнесения решительного приговора, — мы готовы оставить вопрос нерешенным¹.

Проявляется ли или нет переход от однородного к разнородному в биологической истории земного шара, — во всяком случае, он достаточно ясно виден в прогрессе позднейшего и наиболее разнородного творения — в человеке. Столь же справедливо и то, что в период заселения Земли человеческий организм становился все более и более разнородным в образованных частях своего вида и что весь этот вид, как целое, становился разнороднее в силу умножения рас и дифференцирования этих рас одной от другой. В доказательство первого из этих положений мы можем привести факт, что в относительном развитии членов цивилизованный человек гораздо более удаляется от общего типа плацентных млекопитающих, нежели низшие человеческие расы. Часто, при правильно развитом теле и руках, папуас имеет чрезвычайно короткие ноги, напоминая таким образом шимпанзе и гориллу, у которых нет большого различия в размере задних и передних членов. В европейце же бóльшая длина и массивность ног сделалась чрезвычайно заметной; задние и передние члены стали относительно разнороднее. Далее бóльший перевес черепных костей над лицевыми поясняет ту же истину. Между позвоночными вообще прогресс выражается увеличивающейся разнородностью в позвоночном столбе и особенно в позвонках, образующих череп, так что высшие формы отличаются относительно бóльшим объемом костей, покрывающих мозг, и относительно меньшим объемом тех, которые образуют челюсть, и т.д. Эта характеристическая черта, более резкая в человеке, чем в каком-либо другом существе, выдается у европейца резче, чем у дикого. Сверх того, судя по бóльшей обширности и разнообразию выказываемых

¹ С тех пор как это было написано (в 1857 г.), палеонтологические открытия, особенно в Америке, окончательно показали по отношению к известным видам позвоночных, что высшие типы произошли от низших. Проф. Хаксли вместе с другими, которые делают в своих сочинениях вышеуказанный намек, допускает или, вернее, защищает существование биологического прогресса и, таким образом, безмолвно соглашается с возникновением более разнородных организмов и более разнородных типов органических форм.

им способностей, мы можем заключить, что цивилизованный человек имеет также более сложную или более разнородную нервную систему, нежели не цивилизованный; и, действительно, факт этот виден частью в возрастающем отношении размеров мозга к соответствующим нервным узлам, частью в более широком отступлении извилин мозга от симметрии. Если нужно дальнейшее разъяснение, то мы найдем его во всякой детской комнате. Европейское дитя имеет несколько черт, резко сходных с чертами низших человеческих рас, как, например, плоскость крыльев носа, вогнутое переносье, расходящиеся и раскрытые спереди ноздри, форма губ, отсутствие лобной впадины, широкое расстояние между глазами, короткие ноги. А так как процесс развития, путем которого эти черты превращаются в черты взрослого европейца, составляет продолжение перехода от однородного в разнородное, который проявляется в предшествующем развитии зародыша и который допустит всякий анатом, — то можно заключить, что параллельный процесс развития, путем которого те же черты диких рас превратились в черты цивилизованных рас, был тоже продолжением перехода от однородного к разнородному. Истина второго положения — что род человеческий, как целое, стал более разнородным — так очевидна, что едва ли требует пояснения. Всякое этнологическое сочинение свидетельствует об этой истине своими делениями и подразделениями рас. Даже допустив гипотезу, что род человеческий происходит от нескольких отдельных корней, все-таки остается справедливым, что так как от каждого из этих корней произошли многие, ныне значительно различающиеся между собой, племена, общность происхождения которых доказана филологическими свидетельствами, то раса, как целое, стала гораздо менее однородна теперь, нежели была прежде. Прибавим к этому, что мы имеем в англо-американцах образец новой разновидности, возникшей в несколько поколений; и, если верить описаниям наблюдателей, будем, вероятно, скоро иметь подобный же образец и в Австралии.

Переходя от индивидуальных форм человечества к роду человеческому, социально организованному, мы находим, что общий закон подтверждается еще более многочисленными примерами. Переход от однородного к разнородному одинаково проявляется как в прогрессе всей цивилизации, так и в прогрессе каждого

народа, и продолжается постоянно с возрастающей быстротой. Как мы видим в до сих пор существующих диких племенах, общество в своей первой и низшей форме имеет однородное собрание личностей, имеющих одинаковую власть и одинаковую деятельность; единственное заметное различие обуславливается тут различием пола. Каждый человек — воин, охотник, рыбак, оружейник, строитель; каждая женщина выполняет одинаковые домашние работы. С весьма ранних пор, однако, в процессе социального развития мы находим зарождающееся дифференцирование между управляющими и управляемыми. Что-то вроде старейшинства *является*, кажется, одновременно с зачатками перехода от состояния отдельно странствующих семейств к состоянию кочующего племени. Авторитет сильнейшего дает себя чувствовать среди диких, как в стаде животных или в толпе школьников. Вначале, однако, авторитет этот неопределен, шаток; им пользуются и другие члены, обладающие приблизительно такой же силой; он не сопровождается каким-либо различием в занятиях или образе жизни: первый правитель сам убивает свою добычу, сам делает свое оружие, сам строит свою хижину и, с экономической точки зрения, ничем не отличается от других членов своего племени. Мало-помалу, по мере возрастания племени, различие между управляющими и управляемыми становится более определенным. Верховная власть становится наследственной в одном семействе; глава этого семейства, перестав сам заботиться о своих нуждах, принимает услуги других и начинает усваивать единственную роль — правителя. Рядом с этим управлением стал возникать сродный ему вид управления — управление религиозное. По свидетельству всех древних памятников и преданий, на самых ранних правителей смотрели как на лицо божественного происхождения. Правила и повеления, высказанные ими при жизни, считаются священными после их смерти и еще прочнее утверждаются их обоготворяемыми преемниками, которые, в свою очередь, вводятся в пантеоны расы для обожания и умиловления наряду с их предшественниками, из коих древнейший считается верховным богом, а остальные — второстепенными богами. Долгое время эти две сродные формы управления — гражданское и религиозное — продолжают держаться в тесной связи. В течение целого ряда поколений король продолжает быть первосвященником,

а священство продолжает состоять из членов царственного рода. В течение многих веков религиозный закон продолжает заключать в себе более или менее значительное количество гражданских указаний, а гражданский закон продолжает более или менее сохранять религиозную санкцию; даже и между наиболее образованными народами эти два правящих деятеля отнюдь не вполне дифференцированы один от другого. Далее, мы находим еще правящего деятеля, имеющего один корень с предыдущими, но постепенно уклоняющегося от них: это обычай и церемониальные обряды. Все почетные титулования составляют первоначально принадлежность бого-государя; потом Бога и государя; еще позднее знатных особ, и, наконец, некоторые из них переходят в отношения равного к равному. Все формы приветственных обращений были вначале выражениями покорности пленных к победителю или подданных к правителю-человеку или Богу; а впоследствии выражения эти стали употребляться для умиловивления второстепенных властей и понемногу опустились до обыкновенных отношений людей. Все виды поклонов были некогда склонением перед монархом или выражением обожания после его смерти. Вслед за тем поклонения стали воздаваться и другим членам божественной расы, а затем некоторые поклоны стали постепенно считаться чем-то должным всякому¹. Таким образом, едва только социальная масса, бывшая первоначально однородною, начинает дифференцироваться на управляемую и управляющую части, как последняя уже являет зарождающееся дифференцирование между религиозной и гражданской частями — между церковью и государством; между тем как одновременно от обоих из них начинает дифференцироваться тот, менее определенный, вид управления, который узаконивает наше ежедневное общение с людьми, — вид управления, который, как доказывают геральдические коллегии, книги пэрства и различные церемониймейстеры, не лишен своего рода воплощения. Каждая из отделившихся частей, в свою очередь, подвержена последовательным дифференцированиям. В течение веков возникает, как это произошло и у нас, в высшей степени сложная политическая организация, заключающая в себе монарха,

¹ Подробные доказательства этого положения см. ниже в статье «Обычаи и приличия».

министров, палаты лордов и общин с подчиненными им департаментами, судами, казначействами и т.д., дополняемыми еще в провинциях муниципальными управлениями, управлениями графств, приходскими управлениями, из которых каждое более или менее выработано. Рядом с ними вырастает в высшей степени сложная религиозная организация, с различными своими степенями церковных должностей, от архиепископов до ключарей, с коллегиями, конвокациями, церковными судами и пр.; а ко всему этому должно прибавить постоянно размножающиеся секты индипендентов, имеющие каждая свои общие и местные управления. И в то же время вырабатывается в высшей степени сложная агрегация обычаев, нравов и временных обыкновений, принятых целым обществом и получающих руководящее значение в тех обыденных сношениях между личностями, которые не определены ни гражданским, ни религиозным законом. Сверх того, должно заметить, что эта постоянно возрастающая разнородность правительственных средств каждого народа сопровождалась возрастающей разнородностью правительственных средств различных народов: ибо каждый из них более или менее отличается от другого своей политической системой и законодательством, своими верованиями и религиозными учреждениями, своими обычаями и церемониальными обрядами.

Одновременно с этим происходило другое дифференцирование, в более низкой сфере, — то именно, путем которого масса общины распалась на отдельные классы и отряды рабочих. Между тем как управляющая часть подвергалась сложному развитию, указанному выше, управляемая часть подвергалась одинаково сложному развитию, результатом которого было мелочное распределение труда, характеризующее цивилизованные народы. Нет надобности следить за этим прогрессом от низших его стадий, сквозь кастовые разделения Востока и цеховые корпорации Европы, до выработанной организации производства и распределения, существующей среди нас. Это развитие, начинающееся с племени, члены которого порознь исполняют одну и ту же вещь каждый для себя, кончается образованной общиной, члены которой порознь исполняют различные вещи один для другого; это развитие превращает одинокого производителя какого-либо предмета в собрание производителей, которые, будучи соединены под руководством одного мастера,

занимаются отдельными частями производства этого предмета. Но есть еще другие, высшие, фазисы в этом переходе промышленной организации вещества от однородного к разнородному. Долго спустя после того, как произошел уже значительный прогресс между различными классами рабочих, незаметно еще было почти никакого разделения труда между отделенными частями общины: народ продолжает быть сравнительно однородным в том отношении, что в каждой местности отправляются одни и те же занятия. Но по мере того как дороги и другие средства перемещения становятся многочисленнее и лучше, различные местности начинают усваивать себе различные отправления и становятся во взаимную зависимость. Бумагопрядильная мануфактура помещается в одном графстве, суконная — в другом; шелковые материи производятся здесь, кружева там; чулки в одном месте, башмаки в другом; горшечное, железное, ножевое производства избирают себе, наконец, отдельные города; и, в заключение, каждая местность становится более или менее отличною от других по главному роду своих занятий. Мало того: это подразделение отправлений является не только между различными частями одного и того же народа, но и между различными народами. Обмен произведений, который свободная торговля обещает увеличить в такой значительной степени, будет иметь окончательным результатом большую или меньшую степень специализирования промышленности каждого народа. Так что, начиная с дикого племени, почти — если не совсем — однородного в отправлениях своих членов, прогресс шел, и теперь еще идет к экономическому объединению человеческой расы; он становится все более разнородным относительно отдельных отправлений, усвоенных различными народами, отдельных отправлений, усвоенных частями каждого народа, отдельных отправлений, усвоенных многочисленными разрядами производителей и промышленников каждого народа, и отдельные отправлений, усвоенных рабочими, соединившимися в производстве каждого из произведений.

Закон этот, выказывающийся столь ясно в развитии социального организма, так же ясно выказывается и в развитии всех произведений человеческой мысли и человеческих действий, конкретных или абстрактных, реальных или идеальных. Возьмем для первого пояснения язык.

Низшая форма языка есть восклицание, посредством которого целая идея смутно передается одним звуком, как у низших животных. Мы не имеем доказательств, чтобы язык человеческий состоял из одних восклицаний и был, таким образом, строго однороден относительно своих частей речи. Но что язык прошел форму, в которой имена и глаголы составляли единственные его элементы, это факт положительный. В постепенном размножении частей речи из этих двух первоначальных частей, в дифференцировании глаголов на действительные и страдательные, имен на абстрактные и конкретные, в появлении различных наклонений, времен, лиц, чисел и падежей, в образовании вспомогательных глаголов, имен прилагательных, наречий, местоимений, предлогов, членов — в разнообразии тех классов, родов, видов и разновидностей частей речи, которыми образованные расы выражают мелкие оттенки смысла, мы видим переход однородного к разнородному. Другая точка зрения, с которой мы можем проследить развитие языка, это — дифференцирование слов близкого смысла. Физиологи давно открыли истину, что во всех языках слова могут быть сгруппированы в семейства, имеющие общее происхождение. Отдельные названия, происходящие от первоначального корня, в свою очередь, порождают другие названия, тоже потом изменяющиеся. И при помощи быстро возникающих систематических способов образования производных и сложных терминов, выражающих все меньшие различия, развивается наконец целое племя слов, столь разнородных в звуках и значениях, что непосвященному кажется невероятным, чтобы они происходили от общего корня. Между тем от других корней развивались другие такие же племена, пока в результате не образовался язык в шестьдесят и более тысяч слов, несходных между собой и означающих такое же число несходных между собой предметов, качеств и действий. Еще другой путь, которым язык человеческий вообще подвигается от однородного к разнородному, есть размножение языков. Произошли ли все языки от одного корня или от двух и более, как думают некоторые филологи, во всяком случае, ясно, что если большие семейства языков, как, например, индоевропейское, и имеют общее происхождение, то теперь они стали различны между собой вследствие непрерывающегося их расхождения. То же самое распространение рода человеческого

по поверхности Земли, которое повело за собою дифференцирование расы, одновременно произвело и дифференцирование языка: это истина, подтверждение которой мы встречаем почти повсюду в особенностях наречий одного и того же народа в отдельных местностях. Итак, прогресс языка человеческого подчиняется одному и тому же закону как в развитии языков, так и в развитии семейств слов, и в развитии частей речи.

Переходя от устного языка к письменному, мы сталкиваемся с отдельными разрядами фактов, которые ведут к одинаковым выводам. Письменный язык сроден с живописью и скульптурой, и вначале все три отрасли были дополнением архитектуры и стояли в прямой связи с первобытной формой всякого правительства — теократией. Упомянув только мимоходом факт, что некоторые варварские племена, как, например, австралийцы и жители Южной Африки, изображают людей и происшествия на стенах подземных пещер, вероятно, считающихся у них священными местами, перейдем прямо к египтянам. У них так же, как и у ассирийян, мы находим, что стенная живопись употреблялась для украшения храмов и дворцов (которые, впрочем, были первоначально тождественны); и поэтому она была делом правительства, в таком же смысле, как государственные торжества и религиозные обряды. Далее, она была делом правительства еще и потому, что изображала поклонение Богу, триумфы бого-государя, покорность его подданных и наказание мятежных. Она составляла средство в руках правительства еще и потому, что представляла произведения искусства, уважавшегося народом как священное таинство. Из обыкновенного употребления этих живописных изображений произошло слегка измененное употребление живописных письмен, существовавшее у североамериканских народов, во время их открытия европейцами. Путем сокращений, сходных с теми, которые приняты в нашем письменном языке, наиболее известные из этих фигур были постепенно упрощены; и наконец образовалась целая система символов, большая часть которых имела только весьма слабое сходство с замененными ими изображениями. Предположение, что иероглифы египтян произошли таким образом, подтверждается фактом, что живописные письмена мексиканцев дали, как оказалось, начало подобному же семейству идеографических форм, которые как у мексиканцев, так и у египтян дифференцирова-

лись частью в *куриалогические*, или подражательные, и *тропические*, или символические, — и те и другие встречаются, однако, рядом в одних и тех же памятниках. В Египте в письменном языке произошло дальнейшее дифференцирование, имевшее результатом образование *иератических* и *эписталог рафических* или *энхориальных* языков; оба произошли из первоначального — иероглифического. В то же время мы видим, что для выражения собственных имен, которых иным способом нельзя было передать, употреблялись фонетические символы; и хотя доказано, что египтяне никогда не доходили до азбучных письмен, однако едва ли можно сомневаться, что эти фонетические символы, употреблявшиеся иногда в помощь идеографическим, были зародышами, из которых выросли азбучные письмена. Отделившись от иероглифов, азбучное письмо, в свою очередь, подверглось многочисленным дифференцированиям, явились разнообразные азбуки, между которыми, однако, все еще можно отыскать большую или меньшую связь. У каждого образованного народа выработалось постепенно, для представления одной и три же группы звуков, несколько групп письменных знаков, употребляемых для различных целей. В заключение, путем еще более значительного дифференцирования, явилось книгопечатание, которое было вполне единообразно вначале и с течением времени сделалось разнообразным.

Между тем как письменный язык проходил первые ступени своего развития, корень его, стенное украшение, дифференцировался в живопись и скульптуру. Представляемые этими украшениями боги, цари, люди и животные были первоначально очерчены врубленными линиями и раскрашены. Чаще всего эти линии так глубоки и предмет, очерченный ими, настолько округлен и отделан в главных чертах, что эти произведения образуют нечто среднее между резной работой и барельефом. В других случаях мы видим улучшения: необделанные пространства между фигурами вырезаны напроць, сами фигуры прилично выкрашены, так что образуется раскрашенный барельеф.

Реставрированная ассирийская архитектура в Сиденгаме представляет этот стиль искусства доведенным до еще большего совершенства, изображенные лица и предметы, хотя все еще варварски раскрашенные, вырезаны с большей точностью и с большими подробностями: в крылатых львах и быках,

поставленных на углах ворот; можно заметить значительный шаг вперед к совершенной скульптурной фигуре, которая, однако, все еще раскрашена и все еще составляет часть здания. Но между тем как в Ассирии мы почти не видим попыток к произведению статуи, в египетском искусстве мы можем проследить постепенное отделение скульптурных фигур от стены. Обзорение коллекций Британского музея ясно показывает это: они дают в то же время случай заметить очевидные следы того, как отдельные статуи берут свое начало из барельефов: это видно не только из того, что почти все они представляют такую связь членов с телом, какая характеризует барельефы, но и из того, что задняя сторона статуи представляет с головы до ног гладкий обрубок, заменивший для статуи прежнюю стену. В Греции повторились те же главные стадии этого прогресса. На фризах греческих храмов мы видим раскрашенные барельефы, изображающие жертвоприношения, сражения, процессии, игры — все с религиозным характером. На фронтонах мы видим раскрашенные скульптурные изображения, более или менее связанные с тимпаном и имеющие предметом своим триумфы богов или героев. Даже дойдя до статуй, положительно отделенных от зданий, мы все еще находим их раскрашенными, и только в последние периоды греческой цивилизации совершилось окончательное дифференцирование скульптуры от живописи. В христианском искусстве мы видим ясные следы параллельного зарождения. Все древнейшие живописные и скульптурные изображения были религиозного характера — представляли Христа, распятие, Святую Деву, Святое семейство, апостолов, святых. Они составляли нераздельные части церковной архитектуры и служили одним из средств к возбуждению набожности, как до сих пор в католических странах. Сверх того, древние скульптурные изображения Христа на кресте, Святой Девы, святых были раскрашены; и достаточно припомнить раскрашенных мадонн и такие же распятия, которые до сих пор в изобилии встречаются в католических церквях и на больших дорогах, чтобы понять тот замечательный факт, что живопись и скульптура продолжают состоять в тесной связи друг с другом там, где продолжается и тесная связь их с их родоначальником. Даже когда христианская скульптура была уже довольно ясно дифференцирована от живописи, то и тогда характер ее

оставался все еще религиозным и правительственным; она употреблялась для гробниц в церквях и для статуй королей; между тем как живопись, там, где она не была чисто духовной, употреблялась для украшения дворцов, — но, кроме изображения королевских особ, посвящалась все-таки исключительно освященным легендам. Только в очень недавнее время живопись и скульптура стали чисто светскими искусствами. Только в течение немногих последних столетий живопись разделилась на историческую, пейзажную, морскую, архитектурную, жанровую, живопись животных, так называемую *nature morte* (изображение неодушевленных предметов) и т.д., а скульптура стала разнородной относительно реальных и идеальных сюжетов, которыми она занимается.

Странно кажется, но тем не менее справедливо, что все формы письменного языка, живописи и скульптуры имеют один общий корень в политико-религиозных украшениях древних храмов и дворцов. Пейзаж, висящий на стене, экземпляр «Times», лежащий на столе, состоят между собой в отдаленном родстве, как ни мало сходства имеют они теперь между собой. Медная ручка двери, только что отворенной почтальоном, сродни не только политипажам* «Лондонской иллюстрации», которую он принес, но и буквам любовной записки, сопровождающей ее. Расписанное окно, молитвенник, на который падает из него свет, и ближайший городской памятник — однокровны. Изображения на наших монетах, вывески над лавками, герб на каретных дверцах и объявления, наклеенные внутри омнибусов, вместе с куклами и обоями произошли по прямой линии от грубых скульптурно-живописных изображений, в которых древние народы представляли триумфы и обожание своих богов-государей. Кажется, нельзя привести другого примера, который бы живее пояснял многообразие и разнородность произведений, могущих с течением времени возникнуть путем последовательных дифференцирований от одного общего корня.

Прежде мы перейдем к другому классу фактов, надо заметить, что развитие однородного в разнородное проявляется не только в отделении живописи и скульптуры от архитектуры, в отделении одной от другой и в большем разнообразии предметов, обнимаемых каждой из этих отраслей, но является и далее в строении каждого отдельного произведения. Новейшая

картина или статуя по природе своей гораздо разнороднее древней. Египетская скульптурная фреска представляет все фигуры как будто на одном плане, т.е. на одинаковом расстоянии от глаза, и поэтому менее разнородна, нежели картина, изображающая их как бы на разных расстояниях от глаза. Она представляет все предметы освещенными одинаковой степенью света и, таким образом, менее разнородна, нежели картина, представляющая различные предметы и различные части этих предметов освещенными разными степенями света. Она едва употребляет какие-либо другие краски, кроме основных, и употребляет их в полной силе, и поэтому менее разнородна, нежели картина, которая, вводя основные краски в очень небольшом размере, употребляет бесконечное разнообразие промежуточных цветов, которые все различаются между собою не только по составу и свойствам, но и по силе. Сверх того, мы видим в этих древнейших произведениях большое однообразие концепции. Они постоянно воспроизводят то же распределение фигур, те же действия, положения, лица, костюмы. В Египте способы изображений были так точно определены, что введение чего-нибудь нового считалось святотатством. Ассирийские барельефы представляют такие же свойства. Божества, цари, прислужники, крылатые фигуры и животные, все порознь, представлены в одинаковых положениях, держащими одинаковые орудия, занятыми одним и тем же делом и с одинаковым выражением или с одинаковым отсутствием выражения лица. Если представлена пальмовая роща, то все деревья одинаковы по высоте, все имеют одинаковое число листьев и все стоят на одинаковом расстоянии одно от другого. В изображении воды каждая волна имеет ответственную себе такую же волну, и рыбы, почти всегда одного и того же вида, равномерно распределены на поверхности воды. Бороды царей, богов и крылатых фигур везде одинаковы, как и гривы львов и лошадей. Волосы всюду изображены в одинаковой форме кудрей. Борода царя построена совершенно архитектурно из сложных рядов однообразных волн, перемежающихся с рядом кудрей, проведенным к поперечной линии, и все это распределено с полной правильностью; пучки волос на концах бычьих хвостов изображены везде точь-в-точь одинаково. Мы не будем следить далее за тождественными фактами из первой эпохи христианского искусства, где они также видны, хотя

в слабейшей степени: переход к разнородности будет достаточно очевиден, если мы вспомним, что в картинах нашего времени концепция разнообразна до бесконечности; положения, лица, выражения — все разнообразно; второстепенные предметы различаются между собой в величине, форме, положении и строении; даже в мельчайших подробностях есть большая или меньшая разница. Если мы сравним египетскую статую, сидящую совершенно прямо на обрубке, положа руки на колени, с вытянутыми и параллельными пальцами, с глазами, смотрящими прямо вперед, статую, обе стороны которой совершенно симметричны в каждой частности, — со статуей позднейшей греческой или новейшей школы, не симметричной относительно положения головы, тела, членов, расположения волос, одежды, принадлежностей и относительно окружающих ее предметов, — то найдем переход от однородного к разнородному выраженным весьма ясно.

В совместном происхождении и постепенном дифференцировании поэзии, музыки и танцев мы находим другой ряд пояснений. Размер в речи, размер в звуке и размер в движении были вначале частями одного и того же целого, и только с течением времени части эти стали вещами отдельными. У различных, доселе существующих, диких племен мы находим их все еще соединенными. Танцы диких сопровождаются известным монотонным напевом, хлопаньем в ладони, ударами в грубые инструменты; это — мерные движения, мерные слова и мерные звуки. В древнейших памятниках исторических рас мы также находим эти три формы ритмического действия соединенными в религиозных празднествах. Из еврейских книг видно, что торжественная ода, сочиненная Моисеем на победу над египтянами, пелась с аккомпанементом танцев и цимбал. Израильтяне плясали и «при сооружении золотого тельца. И так как обыкновенно полагают, что это изображение божества было заимствовано из таинств Аписа*, то, вероятно, и пляски были подражанием египетским пляскам в подобных же случаях». В Греции заметно подобное же отношение: основным типом было там, как, вероятно, и везде, одновременное воспевание и мимическое представление жизни и приключений героя или божества. Спартанские пляски сопровождались гимнами и песнями; и вообще, у греков не было «празднеств или

религиозных собраний, которые не сопровождалась бы песнями и плясками», так как и те и другие были формами поклонения перед алтарями. Римляне тоже имели священные пляски: из них известны салийские и луперкалийские. Даже в христианских странах, как, например, в Лиможе, в сравнительно недавнее время народ плясал в хоре в честь какого-то святого. Зарождающееся отделение этих некогда соединенных искусств друг от друга и от религии стало рано заметно в Греции. Уклонение от плясок полурелигиозных, полувоинственных, какова была, например, корибантийская, произвело, вероятно, пляску собственно военную, виды которой были различны. Между тем музыка и поэзия, хотя все еще соединенные, понемногу приобретали себе существование, независимое от танцев. Первоначальные греческие поэмы религиозного содержания не читались, а пелись; и хотя вначале песнь поэта сопровождалась танцами хора, впоследствии она стала независимой. Еще позднее, когда поэма дифференцировалась в эпическую и лирическую, когда вошло в обыкновение лирическую поэму петь, а эпическую декламировать, тогда родилась поэзия. Так как в этот же самый период музыкальные инструменты размножились, то можно полагать, что и музыка получила существование, отдельное от слов. И поэзия и музыка стали тогда усваивать себе другие формы, кроме религиозной. Можно привести факты подобного же значения из истории позднейших времен и народов; как, например, обыкновение наших древних менестрелей, которые пели под звуки арфы героические рассказы в стихах, переложенные ими на музыку собственной композиции, соединяя таким образом ныне отдельные роли поэта, композитора, певца и музыканта. Но общее происхождение и постепенное дифференцирование танцев, поэзии и музыки достаточно очевидно и без дальнейших пояснений.

Переход от однородного к разнородному проявляется не только в отделении этих искусств одного от другого и от религии, но также и в умножившихся дифференцированиях, через которые каждое из них впоследствии проходит. Чтобы не останавливаться на бесчисленных родах танцев, которые с течением времени вошли в употребление, и чтобы не распространяться в подробном описании прогресса поэзии, заметного в умножении разных форм размера, рифмы и общего

строения, — ограничимся рассмотрением музыки как типа всей группы. Как это можно заключить из обыкновений, доселе существующих у диких народов, первые музыкальные инструменты были, без сомнения, ударные — палки, выдолбленные тыквы, тамтамы — и употреблялись только для обозначения темпа в танцах; в этом постоянном повторении одного и того же звука музыка является нам в самой однородной ее форме. Египтяне имели лиру с тремя струнами. Древнейшая греческая лира была четырехструнная — тетрахорд. В течение нескольких столетий были употребляемы семи- и восьмиструнные лиры. По истечении тысячи лет они достигли «большой системы», в две октавы. Среди всех этих изменений возникла, конечно, и большая разнородность мелодий. Одновременно с этим вошли в употребление различные лады — дорический, ионический, фригийский, эолийский и лидийский, соответствующие нашим тонам; число их, наконец, дошло до пятнадцати. До сих пор, однако, в размере музыки было еще мало разнородности. Так как в течение этого периода инструментальная музыка служила только аккомпанементом вокальной, а вокальная была совершенно подчинена словам; так как певец был в то же время и поэт, поющий свои собственные сочинения и согласовавший длину своих нот со стопами своих стихов, — то из этого неизбежно должно было произойти утомительное однообразие в размере, которое, как говорит *д-р Борни*, «нельзя было прикрыть никакими средствами мелодии». За недостатком сложного ритма, достигаемого нашими равными тактами и неравными нотами, единственный возможный ритм зависел от количества слогов и, следовательно, необходимо был сравнительно однообразен. Далее, можно заметить, что напев, возникавший таким образом, будучи чем-то вроде речитатива, значительно менее дифференцировался от обыкновенной речи, нежели наше новейшее пение. Несмотря на это, благодаря большому числу употребляемых нот, разнообразию ладов, случайным изменениям в темпе, зависящим от изменений в размере стиха, и умножению музыкальных инструментов, музыка достигла к концу греческой цивилизации значительной разнородности, конечно, не по сравнению с нашей музыкой, но по сравнению с предшествовавшей. Но все-таки, кроме мелодии, не существовало ничего иного: гармония была неизвестна. Только когда

христианская церковная музыка достигла некоторого развития, появилась и разноголосая музыка, возникшая путем весьма незаметного дифференцирования. Как ни трудно понять априори, каким образом мог произойти переход от мелодии к гармонии без внезапного скачка, тем не менее несомненно, что так было дело. Обстоятельство, подготовившее путь для этого, состояло в употреблении двух хоров, певших попеременно одну и ту же арию. Впоследствии возник обычай — первоначально порожденный, вероятно, ошибкой, — чтобы второй хор начинал прежде, нежели кончит первый, образуя таким образом фугу. При простых напевах, бывших тогда в употреблении, нет ничего невероятного, что фуга эта была отчасти гармонична; и достаточно было только *отчасти* гармонической фуги, чтобы удовлетворить слушателей той эпохи, как мы это видим по дошедшим до нас образцам тогдашней музыки. Как только явилась новая идея, сочинение арий, допускавших фугальную гармонию, стало естественно возрастать, как до известной степени оно *должно было* возрастать и из очередного хорового пения. От фуги же к концертной музыке в две, три, четыре и более партий переход был легок. Не указывая подробно на увеличившиеся усложнения, зависевшие от введения нот различной длины, от умножения тонов, от употребления акцидентов, от разнообразия темпа и т.д., надо только сопоставить музыку, как она есть, и музыку, как она была, чтобы увидеть, как громадно усиление разнородности. Мы увидим это, если, взглянув на музыку в ее *целом*, переберем различные ее роды и виды, — если мы обратим внимание на разделение ее на вокальную, инструментальную и смешанную; на подразделение ее на музыку для разных голосов и разных инструментов; если мы рассмотрим различные формы духовной музыки, начиная от простого гимна, гласа, канона, мотета, двухорного напева и т.д. до оратории, и еще более многочисленные формы светской музыки, от баллады до серенады и от инструментального соло до симфонии. Эта же самая истина видна и при сравнении какого-нибудь образца первобытной музыки с образцом новейшей, хотя бы с обыкновенной песней для фортепиано; мы найдем ее сравнительно в высшей степени разнородной не только по разнообразию регистров и длины нот, по числу различных нот, звучащих в одну и ту же минуту в сопровождении голоса,

и по различным степеням силы, с которой они издаются инструментом или голосом, но и по перемене тонов, перемене темпа, перемене интонации голоса и многим другим изменениям выражения. Итак, между старинным, монотонным плясовым пением и большой оперой наших дней, с ее бесконечными оркестровыми усложнениями и вокальными комбинациями, контраст в разнородности дошел до таких пределов, что кажется едва вероятным, чтобы первое могло быть предком второй.

В случае надобности можно было бы привести многие дальнейшие пояснения. Обращаясь к тому раннему времени, когда деяния бого-государя повествовались картинными письменами на стенах храмов и дворцов, образуя таким образом грубый вид литературы, мы можем проследить ход литературы через фазисы, в которых, как в еврейских писаниях, она соединяет в одном и том же произведении богословие, космогонию, историю, биографию, гражданский закон, этику, поэзию — до настоящего ее разнородного развития, в котором деление и подразделение ее так многочисленны и так разнообразны, что полная классификация их почти невозможна. Мы можем также проследить развитие науки, начиная с той эпохи, когда она не была еще дифференцирована от искусства и, соединенная с ним, составляла слугу религии. Перейдя к эпохе, в которую науки были так немногочисленны и элементарны, что все вместе обрабатывались одними и теми же философами, мы дошли бы наконец до той эпохи, в которую роды и виды наук так многочисленны, что немногие в состоянии перечесать их и никто не может овладеть в совершенстве хотя бы одним из родов. Мы можем, наконец, точно так же рассмотреть архитектуру, драму, историю одежды. Но читатель, без сомнения, утомился всеми этими пояснениями; и обещание, данное вначале, выполнено. Мы полагаем, что бесспорно доказали, что то, что фон Бэр определил как закон органического развития, есть закон всякого развития. Переход от простого к сложному путем процесса последовательных дифференцирований одинаково виден в самых ранних изменениях Вселенной, до которых мы можем дойти путем умозаключений, и в тех, определить которые мы можем путем индукции; этот переход виден в геологическом и климатическом развитии Земли и в развитии каждого отдельного организма на ее поверхности; он виден в развитии человечества, будет ли оно

рассматриваться в цивилизованном индивиде или в массе различных рас; он виден в развитии общества, по отношению к его политической, религиозной или экономической организации; он виден, наконец, в развитии всех бесчисленных конкретных или абстрактных произведений человеческой деятельности, которые составляют обстановку обыденной нашей жизни. Сущность всего прогресса — начиная с отдаленнейших времен прошлого, которых наука имеет хоть какую-нибудь возможность достигнуть, и до вчерашней летучей новости — заключается в превращении однородного в разнородное.

Теперь, из этого единообразия в порядке действий, не можем ли мы заключить о какой-либо основной необходимости, порождающей его? Не можем ли мы разумно искать какого-либо вездесущего принципа, определяющего этот вездесущий процесс вещей? Всеобщность закона не предполагает ли и всеобщую *причину*?

Возможность проникнуть в эту причину, рассматриваемую как нунен (вещь сама в себе), невозможно допустить. Это значило бы разрешить ту конечную тайну, которая всегда будет переходить за пределы человеческого разума. Но мы все-таки имеем возможность перевести закон всякого прогресса, как он установлен выше, из состояния эмпирического обобщения к состоянию рационального обобщения. Точно так, как оказалось возможным объяснить законы *Кеплера*, как необходимое следствие закона тяготения, точно так можно истолковать и закон прогресса, в его многообразных проявлениях, как необходимое следствие какого-нибудь столь же всеобщего начала. Как тяготение могло быть поставлено *причиной* каждой из групп явлений, формулированных *Кеплером*, точно так и какое-нибудь столь же простое свойство вещей может быть поставлено *причиной* каждой из групп явлений, формулированных на предыдущих страницах. Мы можем связать все эти разнообразные и сложные развития однородного в разнородное с известными простыми фактами непосредственного опыта, которые, в силу бесконечного повторения, мы считаем необходимыми.

Допустив вероятность существования общей причины и возможность ее формулирования, полезно будет, прежде чем идти далее, рассмотреть, каковы могут быть общие характеристические черты этой причины и где именно следует искать ее.

Можно, наверное, предсказать, что она имеет высокую степень общности, что она обща стольким бесконечно разнообразным явлениям. Мы не должны ожидать в ней прямого разрешения той или другой формы прогресса, ибо она равно относится и к таким формам прогресса, которые имеют мало внешнего сходства с какими-либо другими; ее связь с разнообразными разрядами фактов подразумевает и отчуждение ее от какого-либо отдельного разряда фактов. Составляя сущность того, что обуславливает прогресс всякого рода: астрономический, геологический, органический, этнологический, социальный, экономический, художественный и т.д., — причина эта должна быть в связи с каким-нибудь основным свойством, общим всем им, и должна выражаться в терминах этого основного свойства. Одно явное свойство, в котором сходятся все роды прогресса, состоит в том, что все они суть роды *изменений*, и, следовательно, в некоторых характеристических чертах изменений вообще может быть найдено желанное решение. Мы можем априори предположить, что объяснение этого всеобщего превращения однородного в разнородное лежит в каком-нибудь законе изменений.

Предположив это, разом мы переходим к установлению следующего закона: *каждая действующая сила производит более одного изменения — каждая причина производит более одного действия.*

Для того чтобы закон этот был правильно понят, должно представить несколько примеров. При ударе одного тела о другое то, что мы обыкновенно называем действием, состоит в изменении положения или движения одного или обоих тел. Но один момент размышления укажет нам, как необдуман и неполон подобный взгляд на вещи. Кроме видимого механического результата, произведен еще звук или, выражаясь точнее, колебание в одном или обоих телах и в окружающем их воздухе: при известных обстоятельствах мы и это называем действием. Сверх того, в воздухе произошло не только колебание, но образовалось и несколько течений, причиненных прохождением тел. Далее, происходит перемещение частиц тела, соседних с точкой их столкновения, — перемещение, доходящее иногда до заметного увеличения плотности тела. Еще далее, увеличение плотности тела сопровождается отделением теплоты. В иных случаях результатом бывает искра, т.е. свет

от воспламенения отбитой части; а иногда воспламенение это сопряжено с химическими сочетаниями. Итак, первоначальная, механическая, сила, затраченная при ударе, производит по крайней мере пять, а часто и более, различных родов изменений. Возьмем еще пример — горение свечи. Первоначально является химическое изменение, зависящее от повышения температуры. Процесс соединения, однажды возбужденный посторонней теплотой, порождает беспрестанное образование углекислоты, воды и т.д., что само по себе составляет явление более сложное, нежели посторонняя теплота, первоначально породившая его. Но рядом с этим процессом соединения является теплота, свет; порождается восходящая струя разгоряченных газов; в окружающем воздухе образуются различные течения. Сверх того, разложение одной силы на несколько сил еще не кончается здесь: каждое отдельное произведенное изменение становится, в свою очередь, родоначальником дальнейших изменений. Отделенная углекислота понемногу соединится с каким-либо основанием или, под влиянием солнца, выделит углерод свой листьям какого-нибудь растения. Вода изменит гигрометрическое состояние окружающего воздуха, или если течение горячих газов, содержащих эту воду, придет в соприкосновение с холодным телом, то вода сгустится, изменяя температуру поверхности, покрываемой ею. Отделившаяся теплота растапливает сало свечи и расширяет все, что согревает. Свет, падая на различные вещества, вызывает в них реакции, изменяющие его; таким образом порождаются различные цвета; и все это происходит одновременно с теми второстепенными действиями, которые можно проследить в постоянно умножающихся разветвлениях, пока они не станут слишком мелочными для оценки. То же самое повторяется со всеми изменениями. Нельзя указать ни одного случая, где действующая сила не развила бы различных родов сил и где каждая из новых не развила бы, в свою очередь, новые группы сил. Вообще действие всегда бывает сложнее причины.

Читатель, без сомнения, уже предвидит дальнейший ход нашей аргументации. Это умножение результатов, проявляющееся в каждом из переживаемых нами событий, шло подобным порядком с самого начала и равно истинно как по отношению к величайшим, так и по отношению к самым незначительным явлениям Вселенной. Неизбежное заключение из закона,

что всякая действующая сила производит более одного изменения, есть то, что во все времена происходило постоянно возрасставшее усложнение вещей. Отправляясь от конечного факта, что всякая причина производит более одного действия, мы легко увидим, что сквозь все творение непременно шло и теперь идет непрерывное превращение однородного в разнородное. Но проследим эту истину подробнее.

Начнем опять с развития Солнечной системы из туманной массы, принимая его по-прежнему за гипотезу, хотя в высшей степени вероятную. Путем взаимного притяжения атомов рассеянной массы, форма которой была несимметрична, возникло, согласно гипотезе, не только сгущение, но и вращение. По мере прогрессивно увеличивавшегося сгущения и быстроты вращения приближение атомов необходимо порождало прогрессивно возвышающуюся температуру. По мере повышения температуры начинает развиваться свет, и, наконец, образуется вращающаяся сфера жидкого вещества, испускающего сильную теплоту и свет: это Солнце. Есть основательные причины предполагать, что вследствие тангенциальной быстроты и зависящей от нее центробежной силы, приобретенной внешними частями сгущающейся туманной массы, должно было произойти периодическое отделение вращающихся колец и что при разрывах этих колец возникают массы, повторяющие в процессе своего сгущения действия первоначальных масс, образуя таким образом планеты и их спутников; вывод этот имеет сильную поддержку в доселе существующих кольцах Сатурна. Если впоследствии подобное происхождение планет будет удовлетворительно доказано, то оно послужит поразительным пояснением тех в высшей степени разнородных действий, которые произведены первоначально однородной причиной; но для нашей настоящей цели достаточно будет указать на тот факт, что путем взаимного притяжения частиц неправильной туманной массы в результате получается сгущение, вращение, теплота и свет.

Заключение, вытекающее из гипотезы туманной массы, есть то, что Земля вначале должна была находиться в раскаленном состоянии; и верна ли или нет гипотеза туманной массы, во всяком случае, эта первоначальная раскаленность Земли теперь доказана индуктивным путем, или если не доказана, то по крайней мере доведена «до такой высокой степени вероятности, что

составляет общепринятое геологическое учение». Взглянем прежде всего на астрономические свойства этого некогда расплавленного шара. Результатами его вращения являются сплюснутая у полюсов форма его, очередная смена дня и ночи и (под влиянием Луны и в меньшей степени Солнца) приливы и отливы водные и атмосферические. Наклонение его оси производит одновременные и последовательные различия, происходящие на его поверхности, соответственно временам года. Таким образом, размножение действий очевидно. Мы уже упомянули о различных дифференцированиях, зависящих от постепенного охлаждения Земли, каковы образование коры, отверждение газообразных элементов, осаждение воды и т.д.; здесь мы опять обращаемся к ним, собственно, для того, чтобы указать на одновременные действия одной причины — уменьшения теплоты. Обратим, однако, теперь внимание наше на умножившиеся изменения, возникшие впоследствии от продолжительности действия одной этой причины. Охлаждение Земли влечет за собой ее сжатие. Отсюда происходит то, что первоначально образовавшаяся кора немедленно становится слишком обширной для суживающегося ядра и, по невозможности поддерживать самое себя, неизбежно подражает ядру. Но сфероидальная оболочка не может без разрыва достигнуть соприкосновения с находящимися внутри нее меньшим сфероидальным телом; она должна сморщиться, подобно тому как морщится кожа яблока, когда содержимое его уменьшается путем испарения. По мере того как охлаждение увеличивается, кора становится толще, морщины, производимые этим сжатием, должны увеличиваться, возрастая, наконец, до холмов и гор; и последние горные системы, образовавшиеся таким образом, должны быть не только выше, как мы это и видим, но и длиннее, как мы тоже и это видим. Таким образом, оставляя в стороне другие изменяющие силы, мы видим, как велика разнородность поверхности, возникшая от одной причины — потери теплоты, разнородность, аналогии которой телескоп показывает нам на поверхности Марса, которая открывается в несколько иной форме на Луне, где деятельность воды и воздуха не имела места. Но мы должны еще обратить внимание на другой род разнородности на земной поверхности, зависящий от подобной же и одновременной причины. Пока земная кора была еще

тонка, не только возвышения, произведенные ее сжатием, должны были быть незначительны, но и углубления между этими возвышениями должны были с большей ровностью лежать на находившемся под ними жидком сфероиде, и вода в тех арктических и антарктических странах, где она впервые сгустилась, должна была распределяться ровно. Но как скоро кора стала толще и приобрела соответственную крепость, линии разрывов, производившихся в ней от времени до времени, должны были встречаться на большем расстоянии друг от друга; промежуточные пространства с меньшим однообразием следовали за сжимающимся ядром; и результатом этого было образование больших площадей суши и воды. Если кто-нибудь, завернув апельсин в тонкую мокрую бумагу и заметив не только то, как незначительные морщинки, но и то, как ровно промежуточные пространства прилегают к поверхности апельсина, — завернет его потом в толстую патронную бумагу и обратит внимание как на большую степень возвышений, так и на гораздо значительнейшие пространства, на которых бумага не касается апельсина, тот объяснит себе факт, что по мере утолщения твердой оболочки земли плоскости возвышений и низменностей должны были увеличиться. Вместо островов, более или менее однородно рассеянных по всеобъемлющему морю, постепенно возникло разнородное распределение материка и океана в таком виде, какой представляется нам теперь. Еще далее это двоякое изменение в пространстве и возвышении суши повело за собой новый род разнородности — разнородность береговых линий. Ровная поверхность, поднявшаяся над океаном, должна была иметь простые, правильные морские берега; но поверхность, усложненная плоскими возвышенностями и пересеченная цепями гор, должна была, поднявшись из океана, иметь чрезвычайно неправильный вид как в главных чертах своих, так и в подробностях. Таково бесконечное накопление геологических и географических результатов, медленно произведенных одной и той же причиной — сжатием Земли.

Переходя от деятельности, которую геологи называют вулканической, к деятельности нептунической и атмосферической, мы видим ту же постоянно возрастающую сложность действий. Разрушающие действия воздуха и воды с самого начала стали изменять все открытые поверхности, производя повсюду

различные перемены. Окисления, жар, ветер, мороз, дождь, ледники, реки, приливы и отливы, волны беспрерывно производили дезинтеграции, изменявшиеся в родах и размерах сообразно с местными обстоятельствами. Действуя на гранитную массу, деятели эти редко получают особенно заметное *влияние*: там причинят отслойку поверхности, а затем груды обломков и валунов; в другом месте, разложив полевой шпат, уносят белую глину вместе с кварцем и слюдой и осаждают их в отдельные русла, речные и морские. Там, где открытая плоскость состоит из нескольких несходных между собой формаций, осадочных или огненных, обнажение производит изменения относительно более разнородные. Различные формации, дезинтегрируясь в различной степени, усложняют неправильность поверхности. Так как равнины, орошаемые различными реками, различны в своем составе, то реки эти уносят в море различную смесь ингредиентов, и таким образом образуются несколько новых слоев различного состава. Здесь мы видим весьма простое пояснение истины, которую нам сейчас придется проследить в более сложных случаях, а именно: что соразмерно разнородности предмета или предметов, подвергающихся действию какой-либо силы, увеличивается и разнородность результатов, порождаемых ею. Материк сложного строения, представляющий многие, неправильно распределенные слои, поднятый на различные уровни, наклоненный под различными углами, должен, под влиянием одних и тех же обнажающих деятелей, породить бесконечно разнообразные результаты: каждая местность будет изменена различным образом, каждая река должна унести различный род осадков; каждый осадок должен быть различно распределен разветвляющимися течениями, приливами и пр., омывающими изогнутые берега; и это размножение результатов должно быть наиболее значительно там, где усложнение поверхности наиболее значительно.

Здесь мы могли бы показать, как общая истина, что каждая действующая сила производит более одного изменения, подтверждается примерами в высшей степени сложных морских приливов и отливов, океанских течений, ветров, распределения дождя, распределения теплоты и т.д. Но, не останавливаясь на них, рассмотрим, для полнейшего разъяснения этой истины в отношении к неорганическому миру, каковы были бы

последствия какого-нибудь обширного космического переворота, положим, хоть затопления Центральной Америки. Непосредственные результаты разрушения были бы сами по себе достаточно сложны. Кроме бесчисленных расчленений слоев, извержений огненных веществ, кроме распространения землетрясений и колебаний на тысячи миль кругом, кроме громких взрывов и выхода газов, — два океана, Атлантический и Тихий, ринулись бы наполнить пустое пространство; следовало бы столкновение громадных волн, которые прошли бы через оба эти океана, производя мириады изменений вдоль их берегов; соответственные атмосферические волны усложнились бы воздушными течениями, окружающими всякую вулканическую струю, и электрическими разряжениями, сопровождающими подобные перевороты. Но эти временные действия были бы незначительны сравнительно с постоянными. Сложные течения Атлантического и Тихого океанов изменились бы в направлении и размере. Распределение теплоты, обусловленное этими морскими течениями, стало бы иным, нежели теперь. Положения изотермических линий изменились бы не только на соседних континентах, но и по всей Европе. Приливы и отливы приняли бы другое направление нежели теперь. Произошло бы большее или меньшее изменение в периодах, силе, направлении и свойствах ветров. Дождь едва ли шел бы тогда в тех же местах и в таком же количестве, как теперь. Словом, со всех сторон, на тысячу миль кругом, метеорологические условия были бы более или менее возмущены. Таким образом, оставляя без внимания бесконечность изменений, произведенных этими переменами климата на флору и фауну, как земную, так и морскую, читатель увидит огромную разнородность результатов, порожденную одной и той же силой, когда сила эта распространяется на поверхность, предварительно уже усложненную, — и легко выведет заключение, что усложнение это с самого начала постоянно увеличивалось.

Прежде чем покажем, что органический прогресс также зависит от того всеобщего закона — что каждая сила производит более одного изменения, — мы должны обратить внимание на проявление этого закона еще в другом виде неорганического прогресса, именно в химическом. Общие причины, породившие разнородность земли в физическом отношении, одновременно

породили и ее химическую разнородность. Есть различные основания для предположения, что при крайне высокой степени жара элементы не могут соединяться. Даже при наибольшей степени искусственного жара некоторые весьма сильные химические сродства уничтожаются, как, например, сродство кислорода и водорода; большинство же химических соединений разлагается при гораздо низшей температуре. Но, не настаивая на весьма вероятном предположении, что, когда Земля была в своем первоначальном состоянии раскаленности, химических соединений вовсе не существовало, — для нашей цели достаточно будет указать тот несомненный факт, что соединения, могущие существовать при высших температурах и которые, следовательно, должны были быть первыми из образовавшихся при охлаждении Земли, суть простейшие по своему составу. Закиси, включая в этот разряд щелочи, земли и т.п., представляют в целом самые постоянные из известных нам сложных тел: большинство их противится разложению при высшей степени жара, какую мы можем произвести. Тела эти представляют соединения простейшего рода: они только на одну степень менее однородны, чем сами элементы. Более разнородные, менее постоянные и, следовательно, более новые в истории Земли суть окиси, перекиси, кислоты и т.д., в которых два, три, четыре или более атомов кислорода соединены с одним атомом металла или другого элемента. Большую степень разнородности имеют гидраты, в которых окись водорода (вода), соединенная с окисью какого-либо другого элемента, образует вещество, атомы которого, каждый порознь, заключают в себе по крайней мере четыре основных атома трех различных родов. Еще более разнородны и еще менее постоянны соли, представляющие нам сложные атомы каждый из пяти, шести, семи, восьми, десяти, двенадцати и более атомов трех, если не более, родов. Далее есть гидраты солей еще большей разнородности, подверженные отчасти разложению при гораздо низшей температуре. За ними следуют еще более сложные кислые и двойные соли, коих постоянство еще меньше, и т.д. Не входя, по недостатку места, в подробные обозначения, мы полагаем, что никакой химик не станет отрицать того, что общий закон этих неорганических соединений есть тот, что *при равенстве других условий* постоянство соединений уменьшается по мере возрастания их сложности. Потом,

когда мы переходим к соединениям органической химии, мы находим, что этот общий закон имеет еще дальнейшие приложения: мы видим гораздо большее усложнение и гораздо меньшее постоянство. Один атом альбумина, например, состоит из 482 основных атомов пяти различных родов. Фибрин, еще более сложный по составу, содержит в каждом атоме 298 атомов углерода, 49 — азота, 2 — серы, 228 — водорода и 92 атома кислорода, итого 669 атомов или, выражаясь вернее, паев. И эти два вещества так непостоянны, что разлагаются при самых обыкновенных температурах, как, например, при температуре, потребной для обжаривания куска мяса. Таким образом, очевидно, что настоящая химическая разнородность земной поверхности возникала постепенно, по мере того как позволяло уменьшение теплоты, и что она проявилась в трех формах: 1) в увеличении числа химических соединений; 2) в увеличении числа различных элементов, содержащихся в новейших из этих соединений, и 3) в высших и более разнообразных усложнениях, в которые соединяются эти более многочисленные элементы.

Сказать, что это увеличение химической разнородности зависит только от одной причины — от понижения температуры Земли, значило бы преувеличить дело: ясно, что здесь сопричастны были нептунический и атмосферический деятели и, наконец, самое сродство элементов. Действовавшая причина постоянно была сложной: охлаждение Земли было только самой общей из всех действовавших причин или из всей совокупности условий. Здесь можно заметить, что в различных разрядах рассмотренных выше фактов (за исключением, может быть, первого) и еще более в тех, которые нам сейчас придется рассматривать, причины везде более или менее сложны; несложных причин мы почти вовсе не знаем. Едва ли можно, с логической точностью, приписать какое-либо изменение исключительно одному деятелю, оставляя в стороне постоянные или временные условия, при которых деятель этот только и может произвести известную перемену. Но так как это не имеет существенного влияния на нашу аргументацию, то мы предпочитаем для простоты употреблять везде популярный способ выражения. Может быть, нам заметят далее, что указывать на утрату теплоты, как на причину каких-либо изменений, значит, приписывать эти перемены не силе, а отсутствию силы?

Это будет справедливо. В строгом смысле эти изменения должны быть приписываемы тем силам, которые приходят в действие при удалении враждебной силы. Но хотя и есть неточность в выражении, что замерзание воды зависит от утраты ее теплоты, все же из этого не возникает никакого практического заблуждения; точно так же не исказит подобная небрежность выражения и наших положений относительно усложнения действий. В сущности, возражение это заставляет только обратить внимание на тот факт, что не только действие какой-либо силы производит более одного изменения, но и удаление какой-либо силы производит более одного изменения.

Возвращаясь к нити нашего изложения, мы должны теперь проследить, в органическом прогрессе, то же самое вездущее начало. Но здесь, где развитие однородного в разнородное было впервые замечено, труднее показать, как несколько изменений производятся одной и той же причиной. Развитие семени в растение или яйца в животное так постепенно, между тем как силы, определяющие его, так смешаны и вместе с тем так незаметны, что трудно открыть умножение последствий, столь очевидное в других случаях. Тем не менее, руководимые косвенными свидетельствами, мы можем почти безопасно дойти до заключения, что и здесь закон этот применим. Заметим прежде всего, как многочисленны действия, производимые каким-либо резким изменением на вполне зрелый организм, например на человеческое существо. Какой-нибудь тревожный звук или зрелище, кроме впечатлений на органы чувств и нервов, способны произвести содрогание, крик, искривление лица, дрожь вследствие общего расслабления мускулов, внезапный пот, прилив крови в мозг, за которым последует, может быть, остановка деятельности сердца и обморок. То же происходит в болезнях. Ничтожное количество оспенной материи, введенное в организм, может в серьезном случае произвести в первый период озноб, жар кожи, ускоренный пульс, обложение языка, потерю аппетита, жажду, эпигастрическую тяжесть, рвоту, головную боль, боль в спине и членах, ослабление мускулов, судороги, бред и т.д.; во втором периоде могут явиться: накожная сыпь, зуд, звон в ушах, боль в горле, горловая опухоль, слюнотечение, кашель, охриплость, одышка и т.д., и в третьем периоде — воспалительные отеки, воспаление легких, грудной плевры, понос,

воспаление мозга, глаз, рожа и т.д. Каждый из перечисленных симптомов сам по себе более или менее сложен. Лекарства, известного рода пища, улучшение воздуха можно точно так же привести в пример причин, производящих многообразные результаты. Затем, чтобы понять, как и здесь развитие однородного в разнородное порождается несколькими действиями одной причины, надо только иметь в виду, что эти многочисленные изменения, произведенные одной и той же силой на зрелый организм, идут параллельно и в зарождающемся организме. Внешняя теплота и другие деятели, обуславливающие первые осложнения зародыша, действием своим на них вызывают дальнейшие осложнения; действуя на последние, они порождают дальнейшие и многочисленнейшие, и так идет дело непрерывно; каждый орган, развиваясь, действием своим и противодействием на остальные осложнения способствует зарождению новых осложнений. Первые пульсации сердца зародыша должны одновременно расширить все части. Развитие каждой ткани, отделяя от крови свойственные ей пропорции элементов, должно изменить состав крови и таким образом изменить питание всех остальных тканей. Деятельность сердца, влекущая за собой некоторую трату материалов, необходимо примешивает к крови продукты этого процесса, которые должны иметь влияние на остальную систему и которые, по мнению некоторых, обуславливают даже образование отделительных органов. Нервные связи, установившиеся во внутренностях, должны еще более умножить свои взаимные влияния, и т.д. Основательность этого взгляда получает еще большую вероятность, если мы примем в соображение факт, что один и тот же зародыш может развиваться в различные формы, смотря по обстоятельствам. Так, например, в самом раннем периоде зародыш не имеет пола и становится мужским или женским по определению перевеса действующих сил. Далее, положительно достоверно, что из личинки рабочей пчелы выйдет пчелиная матка, если вовремя переменить пищу ее на ту, которой питаются личинки маток. Все эти примеры предполагают, что каждый шаг в зародышных осложнениях происходит от действия случайных сил на прежде уже существовавшие осложнения. Действительно, мы имеем основание априори полагать, что развитие происходит именно таким образом. Теперь известно уже,

что ни один зародыш, животный или растительный, не содержит в себе ни малейшего начала, следа или обозначения будущего организма; микроскоп показал, что первый процесс, возникающий в каждом оплодотворенном зародыше, есть процесс повторенных одновременных дроблений, кончающийся образованием массы клеточек, из которых ни одна не проявляет какого-либо специального характера; поэтому нет, кажется, иного исхода, как предположить, что частная организация, существующая в данную минуту в развивающемся зародыше, переводится влиянием внешних деятелей в следующий фазис организации, этот — в дальнейший, пока сквозь постоянно возрастающие усложнения не выработается окончательная форма. Во всяком случае, мы не можем действительно объяснить происхождение какого-либо растения или животного. Мы все еще находимся во мраке по отношению к тем таинственным свойствам, в силу которых зародыш, подчиненный известным влияниям, подвергается специальным изменениям, открывающим ряд превращений. Вся наша цель состоит в том, чтобы показать, что при данном зародыше, обладающем этими таинственными свойствами, развитие из него организма зависит, по всей вероятности, от того умножения действий, которое, как мы видели, составляет причину прогресса вообще, насколько мы доселе проследили это.

Когда, оставляя в стороне развитие отдельных растений и животных, мы переходим к развитию земной флоры и фауны, ход нашей аргументации снова делается ясным и простым. Хотя, как мы сказали в первой части этой статьи, отрывочные факты, собранные палеонтологией, не дают нам достаточного основания для того, чтобы сказать, что в течение геологического времени развились все более разнородные организмы и более разнородные группы организмов, но мы все-таки найдем, что стремление к этим результатам всегда должно было существовать. Мы найдем, что произведение нескольких действий одной причиной, которое, как мы уже показали, постоянно увеличивало физическую разнородность Земли, вело за собой и умножающуюся разнородность ее флоры и фауны как в отдельных особях, так и в целом. Это можно пояснить примером. Положим, что вследствие ряда поднятий, случающихся, как это ныне известно, через долгие промежутки времени, Ост-Индский

архипелаг* шаг за шагом обратился бы в материк и что вдоль оси его возвышения образовалась бы горная цепь. Вследствие первого из этих поднятий растения и животные, населяющие Борнео, Суматру, Новую Гвинею и остальные острова, подверглись бы ряду слегка измененных условий. Климат вообще изменился бы в отношении температуры, влажности и периодических своих изменений; местные же различия были бы значительнее. Эти изменения коснулись бы, может быть, всей флоры и фауны страны. Изменение уровня произвело бы дальнейшие изменения, которые различно проявлялись бы в различных видах и в различных членах одного и того же вида, соответственно удалению их от оси возвышения. Растения, свойственные только морским берегам, вероятно, исчезли бы. Другие, жившие только в болотах при известной степени влажности, если б и пережили переворот, то, вероятно, подверглись бы резким внешним изменениям. Между тем еще более значительные перемены произошли бы в растениях, постепенно распространяющихся по суше, вновь поднятой над морем. Животные, как и насекомые, живущие на этих измененных растениях, сами в некоторой степени изменились бы вследствие перемены пищи и перемены климата; и эти изменения были бы резче там, где вследствие вырождения или исчезновения одного рода растений пищей служил бы другой близкий род. В течение многих поколений, возникших до следующего поднятия, значительные или незначительные изменения, произведенные таким образом в каждом виде, получили бы уже известную стройность, явилось бы более или менее полное применение к новым условиям. Следующее поднятие прибавило бы дальнейшие органические перемены, ведущие за собой более значительные отклонения от первоначальных форм; то же повторялось бы и далее. Но здесь должно заметить, что переворот, бывший результатом этого, состоял бы не в замене тысячу более или менее измененных видов тысячей первоначальных видов; но вместо тысячи первоначальных видов возникло бы несколько тысяч видов, разновидностей или измененных форм. Различные члены каждого вида, распределенного на сколько-нибудь обширном пространстве и постоянно стремящегося заселить вновь открытое пространство, будут подвержены ряду различных изменений. Растений и животных, селящихся около экватора, коснулись бы

они не в одинаковой степени с теми, которые селятся далее от него. Селящиеся около новых берегов были бы подвержены изменениям, несходным с теми, которым были бы подвержены селящиеся в горах. Таким образом, каждая первоначальная порода организмов стала бы корнем, от которого расходились бы отдельные породы, более или менее отличающиеся и от корня, и друг от друга; и если бы некоторые из них исчезли впоследствии, то, вероятно, некоторые перешли бы в следующий геологический период, так как самое рассеяние их умножило бы шансы их пережить переворот. Изменения происходили бы не только вследствие перемены физических условий и пищи, но в иных случаях и вследствие перемены привычек. Фауна каждого острова, постепенно населяя вновь выступившую из океана сушу, приходила бы иногда в соприкосновение с фаунами других островов, и некоторые члены этих последних фаун стали бы несходны с прежними. Травоядные, встречаясь с новыми хищными зверями, были бы принуждены прибегать к иным способам защиты или спасения, нежели прежде, а вместе с тем и хищные звери изменили бы свои способы преследования и нападения. Мы знаем, что, когда обстоятельства этого требуют, подобные изменения привычек у животных действительно имеют место; а мы знаем, что если новые привычки делаются господствующими, то они непременно должны в некоторой степени изменить и организацию. Заметим, однако, еще дальнейшее последствие. Тут должно бы возникнуть не только стремление к дифференцированию каждой расы организмов на отдельные расы, но и стремление к произведению в известной степени более высокого организма. Взятые в массе, эти расходящиеся разновидности, бывшие результатом новых физических условий и привычек жизни, проявят изменения весьма неопределенного рода и степени, изменения, которые не составят необходимого шага вперед. Вероятно, в большем числе случаев измененный тип не будет ни более, ни менее разнообразен, чем первоначальный. В тех случаях, когда вновь усвоенные привычки жизни проще прежних, результатом будет менее разнообразное строение; произойдет отступление назад. Но от времени до времени должно случиться, что какое-нибудь подразделение вида, попадая под такие условия, которые предоставляют ему несколько более сложные отправления и требуют несколько

более сложного действия, достигнет в некоторых своих органах дальнейшего дифференцирования в пропорционально слабых степенях и делается несколько более разнородным. Таким образом, по естественному ходу вещей, от времени до времени будет возникать увеличение разнородности как в земной флоре и фауне, так и в отдельных расах, заключающихся в них. Не вдаваясь в подробные объяснения и допуская обозначения, которых нельзя определить здесь с точностью, мы полагаем, что ясно видно, как геологические изменения постоянно стремились к усложнению форм жизни, отдельно или собирательно рассматриваемых. Те же самые причины, которые повели за собой развитие земной коры от простого к сложному, одновременно повели за собой и параллельное этому развитие жизни на поверхности Земли. В этом случае, как и в предшествующих, мы видим, что превращение однородного в разнородное зависит от того всеобщего принципа, что каждая действующая сила производит более одного изменения.

Дедукция, полученная здесь из утвержденных истин геологии и общих законов жизни, приобретает огромный вес, являясь в гармонии с индукцией, получаемой из непосредственного опыта. Мы знаем, что то же самое размножение рас от одной, которое, по нашему предположению, должно было непрерывно происходить в геологический период, происходило в человеке и в домашних животных в доисторический и в исторический периоды. Именно то размножение последствий, которое, по нашему заключению, должно было произвести первое, произвело, как мы видим, и последнее. Отдельные причины, как то: голод, теснота народонаселения, война — периодически приводили к дальнейшему расселению человеческого рода и домашних животных; и каждое подобное расселение служило началом новых изменений, новых разновидностей типа. Произошел или нет род человеческий от одного корня, во всяком случае, филология ясно доказывает, что целые группы рас, легко различаемые ныне одна от другой, составляли первоначально одну расу; что расселение одной расы по различным климатам и в среду различных условий существования произвело многие измененные ее формы. То же происходило и с домашними животными. Если в иных случаях (как, например, относительно собак) общее происхождение, может быть, подлежит спору, то в других

(как, например, относительно овец или рогатого скота в нашем отечестве) нет сомнения, что местные различия климата, пищи и ухода превратили одну первоначальную породу в многочисленные породы, дошедшие ныне до такого резкого различия, что явились уже неустойчивые помеси. Сверх того, усложнение последствий, проистекающих от отдельных причин, показывает нам и предположенное выше усиление не только общей, но и частной разнородности. Между тем как многие из расходящихся разделений и подразделений человеческой расы подверглись изменениям, не составляющим поступательного движения; между тем как в иных тип даже вырожден, — есть и такие, в которых он стал положительно более разнородным. Образованный европеец гораздо далее отклоняется от позвоночного прототипа своего, нежели дикий. Таким образом, как закон, так и причина прогресса, которые, по недостатку свидетельств, могут быть только гипотетически выведены относительно наиболее ранних форм жизни на земном шаре, могут быть основательно доказаны относительно новейших форм¹.

Если переход человека к большей разнородности можно объяснить произведением нескольких действий одной причиной, то переход общества к большей разнородности еще лучше

¹ Доказательства в пользу органической эволюции, заключающиеся в двух последних параграфах, слово в слово те же, какие были приведены в этой же статье, когда она была впервые напечатана в апрельской книжке «Westminster Review» в 1857 г. Я оставил их, не изменив ни слова, для того, чтобы было видно, каковы были в то время мои возражения на происхождение видов. Единственная причина, которую я признавал, было прямое приспособление организма к окружающим условиям в связи с унаследованием видоизмененных от упражнения или от неупражнения органов. Там не было указано на другую причину, раскрытую 2½ года спустя в известном сочинении Дарвина, именно — косвенное приспособление, происходящее от естественного подбора благоприятствуемых пород. Каким бы способом ни происходило приспособление к изменению внешних условий, умножение признаков иллюстрируется одинаково. Я мог бы прибавить еще, что там была высказана мысль, что наследование органических форм происходит не периодически, а путем постоянного отклонения, т.е. что тут имеет место постоянное «отклонение многих рас от одной расы», каждый вид является корнем, от которого происходят многие другие виды; прекрасным символом в данном случае может служить растущее дерево.

объясняется этим. Рассмотрим возрастание какой-либо промышленной организации. Когда случается, что какая-либо личность известного племени проявляет особенную способность к выделке какого-нибудь общеупотребительного предмета, оружия например, которое до тех пор каждый делал сам для себя, — тотчас же возникает стремление к дифференцированию этой личности в делателя этого оружия. Его товарищи — все воины и охотники — сознают преимущество иметь лучшее оружие, какое возможно сделать, и, конечно, будут стараться способствовать тому, чтобы эта искусная личность делала для них оружие. С другой стороны, человек, имеющий не только особенную способность, но и особенную охоту к выделке такого оружия (потому что обыкновенно талант и любовь к занятию идут рядом), расположен к исполнению этих заказов за известное вознаграждение, особенно если при этом удовлетворено и желание его отличиться. Это первое специализирование функций, будучи раз возбуждено, постоянно стремится к тому, чтобы сделаться более определенным. В делателе оружия постоянное занятие порождает увеличение искусства, увеличение превосходства его произведений; в заказчиках же прекращение известных занятий влечет за собой уменьшение искусства. Таким образом, влияния, обуславливающие это разделение труда, возрастают в силе обоими путями; и зарождающаяся разнородность утверждается обыкновенно в целом поколении, если не долее. Заметим теперь, что этот процесс не только дифференцирует социальную массу на две части, одну монополизирующую, или почти монополизирующую, известное производство, и другую, потерявшую привычку, а в некоторой степени и возможность заниматься им, — он стремится притом и к порождению других дифференцирований. Описанный нами переход предполагает введение мены: делателю оружия в каждом случае уплачивают такими предметами, какие он согласен получить в обмен. Но он не будет брать постоянно один и тот же род предметов в обмен. Ему нужны не одни циновки, не одни кожи или рыболовные приборы; ему нужны все эти предметы, и в каждом случае он будет условливаться об особенных, наиболее нужных ему предметах. Что из этого возникает? Если между членами племени есть хотя слабое различие в степени искусства изготовления всех этих различных предметов, как,

почти несомненно, и должно быть, то делатель оружия возьмет от каждого тот предмет, в производстве которого отличается потребитель: он будет меняться на цинковки с тем, чьи цинковки лучше, и будет договариваться о рыболовном приборе с тем, у кого есть лучший. Но променявший свои цинковки или свой рыболовный прибор должен сделать другие цинковки и приборы для себя, и при этом развивает свою способность в некоторой степени. Результат тот, что небольшие специальности способностей различных членов одного племени стремятся к большей определенности. Последуют ли за сим или нет явные дифференцирования других личностей в производителей отдельных предметов, во всяком случае, ясно, что зарождающиеся дифференцирования происходят во всем племени; одна первоначальная причина производит не только первое двойственное действие, но и несколько второстепенных двойственных действий того же рода, но меньшей степени. Этот процесс, следы которого замечаются в группах школьников, едва ли может произвести продолжительные действия в неустроенном племени; но там, где возрастает оседлая и размножающаяся община, дифференцирования эти становятся постоянными и увеличиваются с каждым поколением. Большое население, обуславливающее и большой запрос на каждый продукт, дает бóльшую силу производительной деятельности каждого отдельного человека или класса; а это делает специализацию более определенной там, где она уже существует, и утверждает ее там, где она едва зарождается. Увеличивая требование на средства к пропитанию, размножение населения еще более усиливает эти результаты, так как каждый побуждается теснее и теснее ограничиваться тем, что он производит лучше всего и чем он может наиболее выработать. Непосредственно затем подобные же побуждения порождают новые занятия. Способные работники, постоянная цель которых состоит в улучшении их произведений, открывают лучшие способы производства и лучшие материалы. Замена камня бронзой доставила тому, кто первый ввел ее, значительно увеличившийся спрос; так что скоро все время производителя поглощается выделкою бронзы для изготовляемых им предметов, и он должен уступить другим обработку самих предметов, таким образом, выделка бронзы, постепенно дифференцированная от прежде существовавшего занятия, становится

отдельным занятием. Обратим теперь внимание на разветвление перемен, следующих за этой переменной. Бронза скоро начинает заменять камень не только в тех предметах, в которых он первоначально употреблялся, но и во многих других — в оружии, инструментах и различной утвари; он влияет таким образом на производства этих предметов. Далее, эта переменная влияет на производства, зависящие от этих орудий, и на предметы этих производств; она изменяет постройки, резьбу, наряды. Далее, она развивает многие новые отрасли промышленности, бывшие до того невозможными по недостатку материала, годного для требуемых инструментов. И все эти перемены производят реакцию на народ — увеличивают его искусство в ручных произведениях, развивают его понимание, его удобства жизни, утончают его привычки и вкусы. Таким образом, развитие однородного общества в разноподное, очевидно, выводится из общего начала — что одна причина производит несколько действий.

Пределы нашей статьи не позволяют нам проследить этот процесс в его высших усложнениях; иначе мы показали бы, что локализация отдельных отраслей промышленности в отдельных частях государства, так же как и подробности разделения труда в производстве каждого продукта, обуславливается подобным же путем. Обращаясь к несколько иному разряду пояснений, мы могли бы остановиться на многочисленных изменениях — вещественных, духовных, нравственных, которые произвело книгопечатание, или на еще более обширном ряде изменений, вызванных изобретением пороха. Но, оставляя в стороне промежуточные фазисы общественного развития, возьмем несколько пояснений из новейших и высших его фазисов. Описание действия паровой силы, в многочисленных ее применениях к горному делу, мореплаванию и промышленности разного рода, вовлекло бы нас в бесконечные подробности. Ограничимся последним воплощением паровой силы — локомотивом. Он, как главная основа железных дорог, изменил весь вид стран, весь ход торговли, все привычки народов. Укажем сперва на сложный ряд перемен, предшествующих построению всякой железной дороги (в Англии): предварительные переговоры, митинги, протоколы, производство исследований местности, парламентское рассмотрение, литографирование планов,

справки местные и общие, прошение в парламент, занятие специального комитета, первое, второе и третье чтение; каждая из этих ступеней указывает на многочисленные сношения и развитие нескольких различных отраслей занятий — инженеров, инспекторов, литографов, парламентских агентов, маклеров — и создание нескольких других, как, например, общих и специальных промышленных агентов. Укажем на дальнейшие перемены, производимые постройкою железных дорог; уравнивания, насыпи, тоннели, разветвления дорог; постройку мостов и станций; возведение полотна, кладку шпал, рельсов; постройку машин, тендеров, платформ и вагонов. Эти процессы, действуя на многочисленные отрасли промышленности, увеличивают ввоз строевого леса, разработку каменноломен, выделку железа, разработку каменноугольных копей, обжигание кирпичей; создают разнообразные специальные отрасли промышленности, о которых еженедельно объявляет газета «Railway Times», и, наконец, пролагают путь ко многим новым отраслям занятий, как то: кондукторов, кочегаров, смазчиков, кладчиков рельсов и пр. Взглянем затем на изменения, еще более многочисленные и сложные, производимые действующими железными дорогами на общество в целом. Учреждаются агентства там, где они прежде не окупались; товары приобретаются из далеких складов, вместо того чтобы приобретаться путем мелочной покупки; употребляются продукты, бывшие прежде недоступными по причине отдаленности. Быстрота и дешевизна перевозки стремятся, кроме того, специализировать, более чем когда-либо, промышленность различных местностей — ограничить каждую мануфактуру теми частями страны, где, вследствие местных условий, она более всего может процветать. Далее, уменьшающаяся стоимость перевозки облегчает распределение продукта, уравнивает цены и средним числом понижает их, делая таким образом различные предметы доступными людям, не имевшим прежде возможности покупать их, увеличивая таким образом удобства и утончая привычки этих людей. В то же время распространяется обычай путешествовать. Сословия, которые до того никогда не помышляли о путешествиях, делают ежегодные поездки на морской берег; посещают родственников, живущих в отдалении; предпринимают небольшие увеселительные путешествия, вынося из всего этого пользу для тела, чувств и ума.

Сверх того, скорейшая передача писем и новостей производит дальнейшие изменения — заставляет пульс народа биться быстрее. Появляется бесчисленное множество дешевых изданий, распространяемых посредством продажи на станциях железных дорог, столько же объявлений в вагонах железных дорог; оба средства эти содействуют дальнейшему прогрессу. И все эти бесчисленные перемены, указанные здесь вкратце, порождены изобретением паровой машины. Общественный организм стал более разнородным в силу многих вновь введенных занятий и других, существовавших уже, но теперь более специализированных; цены на произведения повсеместно изменились; каждый торговец более или менее изменил способ ведения своих дел, и все это отразилось на действиях и мыслях едва ли не каждого из людей.

Можно было бы привести бесконечное количество подобных пояснений. Единственный факт, требующий еще внимания, есть тот, что здесь яснее, чем где-либо, подтверждается указанная выше истина, что, чем разнороднее поверхность, на которую действует какая-либо сила, тем сложнее бывают и результаты ее как по числу, так и родам своим. Между тем как у первобытных племен, которым впервые стал известен каучук, он произвел весьма немногие перемены, у нас перемены эти стали так многочисленны и разнообразны, что история их занимает целый том*. В небольшой, однородной общине, населяющей какой-либо из Гебридских островов, употребление электрического телеграфа едва ли произвело бы какие-нибудь результаты; в Англии же результаты эти бесчисленны. Сравнительно простая организация, среди которой жили наши предки пять столетий тому назад, подверглась бы незначительным изменениям вследствие событий, подобных тем, какие мы недавно видели в Кантоне**; в наше же время законодательное постановление, бывшее их результатом, порождает несколько сот сложных изменений, из которых каждое, в свою очередь, делается родоначальником многочисленных будущих изменений.

Если б место позволяло, мы охотно продолжили бы аргументацию нашу в область более тонких результатов цивилизации. Подобно тому, как мы выше показали, что закон прогресса, подчиняющий себе органический и неорганический миры, управляет также и языком, скульптурой, музыкой и т.д.,

можно бы здесь показать, что и причина, принятая нами за обуславливающую прогресс, применима и в этих случаях. Мы могли бы подробно доказать, как в науке поступательное движение одной отрасли немедленно подвигает и другие отрасли; как неизмеримо подвинули астрономию открытия в оптике, между тем как другие оптические открытия дали начало микроскопической анатомии и в значительной степени способствовали развитию физиологии; как химия косвенным образом увеличила наши сведения об электричестве и магнетизме, наши знания в биологии и геологии; как электричество произвело реакцию на химию и магнетизм, расширило воззрение наше на свет и теплоту. Ту же самую истину можно было бы проследить и в литературе, в многочисленных влияниях первоначальных мистерий, породивших новейшую драму, которая также имеет разнообразные разветвления, или в беспрестанно размножающихся формах периодической литературы, происшедших от первого газетного листка и с тех пор постоянно действовавших и действовавших одна на другую. Влияние, производимое какой-нибудь новой школой живописи, как, например, школой прерафаэлитов*, на другие школы; произведения фотографии, которыми пользуются все роды живописного искусства; сложные результаты новых критических доктрин, какова, например, доктрина Рёскина**, — на всем этом можно было бы подробно остановиться, как на проявлениях подобного же умножения действий одной причины.

Мы смеем думать, что дело наше сделано. Недостатки, неизбежно сопряженные с краткостью изложения, не повредят, надеемся, нашим положениям. Ближайшие определения, в которых могла бы кое-где представиться надобность, не изменили бы выводов. Хотя при исследовании генезиса прогресса мы часто говорили о сложных причинах как о простых, все-таки останется справедливым, что причины эти гораздо менее сложны, нежели их результаты. Критика подробностей не могла бы касаться основного нашего положения. Бесконечные факты служат доказательством того, что всякая форма прогресса идет от однородного к разнородному, — а это происходит потому, что каждая перемена имеет следствием несколько перемен. И замечательно, что там, где факты наиболее доступны и изобильны, там эти истины очевиднее всего.

Однако, чтобы не брать на себя больше, чем доказано, мы должны ограничиться положением, что таковы закон и причины всякого известного нам прогресса. Если гипотеза туманных масс будет когда-нибудь подтверждена, нам станет ясным, что вся Вселенная вообще, так же как и всякий организм, была некогда однородна; что в целом, как и в каждой подробности, она беспрерывно подвигалась к большей разнородности. Тогда можно будет видеть, что в каждом обыденном явлении, как и с самого начала вещей, разложение затраченной силы на несколько сил постоянно производило еще большее усложнение; что возрастание разнородности, произведенное таким образом, все еще продолжается и должно продолжаться еще далее и что, следовательно, прогресс не есть ни дело случая, ни дело, подчиненное воле человеческой, а благотворная необходимость.

Надо прибавить несколько слов касательно онтологического значения нашей аргументации. Вероятно, многие увидят в ней попытку разрешить великие вопросы, затруднявшие философию всех времен. Пусть не обманываются такие читатели. После всего, что сказано, конечная тайна остается такой же тайной, как и прежде. Изложение того, что объяснимо, выставляет только в более сильном свете необъяснимость того, что остается позади. Как бы ни казалось неправдоподобным, но смелая пытливость стремится постоянно к тому, чтобы положить более прочное основание всякой истинной религии. Робкий сектатор, принужденный покидать одно за другим все суеверия своих предков и видя ежедневно дорогие верования свои все более и более потрясаемыми, страшится втайне, что когда-нибудь *все* вещи будут разъяснены; сообразно этому увеличивается и его боязнь науки, являя таким образом худшее из всех неверий — опасение, что истина может быть нехороша. С другой стороны, искренний приверженец науки, довольствуясь тем, что ему дает очевидность, приобретает при каждом новом исследовании все более глубокое убеждение, что Вселенная есть неразрешимая задача. Как во внешнем, так равно и во внутреннем мире он видит себя среди вечных перемен, ни начала, ни конца которых он не может открыть. Если, проследив весь ход развития вещей, он допустит гипотезу, что всякое вещество существовало некогда в рассеянной форме, то понять, как это сделалось, будет для него все-таки невозможно;

равным образом если он станет размышлять о будущем, то не в состоянии означить предела той великой последовательности явлений, которая непрестанно развертывается перед ним. С другой стороны, всматриваясь внутрь себя, он увидит, что оба конца нити его сознания вне его достижения: он не может вспомнить, когда или как началось это сознание, и не может рассмотреть сознание, существующее в текущий момент; ибо только состояние минувшего сознания может стать предметом размышления, а отнюдь не то, которое приходится в данный момент. Обращаясь далее от последовательности внешних или внутренних явлений к сущности их, он так же точно останавливается. Если ему и удастся истолковать все свойства вещей проявлениями силы, то это не объяснит ему, что такое сила; он находит, напротив, что, чем он более о ней думает, тем более приходит в недоумение. Равным образом хотя анализ умственных действий и приведет его наконец к ощущениям как к первоначальному материалу, из которого соткана всякая мысль, но это не подвинет его вперед, ибо он никак не в состоянии понять ощущение. Таким образом он открывает, что элементы как внутреннего, так и внешнего мира равно неизведомы в их основном генезисе и основной природе. Он видит, что споры материалистов и спиритуалистов не более как война слов: обе стороны равно нелепы, потому что обе думают, что понимают то, чего никакой человек не может понять. Во всех направлениях исследования его непременно ставят лицом к лицу с непознаваемым, и он все яснее видит, что это непознаваемое действительно непознаваемо. Он сразу убеждается и в величии и в ничтожности человеческого разума — его власти над всем, что входит в пределы опыта: его немощности во всем, что заходит за пределы опыта. Он чувствует живее, чем кто-либо, полную непостижимость самого простейшего из фактов, распознаваемого в самом себе. Он один истинно *видит*, что абсолютное знание невозможно. Он один *знает*, что под всеми вещами скрывается непроницаемая тайна.

III | ОБЫЧАИ И ПРИЛИЧИЯ¹

Всякий, кто изучал физиономию политических митингов, заметил, конечно, связь, существующую между демократическими мнениями и особенностями костюма. На всякой демонстрации чартистов, лекции о социализме или *Soirée* «Друзей Италии» в числе публики, и особенно в числе ораторов, встречаются личности, более или менее резко выдающиеся из толпы. У одного господина пробор на голове сделан не сбоку, а посередине; другой, зачесывая волосы со лба назад, носит прическу, «придающую лицу умное выражение»; третий совершенно отрекся от ножниц, вследствие чего кудри его рассыпаются по плечам. Усы являются в значительном числе; там и сям мелькает эспаньолка; кое-где храбрый нарушитель приличий представляет даже окладистую бороду². Эта своеобразность прически находит себе поддержку и в различных своеобразностях одежды, представляемых другими членами собрания. Открытая шея à la Вугон, квакерские жилеты, изумительно мохнатые плащи, многочисленные странности в покрое и цвете одежды прерывают однообразие, свойственное толпе. Даже в личностях, не представляющих какой-либо резкой особенности, что-нибудь необыкновенное в фасоне или материи их одежды часто указывает, что господа эти мало обращают внимания на указания портных своих относительно господствующего вкуса. А когда собрание начинает расходиться, то разнообразие, представляемое головными уборами, число шапок и изобилие войлочных шляп достаточно доказывают, что если бы все на свете думали одинаково, то тираны наши — черные цилиндрические шляпы — скоро были бы низвергнуты.

Из иностранной корреспонденции наших ежедневных газет видно, что и на континенте существует подобное же родство между политическим недовольством и пренебрежением к обычаям. Красные республиканцы всегда отличались своей

¹ Впервые опубликовано в журнале «Westminster Review» за апрель 1854 г.

² Статья была написана мною прежде, нежели усы и бороды вошли в употребление в Англии.

растрепанностью. Прусские, австрийские и итальянские власти равно признают известную форму шляп за выражение неприязни и вследствие этого мечут громы свои против них. В иных местах носить блузу значит рисковать попасть в разряд «подозрительных»; в других, чтобы не попасть в полицию, надо остерегаться выходить на улицу иначе как в одежде самых обыкновенных цветов. Таким образом, демократия как у нас, так и в чужих краях стремится к личным особенностям. Эта ассоциация характеристических черт не есть исключительная принадлежность новейшего времени или государственных реформаторов. Она всегда существовала и проявлялась столько же в религиозных волнениях, сколько и в политических. Пуритане, порицавшие длинные локоны кавалеров так же, как и их принципы, стригли свои волосы коротко, отчего и получили название «круглоголовых». Резкая религиозная особенность квакеров сопровождается столь же резкими особенностями в обычаях — относительно одежды, речи и образа приветствия. Первые Моравские братья* не только отличались от других христиан в вере, но и одевались и жили отлично от них. Что связь между политической независимостью и независимостью личного поведения не есть явление, исключительно свойственное нашему времени, видно также из того, что *Франклин* явился к французскому двору в обыкновенном платье, то же видно в обычае последнего поколения радикалов носить белые шляпы. Природная оригинальность непременно выкажется более чем одним путем. Какой-нибудь кожаный камзол *Георга Фокса* или какая-нибудь школьная кличка *Песталоцци* — «чудак Гарри» невольно наводят нас на мысль, что люди, которые в великих делах не следовали по избитой дороге, часто удалялись от нее и в ничтожных вещах. Подобные же доказательства этой истины представляются почти в каждом кругу личностями менее значительными. Мы полагаем, что всякий, перебирая своих знакомых реформаторов и рационалистов, найдет, что большинство их выказывает в одежде или обращении своем известную степень того, что называется эксцентричностью.

Если можно признать факт, что люди, преследующие революционные цели в политике и религии, обыкновенно бывают революционером и в обычаях, то не менее справедлив и тот

факт, что люди, занятие которых заключается в поддержании установленных порядков в государстве и церкви, суть в то же время и люди, наиболее преданные тем социальным формам и постановлениям, которые завещаны нам минувшими поколениями. Обычаи, почти повсеместно исчезнувшие, держатся еще в главной квартире правительства. Монарх наш все еще утверждает парламентские акты на французском языке древних нормандцев, и нормано-французские термины по-прежнему употребляются в законах. Парики, подобные тем, какие мы видим на старинных портретах, и теперь еще можно видеть на головах судей и адвокатов. Королевская стража при Тауэре носит костюм гвардейцев *Генриха VII*. Университетская одежда настоящего времени весьма мало отличается от той, которую носили вскоре после Реформации. Цветное платье, панталоны до колен, кружевное жабо и манжеты, белые шелковые чулки и башмаки с пряжками — все это составляло некогда обыкновенный наряд джентльмена и сохранилось доселе в придворном костюме. И едва ли надо говорить о том, что на придворных выходах и приемах церемонии предписаны с такой точностью и строгой обязательностью, каких нигде нельзя найти.

Можно ли смотреть на эти два ряда аналогий как на нечто случайное и не имеющее значения? Не основательнее ли заключить, что тут существует некоторое необходимое родство идей? Не следует ли признать существование чего-то вроде конституционного консерватизма и конституционного стремления к перемене? Не представляется ли тут класс людей, упорно держащийся за все старое, и другой класс, столь поклоняющийся прогрессу, что часто новизна признается им за улучшение? Нет разве людей, всегда готовых преклоняться перед существующей властью, какого бы рода она ни была; между тем как другие от всякой власти требуют объяснения причины ее существования и отвергают эту власть, если ей нельзя оправдать свое существование? И не должны ли умы, противопоставленные таким образом, стремиться к тому, чтобы стать конформистами или неконформистами не только относительно религии и политики, но и относительно других вещей? Повиновение — правительству ли, церковным ли догматам, кодексу ли приличий, утвержденных обществом, — по сущности своей одинаково; то же чувство, которое внушает сопротивление

деспотизму правителей, гражданских или духовных, внушает и сопротивление деспотизму общественного мнения. Все постановления, как законодательства и консистории, так и гостинной, все правила, как формальные, так и существенные, имеют один общий характер: все они составляют ограничения свободы человека. «Делай то-то и воздерживайся от того-то» — вот бланки, в которые можно вписать любое из них; и в каждом случае подразумевается, что повиновение доставит награду на земле и райскую жизнь на небе; между тем как за неповиновением последует заключение в тюрьму, изгнание из общества или вечные муки ада — смотря по обстоятельствам. И если все стеснения, как бы они ни назывались и какими бы способами ни проявлялись в действии своем, тождественны, то из этого необходимо следует, что люди, которые терпеливо сносят один род стеснений, будут, вероятно, сносить терпеливо и другой, — и обратно, что люди, которые не подчиняются стеснению вообще, будут стремиться одинаково выразить свое сопротивление во всех направлениях.

Что закон, религия и обычаи состоят, таким образом, в связи между собой, что их взаимные способы действий подходят под одно обобщение, что в известных противоположных характеристических чертах человека они встречают общую поддержку и общие нападения, будет ясно видно, когда мы убедимся, что они имеют одинаковое происхождение. Как бы маловероятным это ни казалось нам теперь, мы все-таки найдем, что власть религии, власть законов и власть обычаев составляли вначале одну общую власть. Как ни невероятно может это показаться теперь, но мы полагаем возможным доказать, что правила этикета, статьи свода законов и заповеди церкви произросли от одного корня. Если мы спустимся к первобытному фетишизму, то ясно увидим, что божество, правитель и церемониймейстер были первоначально тождественны. Для того чтобы утвердить эти положения и показать значение их для последующего рассуждения, необходимо вступить на почву, уже несколько избитую и с первого взгляда как будто не подходящую к нашему предмету. Мы постараемся пройти ее так быстро, как только позволят требования нашей аргументации.

Почти никто не оспаривает тот факт, что самые ранние общественные агрегации управлялись единственно волей

сильнейшего¹. Не многие, однако, допускают, что сильный человек был зародышем не только монархии, но и понятия о божестве, сколько Карлейль и другие ни старались доказать это. Но если люди, которые не могут поверить этому, отложат в сторону те идеи о божестве и человеке, в которых они воспитаны, и станут изучать первобытные идеи, то они, очевидно, найдут в предлагаемой гипотезе некоторое вероятие. Пусть они вспомнят, что, прежде чем опыт научил людей различать возможное от невозможного, они были готовы по малейшему поводу приписывать какому-нибудь предмету неведомые силы и делать из него кумира; их понятия о человечестве и его способностях были тогда необходимо смутны и без определенных границ. На человека, который, необыкновенной ли силой или хитростью, исполнил то, чего не могли исполнить другие или чего они не понимали, люди смотрели как на человека, отличного от них; и что тут могло предполагаться не только степенное, но и родовое отличие, это видно из верования полинезийцев, что только вожди их имеют душу, и из верования древних перуанцев, что знатные роды их были божественного происхождения. Пусть эти лица вспомнят затем, как грубы были понятия о Боге или, вернее, о богах, господствовавшие в этом периоде и позднее, как конкретно понимались боги за людей особенного вида, в особенных одеждах, как имена их буквально значили «сильный», «разрушитель», «могущественный», как, сообразно со скандинавской мифологией, «священный долг кровомщения» исполнялся самими богами и как они были людьми не только в своей мести, жестокости и ссорах между собой, но и в приписываемых им любовных связях на Земле и в уничтожении яств, приносившихся на их алтари. Прибавим к этому, что в различных мифологиях — греческой, скандинавской и других — древнейшие существа являются исполинами; что, согласно с традиционной генеалогией, боги, полубоги, а иногда и люди происходили от них человеческим способом и что между тем как на Востоке мы слышим о сынах Божиих, которые восхищались красотой земных дев, тевтонские мифы рассказывают о союзах

¹ Те немногие, которые это отрицают, пожалуй, и правы. В некоторых предшествовавших стадиях власть была установлена; во многих же случаях эта власть не имела вовсе места.

сынов человеческих с дочерьми богов. Пусть эти лица вспомнят также, что вначале идея о смерти значительно отличалась от нашей идеи; что досель еще существуют племена, которые ставят тело покойника на ноги и кладут ему в рот пищу; что у перуанцев устраиваются пиршества, на которых председательствуют мумии умерших инков и на которых, как говорит *Прескотт*, «этим бесчувственным останкам воздаются почести, как будто в них есть еще дыхание жизни»; что между фиджийскими островитянами есть поверье, что каждого врага надо убивать дважды; что восточные язычники приписывают душе ту же форму, тот же вид, те же члены и те же составные вещества, как жидкие, так и твердые, из которых состоит наше тело, и что у наиболее диких племен существует обычай зарывать в землю вместе с покойником пищу, оружие, уборы вследствие верования, что все это ему понадобится. Наконец, пусть они вспомнят, что «тот свет», по первоначальному понятию, был не более как некоторая отдаленная часть этого света, нечто вроде Елисейских полей, нечто вроде прекрасной рощи, которая доступна даже живым людям и в которую умершие отправляются с надеждой вести там жизнь, сходную в общих чертах с той, какую они вели на Земле. Затем, подведя итог всем таким фактам, как приписывание неведомых сил вождям и врачевателям; верование, что божество имеет человеческие формы, страсти и образ жизни; неясное понятие о различии смерти от жизни, сближение будущей жизни с настоящей, как относительно положения, так и характера ее, — подведя итоги всем этим фактам, не окажется ли неизбежным сделать заключение, что первобытный бог есть умерший вождь: умерший не в нашем смысле, но ушедший, унеся с собой пищу и оружие, в какие-то блаженные страны изобилия, в какую-то обетованную землю, куда он давно уже намеревался вести своих последователей и откуда он скоро за ними придет. Допустив эту гипотезу, мы увидим, что она согласуется со всеми первобытными идеями и обычаями. Так как после обоготворенного вождя царствуют сыновья его, то из этого необходимо следует, что все древнейшие государи считаются происходящими от богов; и этим вполне объясняется факт, что в Ассирии, Египте, у евреев, финикийян и древних бриттов имена государей везде производились от имен богов. Происхождение политеизма из фетишизма путем последовательных

переселений расы бого-государей в иной мир, происхождение, поясняемое в греческой мифологии как точной генеалогией богов, так и апофеозом позднейших из них, поддерживается той же гипотезой. Ею же объясняется факт, что в древнейших верах, так же как и в досель существующей вере у таитян, каждое семейство имеет своего духа-хранителя, которым считается обыкновенно один из умерших родственников; духам этим, как второстепенным богам, китайцы и даже русские до сих пор приносят жертвы. Гипотеза эта совершенно согласуется с греческими мифами о войнах богов с титанами и их конечном торжестве и с фактом, что между собственно тевтонскими богами был один, *Фрейр**, попавший в их число путем усыновления, «но рожденный от *Ванов***, какой-то *другой* таинственной династии богов, покоренной и уничтоженной более сильной и более воинственной династией *Одина*». Она гармонирует также с верованием, что для различных стран и народов есть и различные боги, так же как были и различные вожди (что эти боги спорят о верховности, так же как и вожди), и что таким образом является смысл в похвальбе соседственных племен: «Наш Бог больше вашего Бога». Она подтверждается поверьем, повсеместным в ранние времена, что боги выходят из того *другого* жилища, в котором они обыкновенно обитают, и являются посреди людей, беседуют с ними, помогают им и наказывают их. И здесь становится ясным, что молитвы, воссылавшиеся первобытными народами к их богам о помощи в битвах, были понимаемы буквально, т.е. предполагалось, что боги воротятся из тех стран, где они царствуют, и снова вступят в битву со старыми врагами, против которых они прежде так неумолимо сражались; и достаточно только указать на *Илиаду*, чтобы напомнить всякому, как положительно верили тогда люди, что ожидания их сбываются¹.

¹ В этом абзаце, который я намеренно оставил, не изменяя ни слова, в том виде, в каком он был при переиздании этого опыта вместе с другими в декабре 1857 г., можно усмотреть главные черты теории религий. Хотя тут указывается на фетишизм, как на первобытную форму верования, и несмотря на то что в то время я пассивно воспринял бывшую тогда в обращении теорию (я не удовлетворялся взглядами того времени, считавшими происхождение фетишизма необъяснимым), нельзя принимать за первобытное верование,

Итак, если всякое правительство было вначале правительством одного сильного человека, ставшего кумиром вследствие проявления своего превосходства, то после его смерти — предполагаемого отправления его в давно задуманный поход, в котором его сопровождают его рабы и жены, принесенные в жертву на его могиле, — должно было возникнуть зарождающееся отделение религиозной власти от политической, гражданского закона от духовного. Сын умершего становится повеленным вождем на время его отсутствия; действия его считаются облеченными авторитетом отца; мщение отца призывается на всех, кто не покоряется сыну; повеления отца, давно известные или вновь заявленные сыном, становятся зародышем нравственного кодекса. Факт этот станет еще яснее, если мы вспомним, что самые ранние нравственные кодексы преимущественно настаивают на воинских доблестях и на обязанности истребить какое-нибудь соседственное племя, существование которого оскорбляет божество. С этих пор оба рода власти, вначале связанные вместе в лице владыки и исполнителя, постепенно становятся более и более отличны один от другого. По мере того как опытность возрастает и идеи причинности становятся более определенными, государи теряют свои сверхъестественные атрибуты и, вместо бого-государей, становятся государями божественного происхождения, государями, назначенными Богом, наместниками неба, королями в силу божественного права. Старая теория, однако, долго еще продолжает жить в чувствах человека, хотя по названию она уже исчезает, и «сан короля окружается чем-то столь божественным», что даже теперь многие, видя какого-нибудь государя в первый раз, испытывают тайное изумление, что он оказывается не более как обыкновенным образчиком человечества. Священность, признаваемую за королевским достоинством, стали признавать и за зависящими от него

в силу которого неодушевленные предметы обладают сверхъестественной силой (что в то время называлось фетишизмом). Единственная вещь, на которой можно остановиться, это верование в то, что умершие люди продолжают существовать и становятся объектом умилоствления, а иногда и поклонения. Здесь ясно обозначены те зачатки, которые при помощи массы фактов, собранных в описательной социологии, развились в теорию, разработанную в 1-й части «Оснований социологии».

учреждениями — за законодательной властью, за законами; законное и незаконное считаются синонимом справедливого и несправедливого; авторитет парламента признается безграничным, и постоянная вера в правительственную силу продолжает порождать неосновательные надежды на правительственные распоряжения. Однако политический скептицизм, разрушив обаяние королевского достоинства, продолжает возрастать и обещает довести наконец государство до состояния чисто светского учреждения, постановления которого будут нарушаться в ограниченной сфере, недоступной иной власти, кроме общего желания. С другой стороны, религиозная власть мало-помалу отделялась от гражданской как в существе своем, так и в формах. Как бого-государь диких племен перерождался в светских правителей, с течением веков постепенно терявших священные атрибуты, которые люди им приписывали, так в другом направлении возникало понятие о божестве, которое, бывши вначале человеком во всех своих проявлениях, постепенно утрачивало человеческую вещественность, человеческую форму, человеческие страсти и образ действия, — покуда наконец антропоморфизм не сделался предметом укора. Рядом с этим резким разъединением, в мысли человеческой, божественного правителя от светского шло и соответственное разъединение в житейских кодексах, зависящих от каждого из них. Так как государь считался представителем Бога, правителем, какого иудеи видят в мессии, как и доныне, царь — «наш Бог на земле», то из этого, конечно, следовало, что повеления его считались верховными постановлениями. Но когда люди перестали верить в его сверхъестественное происхождение и природу, повеления его перестали считаться верховными; и таким образом возникло различие между его постановлениями и постановлениями, перешедшими от древних бого-государей, которые с течением времени и по мере возрастания мифов становились все священнее и священнее. Отсюда возникли закон и нравственность; первый становился все конкретнее, второй все абстрактнее; авторитет первого постоянно уменьшался, авторитет второй постоянно возрастал, представляя вначале одно и то же, они стоят теперь в решительном антагонизме. Рядом с этим шло и разъединение учреждений, управлявших этими двумя кодексами. Покуда они составляли одно целое, государство и церковь

естественно составляли тоже одно целое: государь был первосвященником не номинально, а действительно: от него исходили новые повеления, он же был и верховным истолкователем древних повелений. Первосвященники, происходившие из его рода, были, таким образом, просто толкователями повелений своих предков, повелений, которые — как принималось вначале — они помнили или — как принималось впоследствии — узнавали через мнимые свидания с предками. Этот союз, существовавший еще в Средние века, когда власть государей была смешана с властью Папы, когда были епископы-правители, пользовавшиеся всеми правами феодальных баронов, и когда духовенство имело карательную власть, — мало-помалу становился менее тесен. Хотя монархи все еще считаются «защитниками веры» и главами церкви, но они считаются ими только номинально. Хотя епископы все еще имеют гражданскую власть, но она уже не та, которой они прежде пользовались. Протестантизм распатал связи этого союза; диссидентство давно уже работало над устройством механизма, назначением которого был бы религиозный контроль, совершенно не зависимый от закона; в Америке существует уже отдельная организация для этой цели; и если можно ожидать чего-нибудь от антигосударственной церковной ассоциации или, как она теперь называется, от «Общества освобождения религии от государственного покровительства и власти» («Society of the Liberation of Religion from State Patronage and Control»), то мы будем и в Англии иметь такую же отдельную организацию. Таким образом, как относительно силы своей, так и относительно сущности и формы, политические и нравственные правила все шире и шире расходились от общего своего корня. Возрастающее разделение труда, которое обозначает прогресс общества в других вещах, обозначает его также и в этом разделении правительства на гражданское и религиозное; и если мы обратим внимание на то, как нравственность, составляющая сущность религии вообще, начинает очищаться от связанных с ней верований, то мы можем надеяться, что разделение это будет в окончательном результате доведено еще далее.

Переходя теперь к третьему роду власти — к власти обычаев, мы найдем, что и он тоже, имея общее происхождение с прочими, постепенно достиг своей отдельной сферы и своего специального воплощения. Среди первобытных обществ, где

не существовало условных приличий, единственными известными формами вежливости были знаки покорности сильнейшему; так же как единственным законом была его воля и единственной религией — чувство почтения и страха, внушенное его мнимой сверхъестественностью. Первобытные церемонии были способом обращения с бого-государем. Самые обыкновенные наши титулы произведены от имени этих властителей. Все роды поклонов были первоначально формами поклонений, воздававшихся им. Проследим эти истины подробно, начиная от титулов.

Вышеприведенный факт, что имена древнейших государей между различными племенами образовались посредством прибавления известных слогов к именам их богов, — слогов, которые, подобно шотландским *Mac* и *Fitz*^{*}, значили, вероятно, «сын» или «происшедший от», — сразу придает слову *отец*, употребляемому как божественный титул. И, читая у *Селздена*, что «имена, составленные из имен божеств, были не только принадлежностью государей, но что и вельможи и наиболее почетные подданные (без сомнения, члены королевской расы) пользовались иногда тем же», мы видим, как слово *отец*, естественно употреблявшееся ими и умножающимися их потомками, постепенно сделалось титулом, употребляемым народом вообще. Среди народов Европы, у которых еще жива вера в божественное происхождение правителя, *отец* в этом высшем значении до сих пор составляет еще королевское отличие. Если мы вспомним далее, что божественность, приписываемая вначале государям, была не льстивой фикцией, а предполагаемым фактом, что небесные тела считались особами, жившими некогда между людьми, мы поймем, что названия восточных правителей «Брат Солнца» и пр., вероятно, были выражениями действительного верования и, подобно многим другим вещам, остались в употреблении долго после того, как уже утратили всякий смысл. Мы можем заключить также, что титулы Бога, владыки, божества придавались первобытным правителям в буквальном смысле, что *nostra divinitas*, приданное римским императорам, и различные священные наименования, носимые монархами, не исключая ныне еще употребляемой фразы: «Our Lord the King», — суть мертвые и отживающие формы того, что некогда было живым фактом. От этих имен: «бог», «отец», «владыка», «божество», принадлежавших первоначально бого-госу-

дарю, а потом Богу и государю, ясно можно проследить происхождение самых обыкновенных наших почетных титулов. Есть причины полагать, что титулы эти были первоначально собственными именами. Не только у египтян, где фараон был синонимом короля, и у римлян, где быть цезарем значило быть императором, видим мы, что собственные имена наиболее великих людей передавались их наследникам и становились таким образом именами нарицательными, но и в скандинавской мифологии можно проследить происхождение почетного титула от собственного имени божественного лица. На англосаксонском языке *bealdor* или *baldor* значит *Lord*, и *Balder* же есть имя любимейших сыновей Одина. Легко понять, каким образом почетные имена эти сделались общими. Родственники первобытных государей, вельможи, которые, как говорит *Сельден*, носили имена, произведенные от имен богов, что и служило доказательством божественности их расы, необходимо имели долю в эпитетах, подобных *Lord*, выражающих сверхчеловеческие связи и природу. Постоянно размножающиеся потомки наследовали эти титулы, что мало-помалу сделало их титулами сравнительно обыкновенными. Потом их стали придавать всякому могущественному лицу, отчасти потому, что в те времена, когда люди понимали божество просто как сильнейший род человечества, знатым людям можно было давать божественные названия с весьма небольшим преувеличением; отчасти потому, что чрезвычайно могущественных лиц легко можно было считать непризнанными или незаконными потомками «сильного», «могущественного», «разрушителя»; отчасти же из лести и желания умиловить таких лиц. По мере постепенного уменьшения суеверия последняя причина стала наконец единственной. И если мы вспомним, что сущность комплимента состоит, как мы ежедневно это слышим, в воздании большего против должного, что в постоянно распространяющемся употреблении титула «*esquire*», в вечном повторении заискивающим ирландцем слов «*your honour*» и в названии низшими классами Лондона «джентльменом» каждого угольщика или мусорщика, — мы имеем ежедневные доказательства, как вследствие комплиментов понижается значение титулов; если вспомним, что в варварские времена, когда желание умиловить было сильнее, действие это также должно было быть сильнее, — мы

увидим, что обширное злоупоминание первобытными отличиями возникло совершенно естественно. Отсюда исходят факты, что иудеи называли *Ирода* Богом; что «отец» в высшем значении был термином, употреблявшимся слугами относительно господ; что слово «Lord» прилагалось всякому значительному или могущественному лицу. Отсюда же происходят факты, что в позднейшие периоды Римской империи всякий человек приветствовал соседа своего названиями *Dominus* и *Rex*. Но процесс этот особенно ясно виден в титулах средневековых и в происхождении из них наших новейших титулов. *Herr*, *Don*, *Signior*, *Seigneur*, *Sennor* — все были первоначально именами правителей, феодальных владетелей. Путем льстивого употребления этих имен относительно всех, кого по какому-либо поводу можно было считать заслуженными этих имен, и путем последовательного понижения их на все более и более низкие ступени они стали наконец обыкновенными формами обращения. Слова, с которыми прежде раб относился к своему деспотическому владельцу: *mein Herr*, употребляются теперь в Германии в обращении с простым народом. Испанский титул *Don*, принадлежавший некогда только аристократам и дворянству, дается теперь всем классам. Точно то же и с *Signior* в Италии. *Seigneur* и *Monseigneur*, сокращенные в *Sieur* и *Monsieur*, образовали почтительный термин, на который имеет притязание каждый француз. И представляет ли слово *Sire* подобное же сокращение *Signior*'а или нет — во всяком случае, ясно, что, так как титул этот носили многие из старинных французских феодальных владельцев, которые, по словам *Сельдена*, «предпочитали называться *Sire*, а не *Baron*, как, например, *Le Sire de Montmorencie*, *Le Sire de Beaujeu* и пр.», и, так как его употребляли обыкновенно относительно монархов, английское слово *Sir*, происшедшее оттуда, первоначально означало лорда или короля. То же надо сказать и о женских титулах. *Lady*, означающее, по толкованию *Горна Тука*, «возвышенная» и придававшееся вначале только немногим, теперь дается всякой образованной женщине. *Dame*, некогда почетное имя, к которому мы в старых книгах находим присоединенные эпитеты «high-born» и «state-ly», сделалось ныне, благодаря постепенно расширяющемуся употреблению, выражением относительно презрительным. И если мы проследим сложное *ma Dame* в его сокращениях —

Madam, ma'am, mam, mum, то найдем, что ответ какой-нибудь горничной «*Yes'm*» соответствует прежним «*Yes my exalted*» или «*Yes, your highness*». Следовательно, происхождение почтенных названий было везде одинаково. То же, что было у иудеев и римлян, было и у новейших европейцев. Проследив обычные слова приветия до первоначального их значения *lord* и *king* и вспоминая, что в первобытных обществах они придавались только богам и их потомкам, мы приходим к заключению, что простые наши *Sir* и *Monsieur* были, в их первоначальном значении, терминами обожания.

Для дальнейшего пояснения этого постепенного упадка титулов и для подтверждения выведенного заключения не лишним будет заметить мимоходом, что старшие из них, как можно было ожидать, более других утратили свой прежний смысл. Так, *Master* — слово, которое по производству своему и по тождественности родственных ему слов в других языках (франц. *maître* вместо *maister*, голл. *Muster*, русск. *мастер*, датск. *Meester*, нем. *Meister*) оказывается одним из древнейших выражений господства, стало теперь придаваться только детям и, в измененном виде *mister*, людям, по положению своему стоящим непосредственно над крестьянами. Далее, *knight*, древнейший из почтенных титулов, стал ныне самым низким; и *knight Bachelor*, низшая степень рыцарства, есть вместе с тем и самая старинная. Точно то же можно сказать и относительно пэрства: барон есть самое раннее и вместе наименее высокое из его подразделений. Этот постоянный упадок всех почетных названий делал по временам необходимым введение новых титулов для обозначения отличия, которое утрачивалось первоначальными титулами вследствие всеобщности их употребления, точно так, как привычка наша злоупотреблять превосходными степенями прилагательных, ослабив постепенно их силу, вызвала потребность в новых. И если в течение последнего тысячелетия процесс этот имел столь резкие последствия, то легко можно понять, каким образом, в течение предшествующих тысячелетий, титулы богов и полубогов стали употребляться относительно всякого могущественного лица, а наконец и относительно просто уважаемых лиц.

Если от почетных имен мы обратимся к фразам, выражающим почтение, мы и здесь найдем тождественные факты.

Восточная манера обращения, употребляемая в отношении обыкновенных людей: — «Я твой раб», «Все, что я имею, — твое», «Я твоя жертва», — приписывает лицу, к которому обращаются, такое же величие, какое выражают *Monsieur* и *my Lord*, т.е. характер всемогущего правителя, столь неизмеримо превосходящего того, кто говорит, что последний должен признать его своим владыкою. Точно то же и с польскими выражениями почтения: «Падаю к ногам вашим», «Целую ваши ноги». В лишенных всякого значения подписях наших на церемонных письмах: «Ваш покорнейший слуга» видно то же самое. Даже простая подпись: «Преданный вам», истолкованная сообразно ее первоначальному значению, выражает отношение раба к господину. Все эти мертвые формы были некогда живыми воплощениями фактов, служили действительными свидетельствами покорности высшей власти; потом они естественно стали употребляться людьми слабыми и трусливыми для умиловливания тех, которые стояли выше их; мало-помалу они стали считаться чем-то должным всякому и, путем постоянно расширявшегося злоупотребления, утратили свое значение, как *Sir* и *Master*. Что фразы почтения, подобно титулам, употреблялись вначале только относительно бого-государя, на это указывает факт, что они, подобно титулам же, употреблялись впоследствии как относительно Бога, так и относительно государя. Религиозное поколение всегда в значительной мере состояло из заявлений покорности, признания себя слугами Божьими и совершенного предания себя воле Божьей. Таким образом, и эти обычные фразы почтения имели, подобно титулам, религиозное происхождение. Но в употреблении слова *вы* как местоимения единственного числа, может быть, наиболее резко проявляется популяризование того, что некогда было высшим отличием. Это обращение во множественном числе к единичному лицу было первоначально почестью, воздававшейся только самым высшим лицам, соответствовало императорскому «мы». Теперь же, будучи придаваемо последовательно все более и более низким классам, оно стало всеобщим. Первобытное *ты* (*thou*) употребляется теперь только одной сектой христиан да еще в некоторых уединенных местечках. *Вы* же, сделавшись общим для всех классов, утратило вместе с тем всякие следы почета, некогда связанного с этим словом.

Но происхождение обычаев из форм покорности и поклонения яснее всего проявляется в способах приветствия людей между собой. Заметим прежде всего значение слов: «привет» и «поклон». У римлян *salutatio* состояло в ежедневном выражении почтения клиентов и подчиненных их патронам. То же значило оно и у граждан по отношению к войску. Следовательно, самое производство английского *salutatio* внушает идею покорности. Переходя к частным формам *obeisance** (заметим опять это слово), начнем с восточного обыкновения обнажения ног. Первоначально оно было знаком почитания как Бога, так и короля. Моисей, сделавший это перед неопалимой купиной, и магометане, которых по обычаю приводят к присяге над Кораном босоногими, служат примерами первого; а обыкновение персиян снимать обувь, являясь перед лицом своего монарха, поясняет второе. Но, как всегда, эта дань уважения, приносившаяся впоследствии второстепенным сановникам, постепенно спустилась все ниже и ниже. В Индии она представляет обычный знак почтения; в Турции низшие классы турок никогда не являются перед своими начальниками иначе как в чулках; в Японии это обнажение ног составляет обыкновенное приветствие**. Возьмем другой пример. Сельден, описывая церемонии римлян, говорит: «Так как было принято или целовать изображения богов, или, при поклонении им, стоять пред ними, торжественно поднимая правую руку к устам, и затем, сделав ею движение как будто посылаешь поцелуй, поворачиваться направо (что было самой правильной формой обожания), — то скоро вошло в употребление, что и императорам, стоявшим ближе всех к божествам и почитавшимся иными за божества, стали поклоняться точно таким же образом». Если мы вспомним неуклюжий поклон деревенского школьника, который подносит раскрытую руку к лицу и описывает ею потом полукруг, если мы вспомним, что подобный поклон, употребленный как форма глубокого почитания в селах и местечках, есть, вероятно, остаток феодальных времен, — мы найдем причину предположить, что обыкновенный привет приятелю, замеченному на противоположной стороне улицы, изображает то, что первоначально было выражением обожания. Таким же путем произошли и все формы почтения, выражаемые склонением всего тела. Простереться на земле значило первоначально выразить

покорность. Слова Писания: «Вся положил еси под нозе его» и другие, столь внушительные по своему антропоморфизму: «Сказал Господь Господу Моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих», — подразумевают обычай, ясно выраженный ассирийскими скульптурными изображениями, обычай древних бого-государей Востока попирать ногами побежденных. И если мы обратим внимание на то, что доселе еще существуют дикие, изъывляющие покорность тем, что подставляют шею свою под ногу того, кому покоряются, то нам станет ясно, что всякое падение ниц, особенно сопровождаемое целованием ног, выражало готовность быть попраным, составляло попытку смягчить гнев, говоря знаками: «Топчи меня, если хочешь». Помня далее, что целование ноги Папы или статуи какого-нибудь святого донныне считается в Европе знаком глубочайшего почитания; что падание перед феодальными владельцами было общеупотребительно и что исчезновение этого обычая должно было произойти не вдруг, но путем постепенного изменения формы, — мы имеем повод отнести всякое почтительное склонение к этому глубочайшему из самоунижений тем более что переход тут можно проследить довольно подробно. Поклон русского крестьянина, который нагибает голову до земли, и *селям* индуса суть сокращенные падения ниц; склонение головы есть короткий *селям*; кивание есть легкое склонение головы. Если б кто-нибудь затруднился вывести это заключение, то следует обратить внимание на то, что самые низкие поклоны употребляются обыкновенно там, где покорность имеет самый унижительный характер; что и у нас более низкий поклон означает большую степень почтения и, наконец, что склонение и теперь еще употребляется как знак благоговения в наших церквях: католиками — перед алтарями, протестантами — при произнесении имени Христа. Вспомнив все это, всякий найдет достаточно доказательств для того, чтобы увериться, что и поклон наш первоначально тоже был одним из проявлений обожания.

То же самое можно сказать и о *curtsy* или, как иначе пишут, *courtesy* (приседание, поклон с отставлением одной ноги назад). Происхождение этого слова от *courtoisie* (придворное обращение) сразу показывает, что первоначально оно было знаком почтения перед монархом. И если мы вспомним, что

коленипреклонение было обыкновенным поклоном подданных своим правителям; что на старинных рукописях и обоях слуги изображаются подающими кушанья на стол своих господ в этой позе; что эту же позу принимают и перед нашей королевой лица, представляющиеся ей, — мы будем вправе заключить, что приседание, как на то указывает и самый процесс его, есть сокращенный акт коленипреклонения. Как слово сократилось из *courtoisie* в *curtsy*, так сократилось и самое движение: вместо того чтобы ставить колени на землю, мы только сгибаем их. Далее, сравнивая реверанс какой-нибудь дамы с неуклюжим приседанием деревенской девушки, которое, будучи продолжено, заставило бы ее опуститься наконец на оба колена, мы видим в последнем остаток большего почитания, требовавшегося от рабов. И когда от этого простого коленипреклонения на Западе мы перейдем на Восток и обратим внимание на магометанского богомольца, который не только становится на колени, но и склоняет голову до земли, мы можем заключить, что и приседание также есть исчезающая форма первобытного падения ниц. Дальнейшим свидетельством этого может служить факт, что только недавно исчезло из поклонов мужчин движение, имевшее одинаковое происхождение с приседанием. Отставление ноги назад, которым сопровождаются известные поклоны на сцене и которое всюду почти господствовало в прошлых поколениях, когда «поклонись и шаркни ножкой» шло рядом и на памяти живых еще людей делалось школьниками перед своим учителем и имело последствием вытоптанное место на полу, — довольно ясно изображает движение, обуславливаемое преклонением колен. Столь неловкое движение никогда не могло быть введено умышленно, даже если бы и было возможно искусственное введение поклонов. Следовательно, мы должны смотреть на него как на остаток чего-то предшествовавшего, и что это предшествовавшее было чем-то унижительным, об этом можно судить из выражения «Scraping an acquaintance», которое, будучи употребляемо в смысле заискивания милостей низкопоклонством, подразумевает, что *the scrape* (шарканье, топтание порогов) считалось признаком раболепия, *servility*.

Рассмотрим, далее, обнажение головы. Почти везде оно было знаком почтения, как в храмах, так и перед властителями; оно и доселе еще сохраняет между нами нечто из своего первобытного

значения. Идет ли дождь или град, печет ли солнце, вы должны стоять с непокрытой головой, говоря с монархом, и ни под каким видом не можете накрыть голову в каком-нибудь священном месте. Но, как обыкновенно бывает, церемония эта, служившая вначале знаком покорности богам и государям, с течением времени сделалась простой вежливостью. Снять шляпу значило некогда признать над собой безграничное превосходство другого лица, теперь же это приветствие обращается к очень обыкновенным лицам; и обнажение головы, первоначально назначенное только для входа в «Дом Господень», предписывается теперь вежливостью при входе в дом простого земледельца.

Стояние, как знак уважения, подвергалось таким же распространениям значения. Являясь при употреблении в церкви серединой между унижением, выражающимся в коленопреклонении, и самоугождением, подразумеваемым в сидячем положении, будучи употребляемо при дворах как форма почтения, следующая за более действительными его изъяснениями, это положение употребляется в обыденной жизни как знак уважения, что одинаково видно и из позы слуги перед своим господином и из вставания при выходе посетителя, которое предписывается вежливостью.

Можно было бы ввести в нашу аргументацию много других доказательств, например тот знаменательный факт, что если мы проследим историю донныне существующего закона о первородстве; если смотреть, как он проявляется в шотландских кланах, где не только собственностью, но и управлением владел с самого начала старший сын старшего в роду; если припомнить, что старинные титулы владельцев — *Signor, Seigneur, Sennor, Sire, Sieur* — все первоначально значили *старший, старейший*; если убедимся, что на Востоке *шейх* имеет подобное же значение и что восточные имена священников, как, например, *цир*, буквально значат *старый человек*; если, обратившись к еврейским памятникам, убедимся в древности мнения о превосходстве первородных, в значении авторитета старших и в святости памяти о патриархах, и если затем мы вспомним, что в числе божественных титулов есть «Ветхий денми» и «Отец богов и людей», — то мы увидим, что эти факты вполне гармонируют с гипотезой, что первобытный Бог есть первый человек, достаточно великий для того, чтобы перейти в предание, первый,

заставивший помнить себя своим могуществом и деяниями; что отсюда с древностью стали неизбежно соединять превосходство и считать старость кровным родством с «могущественным», что таким образом естественно возникло то преобладание старейшего, которое характеризует всю историю, и та теория о рождении человека, которая живет еще до сих пор. Мы можем, далее, остановиться на фактах, что *Lord* значит «высокородный» или (так как тот же корень дает слово, означающее небо), может быть, «рожденный небесами»; что, прежде чем слово *Sir* пошло в употребление, оно так же, как и *отец*, служило отличием для священника; что *worship* (поклонение, чествование) первоначально *worth-ship*, термин почтения, употребляемый даже запросто и относительно судей, есть также термин для действия, которым мы придаем величие или достоинство божеству, так что приписывать человеку *worth-ship* — значит чествовать его, поклоняться ему. Мы могли бы дать большое значение тому свидетельству, что все древнейшие правления были, в более или менее определенном виде, теоретическими, что у древних восточных народов даже самые обыкновенные формы и обычаи носят на себе следы религиозного влияния. Мы могли бы подкрепить нашу аргументацию относительно происхождения церемониальных обрядов, проследить первоначальное поклонение, выражающееся посыпанием головы прахом, что, вероятно, было символом повержения головы в прах, связью с ним обыкновения, господствующего у некоторых племен, воздавать почать кому-либо предложением пучка волос, вырванных из головы, что, по-видимому, имеет одинаковое значение со словами: «Я твой раб». Мы могли бы подкрепить эту аргументацию исследованием восточного обыкновения дарить посетителю всякую вещь, которая ему понравится, что довольно ясно выражает, что «все, что я имею, — ваше».

Не распространяясь, однако, об этих и многих других фактах меньшего значения, мы осмеливаемся думать, что представленных свидетельств достаточно для оправдания нашего положения. Если б доказательства были недоступны или односторонни, выводу нашему едва ли можно было бы поверить. Но при многочисленности их как относительно титулов, так и приветственных фраз и поклонов, и при одновременности и однообразии падения всего, свидетельства наши приобретают

сильный вес путем взаимного своего подтверждения. Если мы вспомним также, что результаты этого процесса видны не только между различными народами и в различные времена, но что они встречаются и в настоящее время среди нас, мы едва ли станем сомневаться, что процесс этот шел именно так, как указано здесь, и что наши обычные слова, действия и фразы вежливости были первоначально заявлениями покорности перед могуществом другого.

Таким образом, общая доктрина, что все роды правления, которым человек подчинялся, были вначале *одним* правлением, что политические, религиозные и церемониальные формы власти суть расходящиеся ветви одной общей и неразделимой власти, начинает оказываться состоятельною. Когда, помимо вышеприведенных фактов, мы вспомним, что в восточных преданиях какой-нибудь Немврод равно является во всех видах исполина, государя и божества; когда мы обратимся к образчикам скульптуры, вырытым *Лейярдам*, и, рассматривая изображения государей, скачущих по неприятельским телам, попирающих пленных и принимающих обожание простертых ниц рабов, заметим, как положения этих государей постоянно согласуются; и, когда мы, наконец, откроем, что и доселе еще у некоторых племен существуют обыденные предрассудки, тождественные с теми, на которые указывают старинные памятники и старинные здания, — мы сознаем вероятность изложенной здесь гипотезы. Мысленно переносясь к той отдаленной эпохе, когда человеческие теории о сущности вещей еще не слагались, и воспроизводя в своем воображении победоносного вождя, смутно изображаемого в древних мифах, поэмах и развалинах, — мы ясно представляем себе, что всякое правило поведения должно исходить из его воли. Будучи вместе и законодателем и судьей, он решает все споры своих подданных, и слова его становятся законом. Страх, внушаемый им, есть зарождающаяся религия; его изречения служат текстом первых ее заповедей. Покорность ему выражается в формах, им предписанных; из этих форм рождаются обычаи. Из слов его, обращающихся в закон, время развивает поклонение существу, личность которого становится все неопределеннее, и ускорение заповедей, все более и более отвлеченных; из форм покорности возникают формы почестей и правила этикета. Сообразно с законом развития всех органических

существ, в силу которого общие отправления постепенно распадаются на частные отправления, составляющие их, в социальном организме возникает для удобнейшего выполнения правительственных функций целый снаряд судебных мест, с судьями и адвокатами; национальная церковь, с ее епископами и священниками, и целая система каст, титулов и церемоний, управляемых всей массой общества. Первый преследует и карает явные нарушения; вторая сдерживает до некоторой степени расположение к этим нарушениям; третьи осуждают и наказывают те более незначительные нарушения надлежащего поведения, которые не подлежат ведению первых. Закон и религия управляют поведением в существенных его чертах, обычай управляют его подробностями. Этот свод более легких ограничений вводится для регулирования тех обычных действий, которые слишком многочисленны и слишком незначительны для официального управления. И если мы рассмотрим, каковы эти ограничения, если мы станем анализировать общеупотребительные слова, фразы и поклоны, мы увидим, что как по происхождению своему, так и по действию вся система эта есть не что иное, как временное правительство, которое люди, приходящие в соприкосновение друг с другом, вводят для того, чтобы лучше управлять взаимными отношениями своими.

Из предположения, что эти различные роды управлений составляют существенно-единую вещь как относительно происхождения своего, так и относительно своей деятельности, можно вывести несколько важных заключений, непосредственно касающихся нашего специального предмета.

Заметим, во-первых, что для всех форм правила существуют не только общее происхождение и назначение, но и общая потребность. Первообытный человек, бьющий медведя и сидящий в засаде против своего неприятеля, по необходимости своего положения, имеет натуру, которую должно обузывать в каждом ее побуждении. На войне, так же как и на охоте, на него ежедневно влияет занятие, состоящее в том, чтобы приносить другие существа в жертву своим собственным потребностям и страстям. Его характер, завещанный ему предками, которые вели подобную же жизнь, вылился в форму и приспособился к такому существованию. Безграничное себялюбие, страсть видеть мучения, кровожадность, постоянно

поддерживаемые в деятельном состоянии, — все это он приносит с собой в общество. Эти расположения ставят его в постоянную опасность столкновения со своим столь же диким соседом. В мелких вещах, так же как и в серьезных, в разговоре, так же как и в деле, он всегда готов к нападению и ежедневно подвергается нападениям людей, имеющих одинаковую с ним натуру. Поэтому только самое суровое управление всеми действиями таких людей может поддержать первоначальное их сближение. Тут нужен правитель строгий, с непреклонной волей, незнакомый с угрызениями совести; тут нужна вера, ужасная в своих угрозах непокорным; нужна самая рабская покорность всякого подчиненного лица. Закон должен быть жесток; религия должна быть сурова; церемонии должны быть строги. Можно было бы пояснить многочисленными примерами из истории одинаковую необходимость каждого отдельного рода этих ограничений. Достаточно будет, однако, указать, что там, где гражданская власть была слаба, размножение воров, убийц и разбойников обличало близость разложения общества; что, когда вследствие испорченности своих служителей религия утратила свое влияние, как это было перед появлением бичующихся, государство находилось в опасности; и это пренебрежение установленными общественными приличиями всегда сопровождало политические революции. Тот, кто сомневается в необходимости правления обычаями, пропорционального по силе своей с существующими политическими и религиозными управлениями, тот убедится в ней, вспомнит, что недавно еще выработанные кодексы общественного поведения не могли удержать людей от уличных ссор и дуэлей в тавернах и что даже теперь у дверей театра, где законы церемониальности не имеют силы, народ проявляет некоторую степень взаимной враждебности в индивидах, которая произвела бы смятение, если бы допускатась во всех общественных сношениях.

Мы находим, как это и можно было ожидать при общем происхождении одинаковой общей деятельности, что эти отдельные правящие деятели действуют в каждую эпоху с одинаковой степенью силы. При китайском деспотизме, стеснительном и бесконечном в своих постановлениях и жестоком требовании их исполнения, — деспотизме, с которым соединяются равно суровый семейный деспотизм старшего в роде,

существует система приличий, столь же сложных, сколько и строгих. У них есть трибунал церемоний. Прежде представления ко двору посланники проводят несколько дней в изучении требуемых формальностей. Общественное обращение обременено бесконечными комплиментами и поклонами. Сословные отличия строго определены внешними знаками. И если нужна вещественная мерка уважения, оказываемого общественным постановлениям, то мы имеем ее в пытке, которой подвергаются женщины, сдавливая свои ноги. В Индии, да и вообще на всем Востоке, существует подобная же связь между немилосердной тиранией правителей, ужасами веры, живущей с незапамятных времен, и суровыми стеснениями неизменных обычаев: кастовые учреждения сохраняются донныне неприкосновенными; покрой платья и мебель остаются одинаковыми в течение веков; о самосожжении вдов упоминают *Страбон* и *Диодор Сицилийский*; суд все еще творится у ворот дворца, как и в старину; словом, там «всякое обыкновение есть религиозная заповедь и судебное правило». Подобное же сродство явлений представлялось в Европе в Средние века. Пока все ее правительства были самодержавными, покуда феодализм властвовал, покуда церковь еще не была лишена своего могущества, покуда уголовный кодекс был полон угроз, а ад народной веры полон ужасов, — правила обращения были многочисленнее и строже соблюдаемы, нежели теперь. Различия в одежде означали сословные разделения. Ширина носков мужских башмаков ограничивалась законом; и никто, стоявший ниже определенной ступени общественного положения, не мог носить плащ короче известного числа дюймов. На символы на знаменах и щитах обращалось тщательное внимание. Гербовика была важной отраслью знания. Первородство соблюдалось весьма строго. И различные поклоны, употребляемые нами теперь в сокращении, совершались тогда вполне. Даже и у нас последнее столетие, с его порочной палатой депутатов и малосдерживаемыми монархами, проявляло подобную же силу общественных формальностей. Благородные классы отличались от низших одеждой; дети обращались к родителям со словами: *Sir* и *Madam*.

Дальнейшее заключение, естественно следующее за последним и как бы составляющее часть его, есть то, что эти отдельные роды управления ослабевали в одинаковой же степени.

Одновременно с упадком влияния духовенства и с уменьшением страха вечных мук, одновременно с ослаблением политической тирании, возрастанием народной власти и улучшением уголовных кодексов шло и то уменьшение формальностей, то исчезновение отличий, которое становится ныне столь явно. Взглянув на домашнюю жизнь, мы легко заметим, что в ней меньше обращают внимания на первенство, нежели прежде. Никто в наше время не оканчивает свидания фразой: «Ваш покорный слуга». Слово *Sir*, бывшее некогда во всеобщем употреблении, считается теперь признаком дурного воспитания, и в тех случаях, где нужно употребить слова: «Ваше величество» или «Ваше королевское высочество», повторить их два раза в разговоре считается вульгарностью. Мы уже не пьем более официально за здоровье друг друга; и даже чоканье бокалами начинает выходить из употребления. Иностранцы заметили, что англичане снимают шляпы реже, чем какой-либо другой народ в Европе, — замечание, к которому можно присоединить и другое: что англичане самый свободный народ в Европе. Мы уже указали, что это сближение фактов не есть случайное. Титулование и формы приветствия, имея в себе нечто рабское, связанное с их происхождением, выводятся по мере того, как люди сами становятся более независимы и более сочувствуют независимости других. Чувство, внушающее нам отвращение к тем, кто унижается и раболепствует; чувство, заставляющее нас поддерживать собственное достоинство и уважать достоинство других; чувство, ведущее нас все более и более к непренебрежению всеми формами и выражениями, в которых сказывается уважение и подчиненность, — это чувство есть то самое, которое сопротивляется деспотизму власти и укореняет народное правительство, отвергает безусловность церковного авторитета и устанавливает право личного суждения.

Четвертый факт, однородный с предыдущими, есть то, что эти отдельные виды управления не только падают вместе, но и заражают друг друга. Вследствие того же процесса наш (английский) монарх издает от своего имени законы, составленные его министрами с согласия народа, и таким образом он из властелина превращается в исполнительный орган; благодаря тому же процессу служение в церкви заменяется внешнею обрядностью: чтением молитв, поклонением святым и принесением

покаяния, — титулы и церемонии, имевшие некогда значение и могущество, становятся пустыми формами. Кольчуги, служившие для отличия людей в битвах, блистают теперь на дверцах карет разбогатевших лавочников. Аксельбант, бывший некогда знаком высшего военного чина, обратился на плече нынешнего лакея в признак рабства. Название *Banneret*, обозначавшее некогда хотя и пожалованного, но заявившего свои военные достоинства барона, в измененном виде *баронета* придается теперь всякому, кому благоприятствует фортуна или интерес и дух партий. Достоинству кавалера придается так мало значения, что люди начинают гордиться отказами от этого достоинства. Военное достоинство *Escuyer* сделалось в нынешнем *Esquire* все не военной прибавкой к имени.

Но может быть, этот процесс вырождения яснее всего виден в том классе общественных приемов, понимаемых под названием *приличий* (*Fashion*), который мы должны разобрать здесь мимоходом. Противопоставленные *обычаям* (*Manners*), определяющим обыденные наши действия по отношению к другим людям, приличия определяют обыденные действия наши по отношению к нам самим. Между тем как первые предписывают правила исключительно той стороны нашего поведения, которая непосредственно касается нашего ближнего, вторые предписывают правила исключительно личной стороны нашего поведения, к которой другие люди относятся только как зрители. Разделенные таким образом обычаи и приличия берут свое начало из одного источника: между тем как обычаи порождаются подражанием поведению в отношениях к знатым лицам, приличия порождаются подражанием поведению самих знатных лиц. Между тем как одни порождаются титулами, приветствиями и поклонами, воздаваемыми могущественным людям, другие порождаются привычками и приемами этих людей. Караибка, сдавливающая голову дитяти своего в ту форму, какую отличается голова вождя ее племени; молодой дикарь, делающий на теле своем знаки, подобные рубцам, покрывающим воинов его племени; шотландский горец, усваивающий себе плед, подобный тому, какой носит начальник клана; придворные, представляющие себя седыми или хромыми или обвязывающие шею в подражание своему государю; народ, перенимающий все от придворных, — все равно действуют под

влиянием некоторого рода управления, сродного с управлением обычаев и, подобно ему, по сущности своей благотворного. Несмотря на многочисленные нелепости, до которых доводило людей подражание, — от колец, продетых в нос, до серег, от раскрашенных лиц до мушек, от бритых голов до напудренных париков, от подпиленных зубов и выкрашенных ногтей до поясов с погремушками, башмаков с острыми носками и штанов, набитых отрубями, — должно все-таки признать, что так как люди сильные, люди преуспевающие, люди с твердою волею, разумные и своеобразные, достигнувшие высших ступеней в обществе, должны, вообще говоря, оказаться более рассудительными в своих привычках и вкусах, нежели толпа, то подражать им полезно. Мало-помалу, однако, приличия, вырождаясь, подобно всем другим формам правила, почти совсем перестают быть подражанием лучшему и становятся подражанием совсем иному. Как в духовное звание вступают не такие люди, которые имеют специальную способность к сану священника, а такие, которые видят в нем средство для получения доходного места; как законодателями и администраторами люди делаются не в силу их политической проицательности или способности к управлению, а в силу их рождения, богатства и сословных влияний, — так и самоизбравшаяся *clique**, которая устанавливает моду, приобретает прерогативу не вследствие силы своей природы, своего разума или высоты своего достоинства и вкуса, а единственно путем никем не оспаривавшегося завладения. Между посвященными этого круга нельзя найти ни особенно почтенных, ни особенно могущественных, ни особенно образованных, ни особенно изящных людей; не окажется там и людей высокого гения, остроумия или красоты; круг этот далек от того, чтобы превосходить другие, и отличается своей безжизненностью. И обществу приходится сообразоваться в своих обыкновениях, в своей одежде, забавах и пр. не с истинно замечательными людьми, а с этими мнимо замечательными личностями. Естественным последствием всего этого становится то, что обычаи имеют вообще мало или вовсе не имеют той полезности, которую предполагает в них теория приличий. Но вместо постоянного прогресса к большему изяществу и удобству, которого надо бы ожидать, если б общество следовало примеру действительно лучших людей или собственным

идеям о приличии, мы видим царство каприза, безрассудности, перемен ради перемен, суетных колебаний от одной крайности к другой. Таким образом, жизнь *a la mode*, вместо того чтобы быть самой рациональной жизнью, оказывается жизнью под опекою мотов, праздных людей, модисток и портных, франтов и пустых женщин.

Ко всем этим выводам, что различные виды власти, которым подчинен человек, имеют общее происхождение и общую деятельность, вызываются однородными потребностями и сохраняют одинаковую степень силы, вместе падают и вместе заражаются порчей, остается только прибавить, что они вместе становятся и ненужными. Та же сила обстоятельств, которая уже выработала в нас великие перемены, должна необходимо продолжать вырабатывание еще более значительных перемен. Ежедневное укрощение низшей природы и культура высшей, которые из каннибалов и поклонников дьявола развили филантропов, друзей мира и ненавистников всякого суеверия, не могут не развить из них людей, настолько же превосходящих последних, насколько последние превосходят своих предков. Причины, которые произвели прошлые изменения, действуют и теперь; они должны действовать до тех пор, пока будет еще существовать какая-либо несоразмерность между желаниями человека и требованиями общественного устройства, и должны наконец сделать человека органически приспособленным к общественной жизни. Как теперь не приходится воспрещать людоедство, так со временем не нужно будет воспрещать убийство, воровство и второстепенные преступления нашего уголовного кодекса. Когда человеческая природа дорастет до единства с нравственным законом, в судьях и уложениях не будет больше надобности; когда она самопроизвольно примет верное направление во всех вещах, как сделала теперь в некоторых; в перспективе будущей награды или кары не будет больше надобности; когда приличный образ действий станет инстинктивным, не будет надобности в церемониальных уставах, определяющих формы этого образа действий.

Теперь мы поймем смысл, естественность и необходимость различных эксцентричностей реформаторов, на которые указано было в начале этой статьи. Они не случайны; они не составляют проявлений личного каприза. Напротив того, они суть

неизбежный результат закона родства, который пояснен выше. Общность генезиса, деятельности и упадка, которая видна во всех формах стеснения, есть простое проявление факта, указанного нами вначале: что формы эти имеют общего хранителя и общего разрушителя в двух чувствах человеческой природы. Страх перед властью порождает и охраняет их любовь к свободе, подрывает и периодически ослабляет их. Первый защищает деспотизм и утверждает верховность закона, держится старых верований и поддерживает авторитет духовенства, поклоняется титулам и сберегает формы; вторая, ставя справедливость выше законности, периодически упрочивает политическую свободу, подвигает протестантизм, вырабатывает его последствия, отвергает бессмысленные предписания обычая и освобождает человека от мертвых форм. Для истинного реформатора нет ни учреждений, ни верований, которые стояли бы выше критики. Все должно сообразоваться со справедливостью и разумом; ничто не должно спастись силою своего обаяния. Предоставляя каждому человеку свободу достижения своих целей и удовлетворения своих вкусов, он требует для себя подобной же свободы и не согласен ни на какие ограничения ее, кроме тех, которые обуславливаются подобными же правами других людей. Ему все равно, исходит ли постановление от одного человека или от всех людей, но, если оно нарушает его законную сферу деятельности, он отвергает действительность такого постановления. Тирании, которая захотела бы принудить его к известному покрою одежды или к известному образу поведения, он сопротивляется так же, как и тирании, которая захотела бы ограничить его продажу и куплю или предписать ему его верования. Будет ли это предписываться формальным постановлением законодательства или неформальным требованием общества, будет ли неповиновение наказываться тюремным заключением или косыми взглядами общества и остракизмом, — для реформатора это не имеет значения. Он выскажет свое мнение, несмотря на угрожающее наказание, он нарушит приличия, несмотря на мелкие преследования, которым его подвергнут. Докажите ему, что действия его вредны его ближним, — он остановится. Докажите, что он нарушает их законные требования, — и он изменит свой образ действий. Но куда вы этого не сделаете, пока вы не докажете ему, что поступки его

по существу своему неприличны или не изящны, по существу своему безрассудны, несправедливы или неблагородны, — до тех пор он будет упорствовать.

Иные, правда, утверждают, что такое поведение несправедливо и невеликодушно. Они говорят, что человек не имеет права докучать другим своими фантазиями; что господин, которому он адресует письмо без назначения «Esq.» на адресе, и дама, на вечер которой он является без перчаток, оскорбляются тем, что они считают недостатком уважения или недостатком воспитания; что, следовательно, допускать его эксцентричность можно не иначе как за счет чувств его ближних и что, таким образом, его нонконформизм является просто себялюбием.

На это он отвечает, что такое положение, логически развитое, лишило бы людей всякой свободы. Положим, что каждый должен сообразовать свои действия с общественным, а не со своим вкусом. Если общественное мнение о вещах определилось, то человеческие привычки должны быть установлены раз и навсегда; никто не может усвоить себе других привычек, не греша против общественного мнения и не оскорбляя чужих чувств. Поэтому, если взять эпоху косичек, высоких каблуков, накрахмаленных манжет и коротких панталон, то все должны носить косички, высокие каблуки, накрахмаленные манжеты и пр. до скончания века.

Если станут утверждать, что он не имеет права нарушать формы других для установления своих форм, принося таким образом желания всех в жертву желаниям одного, то он возразит, что на этом основании можно отрицать все политические и религиозные перемены. Разве слова и действия *Лютера* не были крайне оскорбительны для массы его современников; разве сопротивление *Гамлдена* не было противно окружавшим его поклонникам текущего порядка; разве всякий реформатор не нарушает человеческих предвзвешенных и не оскорбляет людей своими мнениями? Получив утвердительный ответ, он спрашивает: какое же право имеет реформатор выражать эти мнения? разве он не приносит чувства многих людей в жертву чувствам одного человека? — и таким образом доказывает, что, для того чтобы быть последовательными, противники его должны осудить не только всякий нонконформизм в действиях, но и всякий нонконформизм в мыслях.

Противники возражают, что и *его* положение тоже можно довести до абсурда. Они говорят, что если человеку позволено нарушать известные формы, то столь же законно будет с его стороны и нарушение всяких форм, и спрашивают, почему бы не пойти ему на обед в грязной сорочке и небритым, отчего бы ему не плевать на ковер в гостиной и не поднять ног на каминную доску.

Нарушитель приличий отвечает, что возражать таким образом — значит смешивать два весьма различных класса действий, — действий, *существенно* неприятных окружающим, и действий, которые только *случайно* неприятны им. Человек, неприятность которого доходит до оскорбления обоняния его соседа, или человек, который говорит так громко, что беспокоит целое собрание, вполне заслуживает порицаний и, по всей справедливости, может быть исключен обществом из собраний. Но человек, являющийся в сюртуке вместо фрака или в коричневых панталонах вместо черных, оскорбляет не чувства людей и не врожденные их склонности, а просто их предрассудки, ханжество их приличий. Нельзя сказать, чтобы его костюм был менее наряден или существенно менее годен, нежели тот, которого требует обычай; потому что несколькими часами ранее этот костюм нравился. Следовательно, тут оскорбляются мнимым неприличием. Как мало значения имеет в этом деле само платье, видно из того факта, что сто лет тому назад черная одежда показалась бы совершенно неуместной в часы увеселений и что через несколько лет какой-нибудь ныне непринятый покрой одежды будет, может быть, более соответствовать требованиям моды, нежели современный. Таким образом, реформатор объясняет, что он протестует не против естественных ограничений, а против искусственных, и что очевидно, что огонь насмешек и косых взглядов, которому он подвергается, направлен на него только потому, что он не хочет поклоняться идолу, поставленному обществом.

Если его спросят, каким образом мы отличим поведение *абсолютно* неприятное от поведения, которое неприятно только *относительно*, он ответит, что это различие явится само собой, если только люди допустят его. Поступки по существу своему противные всегда будут вызывать негодование и всегда будут оставаться исключением так же, как и теперь. Действия же по существу своему непротивные установятся как приличные.

Никакое послабление обычаев не введет в употребление грязных сапог и немых рук, ибо отвращение к неопрятности будет продолжаться, если б даже моду уничтожили завтра. Любовь к одобрению, в силу которой люди теперь так тщательно стараются быть *en regie*, существовала бы и тогда, заставляла бы их и тогда заботиться о своей внешности, искать одобрений за красивый наряд, уважать естественные законы порядочного поведения, так же как они уважают теперь искусственные. Вся перемена состояла б в том, что вместо отталкивающего однообразия мы имели бы живописное разнообразие. И если б могли встретиться какие-нибудь постановления, относительно которых нельзя было бы решить, основаны ли они на действительности или на условности, то опыт скоро решил бы такой вопрос, если б ему предоставлена была свобода.

Когда наконец прение возвращается — как это часто бывает с прениями — к исходной своей точке и «партия порядка» повторяет, что мятежник приносит чувства других в жертву собственному своеволию, он раз навсегда отвечает, что они сбиваются ложностью своих понятий. Он обвиняет их в деспотизме, который не довольствуется тем, что предоставляет им власть над их собственными поступками и привычками, но требует еще признания их власти над действиями и привычками других, и сетует, что такая власть не признается. Реформатор требует такой же свободы, какой они пользуются; а они хотят предписать ему его поведение, обрезать и выкроить его жизнь по утвержденной ими выкройке и потом обвиняют его в своеволии и своекорыстии за то, что он не хочет спокойно покориться! Он предупреждает их, что будет непременно сопротивляться и что он сделает это не только для сохранения своей собственной независимости, но и для их же блага. Он доказывает им, что они рабы и не сознают этого; что они скованы и целуют свои цепи; что они всю свою жизнь прожили в тюрьме и жалуются, что стены ее рухнули. Он говорит, что считает своей обязанностью упорствовать для того, чтоб освободиться, и, несмотря на настоящие их порицания, предсказывает, что, когда они ускользнут от страха, причиненного им перспективой свободы, они сами будут благодарить его за то, что он помог им освободиться.

Сколь грубым ни будет казаться тон недовольства, сколь обидным ни покажется недовольство, мы не должны пренебрегать

подобными истинами из нелюбви к борьбе. Несчастливым препятствием всякому нововведению служит то, что, в силу самой своей деятельности, нововводители стоят в положении враждебном; и неприятные манеры, выражения и поступки, порожденные этим антагонизмом, обыкновенно связываются с проповедуемым учением. Забывая совершенно, что — хороша ли или дурна вещь, на которую нападают, — дух распри всегда отталкивает от себя; забывая совершенно, что терпимость в деле злоупотреблений кажется добродушною только по своей пассивности, — масса людей склоняется против передовых взглядов и в пользу отсталых только вследствие обращения с людьми той и другой партии. «Консерватизм, — как говорит Эмерсон, — тих и социален; реформа индивидуальна и повелительна». И это остается справедливым, как бы недостаточна ни была система, которую стараются сохранить, и как бы справедлива ни была реформа, которую стараются провести. Мало того, негодование пуристов усиливается обыкновенно сообразно значительности зла, от которого надо избавиться. Чем безотлагательнее требуемая перемена, тем неумереннее бывает запальчивость ее сторонников. Поэтому никогда не следует смешивать с принципами социального нонконформизма резкость и неприятную самоуверенность тех, которые впервые проводят его в общество.

Самое основательное возражение против несоблюдения приличий основано на его неполитичности с точки зрения прогрессиста. Многие из весьма либеральных и умных людей — обыкновенно те, которые в прежнее время сами выказывали некоторую независимость поведения, — утверждают, что, вставая против мелочей, вы разрушаете возможность содействовать сущности реформы. «Если вы будете эксцентричны в обычаях или одежде, — говорят они, — люди не будут вас слушать. На вас будут смотреть как на чудака, за которым следовать невозможно. Мнения, выражаемые вами о серьезных предметах, выслушивались бы с уважением, если бы вы сообразовались с обществом в мелких вещах; а теперь те же самые мнения будут отнесены к числу ваших странностей; и таким образом, расходясь с толпой в мелочах, вы лишаете себя возможности породить в ней раскол в вещах существенных».

Заметив только мимоходом, что это одно из предположений, которые сами обуславливают свое исполнение, что те

немногие, которые выказывают неодобрение существующего, кажутся эксцентричными только потому, что многие, не одобряющие его, не выказывают своего неодобрения, и что если б они действовали по своим убеждениям, то заключения, подобного вышеприведенному, нельзя было бы вывести и подобное зло не могло бы существовать, — заметив это, мы возражаем далее, что эти общественные стеснения, формы, требования представляют не ничтожное зло, не мелочи, а одно из величайших зол. Мы не сомневаемся, что, будучи подведены под один итог, они суммою своей превзошли бы сумму всех остальных зол. Если бы мы могли сложить с ними еще беспокойство, издержки, зависть, досаду, недоразумения, потерю времени и потерю удовольствия — все, что эти условия влекут за собой; если б мы могли ясно понять, в какой мере они ежедневно связывают нас и делают нас своими рабами, — мы, может быть, и пришли бы к заключению, что их тирания хуже всякой другой тирании, которой мы бываем подвержены. Взглянем на некоторые из ее вредных результатов, начиная с наименее значительных.

Она производит сумасбродство. Желание быть *comme il faut*, лежащее в основании всякого подражания, в обычаях ли, одежде или роде увеселений, есть желание, порождающее мотов и банкротов. Поддерживать известный *genre* жизни, иметь в аристократической части города дом, отделанный в новейшем вкусе, давать дорогие обеды и блестящие балы — есть проявление честолюбия, естественно порождаемого духом подражания. Нет надобности распространяться об этих сумасбродствах: они были осмеяны легионами писателей и осмеиваются в каждой гостиной. Наше дело состоит здесь только в том, чтобы показать, что уважение к общественным приличиям, считающееся столь похвальным, имеет один корень с этим стремлением не отставать от моды в образе жизни и что при равенстве других условий последнее не может уменьшиться, если первое тоже не уменьшится. Теперь, если мы рассмотрим все, что сумасбродство это влечет за собой; если мы перечтем обманутых поставщиков, скудно содержимых гувернанток, дурно воспитанных детей, обиженных родственников, которым приходится страдать из-за этого; если мы вспомним все беспокойства и различные нравственные проступки, в которые бывает вовлечен человек, предающийся этому

сумасбродству, — мы увидим, что это уважение к приличиям совсем не так невинно, как оно кажется.

Далее, оно уменьшает итог общественных сношений. Не говоря о беззаботных или о тех, которым спекуляции доставляют случайную возможность преуспевать в свете в ущерб многим лучшим людям, мы переходим к тому обширнейшему классу людей, которые, будучи достаточно благоразумны и честны для того, чтоб не жить выше своих средств, и при всем том, имея сильное желание быть «порядочными людьми», принуждены ограничивать число всех приемов; и для того, чтобы каждый такой прием гостей мог с наибольшей честью отвечать всем требованиям гостеприимства, людям приходится делать свои приглашения почти без всякого внимания к комфорту или взаимной пригодности гостей между собой. Небольшое число слишком многочленных собраний, составленных из людей, большей частью незнакомых друг с другом или знакомых весьма мало и не имеющих почти ничего общего во вкусах, заменяют частые небольшие сходки друзей, достаточно близких между собой для того, чтобы их связывали одни и те же узы мысли и сочувствия. Таким образом, количество сношений уменьшается и качество их портится. Вследствие обыкновения делать дорогие приготовления и предлагать дорогое угощение и вследствие того, что делать это для большого числа гостей и изредка стоит меньших издержек и меньших хлопот, нежели делать это часто для немногих гостей, собрания наших небогатых классов делаются столь же редкими, сколько и скучными.

Заметим, далее, что существующие формальности в общественном обращении удаляют многих, ожидающих от него совершенствующего влияния, и заставляют их обращаться к дурным привычкам и связям. Немало найдется людей, и весьма умных, которые с отвращением отказываются от парадных обедов и чопорных вечеров и вместо их ищут общества в клубах, курительных залах и тавернах. «Мне противно толкаться в гостиных, говорить вздор и делать довольную мину, — отвечает любой из них, когда его упрекают в измене гостиной. — К чему мне еще терять время, деньги и хорошее расположение духа? Было время, когда я охотно бежал со службы домой, чтоб переодеться; я гонялся за вышитыми сорочками, терпел узкие сапоги и не заботился о счетах портных и магазинщиков. Теперь

я стал умнее. Терпение мое продолжалось довольно долго, ибо хотя я и находил, что каждый вечер проведен был глупо, но я все надеялся, что следующий вечер вознаградит меня. Но теперь я вижу свое заблуждение. Наемные кареты и лайковые перчатки стоят дороже того, что может дать любой бал, или, вернее, издержки стоят того, чтобы бросить все эти выезды. Нет, нет, довольно с меня! К чему я стану платить пять шиллингов за право скушать?» И если мы примем в соображение, что подобный весьма обыкновенный взгляд ведет к бильярдным, к продолжительному сидению за сигарой и пуншем, ко всякого рода увеселительным местам, то является сомнение, не повинны ли в господствующем развращении те строгие приличия, которыми стеснены все наши собрания. Людям необходимы возбуждения всякого рода; лишенные возможности пользоваться высшими, они бросятся на низшие. Это не значит, что люди, предающиеся таким образом дурным привычкам, имеют существенно низкие вкусы. Часто бывает совсем наоборот. Из шести-семи близких приятелей, оставляющих в стороне всякие формальности и сидящих свободно вокруг огня, всякий, конечно, с величайшим наслаждением приступит к высшему роду социального общения — к истинному общению мысли и чувства; и если в кругу этом находятся умные и образованные женщины, то это еще более возвысит их удовольствие. Они не хотят, чтобы общество душило долее сухой разговорной шелухой, которую оно предлагает им, потому-то они и бегут с его собраний и ищут людей, с которыми они могут вести длинный разговор, хотя бы и не изящный. Люди, стремящиеся таким образом к существенной духовной симпатии и идущие туда, где они могут найти ее, часто бывают гораздо лучше и неиспорченнее тех, которые довольствуются безжизненностью раздушенных и разодетых светских франтов, людей, не чувствующих потребности сблизиться морально с равными себе созданиями больше, чем это допускается их болтовней за чашкой чая и пустыми ответами на пустые вопросы, людей, которые, не чувствуя этой потребности, доказывают, как они вздорны и бездушны. Правда, что есть и такие, которые избегают гостиних потому, что не умеют вынести ограничений, предписанных истинной утонченностью; правда, что они много выиграли бы, если б ограничения эти коснулись их. Но не менее справедливо и то, что через

прибавление к законным ограничениям, основанным на приличии и уважении к другим, целого легиона искусственных стеснений, основанных только на условности, воспитательная дисциплина становится невыносимой и, таким образом, не достигает своей цели. Слишком мелочное управление постоянно разрушает само себя тем, что разгоняет всех, которыми должно было править. И если, таким образом, общество теряет свое благодетельное влияние на всех тех, которые бегут с его увеселений вследствие противной их пустоты или формальности; если люди эти, таким образом, не только лишаются нравственной культуры, которую дало бы им рационально устроенное женское общество, но впадают, за недостатком других развлечений, в привычки и связи, часто кончающиеся игрой и пьянством, — то не должны ли мы сказать, что и тут тоже лежит зло, на которое нельзя смотреть как на ничтожное?

Затем рассмотрим, какое обесцвечивающее действие производят эти различные приготовления и церемонии на удовольствия, которым они должны будто бы служить. Кто из нас, перебирая те случаи, когда он действительно наслаждался высшими общественными удовольствиями, не убедится, что они были вполне неформальны, являлись даже, может быть, совсем невзначай. Как весел дружеский пикник, на котором забываются все приличия, кроме тех, какие предписываются добродушием? Как приятны бывают небольшие, бесцеремонные чтения и подобные им сборища или просто случайные сходки немногих, хорошо знакомых между собой людей! В этих случаях мы можем видеть, как человека оживляет внешность его друга. Щеки пылают, глаза горят, остроумие блещет, даже меланхолики возбуждаются к веселым речам. Является изобилие предметов для разговора; и верные мысли и соответственные им верные слова приходят сами собой. Глубокомыслие сменяется весельем: то идет серьезный разговор, то являются шутки, анекдоты и игривые насмешки. Тут выказываются лучшие стороны каждого из собеседников; лучшие чувства каждого из них возбуждаются к приятной деятельности, и жизнь становится весьма мила. Теперь ступайте одеваться на обед к половине девятого или на вечер к десяти часам; и не забудьте явиться туда в безукоризненном наряде, имея каждый волосок причесанным в совершенстве. Как велика разница! Удовольствие

представляется в обратном отношении к приготовлениям. Все эти фигуры, разряженные с такой тщательностью и аккуратностью, кажутся едва живыми. Они заморозили друга друга своим превосходством; и способности ваши чувствуют оцепеняющее действие этой атмосферы, как только вы вошли в залу. Мысли, столь живые и легкие за несколько минут перед тем, исчезли, они внезапно приобрели сверхъестественную силу убежать от вас. Если вы рискнете обратиться с каким-нибудь замечанием к вашему соседу, вы получите пошлый ответ, и тем дело кончится. На какой бы предмет для разговора вы ни напали, он едва переживает поддюжины фраз. Что бы вам ни говорили, ничто не возбуждает в вас живого интереса, и вы чувствуете, что все, что вы станете говорить, выслушается безучастно. Вещи, которые обыкновенно доставляют удовольствие точно каким-то странным чудом, потеряли свою прелесть. Вы любите искусство. Утомленные пустым разговором, вы подходите к столу и находите, что книга с гравюрами и портфель с фотографиями столь же плоски, как и разговор. Вы любите музыку. Однако вы слушаете пение, как бы хорошо оно ни было, с полным равнодушием и говорите «благодарю вас», сознавая в душе, что вы — великий лицемер. Как бы хорошо вы себя ни чувствовали, вы сознаете, что ваши симпатии не допускают полного удовлетворения. Вы видите молодых джентльменов, пробующих, хорошо ли завязан их галстук, тупо озирающихся и размышляющих о том, что им делать. Вы видите дам, тоскливо сидящих в ожидании, чтобы кто-нибудь заговорил с ними, и жалеющих о том, что им нечем занять свои пальцы. Вы видите хозяйку, стоящую около дверей с постоянной искусственной улыбкой на лице и терзающую мозг свой, чтобы найти необходимые бессмыслицы для приветствия входящих гостей. Вы видите бесчисленные черты утомления и неловкости, и если в вас есть хотя сколько-нибудь сочувствия, то они не могут не произвести и в вас чувства уныния. Это заразительная болезнь, делайте что хотите — вы не устоите против всеобщей заразы. Вы боретесь с ней; вы делаете судорожные усилия быть веселым, но ни одна из ваших остроумных выходов или веселых рассказов не в состоянии вызвать что-нибудь, кроме тупой улыбки или принужденного смеха; ум и чувство равно задушены. И когда, наконец, уступая своему отвращению, вы бежите

вон, какое облегчение вы чувствуете, выйдя на свежий воздух и видя звезды! Как искренне вы говорите: «Слава Богу, конечно!» — и решаетесь избегать на будущее время всей этой скуки. В чем же, наконец, тайна этой постоянной неудачи и разочарования? Не виноваты ли тут все эти ненужные аксессуары, эти изысканные наряды, эти установленные формы, эти приготовления, сопряженные с такими издержками, эти различные выдумки и устройства, предполагающие столько хлопот и возбуждающие столько ожиданий? Кто, прожив лет тридцать, не знает, что удовольствие скромно и что его надо не преследовать открыто, а поймать невзначай? Звуки уличной шарманки, раздающиеся во время нашей работы, часто бывают приятнее, нежели избраннейшая музыка, исполненная в концерте самыми искусными музыкантами. Одна хорошая картина в окне магазина может доставить более живое удовольствие, нежели целая выставка, которую вы осматриваете с каталогом и карандашом в руке. Покуда мы готовим наш сложный наряд для приобретения счастья, счастье уже улетело. Оно слишком воздушно, чтобы его можно было удержать в этих вместилищах, украшенных комплиментами и огороженных этикетом. Чем более мы усложняем его обстановку, тем вернее гоним мы его прочь. Причина этого достаточно ясна. Те высшие чувства, которым служат общественные сношения, чрезвычайно сложного характера; следовательно, произведение их зависит от весьма многих условий; чем многочисленнее условия, тем более представляется возможности нарушить то или другое из них, и чувства остаются, таким образом, невызванными. Нужно большое несчастье для того, чтобы пропал аппетит; но сердечное сочувствие ко всем окружающим может быть подавлено одним взглядом или словом. Отсюда следует, что, чем более *ненужных* требований сопровождает общественные сношения, тем меньше вероятности, что удовольствие будет достигнуто. Трудно постоянно исполнять все, что необходимо для приятного общения с ближними; но во сколько раз труднее должно быть постоянное выполнение множества *несущественного*. Есть ли какой-нибудь шанс получить дельный ответ от дамы, думающей о том, что вы, должно быть, очень глупы, если ведете ее к обеду не с той руки? Какую возможность имеете вы завести приятный разговор с господином, который внутренне бесится

за то, что его посадили не возле хозяйки? Как бы привычны ни сделались формальности, они необходимо занимают внимание, необходимо умножают случаи к ошибкам, недоразумениям, зависти с той или с другой стороны, необходимо отвлекают все умы от тех мыслей и чувств, которые должны были бы занимать их, необходимо, следовательно, разрушают те условия, при которых только и возможно истинное социальное общение.

В этом-то и состоит роковое зло, которое влекут за собой условные понятия, зло, в сравнении с которым всякое другое второстепенно. Они губят те высшие наслаждения наши, которым думают служить. Все установления равны относительно этого: как полезны и даже необходимы они ни бывают первоначально, под конец они не только перестают быть полезными, но становятся вредны. Между тем как человечество развивается, они остаются неподвижны, ежедневно становятся все более и более механичны и безжизненны и мало-помалу стремятся задушить то, что прежде охраняли. Старые формы правления под конец становятся столь гнетущими, что их должно ниспровергнуть, рискуя даже заменить их царством террора. Старые верования делаются под конец мертвыми формулами, которые не содействуют уже развитию ума, но извращают его и останавливают это развитие; а государственные церкви, управляющие ими, становятся орудиями для поддержания консерватизма субсидиями и для подавления прогресса. Старые системы воспитания, воплощенные в публичных школах и коллегиях, продолжают наполнять головы новых поколений тем, что стало уже относительно бесполезным знанием и что, следовательно, исключает полезное знание. Нет организации какого бы то ни было рода — политической, религиозной, литературной, филантропической, которая, путем своих постоянно умножающихся постановлений, возрастающего богатства, ежегодного увеличения числа служащих и вкрадывающегося покровительства и духа партий, не потеряла бы мало-помалу первоначального своего смысла и не упала бы до степени простого неодоушевленного механизма, действующего в пользу частных видов, — механизма, который не только не исполняет своего первоначального назначения, но служит положительной помехой ему. Точно то же происходит и с общественными обычаями. Говорят, что китайцы имеют «напыщенные церемонии,

завещанные им незапамятными временами», превращающие общественные сношения в тяжелое бремя. Придворные формы, предписанные монархами для собственного своего возвеличения, всегда и везде кончались тем, что обременяли собственную их жизнь. Так и искусственные приличия столовой и гостиной, по мере того как они становятся многочисленнее и строже, губят то приятное общение, обеспечить которое они первоначально имели целью. Отвращение, с каким люди обыкновенно говорят о «формальном», «чопорном», «церемонном» обществе, предполагает общее признание этого факта; и это признание, логически развитое, подразумевает, что все обычаи общежития, которые основаны не на естественных требованиях, вредны. Мнение, что эти условия губят свои собственные цели, не ново. Свифт, критикуя обычаи своего времени, говорил: «Умные люди часто чувствуют себя гораздо более неловко пред изысканной вежливостью этих утонченных господ, нежели чувствовали бы себя в разговоре с крестьянином или машинистом».

Но это саморазрушительное действие нашего общественного склада заметно не только в мелочах; оно проявляется и в самой его сущности и природе. Наше социальное общение (так, как оно теперь устроено) есть не более как подобие той действительности, которую мы имеем. Чего мы требуем? Сочувственной беседы с подобными нам; беседы, которая состояла бы не из мертвых слов, а была бы проводником живых мыслей и чувств; беседы, в которой говорили бы глаза и лицо и в которой звуки голоса были бы полны значения; беседы, которая не дала бы нам чувствовать себя одинокими, а сблизила бы нас с другими и усилила бы наши ощущения, умножив их ощущениями других. Где этот человек, который не чувствовал бы по временам, как холодно и плоско все эти разговоры о политике и науке, о новых книгах и новых людях и как искреннее выражение сочувствия имеет гораздо более веса, чем все это? Вспомните слова Бэкона: «Толпа не есть общество, и лица не более как картинная галерея, и слова не более как звенящие струны там, где нет людей». Если это справедливо, то истинное общение, в котором люди нуждаются, становится возможным только тогда, когда знакомство обратилось в короткость, а короткость в дружбу. Рационально устроенный кружок должен состоять почти исключительно из людей, связанных кратостью и уважением, и из одного или двух чужих.

Какое же безумие лежит в основании всей системы наших больших обедов, наших «назначенных дней», наших вечеров, — собраний, состоящих из многих, никогда прежде не встречавшихся, многих, которые едва обменялись поклонами, многих других хотя и коротко знакомых, но не чувствующих друг к другу ничего, кроме равнодушия, и только нескольких истинных друзей, затерянных в общей массе! Достаточно только взглянуть кругом себя на искусственные выражения лиц, чтобы сразу понять дело. Все замаскированы; какая же симпатия может быть между масками? Что ж удивительного, что втайне каждый жалуется на бессмыслие этих собраний? Что удивительного, что хозяйки дома делают их потому, что они должны делать их, а не потому, чтобы они этого хотели? Что удивительного, что приглашенные идут менее из ожидания удовольствия, нежели из боязни нанести обиду? Все это есть громадная ошибка — организованное разочарование.

Наконец, заметим, что в этом случае, как и во всех других, когда известная организация становится испорченной и недействительной для своей естественной цели, она начинает употребляться для совершенно другой и совершенно противоположной цели. Что служит обыкновенным предлогом этих скучных собраний и посещения их? «Я допускаю, что они весьма бессмысленны и пусты, — ответит вам всякий на ваши критические замечания, — но ведь надо же поддерживать свои связи.» И если бы вам удалось получить от жены этого господина откровенный ответ, то он был бы следующий: «Мне противна суетность эта так же, как и вам; но нам нужно выдать замуж дочерей наших». Один хочет сделать карьеру, приобрести практику, расширить свои дела; он ищет парламентского влияния, доходного места в каком-нибудь графстве, голосов на выборах, должности, ищет положения, милостей, выгод. Другая же думает о женихах и партиях, невестах и приданом. Потеряв всякую цену относительно прямой своей цели — ежедневного сближения людей между собой путем приятных сношений, эти стеснительные способы нашего общежития упорно поддерживаются теперь в виде денежных и матримониальных результатов, конечно ими производимых.

Кто же после этого скажет, что реформа нашей системы приличий — дело не важное? Видя, как эта система вводит

модное сумасбродство, влекущее за собой банкротство и разорение; замечая, в какой значительной мере она ограничивает сумму общений между менее богатыми классами; убеждаясь, что многие из тех, которые наиболее нуждаются в дисциплинировании путем сношений с людьми изящными, удаляются от общества и вступают на опасную и часто роковую дорогу; принимая в расчет множество слабейших зол, происходящих отсюда: усиленный труд, налагаемый роскошью этой системы на всех промышленных и торговых людей, порчу общественного вкуса в одежде и украшениях, производимую тем, что ее нелепости выставляются образцами для подражания, ущерб для здоровья, ясно выражающийся на лицах ее поклонников к концу лондонского сезона, большую смертность между модистками и подобными им лицами, связанную с ежегодными внезапностями моды; прибавив ко всему этому роковое ее преступление: что она обесцвечивает, искушает и убивает то высокое наслаждение, которому она по назначению своему должна служить, наслаждение, которое есть главная цель нашей тяжелой жизненной борьбы, — не должны ли мы заключить, что реформа нашей системы этикета и моды есть дело, только весьма немногим другим делам уступающее в безотлагательной необходимости.

Итак, протестантизм в общественных обычаях необходим. Формы, переставшие служить для облегчения и ставшие препятствием, должны быть уничтожены. Нет недостатка в признаках близкой перемены. Толпы сатириков, предводительствуемые *Теккереем*, уже несколько лет трудятся над тем, чтобы предать презрению наши поддельные празднества, наши модные глупости; и в своем добродушии большая часть людей смеется над суетностями, на которые поддаются и они и весь свет. Насмешка была всегда революционным агентом. Учреждения, потерявшие корни свои в уважении и вере людей, невозвратно осуждены, и день их гибели недалеко. Приближается время, когда в нашей системе общественных приличий должен совершиться кризис, из которого она выйдет очищенная и сравнительно упрощенная.

Каким образом она дойдет до этого кризиса, этого никто не может достоверно сказать. Путем ли непрерывных и увеличивающихся индивидуальных протестов, или путем соединения многих отдельных личностей для осуществления и распро-

странения какой-нибудь лучшей системы, это может решить только будущее. Влияние уклонений, действующих поодиночке, кажется при настоящем положении дел недостаточным: будучи подвержены косым взглядам конформистов и укоризне тех даже, которые втайне им сочувствуют, терпя мелкие преследования и будучи не в состоянии доказать какое-либо полезное действие их примера, неконформисты оказываются склонными мало-помалу оставить попытки свои, как безнадежные. Молодой нарушитель приличий находит под конец, что он слишком дорого платит за свой неконформизм. Ненавидя, например, все, что носит на себе какой-нибудь остаток рабства, он решается, в порыве независимости, не снимать шляпы ни перед кем. Но он скоро находит, что то, чем он хотел выразить просто общий протест, принимается дамами за личное неуважение. В других случаях тоже ему недостает мужества. Те из его особенностей, которые могут быть приписаны только эксцентричности, не возбуждают в нем сомнений, потому что, вообще, он чувствует себя скорее польщенным, чем обиженным, тем, что на него смотрят как на человека, презирающего общественное мнение. Но если эти особенности могут быть отнесены на счет его невежества, дурного воспитания или бедности, он становится трусом. Как ни ясно доказывает новейшее введение употребления ножа и вилки при рыбных блюдах, что обычай есть рыбу только с помощью вилки и хлеба не имеет в основании своем ничего, кроме каприза¹, но он не смеет вполне отречься от этого обычая, пока мода хотя отчасти поддерживает его еще. Хотя он и убежден, что шелковый носовой платок столь же приличен для гостиной, как и белый батистовый, но все-таки он не вполне спокоен, действуя по своему убеждению. Притом же он начинает замечать, что его сопротивление предписанным обычаям влечет за собой неблагоприятные результаты, на которые он не рассчитывает. Он ожидал, что он в значительной мере избавит его от суетного общественного обращения, что им оскорбятся глупцы, а не умные люди, и что это послужит испытанием, путем которого можно будет отличить людей, стоящих знакомств, от таких, которые его не сто-

¹ Это было написано до введения в употребление серебряных ножей для рыбы.

ят. Но оказывается, что глупцы составляют такое значительное большинство, что, оскорбляя их, он сам заграждает себе все пути к достижению до умных людей. Таким образом, он находит, что его нонконформизм часто истолковывается в дурную сторону; что последовательно выдерживать его он может только в редких случаях; что неприятности и невыгоды, сопряженные с ним, превосходят то, что он ожидал, и что шансы сделать тут что-нибудь полезное весьма сомнительны. Поэтому решимость его постепенно слабеет, и он шаг за шагом снова впадает в обычную рутину приличий.

Так как индивидуальные протесты оказываются, таким образом, неудачны, то весьма возможно, что они не производят ничего положительного до тех пор, пока не возникнет какое-нибудь организованное сопротивление этому невидимому деспотизму, который предписывает нам образ жизни и привычки. Может быть, тирания обычаев и приличий ослабнет вследствие какого-нибудь противодейственного союза, как это было с политической и религиозной тиранией. Первая эмансипация человека от крайностей стеснения как относительно церкви, так и государства были достигнуты массами, связанными общими верованиями или общими политическими убеждениями. То, что оставалось недостижимым, пока являлись только отдельные отщепенцы или мятежники, было достигнуто, когда многие стали действовать сообща. Очевидно, что эти первые водворения свободы не могли быть достигнуты иным путем, ибо до тех пор, пока чувство личной независимости было слабо, а правление строго, для достижения желанных результатов не могло быть достаточного числа отдельных непокорных. Только в позднейшее время, когда светское и духовное управления стали менее стеснительны, а стремления к личной свободе сильнее, мелкие секты и партии получили возможность бороться против установленных верований и законов; а теперь уж и отдельные личности могут безопасно выказывать свой антагонизм. Неудача индивидуального протеста против принятых обычаев, на которые мы указали выше, заставляет думать, что и в этом случае должен произойти параллельный ряд изменений.

Правда, что *lex non scripta* отличается от *lex scripta* тем, что неписанный закон легче подвергается изменениям и что время от времени он незаметно улучшается. Тем не менее мы находим,

что аналогия применима здесь в существенных чертах. В этом случае, как и в других, сущность переворота состоит не в том, чтобы одни стеснения заменить другими, а в том, чтобы ограничить или уничтожить власть, предписывающую эти стеснения. Подобно тому как основное изменение, освященное Реформацией, состояло не в замене одной веры другою, а в непризнании произвола, предписывающего верования; подобно тому как основа изменения, давно уже предпринятого демократией, состоит не в замене одного какого-нибудь частного закона другим, а в замене деспотизма одного свободою всех, — точно так и параллельная перемена, которую должно произвести в том дополнительном управлении, о котором мы говорим, состоит не в том, чтобы вместо нелепых обычаев ввести разумные, но в низложении той тайны безответственной силы, которая налагает на нас эти обычаи, и в поддержании права каждого самому выбирать удобные для себя обычаи. Относительно правил общежития вест-эндская клика* есть наш Папа, и все мы паписты, за исключением некоторых еретиков. На всех решительно возмущающихся падает кара отлучения, со своей длинной цепью неприятных и даже серьезных последствий. Свободу личности, огражденную нашей конституцией и постоянно возрастающую, надо еще высвободить из-под этой утонченной тирании. Право частного суда, вырванного предками нашими у церкви, приходится еще требовать от этого диктатора наших привычек. И, как выше сказано, для того чтобы освободиться от этого идолопоклонничества и суеверного подражания, нужен протестантизм в общественных обычаях. Так как изменение, которого требуется достигнуть, однородно с тем, которое достигнуто уже, то вероятно, что и средства его достижения должны быть подобны прежним. Влияние, которого не могут произвести отдельные отщепенцы, и твердость, которой нам недостает, могут явиться, когда все они соединятся вместе. То гонение, которым свет карает их теперь, потому что в их нонконформизме он видит невежество или неуважение, ослабнет, когда он будет являться результатом принципа. Наказание, заключающееся в отлучении, потеряет свое значение, когда людей этих будет довольно много для того, чтобы они составляли свои собственные кружки. А когда занята будет известная позиция и выдержан удар нападающего, тогда вся сумма тайно-

го отвращения к нашим приличиям, существующего в обществе, получит возможность проявиться с достаточным могуществом для осуществления вождя освобождения.

Время одно может решить, таков ли будет этот процесс. Так, общность происхождения, возрастания, верховности и упадка, которую мы проследили во всех родах управления, предполагает таковую же общность и в способах изменения. С другой же стороны, природа часто производит существенно подобные действия совершенно, по-видимому, различными путями. Поэтому невозможно предсказать подробностей.

Взглянем теперь на заключения, которых мы достигли. С одной стороны, управление, первоначально составлявшее одно нераздельное целое и впоследствии подразделенное для лучшего отправления своих функций, должно во всех своих разветвлениях — политическом, религиозном и обрядном — рассматриваться как постоянно благотворное и даже абсолютно необходимое. С другой стороны, управление, во всех его формах, должно рассматриваться как временно исполняющее свою обязанность, обусловленную неспособностью первобытных людей к общественной жизни, а последовательные уменьшения его принудительности в государстве, церкви и обычае должны рассматриваться как ступени к окончательному его исчезновению. Для дополнения понятия необходимо помнить и третий факт, что происхождение, существование и падение всякого правительства, как бы оно ни называлось, одинаково обуславливаются и создаются самим человечеством, которое подчинено им, — из чего можно вывести заключение, что, вообще говоря, ограничения всякого рода не могут существовать долее, нежели они необходимы, и не могут быть разрушены скорее, нежели бы должно быть по естественному ходу вещей. Общество, во всех своих развитиях, подвергается процессу шелушения. Старые формы, которые оно последовательно сбрасывает с себя, были некогда все соединены с ним жизненной связью, служили каждая отдельно предохранительными оболочками, внутри которых развивалась более высокая форма человечества. Они сбрасываются только тогда, когда становятся препятствиями, когда уже образовалась какая-нибудь внутренняя и лучшая оболочка, и завещают нам все, что в них было хорошего. Периодические уничтожения тиранических законов не только не портили,

но улучшали отправление правосудия. Мертвые и погребенные верования не унесли с собой тех существенно нравственных элементов, которые они содержали в себе: элементы эти продолжают жить и теперь, освобожденные от язвы суеверия. И все справедливое, доброе и прекрасное, входящее в содержание наших обременительных форм этикета, все это будет жить вечно, когда сами формы будут уже забыты.

IV | НРАВСТВЕННОСТЬ И ПОЛИТИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ¹

Людам, верующим в существенные достоинства политических форм, политика наших обществ железных дорог могла бы служить внушительным уроком. Если есть надобность в заключительном доказательстве того, что самые тщательно составленные уложения не имеют никакой цены, если не представляют воплощения народного характера; если есть надобность в заключительном доказательстве того, что правительственные распоряжения, по ходу своему опережающие век, в деле непременно отстанут и пойдут вровень с ним, — то подобными доказательствами изобилует современная хроника предприятий, основанных на ассоциации капитала. В том виде, в каком утверждаются актом парламента, администрации наших общественных компаний имеют почти чисто демократический характер. Представительная система применяется в них почти без границ. Акционеры выбирают своих директоров, директора выбирают своего представителя; каждый год выбывает известная часть членов комитета, чтобы дать возможность заместить их другими; таким образом, весь административный состав может быть обновлен в промежуток от трех до пяти лет. При всем том не только в каждой из этих торговых корпораций воспроизводятся все характеристические недостатки наших государственных форм — и некоторые даже в сильнейшей степени, — но самый образ правления, хотя номинально остается демократическим, в сущности переименен так, что делается миниатюрным снимком с нашей национальной конституции. Правление редко проводит в действительности теорию, воздвигающую его на степень совещательного собрания, состоящего из равноправных и равновластных членов, и обыкновенно подпадает под власть какого-либо одного члена, превосходящего остальных хитростью,

¹ Впервые опубликовано в журнале «Edinburg Review» за октябрь 1854 г.

силой воли или богатством: влиянию такого члена большинство подчиняется до того, что решение каждого вопроса зависит от мнения этого члена. Владельцы акций, вместо того чтобы всегда пользоваться своими правами, обыкновенно пренебрегают ими до того, что права эти делаются мертвой буквой: до того вошло в привычку беспрекословно вторично избирать выбывающих по очереди директоров, а в случае сопротивления они имеют столько средств заставить себя избирать, что правление в действительности превращается в замкнутую корпорацию и малейшая перемена делается возможной только тогда, когда злоупотребление в правлении доходит до таких крайностей, что возбуждает между акционерами революционное волнение. Таким образом, повторяется та же смесь монархического, аристократического и демократического элементов с изменениями, какие обуславливаются обстоятельствами. Самый способ действий, приемы, в сущности, те же, с той только разницей, что копия нередко превосходит оригинал. Так, например, правление обществ железных дорог сплошь да рядом угрожает отказаться от должности, чтобы отстранить какое-нибудь неприятное дознание. Директора не только не думают считать себя служителями акционеров, но возмущаются против всякого указания с их стороны и часто предаются желанию сделать какую-нибудь поправку в предложенной мере за выражение недоверия к ним. В полугодичных собраниях председатель отделяется от неприятных разбирательств и возражений замечанием, что если акционерам не угодно доверять ему и его товарищам, то они вольны избрать себе других. С большею частью акционеров подобная уловка оскорбленного достоинства имеет полный успех, и от страха, чтобы интересы всего общества не пострадали от каких-нибудь смут, дозволяются и утверждаются меры, идущие прямо вразрез с желаниями акционеров. Сравнение можно провести еще далее. Если о национальной администрации основательно говорят, что лица, занимающие правительственные должности, рассчитывают на поддержку всех общественных чиновников, то не менее справедливо можно сказать о компаниях на акциях, что директорам в их столкновениях с акционерами много помогают подведомственные им лица. Если в прошлые времена бывали министерства, которые тратили общественные деньги для целей какой-нибудь одной партии,

то в настоящее время между дирекциями обществ железных дорог есть такие, которые употребляют капиталы акционеров для борьбы с теми же акционерами. Сходство это доходит до мелочей. Подобно своему правительственному прототипу, у коммерческих ассоциаций есть своя, стоящая больших денег избирательная борьба, которой заведуют избирательные комитеты, употребляющие избирательных агентов; есть свои избирательные интриги, с бесчисленными их незаконными атрибутами, и подчас своя фабрикация подложных голосований. Наконец, как общий результат всего сказанного, следует, что то самое так называемое сословное законодательство, которым обыкновенно попрекают наших государственных людей, постоянно проявляется в действиях этих торговых ассоциаций, хотя и утвержденных на чисто представительных началах.

Последним утверждением мы удивим, вероятно, не одного читателя. Публика вообще, т.е. та часть ее, которая имеет мало или вовсе не имеет прямого интереса в делах, касающихся железных дорог, которая никогда не читает ни одной специальной газеты по этой части и пропускает отчеты о полугодных собраниях, попадающиеся в ежедневных газетах, пребывает в убеждении, что бесчестные проделки вроде колоссальных мошенничеств, получивших такую громадную известность во время знаменитой мании на спекуляции, теперь уже более не совершаются. Эти доверчивые люди не забыли деяний маклеров и директоров. Они помнят, как разные подставные лица имели акции на 100 000 и даже 200 000 ф. ст.*; как несколько директорских должностей занимались одним лицом, так что один человек в одно и то же время заседал в двадцати трех правлениях; как первоначальные подписки составлялись с помощью подписей, купленных по 10 и по 4 шиллинга за штуку, и носильщики и мальчишки-рассыльные подписывали обязательства на такие суммы, как 30 000 или 40 000 ф. ст. Они и теперь расскажут, как некоторые дирекции писали книги своим шифром, делали подложные списки и не вносили своих действий в журнал; как в одном обществе полмиллиона капитала было записано на вымышленные имена; как в другом директора покупали на срок большее число акций, чем было выпущено, и таким образом искусственно поднимали цену их; как во многих других, они перекупали для общества собственные свои акции и стоимость

их выплачивали сами себе из денег вкладчиков. Но хотя каждому более или менее известны все эти беззакония, их вообще считают только принадлежностью спекуляций. О новейших же предприятиях предполагают, что они задуманы добросовестно и выполнены по большей части давно учрежденными обществами, и не подозревают того, что при предложениях о постройке боковых линий и продолжении существующих происходят проделки, почти столь же пагубные в своих конечных результатах. По привычке сближать понятие о богатстве с понятием о почтенности, а слово «почтенность» употреблять как синоним слова «нравственность» большей части публики кажется невероятным, чтобы многие из крупных капиталистов и людей с хорошим положением в свете, заведующих делами железных дорог, были способны косвенным образом обогащать себя за счет своих доверителей. Правда, попадаетея иногда судебный отчет, открывающий какой-нибудь громадный подлог, или передовая статья в «Times», клеймящая поступки каких-нибудь директоров в выражениях, которые читателям кажутся чуть не пасквильными. Но на дела, таким образом выведенные на свет, смотрят как на исключения, и под влиянием того верноподданнического чувства, которое всегда идеализирует людей, облеченных властью, общественное мнение постоянно клонится к убеждению, что если директоров нельзя считать непогрешимыми, то все-таки не очень правдоподобно, чтоб они грешили.

Но подробное и достоверное повествование об управлении и интригах, хотя одного общества железной дороги, скоро положило бы конец подобному заблуждению. В таком повествовании проделки составителей проектов и тайны акционерного рынка заняли бы меньше места, нежели разбор многообразных мошенничеств, совершенных с 1845 г., и история происхождения и развития той хитро сплетенной тактики, посредством которой общества увлекаются в разорительные предприятия, обогащающие небольшое меньшинство в ущерб огромному большинству. В такого рода истории пришлось бы не только подробно описать выходы каких-нибудь отдельных лиц, прославившихся своими ловкими проделками, не только добавить о злодеяниях их сотоварищей, но пришлось бы описать однородные злоупотребления, происходящие в администрациях и других обществ. Из печатных отчетов следственной комиссии, если бы таковую

снарядить, оказалось бы, что не далее как несколько лет назад директора одной из наших линий железных дорог разделили между собой 15 000 новых паев в то время, когда акции их общества ходили на бирже с премией; как для первого взноса по этим паям употребили они деньги общества и как на долю одного из них этих взносов досталось более чем 80 000 ф. ст. В таком отчете мы прочли бы историю председателя одного общества, который, тайно потворствуемый секретарем, удержал акций более чем на четверть миллиона, с намерением потребовать их на свой пай, если бы они стали ходить с премией, и который, когда этого не случилось, оставил эти акции невыпущенными на руках акционеров, к великому их убытку. Еще прочли бы мы о директорах, которые делали займы для себя из сумм, назначенных на текущие расходы общества, за низкие проценты, в то время как на бирже учетные проценты были высоки, или брали себе жалованье больше назначенного, внося разность в какой-нибудь незаметный уголок главной книги под рубрикой «Мелкие издержки». Мы бы нашли там описание различных маневров, при помощи которых преступное правление под видом строгого расследования подбирает благоприятную себе ревизионную комиссию, получившую кличку «*a whitewashing committee*»*. Мы нашли бы там документы, доказывающие, что некоторые правления получали полномочия на проведение нежелательных мер при помощи подтасовки фактов в своих докладах, а иногда полученные ими полномочия на какой-нибудь специальный предмет употребляли на другие. Мы бы убедились, что одно из наших обществ проектировало линию, служащую подъездным путем к его дороге, и добыло себе акционеров, предлагая им гарантированный дивиденд; между тем гарантии эти, признаваемые публикой безусловными, обставлялись такими условиями, что на самом деле никогда не были выполнены. Директора другого общества были уличены в том, что провели меры, выгодные для своей партии, при помощи привилегированных акций, записанных на имя начальников станций, равно как при содействии полномочий от малолетних и не умеющих еще писать детей секретаря общества.

Что злоупотребления, указанные здесь, составляют вовсе не исключение, а результат коренного порока, разветвляющегося по всей нашей системе управления железными дорогами,

достаточно доказывается тем простым фактом, что, несмотря на понижение дивидендов, причиненное системою увеличения линий, этой системы продолжали держаться год за годом. Если торговец, расширив свою торговлю, найдет, что барыши его убывают соразмерно этому расширению, то станет ли он, хотя бы даже понуждаемый конкуренцией, делать дальнейшее расширение, рискуя дальнейшими убытками? Станет ли купец, при всем желании подорвать торговлю конкурента, делать последовательные займы под залог своего капитала, платя за каждую сумму, добытую таким образом, проценты более высокие, нежели те, какие он получает, пуская его в оборот? Подобный образ действий до того нелеп, что присоветовать его любому частному лицу считалось бы величайшей дерзостью и оскорблением, а между тем, чем же лучше образ действий, на который директора обществ железных дорог при каждом новом собрании уговаривают своих доверителей? С 1845 г., когда дивиденды наших главных линий стояли на 8—10%, они, несмотря на постоянно возраставшее обращение, упали с 10 до 5%, с 8 до 4%, с 9 до 3¼%, а между тем система расширений, арендований и гарантий постоянно поддерживается, хотя в ней явная причина зла. Не ясно ли, что тут кроется нечто, нуждающееся в объяснении, нечто, не ограничивающееся тем, что доступно взгляду публики вообще? Если найдется кто-нибудь, кого не убедит чудовищный факт несокрушимого упорства в непроизводительной затрате капитала, тот пусть прочтет заманчивые отчеты, на которые поддаются акционеры, разрешая пополнение новых проектов, и потом сравнит их с полученными результатами. Пусть он просмотрит сметы предполагаемых расходов, размеры предполагаемых оборотов и ожидаемых дивидендов по какой-нибудь предлагаемой новой линии, пусть он заметит, насколько владелец акций, до которого был установлен проект, бывает склонен считать предприятие крайне доходным, а затем, по следующему за всем этим понижению акций, пусть измерит всю громадность нанесенного убытка. Не сам ли напрашивается вывод? Ясно, что акционеры не могли поставить себе за правило утверждать предприятия, от которых верно знали, что останутся в убытке. Однако же каждому известно, что все эти новые предприятия, почти без исключения, принесли нам один убыток Следовательно, очевидно, что акционеры были постоянно

обманываемы ложными представлениями. Этот вывод можно отклонить разве только предположением, что дирекции и их агенты сами бывали обманываемы; и если бы разногласия между обещанными и действительно последовавшими результатами были только редкой случайностью, то имелось бы некоторое основание к подобному снисходительному воззрению. Но предполагать, чтобы какая бы то ни было администрация впадала в целый ряд таких ошибок, нисколько не образумилась бы от бедственных опытов и после дюжины подобных разочарований все-таки продолжала бы завлекать полугодичное собрание акционеров блестящими надеждами, ведущими их прямо к разорению, и предполагать, что все это делалось в простоте сердечной, — это уже значит рассчитывать на чересчур большое легкоеверие. Даже в том случае, если бы подозрения не возбуждались неопровержимо обличенными беззакониями, то нам кажется, что постоянного понижения в ценности акций железных дорог, непреклонного упорства правлений в системе, причинившей его понижение, и доказанной лживости тех представлений, которыми они побудили акционеров к одобрению этой системы, было бы совершенно достаточно, чтоб навести на убеждение в коренной порочности администраций железных дорог.

Для лучшего понимания существующих злоупотреблений и различных причин, содействующих их порождению, необходим краткий обзор способа развития системы увеличения линий. Одной из первых побудительных причин этой системы было чувство соперничества. Еще не построены были главные линии, как уже между нашими двумя главными обществами возник спор о первенстве. Спор этот в непродолжительном времени перешел в положительный антагонизм, и то же самое побуждение, которое в избирательной и другой подобной борьбе нередко заставляло проматывать целые состояния для одержания победы, значительно способствовало тому, чтобы заставить каждого из двух могущественных соперников приносить неоднократные жертвы скорее, чем остаться побежденным. Такого рода враждебность постоянно побуждает соперничающие правления к нападениям на территорию одно другого, причем за каждое покушение одной стороны другая отплачивает совершенно тем же, и неприязненное чувство, порождаемое

подобными столкновениями, доходит иногда до такого неистовства, что можно бы указать на несколько директоров, которые при голосовании руководятся единственно желанием отомстить противникам. В числе первых способов, которыми важнейшие общества старались укреплять себя и ослаблять своих соперников, были аренда и покупка второстепенных соседних линий. При этом, разумеется, делались предложения и набивались цены с обеих сторон, из чего естественно следовало, что первые такие продажи совершались по ценам, далеко превосходившим действительную стоимость покупаемых линий, и продавцы получали огромные барыши. Что из этого следовало? После нескольких подобных сделок сметливым спекулянтам стало ясно, что выгодно будет строить новые линии при таких условиях, которые заставили бы соперничающие общества отбивать их друг у друга. Получив раз таким образом значительные и легко приобретенные барыши, акционеры только и думали о том, как бы повторить такой приятный процесс, и искали новых участков для произведения дальнейших операций. Даже директорам обществ, платившим такие высокие цены, была личная выгода поощрять подобные обороты, потому что эти люди ясно видели, что, участвуя в одном из этих предприятий на сумму, большую той, какая помещена у них в покупающем обществе, и в то же время употребляя свое влияние в покупающем обществе для доставления новому предприятию хорошей цены или выгодного обеспечения, они этим самым получают огромную пользу, и вся история железных дорог с избытком доказывает, какую важную роль играла эта побудительная причина во всех таких операциях. Стоило только начать, и тогда уже не было недостатка в других влияниях, поощряющих к сооружению боковых линий и продолжению существующих. Возможность постоянно почерпать деньги из капитала общества давала средства к выдаче фальшивых дивидендов, дошедшей одно время до больших размеров. Под влиянием различных побудительных причин расходы, которые должны бы были делаться из доходов, делались из капитала: сооружение и подвижной состав оставались без ремонта или ремонтировались весьма недостаточно, и через это текущие издержки являлись обманчиво незначительными; с другой стороны, условия, заключенные с подрядчиками на долгий срок,

давали возможность не вносить в счета разных мелких издержек, в сущности уже сделанных, и таким образом чистые доходы выводились на бумаге гораздо большими, чем были в действительности. Новые предприятия, покровительствуемые при своем появлении перед денежным миром обществами, капитал и дивиденды которых были таким образом искусственно подняты, естественно, встречались благоприятно. Благодаря обаянию родства их с обществами, пользующимися уже доверием, акции их начинали ходить с высокой премией и приносили огромные барыши учредителям. Это обстоятельство было принято к сведению и весьма скоро вошло в систему сооружать побочные линии — «calves» («телята»), как их принято называть на жаргоне строителей, в надежде на такое же, действительное или призрачное, благоденствие и торговать премиями, с которыми выпускались акции. Между тем возник и развился еще второстепенный разряд влияний, тоже немало способствовавший к поощрению неразумных предприятий, а именно интересы судебных ходатаев, инженеров, подрядчиков и других лиц, непосредственно или косвенно участвовавших в построении железных дорог. С методом составления и исполнения новых проектов не могли не освоиться в несколько лет все лица, заинтересованные в этом деле, и не могло не возникнуть между ними единомышленной тактики, составленной с общего согласия для достижения одной общей цели. Таким образом, частью вследствие зависти соперничающих правлений, частью вследствие алчности акционеров покупаемых линий, частью вследствие бесчестности директоров при составлении проектов, частью вследствие проделок тех, которым предоставляется выполнять проекты, законным образом утвержденные, наконец, частью, если не преимущественно, вследствие обманчивого вида благоденствия, который умели сохранить многие уже установившиеся общества, — разразилась сумасбродная спекуляция 1844 и 1845 гг.* Последовавшие затем бедствия, хотя совсем почти отстранили последнюю из названных нами побудительных причин, не имели почти никакого влияния на остальные. Хотя публика, наученная горьким опытом, уже не так легковерно потворствует спекуляциям, как в прежнее время, но личные интересы, возникшие тогда, остались теми же, как и были; система только еще изощрилась, приняла

более сложные и многообразные виды и до сей поры ежедневно подвергает злополучных акционеров в убыточные предприятия.

Прежде чем приступить к разбору существующего положения дел, мы желаем объяснить читателю раз и навсегда, что мы не полагаем, чтобы *уровень* нравственности лиц, замешанных в эти дела, был заведомо ниже, нежели нравственность общества вообще. Если взять первых попавшихся представителей любого сословия, то окажется, по всей вероятности, что они, поставленные в такое же положение, поступили бы точно так же. Бесспорно, есть директора совершенно бесчестные; но также бесспорно и то, что есть другие, понятия которых о чести далеко превосходят понятия большинства людей. Что же касается остальных, то мы уверены, что они ничем не хуже массы. Об инженерах, парламентских агентах, юристах, подрядчиках и других лицах, участвующих в иного рода предприятиях, можно положительно сказать, что пока они силою привычки доходят до ослабления своих нравственных правил, но было бы слишком строго судить их единственно по тем действиям, в которых их можно основательно укорять. Те, кто не сразу понимает, каким образом в этих запутанных делах самые бесчестные результаты могут быть плодом действий людей, личность которых далеко не соответствует порочности этих результатов, поймут дело по рассмотрению условий, в которые лица эти поставлены. Во-первых, нужно обратить внимание на всем известный факт, что совесть целой корпорации всегда менее щекотлива, нежели совесть отдельной личности, — иными словами, что всякая корпорация не задумается совершить, в виде совокупного акта, такой поступок, на который не решилось бы ни одно из лиц, составляющих ее, если бы оно чувствовало себя лично ответственным за него. При этом можно заметить, что таким сравнительным ослаблением нравственности отличается не только поведение самой корпорации *относительно* общества, но и поведение общества *относительно* корпорации. Всегда есть какое-то более или менее ясно сознаваемое понятие, будто для обширного общества почти нечувствительно то, что погубило бы частное лицо, и это понятие постоянно руководит действиями всех правлений железных дорог и подведомственных им лиц, так же как и всех подрядчиков и землевладельцев и других заинтересованных лиц, заставляя их выказывать

алчность и отсутствие нравственных правил, чуждые их деятельности вообще. Затем отдаленность и освоенность производимого зла еще значительно ослабляют чувство, обуздывающее злоупотребления. Действия людей вообще непосредственно определяются представлениями о результатах, которых можно ожидать от них, и принимаемые решения в значительной мере зависят от большей или меньшей ясности, с которой эти результаты могут представиться воображению. Последствие, хорошее или дурное, рисующееся ясно и непосредственно, влияет на образ действий человека гораздо могущественнее, нежели такое последствие, которое нужно проследить через длинный ряд вытекающих одна из другой причин и которое в окончательном результате оказывается не определенным и осязательным, а общим и смутно уловимым. Вот почему в сомнительных сделках на акциях, в запрашивании непомерных цен — поступках, которые приносят огромные выгоды отдельным личностям, не нанося, по-видимому, ущерба никому, и которые в их конечных результатах могут только окольными путями повредить неизвестным лицам, неизвестно где проживающим, можно уличить таких людей, которые, если бы представить им воплощенные результаты их действий, ужаснулись бы нанесенного ими вреда, — людей, которые в частных своих делах, где результаты действительно представляются им в таком осязательном виде, достаточно честны. Далее следует заметить, что виною большей части этих крупных мошенничеств бывает не чудовищная бессовестность какого-нибудь отдельного человека или группы людей, а совокупность личных интересов многих людей и многих групп людей, мелкие проступки которых накоплением своим образуют одно огромное целое. Это совершенно похоже на процесс, вследствие которого какой-нибудь факт, переходя из уст в уста и при каждом повторении подвергаясь легкому преувеличению, возвращается к первому рассказчику в едва узнаваемом виде. Точно так же и тут землевладельцы позволяют себе слегка налегать своим влиянием там, где бы не следовало; члены парламента более или менее протезируют тем или другим лицам, кое-где интригуют, юристы кое-где проницствуют, инженеры, подрядчики и директора несколько не в меру радеют о своей выгоде, да сметы представляются в немного прикрашенном виде, слегка уменьшая угрожающие

невыгоды и увеличивая ожидаемую пользу, — и все это вместе приводит к тому, что акционеры завлекаются в разорительные предприятия отъявленно лживыми представлениями, а на каждого виновного падает только малая доля общей вины. Следовательно, если принять в соображение сравнительную беззастенчивость корпоративной совести, отдаленность и широкое распространение результатов, производимых злоупотреблениями, и смешанное начало этих злоупотреблений, — делается возможным понимать, каким образом в делах железных дорог колоссальные мошенничества могут быть совершаемы людьми, которые, отдельно взятые, стоят по своей нравственности весьма немного ниже или даже вовсе не ниже общего уровня нравственности их среды.

После этих предварительных смягчающих пояснений мы приступаем к подробному изложению различных незаконных влияний, имеющих последствием безрассудную систему расширения и непрерывное расточение капиталов акционеров.

В первом ряду между этими влияниями стоит своекорыстие землевладельцев. Владетели имений, некогда бывшие главным препятствием предпринимаемым железным дорогам, сделались за последние годы главными их ревнителями. С тех пор как первый проект линии между Ливерпулем и Манчестером разбился об оппозицию землевладельцев, а второй проект уцелел только тем, что держался вдали от усадеб и огибал парки, отгороженные для охоты; с того времени как лондонско-бирмингемское общество, после утверждения его проекта комитетом пэров, принуждено было «задобрить» своих антагонистов поднятием оценки земли с 250 000 до 750 000 ф. ст.; с того времени как парламентский совет поддерживал безосновательное сопротивление самыми вздорными и нелепыми отговорками вроде укоров инженерам за «попирание хлеба вдов» и «разрушение клубничных гряд огородников», — с этого времени, говорим мы, в политике землевладельцев произошел заметный переворот. Да и не в человеческой натуре было бы, чтоб дело было иначе. Когда стало известно, что общества железных дорог обыкновенно дают в виде «платы и вознаграждения за землю» от 4000 до 9000 ф. ст. с мили; что за воображаемые повреждения собственности вознаграждают такими неслыханными суммами; что большую часть их наследники не раз считали делом совести возвращать;

что в одном случае было заплачено 120 000 ф. ст. за землю, оцениваемую в 5000 ф. ст.; когда разнеслись слухи, что производятся значительные вознаграждения в виде даровых акций и т.п., чтобы откупиться от сопротивления землевладельцев; когда стало достоверным фактом, что стоимость имений значительно возвышается от близости к железной дороге, — неудивительно, что помещики сделались деятельными ревнителями тех самых проектов, против которых они некогда восставали с таким ожесточением. Если принять в соображение бесчисленные искушения, которым они подвергались, мы не увидим ничего изумительного ни в том факте, что в 1845 г. они были ревностными членами временных комитетов, ни в том, что влияние их, употребляемое в пользу предприятий, дало им возможность получить за собственные свои земли большие суммы, ни, наконец, в том, что многие их действия довольно трудно оправдать иначе как смотря на них с их точки зрения. Рассказывая нам о помещиках, искавших свидания с инженером какой-нибудь предполагаемой железной дороги, договаривающихся о том, чтобы он выбрал для линии их местность, обещая свою поддержку, если он поступит по их желанию, и угрожая сопротивлением в противном случае, предписывающих, какую именно черту провести через их владения, давая при этом понять, что рассчитывают на хорошую цену, — нам указывают только на особенные проявления известных частных интересов. Когда мы слышим о том, как владелец обширного поместья употребляет влияние, которым он пользуется в качестве председателя правления какого-нибудь общества, на то, чтобы проектировать ответвление, пересекающее его имение на протяжении нескольких миль, и подвергает доверившееся ему общество издержкам, сопряженным с парламентской борьбой, чтобы добиться утверждения этой линии, — мы слышим только о том, что, по всей вероятности, и должно было случиться при данных обстоятельствах. Если в настоящую минуту на рассмотрение публики предлагается линия, задуманная крупным капиталистом и, между прочим, служащая к установлению выгодного для него сообщения с его именьями, причем он уверяет, что составленные по проекту сметы с избытком достаточны, тогда как все инженерное сословие считает их положительно недостаточными, — то мы в этом видим только особенно разительный пример того, какие

искаженные представления непременно порождаются личным интересом при подобных условиях. Если мы открываем, что такой-то проект составлен домогательствами местного дворянства и джентри; что изыскания были поручены третьестепенному инженеру, готовому взять их на себя за плату, только что покрывающую его издержки в виду будущих выгод; что начальник изыскания и его агенты приставали к директорам смежной главной линии, чтобы заставить их принять их проект, угрожая, что в противном случае его примет какое-нибудь богатое, соперничающее с ними общество, требовали денежной ссуды на расходы и добились бы всего этого, если бы не сопротивление акционеров, — то мы только открываем организованную тактику, которая совершенно естественно развивается при подобных побудительных причинах. Во всех этих фактах нет ничего особенно замечательного. Начиная с бесстыдства землевладельца, запросившего 8000 ф. ст. за то, что он наконец отдал за 80 ф. ст., до ежедневно повторяющихся примеров влияния, употребляемого на доставление известному околотку удобств железной дороги, — все эти действия поземельного сословия составляют просто проявления общего уровня нравственного характера, обнаруживающегося под влиянием особых условий. Единственное, что должно останавливать наше внимание, — это то, что есть и многочисленное и могущественное сословие, интересы которого постоянно тянут в сторону расширения железных дорог, не принимая в соображение действительную пользу или вред подобной системы.

Переворот в положении, принятом законодательством в отношении железных дорог, а именно переход от «одной крайности, заключающейся в упорном отвержении проектов или утверждении их только после долгих проволочек, к противоположной крайности — утверждению всех проектов без разбора», совершился одновременно с вышеописанным переворотом. Вряд ли могло быть иначе. Из того, какая значительная часть обеих парламентских палат состоит из представителей землевладельческой общины, непременно должно было последовать повторение в первых той же игры частных интересов, которая проявляется в последней, только в несколько измененном виде и усложненное другими влияниями. Если вспомнить, до какой степени сами законодатели были запутаны в спекуляции во время

знаменитой «мании», едва ли можно предположить, чтобы они с тех пор совершенно освободились от влияния личных соображений. Существует один парламентский отчет, доказывающий, что в 1845 г. было 157 членов парламента, имена которых являлись в списках новых обществ на различные суммы, начиная от 291 000 ф. ст. и ниже. Сторонники новых проектов хвалились числом голосов, которым они располагали в палате. Члены палаты общин делались предметом личных домогательств, у пэров, выпрашивали покровительства. В верхней палате публично жаловались, что «почти невозможно набрать присяжных, из которых несколько человек не имели бы сумм, подписанных на ту железную дорогу, пользу которой они призваны признать». Нет сомнения, что подобное положение дел было исключительное, и с тех пор последовало не только уменьшение соблазна, но и заметное приращение чувства честности. Но все-таки нельзя ожидать, чтобы прекратилось действие частных интересов. Нельзя ожидать, чтобы землевладелец, который вне парламента всеми силами старается промыслить железную дорогу для своего округа, после вступления своего в парламента не стал употреблять для той же цели власти, данной ему его новым положением. Нельзя ожидать, чтобы накопление многих таких личных влияний оставило законодательную политику неизменной. Отсюда происходит тот факт, что влияние, некогда направляемое против утверждения проектов железных дорог, теперь употребляется в пользу их. Отсюда же происходит и другой факт, что комитеты, которым поручается рассмотрение проектов, уже не требуют достоверных доказательств того, что предлагаемой линии действительно предстоит значительная торговля, чтобы дать требуемые полномочия. Этому же, наконец, следует приписать и тот факт, что директора и председатели правлений, занимающие места в палате общин, позволяют себе обязываться от имени своих обществ на продолжение существующих линий и сооружение новых. Мы могли бы назвать одного из членов парламента, который, приобретя выгодно расположенное имение, поручил одному инженеру, также члену парламента, постройку железнодорожной линии, проходящей через его имение. Когда ему удалось получить парламентский акт, разрешающий постройку этой линии (при проведении акта в парламента немалую роль играли влияние как его самого, так и друзей его), он нашел

три железнодорожных общества, пожелавших купить у него этот акт. Мы могли бы назвать и другого члена парламента, который проектировал продолжить свою дорогу и получил на это разрешение. Он убедил директоров соседней главной линии, с которыми был в очень близких отношениях, взять акции на половину всего капитала, предназначенного для предполагаемого расширения предприятия, с условием выдавать им 50% прибыли со всего валового дохода и передавать на главную линию все товары, поступающие для перевозки до тех пор, пока не получится от этой операции 4% на весь капитал, что, в сущности, было не более как гарантированием 4%. Однако не единственно из личных видов стали законодатели давать в последние годы неуместное поощрение этим предприятиям. Тут большую роль играли и различные косвенные побудительные причины. Одною из них было желание угодить избирателям. Жители округа, лишенного удобства железной дороги, естественно пристают к своим представителям, чтобы они выхлопотали проведение линии. Представители же нередко сознают, что вторичное их избрание зависит от успешного исполнения этого желания. Даже там, где нет натиска со стороны народа, он есть со стороны их главной политической опоры — крупных землевладельцев, которыми не приходится пренебрегать; местных юристов, друзей, весьма не лишним при выборах, людей, которым железная дорога всегда приносит много дела. Таким образом, даже не имея в виду непосредственных личных целей, члены парламента часто бывают почти насильно вынуждены содействовать проектам, далеко не разумным с точки зрения акционерной или даже национальной. Затем следуют еще менее непосредственные побудительные причины. Там, где не имеются в виду достижения ни личных, ни политических целей, остаются все-таки интересы какого-нибудь родственника, а если не родственника, то хоть приятеля. Там, где нет положительного напора в противную сторону, эти побудительные причины, разумеется, имеют значительный вес. Сверх того, справедливость заставляет сказать и то, что большинство членов парламента до того одержимо убеждением, что сооружение всякой железной дороги есть благодеяние для страны, что для них почти не существует причин сопротивляться подобным влияниям. Правда, акционеры могут понести убыток, но это уже их дело, — публике же представятся новые удобства;

избиратели останутся довольны; друзьям будет угождено; может быть, достигнутся и личные цели: понятно, что под влиянием некоторых из этих побуждений или всех их вместе охотно подаются благоприятные голоса. Таким образом, со стороны законодательства так же последовало в последние годы искусственное поощрение к размножению железных дорог.

От парламента к парламентским агентам и ко всему юридическому сословию, сопричастному построению железных дорог, переход легок. Для них составление и выполнение проектов новых линий и разветвлений — вопрос насущный. Всякий, кто изучит процесс добывания парламентского акта, утверждающего новую железную дорогу, или обратит внимание на множество законных формальностей, обуславливаемых проведением работ на железных дорогах, и на большие суммы, появляющиеся в полугодичных отчетах под рубрикой «судебных издержек», — разом поймет, как сильно искушение, которому каждый новый проект подвергает солиситоров, нотариусов и адвокатов. Доказано, что за прошлые годы парламентских расходов приходилось от 650 до 3000 ф. ст. с мили, и бóльшая часть этих сумм поступила в карманы юридического сословия. В одной парламентской борьбе 57 000 ф. ст. были разделены на шесть человек адвокатов и двадцать человек солиситоров. На недавнем собрании одного из наших обществ было упомянуто, что сумма, истраченная на судебные и парламентские расходы, достигла в течение 9 лет до 480 000 ф. ст., т.е. средним числом 53 500 ф. ст. в год. Имея перед глазами такие факты и десятки подобных им, было бы слишком странно, если бы такой сметливый народ, как юристы, не употреблял всевозможные усилия и проделки для порождения новых предприятий. Действительно, если оглянуться на дела, совершившиеся в 1845 г., можно заподозрить, что юристы не только деятельно помогали новым предприятиям, но сами затевали их. Каждый отчасти слышал о том, как в эту пору общего возбуждения ежедневно объявляемые проекты часто предлагались местными солиситорами; как эти люди изучали карты, высматривая, где можно провести благовидную линию; как они запутывали местное джентри своими домогательствами, чтобы добиться составления комитетов; как сговаривались с инженерами насчет пробных изысканий; как, благодаря обаянию сумасбродных надежд, охвативших всех в то время, они без большого

труда могли составлять общества. Зная все это и зная, что люди, имевшие успех в своих расчетах, вряд ли отвыкают от хитрости и коварства, а скорее с каждым годом более упражняются и совершенствуются в них, мы весьма естественно должны ожидать, что юристы, имеющие дела с железными дорогами, окажутся самыми влиятельными из многочисленных лиц, содействующих завлечению владельцев железных дорог в бедственные предприятия, — и мы не обманемся в этом ожидании. Они большей частью бывают в союзе с инженерами. Со времени предложения до окончательного сооружения новой линии юрист и инженер работают заодно, интересы их совершенно тождественны. В то время как один производит изыскания, другой заготавливает справочную книгу. Местные планы, составленные одним, представляются другим. Объявления землевладельцам и арендаторам, которые пишутся одним, другим рассылаются по принадлежности. Во все время работ они беспрестанно советуются друг с другом о том, как справиться с местной оппозицией и добыть местную поддержку. При составлении отчетов для представления парламенту они по необходимости действуют в согласии. Между тем как во время заседаний комитета один исправно получает свои десять гиней в день за то, чтобы быть под рукою и подавать свои показания, другой извлекает пользу из всех сложных формальностей, сопряженных с проведением парламентского утверждения. Во время производства работ инженер и юрист бывают в частых сношениях и получают одинаковую выгоду от всякого расширения предприятия. Таким образом, в каждом из них естественно возникает понятие, что, помогая другому, он помогает сам себе, и постепенно, с годами, по мере повторений таких операций, и тот и другой совершенно осваиваются с политикой железных дорог, между ними устанавливается вполне организованная система взаимного содействия, — система, приобретающая наибольшую силу от богатства и влияния, с каждым годом накопляемых ими.

В числе проделок солиситоров, устроившихся таким образом, одна из самых замечательных заключается в ловкости, с которою они добиваются проведения в директора кандидатов собственного назначения. Как это ни покажется странным и невероятным, но есть кукольные директора, подающие голос в пользу того или другого только по внушению юристов

общества, которых они оказываются креатурами: это факт, который мы приводим из достоверных источников. Добывание таких орудий не представляет никакой трудности. Представляется вакансия директора. Всегда почти есть несколько таких людей, над которыми солиситор, заведующий обширными юридическими делами железной дороги, имеет значительную власть: не только друзья и родственники, но и клиенты и вообще люди, которым он по своему положению может доставить большую пользу или нанести большой вред. Из них он выбирает самого подходящего к его целям, отдавая предпочтение при других равных условиях такому, который живет в провинции поблизости к линии. Открываясь ему в своих намерениях, он указывает ему на различные выгоды, сопряженные с положением директора, на право бесплатного проезда и многочисленные удобства, которые дает это место; на ежегодное содержание фунтов в сто, которое оно приносит, на получаемые от него почёт и влияние; на вероятно предстоящие случаи к выгодному помещению капитала и т.д. Если последуют возражения на основании неразумения дел, касающиеся железных дорог, искуситель, для которого в этом-то неразумении и заключается главное условие годности субъекта, отвечает, что он всегда будет под рукою, чтобы руководить им при подаче голоса. Если нареченный кандидат станет отговариваться неимением требуемого количества акций общества, искуситель устраняет затруднение, с готовностью предлагая пополнить недостающую цифру. Поощренный и польщенный таким образом и, может быть, сознавая, между прочим, что отказаться было бы опасно, избранное орудие позволяет внести себя в кандидатский список, а так как полугодичные собрания имеют обыкновение — которому они изменяют только под влиянием сильного негодования, — избирать первое лицо, представленное им властью имеющими, то дело сходит с рук благополучно. То же самое, разумеется, может возобновиться и при последующих случаях, и таким образом юридический агент общества и сообщники его могут располагать достаточным числом голосов, чтобы перетянуть весы на свою сторону.

Далее, к личному интересу и власти главного солиситора нужно прибавить интересы и влияние местных солиситоров, с которыми он в постоянных сношениях. Они тоже получают

пользу от новых предприятий; и поэтому изо всех сил стараются подвигать их вперед. Действуя единомышленно со своим начальником, они образуют весьма влиятельный местный штаб. Они неугомонно интригуют в пользу предприятия, они подстрекают и сосредоточивают чувства своих округов; поддерживают соперничество с другими линиями; запугивают местных акционеров молвой об угрожающей конкуренции. Когда вопрос о расширении или нерасширении приходит к голосованию, они набирают голоса по доверенности в пользу расширения. Они употребляют понудительные меры с теми из своих клиентов и родных, у которых есть акции. Мало того, они так глубоко интересуются решением, что иной раз фабрикуют голоса с целью влиять на него.

У нас перед глазами случай, имевший место с местным солиситором, который перед созывом чрезвычайного общего собрания для принятия или непринятия проекта новой ветви перенес часть своих акций на имя нескольких членов своей семьи и таким путем увеличил свои семнадцать голосов до сорока одного, причем все эти голоса он употребил в пользу нового проекта.

Нравственность инженеров, состоящих при железных дорогах, немногим выше нравственности юристов. Грет-джордж-стритские сплетни* богаты постыдными повестями, они рассказывают о том, как такой-то, подобно другим, предшествовавшим ему, подписался под сметами, зная наверно, что они недостаточны; они шутовски намекают на то, что такому-то предоставляется исправлять за начальника всю «черную работу», а именно лжесвидетельствовать вместо него; о таком-то рассказывают, что, когда он подавал свое показание перед комитетом, адвокат объявил ему, что ему не поверят, хотя бы он клялся на коленях. Из того же источника можно узнать, как дешево учредитель известной линии совершил парламентское изыскание, употребляя на это часть штата, состоящего на жалованье у другого общества, в котором он служил в качестве главного инженера. Одного известного члена общества подозревают в настоящее время в том, что он получил подряд на ремонт дороги на известное число лет и за чрезмерную помильную плату. Ходят также слухи о тех громадных барышах, которые имели некоторые светила инженерного искусства в 1845 г. за одно разрешение воспользоваться их именами на объявлениях. Говорят, что

большинство доходило до 1000 гиней. Те же сплетни распространяются о важных преимуществах, которыми пользуются инженеры, заседающие в палате общин.

При таком ослаблении нравственного кодекса и значительной степени заинтересованности инженеров в предприятиях железных дорог следует ожидать от них усиленной и не слишком разборчивой на средства деятельности в пользу этих предприятий. В пример энергии и умения, с которыми они подвизаются в пользу новых предприятий, можно бы привести множество фактов.

Недалеко от Лондона есть одно имение, расположенное между двумя железнодорожными линиями; не так давно это имение было куплено одним инженером, который вслед за тем получил парламентский акт на постройку подъездных путей к обеим соседним железнодорожным линиям. Один из этих подъездных путей он отдал в аренду обществу соседней линии и потом сделал то же самое с другим, но не имел успеха. Как бы там ни было, предполагают, что он удвоил стоимость своего имения. Другому известному инженеру удалось провести контрабандой через парламент, в билле о проектируемой железной дороге, одно примечание, которое расширяет в известном округе границы отклонения дороги на несколько миль по обе стороны ее, тогда как обыкновенно отклонение линии допускается лишь в пределах 5 гюнтеровых цепей* с каждой стороны дороги. Эту попытку объясняют теми обстоятельствами, что инженер владел в соседнем округе копиями. Между тем под давлением соседних железнодорожных обществ он пользовался своим правом делать большие отклонения. Не особенно давно на одном полугодичном общем собрании двумя инженерами, состоящими на службе общества, были предложены несколько проектов, уже раз отвергнутых акционерами. Несмотря на то что было совершенно ясно, что инженеры действуют в своих личных выгодах, один из них поднял вопрос, другой поддержал, и правление признало некоторые из этих предложений безотлагательными. Предложения были поставлены на очередь, директора их поддержали, но акционеры не согласились и отклонили их. Попытка провести предложения была сделана в третий раз, и в третий раз возникло разногласие; через несколько дней после чрезвычайного собрания, на котором произошел раздор, один

из этих инженеров распространил между акционерами брошюру, в которой опровергал все доводы партии несогласных и приводил, со своей стороны, несколько новых положений, хотя это и было поздно. Мало того, он попытался при помощи агентов добиться от акционеров полномочий в пользу своих предложений, и, несмотря на то что был снабжен несколькими полномочиями, на следующем собрании он должен был отказаться от своих пожеланий.

Обратимся теперь к подрядчикам. Железные дороги дали этому разряду людей исполинское развитие не только в отношении численности, но и в отношении громадного богатства, достигнутого некоторыми из них. Прежде ни один подрядчик не брал на свою долю больше какой-нибудь полдюжины миль работы — насыпей, заборов и мостов. В последние же годы стало обыкновенным явлением, что один человек подряжался на постройку целой железной дороги с тем, чтобы сдать ее обществу в надлежащем виде к сроку ее открытия. На это, разумеется, требуются большие капиталы. Получаются и огромные выгоды. А постепенно накопленные таким образом состояния так велики, что есть несколько подрядчиков, из которых каждый имеет средства выстроить по железной дороге на свой счет. Но эти люди так же ненасытны, как все миллионеры, и, пока не отказываются от дел, некоторым образом вынуждены заручаться новыми предприятиями, чтобы их рабочий состав не оставался без занятий. Можно себе представить, какие требуются огромные количества рабочего материала: сотни телег для перевозки земли, сотни лошадей; целые мили временных рельсов и лежней; по крайней мере полдюжины локомотивов и несколько локобилей; бесчисленное множество орудий; кроме того, громадные запасы строительного леса, кирпича, камня, рельсов и других рабочих припасов, которые приходится покупать на спекуляцию. Оставаться праздным при такой затрате капитала и содержании большого рабочего штата влечет за собою убыток, отчасти косвенный, отчасти же и прямой. Поэтому богатый подрядчик постоянно находится под влиянием сильных побудительных причин, подстрекающих его искать новых работ, и в то же время богатство его дает ему возможность предпринимать их. Вследствие этого нередко случается, что, тогда как прежде общества и инженеры употребляли в дело подрядчиков,

теперь подрядчики употребляют в дело инженеров и составляют компании. Многие новейшие предприятия были созданы таким образом; самый гигантский проект, на который до сих пор отваживалась частная предприимчивость, — проект, на осуществление которого нет надежд, — был замышлен известной подрядческой фирмой. В некоторых случаях, как, например, и в этом случае, подобный образ действий, быть может, оказался бы полезным; но в большей части случаев результаты бывают бедственны. Имея в поощрении расширение железных дорог интерес еще больший, чем инженеры и юристы подрядчики часто соединяются с последними в качестве агентов или помощников. Стараниями их производятся на свет такие линии, о которых вперед можно сказать, что они не покроют даже расходов. В последнее время вошло в обыкновение между землевладельцами, негоциантами и другими лично заинтересованными лицами, которые, воображая, что косвенные барыши вознаградят их за тощие дивиденды, сами доставляли часть капитала, нужного для местной железной дороги, но не могут доставить всего, — между такими лицами вошло в обыкновение заключать с каким-нибудь богатым подрядчиком договор, по которому он обязан построить линию, принимая в уплату часть акций — хоть треть всех акций, — и назначать цены за производимые работы по смете, составленной им сообща с инженером. Этим условием подрядчик обеспечивает себя. Ему не было бы никакого расчета принимать в уплату акции, обещающие не более каких-нибудь 2%, иначе как вознаграждая себя необыкновенно большими барышами на постройке, а назначение цен сообща с таким лицом, интересы которого так же как и его собственные, связаны с выполнением предприятия, обеспечивает ему такие барыши. Между тем тот факт, что нашлись подписчики на весь капитал и подряд на всю линию взят, внушает публике излишнее доверие к проекту; акции начинают ходить по цене гораздо высшей, чем настоящая их стоимость; они раскупаются неосмотрительными лицами; подрядчик время от времени сбывает свои по хорошим ценам, и новые акционеры в конце очутятся пайщиками такой железной дороги, которая оказывается, благодаря дороговизне постройки, еще непроизводительнее, нежели она обещала вначале. И это не единственные случаи, в которых подрядчики получают выгоды такими путями.

Они поступают точно так же с предприятиями собственного проектирования. Чтобы достигнуть разрешения, они вписывают в подписные листы большие суммы, зная, что при помощи способов, указанных нами выше, они всегда могут вывернуться. В последнее время этим стали пользоваться так часто, что привлекли внимание комитетов (в парламенте). Один из участников такой сделки выразился однажды, что «комитетам захотелось много узнать, но они не узнали того, что укрывалось от них». Между тем и доныне дело это не раскрыто. Если нельзя внести собственных имен в подписные списки на тысячи акций, подрядчики подставляют вместо себя своих десятников и других лиц и делают их номинальными акционерами, тогда как действительные акционеры все-таки они же.

Из директорских злоупотреблений мы уже приводили выше несколько образчиков; можно было бы прибавить еще много примеров. Кроме злоупотреблений, возникающих из непосредственно личных видов, есть еще и различные другие. К последним принадлежит все еще возрастающая общность интересов между правлениями железных дорог и палатой общин. В парламенте заседает восемьдесят один директор, и хотя многие из них принимают весьма малое, или вовсе не принимают участия в делах управляемых ими железных дорог, но есть между ними много деятельных членов разных правлений. Стоит оглянуться на несколько лет и обратить внимание на единогласие, с которым общества поставили за правило своей политики иметь представителей в парламенте, чтобы убедиться, что их побуждало к этому желание обеспечить свои интересы, особенно там, где им угрожала конкуренция. О том, как посвященные хорошо понимают выгоду такой политики, можно судить из того факта, что в некоторых случаях известные лица избираются в члены правлений только потому, что они — члены парламента. Это, разумеется, влечет за собой то, что законодательство, в своих отношениях к железным дорогам, подвергается напору сложных частных влияний, а что эти влияния обыкновенно клонят к облегчению новых предприятий, достаточно очевидно. При этом естественно случается, что директора компаний, не враждующих между собою, меняются обоюдными услугами. Естественно, что они имеют возможность провести кучу новых проектов через комитеты. Сверх того, директора,

заседающие в палате общин, не только облегчают утверждение проектов, в которых они заинтересованы, но еще упрощают окружающими поддерживать проекты, возникающие с других сторон. Простой здравый смысл приводит к тому заключению, что представители маленьких городов и сельских округов, нуждающихся в удобствах железных дорог, каждодневно сталкиваясь с председателем какого-нибудь общества, имеющего возможность доставить им эти удобства, не упустят случая подвинуться ближе к своей цели. Тот же здравый смысл говорит, что они всячески постараются расположить его в свою пользу закармливанием, одолжениями, лестью — короче, всеми средствами, которыми обыкновенно склоняют людей. Точно так же просто и то, что во многих случаях они должны иметь успех: при помощи целой сети убеждений и искушений они отвлекают его от спокойного решения, и он, введенный таким образом в общество, является представителем влияний, не согласных со своим личным благополучием.

Под влиянием различных побудительных причин — прямого интереса, частной протекции или чувства антагонизма — директора постоянно вовлекают своих доверителей в неразумные предприятия и нередко употребляют непозволительные средства, чтобы побороть оппозицию или увернуться от нее. Акционеры иногда узнают, что их директора обязались перед парламентом на расширения, далеко превышающие те, на какие они были уполномочены; акционеров уверяют, что они обязаны утвердить обещания, сделанные от их имени их агентами. В некоторых случаях в числе вводящих в обман документов, предъявляемых акционерам, чтобы получить от них согласие на новый проект, является перечень прибылей с какого-нибудь уже исполненного ответвления или побочной линии, с которыми предлагаемая новая линия имеет сколько-нибудь сходства. Эти прибыли (не всегда без прикрас) выставляются достаточно значительными и возрастающими, чтобы акционеры могли заключить, что и новый проект представляет хорошее помещение капитала. Между тем не упоминается, что капитал на построение этого ответвления или побочной линии был добыт займами или выпуском облигаций, приносящих более высокий процент, нежели тот, который выдается в дивиденд; не упоминается также и о том, что так как и на новое предприятие капитал

будет добываться на таких же основаниях, то годовой процент за долг более чем поглотит годовой доход, таким образом, ничего не подозревающие акционеры, из которых некоторые не имеют понятия о предыдущей деятельности общества, а некоторые не в состоянии разобрать его сложных отчетов, дают свои доверенности или лично подают свои голоса в пользу новых работ, имеющих оказать губительное влияние на их будущие дивиденды. Для достижения своих целей директора идут иной раз прямо вразрез с установленными правилами. Бывали случаи, что, отдавая отчет о количестве акционеров, подававших голоса при баллотировке, они включали в это число владельцев далеко не вполне оплаченных акций, которые шли за владельцев акций, вполне оплаченных. По временам они проводят важные меры, стараясь не привлекать особого на них внимания, конечно, если это соответствует их предположениям. При определении барышей на капитал общества, предназначенных общим собранием для распределения между акционерами, директора умели включать тысячи акций, по которым выплачивалась небольшая сумма, хотя они и считались за вполне оплаченные.

В довершение этого очерка нужно сказать, что на решения совета и общих собраний большей частью влияют разного рода интриги. Разумеется, в данных случаях ссылаются все лица, могущие благоприятствовать проекту, который хотят провести. Если бы только этим ограничивалось дело, не было бы еще особенной причины жаловаться; но это далеко не все: есть советы, в которых борьба с оппозицией возведена в систему. Партия, благоприятствующая проекту, собирает на общем собрании все свои силы и вносит на обсуждение деловую записку, отличающуюся своим неопределенным смыслом. Образ действия партии зависит от характера всего собрания. Если противников собралось больше, чем предполагалось, эта несколько темная записка служит только для знакомства с общими основаниями или с отдельными подробностями предлагаемого проекта, и дело пройдет так, как будто ничего другого и не имелось в виду. В противном случае, если отношения между обеими сторонами более благоприятны, записка становится базисом определенного предложения, предоставляющего правлению право предпринять какое-либо важное дело. Если приняты соответствующие предосторожности, предложение принимается, а раз

оно прошло, то те из присутствующих, которые не соглашались, ничего более не могут сделать, так как в управлении железными дорогами нет так называемого «второго чтеца», а тем более третьего. Усилия сильнейшей партии для того, чтобы побороть и привести к молчанию своих противников, бывают иногда так решительны и беззастенчивы, что, когда оспариваемая мера, принятая уже в правлении, имеет быть представлена общему собранию на утверждение, торжествующие члены не раз доходили до того, что резолюцией воспрещали несогласным своим товарищам изустно излагать акционерам свои доводы.

Каким образом на полугодичных и общих собраниях акционеры так легко позволяют правлениям распоряжаться собою, неоднократно испытав на деле, что правления не заслуживают доверия, — трудно понять с первого взгляда, но при исследовании загадочность факта исчезает. Весьма часто оспариваемые меры утверждаются совершенно противно желанию собраний, посредством большого числа доверенностей, предварительно собранных директорами. Доверенности эти по большей части добываются от акционеров, рассеянных по всему королевству и обыкновенно имеющих слабость подписать первый присланный им документ. Далее, из акционеров, присутствующих на собрании, когда вопрос приводится к окончательному решению, не многие решаются отважиться на речь; из тех, которые и решились бы, не многие имеют настолько верный взгляд, чтобы сообразить полное значение меры, по поводу которой они готовятся подать свой голос, тем, наконец, которые видят и понимают это значение, раздражительность нервов часто не дает возможности точно выяснить свои воззрения. Сверх того, не следует забывать, что на партию, выказывающую дух антагонизма против правления, прочие акционеры склонны смотреть более или менее недоброжелательно. Кроме тех случаев, когда злоупотребление членов правления было слишком недавнее и вопиющее, в массе существует всегда чувство предубеждения против всех, берущих на себя роль оппозиции. Их обвиняют в буйстве, крамолах, придирчивости, и часто одно только твердое мужество спасает их от поражения. Кроме этих отрицательных причин бессилия сопротивляющихся акционеров, есть еще много и положительных причин. Вот что пишет, между прочим, один член парламента, участвовавший на большие

суммы во многих обществах, с первых же времен учреждения железных дорог: «Мое обширное и долгое знакомство с делами обществ железных дорог дает мне возможность сказать, что большинство акционеров вполне полагается на своих директоров, имея весьма мало или вовсе никакого знания дела и не считая нужным иметь собственное свое мнение. Некоторые другие, с большим знанием дела, но робкие, боятся, идя против директоров, причинить понижение в цене акций и более пугаются этого временного убытка, чем постоянного убытка, который общество должно понести от бесполезной, следовательно непродуцительной, затраты капитала... Другие опять, считая угрожающее зло неизбежным, тут же решаются распродать свои акции и, чтобы удержать их покуда в хорошей цене, поддерживают директоров». Таким образом, от недостатка организованности и силы между теми, которые представляют оппозицию, и от робости и двуличности тех, которые не выражают ее, случается, что крайне неразумные проекты утверждаются значительным большинством. Это еще не всё. Тактика наступательной партии обыкновенно так же искусна, как неловка тактика ее противников. Во-первых, председатель, по большей части главный поборник оспариваемого проекта, имеет возможность благоприятствовать тем, кто становится на его сторону, и преграждать дорогу противникам всякими затруднениями, чем он нередко и пользуется, отказываясь слушать возражателей, заставляя их молчать под каким-нибудь предлогом мнимого нарушения порядка, относясь к ним свысока и даже позволяя себе угрозы¹. Кроме того, обыкновенно случается так, что, нарочно или нечаянно, некоторые из самых важных предложений откладываются почти до минуты закрытия заседания, когда бóльшая часть акционеров уходит. Значительные денежные

¹ Можно мимоходом заметить, что обыкновение делать председателя правления в то же время и председателем полугодичного собрания крайне неразумно. Директора — служители акционеров время от времени являються перед ними для того, чтобы сдать отчет в управлении. Чтобы главный из служителей, действия которых имеют быть рассмотрены, сам был и главой суда над ними, — это чистая нелепость. Делопроизводством на каждом собрании, очевидно, должно бы заведовать лицо, независимо и специально избранное для этой роли, как в нижней палате избирается спикер.

решения, обширные полномочия, безграничное разрешение директорам принимать в известных делах «такие меры, какие они, по собственному усмотрению, найдут наиболее удобными», множество подобных предложений наскоро рассматриваются в последние полчаса заседания, когда усталые и нетерпеливые члены не хотят более слушать никаких возражений и когда те, у которых есть личные цели оставаться дольше других, все решают по-своему. Правда, в некоторых случаях прибегают к таким мерам, которые обеспечивают согласие общего собрания на проект расширения предприятия в полном объеме; достигается это следующим образом. Некоторые акционеры предприятия состоят также акционерами других предприятий, находящихся в некоторой зависимости от первого, — например, какой-нибудь побочной железнодорожной линии, канала, пароходства и т.д., которые или куплены, или арендуются главным обществом. Обладая гарантированными облигациями и желая поднять их в цене насколько возможно, они легко склоняются к проекту, выполняемому при помощи владельцев привилегированных акций. Они собираются для подсчета барышей и т.д. немедленно после закрытого общего собрания обществ — и в том же самом помещении. Понятно, что, будучи осведомленными особым объявлением о предполагаемом предприятии, постепенно, ко времени окончания общего собрания, они успевают подобрать себе большинство голосов из присутствующих; те же немногие из заурядных акционеров, которые были так терпеливы, что остались до конца собрания, побеждаются первыми, интересы которых отличны от их интересов и в достаточной мере отличаются также от интересов всего общества.

Заговорив здесь о системе привилегированных акций, мы подходим к одному обстоятельству, которое затемняет частные интересы и сомнительные предприятия, — обстоятельству, служащему одновременно иллюстрацией того, как хитро и согласно действуют все члены железнодорожного управления и каким образом они проявляют свое влияние. Чтобы оценить вполне это обстоятельство, необходимо помнить, что, хотя привилегированные акции обыкновенно не наделяют держателей правом голоса, в некоторых случаях, однако, отдают это право, и, кроме того, эти акции остаются иногда неоплаченными до истечения срока, после которого уже нельзя законным образом их

оплатить. В том случае, который мы имеем в виду, громадное количество привилегированных акций в 50 ф. ст. номинальной стоимости в течение долгого времени были оплачены всего 5 ф. ст. Поощрители расширения предприятия и т.д. имели, следовательно, возможность ввести в общество значительную силу без больших издержек, и, как мы увидим дальше, они прекрасно воспользовались ею. Их партия дважды пыталась принудить акционеров согласиться на новое громадное предприятие, оба раза им пришлось выдержать утомительную и дорогостоящую борьбу; и наконец, в третий раз, несмотря на открытый отказ акционеров, директора внесли новый проект, по существу своему не отличающийся от прежних, и потерпели неудачу благодаря случайному перевесу голосов.

Ниже приведена выдержка из реестра поданных голосов, взятая нами из отчета одного из секретарей (см. табл. 1).

Можно было прибавить к этому списку семь или восемь поставщиков общества, обладающих подобными же акциями; число акций, находящихся фактически в руках агентов общества, увеличилось бы до 5200, а число имеющихся в их распоряжении голосов возросло бы против вышеуказанных 1068 до 1100. Если же мы разделим те 380 000 ф. ст., которые эти господа противопоставляют своим братьям-акционерам на реальные и фиктивные, то увидим, что из этих акций на самом деле оплачены лишь акции на 120 000 ф. ст., а остальные 260 000 представляют собой лишь одну видимость. Таким образом, при помощи известных акций, представляющих собою не более 26 000 ф. ст., эти адвокаты, инженеры, советники, нотариусы, подрядчики, банкиры и всякие другие лица, заинтересованные в проведении нового предложения, пересиливают более четверти миллиона реального капитала, находящегося в руках акционеров, не согласных с их предложением.

Можно ли после всего этого удивляться упорствованию обществ железных дорог в безрассудной, по-видимому, конкуренции и разорительных расширениях? Не достаточно ли объясняется это упрямое продолжение столь бедственной политики разбором множества незаконных влияний, примешивающихся к делу? Не очевидно ли, что небольшая организованная партия всегда перехитрит большую, но неорганизованную, партию? Надо еще принять в соображение относительные характеры

Таблица 1

	50 ф. ст. Привиле- гирован- ные акции, опл. по 5 ф. ст.	Дополнительные акции	На какую сумму имеется акций по протоколу, ф. ст.	В дейст- витель- ности уплачено за акции, ф. ст.	Число голосов, поданных за расши- рение пред- приятия
Солиситор	500	Акции на 7500 ф. ст. и 100 акций по ном. цене в 50 ф. ст. и опл. по 42 ф. ст. и 10 шил.	75 650	18 140	188
Он же вместе с другим солиси- тором	778	Нет			
Помощник солиситора	60	Нет	3000	300	20
Инженер	150	Нет	7500	750	33
Помощник инженера	1354	Акция на 4266 ф. ст.	71966	11036	161
Один из членов парламента — адвокат общ.	200	Акция на 1000 ф. ст.	11 000	2000	40
Другой такой же	125	Акции на 200 ф. ст.	6450	825	30
Местный соли- ситор в пользу предполагаемого расширения предприятия	7	Нет	350	35	7
Постоян. под- рядчик	347	Акции на 52 833 ф. ст.	70 183	54568	158
Нотариус	1003	Акции на 333 ф. ст.	50 483	5348	118
Типографщик, поставщик общества	35	Акции на 10 000 ф. ст.	11 750	10 175	41
Инспектор	360	Акция на 1250 ф. ст.	19 250	3050	56
Архитектор	217	Акции на 14 916 ф. ст.: 119 акций по 50 ф. ст., оплачен- ные по 42 ф. ст. 10 ш. и 13 акций по 40 ф. ст., опла- ченные по 34 ф. ст.	32 230	20416	82
Один из экспе- диторов	17	Акции на 833 ф. ст.	1683	918	14
Банкиры об- щества:					
первый			33 666	32 366	90
второй			2500	2500	18
оба вместе			1000	850	12

и обстоятельства партий. С одной стороны, мы видим акционеров, разбросанных по всему королевству, по городам и поместьям, не имеющих понятия друг о друге и слишком отдаленных один от другого, чтобы действовать дружно, хотя бы они и были между собой знакомы. Из них весьма немногие читают газету железных дорог, не очень многие читают и простую ежедневную газету, и ни один почти ничего не смыслит в политике железных дорог. Они поневоле составляют колеблющуюся массу, из которой только небольшое число коротко знакомо с историей общества, его действием, обязательствами, политикой, управлением. Большинство не в состоянии судить о предлагаемых вопросах и не имеет настолько решимости, чтобы действовать даже по тем суждениям, какое оно себе составило; это большинство состоит: из душеприказчиков, избегающих всего, что влечет за собою какую-нибудь ответственность; опекунов и попечителей, боящихся распорядиться вверенными им капиталами из опасения, чтобы могущий оказаться убыток не навлек на них процесса; вдов, никогда в жизни не действовавших сами за себя ни в одном важном деле; старых девиц, страждущих нервами и неповинных в понимании каких бы то ни было дел; духовных лиц, обычные занятия которых вовсе не рассчитаны на то, чтобы сделать из них людей, знакомых с жизнью; удалившихся от дел торговцев, которых привычка к мелочным сношениям сделала не способными к сколько-нибудь обширным соображениям; слуг, обладающих накопленным жалованьем и узкими понятиями, и бездны других одиноких беспомощных лиц, по невежеству или робости более или менее склонных к консерватизму и к поддержанию властей. Сюда же нужно еще причислить разряд временных акционеров, которые, купив акции для спекуляций и зная, что переворот в обществе должен на время понизить цену акций, имеют выгоду поддерживать правление независимо от достоинства его политики.

Обратимся теперь к тем, усилия которых направлены к расширению железных дорог. Примем в соображение постоянный напор местных интересов — маленьких городков, сельских округов, землевладельцев: все они жаждут удобств железной дороги, все имеют в виду большие и определенные выгоды, и мало кто сознает, с каким ущербом для других могут быть сопряжены эти выгоды. Вспомним влияние законодателей, подстрекаемых кто

избирателями, кто личными целями и поощряемых убеждениям, что каждая новая железная дорога во всяком случае благодетельна для нации, и затем выведем заключение, до какой степени, как показал комитет мистера Кардвелля, парламент поощряет и побуждает общества к соперничеству. Обратим внимание на искушения, которыми обставлены юристы, на громадную пользу, приносимую им каждой борьбой по поводу железных дорог, и затем представим себе, каких размеров и изощренностей должны достигнуть интриги их в пользу расширений. Примем в соображение настойчивость инженерной профессии, для богатых членов которой строить новые железные дороги значит увеличивать свое богатство, для остальных же членов — добывать насущный хлеб. Сообразим силу, которую дает подрядчикам обладание капиталами; страшный убыток, которому они подвергаются, если их рабочий состав остается без употребления; огромный барыш, который приносит им этот же рабочий состав, будучи употреблен в дело. Затем вспомним, что для юристов, инженеров и подрядчиков составление и выполнение новых предприятий есть дело, на которое направляется вся их энергия, в котором долголетним упражнением приобретено большое искусство и для облегчения которого все средства, допускаемые житейским воззрением на честность, считаются позволительными. Наконец, примем в соображение, что все сословия, заинтересованные в выполнении новых планов, находятся в постоянном общении между собою и имеют всевозможные средства для содействия одно другому. Большая часть представителей их живет в Лондоне, и из них большее число имеют занятия в Вестминстере, в Great George Street, в Parliament Street — вращается около законодательных властей. Люди эти не только сосредоточены в одном центре, не только имеют частые деловые сношения друг с другом, но в продолжение сессии каждодневно бывают вместе в Palace Yard Hotels, в приемных комитетских комнатах, наконец, в самой палате общин. Удивительно ли после этого, что разбросанная, несведущая, неорганизованная масса акционеров, стоящих каждый сам по себе (занятых каждый прежде всего своими ежедневными делами), постоянно бывает осилена сравнительно малочисленной, но деятельной, ловкой и единомышленно действующей массой, ополченной против них?

«Но чего же смотрят директора? — спросит, быть может, читатель. — Каким образом могут они потворствовать этим, очевидно неразумным, предприятиям? Они сами акционеры: они получают пользу от того же, что выгодно всему обществу; они остаются в убытке от того же, что ему наносит вред. А если ни один новый проект не может быть принят обществом иначе как с их согласия или, вернее, через их посредство, то классы, заинтересованные в развитии новых предприятий, должны быть бессильны».

Эта-то вера в тождественность интересов директоров и владельцев и есть роковая ошибка, в которую обыкновенно впадают акционеры. Она-то и делает их, несмотря на все горестные опыты, столь беспечными и доверчивыми. «Их выгода — наша выгода; их убыток — наш убыток; знают же они больше нас, следовательно, предоставим дело им». Таково умозрение, которое с большей или меньшей ясностью поселяется почти во всякой акционерной голове, — умозрение, первая посылка которого не верна, а вывод пагубен. Рассмотрим его в подробностях.

Не останавливаясь на открытиях, сделанных за прошлые годы по части торговли акциями, производимой правлениями, и на больших барышах, добытых этим путем (хотя одних этих открытий достаточно было бы, чтобы доказать ложность понятий о тождественности интересов директоров с интересами владельцев), и принимая за верное, что эти злоупотребления в настоящее время уже не существуют или существуют в незначительной степени, — приступим прямо к исчислению преобладающих по сие время влияний, делающих это кажущееся единство в целях обманчивым. Непосредственный интерес директоров в благоденствии общества часто гораздо менее значителен, нежели воображают. Они имеют иногда только необходимое по уставу количество акций на 1000 ф. ст. В некоторых случаях они даже и это количество имеют только номинально. Положим, впрочем, что в большей части случаев имеется даже гораздо большее количество акций, нежели требуется, — нужно все-таки иметь в виду то, что косвенные выгоды, которые богатый член правления может извлечь из нового предприятия, часто далеко превосходят прямой ущерб, наносимый ему понижением акций. Большинство всякого правления обыкновенно состоит из лиц, имеющих жительство на разных точках той

полосы страны, которую пересекает управляемая ими железная дорога; из них некоторые — землевладельцы, другие — негоцианты или мануфактуристы, третьи — владельцы рудников или судов. Таким членам новое ответвление или побочная линия всегда приносят более или менее значительные выгоды. Те из них, которые живут поблизости от такой линии, имеют от нее пользу либо в виде возвышения стоимости их земель, либо в виде облегчения перевозки их товаров. Для тех, которые живут в отдалении от главной линии, польза, хотя и менее прямая, всегда есть в том, что каждое расширение открывает новые сбыты либо для готовых продуктов, либо для сырых материалов. Если же расширение соединяет главную линию с какой-нибудь другой системой железных дорог, то коммерческие удобства, доставляемые при этих условиях директорам, принимают большую важность. Поэтому очевидно, что косвенные выгоды, доставляемые таким образом директору, более чем вознаграждают его за прямой убыток, понесенный на помещенном в предприятие капитале, и хотя, бесспорно, есть люди слишком добросовестные, чтобы позволять подобным расчетам руководить собою, однако большинство едва ли может не соблазниться при столь сильных искушениях. Далее, нужно еще помнить, какие влияния пускаются в ход, чтобы действовать на директоров, занимающих места в парламенте. Мы уже упоминали о них и теперь возвращаемся к ним только затем, чтобы пояснить, каким образом непосредственный убыток, заключающийся в потере на 1000 ф. ст., обращенных в акции, может иметь для директора несравненно меньшее значение, нежели одолжения, протекции, связи, положение, которые доставляются ему помощью, оказанной новому проекту, и одного этого соображения — не разбирая, в какой мере оно применяется, — достаточно, чтобы доказать, что и в этом отношении мнение о воображаемой тождественности интересов директоров с интересами акционеров несостоятельно.

Сверх того, разъединение в интересах, произведенное этими влияниями, увеличивается системой облигаций. Даже без содействия других причин добывание капитала на дополнительные предприятия выпуском облигаций, которым обеспечивается 5, 6 и 7%, может уничтожить общность интересов, будто бы существующую между владельцами железной дороги

и ее правлением. Хотя это в настоящее время далеко не общепризнанный факт, однако легко доказать, что подобным займом общество немедленно разделяется на два разряда, состоящие один — из богатых акционеров с включением директоров и другой — из беднейших акционеров; причем нужно заметить, что первый разряд может уберечься от потерь, которые второй вынужден переносить; мало того, первый может извлекать выгоду из потерь второго. Справедливость этого утверждения, как ни паразит оно многих, мы беремся доказать.

Когда капитал, нужный для построения какого-нибудь ответвления или продолжения существующей линии, набирается посредством гарантированных облигаций, каждому акционеру предоставляется взять облигаций соответственно числу его акций. Пользуясь этим предложением, он более или менее охраняет себя от убытков нового предприятия. Если оно не выполнит обещаний своих сторонников и сколько-нибудь уменьшит дивиденд, то высокий дивиденд, получаемый за известное число облигаций, может почти или даже совершенно покрыть этот убыток. Вследствие того всякий, кто располагает средствами, имеет прямой расчет взять возможно большее число облигаций. Но что бывает, когда рассылается циркуляр, объявляющий о выпуске облигаций и размере наделения оными акционеров? Те, у кого много акций, так как это по большей части капиталисты, немедленно требуют себе полное число облигаций, на которое они имеют право. С другой стороны, мелкие владельцы, составляющие массу общества, не имея свободных сумм для оплаты новых облигаций, принуждены отказаться от них. Что из этого следует? Когда откроется добавочная линия и, по обыкновению, оказывается, что приход с нее недостаточен для покрытия обеспеченного дивиденда на облигации; когда для пополнения этого обеспеченного дивиденда затрагивается общий приход общества; когда естественным порядком уменьшается дивиденд с первоначальных акций, — беднейшие акционеры, имеющие одни только первоначальные акции, остаются в убытке, тогда как более богатые акционеры, имея гарантированные облигации, находят в получении обеспеченного дивиденда приблизительное или полное вознаграждение за убыток, понесенный от уменьшения общих дивидендов. Положение дела бывает и того хуже, как мы уже намекали выше. Действительно,

так как крупный владелец, получивший соответствующее ему число облигаций, не обязан оставлять за собою первоначальные акции, так как он при малейшем сомнении о том, окупится ли новое предприятие, всегда может сбыть свои акции, то очевидно, что он может, если ему угодно, остаться с одной только облигацией и таким образом получить прекрасный процент со своего капитала в ущерб обществу вообще и мелким акционерам в особенности. До каких границ доводится эта политика, мы не берем на себя решать, между тем приведенная несколькими страницами выше таблица показывает, в каких широких границах она применяется. Нас касается здесь только факт, что так как директора по большей части люди с большими средствами и, следовательно, имеющие возможность пользоваться выпуском облигаций, с помощью которых можно предотвратить большие потери, если только не иметь положительную выгоду, то они подлежат влиянию побудительных причин, различных от причин, руководящих акционерами вообще. В том же, что они часто поддаются этому влиянию, не может быть никакого сомнения. Не полагая ни в одном из них гнусного намерения выгадать себе прибыль в ущерб другим владельцам и веря, что немногие из них вполне понимают, что преимущество, предоставляемое им, недоступно большей части акционеров, мы считаем рациональным выводом из опыта: что перспектива такого вознаграждения часто должна перетянуть весы на известную сторону в умах колеблющихся и ослабить сопротивление неодобряющих членов.

Итак, понятие, заставляющее большинство акционеров железных дорог безусловно доверяться своим директорам, ошибочно. Несправедливо, чтобы существовала тождественность между интересами владельцев акций и правления. Несправедливо, чтобы правление составляло достаточную оборону против происков юристов, инженеров, подрядчиков и других лиц, которым построение железных дорог приносит прибыль. Напротив, справедливо, что члены его, вследствие влияния разных косвенных побудительных причин, подлежат отклонению от прямого долга, а система облигаций прямо и положительно подвергает их искушению изменить интересам своих доверителей.

Какова же ближайшая основа всех этих корыстных злоупотреблений? Где средство против них? Какая общая ошибка законодательства по части железных дорог сделала возможным

такое сложное сплетение проделок? Чему приписать беспрепятственность, с которою заинтересованные в деле личности постоянно ввергают свои общества в безрассудные предприятия? На все эти вопросы ответ, как нам кажется, весьма прост. С первого взгляда он покажется не идущим к делу, и мы не сомневаемся в том, что заключение, которое мы намерены из него вывести, будет немедленно забраковано практичными людьми, как неудобно применимое. Но, несмотря на это, если нам дадут время объяснить, мы не теряем надежды доказать, как то, что существующее зло устранилось бы, если бы был признан этот принцип, так и то, что признание его не только возможно, но открыло бы выход из множества затруднений, в которых в настоящее время запутано законодательство по части железных дорог.

По нашему разумению, основной недостаток нашей системы в том виде, в каком она была применяема доньше, заключается в *ложном понимании договора, существующего между владельцами акций*, подразумеваемого договора, заключаемого каждым акционером относительно всего сословия акционеров, к которому он присоединяется, — и что желанное средство заключается просто в достижении и практическом применении правильного понимания этого договора. В сущности, он имеет свои резко обозначенные границы; на деле же относятся к нему, как будто он не имеет ровно никаких границ, и единственное, чего необходимо добиться, это ясного определения и добросовестного соблюдения его.

Наш народный образ правления до того приучил нас к решению всех общественных вопросов приговором большинства и система эта кажется столь справедливой в каждодневно представляющихся случаях, что в большей части умов выработалась беспрекословная вера в беспредельность власти большинства. При каких бы условиях и для каких бы целей известное число людей ни вступало в ассоциацию, раз навсегда полагается, что, если между ними возникнут разногласия во мнениях, справедливость требует исполнения воли большинства, а не меньшинства, и это правило считается общепринятым во всех какого бы рода ни было вопросах. Убеждение это укоренилось так глубоко, что для многих одно покушение на выражение сомнений в правильности этого понятия немислимо. Между тем

достаточно самого краткого анализа, чтобы доказать, что мнение это почти не что иное, как политическое суеверие. Ничего нет легче, как набрать примеры, доказывающие, путем *reductio ad absurdum*, что право большинства есть чисто условное право, имеющее силу только в известных частных границах. Приведем несколько таких примеров. Предположим, что на общем собрании какой-нибудь филантропической ассоциации решили бы, что кроме наделения пособиями нуждающихся ассоциация употребит еще несколько миссионеров для того, чтобы читать проповеди против католицизма. Можно ли было бы употребить для этой цели суммы, внесенные католиками, вступившими в ассоциацию в целях благотворительности? Предположим, что большинство членов какого-нибудь клуба для чтения, полагая, что при существующих обстоятельствах упражнения в стрельбе важнее чтения, решило бы изменить назначение ассоциации и употребить имеющиеся в наличности суммы на покупку пороха, пуль, мишеней. Были ли бы остальные члены связаны этим решением? Предположим, что под влиянием возбуждения, произведенного новыми известиями из Австралии, большинство членов какого-нибудь земледельческого общества решило бы не только в полном составе отправиться на Золотые прииски, но и употребить накопленный капитал общества на снаряжение в путь. Позволительно ли было бы подобное присвоение большинством денег меньшинства? и обязано ли было бы меньшинство примкнуть к экспедиции? Едва ли кто-нибудь решится дать утвердительный ответ даже на первый из этих вопросов, а тем более на остальные. Почему? Потому что каждый ясно понимает, что человека, соединяющегося для чего бы то ни было с другими людьми, никоим образом нельзя, не нарушая справедливости, вовлекать в действия, совершенно чуждые той цели, для которой он соединился с ними. Каждое из этих воображаемых меньшинств могло бы с полным основанием отвечать тем, кто пытался бы его неволить: «Мы соединились с вами для определенного дела; мы давали деньги и время, чтобы содействовать именно этому делу; во всех вопросах, из него возникающих, мы естественно обязались сообразоваться с волей большинства, но мы не обязывались сообразоваться с этой волей в каком бы то ни было другом вопросе. Если вы нас привлекаете к себе, выставляя известную цель, и затем предпринимаете

что-нибудь другое, о чем не было нам говорено, вы получаете наше содействие под ложными предложениями; вы переходите за черту сказанного или подразумеваемого договора, которым мы себя обязали, и мы уже не связаны вашими решениями». Ясно, что это — единственное рациональное толкование дела. Общее начало, на основании которого возможно правильное управление всякой корпорацией, заключается в том, что члены ее условливаются друг с другом подчиняться воле большинства *во всех делах, касающихся достижения тех целей, для которых они составили корпорацию, но не в других*. В этих только границах договор может быть действителен, потому что так как, по самой сущности всякого договора, разумеется, что вступающие в него должны знать, к чему именно они обязываются, так как, дальше, люди, соединяющиеся с другими для какой-нибудь означенной цели, никак не могут иметь в виду всех неозначенных целей, которые общество может поставить себе впоследствии, — то из этого следует, что заключенный договор не может простирается на такие неозначенные цели; и если не существует ни прямого, ни подразумеваемого договора между ассоциацией и ее членами относительно неозначенных целей, то большинство, неволящее меньшинство согласиться на них, есть не что иное, как грубый тиран.

Между тем это очевидное начало совершенно не принимается в соображение как нашим законодательством в его отношениях к железным дорогам, так и самими обществами в их образе ведения дела. Как ни определена цель, для которой соединяются учредители какого-нибудь общественного предприятия, к ней обыкновенно прицепляется бесконечное число других целей, о которых вначале и не снилось, — и это делается, по-видимому, без малейшего подозрения, что подобный образ действий решительно непозволителен иначе, как если он примется с *единогласного* согласия владельцев. Ничего не подозревающий акционер, подписываясь на построении линий от Гретборо до Гренд-порта, действовал в том убеждении, что линия эта представит не только удобство обществу, но и выгодное помещение его капитала. Он коротко знал край; изучил условия торговли и, вполне уверенный, что знает, во что пускается, подписался на большую сумму. Линия построена; благоденствие нескольких лет оправдало его ожидания; вдруг на каком-нибудь злополучном чрезвычайном

собрании ему представляется проект отправления от Литтлгломстеда до Стонифильда. Воля правления и интриги заинтересованных в успехе лиц пересиливают всякую оппозицию, и, вопреки протестам многих, которые, подобно ему, понимают всю неразумность предлагаемого предприятия, он неожиданно-негаданно видит себя вовлеченным в такое дело, о котором, в то время как он присоединился к учредителям первоначальной линии, ему на ум не приходило. Год за годом повторяется тот же процесс; дивиденды его тощат, акции его спускаются ниже и ниже, и, наконец, скопление новых предприятий, на которые его обязывают, принимает такие громадные размеры, что первоначальное предприятие является уже только в виде небольшой части целого. Однако только в силу его согласия на первое предприятие ему навязываются остальные. Он чувствует, что где-то что-то не так, но, свято веруя в безграничное право всякого большинства, не может разобрать, где именно. Он того не видит, что в первый же раз, как было предложено подобное расширение, ему следовало отрицать право своих товарищей-акционеров замешивать его в предприятие, не означенное в уставе; что ему следовало сказать сторонникам этого нового проекта, что они вполне вольны образовать новую компанию, но отнюдь не вправе принудить несогласных участвовать в новом проекте, точно так же как не вправе были бы принудить нежелающих участвовать в первоначальном проекте. Если бы этот акционер соединился с другими для общей цели — *постройки железных дорог*, то он не имел бы основания протестовать. Но он соединился с другими акционерами для специально назначенной цели — *постройки известной железной дороги*. Между тем смешение понятий об этом предмете так велико, что не делается решительно никакой разницы между этими двумя случаями!

В оправдание всего этого, без сомнения, скажут, что такие побочные предприятия служат дополнением к первоначальному предприятию и предпринимаются в некотором смысле в подмогу ему; что они имеют целью содействовать его благоденствию и поэтому не могут считаться вполне посторонними ему. Правда, они имеют это извинение. Но если подобные соображения оправдывают эти прибавления, то они оправдывают и всякие другие прибавления. И без того уже некоторые общества не довольствовались постройкой ответвлений и расширением

линий, а под предлогом доставления своим линиям более обширной деятельности строили доки, покупали право на плавание пароходов по известным направлениям, воздвигали огромные отели, углубляли русла рек, — мало того: разводили маленькие города для своих рабочих, строили церкви и школы, содержат у себя на жалованье священников и учителей. Оправдываются ли подобные отступления намерением доставить обществу большие выгоды? В таком случае тысячи других предприятий оправдываются на том же основании. Если, имея в виду усиление деятельности общества, позволительно провести ответвление каким-нибудь каменноугольным копиям, то почему бы, если копи эти неудовлетворительно разрабатываются, обществу на том же основании не купить бы их? Почему бы не пуститься ему в углекопный промысел и в угольную торговлю? Если ожидаемое усиление перевозки товаров пассажиров — достаточная причина для того, чтобы провести побочную линию в земледельческий округ, то та же причина должна быть достаточна и для устройства дилижансов и фур, действующих в связи с этой линией, для устройства конных заводов, для аренды ферм, покупки имений и занятий хлебопашеством. Если позволительно покупать пароходы, ходящие в связи с железной дорогой, то должно быть позволительно покупать торговые суда, чтобы вести торговлю; должно быть позволительно устроить верфь для построения таких судов; должно быть позволительно строить складочные амбары в иностранных портах для сбережения товаров, заводить агентов для набирания этих товаров, распространить, наконец, целую торговую систему по всему земному шару. От построения собственными средствами нужных для общества машин и вагонов переход недалек до разрабатывания железа и разведения строительного леса. От доставления своим работникам светского и духовного обучения и снабжения их жилищами почему бы обществу не перейти к поставке им пищи, одежды, медицинских пособий — словом, к удовлетворению всех их жизненных потребностей? Начав свое существование как корпорация для построения железной дороги между данными точками А и В, общество может сделаться рудокопом, заводчиком, негодантом, кораблевладельцем, владельцем каналов, держателем гостиниц, землевладельцем, домостроителем, фермером, мелким торговцем, священником, учителем — короче,

учреждением нескончаемых размеров и сложности. Логика не представляет выбора между допущением всего этого и строгим ограничением деятельности корпорации первоначальной ее целью. Человек, соединяющийся с другими людьми для известного дела, должен считаться обязавшимся к этому одному делу или уж к всевозможным делам, какие только вздумается предпринять этим людям.

Но акционерам, не одобряющим который-либо из таких добавочных проектов, скажут, что они могут сбыть свои акции и удалиться из общества. Точно так же можно бы утешать несогласных принять новое верование, возведенное в государственное исповедание, тем, что если оно им не нравится, то они могут уехать из страны. Один ответ немногим удовлетворительнее другого. Оппозиционный акционер доволен помещением своего капитала; решаясь на это помещение в качестве одного из первых подписчиков, он может подвергаться некоторому риску. Между тем этому помещению угрожает опасность со стороны действия, не означенного в уставе, а на протесты его отвечают, что если его страшит опасность, то он может сбыть свои акции. Едва ли может подобный исход удовлетворить его. К тому же и этого выбора между двух зол он часто не имеет. Дело может случиться в неблагоприятную для продажи акций минуту. Одна молва о задуманном расширении линий нередко причиняет понижение акций. Если же многие члены меньшинства наводняют биржу своими акциями, то это понижение значительно увеличивается, что делает продажу еще менее удобною. Так что выбор, в сущности, представляется между сбытом хороших акций по скверной цене или сохранением их с риском на значительное понижение их цены.

Правда, несправедливость, которой таким образом подвергается меньшинство, признается уже отчасти, хотя и смутно. Недавнее постановление палаты лордов, что, прежде чем обществу будет дозволено приступить к какому бы то ни было новому предприятию, нужно, чтоб три четверти голосов были поданы в его пользу, — ясно указывает на возникающее понимание того, что тут неприменимо обыкновенное правило относительно большинства. Далее, в процессе «Great Western Railway Company *versus* Rushout» решение суда, что суммы общества не могли быть без особого законодательного

разрешения употребляемы на цели, не утвержденные вначале, влечет за собою признание того, что воля большинства не имеет безграничной силы. В обоих этих случаях принимается, впрочем, что государственное разрешение может оправдать то, что без него было бы неоправдываемо. Позволяем себе усомниться в этом. Если можно принять, что акт парламента может сделать убийство делом хорошим, а разбой делом честным, тогда можно с полной последовательностью признать, что такой акт может освятить и нарушение договора, но не иначе. Мы не намерены пускаться в разбор избитого вопроса о мериле правоты и неправоты, ни в исследование о том, состоит ли обязанность правительства в составлении правил для жизни или только в наблюдении за исполнением правил, выводимых из законов общественной жизни. Мы на этот раз довольствуемся принятием учения о целесообразности (*expediency*) и все-таки вынуждены утверждать, что, правильно истолкованное, оно не подает повода к мнимому праву правительства изменять границы справедливого по сущности своей договора вопреки желанию договорившихся лиц. В том виде, в каком понимается это учение его проповедниками и главными последователями, оно заключается вовсе не в том, чтобы каждое отдельное действие определялось особенными последствиями, которых можно от него ожидать, а в том, что, удостоверившись индукциями опыта в общих последствиях целых разрядов действий, должны быть составлены правила для регулирования таких разрядов действий, и каждое из правил должно быть одинаково применяемо к каждому действию, подходящему под известный разряд. Вся наша судебная администрация вращается на принципе неизменного соблюдения однажды положенного порядка, несмотря ни на какие могущие произойти частные результаты. Если б принимались в соображение непосредственные последствия, то приговор, решающий в пользу богатого кредитора против бедного должника, большей частью решался бы наоборот, потому что нищета последнего гораздо большее зло, нежели легкое неудобство, которому подвергается первый. Большая часть покраж, причиняемых нуждою, оставались бы ненаказанными; большая часть духовных завещаний были бы объявлены недействительными; многих богачей лишили бы их состояния. Но очевидно, что, если бы судьи руководились ближайшим

злом или ближайшей пользой, конечным результатом было общественное расстройство; то, что было непосредственно практическим, оказалось бы в окончательном результате непрактичным; в этом-то и заключается причина стремления к строгому единообразию вопреки случайным неудобствам. По отношению к связывающему свойству всяких договоров известно, что это одно из самых обыкновенных и самых важных начал гражданского права. Большая часть дел, каждый день рассматривающихся в наших судах, вращается вокруг вопроса, обязаны ли известные лица, в силу какого-нибудь прямого или подразумеваемого договора, исполнить известные действия или произвести известные платежи. И раз только решено, к чему обязывает договор, решено и само дело. Сам договор считается священным. А так как эта святость договора, по учению о практической, оправдывается тем, что опытом всех народов во всех веках она признана благодетельною, то никакое законодательство не властно объявлять такие договоры нарушаемыми. Предполагая, что договоры сами по себе справедливы, нить рациональной нравственной системы, которая позволяла бы изменение или уничтожение их иначе как с согласия всех участвовавших в нем лиц. Итак, если мы, как надеемся, показали, что договор, который безмолвно заключают между собою акционеры железных дорог, имеет определенные границы, то ясно, что обязанность правительства состоит в том, чтобы *обязывать к соблюдению* этих границ, а никак не в том, чтобы *низвергать их*. От этой роли оно не может уклониться, не поступая вразрез не только со всеми теориями нравственной обязательности, но и с собственной своей судебной системой. Низвергать эти границы оно не может без чудовищного самодурства.

Возвращаясь на минуту к многообразным злоупотреблениям, приписанным нами ложному пониманию договора, существующего между акционерами, нам остается еще сказать, что, если б люди настойчиво добивались правильного понимания этого договора, подобные злоупотребления по большей части сделались бы невозможными. Различные незаконные влияния, которыми общество ежедневно завлекается в разорительные расширения первоначальных предприятий, поневоле прекратили бы свою деятельность, если б подобные расширения не могли быть предпринимаемы. Если б подобные расширения

могли быть предпринимаемы только независимыми ассоциациями акционеров, которым никто бы не обеспечивал хороших дивидендов, местным и сословным интересам не так бы легко было разрастаться за чужой счет.

Взглянем теперь на политичность такого изменения в законодательстве о железных дорогах (мы понимаем тут коммерческую политичность). Оставляя в стороне более общие общественные интересы, бросим взгляд на вероятное действие такого изменения на торговые интересы, — не конечное, а ближайшее его действие. Предположение, сделанное нами выше, что построение ответвлений и добавочных линий не будет более так легко, как теперь, сочтется за доказательство невыгоды существования таких границ, в пользу которых мы только что говорили. Многие станут рассуждать, что ограничивать деятельность обществ их первоначальными предприятиями — значит пагубно сдавливать предприимчивость обществ железных дорог. Другие заметят, что, как ни убыточна для акционеров эта система расширения, она благодетельна для публики. Справедливость этих положений кажется нам более чем сомнительною. Рассмотрим сперва последнее из них.

Даже в том случае если б удобство перемещений было единственным результатом, который нужно иметь в виду, то неосновательно было бы предполагать, что расточительность на новые линии оказывается благодетельною. Округи, снабженные железными дорогами, во многих случаях пострадали от них. Показания, поданные «избранному комитету по биллям о железных дорогах и каналах», свидетельствуют, что существование в Ланкашире соревнующихся между собой линий в то же время уменьшило легкость сообщений и увеличило его дороговизну. Далее доказывается этими показаниями, что город, получивший ответвления от двух соперничающих компаний, мало-помалу, вследствие проделок между этими компаниями, приходит к худшему положению, чем если б он имел одно только ответвление, и в пример приводится Гастингс. Доказывается также, что вследствие излишнего обилия линий известный край может быть совершенно лишен удобств железной дороги, как и было в Вильтсе и Дорсете. В 1844—1845 гг. компании «Great Western» и «South Western» составили проекты соперничающих систем линий в этих графствах и части

прилежащих к ним графств. Департамент торговли, утверждая, что «не предвидится достаточных оборотов для вознаграждения затрат по двум независимым друг от друга линиям», решил в пользу проекта Great Western, который и был утвержден парламентским биллем, но в то же время, по внушению департамента торговли, с South Western был заключен договор, которым, за известные вознаграждения, последняя уступала эти округа своей сопернице. Несмотря на эту сделку, South Western в 1847 г. составила проект расширения, задуманного так, чтобы отбить большую часть оборотов у Great Western, а в 1848 г. парламент, хотя, в сущности, он сам подал мысль об этой сделке и хотя Great Western уже употребила полтора миллиона на производство работ по новым линиям, утвердил проект South Western. Результат был тот, что Great Western прекратила свои работы; South Western, вследствие финансовых затруднений, не могла продолжать свои; край целые годы оставался без железной дороги, и только после того, как полномочие, данное South Western, потеряло силу от просрочки, Great Western снова принялась за свое надолго заброшенное предприятие.

И если такое размножение добавочных линий часто прямо уменьшает легкость сообщений, то этот результат еще чаще достигается косвенным образом — поддержанием дороговизны цен на главных линиях. Хотя публике вообще мало известен этот факт, но совершенно верно, что за железные дороги в неблагоприятных округах она платится высокими ценами на проезд в благодарных округах. До того времени как принялись безрассудно строить ответвления, наши главные железные дороги давали по 8 и 9% дивиденда, и дивиденды эти быстро увеличивались. Максимум дивиденда, допускаемого утверждающим актом парламента, есть 10%. Если бы не непроизводительные расширения, этот максимум давным-давно был бы достигнут и, за неимением возможности предпринимать новые работы, факт, что он достигнут, не мог бы остаться скрытым. Неизбежно последовало бы понижение цен на провоз пассажиров и клади. Это сделалось бы причиной усиления оборотов дороги, и максимум в скором времени снова был бы достигнут. Не может быть сомнений, что несколько повторений этого процесса давно уже уменьшили бы цены за проезд и провоз по крайней мере на одну треть против существующих цен. Понижение это,

надо заметить, отозвалось бы на тех железных дорогах, которые в сильнейшей степени содействуют общественным и коммерческим сообщениям, следовательно, на самой важной отрасли оборотов во всем государстве. При настоящем же положении дел эта большая отрасль значительно обременена ради пользы меньшей отрасли. Для того чтобы какие-нибудь десятки людей, путешествующих по ответвлениям, пользовались удобствами железной дороги, сотни людей, путешествующих по главным линиям, платят лишние 30, если не 40%. Еще того хуже: чтобы доставить десяткам людей такое удобство, сотни людей, которых более умеренные цены привлекли бы к главным линиям, вовсе теряют возможность ездить по железным дорогам. Спрашивается после этого: в чем же предприятия, разорившие акционеров, оказались благодетельными для публики?

Но это зло отразилось не только на росте цен за проезд: оно отразилось еще на уменьшении безопасности. Увеличение несчастных случаев на железных дорогах, в последние годы обратившее на себя такое внимание, было в значительной степени причиняемо системой размножения линий. Соотношение между этими двумя обстоятельствами не совсем очевидно с первого взгляда, и мы сами не имели понятия о существовании такого соотношения, пока факты, поясняющие его, не были нам представлены одним из директоров, разобравших весь процесс причинности в этом случае. Когда дивиденды и гарантии по облигациям начали сильно затрагивать полугодичные доходы, когда первоначальные акции значительно упали в цене и дивиденды их спустились с 9 и 8% до 4½ и 3½%, между акционерами естественно возникло большое неудовольствие. Были бурные собрания, предлагались заявления неодобрения и следственные комитеты. «Сократить расходы!» — кричали со всех сторон, и сократили их до самых неразумных размеров. Директора, имея перед собою негодующих акционеров и опасаясь, чтобы следующий дивиденд не был такой же или, пожалуй, еще меньше последнего, не смели тратить деньги на нужный ремонт. Постоянный путь, признанный требующим перекладки, оставался еще на некоторое время. Старый подвижной состав не был заменяем новым в той мере, как требовалось, и не увеличивался соразмерно усилению движения. Комитеты, назначенные для рассмотрения, в каких статьях расхода возможны сокраще-

ния, объезжали линии, отказывая от места где носильщику, где конторщику и уменьшая всюду жалованья. До такой крайности было доведено это преобразование, что в одном обществе ради сбережения 1200 ф. ст. в год рабочий штат был до того сокращен, что в продолжение нескольких лет это причинило убыток на сумму никакие меньше 100 000 ф. ст.: таково, по крайней мере, мнение господина, со слов которого мы сообщаем эти факты и который сам был членом одного из экономических комитетов. Что же было неизбежным результатом всего этого? При линии, оставленной без нужных поправок, при локомотивах и вагонах, недостаточных по числу и находящихся в беспорядке; при доведении кочегаров, кондукторов, носильщиков, конторщиков и пр. до возможно меньшего числа; при неопытности нового личного подвижного состава, поступившего на место прежнего, опытного, но удалившегося вследствие сокращения жалованья, — чего должно было ожидать? Не в порядке ли вещей было, чтобы материального состава, которого едва хватало на обыкновенное движение, не хватило на чрезвычайное движение? что уменьшенный на десятую долю личный состав, находящийся под дурным присмотром, не мог найтись в затруднительных случаях, непременно приключаящихся время от времени на всякой железной дороге? что при общем неудовлетворительном состоянии дороги, работ и подвижного состава по временам должно было случаться стечение маленьких погрешностей и причинять какое-нибудь важное расстройство? Не было ли размножение несчастных случаев неизбежно? В этом никто не усомнится. И если мы шаг за шагом проследим этот результат до первоначальной его причины — безрассудной траты на новые линии, то мы будем иметь еще большее основание сомневаться, чтобы эта трата была настолько благодетельна для публики, как это воображали. Мы не решимся подтвердить мнение «избранного комитета по биллям о железных дорогах и каналах», будто желательно «еще более облегчить разрешение на постройку линий для местного удобства».

Еще сомнительнее оказывается общественная польза расширений, причиняющих убыток акционерам, если, рассмотрев вопрос с точки зрения торговых оборотов, мы обратимся к нему с общей точки зрения, как к вопросу политической экономии. Если бы даже не было фактов, доказывающих, что получаемые

удобства сообщения уравниваются, если не превышаются, утраченными удобствами, то мы все-таки стояли бы на том, что построение линий, не дающих порядочных дивидендов, есть национальное зло, а не национальное благо. Господствующая ошибка, в которую впадают при изучении такого рода дела, заключается в том, что на них смотрят отдельно, а не в связи с другими общественными нуждами и общественными благами. Не только каждое из этих предприятий, будучи выполнено, многообразно отражается на обществе, но и усилие, употребляемое на выполнение его, также многообразно отражается на обществе, и, чтобы составить себе верное суждение, нужно сложить и те и другие результаты. Аксиома, что «действие и противодействие равны и противоположны», верна не только в механике, но везде и во всем. Нация не может портить сколько бы то ни было силы для достижения какой-нибудь данной цели без того, чтобы, на это время, соразмерно не обессилеть относительно достижения какой-нибудь другой цели. Никакое количество капитала не может быть потрачено на какое-нибудь дело без того, чтобы не породить равномерный недостаток капитала для какого-нибудь другого дела. Каждая выгода, добываемая трудом, покупается ценою отказа от какой-нибудь другой выгоды, которую в противном случае мог бы выработать тот же труд. Следовательно, судя о выгодах, приносимых любым общественным предприятием, необходимо смотреть на них не отдельно, а в сопоставлении с теми выгодами, которые потраченный на него капитал мог бы доставить иным образом. Но как же могут быть измерены эти относительные выгоды? — спросят нас. Очень просто: мерилom служит процент, который принесется капиталом при том или другом применении. Если, будучи употреблен на известное дело, капитал приносит меньший доход, чем он принес бы при другом употреблении, то, значит, он употреблен невыгодно не только для его владельцев, но и для всего общества. Это вывод из основных начал политической экономии, вывод до того простой, что нам почти непонятно, каким образом, после полемики по поводу свободы торговли, комитет, имеющий в числе своих членов м-ра *Брайта* и м-ра *Кардвелля*, мог оставить его без внимания. Сколько времени толкуют нам, что в торговом мире капитал приливает туда, где в нем наибольшая нужда, что когда какое-нибудь дело в данное

время привлекает капитал необыкновенно высокими процентами, то этим самым фактом доказывается, что оно деятельнее других, что эта необыкновенная деятельность свидетельствует о существовании в обществе большого запроса на плоды ее, — что дело дает большие барыши, потому что общество нуждается в доставляемых им удобствах более, чем в каких-либо других? Не оказывается ли из сравнения между нашими железными дорогами, что те из них, которые приносят большие дивиденды, суть именно те, которые служат к удовлетворению общественных нужд в большей степени, нежели железные дороги, приносящие меньшие дивиденды? И не очевидно ли, что усилие капиталистов получать эти более значительные дивиденды заставило их позаботиться об удовлетворении больших нужд прежде меньших нужд? Тот же закон, который проявляется в обыкновенной торговле, который оказывается состоятельным при слиянии одного предприятия железных дорог с другим, должен оказаться столь же состоятельным и при слиянии предприятий железных дорог с предприятиями всякого другого рода. Если деньги, затраченные на построение ответвлений и побочных линий, дают средним числом 1—2%, тогда как, будучи употреблены на дренажное предприятие или на кораблестроение, они приносили бы 4 или 5%, а может быть, и того больше, то это верное доказательство, что деньги нужнее на дренаж и кораблестроение, чем на построение побочных линий железных дорог. Общие же выводы из этих рассуждений заключаются в следующем: та большая часть потраченного на железные дороги капитала, которая не приносит биржевых процентов, потрачена невыгодно; если бы доходы, получаемые этим путем, капитализировать сообразно биржевому проценту, то полученная сумма представляла бы настоящую стоимость затраченного капитала и разность между этой суммой и затраченным количеством денег представляла бы цифру национального убытка, а этот убыток, по самой низкой оценке, превзошел бы у нас 100 000 000 ф. ст. И хотя, может быть, справедливо, что сумма, употребленная на невыгодные линии, будет делаться с каждым днем производительнее, однако так как при более разумном употреблении производительность ее точно так же и давно бы увеличивалась и, может быть, даже в большей степени, то этот огромный убыток следует считать не временным, а постоянным.

Итак, опять спрашиваем мы: основательно ли, чтобы предприятия, разорившие акционеров, оказались благодетельными для общества? Не очевидно ли скорее, что в этом отношении, как и в других, интересы акционеров и общества в окончательном результате тождественны? И не следует ли полагать, что лучше бы, если бы вместо «облегчения разрешений на постройку линий для местного удобства» выбранный комитет объявил в своем докладе, что существующие льготы ненормально велики и что их следует уменьшить?

Остается еще рассмотреть первое из приведенных выше возражений, которые могут быть противопоставлены нашему толкованию договора собственников, а именно: что такое толкование было бы серьезной помехой развитию предприятий по части железных дорог. После всего сказанного едва ли еще нужно говорить, что тут помехи были бы настолько, насколько это нужно, полезны и даже необходимы для обуздания частных интересов, несообразных с общественными интересами. Понятие, будто бы без искусственного поощрения эти предприятия не будут подвигаться с должной деятельностью, будто бы местные расширения линий «требуют скорее поощрения», есть не что иное, как остаток протекционизма. Причине, до сих пор побуждавшей к образованию всех обществ железных дорог, т.е. желанию капиталистов выгодно помещать свои капиталы, можно и впредь предоставить образование дальних обществ, по мере того как местная нужда в них будет увеличиваться настолько, чтобы обещать хорошие проценты, — иными словами, по мере того как местные нужды будут требовать себе удовлетворения. Это и без доказательств достаточно очевидно, но можно и доказательства привести.

Мы уже упоминали, между прочим, о том обстоятельстве, что в последнее время между землевладельцами, негоциантами и другими местно заинтересованными лицами вошло в обычное изображение железные дороги для собственного удобства, не ожидая от них удовлетворительных дивидендов. Люди эти охотно тратят на такие предприятия значительные суммы с тем расчетом, что косвенные выгоды, которые они получают от увеличенных удобств для торговли, более чем вознаграждают их за прямой убыток. Политика эта доведена до таких размеров, что, как было показано перед выбранным комитетом,

«в Йоркшире и Нортумберланде, где проводятся ответвления главных линий через округа исключительно земледельческие, землевладельцы *отдают под них свои земли* и разбирают акции». Имея перед глазами подобные примеры, нет возможности сомневаться в том, что капитал на местные линии всегда будет являться, как только сумма ожидаемых от них выгод, прямых и косвенных, будет достаточно велика, чтобы вызвать такое употребление его.

«Но ответвление, — возразят многие, — которое как независимое предприятие не вознаграждало бы за издержки, часто оказывается производительным для компании вследствие усиления движения, которое оно доставляет главной линии. Хотя оно принесет скудный процент с собственного своего капитала, оно вознаградит — или даже более чем вознаградит — увеличением процентов с капитала главной линии. Между тем, если бы существующей компании было запрещено расширять свою деятельность, это ответвление не было бы построено и последовал бы убыток». Все это правда, за исключением последнего утверждения, а именно что ответвление не было бы построено. Хотя, в качестве корпорации, общество, владеющее главной линией, не могло бы участвовать в такого рода предприятии, но ничто не мешало бы акционерам его, как частным лицам, участвовать в нем в какой угодно мере; и если бы условия были настолько благоприятны, насколько здесь предполагается, то этот образ действий, будучи очевидно выгоден для акционеров, был бы принят многими из них. Если б, действуя сообща с другими лицами, находящимися в одинаковых обстоятельствах, владелец акций главной линии на 10 000 ф. ст. имел возможность помочь построению побочной линии, обещающей не более 2% с затраченного на нее капитала, приобретением акций на 1000 ф. ст., — ему был бы расчет так поступить, при условии, что лишнее движение от этой линии возвысило бы дивиденды главной линии на $\frac{1}{4}\%$. Таким образом, при ограничении договора между акционерами общества могли бы не хуже теперешнего поощрять расширения там, где они нужны, с той только единственной разницей, что вследствие отсутствия обеспеченных дивидендов люди поступали бы с некоторой осмотрительностью и беднейшие акционеры не приносились бы, как теперь, в жертву богатым.

Одним словом, наше убеждение состоит в том, что каждый раз, когда оказывается возможным собрать капитал для расширения какой-нибудь линии у лиц, заинтересованных в этом расширении, — местных землевладельцев, заводчиков, акционеров главной линии и пр.; каждый раз, когда для всех этих лиц ясно, что косвенные выгоды вместе с прямыми выгодами, получаемыми ими, сделают это предприятие благодарным, — тем самым доказываемся факт, что линия нужна. Каждый же раз, напротив того, когда ожидаемая прибыль не довольно значительна для того, чтобы заставить взяться за предприятие, доказываемся факт, что предполагаемая линия не так нужна, как нужно что-нибудь другое, и, следовательно, *не должна быть построена*. Так что, вместо того чтобы заслуживать порицание в качестве помехи развития предприятий по части железных дорог, отставляемый нами принцип имеет положительное достоинство, состоящее в том, что, уничтожая искусственные побуждения к подобным предприятиям, он заключает их в должные границы.

Краткий обзор показаний, сделанных выбранному комитету, покажет, что принцип этот имеет еще разные другие достоинства, на которые в наших рамках мы укажем только вскользь.

По расчету м-ра Лаинга, — а м-р Стефенсон хотя и не ручается за верность его, но говорит, что «не полагает, чтобы м-р Лаинг преувеличил дело», — выходит, что из 280 000 000 ф. ст., уже собранных на построение наших железных дорог, 70 000 000 ф. ст. было растрчено без нужды на различную борьбу, на построение двойных линий, на «размножение бесконечного числа проектов, приводимых в исполнение при совершенно безумных расходах». А м-р Стефенсон полагает, что «цифра эта далеко не отображает собою полной суммы всего убытка, относительно удобств, экономии и других сторон деятельности железных дорог, понесенного публикой вследствие небрежности парламента в издании законов по части железных дорог». При правильном понимании договора между акционерами большую часть этого убытка можно было бы избежать.

Соревнование между соперничающими обществами в расширении существующих линий и построении новых ответвлений, которое причинило уже громадный вред и последствия которого, если не положить ему конец, по мнению м-ра Стефенсона, приведут к тому, что «собственность, приносящая

теперь 5¼%, через десять лет будет приносить только 3%, на сумму 21 000 000 ф. ст.», — это соревнование никогда бы не могло установиться в его настоящем злостном и пагубном виде при ограничивающем принципе, защищаемом нами.

Следуя внушениям ревности и антагонизма, наши общества добыли себе утверждение на 2000 миль железных дорог, которые никогда не были построены. Миллионы, промотанные таким образом на изыскания и парламентскую борьбу, — «пищу юристов и инженеров» — почти все были бы спасены, если б утверждение на каждую добавочную линию могло быть даваемо только независимому обществу капиталистов, ничем и никем не охраняемых от последствий безрассудного прожектерства.

Сознаются, что ответвления и побочные линии, построенные под влиянием чувства конкуренции, не всегда проводились в наиболее удобных для публики направлениях. Так как при сооружении таких линий одним из главных побуждений — часто даже самым главным побуждением — было желание досадить или отомстить противникам, то направление их специально приспособлялось к этой цели и вследствие того не удовлетворяло местным интересам. Между тем, будь эти же ответвления и побочные линии предоставлены собственной предприимчивости округов, через которые они проходят, оказалось бы совершенно противное, потому что, вообще говоря, в мелких, как и в более важных, случаях дороги, удобнейшие для публики, бывают непременно и самые выгодные для строителей.

Если б устранилась незаконная между различными обществами конкуренция в построении расширений, ее осталось бы именно настолько, насколько это благотельно для всех. Несправедливо, будто бы между железными дорогами не может существовать такого рода конкуренция, какая существует между торговцами. Показания м-ра Саундерса, секретаря «Great Western», доказывают противное. Он говорит, что там, где большая западная и северо-западная железные дороги проводят сообщение между одними и теми же городами, как, например, в Бирмингем и Оксфорд, обе дороги, как бы по тайному соглашению, держатся того же тарифа и что если таким образом устраняется конкуренция в ценах, то остается конкуренция в быстроте и предлагаемых удобствах. Результат тот, что каждая из этих железных дорог довольствуется тем движением, которое

естественно выпадает ей на долю в силу ее положения и местных условий, что одна подстрекает другую доставлять публице возможно большие удобства и содержаться в надлежащем порядке, угрожая отнять у нее приходящееся на ее долю движение, если небрежностью или неисправностью она будет отталкивать публику настолько же, насколько привлекает ее особыми своими удобствами. В таком же точно виде устанавливается в окончательном результате и конкуренция между торговцами. После того как постоянным понижением цен наперебой один другому они наконец доходят до последней цены, по которой продажа может производиться с соблюдением необходимого барыша для них, цена эта делается установленной ценою, каждый торговец довольствуется теми потребителями, которым, по близости жительства или другим причинам, удобно запасаться у него; только в том случае, если он поставяет дурной товар, ему можно опасаться, что потребители причинят себе лишнее беспокойство, обращаясь в другое место.

После всего этого не согласятся ли читатели в необходимости возможно скорейшего улучшения в законах, относящихся к акционерным предприятиям, такого улучшения, которое превратило бы договор акционеров из неограниченного в ограниченный или не превратило бы его, а признало бы его таковым. Если наши доводы основательны, то главной причиной многообразных злоупотреблений нашей администрации железных дорог оказывается отсутствие такого ограничения. Барышничество акциями со стороны директоров, совокупные проделки юристов, инженеров, подрядчиков и т.п., измена интересам владельцев, — все запутанные злоупотребления, подробно разобранные нами, первоначально возникли из этого отсутствия и через него сделались возможными. Оно сделало путешествие дороже и менее безопасным, нежели было бы в ином случае, и, по-видимому, облегчая сношения, косвенно было для них помехою. Поддерживая антагонизм между обществами, оно привело к дурным проектированиям добавочных линий, к растрате огромных сумм на бесполезную парламентскую борьбу, к убыточному употреблению почти невероятного количества национального капитала на построение таких железных дорог, в которых не чувствуется еще достаточной потребности. Если рассматривать дело в общей сложности, суммы, помещенные акционерами в предприятие по

железным дорогам, доведены этой неограниченностью менее чем до половины средней производительности, которую такие помещения капитала должны бы дать; наконец, как признано всеми авторитетами, акции железных дорог в настоящую минуту держатся ниже уровня своей настоящей стоимости страхом дальнейшего понижения, имеющего последовать за новыми расширениями. Значит, если принять в соображение громадность страдающих интересов, так как итог всего капитала наших обществ скоро достигнет 300 000 000 ф. ст.; если, далее, принять в соображение, с одной стороны, огромное число лиц, между которыми распределено обладание этим капиталом (а многие из них не имеют других доходов, кроме получаемых с него процентов), а с другой стороны, припомнить, в какой значительной мере тут страдает все общество как прямо — в деле легкости торговли, так и косвенно — в деле экономии его денежных средств, — если принять в соображение все это, окажется крайне необходимым поставить капитал железных дорог на более твердую почву, а предприятия по части железных дорог — в более нормальные границы. Этой перемены равно требует благо акционеров и публики, ее, очевидно, предписывает и справедливость. Таковую перемену нельзя обвинять как меру неуместной законодательности. Это просто применение к акционерному договору принципа, применяемого ко всяким другим договорам, это не что иное, как исполнение справедливых обязанностей государства в деле, оставлявшемся до сих пор без внимания, это не что иное, как лучшее применение правосудия.

Postscriptum. Наша доктрина, по которой контракт, заключенный между акционерами, должен строго выполняться, и какие бы то ни было дела, не входящие в специальную задачу общества, не должны вовсе предприниматься, — не придется по вкусу директорам. Один из наших друзей, как председатель правления одного из главнейших железнодорожных обществ, близко знакомый с железнодорожными тузами и парламентскими обычаями по отношению к ним, уверяет, что такое ограничительное толкование в жизни неприменимо и, вместе с тем, и правительство никогда не позволит себе делать такого рода стеснение.

Мне кажется весьма вероятным, что он прав, утверждая последнее. Несмотря на общепризнанную догму, допускающую, что при помощи парламентского акта можно сделать все, глупо

надеяться на то, что парламент одними этическими соображениями будет в силах удерживать кого-либо от нарушения заключенного им условия или узаконить нарушение такового. Зная, что, пользуясь этой догмой, иногда доходят до порицания государственных гарантий (как, например, по отношению к тем, кто приобрел землю на основании положения об обремененных долгами имениях в Ирландии, или как, например, в случаях с некоторыми первыми железнодорожными компаниями, которым в силу соглашения были предоставлены некоторые льготы под известными условиями), было бы нелепым предполагать, что законодательная власть, обратив свое благосклонное внимание на требования акционеров, удержится от уничтожения контракта, по которому акционеры согласились совместно работать. Люди должны быть гораздо добросовестнее, чем они на самом деле есть, чтобы не доходить до таких поступков.

По поводу другого его заключения — именно, что такое ограничение станет неисполнимым затруднением, — я решительно недоумеваю. Весьма вероятно, что при наших современных условиях железнодорожной администрации последствия такой системы были бы неудобны, но в такой же мере вероятно и то, что, если бы такое ограничение было сделано обязательным, создавалась бы иная и лучшая система железнодорожной администрации. Могут подумать, что подобное утверждение ни на чем не основано. Между тем я делаю это с некоторой уверенностью, ибо та форма администрации, о которой я говорю, сходна с тою, которая предполагалась, хотя и в несколько ином виде, в то время, когда впервые установились железные дороги. Для тех, у которых взгляд на способы перевозки товаров по железной дороге установился на основании обыденных наблюдений, мое утверждение, пожалуй, и непонятно, но те, которые помнят, как предполагалось в самом начале пользоваться железными дорогами, поймут, о чем я говорю.

Новые системы устанавливаются в большей или меньшей степени по старым образцам. В те времена, когда была разрешена постройка первой железнодорожной линии, люди практически позаимствовали во многих отношениях у почтовой гоньбы разные приспособления и саму систему. Колея железнодорожного пути определялась шириною хода почтовой кареты. В самом начале вагоны первого класса были сделаны наподобие средних

частей трехклассной почтовой кареты, соединенных вместе, при этом были сохранены даже выпуклые стенки и кривые очертания снаружи, часто внутри были начертаны подходящие слова «*triajuncta in uno*». Вагоны первого класса внутри были обиты также наподобие почтового вагона. Первый вагон второго класса, с простыми деревянными скамейками, к которому прикреплялась при помощи железных прутьев крыша, не защищенный ни от дождя, ни от сквозного ветра, считается все-таки несравненно более удобным, чем наружное сиденье почтовой кареты.

Еще несколько лет назад место кондуктора находилось снаружи на обоих концах вагона, как в почтовой карете. Также еще не так давно пассажирский багаж, покрытый брезентом, помещался, как в карете, на крыше вагона, во многих местах контора общественных железнодорожных карет походила совершенно на контору общественных Почтовых карет: и там и здесь пассажирам необходимо было записаться, чтобы обеспечить себе место. Находя передвижение по рельсам по одному и тому же направлению непрактичным, предполагали возможность остановиться на способах передвижения по почтовым дорогам, где кареты, двигаясь в любом направлении, могут свернуть по желанию с главного пути. Быть может, читатель потребует подтверждений? Подтверждением мы считаем то обстоятельство, хорошо известное всем заставшим первые дни железных дорог, что в конторах и залах каждой железнодорожной станции были вывешены объявления о размерах пошлины, подобно таблицам, выставленным на каждой заставе, с той лишь разницей, что на этих объявлениях отмечалась поверстная такса за перевозку пассажиров, лошадей, скота, товаров и т.д. В этих объявлениях говорилось, между прочим, что, кроме самого общества, линией могли пользоваться и посторонние лица, проезжая по ней в своих Повозках, и за такую привилегию должны были платить по особой таксе; сколько мне известно, однако, привилегией этой невозможно было воспользоваться просто потому, что на этих путях царил ужасный беспорядок.

Но если такая система передвижения была непрактична, то она предзнаменовала иной порядок, сделавшийся весьма практичным, и если бы какое-нибудь железнодорожное общество пожелало установить новый порядок, то оно все-таки было бы ограничено своим уставом.

После опыта неудачной кооперации, при которой масса независимых лиц, имея в собственности отдельные ветви и части дорог, должна согласовать движение своих поездов и т.д., эти лица захотели бы создать то, что мы бы назвали обществом транспортирования кладий, независимо от самих железнодорожных обществ. Каждое из них предложило бы железнодорожным компаниям, владеющим главными линиями, свои ветви и части пути в пределах известных районов, удобно ограниченных, или предложило бы подчинить себе эксплуатацию их линий, — то условливаясь с ними путем договора, то соглашаясь выпустить специальные акции с ежегодным чистым доходом или, наконец, соглашаясь уплачивать по известной таксе за перевозку пассажиров и товаров. При таких условиях первые компании, находясь в положении землевладельцев, хотели бы за свою работу сохранять свои насыпи, выемки, мосты, полотно, станции и т.д. в состоянии, годном для эксплуатации, в то время как общество транспортирования кладий, находясь в положении арендатора и владея подвижным составом, пожелало бы за свою часть работы получить право провозить пассажиров и товары по всей линии и иметь возможность привести дело перевозки в гармоническую систему. Ясно, что если в других случаях выгодно разделение труда, то оно имело бы также выгоды и в данном случае, пути сообщения каждого из этих соединенных обществ могли бы лучше ремонтироваться, тогда как это не могло быть сделано в то время, когда дорога эксплуатировалась одним владельцем; наряду с этим и общества транспортирования кладий, не занимаясь ничем, кроме приведения в порядок подвижного состава, управления поездной прислугой и т.п., могло бы исполнить это несравненно более удовлетворительно.

Дальнейшее основание для предположения, что можно было бы достигнуть лучших результатов в сравнении с достигнутыми, заключается в том, что при новых обстоятельствах директора не имели бы возможности отдавать все свое время на ведение железнодорожных войн или на проведение в парламент новых законов, — дело, которое при существующих порядках главным образом занимает железнодорожную администрацию.

Стремление к справедливому порядку часто преисполняется неожиданным благодеянием; есть основание полагать, что неожиданное благодеяние будет результатом и в данном случае.

V | ТОРГОВАЯ ПРАВСТВЕННОСТЬ¹

В этой статье мы не имеем намерения повторять много раз высказывавшиеся жалобы на фальсификацию, хотя в таком случае дело не стало бы за свежим материалом. Мы имеем в виду обратить внимание читателя на те виды обмана, которые наименее бросаются в глаза и потому мало известны. Понятно, что то отсутствие добросовестности, которое выражается в подмешивании крахмала в какао, жира в масло, в окрашивании кондитерских произведений свинцовыми солями или мышьяковистыми соединениями, должно, очевидно, проявляться и в более скрытых формах, и действительно последние почти, а может быть, и совершенно так же многочисленны и зловредны, как и первые.

Совершенно ошибочно довольно, однако же, распространенное мнение, что в обманных действиях повинен только низший класс торговцев. Выше их стоящие массы тоже в большинстве случаев несвободны от этого упрека. В среднем коммерсанты, ведущие торговлю тюками и тоннами, в смысле нравственности мало отличаются от тех, которые продают ярдами и фунтами. Высший класс нашего коммерческого мира обнаруживает в своей деятельности все виды незаконных действий, за исключением только простого воровства. Бесчисленные плутни, ложь в действиях или в речах, тщательно обдуманный обман господствуют в торговле; многие из них признаются в качестве «торговых обычаев», и не только признаются, но даже и оправдываются.

Оставляя в стороне хорошо известных своими проделками мелких лавочников, о поступках которых известно почти всякому, остановимся на действиях более высоких в торговой иерархии классов.

Торговля оптовых фирм — по крайней мере в суконном деле — ведется главным образом классом людей, которые

¹ Впервые напечатано в журнале «Westminster Review» за апрель 1859 г.

называются закупщиками (buyer). Каждое оптовое предприятие разделяется на несколько отделов, во главе которых стоят вышеупомянутые служащие, которые представляют отчасти независимых торговцев низшего разряда. В его распоряжение предоставляется хозяином предприятия в начале года известный капитал, которым он и оперирует, он заказывает для своего отдела те сорта товара, которые, по его мнению, должны найти сбыт, и старается продать их в возможно большем количестве мелочным торговцам, с которыми ведет торговлю. В конце года отчет показывает, какой барыш он сумел получить на вверенный ему капитал, и сообразно результату он оставляется в должности и на следующий год, быть может, на более выгодных условиях, или, напротив, увольняется.

При таких условиях подкуп, казалось бы, невозможен. Между тем мы знаем из авторитетнейших источников, что закупщики (buyers) подкупают других и сами подвергаются подкупу. Подарки, как средство приобретения покупателя, представляют обычное явление среди них и тех, с которыми они ведут дела. Свои сношения с мелочными торговцами они поддерживают посредством угощения и подарков, и сами в своих действиях подвергаются воздействию тех же самых средств. Можно бы предполагать, что интересы обеих сторон должны устранять возможность подобных фактов. Но, по-видимому, действие подобных влияний не вызывает особенно очевидных неудобств. Если, как это обыкновенно бывает, имеется несколько фабрикантов, производящих товары одинакового достоинства и по одной и той же цене, или несколько закупщиков, покупающих этот товар на тех же самых условиях, выбор становится затруднительным, так как тут нет основания предпочесть одного фабриканта другому, и потому искушение получить какую-нибудь непосредственную выгоду легко перевешивает чашку весов. Какова бы ни была причина, факт этот, несомненно, установлен как для Лондона, так и для провинции. Фабриканты щедро целыми днями угощают закупщиков, посылают им в угоду то корзину с дичью или домашнюю птицей, то ящик с вином и т.д.; мало того, они получают настоящие денежные взятки, иногда, как мы слышали от одного фабриканта, просто кредитными билетами, но чаще всего в виде скидки с общей суммы их закупки. Необычайная распространенность — можно

сказать, универсальность этой системы — подтверждается свидетельством человека, который при всем своем отвращении к этому порядку не может от него освободиться. Он сознавался нам, что все его сделки носят этот предосудительный характер. «Всякий закупщик, с которым я вступаю в сделку, — говорит он, — рассчитывает получить от меня известную премию в том или другом виде. Один желает получить взятку в скрытом виде, другие принимают ее просто, без прикрас. На предложение одних отвечает: „О, я этого не люблю“, — но беспрепятственно принимает стоимость их в каком-нибудь другом виде, тогда как другой, который обещает значительную закупку в этом сезоне, потребует, я знаю это хорошо, скидки чистоганом. Этого нельзя избежать. Я мог бы назвать целую массу закупщиков, которые косятся на меня и смотреть не хотят на мой товар, и я очень хорошо понимаю почему, — я не купил их покровительства». Мой собеседник сослался при этом на другого коммерсанта, который подтвердил, что в Лондоне иначе дела не сделать. Некоторые из этих закупщиков становятся настолько алчными, что их вымогательства поглощают большую часть барыша фабриканта, так что возникает вопрос: выгодно ли продолжать с ними вести дела? Как упомянуто уже было выше, такая же система отношений существует и между приказчиками и розничными торговцами, только тут подкупленные начинают сами подкупать. Один из упомянутых нами выше господ, рассчитывающий всегда на эти доходы, говорил тому, слова которого мы привели выше: «Я потратил на N (имя крупного портного) целую кучу денег и, кажется, приобрел-таки его». К этому признанию он присовокупил жалобу, что фирма, у которой он состоит на службе, не дает ему кредита для подобных издержек.

Ниже приказчика, совершенно самостоятельного в своем отделе в оптовом предприятии, существует еще целый ряд помощников, имеющих непосредственно дело с розничными торговцами, подобно тому как помощники торгующих в розницу имеют дело непосредственно с публикой вообще. Эти помощники высшего разряда, действующие при таких же самых условиях, как и низшие, в одинаковой с ними степени недобросовестны. Находясь под страхом немедленного увольнения в случае допущенной при продаже ошибки, завися в своем повышении от количества выгодно проданного ими товара

и не только не встречая за свои нечестные проделки порицания, но, напротив, вызывая за них похвалу, эти молодые люди обнаруживают просто невероятную степень деморализации. По свидетельству лиц, принадлежавших прежде к этой категории, их лукавство безгранично, они постоянно лгут, и их проделки представляют бесконечную градацию от самого простого до самого тонкого, макиавеллевского, обмана. Вот несколько образчиков. Имея дело с розничным торговцем, они стараются прежде всего запомнить хорошенько род его торговли, с тем чтобы всучить ему тот именно товар, в котором он наименее понимает. Если его лавка находится в местности, где главный сбыт имеют низшие сорта товара (факт, удостоверенный путешествующим агентом), то понятно, что, имея сравнительно мало дела с высшими сортами товара, он плохо понимает в них, и из его невежества извлекается соответственная выгода. Затем, существует обычай показывать образцы материй, шелка и т.п. в таком порядке, чтобы сбить человека с толку. Как при смаковании различного рода кушаний или вина, наше нёбо, подвергшееся действию более сильного вкуса или букета, становится неспособным различать более тонкий вкус, воспринятый после того, так это бывает и с другими органами чувств: за чрезмерным возбуждением следует временная неспособность к восприятию. Это относится не только к глазам в отношении к цветам, но, как нам сказал один бывший торговец, также и к пальцам в отношении к тканям, и хитрые торговцы имеют привычку, вызывая эту временную нечувствительность, продавать человеку второй сорт за первый. Другой обычный маневр заключается во внушении веры в дешевизну товара. Дело происходит таким образом. Предположим, что портной намеревается сделать запас материй. Ему предлагают сделку: показывают ему три куска материи — два хорошего сорта, примерно шиллингов по 14 за ярд, третий, гораздо ниже сортом, шиллингов по 8 за ярд. Материи придают слегка помятый вид, чтобы иметь очевидное основание для продажи якобы в убыток. Портного уверяют, что этот мнимопорченый товар продается ему ниже своей цены — по 12 шиллингов за ярд. Сбитый с толку внешним видом материи, который внушает ему веру в то, что товар действительно продается в убыток, и, находясь под впечатлением того, что два куска стоят действительно гораздо дороже

объявленной цены, он не останавливается достаточно на мысли, что эта цена уравнивается значительной дешевизной третьего куска, и, по всей вероятности, купит предлагаемый товар и уйдет с приятной уверенностью, что сделал чрезвычайно выгодную покупку, тогда как в действительности он уплатил полную стоимость товара. Но гораздо более тонкую проделку описал нам некто, прибегавший к ней сам, находясь на службе в одной из оптовых фирм; проделка эта оказалась настолько успешной, что ему поручали впоследствии всегда продавать таким покупателям, с которыми другие приказчики не могли справиться и которые после того обращались исключительно к нему одному. Его политика заключалась в том, что он притворялся всегда страшным простаком и честным малым; при первых нескольких покупках он проявлял свою честность тем, что сам указывал на дефекты в продаваемых им предметах; приобретя таким образом доверие покупателя, он спускал ему низшие сорта вместо высших. Это только немногие из разнообразных приемов, находящихся в постоянном употреблении, и все это, разумеется, сопровождается целым потоком лжи в словах и действиях. От приказчика требуется, чтобы он не останавливался ни перед какой ложью, если она может содействовать продаже. «Всякий дурак может продать то, что требуют», — сказал один хозяин, упрекая своего приказчика за то, что он не сумел уговорить покупателя приобрести совсем не то, что он спрашивал. И эта бесцеремонная лживость, которая требуется от служащих и поощряется примерами, достигает такой ужасающей степени, которая была нами описана в выражениях слишком сильных для того, чтобы мы могли повторить их здесь. Наш собеседник должен был отказаться от места, которое он занимал в одном из подобных торговых предприятий, потому что не мог опуститься до желаемой степени деморализации. «Вы не умеете врать так, чтобы казалось, что вы верите тому, что говорите», — сказал ему один из товарищей-приказчиков. И это было сказано ему в укор!

Так как из младших служащих преуспевают наиболее те, которые наименее подвержены укорам совести — скорее переводятся на лучшие оплачиваемые должности и потому имеют больше шансов со временем открыть собственное дело, то естественно, нравственность хозяев этих предприятий мало чем

отличается от нравственности их служащих. Обычная недобросовестность оптовых торговцев подтверждает это вполне. Приказчики не только вынуждены, как мы видели выше, обманывать покупателей на качестве продаваемого товара, этот обман простирается и на количество его, и не вследствие случайной свободной проделки служащего, но как результат установленной системы, ответственность за которую падает на фирму. Обычный прием заключается в приготовлении кусков, которые заключают в себе меньшее число аршин, нежели показывается торговцем. Кусок коленкора номинально заключает в себе 36 ярдов, в действительности же в нем не бывает никогда больше 31 ярда, — и это уж так прямо и признается в торговле вообще. Долго накоплявшаяся сумма обманов, на которую указывает этот обычай, — постепенное уменьшение длины, из которых каждое первоначально вводилось каким-нибудь недобросовестным адептом, которому тотчас же подражали его конкуренты, — теперь ежедневно продолжает возрастать во всех случаях, где торговцу не угрожает немедленное изобличение; число предметов, продающихся в маленьких пачках, пакетах, связках, вообще в такой форме, которая не допускает измерение в момент продажи, обыкновенно меньше показанного фирмой. Шелковый шнурок, так называемый «six quarters», долженствующий иметь 54 дюйма, в действительности заключает в себе только 4 четверти, или 36 дюймов. Тесемка продается обыкновенно grosсами, заключающими в себе двенадцать пучков по 12 ярдов в каждом. Но эти двенадцатиярдовые пучки сокращаются теперь постоянно на 4 или даже на 7 ярдов, так что обычная теперь длина равняется 6 ярдам. Другими словами, те 144 ярда, которые заключались когда-то в grosсе, растаяли теперь в некоторых случаях до 60. И этот обман распространяется также и на толщину. Французский бумажный шнурок, например (французский только по названию), готовится теперь различной толщины, которая отмечается соответственно цифрами 5, 7, 9, 11 и т.д.; каждая из этих цифр показывает число сплетенных нитей или, вернее, число нитей, которое должно быть, но которого нет налицо; из трех образцов, взятых у различных торговцев, только один заключал указанное число нитей. Бахрома, например, которая продается намотанной на картон, часто имеет в сказовом конце два дюйма ширины,

а в другом только один, или первые 20 ярдов хорошего качества, а остальные, скрытые от глаз, похуже. Эти мошенничества производятся без всякого стеснения, как обычное дело. Мы читали сами ордер, данный служащему, в котором изложены были детали заказа с указанием действительной длины и той, которая должна была фигурировать на ярлыках, и мы сами слышали от одного фабриканта, что ему заказана была тесьма по 15 ярдов в куске, причем на ярлыках должно было стоять: «Гарантировано 18 ярдов»; если же он выставлял на ярлыках действительную длину, ему возвращали товар обратно, и все, чего он мог в этом вопросе добиться, это отпустить товар без ярлыков.

Нельзя себе представить, чтобы в отношениях с фабрикантами эти оптовые торговцы руководствовались кодексом морали, значительно отличающимся от того, которым регулируются их отношения с розничными торговцами. Факты показывают, что разница тут невелика. Например, приказчик (исключительно заведующий закупками для какого-нибудь оптового предприятия на фабриках) забирает часто у какого-нибудь первоклассного фабриканта небольшое количество какого-нибудь нового товара, для создания рисунков которого потрачено немало времени и денег, этот товар он передает другому фабриканту для воспроизведения в большом количестве. Затем, некоторые закупщики делают свои заказы не иначе как устно, чтобы в случае надобности иметь возможность отпереться от них, и нам рассказывали о случае, когда фабрикант, обманутый однажды таким образом, потребовал в другой раз для своего обеспечения подписи приказчика и получил отказ. Существуют и такие неправильные действия, за которые ответственны, как нам кажется, лица, стоящие во главе оптовых предприятий. Мелкие фабриканты, располагающие недостаточным капиталом и в моменты застоя лишенные возможности выполнить свои обязательства, часто попадают в зависимость от оптовых фирм, с которыми имеют дела, и жестоко эксплуатируются ими. Попавшему в такое положение остается или продать весь свой товар с большим убытком — 30 или 40% ниже стоимости его, или заложить его, и, если кредитором является оптовое предприятие, фабриканту несдобровать. Он должен работать на условиях, предписываемых фирмой, и почти всегда банкротится. Чаще всего это наблюдается в шелково-чулочном

деле. Вот слова одного крупного представителя этой отрасли, наблюдавшего не раз на своем веку банкротство многих более мелких товарищей по профессии: «Их могут до времени щадить, как кошка щадит попавшую к ней в лапы мышь, но в конце концов они будут все же съедены». И мы тем охотнее верим этому свидетельству, что подобная же система, как нам достоверно известно, практикуется также некоторыми кожевниками по отношению к мелким сапожникам, так же, как и торговцами хмелем и солодом по отношению к мелким лавочникам.

Относительно другого класса оптовых торговцев, торгующих иностранными и колониальными товарами, мы должны сказать, что, хотя, в зависимости от характера их специальности, их плутни менее многочисленны и разнообразны, так же как и менее яркие, тем не менее и они также носят на себе тот же самый отпечаток. Так как вряд ли можно допустить, чтобы сахар и пряности могли действовать в качестве нравственной или физической антисептики, то мы вправе предположить, что торгующие этими товарами будут, подобно оптовым торговцам, действовать в направлениях наименьшего сопротивления. И на самом деле они точно так же эксплуатируют розничного торговца, как в отношении качества, так и в отношении количества. Описание их товаров не соответствует обыкновенно действительности. Образцы, рассылаемые ими своим покупателям, выдаются часто за первый сорт то, что на самом деле второго сорта. Странствующие агенты должны переносить с места на место эти лживые наметки, и, если розничный торговец не обладает достаточной проницательностью или большим знанием дела, он в большей или меньшей степени подвергается обману. Иногда никакое умение не может его спасти. Существуют такие виды обмана, которые мало-помалу утвердились в качестве торговых обычаев, которым розничный торговец вынужден подчиняться. При покупке сахара, например, его обманывают как в качестве, так и в весе. История этого мошенничества такова. Первоначально торговец скидывал на тару с каждой бочки сахара 14% с веса брутто. Действительный вес дерева, из которого делались бочки, равнялся тогда приблизительно 12% от веса брутто. Таким образом покупатель получал 2% барыша. Постепенно бочки стали делаться толще и тяжелее, так что в настоящее время первоначальные 12% возросли до 17% веса брутто, а так как

14%-ная скидка все еще продолжает быть в силе, то в результате получается то, что розничный торговец теряет 3%, которыми он оплачивает дерево вместо сахара. Что касается качества товара, то здесь обман построен на обычае давать пробу из самой лучшей части бочки. Во время своего путешествия с острова Ямайки или с другого места сахар подвергается некоторой усушке; патока, в большем или меньшем количестве, всегда присутствующая в сахаре, просачивается из верхней части бочки в нижнюю, и эта нижняя часть, известная в технике под названием «подошва», *foots*, окрашивается в более темный цвет и представляет более низкую ценность. Количество такого сахара, заключающееся в бочке, значительно колеблется; и потому розничному торговцу, получившему фальшивую пробу, остается угадать, каково будет это количество, и он часто, к ущербу для себя, предполагает его менее действительных его размеров. Нам остается еще упомянуть о другом, более тонком, виде обмана, который заключается в том, что сахарозаводчики помещают влажный сахарный песок в высушенные бочки. В течение того промежутка времени, который предшествует открытию бочки розничным торговцем, высушенное дерево впитывает в себя избыток влаги, заключающийся в сахаре, отчего последний выигрывает в качестве. Если же торговец вздумает жаловаться на то, что вес бочки превосходит положенную тару, он получит в ответ: «Пришлите бочку, она будет, согласно торговым обычаям, высушена и взвешена».

<...>

Не останавливаясь долго на других видах мошенничества, из которых вышеописанные являются, может быть, наихудшими, мы укажем здесь на другой пункт в действиях торговых домов — составление торговых циркуляров. Многие торговые дома по заведенному обычаю рассылают своим покупателям периодические отчеты о совершенных ими сделках, настоящем положении и видах на будущее. Служа им взаимно в качестве чеков, эти документы не могут вследствие этого уклоняться слишком далеко от истины, но все же вряд ли возможно ожидать от них полной добросовестности. Лица, от которых они исходят, заинтересованные в большинстве случаев в ценах на упоминаемые в их циркулярах товары, при составлении этих отчетов находятся под давлением своих интересов, что отражается

на их видах на будущее. Дальновидные розничные торговцы не упускают этого из виду. Крупный провинциальный бакалейщик, прекрасно знающий свое дело, сказал нам: «У меня правило — бросать торговые циркуляры в огонь». И что такая оценка их достоверности не безосновательна, мы догадываемся из замечаний торговцев, работающих в других отраслях торговли. От двух кожевенных торговцев, одного лондонского и другого из провинции, мы слышали ту же самую жалобу на недостоверность циркуляров, рассылаемых торговыми домами, принадлежащими к той же отрасли торговли. Не то чтобы эти циркуляры заключали прямо ложные сведения, но, упуская некоторые факты, которые должны бы фигурировать в них, они вызывают неверное представление.

Приступая теперь к оценке нравственности фабрикантов, мы ограничимся исключительно одним только классом их, а именно фабрикантами шелковых изделий. В интересах систематического изложения фактов мы считаем наиболее целесообразным проследить за различными перипетиями, переживаемыми шелком от первого появления его в Англии вплоть до того момента, когда он является готовым к услугам потребителя.

Связки сырого шелка, привезенного из-за моря (нередко взвешенного к ущербу покупателя вместе с сором, камешками, китайской медной монетой и т.п.), распределяются посредством аукциона. Покупки происходят через посредство «присяжных маклеров» (sworn brokers), и постановление требует, чтобы последние ограничивались исключительно своею ролью в качестве агентов. Между тем, как нам передавал один из фабрикантов шелка, они сами сплошь и рядом спекулируют на шелке, непосредственно или через подставных лиц, и, будучи лично заинтересованы в ценах, прибегают по своей должности маклера к мошенничеству. Мы передаем это, впрочем, только как ходячее мнение, за достоверность которого не ручаемся.

Купленный таким образом шелк лондонский негодник отправляет в фабричные округа для «трощения», т.е. для приготвления нитки, годной для пряжи. В установившейся форме сделки между торговцем шелком и тростильщиком шелка мы имеем странный прием организованного и признанного обеими сторонами обмана, выросшего, очевидно, как противодействие предшествовавшему обману. Трощение шелка неизбежно

сопровождается некоторой потерей его вследствие присутствия узлов, рваных концов и слишком слабых нитей. Размер этой потери колеблется, в зависимости от сорта шелка, от 3 до 20%, в среднем он равняется 5%. При такой изменчивости процента потери понятно, что недобросовестный тростильщик при отсутствии контроля может скрыть некоторое количество шелка, ссылаясь на то, что значительная потеря в весе вызвана условиями трощения. Отсюда возникла система «работы за свой счет» (*working on cost*), как ее называют, в силу которой тростильщик обязан возратить торговцу то же самое по весу количество шелка, которое он от него получил; значение вышеупомянутого термина, очевидно, выражает то, что, какова бы ни была потеря, она идет на счет тростильщика. Но так как тростить шелк без всякой потери невозможно — по крайней мере 3%, а обыкновенно и 5%, — это условие неизбежно влечет за собой обман, если только можно называть этим именем действие, молчаливо признанное всеми участвующими в деле лицами. Шелк взвешивается, и то, что утрачено при трощении, должно быть возмещено каким-нибудь посторонним веществом. Значительную роль играет при этом мыло. В небольших количествах оно необходимо употребляется для удобства наматывания нитей, и это количество охотно увеличивается. Для этой же цели употребляется и сахар. Тем или другим путем нити пропитываются посторонним веществом в количестве, достаточном для возмещения потери в весе. Такова система, которой обязательно должны подчиняться все тростильщики, и многие широко практикуют ее, маскируя этим свою небрежность или что-нибудь похуже.

Следующая фаза, проходимая шелком, есть окраска. И тут опять обман стал хроническим и обычным явлением. В прежнее время, как мы слышали от одного фабриканта, собственника ленточной фабрики, главным способом обмана было взвешивание шелка вместе с водой. Мотки шелка возвращались из красильни если и не явно влажные, то, во всяком случае, с достаточным содержанием влаги для того, чтобы уравновесить оставленное там количество шелка; приходилось принимать меры, чтобы оградить себя от вызванной такими манипуляциями потери. В последнее время, однако, возникла система обмана, далеко опередившая прежний прием, а именно: употребление тяжелых красок. Ниже мы приводим относящиеся сюда детали,

сообщенные нам одним тростильщиком шелка. По его словам, этот прием вошел в употребление лет 45 тому назад. До этого времени шелк терял значительную часть своего веса в котле. Тончайшее волокно шелка при выходе из прядильного органа шелковичного червя покрыто легким слоем клея, растворимого в кипятке. Поэтому при крашении этот слой, достигающий 25% всего веса шелка, растворяется, и шелк теряет соответственно в весе. Таким образом, первоначально на каждые 16 унций шелка, поступившего в краску, терялось 5 унций; но мало-помалу, вследствие употребления тяжелых красок, достигнут был противоположный результат, — теперь шелк выигрывает при этом в весе, и выигрывает иногда в почти невероятной пропорции. Оказывается, что увеличение в весе шелка при окраске колеблется между 12 и 40 унциями на фунт, т.е. фунт шелка вместо того, чтобы потерять 4 унции, как было первоначально, увеличивается в весе в некоторых случаях, как, например, при применении некоторых черных красок, на целых 24 унции. Вместо того чтобы стать на 25% легче, он стал на 150% тяжелее, заключая в себе 175% постороннего вещества. А так как в этой стадии обработки шелка все сделки с ним происходят на вес, то становится понятным, что возникновение и развитие этой системы представляет историю целого ряда обманов. В настоящее время это стало известным каждому, занимающемуся этим делом, и каждый настороже. Подобно другим видам мошенничества, он, сделавшись обычным и всеобщим, перестал быть выгодным для кого бы то ни было; но он может все же служить для характеристики нравственности участвующих в нем лиц.

Трощенный и окрашенный шелк переходит в руки ткача, и тут мы опять встречаемся с новым видом недобросовестных проделок. Фабриканты узорчатого шелка грешат против своих товарищей, подделывая их рисунки. Законы, которые оказались необходимыми для защиты от этого вида грабежа, доказывают, что он получил широкое распространение и до сей поры еще не вывелся. Один из пострадавших от него передавал нам, что фабриканты и теперь добывают друга у друга рисунки путем подкупа рабочих. В своих сношениях с приказчиками (buyers) некоторые фабриканты также прибегают к обманам: может быть, под влиянием желания возместить лежащий на них тяжелый налог в виде угощений и т.п. товары, которые

были отвергнуты одними закупщиками, показываются другим с искусно разыгранною таинственностью и с уверениями, что эти товары были специально для них сохранены, — прием, на который ловится иногда недостаточно предусмотрительный человек. Вряд ли нужно упоминать, что процесс производства товара имеет свои особые виды обмана. В торговле лентами, например, существует прием, называемый «казовым концом» (topending), который заключается в том, что первые 3 ярда ленты делаются хорошего качества, а остальные (которых не видно, когда лента намотана) дурного или редкого тканья. А затем следует фабрикация различных имитаций, изготовляемых из низших сортов материала, — обманы тканья, могли бы мы их назвать. Этот прием понижения качества товара, не случайный, а твердо установившийся, развивается в поразительных размерах и с поразительною быстротой. Какой-нибудь новый фабрикат, продающийся первоначально по 7 ш. 6 п. за ярд, вытесняется различными подделками до тех пор, пока через 18 месяцев подобие его начинает продаваться по 4 ш. 3 п. за ярд. Встречаются даже более значительные понижения качества и цены — от 10 ш. до 3 и даже 2 ш. за ярд. Это продолжается до тех пор, пока негодность этих поддельных фабрикатов не станет настолько очевидною, что они не находят более сбыта, и тогда возникает реакция, которая ведет или к возвращению первоначального фабриката, или к производству какого-либо нового взамен прежнего.

Из запаса собранных нами заметок о злоупотреблениях в торговле, розничной и оптовой, и в мануфактуре мы должны многие оставить без рассмотрения. Мы не будем здесь распространяться о довольно обычном приеме употребления фальшивых торговых марок или о подделке чужих оберток. Мы должны ограничиться здесь только ссылкой на действия, по-видимому, очень почтенных домов, которые покупают товары, заведомо нечестным образом приобретенные; мы должны воздержаться и от подробного изложения известных установившихся плутней, существующих под личиною величайшей респектабельности, которая, по-видимому, облегчает эти гнусные действия. Те виды обмана, на которых мы здесь останавливались, являются только образцами того, что заняло бы целый том, если бы мы вздумали описывать его во всех его проявлениях.

Упомянем еще о тех видах торговой безнравственности, которые заключают в себе некоторое оправдание, показывая, как незаметно и даже неудержимо люди втягиваются в дурные поступки. Несомненно, что новый вид мошенничества вводится всегда каким-нибудь крайне бессовестным торговцем. Мало-помалу его примеру следуют другие торговцы, обладающие более или менее растяжимым кодексом нравственности. Более нравственные торговцы подвергаются постоянно искушению следовать тем сомнительным приемам, которые практикуются вокруг них. Чем более число неустоявших, чем обычнее становится известная проделка, тем труднее для остальных противостоять искушению. Давление на них конкуренции все более усиливается; они борются с неравными силами, так как лишены одного из источников барыша, открытого для их противников, и в конце концов они вынуждены идти по следам остальных. Возьмем для примера факты, имевшие место в свечном промысле. Как известно, обыкновенные сорта свечей продаются пачками, в которых предполагается по 1 фунту веса. Первоначально номинальный вес соответствовал реальному, но в настоящее время они до известной степени расходятся, причем разница колеблется между $2\frac{1}{2}$ унц., и, следовательно, потеря веса достигает иногда $12\frac{1}{2}\%$. Теперь, если какой-нибудь честный фабрикант предложит розничному торговцу свои свечи, скажем, по 6 ш. за 12 фунт, — «О, — скажут ему, — мы получаем их по 5 ш. 3 п.» — «Но мои, — скажет фабрикант, — полновесные, а ваши — нет». — «А что мне в том? — ответит розничный торговец. — Фунт свечей и есть фунт свечей, мои покупатели покупают их пачками и не заметят разницы между вашими свечами и другими». И добросовестный фабрикант, встречая везде одно и то же рассуждение, вынужден делать как другие или вообще отказаться от своего дела. Теперь возьмем другой пример, известный нам так же, как и предыдущий, со слов фабриканта, которому самому пришлось идти на компромисс. Это фабрикант резиновой ткани, получившей теперь такое широкое применение при изготовлении обуви и т.п. От одной из лондонских фирм, с которой он вел большие дела, он получил недавно образец резиновой ткани, изготовленной какой-то другой фабрикой, в сопровождении следующего вопроса: «Можете ли вы работать такую ткань по столько-то за ярд?» (цена ниже той, по которой

он до сих пор работал); при этом намекалось, что в случае отказа им придется обратиться к другому фабриканту. Разорвав на части присланный образец (который он показал нам), он нашел, что многие нити в нем не шелковые, как бы следовало, а бумажные. Указывая на это присланному образцу, он присовокупил, что, прибавляя вместо шелка бумагу, он также может работать по указанной цене, что с этого времени и делал, ибо убедился, что в противном случае лишится значительной доли своих заказов. Он понимал, кроме того, что если не уступит вначале, то, во всяком случае, будет вынужден сделать это впоследствии, потому что прочие фабриканты резиновой ткани будут наперебой предлагать такую поддельную ткань по соответственно уменьшенной цене, и если он один будет вырабатывать с виду однородный товар по более высокой цене, то потеряет всех своих покупателей. Этого фабриканта мы имеем серьезные основания считать человеком вполне нравственным, благородным и прямым, и, несмотря на то, мы видим, что в этом случае он в некотором смысле вынужден был принять участие в неблагоприятном деле. Факт удивительный, но тем не менее совершенно верный: те, которые не поддаются этой нравственной порче, часто рискуют при этом банкротством, а иногда даже наверняка к нему идут. Мы высказываем это не как очевидное следствие писанных выше условий, но говорим на основании сообщенных нам фактов. Нам рассказывали историю одного торговца сукнами, который, внося совесть в свои торговые дела, отказывался прибегать к обычным в торговле обманам. Он не хотел выдавать свой товар за лучший, чем он был на самом деле, он не хотел уверять, что рисунки самые новейшие, когда они были сделаны в предшествующий сезон, не хотел ручаться за прочность красок, когда был уверен, что они линяют. Воздерживаясь от этих и подобных им неблагоприятных поступков, обычных среди его конкурентов, он вследствие того не находил сбыта для своих товаров, которые его конкуренты продали бы при помощи пущенной в ход лжи; дела его шли так плохо, что он дважды приведен был к банкротству. И, по мнению нашего собеседника, он своим банкротством причинил людям больше зла, чем мог бы причинить, прибегая к обычным торговым проделкам. Из этого видно, как сложен этот вопрос и как трудно в таких случаях определить степень виновности

коммерсанта. Часто — даже почти всегда — ему приходится выбирать одно из двух зол. Если он старается вести свое дело со строгой добросовестностью: продает только доброкачественный товар и только полной мерой, — его конкуренты, работающие в той же отрасли, фальсифицируя товар или употребляя другие уловки, имеют полную возможность подорвать его торговлю. Его покупатели, не оценивая в достаточной мере превосходство его товаров в качественном или количественном отношении и увлеченные кажущейся дешевизной других магазинов, изменяют ему. Рассматривая свои книги, он убеждается в том печальном факте, что постепенно уменьшающихся поступлений вскоре недостаточно будет для погашения его обязательств и содержания все возрастающей семьи. Что ему делать в таком случае? Продолжать свой образ действий, прекратить платежи, причинить тяжелые потери своим кредиторам и вместе с женой и детьми идти с сумой? Или последовать примеру своих конкурентов: прибегать к подобным же проделкам и заманивать покупателей теми же самыми мнимыми выгодами? Последний путь является наименее пагубным не только для него самого, но даже и для других; да и так же точно поступают и люди, пользующиеся всеобщим уважением. Зачем же ему разорять себя и свою семью, стремясь быть лучше своих ближних? И он решается делать так, как делают другие.

Таково положение купца, такова аргументация, при помощи которой он старается себя оправдать, и жестоко было бы произнести над ним строгий приговор. Само собою разумеется, что такое объяснение не везде приложимо. Существуют такие отрасли торговли, в которых конкуренция играет менее активную роль и где, следовательно, употребление предосудительных приемов не может быть оправдано; здесь, действительно, плутни гораздо реже. Затем многим купцам удалось приобрести связи, которые обеспечивают им соответствующие доходы, не вынуждая их прибегать к мелкому надувательству, и потому, поступая так, они не имеют никакого оправдания. Кроме того, существуют люди, руководимые обыкновенно не нуждой, а алчностью, которые вводят в употребление эти плутни и мелкие проделки, и эти люди заслуживают безусловного осуждения как потому, что не имеют оправдания для собственной виновности, так и потому, что вводят в грех других. Оставляя, одна-

ко же, в стороне этот сравнительно незначительный класс промышленников, мы должны будем признать, что большинство последних, занимающихся обычными родами промышленности, требуют большей осмотрительности в порицании, чем это кажется на первый взгляд. Во всех рассмотренных нами случаях мы должны были прийти к одному и тому же заключению, а именно, что тем, которые занимаются обычными отраслями коммерции, представляются только два исхода: принять образ действия своих конкурентов или отказаться от дела. Люди различных профессий и в различных местностях, люди по природе своей порядочные, очевидно страдающие вследствие унижений, которым вынуждены подчиняться, высказали нам одну и ту же печальную уверенность, что строгая честность несовместима с коммерцией. Их общее убеждение, выраженное каждым из них в отдельности, что строго честный человек должен тут неминуемо погибнуть.

Если бы банковские злоупотребления не обсуждались в прошлом году так часто в нашей прессе, мы остановились бы на более основательном разборе этого дела, теперь же мы предполагаем, что относящиеся сюда факты всем известны, и ограничимся поэтому только несколькими к ним комментариями.

По мнению одного из наиболее сведущих в этой области людей, директора акционерных банков редко оказывались виновными в прямом мошенничестве. За исключением нескольких всем известных случаев, общее правило заключается, по-видимому, в том, что директора не были непосредственно заинтересованы в поддержке тех спекуляций, которые оказались в такой степени разорительными для вкладчиков и пайщиков, и сами оказывались обыкновенно в числе наиболее пострадавших. Их вина, хотя и менее гнусная, но все же очень серьезная, заключалась, скорее, в небрежном отношении к своим обязанностям. Не обладая часто надлежащими сведениями, они оперировали над собственностью людей, в большинстве случаев недостаточных. Вместо того, чтобы приложить к распоряжению этой собственностью столько же старания, как если бы это была их личная собственность, многие из них проявили преступную беспечность, отдавая вверенные им капиталы без достаточных гарантий или предоставляя своим товарищам полную свободу действий в этом направлении. В их пользу могут

быть, конечно, приведены многие смягчающие вину обстоятельства. Прежде всего не следует упускать при этом из виду общих недостатков корпоративной совести, вызываемых разделенною ответственностью. К этому нужно прибавить, что если пайщики, руководствуясь исключительно уважением к богатству и внешнему положению, на должности директоров избирают не наиболее опытных, наиболее умных и испытанных в своей честности людей, а наиболее богатых и высокопоставленных, то порицание не может относиться только к избранным таким образом лицам, оно должно быть распространено и на тех, кто их выбирает. И даже более — оно должно быть распространено также и на публику, так как такое неразумное избрание отчасти обуславливается известной склонностью вкладчиков. Но после всех этих оговорок Приходится, однако же, Признать, что эти банковские администраторы, рискующие чужой собственностью, ссужая ею спекулянтов, по своей нравственности мало чем отличаются от этих самых спекулянтов: как эти последние рискуют чужими деньгами в Предприятиях, которые кажутся им выгодными; так поступают и директора, которые предоставляют в их распоряжение чужие капиталы. Если последние скажут в свое оправдание, что снабжали их деньгами в расчете на хорошие проценты, так и первые могут сказать, что рассчитывают на то, что помещенные ими капиталы вернутся со значительным барышом. Во всяком случае, это одно из тех дел, вредные Последствия которых падают не столько на самих действующих лиц, сколько на других, и если в отношении к директору можно сказать, что его действия имеют главным образом в виду интересы его доверителей, тогда как спекулянт руководится только своими личными интересами, то на это можно возразить, что вина директора не уменьшается оттого, что он делает опрометчивый шаг под влиянием сравнительно слабого мотива. На самом деле, если директор ссужает капиталами пайщиков лицо, которому он не доверил бы своих собственных капиталов, он злоупотребляет оказанным ему доверием. Устанавливая градацию преступлений, мы переходим от прямого воровства к воровству косвенному, на одну, две или несколько степеней удаленному от прямого воровства. Хотя человек, спекулирующий чужими деньгами, не может быть обвинен в прямом воровстве, но может быть обвинен в воровстве косвенном: он сознательно

рискует собственностью своего ближнего, с намерением, в случае удачи, присвоить себе барыш, в обратном случае же предоставить ему нести убытки: его преступление заключается в случайном воровстве. Отсюда следует, что лицо, стоящее, подобно директору банка, в положении поверенного и предоставляющее вверенные ему капиталы в руки спекулянтов, должно быть названо соучастником в случайном воровстве.

Если такой строгий приговор должен быть произнесен как относительно тех, которые ссужают вверенные им капиталы спекулянтам, так и по отношению к спекулянтам, которые их занимают, то что же должно сказать о гораздо более виновном классе людей, которые добиваются ссуды путем обмана, которые не только закладывают чужую собственность, когда получают ее, но которые получают ее под ложным предлогом? Ибо как иначе можем мы назвать тех, которые достают деньги при помощи аккомодационных векселей? Если А и Б согласятся между собою один выдать, другой акцентировать вексель на 1000 ф. ст., «полученных сполна», тогда как на самом деле между ними не было ни продажи товара, ни передачи ценностей, то такая сделка является не только воплощенной ложью, но она становится ложью живой и активной. Тот, кто учитывает такой вексель, полагает, что Б, сделавшийся собственником 1000 ф. ст., будет в указанный срок иметь для расчета 1000 ф. ст. или что-либо равноценное. Если бы он знал, что ни у того, ни у другого нет в руках ценностей, потребных для уплаты по векселю, он не учел бы его, — он не дал бы человеку займы денег без обеспечения. Если А представил в банк фальшивую закладную и получил бы под нее ссуду, то совершил бы не большой проступок. В практическом отношении аккомодационный вексель есть подлог. Ошибочно предполагать, что подлог ограничивается составлением документов, вещественно фальшивых, т.е. содержащих подложные подписи или другие знаки; правильно понимаемый подлог обнимает собою также и составление документов нравственно фальшивых. В чем заключается преступность подделки кредитного билета? Не в одной только механической имитации, это только средство для достижения цели и само по себе отнюдь не преступно. Преступление заключается в обмане, во внушении людям ложного убеждения, что данная бумага якобы представляет известную сумму денег, тогда как на самом

деле она не представляет ровно никакой ценности. Нужды нет, достигнут ли этот обман путем копирования букв и изображений, как в поддельном кредитном билете, или в копировании выражений, как в аккомодационном векселе. В обоих случаях предмету, лишенному всякой ценности, придан вид известной ценности, а в этом придании ложного значения и заключается сущность преступления. Правда, что акцептант аккомодационного векселя надеется обыкновенно уплатить по нему в означенный срок. Но если тот, кто считает себя на этом основании правым, вспомнит ту массу случаев, когда, пользуясь фальшивыми документами, люди вступали в обладание деньгами, которые рассчитывали немедленно вернуть и были тем не менее признаны виновными в подлоге, они увидели, что доводы эти недостаточно убедительны. Мы утверждаем поэтому, что составители аккомодационных векселей должны быть признаны подделывателями, но чтобы в том случае, если бы закон подвел их под эту категорию, из этого получилась значительная польза, — этого мы не можем сказать; тут возникает целый ряд вопросов: не будет ли подобное изменение в законодательстве вредно в том отношении, что устранил целую массу безвредных сделок, устраиваемых подэтой фиктивной формой людьми вполне кредитоспособными? Если бы употребление слов «получено сполна» признано было преступлением во всех тех случаях, когда получения в действительности не было, то не привело ли бы подобное постановление просто к возникновению нового рода документов, в которых эти слова были бы упразднены? Явится ли какая-нибудь польза оттого, что векселя будут своим внешним видом удостоверять, представляют ли они действительно реальные ценности или нет? Действительно ли последует ограничение неправильного кредита, когда банкиры и дисконтеры будут наблюдать за тем, чтобы некоторые из векселей, попадающих в их руки от имени спекулянтов или недостаточно солидных купцов, были признаны аккомодационными? Всё это вопросы, которые не подлежат нашему обсуждению; нас занимает здесь только нравственная сторона вопроса.

Однако же для того, чтобы правильно оценить размеры вышеупомянутого зла, мы не должны упускать из виду, что подобного рода мошеннические сделки многочисленны и что каждая из них порождает обыкновенно целый ряд других

подобных же сделок. Первоначальная ложь является обыкновенно матерью дальнейшей лжи, которая, в свою очередь, производит обширное потомство и т.д. в нисходящих коленах в возрастающей прогрессии. Когда А и Б видят, что срок их векселя в 1000 ф. ст. истекает, а предположенные результаты спекуляции еще не осуществились, они, как это часто бывает, находят, что дело вместо выигрыша привело к потере или что срок для реализации их предполагаемых барышей еще не наступил; или, наконец, что барыш, если таковой имеется, не соответствует тому расточительному образу жизни, который они себе между тем усвоили, — словом, они убеждаются, что вексель не может быть ими погашен, и прибегают к выдаче новых векселей для уплаты по первому. Придя к этому решению, они обыкновенно находят более удобным заручиться более крупной суммой, чем нужно для предстоящей им уплаты по обязательствам. И если они не достигнут на этот раз крупного успеха, который позволил бы им поправить свои дела, они снова возвращаются к этому средству. И пока не наступит денежный кризис, такой порядок вещей дает им возможность удерживаться без труда на поверхности; и действительно, внешний вид процветания, который придает им значительное число находящихся в обращении их векселей с почтенными бланковыми надписями, создает такое к ним доверие, которое открывает им еще более широкий кредит. И если, как это иногда бывает, эта процедура достигает таких размеров, что к участию в ней привлекаются люди в различных городах королевства и даже далеко за пределами его, эта видимость становится еще разительнее и весь этот мыльный пузырь достигает еще большего развития. Но так как все подобного рода сделки ведутся на занятый капитал, на который приходится платить проценты, и, с другой стороны, поддержание этого организованного обмана ведет за собой постоянные расходы и даже иногда значительные жертвы; затем, так как сама система по своему характеру непременно ведет к безрассудным спекуляциям, — то все это здание лжи неминуемо должно в конце концов рухнуть и в своем падении разорить или запутать, помимо участников, также и многих других, которые вовсе не участвовали в предприятии.

И это зло не кончается теми непосредственными карами, которые время от времени обрушиваются на честных

коммерсантов. Эта система навлекает на них также и суровые косвенные бедствия. Эти люди, искусственно создающие для себя кредит, являются обыкновенно виновниками понижения цен ниже их нормального уровня, ибо в критические минуты они вынуждены по временам продавать свой товар с убытком, — иначе вся машина остановится — и хотя в каждом подобном деле это является только случайным казусом, тем не менее если принять в соображение число таких случаев в каком-нибудь предприятии, то окажется, что всегда имеются такие лица, которым приходится терпеть убытки, т.е. всегда имеются такие коммерсанты, которые искусственно угнетают рынок. Одним словом, часть капитала, полученного обманным образом от одних купцов, расходуется на то, чтобы понизить барыши других, вовлекая их часто в серьезные затруднения.

Однако, чтобы быть справедливым, наше осуждение не должно ограничиваться этими вампирами коммерции, в известной степени оно должно быть распространено на гораздо более обширный класс людей. Между безденежным фантазером, который добивается возможности орудовать капиталом посредством подлогов, и честным купцом, никогда не заключающим обязательств, превышающих размеры его имущества, лежит целая лестница ступеней. От дел, которые ведут исключительно на чужой, приобретенный посредством подлогов капитал, мы переходим к предприятиям, в которых девять десятых капитала заняты и только одна десятая собственного; за ними следуют такие предприятия, в которых отношение действительного капитала к фиктивному более значительно; следуя таким образом далее и далее, мы дойдем до очень значительной категории людей, которые торгуют только немножко выше своих средств. Достигнуть большего кредита, чем тот, который был бы открыт, если бы положение дел было вполне известно, — вот цель, к которой стремятся все эти люди, и случаи, в которых этот кредит не вполне обеспечен, только степенью отличаются от тех, когда этот кредит совсем не обеспечен. Как многие уже начинают понимать, это преобладание косвенной нечестности немало содействовало нашим коммерческим бедствиям. Говоря вообще, господствующее стремление каждого купца заключается в том, чтобы оперировать не только своим собственным, но также и чужим капиталом, и если А занимает, пользуясь

кредитом В, В, в свою очередь, воспользуется кредитом С, который сам прибегает к кредиту А, — если во всем торговом мире каждый принимает на себя обязательства, которые в состоянии выполнить не иначе как при непосредственной или косвенной помощи других, если каждый может быть спасен от банкротства только благодаря чужой помощи, то крах неминуем. Возмездие за всеобщую недобросовестность может быть отсрочено, но его невозможно избежать.

Средний уровень коммерческой нравственности не мог быть, разумеется, точно представлен на тех немногих страницах, которыми мы здесь располагаем. С одной стороны, мы могли привести только немногочисленные типические примеры тех предосудительных приемов, которыми позорится торговля; с другой — мы были вынуждены ограничиться только такими примерами, оставляя в стороне громадное количество честных дел, среди которых они рассеяны. Между тем при увеличении числа первых приговор был бы суровее; при растворении же их в громадной массе честных поступков приговор был бы смягчен. Приняв в соображение все смягчающие обстоятельства, приходится все же признать, что дело обстоит довольно плохо, причем наше впечатление в этом случае основывается не столько на приведенных выше фактах, сколько на мнении лиц, к которым мы за ними обращались. Во всех этих случаях нам пришлось встретиться с основанным на долголетнем личном опыте убеждением, что промышленность неразрывно связана с нравственной испорченностью. Это убеждение высказывалось то с отвращением, то с безнадежностью, то с озлоблением или насмешкой, сообразно характеру собеседника, но это было общее их убеждение. Оставив в стороне высший класс коммерсантов, а также несколько менее распространенных отраслей промышленности и те исключительные случаи, в которых удалось приобрести полное господство над рынком, общее свидетельство компетентных лиц согласно подтверждает, что успех тут несовместим со строгой честностью. Живя в коммерческом мире, приходится принять его этический кодекс: нельзя давать ни больше, ни меньше, быть более честным или менее честным, чем все те, которые опускаются ниже этого уровня, изгоняются те, которые поднимаются выше его, низводятся до его уровня или разоряются. И как при самозащите цивилизованный

человек, попавший в среду диких, становится сам дикарем, так, по-видимому, и добросовестный коммерсант при самозащите должен стать так же мало добросовестным, как и его конкуренты. Говорили, что закон животного мира гласит: «Пожирайте и будьте пожираемы»; относительно нашего коммерческого мира мы можем перефразировать это изречение так: «Обманывайте и будьте обманываемы». Система жестокой конкуренции, проводимая без соответствующего нравственного контроля, очень близко походит на систему коммерческого каннибализма. Она ставит перед человеком альтернативу: пользуйся тем же оружием, как и твой антагонист, или будь побежден и уничтожен.

Из возникающих, ввиду подобных фактов, вопросов наиболее сложным является следующий: не оправдывается ли таким образом в полной мере предубеждение, которое существовало всегда против промышленности и промышленников? Не объясняется ли обычное неуважение к коммерсантам той низостью, той бесчестностью и нравственной деградацией, которые в них проявляются? На подобные вопросы ожидается быстрый утвердительный ответ, но мы сильно сомневаемся, чтобы такой ответ был действительно основателен. Мы более склонны думать, что эти проступки являются продуктом общих свойств характера, поставленного в специальные условия. Мы не имеем никакого основания предполагать, что промышленный класс по природе своей хуже других классов людей. Люди, взятые наудачу из высшего и низшего класса, поставленные в одинаковые условия, будут, по всей вероятности, действовать одинаково, и коммерческий мир мог бы очень легко ответить на обвинение обвинением. Кто протестует против их недобросовестности? Стряпчий? Но они могут заставить его замолчать, указав на бесчисленные темные пятна на репутации его сословия. Адвокат? Но распространенный среди них обычай братья за неправые дела и принимать плату за работу, которую не исполнили, делает его критику опасной для него самого. Приговор изрекается прессой? Приговоренный может заметить ее представителю, что высказывать положительные суждения о книге, которую не читал, на основании самого беглого просмотра нечестно, равно и восхвалять посредственные произведения приятеля и громить хорошую книгу, написанную врагом; они могут также спросить, не подлежит ли человек, пишущий под диктовку

должностного лица то, чему сам не верит, тяжелому обвинению в желании обмануть общественное мнение? Кроме того, торговцы могли бы сослаться на то, что многие из их неблаговидных поступков навязываются им неразумением их покупателей. Они, и в особенности суконщики, могли бы указать на то, что вечное требование уступки предъявляется без всякого соображения о необходимой доле заработка продавца и что для ограждения себя от подобных попыток нажиться на их потере они вынуждены запрашивать больше, чем намерены взять. Они могут также привести, что затруднения, в которые их часто повергает проволочка в уплате больших сумм со стороны богатых покупателей, сами по себе являются причиной неправильных с их стороны действий, вынуждая их прибегать ко всевозможным средствам, законным и незаконным, для выполнения своих обязательств. И тогда, доказав, что эти люди, обнаруживающие такое неуважение к чужим нравам, не имеют для этого никакого оправдания, купцы могут спросить: одни ли они, могущие привести в свое оправдание необходимость борьбы с беспощадной конкуренцией, заслуживают осуждения и порицания, если обнаруживают подобное же неуважение, но в другой форме. И даже по отношению к блюстителям общественной нравственности членов законодательного собрания они могут воспользоваться аргументом *tu quoque*, спрашивая: действительно ли подкуп служащего у покупателя настолько хуже подкупа избирателя? Или не придется ли поставить на одну доску приобретение голосов путем громких и пустозвонных речей, произносимых перед избирателями и заключающих в себе неискренние заявления, приноровленные ко вкусам последних, с приобретением заказа на товар обманными заверениями относительно его качества? Нет, немногие классы, если только такие вообще существуют, совершенно свободны от упреков в такой же крупной недобросовестности, если только принять в соображение *относительную силу соблазнов*, которые мы выше представили. Понятно, что эти поступки не будут ни так мелочны, ни так грубы там, где обстоятельства не способствуют развитию мелочности или грубости, ни так постоянны и организованны там, где условия жизни данного класса не стремились сделать их обычными. Приняв во внимание все эти обстоятельства, мы должны будем, как нам кажется, прийти

к заключению, что промышленный класс сам по себе не лучше и не хуже других классов и втягивается в свои гнусные обычаи большей частью внешними условиями.

Другой вопрос, естественно здесь возникающий: не возрастает ли вышеописанное зло? Многие из приведенных нами фактов подтверждают как будто бы это предположение, тогда как многие другие явственно доказывают противное. Взвешивая доказательства, мы не должны упускать из виду, что само внимание общества, так усиленно в данный момент обращенное на эти вопросы, само по себе уже является источником заблуждения, так как оно способно возбудить мысль, что сознанные в настоящую минуту злоупотребления являются продуктом новейшего времени, тогда как на самом деле они до сих пор просто не замечались или мало замечались. Так было, несомненно, с преступлениями, с нищетой, с невежеством народной массы, и то же самое, по всей вероятности, произошло с торговой безвестностью. И как высота живых существ в шкале творения может быть измерена степенью развития их самосознания, так до известной степени может определяться и высота положения целых обществ. Более культурные общества отличаются от менее культурных развитием того, что заменяет *социальное самосознание*. В последние годы у нас, к счастью, замечался значительный рост этого социального самосознания, и мы полагаем, что этому обстоятельству должно быть главным образом приписано общее мнение, будто торговая недобросовестность возрастает. Известные нам факты, относящиеся к прошлому промышленности, подтверждают это мнение. В своем «Complete English Tradesman»* Дефо среди других маневров розничных торговцев упоминает об искусственном освещении, которое они устраивали в своих лавках, чтобы придать товару обманчивый вид. Он упоминает о «лавочной риторике», о «потоке лжи», которые лавочники пускают обыкновенно в ход перед своим покупателем, и передает приводимое ими оправдание, что без лжи не проживешь. Он говорит, что в то время вряд ли существовал какой-либо лавочник, который не держал бы у себя ящика с фальшивыми или порченными деньгами, которые он спускал при всяком удобном случае, и что люди, даже наиболее честные, торжествовали, если им удавалось проявить свое искусство в сбыте таких денег.

Эти факты показывают, что коммерческая честность того времени ни в каком случае не превосходила нынешней; и, если мы припомним многочисленные парламентские акты, изданные в прежнее время с целью противодействовать обманам всякого рода, мы придем к тому самому заключению. То же самое может быть смело выведено и на основании общего состояния общества. В то время, когда в течение целого ряда царствований правительство все более и более обесценивало монету, нравственная высота среднего класса вряд ли могла быть значительнее нынешней. Среди поколений, у которых сочувствие к правам ближнего было так слабо, что торговля рабами не только считалась позволительною, но и инициатор ее в награду получал право сделать в своем гербе надпись, напоминающую об этом его подвиге, едва ли возможно было, чтобы люди более уважали права своих сограждан, чем в настоящее время. Время, отличавшееся таким способом отправления правосудия, что в самом Лондоне существовали целые гнезда преступников и на всех больших дорогах хозяйничали целые шайки грабителей, не могло отличаться честной торговой практикой. Тогда как, наоборот, время, видевшее, подобно нашему, столько справедливых социальных реформ, вынужденных у законодательства общественным мнением, вряд ли может оказаться эпохой, когда сделки между индивидами могли сделаться более несправедливыми. Между тем несомненно, что многие из описанных нами проделок — современного происхождения. Значительная их часть установилась в последние тридцать лет, другие зарождаются только теперь. Как примирить это кажущееся противоречие?

Это примирение не особенно трудно. Оно заключается в том факте, что, в то время как *простой* обман сокращался, косвенные виды его возрастали как в разнообразии, так и в числе. Это положение мы считаем вполне согласным с мнением, что уровень коммерческой нравственности в настоящее время повысился. Ибо, если мы оставим в стороне, как не подлежащие нашему рассмотрению, религиозные и легальные наказания и спросим, что составляет высшую нравственную преграду, удерживающую человека от причинения зла своему ближнему, мы должны будем ответить — сочувствие к причиненному ему страданию. Но степень этого сочувствия, обуславливаемая

живостью, с какою мы представляем себе это страдание, изменяется не в зависимости от обстоятельств каждого данного случая. Оно может быть достаточно активно для того, чтобы остановить такого рода действия, которые очевидно должны причинить сильное страдание, и вместе с тем недостаточно активно, чтобы удержать от действий, которые могут причинить только легкое неудовольствие. Достаточно сильное для того, чтобы удержать человека от действия, которое причинит немедленный вред известному ему лицу, оно может быть недостаточно сильно для того, чтобы удержать его от поступка, который причинит отдаленный вред неизвестному ему лицу. Существуют факты, подтверждающие тот вывод, что нравственные преграды изменяются в зависимости от ясности, с какою человек представляет себе дурные последствия своего поступка. Многие, которые не решились бы украсть что-нибудь из чужого кармана, не задумаются прибегнуть к фальсификации своих товаров, и тот, кто никогда не помышлял о сбыте фальшивой монеты, смело принимает участие в проделках акционерных банков. Отсюда следует, как мы говорили, что увеличение числа более сложных и тонких форм обмана вполне совместимо с общим прогрессом нравственности, если только оно сопровождается уменьшением числа более грубых видов обмана.

Но нас интересует здесь не столько вопрос, лучше ли стала торговая нравственность или хуже, сколько — почему она так дурна? Почему мы в нашем нынешнем культурном состоянии обнаруживаем так много черт, напоминающих своекорыстного дикаря? Откуда берется в нас, после неустойчивого внушения нам честных принципов во время нашего воспитания, в дальнейшей жизни так много плутовства? Каким образом вопреки всем увещаниям, которые наш коммерческий класс выслушивает каждое воскресенье в церкви, возобновляет он в ближайший понедельник свои подвиги? Каков тот могущественный фактор, который нейтрализует действие воспитания, законодательства, религии?

Мы не будем останавливаться здесь на разнообразных побочных причинах и сосредоточим все наше внимание на главной причине. В более обширном изложении нужно бы сказать кое-что о легковерии покупателей, которое заставляет их доверять обещаниям невозможных барышей; кое-что и об их

алчности, побуждающей их постоянно стремиться получить больше, чем они имеют право рассчитывать, и потому поощряющей продавцов к обманчивым уступкам. Возрастающая дороговизна жизни, обусловленная увеличением народонаселения, может быть, также приходит сюда в качестве побочной причины, так же как и большая стоимость содержания семьи, вызванная более высокими требованиями воспитания. Но главная причина этих торговых плутней заключается в интенсивности стремления к богатству. И если мы спросим: откуда это интенсивное стремление, — ответ будет: оно вызывается *неразборчивостью уважения, вызываемого к богатству*.

Отличиться от толпы, быть кем-нибудь, приобрести имя, положение — такова честолюбивая мечта всех и каждого, а самое верное и вместе легкое к тому средство — накопление богатства. И этому все научаются очень рано. Уже в школе особенное внимание, оказываемое тому, к кому родители приезжают в собственном экипаже, для всякого очевидно, и бедный мальчик, недостаточность гардероба которого свидетельствует о скудных средствах его семьи, очень скоро запечатлевает в своей душе тот факт, что бедность вызывает презрение. При вступлении в жизнь все те поучения, которые он, может быть, слышал о благородстве самопожертвования, об уважении к гению, удивлении перед высокой честностью, вскоре нейтрализуются собственным опытом, так как поступки людей ясно показывают, что не эти свойства служат им мерилom уважения. Он вскоре замечает, что многочисленные внешние знаки уважения со стороны сограждан легко приобрести, сосредоточивая всю свою энергию на накоплении богатства, тогда как они редко приобретаются другим путем, и что даже в тех немногочисленных случаях, когда они приобретены каким-либо другим путем, они никогда не имеют безусловного характера, но соединяются обыкновенно с более или менее явным желанием покровительствовать. И если молодой человек видит при этом, что приобретение богатства возможно и при его скромных дарованиях, а достижение отличий требует блестящих открытий, героических поступков или высокого совершенства в каком-либо искусстве, требует способностей и чувствований, которыми он не одарен, — нетрудно понять, почему он предается душой и телом коммерции.

Мы не хотим этим сказать, что люди действуют в силу подобных, сознательно выработанных выводов, мы думаем только, что эти выводы являются бессознательно сложившимися продуктами их ежедневных наблюдений. С раннего детства слова и поступки окружающих их людей внушают им мысль, что богатство и почет представляют две стороны одной и той же вещи. Эта мысль, возрастающая и крепнущая вместе с ними, становится с течением времени тем, что мы могли бы назвать органическим убеждением, и это-то органическое убеждение и содействует сосредоточению всей их энергии на наживании денег. Мы утверждаем, что главный стимул составляет не страсть собственно к богатству, а к тому общественному одобрению, к тому положению, которые им создаются. И в этом пункте мы сходимся с мнениями многих интеллигентных коммерсантов, с которыми мы беседовали об этом вопросе. Нельзя поверить, чтобы все нравственные и физиологические жертвы, приносимые людьми, приносились единственно для приобретения тех материальных преимуществ, которые приобретаются посредством денег. Кто согласился бы взвалить на свои плечи лишнее бремя дел с целью приобрести погреб лучших вин единственно для своего собственного употребления? Это делается для того, чтобы иметь возможность угощать своими прекрасными винами гостей и вызывать их восхваления.

Какой купец согласился бы проводить ежедневно лишний час в своей конторе исключительно с целью добиться возможности нанять квартиру в более аристократическом квартале? Если он жертвует интересами здоровья и комфорта, то только для приобретения более высокого внешнего положения, которое ему доставит новый дом. Где тот человек, который проводил бы бессонные ночи, раздумывая над средством увеличить свой доход настолько, чтобы иметь возможность приобрести для жены карету, если бы пользование экипажем было его единственным побуждением? Если он увеличивает таким образом свои заботы, то только ввиду того эффекта, который должен вызвать его экипаж. Эти истины так очевидны, так избиты, что мы не стали бы на них останавливаться, если бы этого не требовал ход нашей аргументации.

Ибо, если стремление к тем почестям, которые даются богатством, есть главный стимул к его приобретению, тогда ока-

зание этих почестей (если они оказываются, как это на самом деле бывает, без особенного разбора) есть главная причина той недобросовестности, в которую вовлекается в силу этих стремлений коммерческий класс. Когда лавочник, ввиду удачного года и благоприятных видов на будущее, уступает убеждениям жены и заменяет старую мебель новой, тратя на это более, чем позволяет его доход, и если вместо ожидаемого барыша следующий год приносит уменьшение дохода и он замечает, что его издержки превышают его доходы, он подпадает сильнейшему искушению ввести какой-либо новейший способ фальсификации или какой-нибудь другой предосудительный маневр. Когда, приобретя известное общественное положение, — крупный негодьянт начинает давать обеды, которые впору давать людям, имеющим в десять раз больше дохода, когда он пускается в другие расточительные затеи и, живя таким образом некоторое время выше своих средств, видит, что не может изменить своего образа жизни, не теряя приобретенного положения, — тогда он особенно склонен предпринимать крупные дела, превосходящие его средства, искать чрезмерного кредита, вступать на путь тех постоянно усложняющихся проделок, которые приводят в конце концов к позорному банкротству. И если изображенная нами картина верна, то не подлежит сомнению и вывод, что слепое преклонение общества перед богатством и выставление его напоказ есть главный источник этих бесконечных в своем разнообразии безнравственных поступков.

Да, зло глубже, чем его полагают: оно широко распространяет свою зловредную силу. Эта гигантская система бесчестности, разветвляющаяся во всевозможные виды обмана, связана с самой основой нашего социального строя, она посылает побег во все дома и находит пищу в наших ежедневных словах и действиях. Во всякой столовой какой-нибудь из ее побегов находит себе почву в разговоре об успешных спекуляциях такого-то, покупке им поместья, его предполагаемом состоянии, о полученном недавно таким-то богатым наследстве или о какой-либо другой удаче, ибо стать предметом такого разговора и есть одна из форм того молчаливого признания, из-за которого борются люди. Всякая гостиная питает это чувство своими разговорами, в которых выражается удивление перед тем, что дорого стоит, перед «богатыми», т.е. дорогими шелками; перед

туалетами, заключающими в себе огромное количество материала, т.е. дорогостоящими; перед кружевами ручной работы, т.е. дорогими; перед бриллиантами, которые редки, т.е. дороги; перед старинным, т.е. дорогим, фарфором. А из массы мелких замечаний и мельчайших поступков, которые в самых разнообразных кругах ежедневно показывают, насколько идея о респектабельности связана с представлением о богатой внешности, это чувство почерпает новую пищу.

И мы все тут виновны. С самоодобрением или нет, но мы все подчиняемся установившимся понятиям. Даже и тот, кто порицает это чувство, не в состоянии обращаться с добродетелью в рубище с такою же любезностью, с какою он отнесся бы к этой же самой добродетели в богатом наряде. Вряд ли найдется человек, который не был бы вежливее со слугою в сюртуке из тонкого сукна, чем со слугою в нанковом кафтане. Хотя за внимание, оказанное богатому выскочке или человеку, нечестным путем разбогатевшему, люди обыкновенно удовлетворяют свою совесть, давая на свободу волю своему презрению к нему, но когда они снова встречаются лицом к лицу с этой прикрывающею внутреннее ничтожество блестящей внешностью, они поступают как и прежде. И до тех пор, пока блестящий порок будет окружаться внешними знаками уважения, в то время как презрение к нему будет тщательно скрываться, он, естественно, должен процветать.

Вот почему люди упорствуют в предосудительных поступках, всеми осуждаемых. Они могут добиться таким путем уважения хотя и неискреннего, но по своим внешним результатам не менее действительного. Что значит для человека, богатство которого приобретено целою жизнью обмана, что его имя служит во всех кругах синонимом плутовства? Не был ли он дважды открыто почтен выбором в мэры своего города (достоверный факт), и не должно ли это обстоятельство вместе с уважением, которое оказывается ему при личных сношениях, уравновесить в его мнении все то, что говорится против него, из чего он даже вряд ли что-нибудь слышит? Если несколько лет спустя после того, как обнаружены были его бесчестные поступки, коммерсант достигает высшего гражданского отличия, какое только может дать государство, причем это делается через посредство лиц, которым эти проступки

хорошо известны, — не является ли такой факт поощрением для него и для всех других жертвовать честностью ради богатства? Если, выслушав проповедь, в которой, не называя имени, изобличались его собственные нечестные проделки, богатый негодяй при выходе из церкви видит, что его соседи низко кланяются ему, — не должно ли это молчаливое одобрение в сильной мере нейтрализовать действие слышанного им в церкви? Несомненно, что для громадного большинства людей внешнее выражение общественного мнения имеет гораздо более важное значение, чем все другие побуждения и ограничения. Пусть тот, кто захочет измерить силу этого фактора, попробует побродить по улицам в костюме мусорщика или носить овощи из дома в дом, он, наверное, придет к заключению, что согласился бы лучше в другой раз совершить какой-нибудь безнравственный поступок, чем погрешить в такой степени против приличий и выносить вызванные этим насмешки. Он лучше поймет тогда, какой мощной уздой является для человека открытое неодобрение общества и каким, наоборот, сильным, превосходящим все другие стимулы, является его одобрение. Уяснив себе вполне эти факты, он убедится, что торговая безнравственность должна быть в значительной мере отнесена на счет безнравственности общественного мнения.

Я не желал бы, чтобы из моих слов сделан был тот вывод, что я осуждаю уважение к богатству, честным путем приобретенному и честно употребляемому. В своей основе и в известной мере чувство, порождающее подобное уважение, почтительно. В раннюю эпоху жизни человечества богатство есть доказательство ума, который всегда заслуживает уважения. Приобрести честным путем богатство предполагает ум, энергию, самообладание, а эти качества вполне достойны того уважения, которое косвенным образом им оказывается в том, что является результатом их деятельности. Затем, и разумное управление, и увеличение наследственного имущества требуют тех же самых качеств и, следовательно, имеют также право на уважение. Кроме того, помимо уважения за эти способности, эти люди, сумевшие приобрести и увеличить свое состояние, заслуживают также похвалы и как благодетели общества. Ибо тот, кто в качестве фабриканта или купца, не причиняя вреда другим, сумел реализовать некоторый капитал, показывает тем самым, что он лучше

исполнил свои функции, нежели те, которые достигли меньшего успеха. При большем искусстве, большем уме или большей экономии он доставил обществу большую сумму выгод, чем его конкуренты. Полученный им более крупный барыш является только долей того излишка производства, который достигнут им при тех же самых расходах, остальные доли распределяются между потребителями. Так же точно и землевладелец, который путем разумного помещения капитала увеличил ценность (т.е. продуктивность) своего поместья, вносит тем самым свою долю в общую сумму национального капитала. И потому честное приобретение и разумное пользование капиталом имеют свои законные права на наше уважение.

Мы осуждаем здесь, как главную причину коммерческой бесчестности, то *неразборчивое* уважение к богатству, уважение, которое имеет очень мало или даже вовсе не считается с основными чертами характера его обладателя. Там, где, как это обыкновенно бывает, уважение относится к внешним знакам, не выражающим собою внутренних достоинств, даже более — прикрывающим внутреннюю негодность, там это чувство становится порочным. Это-то идолопоклонство, которое обоготворяет символ отдельно от того, что он символизирует, и есть корень всего того зла, о котором мы говорили. Выказывая уважение к тем благодетелям общества, которые честным путем разбогатели, они создают благотворный стимул для промышленности, но когда они отдают часть своего уважения тем врагам общества, которые разбогатели бесчестным путем, они поощряют нравственную испорченность и становятся соучастниками во всех этих коммерческих обманах.

Что касается средств для исцеления этого зла, то из всего сказанного очевидно, что они могут заключаться единственно в улучшении общественного мнения. Если то отвращение, которое обнаруживается теперь обществом по отношению к прямому воровству, будет проявляться по отношению ко всем видам косвенного воровства, тогда только исчезнут эти пороки промышленного мира. Когда не только обвешивающий и фальсифицирующий свой товар торговец, но также и спекулирующий свыше своих средств купец, и составляющий неправильный отчет банкир, и превышающий свои полномочия железно-дорожник будут вызывать к себе такое же отношение, как

и карманный вор, тогда только торговая нравственность станет тем, чем должна быть.

Но мы мало надеемся на быстрое улучшение общественного мнения. Настоящее положение вещей представляет, по-видимому, в значительной степени неизбежный спутник современного фазиса прогресса. Во всем цивилизованном мире, особенно в Англии и более всего в Америке, социальная деятельность почти всецело расходуется на материальное развитие. Подчинить себе природу и довести продуктивную и распределительную силы до высшей степени их совершенства — такова задача нашего века и, по-видимому, останется задачей и для многих будущих веков. И как в те времена, когда национальная оборона и завоевания были главной целью жизни, военное искусство ставилось выше всего остального, так и теперь, когда главную цель жизни составляет промышленное развитие, уважение самым открытым образом отдается тому, что способно содействовать вообще промышленному развитию. Английская нация заражена в настоящее время тем, что мы назвали бы предрасположением к коммерции, и незаконное уважение к богатству является, по-видимому, только сопутствующим ему фактором, соотношение их еще очевиднее в обоготворении американцами «всесильного доллара». И пока будет длиться это болезненное предрасположение с сопутствующим ему мерилом достоинства, описанное нами зло вряд ли может быть совершенно исцелено. Вряд ли можно надеяться, чтобы люди научились отличать богатство, представляющее результат личного превосходства, и заслуги перед обществом из других его видов. Символы, внешность повсюду овладели вниманием массы и будут впредь производить то же действие. Даже и культурные люди, оберегающие себя от влияния ассоциированных идей и стремящиеся различать реальное от кажущегося, не могут уберечься от влияния ходячего мнения. Нам остается пока довольствоваться надеждой на медленное улучшение в будущем.

Кое-что может быть тем не менее сделано и в настоящее время путем энергичного протеста против поклонения успеху; и это было бы необходимо сделать ввиду значительного развития этого порочного чувства. Когда один из наших выдающихся моралистов с возрастающей горячностью проповедает нам доктрину, по которой сила все оправдывает; когда нам говорят,

что эгоизм, тревожимый угрызениями совести, есть явление жалкое, презренное, тогда как эгоизм, достаточно глубокий для того, чтобы смело топтать все, что становится на его пути к беззастенчивому достижению поставленных им себе целей, есть явление, достойное удивления; когда мы видим, что за сильной властью, каков бы ни был ее характер и направление, признается право на наше поклонение, — приходится опасаться, что господствующее уважение к успеху, вместе с поощряемой им коммерческой безнравственностью, скорее усилится, нежели ослабеет. Не этот выродившийся в поклонение животным культ героев сделает общество более нравственным, но нечто ему диаметрально противоположное — строгое критическое отношение к средствам, которыми создан успех, и уважение к более высоким и менее своекорыстным видам деятельности.

К счастью, в последнее время начали обнаруживаться признаки этого более нравственного направления общественного мнения. Теперь получила молчаливое признание доктрина, что богатый не имеет права проводить, как бывало в старину, свою жизнь в самоуслаждении, но обязан посвящать ее служению на пользу общества. Нравственное возвышение народа с каждым годом привлекает большую долю внимания высших классов; из года в год увеличивается энергия, с какою они посвящают свои силы содействию материальному и умственному прогрессу масс. И те из их среды, которые не принимают участия в этих благородных функциях, начинают вызывать к себе в большей или меньшей степени презрение даже своего собственного круга. Этот последний наиболее отрадный факт в истории человечества — это новое и лучшее рыцарство — обещает создать более высокий критерий благородства и исцелить таким образом много зла, и между прочими также и то, которое составляло здесь предмет нашего обсуждения. Если приобретенное незаконными путями богатство будет неизбежно сопряжено с презрением, если честно приобретенному богатству будет воздаваться только законно ему принадлежащая доля нашего уважения, тогда как все оно в полной мере будет принадлежать тем, которые посвящают свои силы и свои средства более высоким целям, — тогда, несомненно, вместе с другими сопутствующими благами мы достигнем также и улучшения торговой нравственности.

VI | ЭТИКА ТЮРЕМ¹

Две противоположные теории нравственности, как и многие другие противоположные теории, обе правы, обе и не правы. Школа априори имеет свои истины, школа апостериори — свои; и для надлежащего руководства в поведении должно признавать обе. С одной стороны, утверждается, что существует абсолютное мерило справедливости; и относительно известного класса действий это утверждается справедливо. Из основных законов жизни и условий общественного существования можно вывести некоторые неотразимые ограничения индивидуальных действий, ограничения, которые существенно необходимы для совершенства жизни, как индивидуальной, так и социальной, или — другими словами — существенно необходимы для величайшего возможного счастья. И эти ограничения, неизбежно следующие из неоспоримых основных начал, столь же глубокие, как и сама природа жизни, составляют то, что мы можем назвать абсолютной нравственностью. С другой стороны, утверждают, и в известном смысле справедливо утверждают, что в применении к людям и обществу, как они есть, требования абсолютной нравственности невыполнимы. Контроль закона, одинаково налагающий страдание и на тех, кто обуздывается, и на тех, кто платит издержки обуздывания, не есть абсолютно нравственная вещь, как доказывается самим фактом, что абсолютная нравственность есть регулирование поведения таким образом, чтобы страдание было не нужно. Следовательно, если признать, что контроль закона в настоящее время необходим, надо признать и то, что эти априористические правила не могут быть немедленно проведены. А отсюда следует, что мы должны применять свои законы и действия к существующему характеру человечества, что мы должны принимать в соображение добро или зло, происходящее от того или другого устройства, и таким образом апостериорным путем составить себе кодекс, приспособленный к настоящему времени. Короче сказать, мы должны возвратиться к теории целесообразности (*expediency*). Так как

¹ Впервые напечатано в «British Quarterly Review» за июль 1860 г.

каждое из этих положений имеет свое основание, то было бы крайне ошибочно принимать одно из них и исключать другое. Они должны были бы взаимно вытеснять смысл один другого. Прогрессирующая цивилизация, естественно состоящая из компромиссов между старым и новым, требует непрерывных приспособлений компромисса между идеальным и практическим в общественных учреждениях; а для этого должны иметься в виду оба элемента компромисса. Если правда, что чистая справедливость требует порядка вещей, который был бы слишком хорош для людей, как они есть, то правда и то, что одна практическая применимость не имеет стремления установить порядок, в чем-нибудь лучший того, какой есть. Между тем как абсолютная нравственность теми преградами, которые удерживают ее от утопических нелепостей, обязана практической применимости, сама практическая применимость всеми своими побуждениями к усовершенствованию обязана абсолютной нравственности. Соглашаясь, что для нас главный интерес заключается в определении относительно справедливого, мы все-таки необходимо должны рассмотреть абсолютно справедливое, потому что одно понятие предполагает другое. Или — говоря несколько иначе — если мы всегда должны делать то, что всего лучше для настоящего времени, то мы все-таки должны постоянно иметь в виду абстрактно лучшее так, чтобы перемены, которые будут делаться, стремились к нему, а не от него. Так как чистая справедливость недостижима и может еще долго оставаться недостижимой, то мы должны руководиться компасом, который говорил бы нам, где она находится; иначе мы рискуем заблудиться в совершенно противоположном направлении. Примеры, представленные новейшей историей нашей, служат, кажется, очень убедительным доказательством, как важно соединять соображения отвлеченной применимости с соображениями конкретной применимости, — как велики были бы избегнутое зло и достигнутые выгоды, если б нравственность апостериорная просвещалась нравственностью априористической. Возьмем прежде всего вопрос о свободной торговле. До последнего времени все нации постоянно старались искусственно затруднить свою торговлю с другими нациями. В прошедшие столетия такой порядок мог еще быть оправдан как порядок, обеспечивавший безопасность. Не говоря уже о том, что законодатели имели свои

побуждения поощрять промышленную независимость, можно сказать, что во времена, когда национальные распри случались беспрестанно, никакой нации не была выгодна большая зависимость в предметах первой необходимости от другой нации. Но хотя и есть основание утверждать, что ограничения торговли были когда-то полезны, нельзя утверждать, чтобы это оправдывало наши хлебные законы; нельзя утверждать, что взыскания и запрещения, опутывавшие до последнего времени нашу торговлю, были необходимы для предупреждения промышленного обесценивания в случае войны. Покровительство во всех его формах было установлено и поддерживаемо по другим основаниям практической применимости; и причины, по которым началась оппозиция этому покровительству и по которым оно было отменено, были также причины практической применимости. Обе враждебные партии выставляли вычисления непосредственных и отдаленных результатов, и решение заключалось в подведении баланса этим разнообразным предугадываемым результатам. И каково же было заключение, которое оправдывали последствия и к которому пришли после стольких веков пагубного законодательства и после стольких лет трудной борьбы? Оно было как раз то, которому ясно учит отвлеченная справедливость. Ход вещей в нравственном мире оказывается совершенно тождественным с ходом вещей в политическом мире. Возможность пользоваться способностями, прекращение которой ведет к смерти, свободное стремление к целям своего желания, без которого жизнь не может быть полной, независимость действия, требовать которой природа побуждает каждого индивида и которой справедливость не полагает других границ, кроме такой же независимости действий индивидов, обнимают, между прочим, и свободу обмена. Правительственная власть, которая, защищая граждан от убийств, грабежа, нападения и других опасностей, показывает, что существенная ее обязанность состоит в том, чтобы обеспечивать каждому свободное употребление его способностей в определенных границах, обязана, при надлежащем выполнении своей роли, поддерживать и свободу обмена и не может стеснять ее, не нарушая своего долга и не становясь притеснителем вместо защитника. Таким образом, абсолютная нравственность постоянно указывала бы направление законодательству. Определяемые только

тем соображением, чтобы в смутные времена эти априористические принципы не проводились так, чтобы ставить в опасность народную жизнь, через остановку доставления предметов жизненной необходимости, они должны бы были весьма быстро вести государственных людей к нормальным условиям. Мы избавились бы от тысячи ненужных стеснений. Стеснения, которые оказались бы нужными, уничтожались бы, как скоро надобность в них миновала. Громадная масса страданий была бы отвращена. Благосостояние, которым мы пользуемся теперь, началось бы гораздо ранее. И мы были бы гораздо сильнее, богаче, счастливее и нравственнее.

Другой пример представляет политика железных дорог. Вследствие пренебрежения простого принципа, на который указывает отвлеченная справедливость, сделаны огромные растраты национального капитала и причинены громадные бедствия. Всякий, кто заключает договор, хотя и обязан непременно сделать то, что обозначено в этом договоре, вовсе не обязывается делать какую-нибудь другую вещь, которой не указывается и не подразумевается в условиях. Это положение выводится из основного принципа справедливости, который, как указано выше, вытекает из законов жизни индивидуальной и социальной, и до такой степени оправдывается совокупным опытом человечества, что стало у всех наций одним из общепринятых учений гражданского закона. При спорах о договорах вопрос всегда состоит в том, обязывают ли выражения договора ту или другую из сторон делать то-то или то-то; при этом считается решенным, что ни одну из сторон нельзя принудить сделать больше, нежели сказано или подразумевается в договоре. И этот безусловно очевидный принцип был совершенно обойден в законодательстве по части железных дорог. Акционер, взявший на себя вместе с другими постройку линий железной дороги от одного места до другого, обязывается внести на исполнение предприятия известную сумму и затем подчиниться мнению большинства своих товарищей-акционеров во всех вопросах, относящихся к исполнению проекта. Но дальше этого его обязанности не идут. От него не требуется повиновения большинству голосов в таких вещах, которые не поименованы в учредительном акте общества. Хотя он и принял на себя обязательство участвовать в постройке обозначенных в договоре

дорог, это обязательство не простирается на те, не обозначенные в договоре, дороги, которые пожелали бы строить его товарищи по акциям; и голос большинства не может принудить его к участию в постройке такой, не обозначенной в договоре, дороги. Но это различие совершенно упускается у нас из виду. Акционеры одного предприятия постоянно вовлекаются в разные другие предприятия, затеваемые впоследствии их сотоварищами-акционерами, и собственность их помимо их воли затрачивается на выполнение разорительных для них проектов. Договор, заключенный на одну известную дорогу, в каждом случае истолковывается таким образом, как будто бы он заключен на постройку нескольких дорог. Такое неправильное толкование давалось договору не только директорами компаний и безрассудно принималось акционерами, но и законодатели так мало понимали свои обязанности, что постоянно утверждали его. Эта простая причина породила большую часть крушений наших железнодорожных компаний. Ненормальная легкость приобретения капитала была причиной необдуманного соперничества в постройках новых линий и ветвей и в проектировании совершенно ненужных параллельных линий, принимавшихся только затем, чтобы вызвать покупку их теми компаниями, интересам которых угрожали новые линии. Если б каждый новый проект выполнялся независимым обществом акционеров, без всякой гарантии со стороны других компаний, без капитала, собираемого с помощью облигаций, — разорительных трат, которые, мы видели, почти вовсе не делались бы, т.е. если б компании учреждались согласно с требованиями чистой справедливости, сотни миллионов денег были бы спасены и тысячи семейств избавлены от разорения.

Мы думаем, что эти случаи достаточно оправдывают наше положение. Общие причины, внушающие нам мысль, что нравственность, полученная непосредственным опытом, должна, чтобы сделаться верным руководителем, просвещаться правилами нравственности отвлеченной, — сильно подкрепляются примерами тех громадных ошибок, которые делаются вследствие игнорирования велений отвлеченной нравственности. Сложных оценок относительной применимости невозможно сделать без помощи указаний, которые достигаются простыми выводами абсолютной применимости.

С этой точки зрения предполагаем мы изучить содержание преступников. И прежде всего укажем на те временные требования, которые мешали до сих пор, а отчасти и теперь еще мешают, установлению вполне справедливой системы.

Если общий уровень народного характера делает необходимым строгую форму правления, то он делает необходимым и строгий уголовный кодекс. Учреждения определяются, в конце концов, характером граждан, живущих под управлением этих учреждений; и если граждане слишком живоотно-импульсивны или слишком своекорыстны для свободных учреждений и достаточно бессовестны, чтобы доставлять нужный запас агентов для поддержания тиранических учреждений, — они непременно окажутся гражданами, которые будут выносить строгие формы наказания, а вероятно, и нуждаться в них. Один и тот же духовный недостаток лежит в основе обоих этих результатов. Политическую свободу порождает и поддерживает такой характер, который управляется отдаленными соображениями, не поддается непосредственным искушениям, а предусматривает последствия, могущие произойти в будущем. Достаточно вспомнить, что сами мы постоянно сопротивляемся политическим насилиям не потому, что они наносили нам какой-нибудь непосредственный вред, а потому, что они могли бы нанести нам вред впоследствии, — достаточно вспомнить это, чтобы убедиться, что сохранение свободы предполагает привычку взвешивать отдаленные последствия и руководиться главным образом ими. С другой стороны, очевидно, что люди, которые живут настоящим, частным, конкретным и которые не могут ясно представить себе случайностей будущего, будут мало придавать значения правам гражданства, не доставляющим им ничего, кроме средств удалять неизвестное еще зло, могущее явиться в отдаленном будущем и путями непредвидимыми. Не очевидно ли, что столь противоположные настроения духа будут требовать и различного рода наказаний за дурные поступки? Чтобы сдерживать вторых, наказания должны быть строги, скоры и настолько определены, чтобы производить резкое впечатление, между тем как первых будут устрашать наказания менее определенные, менее сильные и менее непосредственные. Для более цивилизованных может быть достаточно продолжительной однообразной уголовной дисциплины;

между тем как для менее цивилизованных должны существовать телесные наказания и смерть. Таким образом, мы утверждаем не только то, что общественное состояние, которое порождает суровую форму правления, необходимо порождает суровые взыскания, но и то, что при подобном состоянии суровые взыскания становятся необходимы. Есть факты, непосредственно подтверждающие это. Например, в одном из итальянских государств, где, по желанию умиравшей герцогини, уничтожена была смертная казнь, число убийств возросло так сильно, что необходимо было снова восстановить эту казнь.

Кроме того факта, что на низких ступенях цивилизации кровавый уголовный кодекс составляет вместе и естественный продукт времени, и необходимое для того же времени обуздывающее средство, надо еще заметить, что более справедливый и гуманный кодекс не мог бы быть приложен к жизни по недостатку соответственных исполнителей закона. Для того чтобы применять преступникам не короткие и крутые меры, а такие, на которые указывает абстрактная справедливость, требуется деятельность слишком сложная для низкого состояния общества и класс чиновников гораздо более почтенный, нежели тот, какой может найтись у граждан, живущих в таком состоянии. Справедливое обращение с преступниками было бы в особенности затруднительно там, где сумма преступлений слишком велика. Сама многочисленность преступников поставила бы в невозможность вести дело. При таких обстоятельствах необходим какой-нибудь более простой способ очищения общества от вредных его членов.

Таким образом, неприменимость абсолютно справедливой уголовной системы к варварским и полуварварским народам столь же очевидна, по нашему мнению, как и неприменимость к ним абсолютно справедливой формы правления. И как для некоторых наций получает оправдание деспотизм, точно так же получает оправдание и беспощадно строгий уголовный кодекс. В обоих случаях объяснение состоит в том, что учреждение хорошо настолько, насколько позволяет общий уровень характера народа; что менее строгие учреждения породили бы неурядицу в обществе, а затем и дальнейшие, более тяжелые, бедствия. Как ни вреден деспотизм, но там, где единственной его альтернативой представляется анархия, мы должны признать, что, так как

анархия принесла бы больше вреда, чем деспотизм, он оправдывается обстоятельствами. Как ни несправедливо, абстрактно, отсечение головы, виселица и костры грубых времен, но если можно доказать, что без этих крайних мер не могла бы быть обеспечена общественная безопасность, что при отсутствии их увеличение числа преступлений приносило бы большую сумму зла и притом для мирных членов общества, то нравственность оправдывала бы эту строгость. И в том и в другом случае должно сказать, принимая за мерило относительное количество порожденных и устранимых бедствий, что ход вещей был *наименее несправедлив*; а сказать, что он был наименее несправедлив, значит сказать, что он был *относительно справедлив*.

Но, приняв таким образом все, что может быть приведено в защиту драконовских законов, мы переходим к установлению той соотносительной истины, которая упускается из виду подобной защитой. Вполне признавая бедствия, которые могут произойти от преждевременного введения уголовной системы, основанной на требованиях чистой справедливости, мы не должны оставлять без внимания и тех зол, которые породило полное пренебрежение указаниями чистой справедливости. Заметим, как одностороннее стремление к непосредственной применимости страшно задержало улучшения, которые требовались время от времени.

Какая громадная масса страданий и деморализации причинена была, например, без всякой нужды строгостью наших законов прошедшего столетия. Множество беспощадных наказаний, которые *Рамилъи* и другие успели уничтожить, так же мало оправдывалось общественной необходимостью, как и отвлеченной нравственностью. Опыт доказал с тех пор, что для безопасности собственности вовсе не требуется вешать людей за воровство. А что такая мера противоречит чистой справедливости, об этом едва ли нужно говорить. Очевидно, что, если б соображения относительной применимости определялись соображениями абсолютной применимости, эта суровость законов, со множеством сопровождавших ее бедствий, прекратилась бы гораздо раньше, нежели было теперь.

Далее, страшная порочность, деморализация и преступность, порожденные жестокостью обращения с ссыльными, были бы невозможны, если б наши власти одинаково приняли

в соображение как то, что казалось бы справедливым, так и то, что казалось бы политичным. Ссылные никогда бы не могли подвергнуться скандальным жестокостям, которые были открыты парламентской комиссией в 1848 г. Мы не имели бы людей, осужденных на кандалы за один только дерзкий взгляд. Мы не знали бы таких жестокостей, как, например, «заключение в кандалах с утра до ночи в клетках, которые вмещают в себя от двадцати до двадцати восьми человек и в которых эти люди *не могут ни стоять, ни сидеть все в одно время иначе, как согнув ноги под прямыми углами к телу*». Люди никогда не принуждались бы к таким мучениям, которые способны были доводить до отчаяния, бешенства и новых преступлений, к таким мучениям, которые «отнимали у человека человеческое сердце и давали ему сердце животного», как выразился перед казнью один из этих законом порожденных преступников. Нам не приходилось бы слышать слова главного судьи Австралии, что содержание преступников доводило их *«до таких страданий, которые заставляли многих желать смерти и побуждали искать ее даже в самых ужасных ее видах»*. Сэру Артуру не пришлось бы свидетельствовать, что на Ван-Дименовой земле* ссылные нарочно совершают убийства, дабы их *«отсылали в Габарт-Таун к суду, хотя и знают, что их, обычным порядком, казнят через две недели после прибытия»*. У судьи Бортонна не показались бы на глазах слезы сострадания при чтении приговора одному из таких натерпевшихся преступников. Короче говоря, если б при определении тюремной дисциплины к соображениям непосредственной применимости присоединялась и отвлеченная справедливость, мы не только предупредили бы несказанные страдания, унижения и смертность, но спасли бы людей, на которых лежит ответственность за совершающиеся теперь жестокости, от обвинения в преступлении, которое теперь неминуемо падает на них.

Вероятно, далеко не столь единодушное согласие встретит наше мнение, что указание абсолютной нравственности должно предупредить и такие системы, какая принята в Пентонвилле**. До какой степени отвлеченная справедливость отвергает системы молчаливого и одиночного заключения — это мы увидим ниже. Теперь же мы будем защищать только то положение, что эти системы дурны. Может быть, и справедливо, что из числа заключенных по этой системе процент совершивших

преступление во второй раз очень незначителен, но, принимая в соображение неверность отрицательной статистики, это несколько не доказывает, что заключенные, не совершившие вторичного преступления, исправились. Впрочем, вопрос не в том только, сколько заключенных предупреждается от новых преступлений. Он состоит также и в том, как велик процент людей, сделавшихся после заключения такими членами общества, которые способны сами заботиться о себе. Известно, что в этом случае продолжительное лишение всякого общения с людьми нередко ведет заключенных к болезням или потере рассудка; а в тех, которые остаются здоровыми, тяжелое влияние этого лишения неизбежно производит серьезное общее ослабление как тела, так и ума¹. По нашему мнению, большую долю кажущегося успеха надо приписать этому общему ослаблению, которое хотя и делает человека неспособным к преступлению, но вместе с тем делает его неспособным и к работе. Наше возражение против этой системы всегда состояло в том, что действие ее на нравственную природу человека совершенно противоположно тому, какое требуется. Преступление антисоциально; побуждением к нему служат своекорыстные чувства; сдерживают же его чувства социальные. Естественным возбудителем к хорошему образу действий с другими и естественным противником дурного образа действий служит сочувствие: из сочувствия развивается как чувство благосклонности, так и чувство справедливости, удерживающие нас от оскорбления других. Сочувствие же это, делающее существование общества возможным, развивается общественными сношениями. Привычка разделять удовольствия других усиливает эту способность, а все, что препятствует участию в удовольствиях ближнего, ослабляет ее. На этом основании можно положительно сказать, что, подвергая заключенных одиночеству, т.е. запрещая им всякий обмен чувств, мы неизбежно ослабляем существующие в них сочувствия и таким образом скорее уменьшаем, нежели

¹ М-р *Байллы Кокрен* пишет: «Чиновники Дартмурской тюрьмы говорили мне, что заключенные, прибывающие сюда хотя бы после годовичного только заключения в Пентонвилле, отличаются от других по своему жалкому потупленному взгляду. В большей части случаев мозг их расстроен, и они не способны удовлетворительно отвечать даже на самые простые вопросы».

увеличиваем, нравственные препятствия к совершению преступления. Априористическое убеждение, которого мы давно придерживаемся, подтверждается фактами. Капитан *Мэкночи* утверждает на основании наблюдений своих, что долговременное одиночество порождает в людях такой эгоизм и так ослабляет сочувственные склонности, что даже хорошо настроенных людей делает совершенно неспособными переносить по возвращении домой ничтожные испытания домашней жизни. Таким образом, есть совершенно достаточные основания, чтобы предполагать, что постоянное безмолвие и уединение, подавляя ум и подрывая энергию, не могут вести к исправлению человека.

«Но чем же может быть доказано, — спросит читатель, — что эти неблагоприятные карательные системы несправедливы? Где тот метод, который дает нам возможность сказать, какое наказание оправдывается абсолютной нравственностью и какое нет?» Попытаемся ответить на эти вопросы.

Покуда каждый из граждан стремится к целям своих желаний, не стесняя такой же свободы остальных граждан, общество не имеет права мешать ему. Покуда он довольствуется выгодами, которыми обязан своей собственной энергии, не имеет притязаний воспользоваться выгодами, какие приобрели для себя другие или какие дала им природа, никакое взыскание с него не может быть справедливым. Но как скоро он нарушил эти границы убийством, воровством, насилием или каким-либо иным способом, требование как абсолютной, так и относительной применимости уполномочивают общество поставить ему преграды. Об относительной применимости такого образа действий говорить нет нужды: она доказывается опытом социальной жизни. Абсолютная же применимость не так очевидна, и мы стараемся показать, что она выводится из конечных законов жизни.

Всякая жизнь зависит от сохранения известных естественных отношений между действиями и их результатами. Если дыхание доставляет в кровь не кислород, как должно быть при нормальном порядке вещей, а угольную кислоту, организм немедленно умирает. Если за принятием пищи не следует обычных органических явлений — сокращения желудка, выделения желудочного сока и пр., то является несварение желудка и упадок сил. Если движения членов недостаточно деятельны, чтобы возбуждать сердце к быстрейшему доставлению

крови, или если поток выталкиваемой сердцем крови задерживается в своем ходе аневризмом, является быстрое изнеможение, жизненность быстро снижается. Как в этом, так и во множестве подобных случаев мы видим, что жизнь тела зависит от сохранения установленной связи между физиологическими причинами и их следствиями. В процессах интеллектуальных происходит то же самое. Если известные впечатления, воспринятые чувствами, не порождают соответственных мышечных отправлений, если мозг отуманен вином, если сознание занято чем-нибудь посторонним или если восприимчивость по природе тупа, — движения тела управляются дурно и организм может подвергнуться весьма бедственным случайностям. Там, где порвана естественная связь между впечатлениями ума и соответственными движениями тела, как у параличных больных например, жизнь оказывается в значительной степени испорченною. Если, как, например, при сумасшествии, впечатление, которое при обыкновенном порядке мыслей должно бы было произвести известные убеждения, производит убеждения противоположного рода, — то поведение человека становится хаотическим, и жизнь подвергается опасности или прерывается. То же бывает и в более сложных явлениях. Как в этих случаях мы находим, что здоровая физическая и умственная жизнь предполагает непрерывность установленного ряда причин и следствий в жизненной деятельности, так и в нравственной сфере оказывается то же самое. Наше положение относительно внешней природы и людей обуславливается отношениями причины к следствию, от поддержания которых, как и от поддержания упомянутых выше внутренних отношений, зависит полнота жизни. Поведение того или другого рода всегда стремится производить приятные или неприятные результаты, действие — произвести соответственное противодействие; и благополучие каждого человека требует, чтобы эта естественная связь не нарушалась. Говоря более специфически, мы видим, что во всей природе бездействие порождает нужду. Существует определенная связь между деятельностью и удовлетворением известных настоятельных потребностей. Если эта связь нарушена, если тело и ум совершили какой-нибудь труд и произведением этого труда воспользовался кто-нибудь другой, то одно из условий полной жизни не выполнено. Ограбленный терпит физически,

потому что лишается средств пополнить потерю, которую понес его организм во время труда; если же грабеж повторяется постоянно, ему приходится умирать. Там, где все люди бесчестны, является рефлексивное зло. Если в обществе постоянно нарушается естественное отношение между трудом и его производением, то этим не только непосредственно подрывается жизнь многих из членов такого общества, но, вследствие уничтожения побуждений к труду и вследствие развивающейся от этого бедности, косвенным образом подрывается жизнь всех его членов вообще. Поэтому требовать, чтобы естественное отношение между трудом и его результатами не нарушалось, — значит просто требовать, чтобы уважались законы жизни. То, что мы называем правом собственности, есть просто вывод из известных необходимых условий полного существования: это есть не что иное, как сформулированное признание естественных отношений между тратой силы и необходимыми для ее поддержания предметами, которые получают взамен потраченной силы, — признание отношений, которыми невозможно пренебречь вполне, не причиняя смерти. И все прочие признаваемые за индивидуальные права суть косвенные выводы того же рода; они точно так же указывают на известные отношения между людьми, как на условия, без которых не может сохраняться полное соответствие между внутренними и внешними действиями, составляющее жизнь. Права эти вытекают не из законодательства человеческого, как нелепо утверждают некоторые моралисты и большинство юристов, — они не имеют также исключительным основанием своим индуктивных заключений непосредственной применимости, как столь же нелепо утверждали другие. Права эти выводятся из установленной связи между нашими действиями и их результатами. Как верно то, что есть условия, которые должны быть выполнены прежде, чем могла бы появиться жизнь, так же верно и то, что есть условия, которые должны быть выполнены прежде, чем известные члены общества получают возможность пользоваться полной жизнью; и то, что мы называем требованиями справедливости, есть только ответ на важнейшие из таких условий.

Итак, если жизнь составляет нашу законную цель и если под абсолютной нравственностью понимается (как оно и есть) соответствие с законами полной жизни, то эта нравственность

оправдывает стеснение таких людей, которые стремятся вывести своих сограждан из этого соответствия. Оправдание такого стеснения состоит в том, что жизнь возможна только при известных условиях; что она не может быть совершенной, если не сохраняется ненарушимость этих условий; и что если мы имеем право на жизнь, то имеем право и удалять всякого, кто нарушает эти условия для нас или принуждает нас нарушать их.

Если таково основание нашего права принимать принудительные меры против преступников, то естественно является вопрос: каковы законные границы принуждения? Дает ли нам этот источник право на известные требования от преступника? и есть ли какие-нибудь отсюда же истекающие границы таких требований? На все эти вопросы ответы получают утвердительные.

Во-первых, мы находим, что имеем полное право требовать вознаграждения или возврата того, что утратили. Так как сущность абсолютной нравственности заключается в соответствии с законами жизни, а общественные порядки, требуемые абсолютной нравственностью, суть такие, которые делают это соответствие возможным, — то естественный вывод из этого тот, что от всякого, кто нарушает эти порядки, можно справедливо требовать переделать, насколько возможно, то зло, какое он сделал. Так как цель состоит тут в поддержании условий существенно необходимых для полной жизни, то естественно, что если какое-нибудь из этих условий нарушено, то от нарушителя прежде всего нужно требовать возможно полного восстановления прежнего порядка вещей. Украденная собственность должна быть или возвращена или восстановлена какой-нибудь равноценностью. Всякий, подвергшийся физическому насилию, должен получить вознаграждение за свои издержки на доктора, за потерянное время и за страдание, которое он вынес. То же самое имеет место во всех случаях нарушения каких-либо прав.

Во-вторых, это высшее право уполномочивает нас стеснять действия преступника настолько, насколько это необходимо для предупреждения дальнейших нарушений. Всякий, кто не допускает других к выполнению условий, необходимых для полной жизни, кто отнимает у своего ближнего плоды его трудов или вредит его здоровью и благосостоянию, приобретенному хорошим образом жизни, должен быть насильственно принужден

к прекращению таких действий. И общество имеет право употреблять в этом случае тот род силы, какой оказывается нужным. Справедливость оправдывает сограждан такого человека, если они ограничивают его свободу пользования своими способностями — в той мере, какая необходима для сохранения их собственной свободы пользоваться своими способностями.

Но заметим, что абсолютная нравственность не допускает стеснений, идущих дальше этого; она не допускает ни беспричинного наложения страданий, ни мстительных кар. Так как цель нравственности есть полнота жизни и так как она требует таких условий, которые делают эту полноту жизни возможной, то мы не можем, даже в лице преступника, правомерно нарушать эти условия больше, чем нужно для предупреждения еще более сильного их нарушения. Так как она безусловно требует свободного отправления законов жизни, дабы общий итог жизни был возможно больший, то и жизнь преступника, как одна из составных частей этой суммы, должна непременно приниматься в расчет, ему должна быть предоставлена настолько полная жизнь, насколько это совместимо с безопасностью общества. Обыкновенно говорят, что преступник теряет все свои права. Это может быть основательно по отношению к законам, но оно вовсе не основательно по отношению к справедливости. У преступника можно правомерно отнять только ту часть его прав, которую нельзя оставить за ним без опасности для общества. Но отнюдь нельзя отрицать тех прав его пользоваться своими способностями и происходящими от этого выгодами, которые можно оставить за ним при необходимом ограждении других граждан. Если кто-нибудь считает неуместным быть до такой степени внимательным к правам преступника, пусть подумает несколько об уроке, который дает нам природа. Мы не видим, чтобы действие свято установленных законов жизни, которыми поддерживается здоровье тела, прекращалось каким-либо чудом в лице преступника. У него, как и у других, хорошее пищеварение вызывает аппетит. Если преступник ранен, процесс излечения идет у него с обычной своей быстротой. Если преступник болен, медики ожидают в нем такого же действия от *vis medicatrix naturae**, как и в человеке, который не совершал преступления. Восприятия его руководят им так же, как и до заключения; он способен к тем же самым

приятным эмоциям. Если мы, таким образом, видим, что благотворный порядок вещей поддерживается в его лице не менее однообразно, чем и во всяком другом, то не обязаны ли мы уважать в нем ту часть этого порядка, которой могли бы повредить? Не обязаны ли мы ограничивать свое противодействие законам жизни лишь настолько, насколько это абсолютно необходимо? Для тех, кого и это не убедило бы, есть другой урок, приводящий к точно тому же заключению. Человек, пренебрегающий каким-либо из простых законов жизни, которые дают начало законам нравственным, несет лишь то зло, которое сделалось необходимым вследствие его преступления, но не больше. Если вы во время ходьбы по невнимательности упадете, то ушиб или, может быть, какое-нибудь общее повреждение — вот все, чем вам придется поплатиться: падение не поведет вас к дальнейшему неосновательному наказанию, например к простуде или оспе. Если вы съели что-нибудь такое, что вам известно за труднопереваримую вещь, вы платитесь расстройством желудка и сопровождающими его последствиями; но за такой проступок вы не отвечаете ни ломаными костями, ни страданием спинного мозга. И в тех и в других случаях наказание оказывается ни больше, ни меньше того, что вытекает из естественного строя вещей. Не должны ли и мы смиренно следовать этому примеру? Не должны ли мы заключить из этого, что и гражданин, нарушивший условия общественного благосостояния, должен нести за это необходимые наказания и стеснения, но ничего больше? Не ясно ли из этого, что ни абсолютная нравственность, ни природа не оправдывают нас, когда мы налагаем на преступника какое бы то ни было наказание сверх тех, какие необходимы для исправления, насколько возможно, совершенного зла и для предупреждения новых преступлений? Нам кажется несомненным, что, если общество заходит дальше этого, оно совершает насилие над преступником.

Люди, которые могли бы подумать, что мы склоняемся к вредной снисходительности, увидят, что следующая ступень нашей аргументации отнюдь не допускает такого упрека; потому что, хотя справедливость и воспрещает нам наказывать преступника иначе, как давая ему чувствовать естественные последствия его преступления, — последствия эти, строго проводимые, оказываются совершенно достаточно суровыми.

Если общество получает от абсолютной нравственности санкцию на то, чтобы преступник доставлял вознаграждение и покорялся тем ограничениям, какие требуются для общественной безопасности, и если преступнику ручается тот же трибунал, что это ограничение не пойдет дальше, чем требуется сказанной целью, — то общество предъявляет еще дальнейшее требование, чтобы преступник в продолжение своего заключения содержал себя сам, и абсолютная нравственность одобряет и это требование. Раз общество приняло меры для своего сохранения и назначило преступнику наказания или стеснения не выше тех, какие необходимо обуславливаются этими мерами, его дело кончено. О содержании преступника оно должно теперь заботиться столько же, сколько и до совершения им преступления. Роль общества состоит только в том, чтобы защитить себя против преступника, а забота о том, чтобы он мог жить возможно лучше при тех стеснениях, какими общество вынуждено обставить его, лежит уже на нем самом. Все, чего он справедливо может требовать, это возможности трудиться и выменивать произведения своего труда на необходимые для него предметы; это требование исходит из приведенного уже выше правила, что действия преступника не должны быть стесняемы больше, нежели это необходимо для общественной безопасности. Из этой возможности трудиться он должен сделать все, что позволяется обстоятельствами: он должен довольствоваться тем, что может добыть при этих условиях; если же он не может добиться большего, если ему приходится нести трудную работу и добывать себе ею только скудное содержание, то это должно идти в счет его наказаний за преступления — в счет естественных противодействий его дурному действию.

Справедливость неуклонно настаивает на том, чтобы содержание преступника лежало на нем самом. Причины, оправдывающие заключение его в тюрьму, оправдывают точно так же и отказ дать ему какое-нибудь другое содержание, кроме того, которое он вырабатывает сам. Он подвергается заключению затем, чтобы не мог больше вредить полноте жизни своих сограждан, чтобы не мог снова завладеть какими-либо выгодами, данными им природой или приобретенными собственным их трудом и бережливостью. Те же причины требуют, чтобы он сам заботился о своем содержании, т.е. чтобы он не мог

наносить ущерб полноте жизни других — пользоваться плодами их трудов. Иначе откуда получал бы он свою пищу и одежду? Из общественных запасов, т.е. из карманов всех людей, платящих налоги. А что представляет собственность, которая берется таким образом с людей, платящих налоги? Она представляет известную сумму выгод, приобретенных трудом. Она равняется известному количеству средств, необходимых для полной жизни. И когда эта собственность отнята, когда труды потеряны, когда продуктом его завладевает сборщик податей и передает его заключенному, — условия к полной жизни нарушены, осужденный совершает через посредство официальной власти новое преступление против своих сограждан. Дело не в том, что отнятие собственности совершается тут согласно закону. Мы должны разбирать здесь требования той власти, которая стоит выше закона и которую закон должен проводить. И мы находим, что эти требования состоят в том, чтобы каждый сам подвергался и дурным и хорошим результатам своего инцидента, чтобы преступник по возможности сполна выносил все страдания, порожденные его преступлением, и чтобы ему не дозволялось слагать часть их на людей невинных. Если преступник не содержит себя сам, он косвенным образом совершает новое преступление. Вместо исправления ущерба, нанесенного им условиям полной жизни общества, он увеличивает этот ущерб. Он наносит другим то самое зло, которое наложено на него стеснение должно было предупредить. Поэтому, насколько абсолютная нравственность оправдывает это стеснение, настолько же она дает нам и право отказывать преступнику в даровом содержании.

Итак, вот в чем состоят требования справедливой уголовной системы: посягатель должен или возвратить отнятое, или дать за него вознаграждение; он должен подвергнуться тем стеснениям, какие требуются общественной безопасностью; на него не может быть наложено никакое стеснение, выходящее за эти пределы, никакое лишнее взыскание; наконец, в то время когда он находится в заключении или под стражей, он должен сам заботиться о своем содержании. Мы не хотим сказать, чтобы все эти требования могли быть исполнены вдруг. Мы уже допустили, что в нашем переходном состоянии выводы абсолютной применимости должны соотнобразовываться с индукциями относительной применимости. Мы сказали, что

для грубых времен нравственность оправдывает самые строгие уголовные кодексы, если без них невозможно сдерживать преступление и обеспечивать общественную безопасность. Из этого следует, что нынешние способы обращения с преступниками оправдываются во всех случаях, когда они настолько приближаются к требованиям чистой справедливости, насколько позволяют обстоятельства. Очень может быть, что всякая система, возможная в настоящее время, окажется ниже идеальной. Очень может быть, что принуждение к возврату отнятого или к вознаграждению за него во многих случаях неисполнимо. Очень может быть, что на некоторых преступников надо налагать более строгое наказание, нежели бы требовала абстрактная справедливость. С другой стороны, может быть, что для преступника, совершенно несведущего ни в каких ремеслах, необходимость самому содержать себя сделает для него наказание слишком тягостным. Но подобные непосредственные неудобства нисколько не опровергают наших аргументов. Мы настаиваем только на том, чтобы требования абсолютной нравственности исполнялись по возможности полнее, чтобы соблюдение их доводилось до тех границ, далее которых оно, по свидетельству опыта, принесло бы больше вреда, нежели пользы, чтобы никогда не терялся из виду идеал и чтобы каждая перемена стремилась к осуществлению этого идеала.

Затем, мы хотим показать, что в настоящее время этот идеал может быть осуществлен в значительной степени. Опыт различных стран, совершавшийся при различных обстоятельствах, доказал, что замена старой уголовной системы системами, приближающимися к указанным выше, приносит громадную пользу. Германия, Франция, Испания, Англия, Ирландия и Австралия представляют подтверждение того, что самой целесообразной уголовной системой оказывается та, при которой уменьшаются стеснения и усиливается зависимость преступника от него самого. И факты доказывают, что, чем ближе держатся требования абстрактной справедливости, тем успешнее оказывается система. Мы имеем самые поразительные факты в подтверждение сказанного.

Когда г-н *Обермайер* назначен был начальником Мюнхенской государственной тюрьмы, «он нашел там от 600 до 700 заключенных, дошедших до крайней степени неповиновения.

Производимые ими беспорядки заставили прибегнуть к самым суровым и строгим мерам: все заключенные были скованы, и к каждой цепи была прикреплена железная гиря, которую даже самые сильные из заключенных с трудом могли волочить за собой. Стража состояла почти из 100 человек солдат, стоявших не только у ворот и вокруг стен, но и в коридорах, рабочих камерах и спальнях; и самой странной из всех мер против возможности возмущения и буйств было то, что на ночь спускалось на дворах и в коридорах от двадцати до тридцати огромных и злых охотничьих собак, которые должны были охранять двор и коридоры. Судя по рассказам, это был настоящий Пандемониум*, заключавший на пространстве нескольких акров самые дурные страсти, самые рабские пороки, самую бездушную тиранию».

Обермайер постепенно смягчил эту суровую систему. Он значительно облегчил вес цепей и даже совсем уничтожил бы их, если бы это было дозволено. Собаки и большая часть стражи были удалены; с заключенными стали обходиться так, чтобы прибрести их доверие. М-р *Байллы Кокрен*, посетивший эту тюрьму в 1852 г., говорит, что тюремные ворота были «широко открыты, без всяких часовых у дверей; стража состояла только из двадцати человек, праздно проводивших время в караульне, находившейся довольно далеко от входа... Ни у одной двери не было ни запоров, ни засовов: единственной мерой предосторожности служил обыкновенный замок, и так как в большей части комнат он не запирался почти никогда на ключ, то заключенные свободно могли выходить в коридор... В каждой рабочей камере назначался старшина из числа заключенных, отличавшихся лучшим поведением, и г-н *Обермайер* уверял меня, что, если какой-нибудь заключенный нарушал какое-либо постановление, все его товарищи говорили ему: «Это запрещено», — и редко случалось, чтобы он не послушал их... В стенах тюрьмы производятся всевозможные работы: заключенные, разделенные на различные разряды и снабженные различными инструментами, шьют себе одежду, исправляют стены собственной тюрьмы, куют собственные цепи, выделывают разные мануфактурные предметы, которые приносят им большие выгоды. Результат всего этого тот, что каждый заключенный содержит себя собственным трудом; излишек же его заработка

отдается ему при освобождении и дает возможность избежать лишений в первое время после освобождения».

Кроме того, заключенные «в свободное время собираются без всякого вмешательства в их сношения, но в то же время под бдительным надзором и контролем»; г-н *Обермайер* на основании многолетнего опыта удостоверяет, что вследствие такого порядка нравственность улучшилась.

Каких же результатов достиг он? В продолжение своего шестилетнего управления *Kaisers-Lauten* (первая тюрьма, которой он управлял) г-н *Обермайер* освободил 132 преступника, из которых 123 вели себя с этого времени хорошо и 7 подверглись новому заключению. Из Мюнхенской тюрьмы с 1843 по 1845 г. выпущено было 298 заключенных. «Из них 246 исправившихся были возвращены обществу. Людей сомнительного поведения, но не совершивших нового преступления, оказалось 26 человек; снова подвергнуто испытанию — 4; наказано полицейской властью — 6; приговорено к новому заключению — 8; умерло — 8». Этот отчет, говорит г-н *Обермайер*, «основывается на несомненных данных». В действительности успехов г-на *Обермайера* мы имеем свидетельство не одного только *Байллы Кокрена*, но, кроме того, *Ч. Г. Таунзенда*, *Джорджа Камба*, *Матью Гилля* и сэра *Джона Мильбанка*, нашего посланника при Баварском дворе.

Возьмем еще пример — *Меттрэ**. Всякому приходилось, вероятно, слышать об успехах этого исправительного заведения для малолетних преступников. И посмотрите, как проводимая там система близко подходит к упомянутым нами отвлеченным принципам.

Эта «*Colonie Agricole*» не имеет «ни стен, ни оград для тюремных целей»; там нет физических стеснений, за исключением тех случаев, когда ребенка заключают за какую-либо вину на известное время в отдельную комнату. Жизнь ведется трудовая: мальчиков учат ремеслам или земледелию по их выбору; они же исполняют и все домашние обязанности. «Все работы исполняются *поштучно* и вознаграждаются по приговору *chef d'atelier*, часть этой платы отдается ребенку на руки, а остальное помещается в сберегательную кассу в Туре... Мальчики платят сами за ту часть своей одежды, которая требует возобновления ранее срока, положенного на выдачу нового платья... но зато если платье окажется в хорошем состоянии, то ко времени

срока ребенок получает от этого выгоду, так как деньги, которые были бы издержаны на платье, вносятся ему на текущий счет». Два часа в день дается на игры. «Мальчиков учат пению, и, если кто-нибудь обнаруживает склонность к рисованию, его учат немножко и этому... Из нескольких мальчиков образована пожарная бригада, которая иногда оказывала в соседстве существенную помощь». Не ясно ли из этих немногих фактов, что вся сущность состоит в следующем: ограничение свободы не больше, нежели это абсолютно необходимо, содержание, насколько возможно, своим трудом, особенно усердный труд получают и экстренное вознаграждение, и, наконец, настолько свободы в упражнении способностей каждого, насколько это позволяется обстоятельствами.

«Посредствующая система», принятая в последнее время с большим успехом в Ирландии, представляет в некоторой степени пример приложения тех же самых общих принципов. Заключение, знающим какое-либо ремесло, эта система предоставляет «всю свободу, какая необходима для того, чтобы дать вполне выказаться силе самоотвержения и самообладания в преступнике, силе, которой нет возможности проявиться при суровых стеснениях обыкновенных тюрем». Преступник, испытанный на этой ступени, ведется далее: его назначают в «должность рассыльного, которому ежедневно приходится перебивать во всем городе, или на какие-нибудь работы, исполняемые вне тюремных стен. Должность рассыльного оставляет преступников вне тюрьмы до 7 или 8 часов вечера без всякого надзора; преступникам выдается еженедельно небольшая часть заработанных денег, и они имели бы полную возможность скомпрометировать себя. Однако до сих пор не оказалось еще ни одного примера самого незначительного беспорядка или даже простого недостатка пунктуальности, хотя изобретались самые разнообразные средства, чтобы открыть то или другое, если бы оно случилось». Известная часть заработка преступников откладывается в сберегательную кассу; их поощряют к увеличению этих сбережений для составления капитала на случай эмиграции. Результаты этого следующие «В заведении величайший порядок и исправность; оно дает такую массу добровольно исполняемых работ, какой невозможно достигнуть в тюрьмах». Часто случалось, что хозяева, которым передавали заключенных, «являлись

за другими, вследствие хорошего поведения тех, которых они брали прежде». Судя по словам брошюры капитана *Крофтона*, вышедшей в 1857 г., из 112 человек, освобожденных условно в продолжение предшествовавшего года, 85 вели себя удовлетворительно «и были освобождены слишком недавно, чтобы о них можно было что-нибудь сказать, и 5 снова лишились свободы. Что касается до остальных 13 человек, то о них невозможно было получить точных сведений, но есть основания предполагать, что 5 оставили страну, а 3 поступили в солдаты».

«Марочная система» капитана *Мэкбончи* всего полнее применяет к делу принцип содержания преступников собственным трудом и такого лишь ограничения их свободы, какое безусловно необходимо для общей безопасности. Система эта состоит в том, чтобы приговор о времени заключения соединялся с приговором об известном роде труда, т.е. об известных определенных обязанностях, которые должны быть исполнены преступниками. «Ни дневная порция, ни какие-либо другие припасы по части пищи, постели, одежды и даже обучения не должны даваться *даром*; все это должно идти в обмен на предварительно заработанные *марки*, за определенную плату и по собственной оценке заключенных; понятно в то же время, что при освобождении преступник может рассчитывать только на те деньги, которые окажутся лишними за всеми подобными расходами; заключенные ставятся таким образом в зависимость от их собственного добропорядочного поведения; проступки, совершенные ими в тюрьме, наказываются также соответственными пенями, которые налагаются смотря по средствам каждого». Употребление марок, которые играют роль денег, было впервые введено капитаном *Мэкбончи* на острове Норфолк. Описывая действие своего метода, он говорит: «Эта система дала мне прежде всего средства для расплаты за труд, а затем и средства наказания. Одно давало мне готовых и постоянно улучшавшихся рабочих, другое спасло меня от необходимости прибегать к жестоким и деморализующим наказаниям... затем, моя форма денег доставляет мне и средства на школьную плату. Я очень заботился о том, чтобы поощрять в преступниках охоту к образованию. Но, как я отказывал им в даровом содержании, так не хотел давать и дарового обучения. Я заставлял их платить за уроки... и я никогда не видел, чтобы взрослые

ученики делали такие быстрые успехи... затем моя форма денег доставляет мне ручательства на случай маленьких и даже больших проступков: я смягчаю или вовсе отменяю срок строгого заключения, если достаточное число других заключенных хорошего поведения дает мне залог, как ручательство за улучшение поведения провинившегося».

Неизменный принцип — «за ничего не давать ничего» — капитан *Мэконочи* применил даже к больнице и похоронам. Тут, как и всюду, он делал жизнь заключенных насколько возможно близкой к порядку обыкновенной жизни: он предоставлял им испытывать всю ту долю добра или зла, которая естественно вытекала из их собственного поведения, — принцип, который он справедливо считает единственно верным принципом. Каковы же были результаты этого? Крайняя испорченность ссыльных острова Норфолка была известна: на предыдущих страницах мы говорили о некоторых из ужасных страданий, которым подвергались эти несчастные. Но капитан *Мэконочи*, имея дело с этими самыми деморализованными из преступников, достиг в высшей степени благоприятных результатов. «В четыре года, — говорит он, — я отпустил в Сидней 920 человек, осужденных во второй раз; из лиц этих только 20 человек, или 2%, были снова осуждены до января 1845 г.»; между тем как в то же самое время на Ван-Дименовой земле, где с преступниками обращаются иначе, обыкновенная пропорция таких вновь осуждаемых составляет 9%. «Капитан *Мэконочи*, — пишет *Гаррис* в своих *Convicts and Settlers*, — сделал для исправления этих несчастных и для улучшения их физических условий больше, нежели мог бы прежде ожидать самый пылкий практический ум». Другой очевидец говорит, что «ни одной системе никогда не удавалось исправление массы людей в такой степени». «Как пастор острова и судья в течение двух лет, я могу сказать положительно, что никогда не бывало так мало преступлений», — пишет почтенный Б. Найлор. *Томас Диксон*, главный суперинтендант ссыльных в Западной Австралии, который ввел там отчасти эту систему в 1856 г., утверждает, что не только сумма работ, исполненных при этой системе, была необыкновенно велика, но и что «хотя характеры некоторых из сосланных вовсе не отличались до того времени хорошими качествами (многие из них были люди, совершившие в Англии по несколько преступлений),

перемена, происшедшая в них, как в этом, так и во всех других отношениях, была действительно крайне замечательна». Если таковы были результаты, когда система эта проводилась еще несовершенно (правительство постоянно отказывалось дать какую-нибудь определенную силу маркам как средству освобождения), то чего можно бы было ожидать, если бы принципам и средствам этой системы дано было полное влияние?

Кажется, однако, что из всех доказательств в пользу этой системы самое решительное представляет тюрьма в Валенсии. При назначении в 1835 г. полковника *Монтезиноса* начальником этой тюрьмы «среднее число людей, совершивших преступление вторично, доходило до 30 и 35% в год — почти такое же, как в Англии и других европейских странах. Но успех его системы был таков, что в последние три года там не было даже и одного человека, подвергнувшегося вторичному осуждению, а за десять предшествовавших лет количество их средним числом не превышало и 1%». Каким же образом произошла такая удивительная перемена? Уменьшением стеснения свободы и дисциплиной труда. Следующие извлечения, взятые наудачу из книги *Госкинса* «Account of the Public Prison at Valencia», могут доказать это:

«Когда осужденный вступает в тюрьму, на нем надеты цепи, но, по просьбе его к начальнику тюрьмы, они снимаются с него, если преступник ведет себя хорошо».

«В тюрьме содержится до тысячи заключенных, но я в целом заведении не видел больше трех или четырех сторожей, надзиравших за ними. Говорят, что при заведении состоит всего дюжина старых солдат и вовсе нет каких-либо запоров или замков, которые трудно бы было сломать; по-видимому, никаких предосторожностей, кроме тех, какие принимаются в частных домах, нет».

«Когда осужденный поступает в тюрьму, его спрашивают, каким ремеслом или работой он желает заниматься или чему он хочет учиться, и представляется на выбор более сорока различных занятий... там есть ткачи и прядильщики всякого рода... кузнецы, башмачники, корзинщики, канатчики, столяры, токари, делающие очень хорошенькие вещи из красного дерева; есть также печатная машина, весьма усердно работающая».

«Всякого рода работы внутри заведения, как то: починка, переделка, очистка — исполняются заключенными. Все они

очень почтительны в обращении, и я никогда не видел заключенных, отличающихся таким хорошим видом; нет сомнений, что полезные занятия (так же как и внимательное обращение) изменили к лучшему их наружность... кроме сада для прогулок, усаженного померанцевыми деревьями, есть также для развлечения птичий двор с фазанами и другими разнообразными породами птиц, прачечные, где заключенные моют свое платье, и лавка, где они могут, если хотят, покупать табак и разные другие мелочи на четвертую часть заработанных ими денег, которая выдается им на руки. Другая четверть денег сберегается ко времени их выхода из тюрьмы; остальная же половина идет на заведение, и суммы, собираемой таким образом, *часто достаточно на все издержки, без всякого пособия от правительства.*

Таким образом, успех, который *Госкинс* считает «истинным чудом», достигается посредством системы, всего ближе подходящей к требованиям абстрактной нравственности, на которые мы указывали. Заключенные живут почти исключительно, если не совершенно, на свои средства. Их не подвергают ни беспричинным наказаниям, ни излишним ограничениям. Им приходится самим зарабатывать себе все необходимое для жизни, но зато им разрешают все удовольствия, совместимые с их положением как арестантов: так как основным принципом, говоря словами полковника *Монтезиноса*, признается «предоставление такого простора свободной деятельности заключенных, какой только допустим при тюремном режиме». Им позволяют поэтому (мы нашли, что и справедливость требует того же) жить сносно, как только они могут, с теми лишь ограничениями, какие необходимы для безопасности их сограждан.

Нам представляется весьма многозначительным такое тесное соответствие между априорными заключениями и результатами опытов, сделанных помимо этих соображений. С одной стороны, ни в указанных нами учениях чистой морали, ни в сделанных из них дальнейших заключениях не говорится чего-либо об исправлении преступников: мы касались исключительно прав граждан и осужденных в их взаимных отношениях. С другой стороны, авторы улучшенных тюремных систем, описанных выше, задавались одной лишь целью исправления преступников, оставляя в стороне вопрос о справедливых притязаниях общества и тех, кто перед ним провинился. И, однако,

пути, приведшие к такому поразительному уменьшению преступности, оказываются теми путями, которые особенно отвечают требованиям и отвлеченной справедливости.

Действительно, можно путем дедукции показать, что система наиболее справедливая есть одновременно наилучшая для исправления преступника. Внутренний опыт каждого из нас подтвердит, что чрезмерное наказание порождает не раскаяние, а ненависть и негодование. Покуда преступник терпит лишь то, что естественно вытекает из его дурного поведения; покуда ему ясно, что его ближние сделали только то, что было необходимо для их самообороны, у него нет основания к гневу: он привыкает смотреть на свое преступление и на наказание как на причину и действие. Но раз ему приходится испытывать беспричинные страдания, сознание несправедливости зарождается в нем. Он видит в себе обиженного. Он затаивает в душе злобу против всех виновников этого сурового обращения. Охотно забывая при всяком удобном поводе ущерб, который другие понесли от него, он вместо того привыкает к сознанию несправедливости, какую ему приходится терпеть от других. Питая при этих условиях чувство мести скорее, чем чувство примирения, он возвращается в общество не лучшим, а худшим, чем он был; и если он не совершает новых преступлений (что далеко не всегда бывает так), то его удерживает мотив самого низкого свойства — страх. Далее, дисциплина труда, которой подчиняются осужденные при господстве истинно справедливой системы, есть именно то, что и требуется. Говоря вообще, необходимые потребности нашего существования в обществе побуждают нас всех трудиться. Большинству из нас достаточно этих импульсов; но у некоторых отвращение к труду не может быть побеждено так просто. Не работая, но нуждаясь в средствах к жизни, они склонны искать их на незаконных путях и этим навлекают на себя законные кары. Класс преступников вербуются по большей части из праздных элементов; праздность — источник преступности; отсюда вытекает, что успешным будет лишь тот тюремный режим, который искореняет праздность. Раз нет налицо естественных побуждений к труду, необходимо поставить преступника в положение, при котором этот стимул является неизбежно. Это и достигается именно при защищаемой нами системе. Действие состоит в том, что люди, по природе своей

плохо приноровленные к условиям общественной жизни, подчиняются принуждению в новой обстановке и должны бываюи приспособиться к требованиям общежития, имея, в противном случае, перед собой альтернативу голода. Наконец, не забудем и того, что режим этот, предписанный абсолютной моралью, спасителен не потому только, что основан на труде, но и потому, что труд этот добровольный. Как мы показали, справедливость требует, чтобы заключенному предоставлено было самому содержать себя; то есть он должен иметь возможность работать — больше или меньше, и, сообразно этому, испытывать довольство или голод. Поэтому, когда под воздействием этой хотя и суровой, но натуральной, шпору преступник начинает проявлять себя, он делает это, как он желает. Процесс развития в нем трудовых привычек есть в то же время процесс усиления контроля его над самим собой, а это именно и нужно, чтобы ему сделаться хорошим гражданином. Заставлять его работать путем внешнего принуждения не привело бы ни к чему, потому что, когда ему вернут свободу и когда принуждение не будет тяготеть над ним, он окажется тем же, чем был раньше.

Стимул должен быть внутренним, чтобы можно было его унести с собой из тюрьмы. Не важно, что вы заставляете заключенного работать; он сам себя должен принуждать к этому. А это он сделает только в том случае, если поставить его в условия, предписываемые справедливостью.

Мы находим, таким образом, третью категорию доводов. Психология подтверждает наше заключение. Выше мы изложили данные разнообразных опытов, сделанных людьми, не думавшими проводить какую-либо политическую или этическую теорию; мы нашли, что установленные опытным путем факты вполне совпадают не только с выводами абсолютной морали, но и с указаниями науки о духе. Мы думаем, что подобное сочетание разных способов доказательства неотразимо.

Теперь, пользуясь тем же методом, какому следовали до сих пор, мы попытаемся рассмотреть путь, способствующий развитию улучшенных систем, входящих постепенно в употребление.

Справедливость требует, чтобы преступник ограничивался, лишь насколько это необходимо для безопасности общества, но не больше. Смысл этого требования не представляет затруднений в том, что касается качества стеснений; зато

значительными трудностями обставлено решение вопроса о длительности заключения. Невозможно усмотреть непосредственно, как долго следует держать преступника в несвободном состоянии, чтобы общество было застраховано от дальнейших на него посягательств. Срок длиннее необходимого причиняет действительный ущерб преступнику, срок меньше против необходимого создает ущерб для общества — потенциальный. Однако если нет твердого руководства, то мы впадем всякий раз в ту или другую крайность.

В настоящее время продолжительность уголовных наказаний определяется способом совершенно эмпирическим. За преступление с определенными техническими признаками парламентские акты назначают ссылку и тюремное заключение с обозначением наибольшего и наименьшего сроков; эта относительно определенная длительность наказания произвольно устанавливается законодателями под наитием их морально-го настроения. В пределах границ, означенных в законе, судьи осуществляют свою дискреционную власть; и, решая, как долго лишение свободы должно длиться, они руководствуются отчасти конкретной картиной преступления или обстоятельствами, при которых оно совершено, отчасти внешностью и поведением обвиняемого или аттестацией, какую ему дают. Заключение, к которому приходит судья на основании этих данных, зависит в значительной степени от его личности, от его моральных склонностей и взглядов на поведение людей. Таким образом, способ определения срока уголовных ограничений от начала до конца не более как ряд догадок. А как дурно влияет подобная система догадок, тому мы имеем массу доказательств. Проще всего иллюстрируется это «судейской справедливостью», вошедшей в поговорку; а решения высшего уголовного суда часто грешат в двояком направлении — или несправедливой строгостью, или излишней мягкостью. Ежедневно случается, что совершенно пустячные проступки караются продолжительным тюремным заключением, а очень часто наказания так несоответственно малы, что стоит лишь освободить преступника из-под стражи, как он уже совершает новые преступления.

Спрашивается теперь: можем ли мы из принципов справедливости почерпнуть на место этого чисто эмпирического и столь неудовлетворительного метода другой, который давал бы

возможность в большей степени согласовывать меру наказания с надобностью? Нам кажется, что да. Мы убеждены, что, следуя заветам справедливости, мы придем к методу, в высокой степени объективному, благодаря чему уменьшится возможность ошибок, проистекающих из личного суждения и чувств.

Мы видели, что если выполнять требования абсолютной морали, то каждого преступника следует принуждать к возвращению либо возмещению отнятого им. В огромном количестве случаев это влечет за собой лишения свободы на известный срок пропорционально размерам нарушения. Конечно, для преступника, обладающего большими средствами, принуждение к возврату или к возмещению составило бы лишь слабое наказание. Хотя в этом сравнительно редком случае цель не достигается, поскольку дело касается воздействия на самого преступника; по отношению к подавляющему большинству преступников, людей бедных, указанная мера оказывается действенной.

Сроки лишения свободы назначаются большие или меньшие, сообразно размерам причиненного ущерба и тому, был ли преступник человеком праздным или рабочим. Хотя между злом, какое виновный совершил, и его нравственной низостью нет постоянной и точной пропорции, тем не менее размеры ущерба, по общему правилу, могут определять потребную меру наказания лучше, нежели парламентское большинство и гадания судей.

Но руководящая нить на этом не прерывается. Попытка идти еще дальше по пути строгой справедливости показывает нам возможность еще более близкого соответствия кары преступлению. Когда, принудив преступника к возмещению, мы требуем еще достаточной гарантии того, что не будет дальнейших посягательств на общество, и когда мы принимаем определенную гарантию как достаточную, мы открываем дорогу объективному определению срока ограничения свободы. Наши законы в некоторых случаях уже довольствуются поручительством за будущее хорошее поведение. Тут уже ясно стремятся различать более порочных и менее порочных, так как, по общему правилу, трудность найти поручителя прямо пропорциональна недостаткам характера. Наша мысль состоит в том, что систему эту, ныне ограниченную специальными видами преступлений, надо сделать общеобязательной. Но изложим это подробнее.

Во время судебного разбирательства обвиняемый приглашает свидетелей для дачи показаний относительно его предыдущего поведения и о том, обладал ли он сносным характером. Данное таким образом свидетельство говорит больше или меньше в его пользу, сообразно почтенности свидетелей, их числу и свойству показаний. На основании всех этих данных судья делает заключение о наклонностях преступника и сообразует с этим длительность наказания. Спрашивается, не можем ли мы утверждать, что если бы господствующее мнение о характере виновного определяло приговор *непосредственно*, а не *посредственно*, как теперь, то это было бы большим улучшением? Ясно, что оценка, сделанная судьей на основании свидетельств, должна уступать в точности оценке, сделанной соседями и хозяевами преступника. Ясно опять-таки, что мнение, выраженное этими соседями и хозяевами со свидетельской скамьи, заслуживает меньше веры, чем их же мнение, когда оно влечет за собой для них серьезную ответственность.

Желательно, чтобы содержание приговора определялось теми, чье суждение о преступнике основано на продолжительном опыте, и чтобы искренность суждения подкреплялась готовностью действовать согласно такому суждению.

Но как сделать это? Был предложен путь весьма простой¹. Когда заключенный выполнил свою обязанность репутации или компенсации, одному из знавших его надо дать возможность освободить его из тюрьмы, представив достаточное обеспечение как ручательство за его хорошее поведение. Эта комбинация допустима всякий раз не иначе как с официального разрешения; в таком разрешении может быть отказано в случае неудовлетворительного поведения преступника; лицо, представляющее залог, должно быть надежным и состоятельным, — все это предполагается само собой; затем следует удовлетвориться поручительством в определенной сумме со стороны лица, освобождающего заключенного, или же обязательством на известный срок возмещать всякий ущерб, какой могут потерпеть от выпущенного на волю арестанта его сограждане.

Несомненно, этот план покажется рискованным. Мы приведем, однако, доводы в пользу безопасности его применения,

¹ Идеей этой мы обязаны покойному Mr. Octavius H. Smith.

более того, мы найдем фактические подтверждения успешности плана, очевидно, более опасного.

При указанной комбинации освободитель и виновный становятся обыкновенно друг к другу в отношении хозяина и наемника. Лицо, условно выпускаемое из тюрьмы, охотно согласится получать вознаграждение меньшее, чем обыкновенно полагается в данном занятии; поручитель же поощряется той экономией, какую он нагоняет; сверх того, он находит таким путем гарантию против взятого им на себя риска. Работа за меньшую плату и нахождение под надзором хозяина все еще составляют для преступника источник известных умеренных ограничений. И если, с одной стороны, его поощряет к хорошему поведению сознание, что хозяин во всякое время может разорвать условие и вернуть его властям, то, с другой стороны, от слишком строгого хозяина он может избавиться решением возвратиться в тюрьму и быть там до истечения срока.

Заметим далее, что добиться этого условного освобождения будет тем труднее, чем значительнее совершенное преступление. Виновные в гнусных злодеяниях всегда останутся в тюрьме; никто не решится ответственность за их поведение. Тем, кто вторично попадает в тюрьму, придется ждать поручителя гораздо дольше, чем в первый раз; причинив однажды убыток лицу, за них обязавшемуся, они не должны иметь возможности повторить это вскорости: второй раз им поверят лишь после долгого периода хорошего поведения, засвидетельствованного тюремными властями. Наоборот, легко найдут заступников совершившие маловажные проступки и отличавшиеся обыкновенно хорошим поведением; а лица, совершившие деяния, сами по себе простительные, освобождались бы сейчас же после возмещения убытков. Сверх того, описанная нами система всегда уместна в случае осуждения невинных, а также в случае исключительных преступлений, совершаемых людьми безусловно нравственными. Таким образом, был бы создан корректив для неправильных судебных вердиктов и для ошибок в оценке преступности; а неоспоримые достоинства нашли бы награду в ослаблении несправедливых тягот.

Еще очевидное преимущество — продолжительная трудовая дисциплина для тех, кто в ней особенно нуждается. Вообще говоря, прилежные и искусные работники, которые

всегда были бы полезными членами общества, если проступки их незначительны, скоро найдут предпринимателей, готовых за них поручиться. Лица же, принадлежащие к преступному классу, отличающиеся праздностью и распушенностью, оставались бы долгое время в заключении, так как ни один хозяин не рискнул бы ответствовать за них, пока у них не выработается известное трудолюбие под влиянием постоянной необходимости содержать самому себя в тюрьме.

Таким образом, мы имели бы объективное мерило не только срока заключения, необходимого для общественной безопасности, но также и срока, нужного иным арестантам для того, чтобы приучиться к труду; в то же время нам даются средства к исправлению разных недостатков и преувеличений настоящего порядка вещей. Для практического осуществления нашего плана требуется расширить степень участия жюри в судебном разборе. В настоящее время известное число сограждан обвиняемого призываются государством дать ответ: виновен он или невиновен? Судье же предоставляется на основании уголовных законов определить, какое наказание он заслуживает, если виновен. При комбинации, нами описанной, решение судьи может быть изменено жюри, составленным из соседей виновного. И это естественное жюри, которому, благодаря знакомству с обвиняемым, легче составить мнение о его деянии, будет действовать осторожно, сознавая тяжесть ответственности; потому что тот из их числа, который возьмет на себя условное освобождение, делает это на свой страх.

Заметим, что все доводы, подтверждающие безопасность и преимущества «посредствующей системы», говорят с еще большей силой о безопасности и преимуществах системы, какую мы предлагаем взамен названной. То, что мы описали, есть не что иное, как «посредствующая система», с заменой ее искусственной формы естественной и искусственных испытаний естественными. Если, как это показал на деле капитан Крофтон, безопасно давать условную свободу арестанту за его хорошее поведение в тюрьме в течение известного срока, то, очевидно, условное осуждение еще безопаснее, если оно зависит не от одного только хорошего поведения на глазах у тюремщиков, но и от репутации, какую осужденный снискал всей своей прежней жизнью. Если безопасно основываться на суждениях

должностных лиц, чьи сведения о поведении преступника сравнительно ограничены и которые не ответственны за ошибочность своих суждений, тем безопаснее (предполагая, что и власти не оспаривают этого) доверять суждению того, кто не только имел возможность лучше знать виновного, но еще готов понести убыток в случае превратности *своего мнения*.

Далее, надзор, устанавливаемый «посредствующей системой» над каждым условно освобожденным, осуществить легче, когда осужденный уходит к кому-нибудь, живущему в одном с ним округе, а не за его пределы к незнакомому хозяину; в первом случае облегчается и собирание сведений о дальнейшей судьбе условно освобожденного. Все говорит за целесообразность изложенного метода. Если по рекомендации начальства хозяева брали к себе крофтоновских арестантов и «неоднократно приходили за другими, благодаря отличному поведению законтрактованных в первый раз», то еще лучше должна действовать система, при которой «делать все, чтобы хозяева могли ознакомиться с прошлой жизнью арестанта», не надо, так как это прошлое им уже известно.

В заключение, не забудем и того, что только такая система тюремного заключения, считаясь в должной мере с требованиями общественной безопасности, в то же время вполне справедлива по отношению к преступнику. Мы видели, что ограничения, налагаемые на него, оправдываются абсолютной справедливостью лишь в объеме, нужном для предупреждения дальнейших посягательств на сограждан; а если последние идут в репрессии далее этой черты, они нарушают его право. Отсюда, после того как заключенный выполнил обязанность реституции, загладил, насколько возможно, причиненное им зло, общество обязано так или иначе охранить в должной мере своих членов от дальнейших посягательств. И если, в чаянии выгоды или по другому мотиву, какой-нибудь гражданин, достаточно зажиточный и заслуживающий доверия, берет на свою ответственность безопасность общества, оно должно соглашаться на такое предложение. Чего оно имеет право требовать — так это *достаточности* гарантий против могущих случиться правонарушений, что, конечно, не может иметь места в случае самых тяжких злодеяний. Никакой залог не вознаграждает за убийство; поэтому, когда речь идет о таких важных

преступлениях, общество с полным основанием не согласится ни на какую гарантию, если даже кто вопреки вероятностям предложит ее. Таков, стало быть, наш кодекс этики тюрем. Вот идеал, который мы должны постоянно иметь в виду при изменениях нашей уголовной системы. Еще раз повторим сказанное вначале, что осуществление подобного идеала целиком зависит от прогресса цивилизации. Пусть никто не вынесет впечатления, будто мы считаем непосредственно выполнимыми на практике все эти требования чистой справедливости. Они исполнимы отчасти; полное же их осуществление в настоящее время представляется нам весьма маловероятным. Число преступников, низкий уровень просвещения, недостатки правительственной машины, а прежде всего трудность найти должностных лиц, достаточно образованных, порядочных и выдержанных, — вот препятствия, которые долго еще будут стоять на пути той сложной системы, какую предписывает мораль. И мы подчеркиваем еще раз, что самая суровая уголовная система оправдывается с этической точки зрения, если она хороша, насколько это допускается обстоятельствами времени. Если система, теоретически более справедливая, не служит достаточной угрозой злоумышленникам или практически неприложима за недостатком людей, в достаточной мере справедливых, честных и гуманных; если с уменьшением строгостей уменьшится и общественная безопасность, — то, несмотря на все жестокости, действующая система, по существу дурная, оказывается формально хорошей. Как уже сказано, она есть наименьшее зло, следовательно, надо признать ее относительную справедливость.

Тем не менее, как мы уже пытались показать, для нас крайне важно, рассуждая об относительно справедливом, иметь постоянно в виду абсолютно справедливое.

Совершенно верно, что в этом переходном положении наши понятия о конечных задачах находятся под влиянием опыта, какой дается достижением целей ближайших; но не менее верно и то, что эти ближайшие цели не могут быть определены без знания конечных задач. Прежде чем сказать, что хорошо по условиям времени, мы должны сказать, что вообще хорошо; вторая идея заключает в себе первую. У нас должно быть определенное знамя, неизменное мерило, надежная нить; иначе непосредственные внушения политики собьют нас с пути и мы скорее

уклонимся от истины, чем придем к ней. Приведенные факты подтверждают это заключение. В вопросе о тюремной дисциплине, как и в других случаях, действительность обнаруживает всю глубину нашего заблуждения, порожденного упорным нежеланием считаться с основными началами и приверженностью к чрезмерному эмпиризму. Хотя, по временам, много зла проистекало для цивилизации из попыток сразу осуществить безусловную справедливость; но еще большая сумма бедствий причинена более обычным забвением абсолютной справедливости. Отжившие учреждения держались из века в век гораздо долее, чем это было бы при иных условиях, а справедливые реформы без всякой нужды откладывались. Не пора ли нам извлекать пользу из уроков прошлого?

Postscriptum. После напечатания этого опыта в 1860 г. опубликованы были новые данные, подкрепляющие сделанные здесь заключения. Dr. F. S. Monat, покойный генеральный инспектор тюрем в Нижнем Бенгале, в ряде брошюр и статей, начиная с 1872 г., приводит факты из собственного опыта, вполне гармонирующие с вышеизложенной аргументацией. Говоря о трех главных системах тюремного режима, «основанных на противоположных теориях», он замечает: «По самой старой из них, тюрьма должна наводить ужас на злоумышленников жестокостью наказания, которые налагаются в таком количестве, какое только возможно без прямого ущерба для здоровья и без опасности для жизни. Вторая, основанная на постепенности, система не считает целью прямое причинение страданий; она позволяет арестанту выслуживать себе свободу и смягчение приговора отличным поведением в тюрьме. Третья и, по моему крайнему разумению, лучшая система ставит себе задачей — превратить каждую тюрьму в школу труда; работа служит здесь орудием наказания, дисциплины и исправления» (Prison Industry in its Primitive, Reformatory and Economic Aspect. London, Nov. 1889).

В своей брошюре «Prison System of India», напечатанной в 1882 г., Dr. Monat утверждает:

«Производительный тюремный труд служил действительным средством наказания и исправления, так как все годное время преступники проводят за несвойственными им и насильственными занятиями; они учатся зарабатывать себе хлеб честным трудом по освобождению; в них укореняются привычки

труда и порядка взамен беспорядочности и праздности, этих источников порока и преступлений; государству возвращаются целиком или отчасти издержки уголовной репрессии, благодаря обязательному труду целой группы людей, дотоле непроеводительных, и, таким образом, снимается та часть бремени общества, которое оно теперь принуждено носить.

Экономические соображения, приводимые против оплачиваемого труда преступников, не выдерживают критики; а если и признать их силу с точки зрения некоторых незначительных общественных групп, то ведь интересы меньшинства должны быть принесены в жертву общему благосостоянию».

Еще раз, в статье, озаглавленной «Prison Discipline and its Results in Bengal», помещенной в «Journal of the Society of Arts» за 1872 г., Dr. Monat, вслед за описанием выставки тюремных изделий, бывшей в Калькутте в 1856 г., настаивает на том, что «каждый приговоренный к работам арестант должен уплачивать государству всю стоимость его содержания в тюрьме... и что из тюрьмы надо по возможности делать школы труда; при такой системе лучше, чем при любой иной, наказание преступника сочетается с охраной общества». Далее он показывает, каковы были результаты этой системы:

«Чистая прибыль, вырученная с работ преступников, занимавшихся ремеслами, за вычетом издержек производства, в круглых цифрах была:

ф. ст.		ф. ст.	
1855—86	11019	1864—85	32 988
1856—87	12300	1865—86	35 543
1857—88	10 841	1866	14 287
1859—80	14 065	1867	41 168
1860—81	23 124	1868	56 817
1861—82	54 542	1869	46 588
1862—83	30 604	1870	45 274
1863—84	54 542		

Итого около полумиллиона. В 1866 г. отчетных месяцев только восемь, потому что с истечением официального года 30 апреля ввели общий календарный счет.

Имея достаточно места и времени, я мог бы доказать вам со всевозможной подробностью, что каждый ловкий работник, занимавшийся ремеслом, зарабатывал в среднем гораздо

больше, чем стоило его содержание; что пять из порученных мне тюрем в разное время содержали себя сами, и что одна из них, большая рабочая тюрьма в Алипоре, предместье Калькутты, в течение последних десяти лет подряд давала много больше, чем шло на нее».

Dr. Monat занимал место главного инспектора тюрем в Нижнем Бенгале 15 лет, в течение этого времени через его контроль прошло приблизительно 20 000 арестантов; мне кажется, эти наблюдения достаточно обширны, и система, подкрепленная таким опытом, достойна быть принятой. К несчастью, люди пренебрегают опытом, который не согласуется с их отсталыми воззрениями.

Раз как-то я высказал парадокс, что люди идут прямо лишь после всевозможных попыток идти криво, причем допускали это с ограничениями.

Однако недавно я заметил, что парадокс этот иногда не соответствует истине. Из некоторых примеров я увидел, что, когда люди наконец набредут на правильный путь, они часто умышленно сворачивают опять на ложный.

VII | ЭТИКА КАНТА¹

Если бы Кант, высказывая свое часто цитируемое изречение, в котором он человеческую совесть сопоставляет с небесными звездами, как две вещи, внушающие ему наибольшее уважение, лучше знал человека, он выразился бы, вероятно, несколько иначе. Не то чтобы человеческая совесть не представляла действительно нечто само по себе удивительное, каков бы ни был ее предполагаемый генезис, но характер внушаемого ею нам удивления может быть весьма различен сообразно тому, признаем ли мы ее сверхъестественным образом данную или же предполагаем ее естественным образом развившеюся. Знакомство с человеком в том широком смысле, какой предполагается антропологией, было во времена Канта незначительно. Описаний путешествий было сравнительно немного, и заключавшиеся в них факты касательно человеческого ума у различных рас не были еще надлежащим образом сопоставлены и обобщены. В наше время понятие совести, изучаемое индуктивным путем, не имеет уже ни того универсального смысла, ни того единства, которые присваивает ему кантовское положение. Дж. Леббок пишет: «В самом деле, как мне кажется, о низших человеческих расах можно сказать, что они лишены идеи справедливости... мысль, что могут существовать человеческие расы, совершенно лишенные нравственного чувства, была совершенно противоположна тем предвзятым идеям, с которыми я приступил к изучению жизни дикарей, и я пришел к этому убеждению лишь мало-помалу и даже с неохотою» (Начала цивилизации. Пер. под ред. Корончевского. СПб., 1876. С. 295).

Но обратимся теперь к фактам, на которых основывается это убеждение, — к фактам, которые мы почерпнем из отчетов путешественников и миссионеров.

Восхваляя своего умершего сына, Tui Thakau, предводитель племени Фиджи, заговорил в заключение об его отважности и необыкновенной жестокости, ибо он был в состоянии убить свою

¹ Этот опыт, появившийся первоначально в «Fortnightly Review» за июль 1888 г., вызван нападками на меня в предшествующих номерах журнала, в которых система этики Канта ставилась неизмеримо выше системы, защищаемой мною. Последний отдел печатается теперь в первый раз.

собственную жену, если она его оскорбила, и тут же съест ее (*Erskine J. E. Western Pacific. P. 248*).

«Пролитие крови для него не преступление, а доблесть; быть признанным убийцей составляет для фиджийцев предмет ненасытного их честолюбия» (*Rev. T. Williams. Fiji and the Fijians. Vol. I. P. 112*).

«Печальный факт представляет то, что когда они (зулусские мальчики) достигнут известного, впрочем очень раннего, возраста, они получают право, в случае если мать захочет их наказать, тут же убить ее» (*Thompson G. Travels and Adventures in Southern Africa. Vol. II. P. 418*).

«Убийство, прелюбодеяние, воровство и т.п. преступления не считаются здесь (Золотой Берег) грехом» (*Bosman W. Description of the Coast of Guinia. P. 130*).

«Укоры совести ему незнакомы (Вост. Африка). Единственное, что его пугает после совершения какого-либо предательского убийства, — это посещение гневной тени убитого» (*Burton R. F. Lake Regions of Central Africa. Vol. II. P. 336*).

«Я никак не мог объяснить им (обитателям Вост. Африки) существование доброго начала» (*Baker J. The Albert N'ianzat. Vol. I. P. 241*).

«Члены племени дамара** убивают бесполезных и бессильных людей; даже сыновья удушают своих отцов, когда те заболевают» (*Galton F. Narrative of an Explorer in Tropical South Africa. P. 112*).

«Племя дамара, по-видимому, не имеет ясных понятий о добре и зле» (*Ibid. P. 72*).

Приведенным здесь фактам мы могли бы противопоставить факты обратного характера. Как противоположную крайность, мы приведем несколько восточных племен — язычников, как их называют, обнаруживающих добродетели, которые западные нации, называющиеся христианскими, только проповедуют. В то время как европейцы жаждут кровной мести почти так же, как самые первобытные из дикарей, существует несколько скромных племен, живущих в горах Индостана, которые, как, например, депчасы, «удивительно легко прощают обиды»¹.

¹ Campbell. // Journal of the Ethnological Society. Vol. I. N. S. (1869) July. P. 150.

Кэмпбелл приводит «примеры сильно развитого чувства долга у этих дикарей»¹. Те черты, которые мы считаем присущими христианскому учению, проявляются в самой высокой степени в племени арафуров (папуасы), которые «живут в полном мире и братской любви между собой»²; так что власть у них существует только номинально. Что касается различных индийских горных племен, как, например, санталы, соурасы, мариасы, лепчасы, бодосы и дималы, то различные наблюдатели многократно свидетельствуют о них, что «это самый честный народ, какой я только встречал»³, «преступления и уголовные кары им совершенно незнакомы»⁴, «симпатичной чертой их характера является их полнейшая добросовестность»⁵, «они отличаются необыкновенною добросовестностью и честностью»⁶, «они удивительно честны»⁷, «честны и верны на деле и на словах»⁸. Независимо от расы мы встречаем эти черты вообще в людях, которые продолжительное время пользовались миром (однородный антецедент), будь то якуны полуострова Малакка, которые никогда еще, насколько известно, ничего не украли, даже самого ничтожного пустяка⁹ или госы (в Гималаях), среди которых достаточно сомнения в чьей-нибудь честности или правдивости, чтобы приговорить человека к самоуничтожению¹⁰. Так что в отношении совести эти некультурные народы настолько же превосходят среднего европейца, насколько культурные европейцы превосходят грубых варваров, описанных нами выше.

Если бы эти и другие подобные им факты известны были Канту, они не могли бы не повлиять на его представление о человеческом духе и, следовательно, на его этические

¹ Ibid. P. 154.

² Dr. H. Kolff. Voyages of the Dutch brig «Dourga».

³ Hunter W. W. Annals of Rural Bengal. P. 248.

⁴ Ibid. P. 217.

⁵ Dr. I. Shortt. Hill Ranges of Southern India. Pt III. P. 38.

⁶ Glasf. // Selections from the Records of Government of India (Foreign Department). No. XXXIX. P. 41.

⁷ Campbell. // Journal of the Ethnological Society. Vol. I. N. S. (1869) July. P. 150.

⁸ Hodgson B. H. // Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. XVIII. P. 745.

⁹ Rev. Favre. // Journal of the Indian Archipelago. Vol. II. P. 266.

¹⁰ Col. E. T. Dalton. // Descriptive Ethnology of Bengal. P. 206.

воззрения. Уверенный в том, что один предмет его благоговения — звездный мир — есть результат эволюции, он мог бы, под влиянием фактов, подобных вышеприведенным, предположить, что и другой объект его благоговения — человеческая совесть — подвергалась некоторой эволюции и имеет, следовательно, реальную, отличную от кажущейся, природу.

Но нынешние ученики Канта не имеют права на то оправдание, которого заслуживает их учитель. Они окружены мириадами фактов различного рода, которые должны бы заставить их по крайней мере призадуматься над этим вопросом. Вот некоторые из них.

Хотя в противоположность дикарю, предполагающему все именно таким, каким оно ему представляется, химики давно уже знали, что различные вещества, кажущиеся нам простыми, в действительности оказываются сложными и часто даже чрезвычайно сложными, тем не менее, до Гумфри Дэви даже химики были убеждены, что некоторые тела, противостоявшие всем известным способам разложения, должны быть причислены к элементам. Но Дэви, подвергнув щелочи действию не применявшейся до тех пор силы, доказал, что это окислы металлов; предположив то же самое относительно земель, он таким же путем доказал и их сложность. Здравый смысл не только дикаря, но также и культурного человека оказался неправым. Более широкое знание, по обыкновению, привело к большей скромности, и со времен Дэви химики стали питать меньше доверия к тому, что так называемые элементы действительно простые тела, и, наоборот, постоянно возрастающий многообразный опыт заставляет ученых все более и более подозревать их сложность.

Как земледельцу, который выкапывает известняк из земли, так и плотнику, который пользуется им в своей мастерской, известняк представляется самой простой вещью в мире, и 99 человек из 100 согласились бы вполне с ними. Между тем кусок известняка по своему строению чрезвычайно сложен. Микроскоп показывает нам, во-первых, что известняк состоит из мириад раковинок *Foraminifera*, во-вторых, что он заключает в себе не один только этот род раковин и, наконец, что каждая мельчайшая раковина, целая или ломаная, состоит из массы камер, из которых каждая некогда заключала живую особь. Таким образом, при обыкновенном, хотя и тщательном, осмотре

настоящая природа известняка не может быть открыта, и для того, кто питает абсолютное доверие к своему глазу, разъяснение истинной его природы покажется нелепостью.

Возьмем теперь органическое тело, самое несложное с виду, например картофелину. Разрежьте ее и заметьте, как бесструктурна ее масса. Но в то время, как наблюдение простым глазом изрекает такой приговор, лучше вооруженный глаз наблюдает нечто совершенно отличное; он открывает прежде всего, что масса картофелины пронизывается повсюду сосудами сложного строения; далее, что она составлена из бесчисленного множества единиц, называемых клетками, из которых каждая имеет стенки, состоящие из ряда слоев. Далее, что каждая из этих клеточек заключает в себе известное количество крахмальных зерен и, наконец, что каждое из этих зерен состоит из целого ряда концентрических слоев, так что то, что с виду представляется совершенно простым, на самом деле оказывается чрезвычайно сложным.

От этих примеров, доставляемых нам объективным миром, перейдем к примерам, почерпнутым из мира субъективного, — к некоторым состояниям нашего сознания. До самого последнего времени человек, которому бы сказали, что впечатление белизны, получаемое им при взгляде на снег, состоит из комплекса впечатлений, подобных тем, которые вызываются радугой, счел бы своего собеседника за сумасшедшего, что сделала бы, впрочем, и в настоящее время большая часть человеческого рода. Но со времени Ньютона относительно небольшому числу людей стало достоверно известно, что это факт несомненный. Мы не только можем при помощи призмы разложить белый луч на известное число ярких цветов, но при помощи соответствующего приспособления можем снова соединить их в белый цвет: световое ощущение, представляющееся чрезвычайно простым, оказывается крайне сложным; те, которые имеют привычку считать предметы именно такими, какими они им кажутся, в этом случае так же ошибаются, как и в бесчисленных других случаях. Другой пример возьмем из области слуховых ощущений. Отдельный звук, извлеченный из фортепиано или из трубы, возбуждает в нашем ухе впечатление, которое представляется однородным, и необразованный человек с недоверием относится к объяснению, что это есть сложная комбинация

шумов. Прежде всего, тон, который составляет наиболее основную часть звука, сопровождается известным числом обертонов, образующих то, что называется его *тембром*: вместо одного звука имеется их с полдюжины, из которых характер основного определяется другими звуками. Затем, каждый из этих звуков, состоя в действительности из целого ряда воздушных волн, субъективно вызывает в слуховом нерве быстрые ряды впечатлений. Посредством прибора Гука (Hooke) или машины Савара (Savart), или, наконец, при помощи сирены может быть ясно показано, что каждый музыкальный звук есть продукт последовательно сменяющихся единиц звука, не музыкальных самих по себе, которые следуют друг за другом с возрастающей скоростью, производят тоны прогрессивно увеличивающейся высоты. Здесь, следовательно, опять под кажущейся простотой скрывается сугубая сложность.

Большая часть этих примеров иллюзорности простого восприятия как в объективной, так и в субъективной области были неизвестны Канту. Если бы он был с ними знаком, они внушили бы ему, вероятно, другие взгляды на некоторые из состояний нашего сознания и придали бы другой характер его философии. Посмотрим же, какого рода могли бы быть эти изменения в двух его основных воззрениях — метафизическом и этическом. Наше сознание времени и пространства представлялось ему, как оно представляется обыкновенно и всем совершенно простым, и эту видимую простоту он принял за действительную. Если бы он предположил, что, подобно тому, как кажущееся однородным и неразложимым сознание звука в действительности состоит из множества единиц сознания, так и кажущееся однородным и неразложимым сознание пространства также состоит из целого ряда единиц сознания, — он пришел бы, по всей вероятности, к вопросу, не состоит ли всецело наше сознание пространства из бесчисленного множества пространственных отношений, подобных тем, которые заключаются в каждой его части. Найдя, что всякая часть пространства, как самая большая, так и самая мельчайшая, не может быть нами ни познана, ни понята иначе, как в каком-либо отношении к познающему субъекту, и что, кроме представления расстояния и направления, оно неизменно заключает в себе отношения левой и правой стороны, верха и низа, близости и дальности, — он пришел бы, может быть,

к выводу, что наше сознание о том основном явлении, которое мы называем пространством, было создано в процессе эволюции путем накопления целого ряда опытов, зарегистрированных в нашей нервной системе. Придя к такому выводу, он не высказал бы той массы нелепостей, которые заключаются в его учении¹. Также точно, если бы он, вместо того чтобы признать, что совесть есть явление простое, потому что она представляется обыкновенно таковою внутреннему наблюдению, допустил гипотезу, что она, быть может, сложного характера, составляя соединенный продукт множества опытов, произведенных главным образом предками и увеличенных самим индивидом, он создал бы, может быть, прочную систему этики. Что привычное из поколения в поколение ассоциирование страданий с известными предметами и действиями может создать органическое отвращение к этим предметам и действиям², этот факт, будь он ему известен, мог бы навести его на мысль, что совесть есть продукт эволюции. И в таком случае его представление о ней не было бы несовместимым с вышеприведенными фактами, доказывающими, что у людей различных рас совесть имеет совершенно различный характер. Словом, как уже сказано было выше, если бы Кант, вместо своего несообразного убеждения, что небесные тела произошли путем эволюции, но что ум живых существ, на них или по крайней мере на одном из них обитающих, с эволюцией ничего общего не имеет, держался мнения, что то и другое в равной мере обязано своим происхождением эволюции, он не впал бы в невозможные заблуждения, которые заключаются в его метафизике, и в неосновательные утверждения своей этики; к рассмотрению этих последних мы теперь и перейдем.

Но мы должны прежде сказать несколько слов о ненормальном рассуждении по сравнению с нормальным.

Знание, которое занимает первое место в смысле достоверности и которое мы называем точным знанием, отличается от всякого другого знания своими определенными количественными предвидениями³. Исходя из определенных данных

¹ См. «Основания психологии», §399.

² См. «Основания психологии», §189 (прим.) и §520.

³ См. опыт «Генезис науки».

и идя шаг за шагом, оно проходит путь, который дает ему возможность предсказать, при каких определенных условиях будет иметь место известное отношение явлений и в каком месте, или в какой момент, или в каком количестве, или при наличности каких из этих условий можно будет наблюдать тот или другой результат. Раз даны элементы какого-либо арифметического действия, есть уже безусловная уверенность в достоверности имеющего быть полученным результата, если только в вычисление не вкрались ошибки, допускающие всегда, при том методе, о котором здесь идет речь, поправки и опровержения. Если основания и углы точно измерены, то отдел геометрии, называемый тригонометрией, дает точное определение расстояния или высоты предмета, положение которого требуется определить. Если известно отношение плеч какого-либо рычага, механика может определить, какой вес на одном его конце уравновесит указанный вес на другом. И при помощи этих трех точных наук — математики, геометрии и механики — астрономия может предсказать минуту в минуту для любого места на земном шаре начало и конец затмения и насколько оно будет приближаться к полному. Знание этого рода подтверждается успешным руководством бесконечного множества человеческих действий. Отчеты любого промышленника, операции любой мастерской, плавание любого судна зависят от достоверности этих знаний. Поэтому метод, которому они следуют, проверенный на фактах, перечисление которых превосходит человеческие силы, есть метод, в смысле точности не могущий быть превзойденным. Но что это за метод? Какую из этих наук мы ни подвергли бы анализу, мы встречаем все тот же неизменный процесс установления положений, отрицание которых немислимо, и выведение последовательных, вытекающих из них положений, из которых каждое отличается тем же самым свойством, что отрицание его немислимо. Для развитого сознания (а я исключаю здесь, разумеется, людей с неразвитыми умственными способностями) немислимо представить себе такие предметы, которые, будучи равны порознь одному какому-нибудь предмету, в то же время неравны между собой, точно так же как развитое сознание не может мыслить действия и противодействия иначе, как равными и прямо противоположными. Равным образом и всякие *потому что* и *следовательно*,

употребляемые в математических доказательствах, предполагают теорему, члены которой абсолютно связаны между собою в указанном отношении, доказательством чего может служить то, что попытка соединить в сознании члены противоположного предположения бесплодна. И этот метод доказательства как основных предпосылок, так и всех звеньев того логического построения, которое на них возведено, находится постоянно в действии при проверке каждого вывода. Вывод и наблюдение сравниваются между собою, и, когда они находятся в согласии, немислимо, чтобы вывод не был верен.

Противоположность только что описанному мною методу, который мы могли бы назвать правильным априорным методом, представляет тот, который может быть назван — я едва не сказал — неправильным априорным методом. Но это недостаточно сильное выражение: он должен быть назван извращенным априорным методом. Вместо того чтобы исходить из положения, отрицание которого немислимо, он берет своим отправным пунктом положение, утверждение которого немислимо, и делает затем из него выводы. Но он, однако же, непоследователен: он не следует первоначально выбранному пути. Выставив вначале недопустимое положение, он не строит своих аргументов на ряд недопустимых положений. Все шаги, кроме первого, принадлежат к числу тех, которые считаются обыкновенно правильными. Последующие *следовательно и потому* стоят в обычном соотношении. Особенность его заключается в том, что во всех положениях, за исключением первого, читатель должен принять логическую необходимость сделанного вывода на том основании, что противоположный немислим, но он не должен искать подобного же соответствия логической необходимости также и в первом положении. Суждение логического сознания, которое должно быть признано годным для каждого последующего шага, должно игнорироваться при первом. Мы переходим теперь к иллюстрации этого метода.

Первое положение в первой главе у Канта гласит: «Ни в мире, ни даже вне его, не может быть мыслимо ничего, что могло бы быть признано без всяких ограничений добрым, кроме одной только моей доброй воли»¹.

¹ Kant. S. W. IV. Grundl. zur Metaph. d. Sitten. 1. Ab. S. 241.

И затем на следующей странице находится нижеследующее определение: «Добрая воля такова не вследствие того, что она производит или выполняет, — не вследствие годности ее для достижения той или иной поставленной себе цели, — а одним своим хотением, т.е. добрая сама по себе, рассматриваемая сама по себе она по своей ценности несравненно выше всего того, что когда-либо могло бы быть посредством ее осуществлено в угоду одной какой-нибудь склонности или хотя бы даже всех склонностей, вместе взятых»¹. Наибольшее число заблуждений вызывается привычкой применять слова, не переводя их вполне в мысль, — употреблять их в общепринятом смысле, не останавливаясь на том, насколько этот смысл, эти значения соответствуют им в данном случае. Не удовлетворяясь неопределенным представлением о том, что понимается под «доброю волей», постараемся раскрыть настоящее ее значение. Воля предполагает сознание какой-либо цели. Исключите из нее всякую мысль о цели, и представление воли исчезнет. Так как представление о воле необходимо предполагает какую-либо цель, то качество воли определяется качеством имеющейся в виду цели. Воля сама по себе, рассматриваемая независимо от какого бы то ни было определяющего эпитета, не может быть познана с нравственной стороны. Она становится познаваемою с нравственной стороны только тогда, когда получает характер доброй или злой воли в зависимости от предположенной доброй или злой цели. Тому, кто в этом сомневается, мы предложили бы попробовать, может ли он мыслить добрую волю, стремящуюся к дурной цели. Весь вопрос, следовательно, сводится к значению слова «добрая». Рассмотрим прежде всего значения, обыкновенно ему придаваемые.

Мы говорим о хорошем хлебе, хорошем вине; под этими выражениями мы разумеем предметы вкусные и потому доставляющие удовольствие или предметы, полезные для здоровья, которые, содействуя здоровью, ведут к удовольствию. Хороший огонь, хорошее платье, хороший дом — все эти выражения употребляются нами потому, что эти предметы или служат комфорту, т.е. нашему удовольствию, или ласкают наше эстетическое чувство, следовательно, тоже доставляют нам

¹ Ibid. S. 292.

удовольствие. Это относится к тем предметам, которые более косвенно служат нашему благополучию, чем хорошие орудия или хорошие дороги. Когда мы говорим о хорошем работнике, хорошем учителе, хорошем докторе, мы опять-таки подразумеваем под этим успешное содействие благополучию других. Хорошее правительство, хорошие учреждения, хорошие законы указывают на преимущества, доставляемые обществу, среди которого они существуют, преимущества, равноценные известным родам счастья, положительного или отрицательного. Между тем Кант говорит, что добрая воля есть та, которая является доброй сама по себе, независимо от какой бы то ни было цели. Мы не должны видеть в ней нечто, побуждающее к действиям, полезным для самого индивида, содействуя ли его здоровью, повышая ли его культуру или облагораживая его наклонности, ибо все это в конце концов ведет к счастью и только потому и поощряется. Мы не должны считать волю доброй, потому что ее осуществление избавляет друзей от страданий или содействует развитию их благополучия, ибо это привело бы нас к заключению, что мы называем ее доброй ввиду благотворности ее целей. Мы не должны также, пытаясь составить себе о ней представление, принимать в соображение содействие ее социальным улучшениям в настоящем или будущем. Одним словом, мы должны составить себе идею доброй воли независимо от какого бы то ни было материала, из которого можно было бы вообще построить идею доброго; мы должны пользоваться этим понятием как лишенным всякого содержания термином.

Здесь мы имеем пример того метода, который я назвал выше извращенным априорным методом философствования: исходной точкой является недопустимое положение. Кантовская метафизика исходит из утверждения, что пространство есть «не что иное, как» форма познания, всецело присущая субъекту, а отнюдь не объекту. Это положение, буквальный смысл которого ясен, принадлежит к числу тех, члены которого не могут уложиться в нашем сознании, ибо ни Канту, ни кому другому не удалось до сих пор привести к единству представления мысль о пространстве и о своем «я» так, чтобы первое являлось атрибутом второго. Здесь же мы видим, что и кантовская этика точно так же начинает с установления того, что как будто бы имеет значение, на самом же деле его не имеет, —

нечто такое, что при раз данных условиях не может быть вовсе мыслимо. Ибо ни Кант, ни кто-либо другой никогда не мог и не сможет построить представление о доброй воле, если из слова «добрый» будет исключена всякая мысль о тех целях, которые мы под этим именем различаем.

Кант, очевидно, и сам видел, что его утверждение способно вызвать возражения, ибо он идет им навстречу. Он говорит: «Тем не менее эта идея абсолютного значения чистой воли, из оценки которой исключено всякое соображение об ее полезности, представляет нечто настолько странное, что, несмотря на полное согласие с ней даже обыкновенного разума (!), должно возникнуть подозрение, что в основе ее, может быть, таинственно скрывается одна только выпрєнная фантазия» (*Kant. S. W. IV. Metaph. d. Sitten. S. 242. Hartenst.*). И далее, приготавлиаясь к защите, он продолжает: «В отношении к природному строению организованного существа мы принимаем в качестве основоположения, что оно не заключает в себе ни одного органа, для какой бы цели он ни предназначался, который не был бы вместе с тем наиболее для этой цели пригодным и приспособленным» (*Ibid. S. 243*). Если бы даже это утверждение было вполне верно, основываемый им на нем аргумент, притянутый, нужно сознаться, немножко издалека, не обладает достаточною силой для того, чтобы оправдать предположение о существовании воли, которая может быть мыслима доброй независимо от какой бы то ни было хорошей цели. Но к несчастью для Канта, это утверждение крайне несостоятельно. В его время оно прошло, вероятно, без спору, но в наше время очень немногие биологи, если только такие вообще найдутся, согласятся его принять. С точки зрения гипотезы отдельных актов творения, еще возможны кое-какие доводы в пользу этого положения, но эволюционная гипотеза по самой своей сущности его совершенно отвергает. Начнем с некоторых более мелких фактов, противоречащих кантовскому положению. Возьмем для начала рудиментарные органы, многочисленные в царстве животных. Представляя собой органы, бывшие полезными в исчезнувших типах, они совершенно бесполезны для тех типов, у которых существуют эти органы в настоящее время; к тому же, будучи рудиментарными, они неизбежно должны быть несовершенными. Помимо своей бесполезности, они оказываются даже пря-

мо вредными, потому что на них совершенно бесцельно затрачивается некоторая доля питательного материала; в других случаях они вредны уже по одному тому, что являются помехой для тех или других действий. Затем, кроме аргумента, вытекающего из факта существования рудиментарных органов, мы можем привести еще аргумент, основанный на существовании обширного класса органов вспомогательных (*makeshift*). Очевидный пример этого мы имеем в плавательном органе тюленя, образованном посредством соединения двух задних конечностей; это орган, явно мало пригодный по сравнению с таким, который был бы специально для этой цели создан и который в течение предшествовавших периодов, вызвавших его изменение, был, вероятно, очень мало полезен. Но самым разительным доказательством неверности этого положения является сравнение какого-либо органа у низшего типа с тем же самым органом у высшего типа. Например, пищевой канал у низших типов представляет простую трубку, существенно одинаковую на всем своем протяжении и исправляющую во всех своих частях одни и те же функции. У высшего типа эта трубка дифференцируется: она разделяется на глотку, пищевод, желудок (или желудка), тонкую и толстую кишку с различными принадлежащими к ним железами, выделяющими различные секреты. Но если эту последнюю форму пищевого канала мы должны рассматривать как совершенный орган или нечто в этом роде, то что же скажем мы о первоначальной его форме или о всех лежащих между этими двумя формами промежуточных формах? Сосудодвигательная система представляет такое же ясное доказательство. В первоначальном своем виде сердце есть не что иное, как расширение большой кровеносной артерии, — сокращающийся мешок. У млекопитающих же сердце имеет четыре камеры с клапанами, при помощи которых кровь прогоняется через легкие для окисления и через всю систему — для общих целей организма. Если это четырехкамерное сердце представляет орган, достигший полного развития, то что в таком случае представляет первоначальная форма сердца и вообще сердце у бесчисленного множества тварей, стоящих ниже высших позвоночных? Процесс эволюции, очевидно, предполагает постоянное замещение тварей с менее развитыми органами тварями, обладающими органами высшего

типа; причем остаются только те из низших, которые способны пережить и занять места в низших сферах жизни. И это явление наблюдается не только во всем животном царстве, кончая человеком, но то же самое происходит и в пределах человеческой расы. Не только мозг и нижние конечности различных низших рас являются по сравнению с теми же органами высших рас малоудовлетворительными, но даже и в высшем человеческом типе мы видим значительные несовершенства. Строение паха несовершенно: обуславливаемые этим частые случаи грыжи были бы устранены, если бы паховые кольца сменялись в период эмбриональной жизни, когда их функция уже выполнена. Даже такой наиболее важный орган, как позвоночный столб, также не вполне еще приурочен к вертикальному положению тела. Только при значительной силе могут быть удержаны без заметных усилий те мускульные сокращения, которые вызывают S-образный изгиб и приводят поясничный отдел в такое положение, при котором осевая линия находится в нем. У маленьких детей, у мальчиков и девочек, которых заставляют «сидеть прямо», а также у слабых и у старых людей спинной хребет принимает ту выгнутую форму, которая составляет отличительную черту низших приматов. То же самое относится и к равновесию головы. Только при помощи мускульного напряжения, к которому мы в силу привычки становимся нечувствительными, как наше лицо к ощущению холода, голова сохраняет свое положение. Как только известные шейные мускулы ослабевают, голова подается вперед, и при большой слабости подбородок лежит всегда на груди.

Положение Канта, следовательно, так далеко от истины, что справедливым оказалось бы, вероятно, диаметрально противоположное ему положение. Рассмотрев бесчисленное множество примеров несовершенства строения, встречающихся у низших типов и уменьшающихся по мере восхождения к более высоким типам, не исчезающих, однако же, окончательно даже и в самых высоких, мы должны прийти к совершенно основательному заключению, что эволюция не достигла еще своего предела, что ничего, подобного совершенному органу, по всей вероятности, не существует. Таким образом, совершенно исчезает основание для того аргумента, при помощи которого Кант пытается доказать свое положение о существовании доброй

воли независимо от доброй цели и оставляет его учение во всей его явной несостоятельности¹.

¹ Я нахожу, что в последних трех параграфах оказал Канту слишком мало и вместе с тем и слишком много справедливости. Слишком мало — предположив, что его эволюционное воззрение ограничивается генезисом нашей звездной системы, слишком много — признав, что он себе нигде не противоречит. Мое знакомство с трудами Канта чрезвычайно ограничено. В 1844 г. мне попался перевод его «Критики чистого разума» (тогда, кажется, только что вышедший) и прочел несколько первых страниц, на которых излагается его учение о времени и пространстве. Полнейшее несогласие с ним в этом вопросе заставило меня отложить книгу. С тех пор дважды повторялось то же самое, ибо я — читатель нетерпеливый, и, когда я не согласен с основными положениями какого-либо труда, я не могу продолжать его читать. Я знал, кроме того, и еще одну вещь. Косвенным путем до меня дошло, что Кант высказал мысль, что небесные тела образовались путем агрегации рассеянной материи. Далее этого не шло мое знакомство с воззрениями Канта, и мое предположение, что его представление об эволюции остановилось на генезисе Солнца, звезд и планет, основывалось на том, что его учение о времени и пространстве, как о формах мышления, предшествующих опыту, предполагало сверхъестественное происхождение, противоречащее гипотезе естественного генезиса. Д-р П. Карус (Paul Carus), который вскоре после появления этой статьи в «Fortnightly Review» в июле 1888 г. предпринял защиту кантовской этики в издаваемом им американском журнале, «The Open Court», перевел теперь (4 сент. 1890 г.) в другой защитительной статье много мест из его «Критики способности суждения», из его «Вероятного происхождения человечества» и из сочинения «О различных человеческих расах», доказывающих, что Кант в своих умозрениях относительно органических существ был если и не вполне, то отчасти эволюционистом. Здесь имеется, быть может, некоторое основание сомневаться в правильности перевода этих мест д-ром Карусом. Если в первой из указанных здесь статей он не смог разобраться между сознательностью и совестливостью или, как это имело место в последней из трех статей, он осуждает англичан за неверный перевод Канта на том основании, что, по их словам, Кант «утверждает, что время и пространство суть интуиции», что, однако, совершенно неверно, ибо они везде приписывали ему утверждение, что время и пространство суть *формы интуиции*, — это дает право предполагать, не вычитал ли д-р Карус в каких-нибудь выражениях Канта такие значения, которых они, собственно, не заключают. Однако общее направление приведенных мест достаточно уясняет, что Кант должен был признавать широкое, если и не всеобщее, значение естественных причин как условий,

Одно из положений, заключающихся в первой главе сочинения Канта, гласит: «Мы видим, что чем более человек с развитым умом предаётся стремлению к наслаждению жизнью и к счастью, тем более удаляется он от истинного удовлетворения». Предварительное замечание, которое можно было бы сделать по поводу

содействующих возникновению органических форм, и это предположение (которое, как он говорит, «может быть названо «отважной попыткой разума») он распространял в некоторой степени до происхождения человека включительно. Тем не менее он не распространяет теории естественного генезиса до исключения теории супернатурального генезиса. Когда он говорит об органической наклонности, «которая, в силу мудрости природы, является как бы приспособленной к тому, чтобы обеспечить существование видов», и когда далее он говорит: «Мы видим, кроме того, что в него заложено зерно разума, вследствие чего он, по мере развития этого последнего, предназначен для социальных сношений», — то он предполагает при этом вмешательство Бога. Это доказывает, что я был прав, приписывая ему убеждение, что время и пространство, как формы мысли, являются данными нам свыше. Если б он составил себе последовательное представление об органической эволюции, он неизбежно должен был прийти к пониманию времени и пространства как субъективных форм, возникающих путем общения с объективной действительностью.

Эти переведенные д-ром Карусом места доказывают не только, что Кант имел если не полную, то, по крайней мере, частичную веру в органическую эволюцию (хотя и не имея представления о ее причинах), но также и то, что он имел связанное с этим убеждение, которое для меня особенно важно здесь отметить, так как оно имело отношение к его теории «доброй воли». Он с полным одобрением приводит лекцию д-ра Москати, утверждающего, «что вертикальное положение человеческого тела при ходьбе несвободно и неестественно», и указывающего несовершенство внутреннего строения человека и обуславливаемые им боли; и он не только принимает, но и разъясняет далее его аргументацию. Если мы имеем здесь ясное допущение или, вернее, утверждение, что различные органы человеческого тела недостаточно сообразованы для исполнения своих функций, то что значит приведенный выше постулат, что «в нем не найдется ни одного органа, каково бы ни было его назначение, который не был бы наиболее годным и наилучше приспособленным для этой цели»? И что нам делать с аргументацией, для которой этот постулат служит исходным пунктом? Ясно, что я обязан д-ру Карусу за то, что он доставил мне возможность доказать, что кантовская защита теории «доброй воли», как им самим обнаружено, лишена основания.

этого положения, это то, что в своей общей форме оно неверно. Я утверждаю, что оно неверно на основании собственного опыта. В течение всей жизни было несколько периодов, из которых каждый длился в среднем более месяца, в течение которого преследование счастья было моей единственной целью, причем это преследование увенчивалось каждый раз успехом. Насколько оно было успешно, можно судить по тому, что я с радостью согласился бы пережить снова любой из этих периодов без всяких перемен, чего я, конечно, не могу сказать о каком бы то ни было периоде моей жизни, проведенном в ежедневном исполнении обязанностей. Кант должен бы сказать, что *исключительное* преследование того, что различается под именем удовольствий и развлечений, приводит к разочарованию.

Это, несомненно, верно и по той простой причине, что оно вызывает переутомление одной группы способностей, которые при этом истощаются, оставляя в бездействии другую группу, которая вследствие того не доставляет нам связанного с ее упражнением удовольствия. Кант ошибочно предполагает, что к разочарованию приводит в таком случае «развитой ум»; напротив, это результат руководства ума неразвитого, ибо культурный разум внушает нам, что продолжительное действие одной небольшой части организма, соединенное с бездействием всего остального организма, должно привести к неудовлетворенности.

Но допустим, что мы принимаем положение Канта в полном его объеме, — каково же его применение? Что счастье есть то, чего мы должны желать и так или иначе должны достигать. Ибо если это не так, то что значит тогда положение, что оно не будет нами достигнуто, если мы сделаем его непосредственным объектом наших стремлений? Человек, к которому обратились бы с таким увещанием, мог бы ответить: «Вы говорите, что я не достигну счастья, если сделаю его предметом своих стремлений. Допустим, что я не делаю его объектом своих стремлений; достигну ли я его в таком случае? Если да, то ваше увещание сводится к тому, что я скорей достигну его, если буду действовать не так, как действую, а как-нибудь иначе. Если же нет, то я одинаково буду лишен счастья, буду ли я действовать по своему усмотрению или по вашему указанию, и, следовательно, ничего не выиграю». Пример лучше всего уяснит

дело. Представим себе инструктора, который говорит учащемуся в стрельбе: «Милостивый государь, вы не должны направлять свою стрелу прямо в мишень, вы непременно промахнетесь. Вы должны целить значительно выше цели, в таком случае вы, может быть, попадете в мишень». Каков смысл такого совета? Очевидно, то, что цель заключается в том, чтобы миновать цель, иначе не имело бы никакого смысла замечание, что в цель не попадешь, если будешь прямо в нее целиться, так же как и то, что нужно целиться выше ее, чтобы попасть в нее. То же самое относится и к счастью: замечание, что счастья не найти, если его прямо искать, не имело бы никакого смысла, если бы счастье не было тем или другим путем достижимо.

«Нет, в этом есть смысл, — говорят мне. — Точно так же как возможно, что в цель вообще нельзя попасть, ни целясь прямо в нее, ни целясь выше, но что можно попасть во что-нибудь другое, так возможно, что то, что может быть достигнуто немедленно или по прошествии известного времени, вовсе не счастье, но нечто другое, и это другое есть долг». В ответ на это человек может очень основательно возразить: «Что же значит в таком случае утверждение Канта, что человек, который стремится к счастью, не достигает истинного удовлетворения? Всякое счастье состоит из удовлетворения. То «истинное удовлетворение», которое Кант предлагает нам взамен этого, должно представлять род счастья, и, чем истиннее удовлетворение, тем лучшим оно должно быть счастьем, а лучшее должно в общем значить большее. Если это «истинное удовлетворение» не значит большее личное счастье в будущем, если и не в настоящем, в другой жизни, если не в этой, — и если оно не значит большее счастье, заключающееся в доставлении счастья другим, тогда, значит, вы предлагаете мне как цель, к которой я должен стремиться, меньшее счастье вместо большего, и я отказываюсь от него».

Таким образом, в этом прямом отрицании счастья, как цели, заключается неизбежное утверждение, что оно есть цель.

Последнее соображение естественно приводит нас к другой основной доктрине Канта. Для того чтобы в мое изложение не вкралась ошибка, мне придется привести большую цитату:

«Я опускаю здесь все те действия, которые признаются уже прямо противными долгу, хотя бы они были в каком-либо отношении полезны, ибо относительно этих поступков не может

быть даже вопроса, совершены ли они из чувства долга, так как они ему даже противоречат. Я оставляю также в стороне и те поступки, которые действительно согласны с долгом, но к которым люди не имеют непосредственной *склонности* и совершают их потому, что их к этому побуждает какая-либо другая склонность, ибо в таком случае легко различить, совершено ли это согласное с долгом действие из *чувства долга* или из эгоистических побуждений. Гораздо труднее усмотреть это различие там, где поступок соответствует долгу, но где субъект, кроме того, имеет к нему *непосредственную* склонность. Например, долг несомненно требует, чтобы лавочник не брал слишком дорого с неопытных покупателей, и при значительной торговле умный купец этого и не делает: он устанавливает определенную цену для всех и каждого, так что дитя может у него так же хорошо купить, как и всякий взрослый. Он поступает, следовательно, со своими покупателями *честно*, но одного этого обстоятельства отнюдь не достаточно для того, чтобы заключить, что он поступает таким образом из чувства долга и из принципов честности, — его выгода требовала этого. Чтобы он при этом питал еще непосредственную склонность к покупателям, в силу которой он как бы из любви не хочет дать преимущества в цене одному перед другим, — здесь невозможно допустить. Следовательно, это действие вызвано не долгом и не непосредственной склонностью, а только эгоистическим побуждением.

Напротив, сохранение своей жизни есть долг, и, кроме того, каждый человек имеет к этому также и непосредственную склонность. И тем не менее страстная заботливость, с какою часто большинство людей относится к сохранению своей жизни, не имеет внутренней ценности, и максима ее не имеет нравственного содержания. Они заботятся о своей жизни, хотя и *сообразно долгу*, но не *по долгу*. И напротив, когда несчастья и безнадежное горе совершенно убили в человеке всякую любовь к жизни, когда, сильный духом, он, скорее негодуя на свою судьбу, чем малодушествуя и впадая в уныние, желает смерти и все-таки поддерживает свою жизнь, не из любви к ней и не из склонности или страха, но из чувства долга, — тогда его максима приобретает нравственную ценность.

Благотворить, где это возможно, — наш долг, и независимо от этого бывают люди так симпатически настроенные, что

они и помимо побуждений тщеславия и своекорыстия находят душевное удовольствие в распространении вокруг себя радости и могут наслаждаться довольством других, поскольку оно составляет дело рук их. Но я утверждаю, что подобного рода действия, как бы они ни были соответственны долгу и симпатичны, не имеют все же истинной нравственной ценности, но совершенно равноценны с другими склонностями». (*Kant. S. W. Hartenstein. Augs. IV, Met. d. Sitten. S. 245 ff.*)

Я привел это место целиком, чтобы дать возможность уяснить себе в конечной мере выраженную здесь доктрину, особенно замечательную в той форме, в какой она является в последнем заявлении. Рассмотрим теперь ее значение.

Прежде чем перейти к ее рассмотрению, я, однако же, замечу, что, располагая достаточным местом, нетрудно было бы показать, что принятое различие между чувством долга и склонностью не выдерживает критики. Уже само выражение *чувство долга* показывает, что определяемое им душевное состояние есть чувство, и, как таковое, оно должно, подобно другим чувствам, находить удовлетворение в действиях одного рода и оскорбляться действиями противоположного рода. Если мы возьмем слово «совесть», которое равнозначно с чувством долга, то получим то же самое. Обычные выражения «чуткая совесть», «тупая совесть» указывают на представление, что совесть есть чувствование, — чувствование, имеющее свое удовлетворение и неудовлетворение, *побуждающее* человека к действиям, которые доставляют первое и устраняют второе, т.е. создают склонность. На самом деле совесть или чувство долга есть склонность сложного рода, что отличает ее от склонностей более простого рода.

Возьмем, однако, кантовскую дистинкцию в неизменной форме, но при этом будем иметь в виду его положение, что действия, какого бы рода они ни были, совершенные по внутреннему влечению (склонности), не имеют нравственной ценности и что единственные действия нравственно ценны суть те, которые внушаются чувством долга. Для оценки этого положения разберем приводимый им пример. Так как, согласно требованию Канта, для суждения о качестве какого-либо действия нужно предположить его универсальным, то, разбирая нравственную ценность, как он ее понимает, будем исходить из такового же предположения. Для большей успешности нашего труда

мы будем принимать, что она проявляется не только в действиях каждого человека, но и во всех без исключения действиях каждого человека. Если только Кант не допускает, что человек может быть нравственно слишком хорош, мы должны принять, что, чем больше число поступков, имеющих нравственную ценность, тем лучше. Поэтому представим себе, что человек ничего не делает по склонности, но всё по чувству долга. Когда он платит земледельцу, работавшему на него неделю, он делает это не потому, что не заплатить ему противоречило бы его склонности, но потому, что понимает, что исполнение договора есть долг человека. Его заботливость о престарелой матери вызывается не нежным чувством к ней, но сознанием сыновней обязанности. Если он свидетельствует в пользу человека, несправедливо, как ему известно, обвиненного, то он делает это не потому, что ему тяжело было бы видеть его несправедливо наказанным, но просто вследствие нравственной интуиции, которая внушает ему, что общественная обязанность требует, чтобы он свидетельствовал. Когда он видит маленького ребенка, которому угрожает опасность быть раздавленным, и останавливается для того, чтобы спасти его, он делает это не потому, что его пугает мысль о неминуемой смерти ребенка, но потому, что он знает, что спасение жизни человека есть долг. И так во всем, во всех своих отношениях; как муж, как друг, как гражданин, он думает постоянно о том, что предписывает закон нравственного поведения, и исполняет предписанное, потому что этого требует закон нравственного поведения, а не потому, что он таким образом удовлетворяет своему чувству или своим симпатиям. Но этого мало. Доктрина Канта ведет его гораздо дальше. Если только те действия, которые вытекают из чувства долга, нравственно ценны, то мы не только должны сказать, что нравственная ценность человека возрастает пропорционально числу подобных действий, но также и что его нравственная ценность возрастает по мере того, как чувство долга заставляет его поступать нравственно не только независимо от своей склонности, но и вопреки ей. Таким образом, по Канту, наиболее нравственный человек есть тот, чье чувство долга настолько сильно, что он выдерживается от обчистки чужого кармана, хотя ему и очень хочется его обобрать; который говорит о другом правду, хотя ему и хотелось бы его оклеветать; который ссужает своего брата

деньгами, хотя он и предпочел бы видеть его в нужде; который зовет к своему больному ребенку врача, хотя смерть избавила бы его от того, что он чувствует как обузу. Но что бы мы подумали о мире, населенном кантовскими типичными нравственными людьми, — людьми, которые, с одной стороны, поступая относительно своего ближнего хорошо, делают это с полным индифферентизмом и отлично знают, что и другие в отношении их так же поступают, с другой стороны, поступают хорошо, несмотря на побуждения дурных страстей поступить иначе, и отлично знают, что окружены людьми с такими же побуждениями. Большинство людей скажет, я полагаю, что даже в первом случае жизнь будет почти невыносимой, а в последнем она станет совершенно невыносимой. Если бы такова была природа человека, Шопенгауэр был бы прав, настаивая на том, что человеческая порода приведет себя возможно скоро к уничтожению.

Перейдем теперь к действиям человека, не имеющим, по Канту, нравственной ценности. Такой человек делает свое дело, не думая об обязанностях по отношению к жене и ребенку, но ощущая только удовольствие при виде их благосостояния; возвращаясь домой, он с наслаждением смотрит на своего ребенка, как он, краснощекий, с веселыми глазками, усердно убирает за обе щеки свою порцию. Когда он отдает лавочнику шиллинг, который тот по ошибке передал ему при расчете, он не спрашивает, что предписывает нравственный закон: мысль воспользоваться ошибкой торговца невыносимо отвратительна для него. При виде утопающего он бросается на помощь без всякой мысли об обязанности, только потому, что не может без ужаса думать об угрожающей человеку смерти. Видя достойного человека, не находящего занятий, он прилагает всяческое старание, чтобы найти ему место; он делает это потому, что сознание затруднительного положения, в котором находится этот человек, причиняет ему страдание и потому, что он знает, что окажет этим услугу не только ему, но и тому, кто его наймет: никакие нравственные правила не приходят ему при этом в голову. Когда он навещает больного друга, мягкий тон его голоса и доброта, сквозящая в чертах его лица, показывают, что он пришел не из чувства долга, но движимый состраданием и желанием ободрить больного. Если он принимает участие в каком-нибудь полезном общественном деле, он делает это

не в силу предписания: «Поступай так, как ты желал бы, чтобы с тобою поступали», — но потому, что бедствие окружающих его людей причиняет ему страдание и мысль уменьшить его доставляет ему удовольствие. И так во всем: он поступает всегда хорошо не из повиновения какому-нибудь предписанию, а потому что любит добро само по себе и для себя. Спросим теперь: кто не желал бы жить среди подобных ему людей?

Что же нам думать о кантовском понимании нравственной ценности, если при всеобщем проявлении ее в поступках людей жизнь стала бы невыносимой, тогда как тот же самый мир был бы прекрасен, если бы те же действия вытекали из склонности?

Но перейдем теперь от этих косвенных критических замечаний к прямой критике кантовского принципа, — того принципа, который часто цитируется как характерное отличие его этики. Он формулирует его так: «Итак, категорический императив только один и именно: «Поступай только согласно той максиме твоей воли, которую ты желал бы вместе с тем видеть в качестве всеобщего закона» (*Kant. S. W. Hartenstein. Augs. IV. Met. d. Sitten. S. 269*).

И далее мы снова читаем: «Поступай согласно тем максима́м, которые могут вместе с тем иметь в качестве всеобщих законов природы своим объектом самих себя» (*Ibid. S. 285*).

Здесь мы имеем, следовательно, ясное выражение того, что определяет характер доброй воли, каковая, как мы уже знаем, признается существующей независимо от какой бы то ни было поставленной себе цели. Посмотрим теперь, как эта теория применяется на практике. Говоря о человеке абсолютно эгоистичном и в то же время абсолютно справедливым, Кант влагает ему в уста следующие слова: «Пусть каждый будет счастлив, насколько ему позволяет небо или насколько он может сам сделать себя счастливым; я ничего у него не отниму и даже не стану ему завидовать; я только не имею ни малейшего желания содействовать его благополучию или помогать ему в нужде! Несомненно, что если бы такой образ мыслей сделался всеобщим законом природы, человеческий род отлично мог бы существовать, и даже без сомнения лучше, чем когда каждый болтает о сочувствии и благожелательстве и даже при случае старается проявить эти качества на деле, но зато, где может, обманывает,

продает чужое право или вредит ему каким-либо другим путем. Но хотя и возможно, чтобы существовал всеобщий закон природы, соответствующий этой максиме, но невозможно *желать*, чтобы такой принцип имел повсюду значение закона природы. Ибо воля, которая пришла бы к такому решению, противоречила бы сама себе, так как могут явиться случаи, когда человек нуждается в любви и сочувствии, между тем он в силу такого возникшего из его собственной воли закона природы лишил бы сам себя всякой надежды на поддержку, которую себе желает» (*Kant. S. W. Hartenstein. Augs. IV. Met. d. Sitten. S. 271*).

В этих строках мы имеем ясную картину поведения, руководимого в соответствии с максимой Канта; в чем же состоит это руководство? Оно заключается в рассмотрении в каждом отдельном случае, какой результат получился бы, если бы данный образ поведения сделался всеобщим, и затем в отказе от подобного поведения в случае негодности предстоящего результата. Но что же в таком случае делает доктрина доброй воли, которая, как нас уверяли, существует «без всякого отношения к ожидаемым от нее результатам» (с. 20). Добрая воля, отличительной чертой которой является то, что внушаемые ею действия желательно видеть всеобщими, в этом частном случае, как и во всяком другом случае, определяется соображением о цели, — если не какой-либо специальной и непосредственной цели, то, во всяком случае, об общей и отдаленной. И что же в таком случае может удержать нас от намеченной линии поведения? Сознание, что результат его, если бы подобное поведение стало всеобщим, мог бы стать вредным для самого действующего: он может не найти помощи, когда будет в ней нуждаться. Так что, во-первых, вопрос должен быть решен путем исследования вероятных результатов того или другого образа поведения, во-вторых, этот результат есть счастье или несчастье для самого индивидуума. Не странно ли, что принцип, восхваляемый в силу якобы заключающегося в нем альтруизма, кончает тем, что находит свое оправдание в эгоизме!

Существенная истина, которую мы должны здесь отметить, заключается в том, что принцип Канта, признанный более высоким, чем принцип целесообразности или утилитаризма, вынужден принять за базис тот же самый утилитаризм или целесообразность. Как бы то ни было, он не может избежать необходи-

мости рассматривать счастье или несчастье, свое личное, или чужое, или то и другое вместе, как нечто, к чему должно стремиться или чего должно избегать, ибо в каждом отдельном случае, что могло бы направить волю в том или другом смысле, если не счастье или горе, как предполагаемый результат того или другого рода поведения, если бы он стал всеобщим? Если в человеке, подвергнувшемся оскорблению, поднимается искушение убить обидчика и, следуя кантовским предписаниям, он предполагает, что желал бы, чтобы все люди, потерпевшие обиду, убивали своих обидчиков; и если, представив себе последствия такого образа действия, испытанные человеческим родом вообще или им самим в каком-нибудь случае в частности, он удерживается от искушения, — то что же удерживает его в таком случае? Очевидно, представление громадности зла, страданий, лишения счастья, которые были бы этим вызваны. Если, представив себе свой поступок всеобщим, он убедился бы, что таким образом увеличивается сумма счастья людей, указанная задержка не подействовала бы. Отсюда следует, что поведение, которое гарантируется нам максимой Канта, есть просто поведение, которое гарантируется стремлением к счастью личному, или чужому, или к тому и другому вместе. По своей сущности, если и не по форме, принцип Канта столько же утилитарен, как и принцип Бентама. И точно так же оказывается он несостоятельным в смысле научной этики, так как он не дает метода, при помощи которого можно было бы определять, *будут ли* те или другие действия способствовать счастью или нет, и предоставляет решать все эти вопросы эмпирическим путем.

VIII | АБСОЛЮТНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА¹

Жизнь на островах Фиджи в ту эпоху, когда там поселился Томас Уильямс, была, вероятно, более чем некомфортабельна. Тот, кому приходилось проходить неподалеку от вытянутых в ряд 900 камней, которыми Ра обозначил число уничтоженных им человеческих жизней, должен был предаваться неприятным размышлениям, а порою и страшным видениям. Человек, потерявший несколько пальцев в наказание за поруганные правила приличия или на глазах у которого вождь убивал его соседа за недостаточно почтительное поведение, и который вспоминал при этом, как король Таноа вырезал кусок из руки своего двоюродного брата, сварил и съел в его присутствии и затем велел изрубить его самого на части, должен был довольно часто проводить «неприятных 15 минут». Не могли не испытывать унижительных ощущений и те женщины, которые слышали воздаваемые Tui Thakau своему умершему сыну похвалы за жестокость: по его словам, покойник «мог убить свою собственную жену, если она его оскорбила, и тут же съесть ее». Счастье не могло быть общим явлением в обществе, на членах которого лежала обязанность быть при случае одним из десяти, кровь которых освящала новый челнок; в обществе, в котором убийство даже и безобидного человека почиталось не преступлением, а доблестью, и в котором каждый знал, что его сосед питает неукротимое честолюбие стать признанным убийцей. Однако же даже и там должны были существовать некоторые ограничения права убивать друг друга, иначе неограниченное убийство всех и каждого привело бы к искоренению общества.

¹ Впервые напечатано в «Nineteenth Century» за январь 1890 г. Этот опыт вызван полемикой, помещенной в «Times» между 7—27 ноября 1889 г., как необходимое разъяснение заключающихся в ней недоумений и извращений; отсюда встречающиеся в нем намеки. Не желая увековечивать объяснения личного характера, опускаю здесь заключающиеся в первоначальной редакции этого опыта последние абзацы.

О степени опасности, грозящей собственности членов племени билучей (Bilouchis)* со стороны хищнических инстинктов их соседей, свидетельствует тот факт, что «на каждом поле возводится небольшая башня из глины, где владелец и его слуга хранят свои продукты». Если тревожные состояния общества, о которых повествует нам ранняя история, не обнаруживают с достаточной наглядностью, насколько обычай присваивания чужой собственности противодействует социальному процветанию и индивидуальному комфорту, тем не менее они не оставляют нас в сомнении относительно их результатов. Вряд ли кто-либо решится оспаривать вывод, что пропорционально тому, сколько времени человек вынужден посвящать не дальнейшему производству, а охране ранее произведенного от грабежа, идет понижение общей продуктивности, и обеспечение всех и каждого необходимыми средствами к жизни становится менее удовлетворительным. Не менее очевиден и связанный с этим вывод что, если каждый человек вздумает простираť за известный предел обычай удовлетворять свои потребности за счет награбленного у соседа добра, общество должно распасться: одинокая жизнь оказывается в таких условиях предпочтительнее. Один мой умерший приятель, передавая мне события своей жизни, между прочим, рассказал, что, будучи молодым человеком, он поселился в качестве комиссионера в Испании. Раз, не достигнув путем настояний и другими средствами получения денег с человека, который заказал через его посредство товар, он прибегнул к следующему крайнему средству: явился к этому человеку в дом с пистолетом в руках, — средство оказалось успешным, и деньги были выплачены. Предположим теперь, что это стало всеобщим явлением: повсюду договоры приходится поддерживать более или менее решительными мерами. Представим себе, что владелец угольных копей в Дэрбишире, посылая поезд с углем лондонскому торговцу углем, должен всегда посылать вместе с тем в город отряды углекопов, с тем, чтобы задержать его фургоны и выпрячь лошадей, пока он не уплатит по счету. Представим себе еще, что сельский рабочий или ремесленник был бы вечно в сомнении относительно получки в конце недели условленной платы в полном размере и должен был бы опасаться получения половины платы или отсрочки ее на полгода. Представим себе, что

в каждой лавке ежедневно происходят потасовки между продавцом и покупателем, из которых первый стремится получить деньги, не отдавая товара, а второй — забрать товар, не отдавая денег. Что произошло бы из всего этого для общества? Что стало бы с его продуктивными и распределительными функциями? Был ли бы слишком поспешным вывод, что промышленная кооперация (добровольная по крайней мере) прекратилась бы?

«К чему все эти нелепые вопросы, — спросит нетерпеливый читатель. — Каждому, разумеется, известно, что убийство, насилие, грабеж, обман, нарушение договоров и т.п. идут вразрез с общественным благополучием и должны подлежать наказанию?» На это я имею многое ответить. Во-первых, я очень рад, что вопросы эти признаны нелепыми, потому что это предполагает сознание того, что они настолько самоочевидны, что нелепо предполагать возможность какого-либо иного ответа. Во-вторых, я желаю поставить вопрос не о том, знаем ли мы эти вещи, а как мы их познаем. Можем ли мы их познать и познаем ли их путем рассмотрения необходимости их, или мы должны прибегнуть к «основанным на тщательном наблюдении и опыте индукциям». Должны ли мы, прежде чем создадим и утвердим законы против убийства, изучить общественное благосостояние и индивидуальное благополучие там, где преобладает разбой, и сравнить, действительно ли благосостояние и благополучие более развиты там, где разбой реже? Должны ли мы предоставить грабежу свободу действия, пока будем заниматься собиранием и классификацией фактов в странах, где воровство преобладает, и там, где оно составляет редкое явление, пока индукция не разъяснит нам, что благоденствия больше там, где всякий имеет возможность сохранить то, что заработал? И нужно ли доказывать при помощи громадного ряда фактов, что нарушение договоров тормозит производство и обмен и, с другой стороны, ту общую выгоду, которая вытекает из взаимной зависимости? В-третьих, эти факты, которые, когда они доведены до крайностей, вызывают социальное разложение, а в более скромных размерах препятствует социальной кооперации и связанной с последнею выгодой, я привожу с целью поставить вопрос: в чем заключается общая им всем черта? В каждом из подобных действий мы видим нарушение чужого права — способ устройства жизни, прямо препятствующий

устройству жизни другого. Соотношение между произведенными усилиями и вызванною им выгодой всецело упраздняется или частично нарушается образом действия другого человека. Если мы признаем, что жизнь может быть поддержана только известными активными силами (так как внутренние силы всеобщи, а внешние существуют у всех, кроме паразитов и неодушевленных), мы должны также признать, что когда ассоциируются существа, принадлежащие к одному и тому же роду, необходимые при этом активные силы должны взаимно ограничивать друг друга и что наиболее высокоорганизованная жизнь может явиться только тогда, когда ассоциированные существа организованы так, чтобы нарочито сохранять указанные им пределы. Установленные в таком общем виде ограничения могут, очевидно, быть разделены на различные специальные виды ограничений, относящиеся к тому или другому роду поведения. Таковы, по моему мнению, те априорные истины, которые могут быть восприняты нами при изучении условий жизни, — аксиомы, занимающие по отношению к этике место, аналогичное тому, которое занимают математические аксиомы по отношению к точным наукам.

Я не хочу этим сказать, что эти аксиомы-истины всем доступны, ибо для их понимания так же, как и для понимания более простых аксиом, необходимо известное умственное развитие и известная умственная дисциплина. В своем «*Treatise on Natural Philosophy*» («Трактат о естествознании») Томсон и Тэт говорят, что «физические аксиомы являются таковыми только для тех, которые имеют достаточные познания относительно действия физических сил, чтобы с первого взгляда видеть их необходимую истинность». Этот факт несомненный и факт немаловажный. Мальчишка-пахарь не может составить себе представление, что действие и противодействие равны и взаимно противоположны. Прежде всего, ему не достает для этого достаточно обобщенной идеи действия, он не объединил еще в одном понятии удар и толчок, удар кулака, отдачу ружья, притяжение планеты и т.п. Еще меньше обладает он общею идеей противодействия. И даже имея он эти две идеи, сомнительно, чтобы при свойственной ему скудости воображения он оказался в состоянии усмотреть необходимость их равенства. То же самое относится и к этим априорным этиче-

ским истинам. Если бы кто-либо из членов того племени рабов на островах Фиджи, которые рассматривали себя как корм для своих предводителей, высказал мысль, что настанет, может быть, время, когда люди не будут пожирать друга друга, заключающаяся в таком предположении вера в то, что со временем люди будут питать некоторое уважение к жизни ближнего, всецело лишенная основания в опыте, была бы признана годной только для сумасбродного мечтателя. Доставляемые ежедневным наблюдением факты делают совершенно очевидным для билучи (Bilouchi), сидящего на карауле в своей глиняной башне, что обладание собственностью может быть обеспечено только силой, и его уму вряд ли даже доступна мысль, что при существовании известных, всеми признанных границ возможность нападения устраняется и сторожевая служба на полях становится бесполезной: только сумасшедший идеалист (если предположить, что что-либо подобное ему известно) может говорить о возможности этого, сказал бы он. И даже относительно нашего предка в феодальную эпоху мы можем предполагать, что ему, вечно с головы до ног вооруженному и часто укрывавшемуся в укрепленных местах, мысль о мирном социальном существовании показалась бы смешной; он вряд ли в состоянии был бы представить себе существование признанного равенства, право людей добывать себе средства к жизни и вытекающее из него воздержание от посягательств на чужое право. Теперь же, после того как организованный социальный порядок поддерживался в течение целого ряда поколений; теперь, когда в своих повседневных сношениях люди редко прибегают к насилию, платят обыкновенно то следует и в большинстве случаев уважают права слабого наравне с правами сильного; теперь, когда люди воспитываются в представлении, что все равны перед законом, и ежедневно видят, что судебные решения вращаются вокруг вопроса, нарушил ли данный гражданин права другого гражданина или нет, — в уме современного человека накопился уже достаточный материал для составления представления *о режиме*, при котором действия людей взаимно ограничиваются и при котором поддержание гармонии обуславливается уважением к этим границам. В наше время развилась способность понимать, что взаимные ограничения необходимы там, где люди живут в тесном соприкоснове-

нии, и что при этом неизбежно должны явиться определенные виды ограничений, соответственно различным родам действий. И вместе с тем стало понятным для некоторых, хотя, по-видимому, не для многих, что из этого вытекает априорная система абсолютной политической этики, — система, при которой люди с одинаковыми свойствами натуры, организованные так, чтобы добровольно отказаться от посягательства на чужие права, могут работать сообща, без столкновений и с наибольшей выгодой для всех и каждого.

«Но люди не похожи друг на друга и вряд ли когда станут вполне похожими; затем они и не так организованы, чтобы каждый так же внимательно относился к правам соседа, как и к своим собственным, и трудно надеяться на это в будущем. Ваша абсолютная этика представляет поэтому только идеал, в действительности неосуществимый». Это верно. Тем не менее, хоть это так, отсюда отнюдь не вытекает, что абсолютная политическая этика не нужна; обратное может быть совершенно наглядно доказано. Аналогия объяснит нам этот парадокс.

Существует отдел физических наук, называемый теоретической механикой или абсолютной механикой, абсолютной в том смысле, что ее положения безусловны. Она распадается на статику и динамику в их чистом виде, имеет дело с силами и движениями, рассматриваемыми как свободные от всех влияний, вытекающих из трения, сопротивления среды и особых свойств материи. Когда она не принимает закон движения, она не принимает в соображение ничего, что модифицирует его проявления. Когда она формулирует свойства рычага, она говорит о нем, предполагая его абсолютно не гибким и лишенным всякой плотности, т.е. невозможным рычагом. Ее теория винта предполагает его свободным от трения; по отношению к клину принимается абсолютная несжимаемость. Таким образом, ее истины никогда не проверяются на опыте. Даже движения небесных тел, которые определяются на основании ее положений, претерпевают всегда большие или меньшие пертурбации; что же касается Земли, то выводы, которые могут быть сделаны, очень значительно отклоняются от получаемых путем опыта результатов. Несмотря на то, эта система идеальной механики необходима для пользования прикладной механикой. Инженер должен исходить из ее положений как абсолютно верных,

прежде чем приступить к определению их на основании свойств употребляемых им материалов. Путь, который прошел бы снаряд, если бы находился только под влиянием метательной силы пороха и земного притяжения, должен быть установлен, хотя такой путь и не существует, но иначе не может быть сделана поправка на атмосферное сопротивление. Другими словами, хотя при помощи эмпирического метода прикладная или относительная механика и может быть доведена до значительной высоты, она все же не может достигнуть возможного для нее совершенства без помощи абсолютной механики. Так и здесь. Относительная политическая этика, т.е. та, которая трактуется о правде (right) и неправде (wrong) в общественных делах, находящихся отчасти в зависимости от изменяющихся условий, не может прогрессировать, не принимая в соображение правды и неправды, рассматриваемых независимо от изменяющихся условий, т.е. не может обойтись без абсолютной политической этики, положения которой, исходящие из условий, при которых развивается жизнь в организованных состояниях вообще, не принимают во внимание специальных условий какого-либо одного организованного общества.

Заметим здесь истину, которая, по-видимому, совершенно упускалась до сих пор из виду, а именно, что ряд дедукций, к которым мы таким образом пришли, подтверждается чрезвычайно обширной индукцией или, вернее, громадным комплексом широких индукций. Ибо что же другое представляют законы и юридические системы всех цивилизованных наций и всех обществ, вышедших из дикого состояния? В чем заключается смысл того факта, что все народы пришли к необходимости карать убийство, и притом карать обыкновенно смертью? Почему там, где достигнут значительный прогресс, воровство запрещается законом и влечет за собой наказание? Почему вместе с ходом прогресса признание договоров становится общим явлением? И чем объяснить, что среди высокоцивилизованных народов обман, диффамация и менее значительные агрессивные действия различного рода более или менее строго наказываются? Другой причины нет, кроме громадного единообразия в наблюдениях людей, доказавших им, что агрессивные действия, непосредственно вредные для тех, кто им подвергается, косвенно вредят также и всему обществу. Из поколения в поко-

ление укреплялась в них эта истина, и из поколения в поколение развивали они более детально свои запрещения. Другими словами, вышеприведенный основной принцип и вытекающие из него выводы, установленные априори, проверены на бесконечном числе фактов апостериори. Общая тенденция повсюду направлялась к развитию далее на практике того, что предписывала теория, к согласованию системы законов с требованиями абсолютной политической этики если и не сознательно, то хоть бессознательно. И разве эта истина не выражается и в самом названии, даваемом цели, к которой она стремится, — справедливость или равенство (equalness)? Равенство чего? На это не может быть ответа без признания — как бы оно ни было неопределенно — вышеизложенной доктрины.

Таким образом, вместо того чтобы утверждать, что я основывался «на длинной цепи дедукций из отвлеченных этических выводов», следовало бы сказать, что я основывался на простой дедукции из отвлеченных этических потребностей, — на дедукции, находящей свое подтверждение в бесконечном числе наблюдений и опытов полуцивилизованных и вполне культурных народов всех времен и стран света. Или вернее, следовало бы сказать, что, рассматривая существующие повсеместно ограничения, налагаемые на различные роды агрессивных действий, и видя в них общий принцип, устанавливаемый всюду в силу требований организованной жизни, я стараюсь вывести последствия из этого общего принципа путем дедукции и, доказав их соответствие, подтвердить как эту дедукцию, так и те выводы, к которым законодатели пришли эмпирическим путем. Этот метод дедукции, проверенной при помощи индукции, составляет принадлежность всякой разработанной науки. Я не думаю, чтобы мне пришлось от него отказаться и изменить «способ моего мышления» ввиду вызванного им неодобрения, как бы сурово оно ни было выражено. Должны ли мы заключить на основании этого, что под громким названием «абсолютная политическая этика» следует понимать не более как теорию полезных ограничений, налагаемых законами на действия граждан, — этическое оправдание (warrant) системы законов? Прекрасно; допустим даже, что я отвечаю на этот вопрос утвердительно (что неверно), — и в таком даже случае название это было бы достаточно оправданно. Имея своим главным предме-

том все, что подразумевается под словом «справедливость», что формулируется в виде закона и приводится в исполнение при помощи законных мер, это название покрывает собой достаточно большую область. На этом вряд ли стоило бы останавливаться, если бы не замечательный дефект мысли, в который мы по привычке легко везде впадаем.

Говоря о знании, мы совершенно игнорируем то обыденное, приобретенное нами в детстве знание окружающих нас предметов, одушевленных и неодушевленных, без которого мы должны были бы очень скоро погибнуть, и думаем только о том, гораздо менее важном знании, которое приобретается в школах и университетах или из книг и разговоров; как, думая о математике, мы включаем в это понятие только высшую группу ее истин и исключаем из нее более простую их группу, заключающуюся в арифметике, хотя в жизни она гораздо важнее всех остальных, вместе взятых, — так и когда речь заходит о политике и политической этике, совершенно упускаются из виду части их, которые заключают в себе все основное и давно установленное. Слово «политический» вызывает представление в партийных спорах, смене министерств, о будущих выборах или о гомруле, о местных потребностях или о движении в пользу 8-часового дня. Редко вызывается им мысль о законодательных реформах, об улучшении судебной организации или об упорядочении полиции. И если рассматриваются вопросы этики, то непременно в связи с парламентской борьбой, кандидатскими обещаниями или избирательными правами. Между тем достаточно вспомнить определение политики («та часть этики, которая заключается в управлении нацией или государством в целях ограждения ее безопасности, мира и процветания»), чтобы понять, насколько ходячее представление погрешает против нее, упуская из виду главную ее часть. Достаточно уяснить себе, какой относительно громадный фактор в жизни каждого человека создается безопасностью его личности, обеспеченностью его дома и имущества и укреплением его прав, чтобы уразуметь, что тут упускается не только самая большая, но именно самая жизненная ее часть. Из этого следует, что нелепо не представление об абсолютной политической этике, а игнорирование ее главной сущности. Только в том случае, если бы признано было нелепым считать

абсолютными запрещения убийства, воровства, обмана и всех других нарушений чужого права, возможно, было бы считать нелепостью признание абсолютности той этической системы, из которой вытекают все эти запрещения.

Нам остается только еще прибавить, что, помимо дедукций, проверенных, как мы видели, на обширном ряде индукций, мы могли бы привести еще дедукции, не в такой еще степени проверенные, — дедукции, выведенные из тех же самых данных, но не подтвержденные достаточно убедительными опытами. Такого рода дедукции могут быть правильны или неправильны, и я считаю, что в первом моем труде, написанном сорок лет назад и давно уже изъятом из обращения, заключается несколько таких неправильных дедукций. Но отвергнуть принцип и метод только потому, что несколько дедукций оказались неправильными, — это было бы почти равносильно тому, чтобы отвергнуть арифметику из-за ошибок, встречающихся в некоторых арифметических вычислениях.

Обращаюсь теперь к вопросу, поставленному выше: действительно ли под абсолютной политической этикой не разумеется ничего другого, как только этическое оправдание (*warrant*) законодательных систем, — вопросу, на который я, исходя из понятия о сущности абсолютной политической этики, отвечал отрицательно. Теперь же я должен ответить, что она распространяется также и на другую область, такую же обширную, если и менее важную. Ибо помимо отношений между гражданами, как индивидами, существуют еще отношения между целыми корпорациями граждан и каждым из них в отдельности, и об этих отношениях между государством и индивидом, так же как и между отдельными индивидами, высказывает свое суждение абсолютная политическая этика. Ее суждения об отношениях между индивидами являются выводами из ее основной истины, что деятельность каждого отдельного индивида в его стремлении обеспечить себе средства к жизни может быть справедливо ограничена только подобною же деятельностью других индивидов, как равноправных с ним (так как этот принцип не относится к обществам, основанным на рабстве или на господстве одной расы над другими). Суждения же ее об отношении между индивидом и государством являются естественными выводами из другой родственной истины, что деятельность каждого

отдельного гражданина может быть справедливо ограничена организованным комплексом граждан лишь постольку, поскольку это необходимо последнему для обеспечения остальных. Это дальнейшее ограничение является неизбежным спутником военного строя и должно длиться до тех пор, пока рядом с единичными преступными действиями будут существовать интернациональные преступные действия. Понятно, что охрана общества представляет цель, которая должна предшествовать охране его индивидов, взятых в отдельности, так как охрана каждого индивида и поддержание его права снискивать себе средства к существованию зависят от обеспечения безопасности всего общества. На этом основании находят себе этическое оправдание ограничения, налагаемые на действия граждан, потребностями войны и приготовлениями к ней.

Здесь мы вступаем в круг тех многочисленных и сложных вопросов, которые трактуются относительной политической этикой. Указывая первоначально на контраст, существующий между этими двумя этиками, я говорил об абсолютной политической этике, или той, которая должна бы существовать в отличие от относительной, или той, которая представляет в настоящее время ближайшую осуществимую к ней ступень; и, если бы этому различию уделено было достаточное внимание, не возникло бы никакого разногласия. Здесь мне остается только прибавить, что устанавливаемые относительной политической этикой определения изменяются в зависимости от типа данного общества, который первоначально определяется степенью необходимости защиты от других обществ. Там, где международная враждебность велика и социальной организации приходится приспособляться к воинственной деятельности, там и подчинение граждан государству таково, что нарушает всегда их свободу действий и делает их рабами государства; где это вытекает из потребностей оборонительной войны (но не наступательной, однако), там относительная политическая этика дает оправдание этому. И наоборот, по мере ослабления милитаризма уменьшается и надобность как в том подчинении граждан, которое необходимо для сплочения их в боевую машину, так и в том дальнейшем видоизменении его, которое необходимо для снабжения этой боевой машины всем необходимым для жизни, и, по мере развития этой перемены, теряет свою силу и то

оправдание подчинения граждан государству, которое доставляется относительной политической этикой.

Здесь не место входить в обсуждение этих сложных вопросов. Достаточно указать на него, как сделано нами выше. Если я буду иметь возможность дополнить четвертый отдел моей «Этики» («Principles of Ethics»), трактующий о «Справедливости», из которого у меня пока написаны только первые главы, я надеюсь уяснить в достаточной мере отношение между этикой прогрессивного состояния и этикой того порядка вещей, который является целью прогресса, целью, которая должна быть признана, хотя она и не может быть в настоящее время достигнута.

IX | ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА В ДЕНЕЖНЫЕ И БАНКОВСКИЕ ДЕЛА¹

Взаимное доверие между отъявленными мошенниками, не имеющими, как говорится, *ni foi, ni loi*, невозможно. Между людьми безусловной честности взаимное доверие должно быть безгранично. Это истины, не требующие доказательств. Представьте себе нацию, состоящую только из лгунов и воров, и всякие сделки между ее членами должны будут по необходимости совершаться или путем прямого обмена вещами, или при помощи денежных знаков, имеющих непосредственную ценность. Все то, что имеет вид *платежного обещания*, не может в среде этой нации заменить *действительного* платежа, так как в предположении, что подобные обещания не будут выполнены, никто не захотел бы принимать их. С другой стороны, представим себе нацию, состоящую из людей безусловно честных, людей, столько же охраняющих права других, как и свои собственные, и почти все торговые сделки между ее членами могут совершаться путем отметки по банкирским книгам их обоюдных долгов и претензий. В предположении, что ни один человек не выпустит долговых обязательств более, нежели сколько могут покрыть его имущество и долговые претензии, все бумаги будут иметь ход в той цене, какую они представляют. В таком случае монета будет требоваться лишь в качестве мерила ценности и с целью облегчать мелочные сделки, для которых она физически всего удобнее. Все это мы признаем за истины вполне очевидные.

Из вышесказанного следует, что в среде нации, не вполне честной и не вполне бесчестной, может существовать и существует смешанная денежная система, представляющая частью знаки непосредственной ценности, частью знаки кредитные.

¹ Впервые напечатано в «Westminster Review» за январь 1858 г.

Соотношение между количествами этих двух родов знаков определяется совокупностью различных причин.

В том предположении, что законодательство не вмешивается и не нарушает естественного соотношения или равновесия между монетой и бумажными знаками, пропорция той и другой категории знаков будет зависеть, как видно из вышеизложенного, от степени совестливости народа. Каждый гражданин научается ежедневным опытом, кому из граждан можно довериться и кому нельзя. Ежедневный опыт указывает также, как далеко подобное доверие может простираться. Из личной опытности и из общего мнения, возникающего из опыта других, всякий в состоянии убедиться более или менее точно, какой кредит может быть оказан без риска. Если люди убеждаются, что соседи их мало заслуживают доверия, то лишь весьма малое количество *платежных облигаций* может поступить в обращение. Наоборот, обращение платежных обещаний будет значительно, если люди убедятся, что исполнение торговых обязательств довольно верно. Таким образом, первоначальным регулятором кредитной системы является степень *честности*, свойственной обществу; второй регулятор есть здесь степень осторожности. При одинаковости прочих условий очевидно, что в среде людей пылких, предприимчивых платежные обещания будут приниматься охотнее и будут обращаться более легко, нежели между людьми осторожными. Два лица, обладающие совершенно равной опытностью по отношению к торговому риску, будут при совершенно однородных обстоятельствах открывать кредит или отказывать в нем сообразно опрометчивости или осмотрительности каждого из них. Две нации, различающиеся степенью свойственной им осторожности, представляют такое же различие в относительных количествах банковых билетов и векселей, обращающихся в их среде. Можно даже сказать, что контраст между результатами будет в этом случае резче контраста между причинами, их вызвавшими. Господствующая опрометчивость, делая каждого гражданина склонным открывать кредит сверх меры, развивает в нем также сверх меры и готовность обращать свой собственный капитал на рискованные предприятия, а последствием этого бывает чрезмерное требование кредита от других граждан. Тогда одновременно обнаруживается и усиленное требование кредита, и ослабление преград для него, и,

следовательно, возникает несоразмерное количество бумажных денежных знаков. Наглядный пример подобных национальных свойств и их последствий представляют нам Северо-Американские Соединенные Штаты.

К этим сравнительно постоянным нравственным причинам, от которых зависит обычное в среде общества соотношение между действительными и условными деньгами, должно присовокупить еще некоторые преходящие нравственные и физические причины, которые производят временные изменения в помянутом соотношении. Осторожность народа подвержена большим или меньшим колебаниям. В пору мании железных дорог и при некоторых других лихорадочных увлечениях мы видим, как безрассудные ожидания овладевают целой нацией и побуждают членов ее открывать кредит и пользоваться им почти во все без расчета. Но главнейшие причины временных колебаний суть те, которые непосредственно поражают производительность затраченный капитал. Войны, неурожай хлеба, а равно потери всякого рода, порождаемые бедствиями других наций, обедняя общину, неизбежно ведут к увеличению количества *платежных облигаций* сравнительно с количеством *действительных платежей*. Что остается делать гражданину, который вследствие этих причин становится неспособным выполнить свои обязательства? Что остается предпринять торговцу, у которого круг покупателей сильно уменьшился вследствие высоких цен на хлеб, или фабриканту, у которого товар лежит в складах непроданным, или негоцианту, иностранные корреспонденты которого оказываются несостоятельными? Так как приход с дела оказывается недостаточным для покрытия обязательств, сроки которых уже наступили, то каждому из них приходится или изыскивать другие способы расчета, или прекратить платежи. Но, прежде чем прекратить платежи, всякий, конечно, постарается принести временные жертвы — предложить возможно выгодные условия лицу, которое согласится доставить необходимые средства расплаты. Если можно представить обеспечение банкиру и сделать заем, хоть и за высокий процент, — хорошо. Если нет, — придется, может быть, заложить собственность на долгий срок лицу, пользующемуся кредитом: оно выдаст векселя или прикажет своему банкиру выплатить условленную сумму. Во всяком случае, появляются на рынке новые платежные

обещания; если же затруднения улаживаются путем аккомодационных векселей, результат оказывается тот же. И количество появляющихся в обращении платежных обещаний возрастает пропорционально числу граждан, принужденных прибегнуть к тому или другому из указанных способов. Если мы приведем это положение к его общим началам, оно получит характер полной очевидности. Именно: все банковые билеты, чеки, векселя и пр. суть не что иное, как формы *денежных требований*, какие бы ни были технические различия между этими формами обязательств; различия, на которых приверженцы «денежного принципа» основывают свои учения, подходят под общее определение. При обыкновенном порядке вещей масса богатства, находящегося в руках или в распоряжении деловых людей, оказывается достаточной для выполнения этих обязательств, когда они представляются к платежу: обязательства эти удовлетворяются или соответствующей ценностью в монете, или выдачей взамен одних денежных требований других таких же требований, обращенных к учреждению несомненно состоятельному. Но может случиться, что масса богатства, находящегося в руках общества, значительно уменьшилась. Предположим, что заметная доля необходимых предметов или монеты, составляющей наиболее ходячую равноценность этих предметов, отправлена вон из страны с целью содержать армию или оказать помощь другому государству, или же, предположим, что урожаи хлеба и картофеля весьма скудны. Предположим, одним словом, что в данное время нация обеднела. Что от этого происходит? Очевидно, что часть денежных требований не может быть удовлетворена. А что может произойти от подобного неудовлетворения требований? Может случиться, что люди, не имеющие средств удовлетворить эти требования, или объявят себя несостоятельными, или покروют свои обязательства выдачей, прямо или косвенно, взамен их, других обязательств на свои товарные запасы, дома или земли. Это означает, что подобные обязательства, при недостатке *подвижного* (или оборотного) капитала для их удовлетворения, покрываются обязательствами, выданными на капитал *неподвижный* (или основной). Денежные требования, которые при ликвидации должны были бы исчезнуть из обращения, тут снова появляются в иной форме, и, таким образом, количество бумажных денежных знаков увеличивается. Если

война, голод или другая причина обеднения продолжают действовать, тот же самый процесс повторяется снова. Люди, у которых нет недвижимого капитала для дальнейшего закладывания, делаются несостоятельными; те же, у которых недвижимый капитал еще оказывается, продолжают операцию залога и этим путем увеличивают количество платежных обещаний, находящихся в обращении. Очевидно, что, если члены общества, годовые доходы которых едва превышают цифру годовых денежных платежей, внезапно лишатся части этих доходов, они должны в соразмерности задолжать друг другу, и тогда документы, выражающие эти долговые обязательства, должны, в соответствующей мере, умножаться.

Это априористическое заключение вполне согласуется с опытом торговой практики. Последнее столетие неоднократно представляло доказательства истины этого вывода. После громадного вывоза золота в 1795—1796 гг. в Германию на военные займы и в уплату по векселям, выданным на государственное казначейство британскими заграничными агентами, после огромных ссуд, сделанных английским банком правительству под влиянием нравственных побуждений, в обращении оказалось чрезмерное количество банковых билетов. В 1796—1797 гг. обнаружилось банкротства провинциальных банков; в Лондоне проявилась паника, и на Английский банк, фонд которого почти истощился, сделан был натиск. Платеж звонкой монетой был прекращен, и таким образом правительство разрешило отказ в покрытии *платежных* обещаний. В 1800 г. дальнейшие разорения, причиненные дурным урожаем, в соединении с допущенной законом неразменностью банковых билетов, вызвали столь значительное умножение последних, что они упали в цене. В мирное время 1802 г. страна немного устроила свои дела, и Английский банк был бы в состоянии покрыть свои обязательства, если бы правительство дозволило это. При возобновлении войны явление это повторилось; то же происходило и в позднейшее время — всякий раз, когда общество, увлекаясь безрассудными надеждами, обращало несоразмерную часть своего капитала в недвижимую форму. Мы имеем также и более наглядные пояснения, — пояснения внезапного прекращения торговых неудач и банкротств вследствие внезапного увеличения массы кредитных знаков. Когда в 1793 г. наступило

общее расстройство дел*, вызванное преимущественно неудовлетворительной банковской системой, развившейся в провинциях, вследствие монополии Английского банка, когда натиск, достигнув Лондона, так усилился, что напугал директоров банка и заставил их сократить выпуски, вызывая через то новые сильнейшие банкротства, — правительство (с целью смягчить зло, косвенно созданное самим законодательством) решилось выпустить билеты казначейства для лиц, которые могли предоставить соответствующие обеспечения. Этой мерой правительство давало возможность стесненным гражданам отдать неподвижные капиталы в залог под равноценные государственные платежные обещания, с помощью которых они могли удовлетворить поступившие на них требования. Мера эта имела волшебное действие. Билетов казначейства потребовалось только на сумму 2 202 000 ф. ст. Одно лишь сознание, что сделать заем представляется возможным, делало во многих случаях само заключение займа излишним. Паника быстро рассеялась. Заключенные займы были очень скоро покрыты. В 1825 г., когда Английский банк, усилив панику чрезвычайной сдержанностью своих выпусков, опять внезапно изменил свою политику и в четыре дня выдал под разного рода обеспечения билетов на сумму 5 000 000 ф. ст., паника разом миновала.

При этом надо указать на две важные истины. Мы сейчас видели, что подобные расширения бумажного денежного обращения, естественно возникающие в пору обеднения народа или торговых затруднений, оказываются в высшей степени спасительными. Выпуск обязательств будущего платежа, когда не существует наличности для немедленной расплаты, есть одно из средств, смягчающих народные бедствия. Весь этот процесс сводится к отсрочке торговых обязательств, не могущих быть удовлетворенными немедленно. Вопросы, возникающие при этом, суть следующие: все ли негоцианты, фабриканты, торговцы и т.д., которые вследствие неблагоприятных затрат, войны, голода и убытков, по заграничным операциям лишены, до некоторой степени, средств уплатить предъявленные им требования, должны быть допускаемы к залогоу принадлежащего им основного капитала, или же, при недопущении обязательств на этот неподвижный капитал, должны они быть объявлены несостоятельными? С одной стороны, если им будет

дозволено воспользоваться кредитом, который охотно оказывается со стороны их сограждан под предлагаемые им ценности, то многие из них успеют преодолеть затруднения: благодаря постепенному накоплению новых капиталов они будут в состоянии мало-помалу уплатить свои долги в полной сумме. С другой стороны, если они будут объявлены несостоятельными, увлекут за собой других, которые, в свою очередь, повлекут за собой новые банкротства, — все кредиторы понесут страшные потери. При этом имущества, продаваемые на огромные суммы и во что бы то ни стало в такую пору, когда оказывается сравнительно мало людей, могущих делать покупки, будут отчуждаться не иначе как с явным убытком, и, следовательно, люди, которые в год или два могли бы получить удовлетворение в полной сумме, должны будут довольствоваться 10 шиллингами за фунт стерлингов. К этому злу присоединяется зло еще более сильное — вред, нанесенный общественному устройству. Множество учреждений, занимающихся привозом, производством и распределением продуктов, совершенно уничтожаются при этом; десятки тысяч людей остаются без занятий, и, прежде чем та или другая фабрика успеет возобновить производство, много времени будет потеряно, много труда будет потрачено и много возникнет новых бедствий. Но между этими двумя решениями какой сделать выбор? Предоставьте естественному процессу врачевания идти своим путем, и зло будет или обойдено в значительной мере, или распределится незаметным образом на значительный период времени. Приостановите этот процесс, и все зло, падая разом на общество, вызовет повсюду разорение и нищету.

Вторая важная истина состоит в том, что усиление обращения платежных обещаний, причиняемое абсолютным или относительным обеднением, приводится опять к нормальным пределам, лишь только потребность в расширении минует. Особенности подобных обстоятельств предполагают уже, что всякий, кто заложил свой неподвижный капитал с целью приобретения средств покрыть свои обязательства, совершил эту сделку на весьма невыгодных условиях; поэтому все такие люди чувствуют непреодолимое стремление освободить имущество из-под залога как можно скорее. Всякий, кто в пору коммерческих затруднений делает заем из банка, должен платить

весомые проценты. Поэтому, лишь только наступает счастливая пора и барыши его начинают увеличиваться, он с радостью спешит избавиться от этого тяжелого налога, уплачивая взятую ссуду; причем он возвращает банку такое же количество его платежных обещаний, какое получил оттуда прежде, и таким образом обращение билетов уменьшается настолько, насколько оно увеличилось от первоначальной сделки. Рассматриваемый независимо от технических различий банкир исполняет в этом случае обязанность агента, именем которого торговцы выдают обращающиеся денежные обязательства на принадлежащие им имущества. Агент этот известен уже публике как лицо, выдающее обязательства на капитал частью подвижный, частью неподвижный, — обязательства, имеющие постоянный характер и представляющие по своим размерам полные удобства. В описанных выше особых обстоятельствах агент выпускает больше таких обязательств, под обеспечение передаваемых в его распоряжение капиталов, имеющих свойство неподвижности. Его клиенты закладывают свои имущества через его посредство, вместо того чтобы совершать эту сделку прямо от своего имени, — ради больших удобств, которые доступны ему и недоступны его клиентам. Но так как банкир требует за содействие и принимаемый на себя риск известной платы, то клиенты стараются как можно скорее выкупить свои имущества и покончить временные сделки, вследствие чего масса обращающихся кредитных знаков уменьшается.

Из этого мы убеждаемся, что баланс смешанной денежной системы заключает в себе, при всякого рода обстоятельствах, элементы для поддержания равновесия. Оставляя в стороне соображения о физических удобствах, мы видим, что среднее отношение бумаг к монетам зависит, во-первых, от степени взаимного доверия, развитого в народе, и, во-вторых, от степени благоразумия, свойственного народу. Когда вследствие необычайного развития благосостояния необычайно увеличивается количество торговых сделок, то в соответствующей мере увеличивается и количество знаков, как металлических, так и бумажных, выпускаемых для удовлетворения возникающих требований. Когда же вследствие войны, голода или чрезмерных затрат масса богатства, находящегося в руках граждан, оказывается недостаточной для уплаты их долговых претензий друг к другу,

количество обращающихся долговых документов начинает увеличиваться по отношению к количеству золота; затем, по мере ликвидации возросших таким образом долгов, масса документов начинает опять уменьшаться.

Что эти регулирующие сами себя процессы действуют не вполне совершенно — это не подлежит ни малейшему сомнению. В человечестве, преисполненном несовершенств, они не могут действовать иначе, как несовершенно. Люди, которые бесчестны, опрометчивы или глупы, неизбежно несут наказания за свою бесчестность, опрометчивость или глупость. Тому, кто воображает, что помощью какого-либо патентованного законодательного механизма общество порочных граждан может быть приведено к одному уровню действия с обществом хороших граждан, мы не станем доказывать противного. С тем, кто думает, что действия людей, лишенных честности и предусмотрительности, могут с помощью каких-либо хитро придуманных парламентских актов быть направлены таким образом, чтобы дать результаты честности и дальновидности, нам нечего рассуждать. Если найдутся люди (и мы полагаем, что их не мало), которые убеждены, что в пору коммерческих затруднений, возникающих от обеднения или других естественных причин, зло может быть устранено одним росчерком министерского пера, — то мы не станем доказывать им, что это невозможно. Пусть они думают как хотят, но истина, что правительство не может выполнить ни одну из этих задач, несомненна. Правительство, как мы постараемся доказать, может только *породить* и в некоторых случаях порождает коммерческие бедствия. Мы постараемся также показать, что оно может *усилить* и в некоторых случаях действительно усиливает промышленные бедствия, вызванные другими причинами. Но если оно может создать затруднения или усилить их, то, с другой стороны, оно не в состоянии предупредить их.

Все, что правительство должно делать в подобных случаях, — это отправлять свою обычную обязанность: охранять правосудие. Обеспечение заключаемых обязательств есть одна из функций, входящих в его общую функцию — охранение прав граждан. А в числе обязательств, выполнение которых оно призвано обеспечивать, заключаются и обязательства, выражаемые в кредитных документах, векселях, чеках и банковых билетах.

Если кто-либо выдает обещание платежа по востребованию или в определенный срок и не исполняет этого обещания, то правительство, в силу своей покровительственной роли, должно по требованию кредитора понудить исполнение обещания, во что бы это ни обошлось должнику, и если не вполне, то хотя в той мере, в какой средства должника допускают это. Обязанность правительства по отношению к денежным знакам заключается так же, как и в других случаях, в суровом применении законов о банкротстве ко всем, кто заключает обязательства, которых не в состоянии выполнить. Если оно слишком ослабит взыскание, являются злоупотребления; если оно усилит взыскание через меру — тоже. Взглянем на факты.

Если бы мы могли привести здесь в подробности историю Английского банка, показать, что привилегии, заключающиеся в первой его хартии, были подкупом, на который решилось несчастное правительство из крайней необходимости заключить значительный заем, и что вскоре затем состоялся закон, запрещающий составление банкирских товариществ более нежели из шести лиц, с целью предупредить выпуск билетов Компании Южного моря и тем охранить банковую монополию; если бы мы представили, как правительственные льготы, расточавшиеся банку, сопровождались новыми претензиями со стороны банка к правительству; если бы мы изобразили все это в подробности, — мы увидели бы, что банковое законодательство, на первых порах его, было организованным нарушением справедливости. Не восходя к слишком отдаленному периоду, начнем с происшествий, ознаменовавших конец прошлого столетия. Наши правители того времени вовлеклись в войну — с достаточными причинами или нет, мы не будем о том распространяться. Они выдали огромные суммы золота своим союзникам. Они требовали значительных ссуд от Английского банка, который не осмеливался отказать. Таким образом они вынудили банк к чрезмерному выпуску билетов. Другими словами, они столь значительно сократили подвижный капитал общества, что обязательства не могли исполняться, а громадное количество платежных обещаний заняло место действительных платежей. Скоро после того исполнение этих обещаний сделалось столь затруднительным, что было даже запрещено законом, т.е. платеж звонкой монетой был приостановлен. В этих

последствиях — в обеднении народном и в обусловленном им ненормальном состоянии денежного обращения — государство является ответственным. Какая доля упреков ложится на правящие классы и какая доля на народ, в обширном смысле мы не беремся определять. Нам необходимо только заметить, что бедствие возникло из действий правительственной власти. Когда в 1802 г., после кратковременного мира, общественный капитал снова возрос до того, что выкуп платежных обещаний сделался возможным, Английский банк с нетерпением желал начать операцию обмена; но законодательная власть произнесла свое *veto*. Таким образом, вредные последствия системы неразменных денежных знаков продолжали существовать после того времени, когда они могли бы по естественному ходу вещей быть устранены. Еще гибельнее были другие последствия правительственного вмешательства. Когда платеж звонкой монетой был прекращен, правительство, вместо того чтобы охранять обязательную силу договоров, на время само подорвало эту силу, говоря банкирам: «Вы не обязаны расплачиваться монетой по платежным обещаниям, которые вы выпускаете». Таким образом естественные преграды излишнему увеличению платежных обещаний были устранены. Что же из этого вышло? Банки, не будучи обязаны разменивать свои билеты на звонкую монету и без затруднения получая из Английского банка массы его билетов в обмен на неподвижные ценности, стали производить ссуды до каких угодно размеров. Так как банки не были вынуждены возвышать учетный процент соразмерно уменьшению находившегося в их распоряжении капитала и так как они получали прибыль от всякого займа (билетами) под обеспечение неподвижными капиталами, то развились ненормальная легкость в совершении займов и ненормальное желание делать ссуды. Так вызваны были безрассудные спекуляции 1809 г., — спекуляции, которые не только поддерживались описанными обстоятельствами, но в значительной степени были прямо созданы чрезмерными выпусками билетов. Такие выпуски, в свою очередь, неестественно возвышая цены, усиливали кажущуюся выгодность помещения капиталов. Не следует забывать, что все это случилось в такую пору, когда по-настоящему должна была бы господствовать самая строгая бережливость, в пору разорения страны от продолжительных войн,

в пору, когда без заблуждений, порожденных законодательством, проявилась бы коммерческая сдержанность и осторожность. В тот именно момент, когда долги общества достигли небывалых размеров, оно было увлечено к еще более сильному увеличению долговых обязательств. После этого становится понятным, что и постепенное увеличение количества платежных обещаний, и падение их в цене, и торговые бедствия, возникшие из такого порядка вещей в 1814—1816 гг., когда девяносто провинциальных банков обанкротилось, а еще большее число закрылось, — все это было создано самим же государством, частью вследствие войны, которая — была ли она необходима или нет — велась правительством, а частью вследствие вмешательства в дело обращения денег.

Прежде чем перейдем к позднейшим фактам, укажем мимоходом на подобное же искажение денежной системы, возникшее еще до того в Ирландии. При разборе дела парламентской комиссии в 1804 г. м-р *Кальвиль*, один из директоров Ирландского банка, заявил, что до обнародования запретительного билля этому банку, — билля, которым платеж звонкой монетой был приостановлен, директор в случае возрастания требований на выдачу золота обыкновенно прибегал к сокращению выпуска билетов. Говоря деловым языком, это значит, что они при достаточно сильном требовании возвышали учетный процент, а через то увеличивали получавшуюся ими прибыль и предупреждали опасность банкротства. В течение этого периода, не испытывавшего еще регламентации, сумма обращавшихся билетов составляла от 600 000 до 700 000 ф. ст. Но лишь только закон взялся обеспечить банк против опасности банкротства, масса билетов стала быстро возрастать и очень скоро достигла 3 000 000 ф. ст. Результаты, заявленные перед комиссией, были следующие: вексельный курс на Англию значительно упал; тотчас же вся доброкачественная монета была вывезена в Англию; вместо нее в Дублине (где нельзя было выпускать мелких билетов) появилась низкопробная монета, уменьшенная в ценности почти на пятьдесят процентов, в других же местах показались векселя, сроком на двадцать один день, выпускавшиеся людьми всех сословий и на всякие суммы, даже на шесть пенсов. Это чрезвычайное размножение мелких векселей было *вынуждено* невозможностью производить иным путем розничную

торговлю после того, как серебряная монета исчезла из обращения. Во всех этих бедствиях виновата была опять законодательная власть. Массы «серебряных билетов» возникли вследствие вывоза серебра; вывоз серебра причинен был крайним падением вексельного курса на Англию; это падение произошло от чрезмерного выпуска билетов Ирландским банком, а этот чрезмерный выпуск зависел от признанной законом неразменности билетов. Хотя эти факты давно уже были приведены комиссией палаты общин, защитники так называемого «денежного принципа» еще и теперь ослеплены до того, что указывают на это умножение шестипенсовых платежных обещаний, как на *доказательство вреда нерегулированной денежной системы*.

Возвращаясь к Английскому банку, перейдем прямо к акту 1844 г. Будучи еще протекционистом, веруя еще в благодетельную силу закона, направляющего торговлю, сэр Роберт Пиль задумал предупредить повторение денежных кризисов, какие случились в 1825, 1836 и 1839 г. Упуская из виду ту истину, что если денежный кризис не *причинен* вмешательством законодателей, то он возникает или от абсолютного обеднения, или же от разорения, производимого рискованными и чрезмерными затратами, и что против человеческого неблагоразумия так же, как и против атмосферической невзгоды, не существует лекарства, — он отважно провозгласил, что *лучше предупредить пароксизм, нежели усилить его*, и предложил банковый акт 1844 г.* как меру предупредительную. Как беспощаден был приговор природы над этим наследием протекционизма, мы знаем все. Денежная *подвижная шкала* была такой же ошибкой, как и ее первообраз**.

Не далее как 3 года спустя возник первый из тех денежных кризисов, которые должны были быть предупреждены указанными мерами. Через 10 лет произошел второй такой же кризис. И в обоих случаях предупредительная мера до того усилила зло, что временная отмена акта сделалась безотлагательной необходимостью.

Казалось бы, что даже и при отсутствии подобных фактов всякий должен бы понять, что посредством парламентского акта невозможно помешать безрассудным людям совершать безрассудные поступки; а если нужны такие факты, то казалось бы, что история нашей торговли до 1844 г. представляет их

достаточно. Но суеверное благоговение перед правительственными актами не хочет знать таких фактов. И мы не сомневаемся, что даже и теперь, когда несостоятельность подобных средств против спекуляции выказалась уже дважды и самым наглядным образом; когда опыт показал, что последние торговые катастрофы не имели ничего общего с выпуском банковых билетов, а напротив, как видно из примера Западного Шотландского банка, случились в пору сокращенных выпусков; когда в Гамбурге, где «денежный принцип» был проведен с буквальной точностью, кризис обнаружился сильнее, чем во всех других местах, — даже и теперь остается еще много людей, верующих в действительность предупредительных мер, придуманных сэром *Робертом Пилем*. Как мы уже заметили, меры Пила не только не принесли пользы, но даже усилили панику, для предупреждения которой были предназначены. Иначе и быть не могло. Мы показали уже в начале статьи, что увеличение количества платежных обещаний, являющееся в пору разорения, причиняемого войной, голодом, чрезмерными затратами или убыточными zahraniчными операциями, есть благодетельный смягчающий процесс — род отсрочки действительных платежей до тех пор, пока они сделаются возможными, — средство, предупреждающее всеобщее банкротство, естественный акт самосохранения. Мы показали, что таков не только априористический вывод; что многие факты из нашей торговой истории объясняют и доказывают естественность, благотворность и необходимость поддерживаемой нами *теории*. Если б этот вывод нуждался в подкреплении дальнейшим опытом, мы могли бы привести в пример позднейшие события в Гамбурге. В этом городе нет в обращении билетов, кроме таких, равноценность которых, заключающаяся в драгоценных металлах или камнях, хранится в банке; там никто не может получить, как у нас, банковые платежные обещания в обмен на кредитные бумаги. Отсюда произошло, что, когда гамбургские купцы, не получая переводов из-за границы, внезапно лишились средств к покрытию своих обязательств, причем закон не давал им возможности достать банковых платежных обещаний под залог имущества, — банкротство поразило их поголовно. И что же случилось впоследствии? Чтобы предупредить общее разорение, правительство вынуждено было постановить, что все векселя, которым наступили уже

сроки платежа, должны воспользоваться еще месячной льготой и что немедленно должен быть учрежден государственный учетный банк для выпуска государственных платежных обещаний, с обеспечением другими процентными бумагами. Из этого видно, что правительство, разорив сначала своим запретительным законом целую массу негоциантов, было принуждено узаконить такую отсрочку платежей, которая — не будь даже этого закона — совершилась бы сама собой, в силу естественных причин. При этом новом подтверждении априористического вывода можно ли еще сомневаться, что наши последние коммерческие затруднения были только усилены актом 1814 г.? Не известно ли всем и каждому в Сити, что прогрессивно возроставшее требование на аккомодационные сделки обусловливалось в значительной степени убеждением, что вследствие банкового акта скоро не будет вовсе никаких аккомодаций? Не известно ли каждому лондонскому негоцианту, что его соседи, имевшие векселя, которым наступали сроки, предвидя, что при наступлении этих сроков банк будет производить учет за более высокие проценты или не будет учитывать вовсе, старались вперед реализовать эти векселя? Не известен ли всем и каждому тот факт, что подобное стремление собирать деньги не только сделало натиск на банк более сильным, нежели было бы при других обстоятельствах, но, извлекая из обращения как золото, так и билеты, сделало банковые выпуски на время бесполезными для публики? Не случилось ли при этом то же, что было в 1793 и 1820 гг., т.е. не оказалось ли, что лишь только запретительная мера была отмечена, как одно сознание, что займы могут быть заключены, предупредило потребность в действительном их применении? И в самом деле, один уже тот факт, что с отменой акта внезапно исчезла и паника, не служит ли достаточным доказательством, что акт был в значительной мере причиной возникновения паники? Посмотрим еще на дальнейший результат законодательного вмешательства. При обыкновенных обстоятельствах акт сэра Роберта Пиля, обязывая Английский банк, а отчасти и провинциальные банки, держать в запасе больше золота, нежели они стали бы держать при других условиях, возложил на нацию налог, сообразный процентам с той доли золотой монеты, которая превышала потребность, — налог, который в течение последних тринадцати лет, по всей вероятности,

достигал нескольких миллионов. Таким образом, в двух случаях, когда возникали кризисы, которые должны бы были быть предупреждены, акт, усилив натиск на банк, довел до банкротства много почтенных фирм, которые иначе удержались бы, и усугубил бедствия не только торгового, но и рабочего населения. Поэтому он дважды был отменяем именно в такую пору, когда благодетельное влияние его должно бы было выказаться наиболее сильно. Этот акт вел к напрасным расходам, злоупотреблениям и банкротствам. Между тем господствующее заблуждение еще столь сильно, что акт, по всей вероятности, будет удержан! «Но, — спрашивают наши противники, — неужели же можно позволить банку выпустить все золото за пределы страны, не полагая этому никакой преграды? Неужели можно допустить до такой степени истощить запас золота, чтобы подвергнуть риску разменность банковских билетов? Неужели следует дать средства банку беспрепятственно увеличивать выпуски билетов и создавать таким образом систему обесцененных бумажных денежных знаков?»

В пору господства теории свободной торговли как-то странно давать ответы на подобные вопросы, и, если б само законодательство не путало фактов и идей, непростительно было бы делать такие вопросы.

Во-первых, господствующее убеждение, что отлив золота из страны составляет (по самой сущности своей и во всех случаях) зло, есть не что иное, как род политического суеверия, возникшего частью из старинного поверья, что богатство заключается исключительно в деньгах, а частью — из условий искусственно созданного законодательством порядка вещей, при котором отлив золота являлся действительно признаком искаженной денежной системы, — мы разумеем период прекращения размена билетов. Когда закон уничтожил миллионы договоров, охрана которых лежала на прямой его обязанности; когда он освободил банкиров от уплаты монетой по их обязательствам и сделал ненужными запасы золота, предназначавшиеся для платежей; когда он устранил таким образом эту естественную преграду чрезмерным выпускам и обесцениванию билетов; когда он приостановил отчасти *внутренний* спрос на золото, который всегда соперничает и балансируется *иностраннным* спросом, — естественным последствием этого должен был явиться чрезмерный

отлив золота. Мало-помалу оказалось, что отлив золота был результатом чрезмерного выпуска билетов и что сопровождавшая этот выпуск высокая цена золота при платеже за него билетами выражала обесценение билетов. Тогда-то и выработалась доктрина, которая учит, что неблагоприятное положение иностранных вексельных курсов, доказывая отлив золота, указывает на чрезмерное обращение билетов и на то, что выпуски билетов должны быть обуславливаемы состоянием вексельных курсов.

Так как подобное неестественное положение денежной системы держалось целую четверть столетия, то доктрина, обуславливающая эту систему, успела упрочить за собой место в общественном мнении. Заметим при этом одно из многочисленных вредных влияний законодательного вмешательства. Искусственный прием, годный только для положения, созданного искусственно же, пережил момент возвращения к естественному порядку вещей, через что понятия людей о денежной системе усвоили себе хроническую запутанность.

Дело в том, что если в период узаконенной неразменности банковых билетов отлив золота может доказывать и часто действительно доказывает чрезмерный выпуск билетов, то при обыкновенных обстоятельствах отлив золота имеет очень мало или даже вовсе не имеет связи с выпуском билетов и обуславливается чисто торговыми причинами. И такой отлив золота, обусловленный торговыми причинами, не только не представляет вреда, но, напротив, бывает хорошим признаком. Оставляя в стороне такие явления, как вывоз золота для вспомоществования иностранным армиям, причинами отлива его следует принять или действительное переполнение рынка товарами всякого рода, включая и золото (что и влечет за собою посылку золота за пределы страны для помещения капитала за границей), или же крайнее изобилие в самом золоте в сравнении с другими главнейшими товарами. И если в последнем случае отлив золота доказывает абсолютное или относительное обеднение нации, то он служит в то же время и средством, смягчающим вредные последствия такого обеднения. Посмотрим на этот вопрос с точки зрения политической экономии, и тогда мы убедимся в очевидности этой истины. Нация для своего домашнего обихода и потребления нуждается в известных количествах товаров, к числу которых принадлежит и золото.

Все эти товары и в отдельности, и в совокупности подвержены истощению или от дурных урожаев, или от опустошений, причиненных войною, или от убытков по заграничным оборотам, или от чрезмерного отвлечения труда или капитала в каком-либо специальном направлении. Когда проявляется таким образом недостаток в каком-либо из главнейших товаров, что может служить врачующим средством? Товар, который оказывается в излишестве (если же излишества нет, то тот, без которого легче обойтись), вывозится в обмен на добавочное количество недостающего товара. И действительно, вся наша заграничная торговля, в ее полном составе, как при обыкновенных, так и при чрезвычайных обстоятельствах состоит в подобном процессе. Когда же случается, что товар, который может быть отпущен, не требуется за границу, или (как было недавно) что главный иностранный потребитель на время лишился возможности покупать, или, наконец, что товар, без которого мы наиболее легко можем обойтись, есть золото, тогда само золото начинает вывозиться в обмен на предметы, в которых мы наиболее нуждаемся. Какую бы форму ни приняла подобная сделка, она, в сущности, не что иное, как приведение предложения различных родов товаров в соответствие со спросом на них. Факт, что золото вывозится, служит лишь доказательством, что потребность в золоте менее ощутима, чем в других предметах. При таких обстоятельствах отлив золота будет продолжаться и *должен* продолжаться до тех пор, пока других предметов будет столь много, а золота окажется столь мало, что спрос на золото сравняется со спросом на другие предметы. Тот, кто вздумает помешать этому процессу, будет так же благоразумен, как скряга, который, видя, что семья осталась без хлеба, предпочитает уморить ее с голоду, чем открыть свой кошелек.

Другой вопрос, делаемый нашими оппонентами, состоит в следующем: «Должно ли позволять банку истощать его металлический фонд до того, что разменность билетов могла подвергнуться риску?» Этот вопрос столь же малооснователен, как и первый. На него можно отвечать другим вопросом, поставленным несколько шире: «Должно ли допускать негодяна, фабриканта или торговца затрачивать принадлежащие им капиталы таким образом, чтобы исполнение принятых ими на себя обязательств подверглось риску?» Если на первый

вопрос следует отвечать «нет», то такой же ответ должно дать и на второй. Если на второй вопрос ответом должно быть «да», то такой же ответ следует дать и на первый. Всякий, кто предположил бы, что правительство должно наблюдать за операциями каждого торговца с тем, чтобы обеспечить состоятельность расчета по каждой денежной претензии, которой наступит срок, мог бы также требовать, чтобы и банкиры были под подобным контролем. Но если никому не приходится в голову домогаться первого, то чуть ли не все готовы уверять, что последнее необходимо. Есть люди, которые, по-видимому, воображают, что банкир благодаря своим занятиям приобретает какую-то непонятную склонность разоряться и что в то время, как торгующие другими предметами удерживаются от увлечений страхом банкротства, люди, торгующие капиталом, испытывают такое непреодолимое желание появиться на страницах газетных объявлений о несостоятельных должниках, что один только закон в состоянии удержать их от удовлетворения этого желания! Нет, кажется, надобности доказывать, что нравственная узда, действующая на других людей, должна действовать и на банкиров. Если же нравственные побуждения недостаточны для обеспечения полной безопасности, то можно быть уверенным, что никакие самые искусные законодательные уловки не в состоянии заменить эти побуждения с большим успехом. Господствующее мнение, что если дать банкирам свободу, то они могли бы, и действительно стали бы, выпускать билеты до безграничного количества, есть одно из нелепых заблуждений, — заблуждение, которое, однако, не возникло бы, если б сам закон не вызвал чрезмерных выпусков бумаг. Дело в том, во-первых, что банкир *не может* увеличить выпуск билетов по своему произволу. Единогласное свидетельство банкиров, опрошенных различными парламентскими комиссиями, убеждает, что «количество делаемых ими выпусков исключительно обуславливается размерами местных оборотов и ходом торговых дел известного околотка» и что билеты, выпущенные сверх потребности в них, «тотчас же возвращаются в банк». Во-вторых, банкир, вообще говоря, *не пожелает* выпустить билетов более, нежели позволяет безопасность: он предвидит, что если его платежные обещания, находящиеся в обращении, значительно превышают его средства к удовлетворению их, то он неизбежно рискует быть

вынужденным к прекращению платежей, — результат, которого он столько же страшится, как и другие люди. Если б потребовались факты для доказательства этого, можно бы привести в пример историю двух банков: Английского и Ирландского. Оба эти банка, пока правительство не вмешивалось в их дела, обыкновенно соразмеряли свои выпуски с количеством металлического фонда, и нет сомнения, что они и впредь были бы не менее благоразумны, если б не утвердившееся в них сознание, что они могут опираться на государственный кредит.

На третий вопрос: «Следует ли допускать, чтобы банки выпускали билеты в таком количестве, которое бы причиняло обесценение?» — ответ, в сущности, дан уже в двух первых. Обесценения билетов не может быть до тех пор, пока они обмениваются на золото по востребованию. До тех же пор, пока правительство, сознавая свою обязанность, настаивает на исполнении договоров, перспектива банкротства всегда будет служить к предупреждению таких выпусков, которые бы подвергли сомнению возможность размена билетов на монету. Пугало обесценения вовсе не существовало бы, если бы не неудачные вмешательства правительства. На примере Америки, где являлось подобное обесценение, мы видим, что виновато в нем одно правительство. Оно не настаивало на исполнении договоров, не признавало тотчас банкротами тех, кто был несостоятелен к платежу по билетам металлом, и если полученные нами сведения верны, то даже смотрело сквозь пальцы на оскорбления лиц, приносящих билеты для оплаты¹. Во всех других случаях правительства сами играли главную роль. Так, обесцененные бумажные деньги во Франции во времена революции были бумагами государственными; то же самое было в Австрии и в России. Все обесцененные бумаги, которые встречались у нас в Великобритании, были во всех отношениях и в полном смысле бумагами государственными. В 1795—1796 гг. никто другой как правительство *вынудило* чрезмерный выпуск билетов Английского банка, приведший к прекращению платежей звонкой монетой. В 1802 г. правительство же *запретило* возобновление размена, когда Английский банк желал восстановить его. То же правительство в течение четверти столетия *поддерживало*

¹ Написано в 1858 г., когда «greenbacks» не были еще известны*.

неразменность билетов, которые вследствие того чрезмерно увеличились числом и упали в цене. Полное искажение системы было приготовлено государственным вмешательством и упрочено государственной санкцией. Между тем теперь государство приходит в благородное негодование при виде преступления, совершенного его же подстрекательствами! Придумав свалить грех на плечи своих орудий, государство важным тоном укоряет банкиров в их проступках и с серьезным видом придумывает меры к тому, чтобы проступки эти не повторялись!

Итак, мы утверждаем, что ни для отвращения вывоза золота, ни для охраны против чрезмерных выпусков билетов вмешательство законодательной власти не может быть признано пригодным средством. Если правительство возьмется энергически за применение закона о всякого рода несостоятельностьях, то собственный интерес банкиров и торговцев сделает все остальное: зло, возникающее из отсутствия торговой честности и торгового благоразумия, принадлежит к числу таких неблагоприятных влияний, которые вмешательство закона может только усилить, а никак не предупредить. Позвольте Английскому банку, вместе со всеми другими банками, руководствоваться лишь условиями их собственной безопасности и их собственных выгод, и из этих соображений возникнет именно столько умеряющей силы, сколько нужно для ограничения отлива золота или выпуска билетов: вот единственная преграда, которая с пользой может быть противопоставлена спекулятивной деятельности. Когда какое-либо обстоятельство ведет публику к усиленному черпанию денежных средств из банков, тотчас же обнаруживается повышение учетного процента, предписываемое как желанием получить более прибылей, так и желанием избежать опасного истощения банковских средств. Такое повышение учетного процента предупреждает чрезмерные требования, ограничивает чрезмерное увеличение обращения билетов, останавливает спекулянтов от заключения дальнейших обязательств и, если золото еще вывозится, уменьшает выгоды вывоза. Дальнейшие повышения учетного процента усиливают те же самые последствия, пока наконец никто не станет требовать учета, кроме лиц, которым угрожает прекращение платежей. Тогда увеличение кредитных знаков прекращается, а отлив золота, если он еще продолжался, останавливается вследствие домашнего спроса,

превышающего требования из-за границы. Если же в пору коммерческих затруднений и под влиянием соблазна воспользоваться высоким учетом банки допускают, чтобы масса их билетов достигла несколько опасной цифры, то действия их оправдываются необходимостью. Операция эта, как уже упомянуто выше, состоит в том, что банки под залог надежных ценностей ссужают своим кредитом торговцев, которые без этой ссуды объявили бы себя банкротами. Никто не станет отрицать, что банки должны принимать на себя некоторый риск, чтобы спасти от неминуемого разорения массы людей вполне состоятельных. Кроме того, во время кризиса, который таким образом предоставляется своему естественному ходу, действительно наступает то нравственное очищение торговой сферы, которое, по мнению многих, может быть достигнуто лишь при содействии какого-либо парламентского акта. При описанных обстоятельствах люди, имеющие надежные ценности для залога, получают банковую ссуду; люди же, торговавшие без капитала или свыше своих средств, не имея в руках надежных ценностей, не получают ссуды и должны будут объявить себя банкротами. При господстве системы свободы хорошее само выработается из массы дурного, тогда как существующие ограничения банковских операций стремятся к тому, чтобы уничтожить и хорошие и дурные элементы вместе.

Таким образом, мнение, будто необходима особая регламентация для предупреждения неразменности и обесценения билетов, совершенно несправедливо. Несправедливо, что банкиры при отсутствии законодательного контроля достигли бы отлива золота из страны до самых крайних пределов. Несправедливо, будто бы «кредитные теоретики» открыли на политическом организме такое место, которое без употребления правительственных вяжущих средств угрожало бы истечением кровью и смертью.

То, что нам остается еще сказать об общем вопросе, может быть с большим удобством выражено совокупно с объяснениями, касающимися провинциальных и акционерных банков, к которым мы намерены теперь перейти. Так как правительство, чтобы охранить монополию Английского банка, постановило, что товарищество, состоящее более чем из шести лиц, не может заниматься банкирским делом, и так как Английский

банк отказался учредить конторы или отделения свои в провинциях, то из этого произошло, что в течение второй половины минувшего столетия, когда промышленность быстро развивалась и в банках встречалась крайняя потребность, многие частные торговцы, держатели лавок и другие лица начали выпускать билеты с оплатой по востребованию. И когда из четырехсот мелких банков, которые возникли таким образом менее чем за пятьдесят лет, большая часть закрылась при первых же неблагоприятных обстоятельствах (что повторялось и впоследствии, когда в Ирландии, где монополия Ирландского банка была подобным же образом охраняема, из пятидесяти частных провинциальных банков обанкротились сорок); когда, наконец, сделалось известным, что в Шотландии, где закон не ограничивал состава товариществ, в целое столетие едва ли представился один случай банковского банкротства, — законодатели решились уничтожить запрещение, приведшее к столь гибельным последствиям. Сделав, по выражению *Милля*, из основания надежных банковских учреждений своего рода наказуемое нарушение закона, удерживая в течение ста двадцати лет постановление, которое сначала было крайне неудобно, а потом привело к разорениям, повторявшимся несколько раз, правительство в 1826 г. разрешило свободное учреждение акционерных банков. И свободу эту простодушная публика, не умеющая проводить границу между прямой пользой и отсутствием вреда, считала за великое благодеяние.

Эта свобода не лишена была известных ограничений. Будучи в прежнее время (из желания охранить права своего протее, Английского банка) равнодушным к банковской состоятельности общества в обширном смысле, государство, подобно кающемуся грешнику, который вдается в аскетизм, сделалось вдруг чрезвычайно взыскательно в этом отношении и решилось раздавать от себя гарантии, вместо того чтобы искать естественной гарантии в меркантильной опытности самой публики. Обращаясь к лицам, желавшим поступить в пайщики банка, оно говорило: «Вы не должны соединяться на тех обнародованных во всеобщую известность условиях, которые вы признаете для себя выгодными; вы не должны пользоваться той степенью доверия, которая естественно вам принадлежит, в силу упомянутых условий». Обращаясь к публике, оно говорило:

«Вы не должны доверять той или другой ассоциации в такой мере, в какой признаете ее достойной доверия, смотря по свойствам ее членов или по ее внутренней организации». Обращаясь к обеим сторонам, оно говорило: «Вы будете пользоваться от меня неизменной охраной».

Какие же были результаты такого образа действий? Всякий знает, что правительственные гарантии оказались далеко не безгрешными. Всякий знает, что эти банки с правительственным устройством отличались характером неустойчивости. Всякий знает, как доверчивые граждане — с благоговением перед законодательной силой, которая не ослабевает, несмотря на беспрестанные разочарования, — безгранично отдались этим обеспечениям и, не руководясь уже своими собственными соображениями, вовлечены были в разорительные предприятия. Вред замены искусственными гарантиями естественных обеспечений, — вред который всякому пронизательному человеку давно уже бросался в глаза, сделался вследствие недавних катастроф очевидным для каждого.

Начиная настоящую статью, мы намерены были остановиться на этом предмете. Хотя образ действий, приведший акционерные банки к банкротству, был неоднократно описываем вскоре после случившихся событий, но мы приведем очевидное из всего этого заключение. Хотя в трех отдельных торговых обозрениях газеты «Times» было объясняемо, что «полагаясь на окончательную ответственность со стороны громадной массы ослепленных пайщиков, учетные дома снабжали кредитом эти банки безгранично, смотря не столько на достоинство представляемых векселей, сколько на обеспечение, заключающееся в делаемой банком бланковой надписи», однако ни в одном из этих обозрений не выставлялось на вид, что, не будь закона о неограниченной ответственности, эти опрометчивые обороты не могли бы производиться. Впоследствии эта истица была признана как парламентом, так и журналистикой, и более распространяться об этом нечего. Мы прибавим только, что если б не существовал закон о неограниченной ответственности, то лондонские учетные дома не дисконтировали бы дурных векселей; что в таком случае провинциальные акционерные банки не открыли бы столь обширного кредита несостоятельным спекулянтам и что, следовательно, банки эти

не подверглись бы разорению. Из этого очевидно, что банкротства, постигшие акционерные банки, были бедствиями, вызванными законодательствам.

Мера, имевшая целью обеспечить провинциальную публику от опасных увлечений, состояла в ограничении обращения провинциальных банковых билетов. Акт 1844 г., установив подвижную шкалу для выпусков Английского банка, определил в то же время *taxitum* выпуска билетов провинциальными банками и запретил дальнейшее открытие эмиссионных банков (*banks-of-issue*). Мы не имеем возможности распространяться здесь о последствиях этого запрещения, которое должно было тяжело лечь на тех особенно осторожных банкиров, которые в течение двенадцати недель, предшествовавших 27 апреля 1844 г., сократили свои выпуски на случай неожиданных событий, тогда как оно открывало полную свободу тем банкирам, которые в течение этого периода были наименее осмотрительны. Все, что мы можем заметить здесь, это то, что строгое ограничение провинциальных выпусков крайне низким максимумом (а низкий максимум был установлен преднамеренно) предупреждает проявление тех частных расширений обращения банковых билетов, которые, как мы показали уже, *должны* иметь место в периоды торговых затруднений. Кроме того, трансферт всех известных требований на Английский банк, как на единственный центр, из которого могут быть добыты чрезвычайные средства, сосредоточивает стеснение в одном пункте, тогда как иначе оно распределилось бы по разным пунктам — и через то вызывает панику.

Не прибавляя ничего более о неполитичности этой меры, обратим внимание на ее мелочность. Как предохранительное средство удержать разменность провинциальных банковых билетов, мера эта бесполезна, если только она не предупреждает банковых банкротств; а что она не в состоянии выполнить последней задачи, не подлежит сомнению. Если она уменьшает вероятность банкротств, причиняемых чрезмерным выпуском билетов, то зато усиливает возможность банкротств от других причин. Как должен был поступать провинциальный банкир, выпуски которого актом 1844 г. доведены до более низкого уровня, нежели тот, на котором он остановился бы при несуществовании подобного закона? Если он, при отсутствии этого

закона, намерен был выпустить билетов больше, нежели имеет право по закону, и если резерв его, по его мнению, значительнее того, какой нужен для обеспечения дозволенных законом выпусков, то ясно, что ему оставалось только увеличить свои операции в других направлениях. Излишек находящегося у него капитала не должен ли был возбуждать его, или входить в более обширные спекуляции от своего лица, или допускать своих клиентов выдавать на него обязательства далее того предела, какой он назначил бы при других обстоятельствах? Если при отсутствии запрещения его неосмотрительность привела бы его к риску банкротства от чрезмерных выпусков билетов, то при настоящих обстоятельствах не может ли то же самое качество вовлечь его в опасность банкротства от чрезмерного развития банковского дела? А один из этих видов банкротства не так же ли губелен для разменности билетов, как и другой вид?

При настоящих обстоятельствах дело представляется даже в худшем положении. Есть основание предполагать, что при такой протективной системе банкиры вовлекаются в еще более опасные предприятия. Они закладывают свой капитал путями менее прямыми, нежели выпуск билетов, и легко доходят, именно вследствие меньшей притязательности этого процесса, до больших затрат и увлечений, чем дошли бы при иных условиях. Торговец, обращающийся за помощью к своему банкиру в пору коммерческих затруднений, часто получает такой ответ: «Я не могу сделать вам прямой ссуды, потому что роздал уже ссуды на ту сумму, на какую был в состоянии; но, зная вас за надежного человека, я ссужу вам мое имя. Вот моя акцептация на сумму, которую вы требуете; в Лондоне всякий примет этот вексель к учету». Теперь, так как займы, сделанные этим путем, не влекут за собой столь же непосредственной ответственности, как займы, сделанные в форме билетов (потому что они не подлежат немедленной оплате и не предполагают возможности приступа к банку), то банкир чувствует искушение расширить свои обязательства этим путем гораздо далее, чем он решился бы в том случае, если бы закон не вынуждал его избрать новый канал для открытия кредита.

Обстоятельства последнего времени доказывают с полной очевидностью, что эти окольные дороги к открытию кредита занимают место путей, на которые распространилось запреще-

ние, и что такие окольные дороги гораздо опаснее путей запрещенных. Не известно ли всем и каждому, что опасные формы бумажного денежного обращения развились до небывалых размеров именно со времени издания акта 1844 г.? Не представляют ли журналы и парламентские трения ежедневно указания на это обстоятельство? И причина этого явления не ясна ли для каждого до совершенной очевидности?

Уже путем априористических выводов можно бы было убедиться, что таков будет результат принятых мер. Прежде уже доказано, что масса обращающихся в данное время билетов определяется, при отсутствии постороннего вмешательства, размерами производимой торговли — количеством предстоящих платежей. Не раз было заявлено перед парламентской комиссией, что когда какой-нибудь местный банкир сокращает свои выпуски, то он вызывает через то усиленные выпуски со стороны соседних банкиров. В прежнее время неоднократно были приносимы жалобы на то, что, когда Английский банк, руководясь осторожностью, извлекал часть своих билетов из обращения, провинциальные банкиры немедленно увеличивали свои выпуски до соответственных размеров. Неужели же не понятно, что такое соотношение, существующее между двумя родами банковых билетов, существует также между банковыми билетами и другими видами бумажных денежных знаков? Как уменьшение билетов одного банка ведет только к увеличению билетов других банков, точно так же и искусственное ограничение обращения банковых билетов вообще ведет лишь к увеличению какого-либо другого рода платежных обещаний. И не понятно ли, что этот новый род обязательств, в силу их новизны и неустойчивости, представляет разряд менее безопасный? Каков же из этого логический вывод? Над векселями, чеками и другими бумагами, составляющими в совокупности девять десятых бумажных знаков королевства, правительство не имеет и не может иметь никакого контроля. Затем, ограничение, налагаемое правительством на остальную одну десятую, искажает прочие девять десятых, вызывая чрезмерное развитие новых форм кредита, — форм, которые, по указанию опыта, наиболее опасны.

Таким образом, вмешательство правительства, переходящего за пределы своих истинных обязанностей, ведет только к затруднениям, расстройству и плутням. Как уже говорилось,

размеры кредита, какой люди намерены открыть друг другу, определяются единственно характером людей, их направлением, их обстоятельствами. Если правительство запретит одну форму кредита, люди найдут другую, по всей вероятности худшую. Будет взаимное доверие людей благоразумно или неблагоразумно, оно найдет для себя выход. Попытка стеснить это доверие законом есть лишь повторение старой истории о попытке вычерпать море.

Не следует упускать из виду, что, не будь этих более чем бесполезных государственных гарантий — всюду возникли бы известные естественные гарантии, которые положили бы действительные преграды чрезмерному развитию кредита и духа спекуляции. Не будь попытки упрочить безопасность посредством закона, очень может быть, что при стесненных торговых обстоятельствах банки соперничали бы один с другим в упрочении доверия публики, старались бы превзойти один другого успехами в приобретении этого доверия. Рассмотрим положение вновь возникшего акционерного банка с ограниченной ответственностью, не стесненного законодательной регламентацией. Он не в состоянии ничего начать делать прежде, чем успеет заслужить хорошее о себе мнение. На этом пути предстоит много затруднений. Организация его еще не изведена, и есть основание полагать, что на первых порах торговое сословие отнесется к нему недоверчиво. Поле деятельности уже занято прежними банками, с установившимися связями и репутацией. Вне обыкновенных условий удовлетворения существующим требованиям ему предстоит искать поборников системы, которая может оказаться менее надежной, чем прежняя. Как же он этого достигнет? Очевидно, что он должен найти какое-либо особое средство внушить обществу доверие к себе. Из числа многих банков, находящихся в подобных обстоятельствах, может быть, найдется один, который нападет на такое средство. Может случиться, например, что такой банк всеми лицами, вклады которых превысят 1000 ф. ст., даст право рассматривать свои книги, удостоверяться время от времени в положении своих обстоятельств и затрат. Такая система принята уже многими частными торговцами как способ внушить доверие лицам, ссужающим их деньгами; система эта при действии соперничества могла бы развиваться до значительных размеров. Мы предложили

на эту тему вопрос лицу, долго и с успехом управлявшему акционерным банком, и он отвечал нам, что подобные приемы легко могли бы установиться, присовокупив, что при таких условиях вкладчик фактически становился бы пайщиком с ограниченной ответственностью.

Если бы подобная система упрочилась, она явилась бы двойным оплотом против неосторожного ведения дел. Одно лишь сознание, что всякое увлечение с его стороны делается известным главным клиентам, не допускало бы банковое управление предаваться увлечениям. С другой стороны, и спекулянт не решался бы сделать слишком большой долг, если б он знал, что существование этого долга делается известным и что от этого может потерпеть его кредит. И ссужающий и занимающий деньги одинаково удерживались бы от безрассудных предприятий. Для достижения этой цели достаточно было бы очень несложного надзора. Обязанность эту могли бы исполнить один или два вкладчика, при убеждении, что одна лишь возможность обнаружения злоупотреблений удержит распорядителей в границах благоразумия.

Если же кто-либо стал бы утверждать (а такие люди, может быть, и найдутся), что подобное наблюдение не привело бы ни к чему; если б кто-либо поддерживал мнение, что имея в своих руках гарантии безопасности, граждане не воспользуются ими, по-прежнему будут слепо доверять директорам и открывать безграничный кредит уважаемым именам, — то на это мы ответим, что такие граждане заслуживают, чтобы самые пагубные последствия пали на них всей своей тяжестью. Если они не умеют воспользоваться выгодами предлагаемой им гарантии, то пусть и несут за то ответственность. Мы не в состоянии оправдать ту неуместную филантропию, которая старается предохранить глупцов от заслуживаемого ими наказания. Кто защищает людей от последствий, причиняемых их глупостью, тот в окончательном результате делает то, что свет переполнится глупцами.

Скажем в заключение несколько слов относительно постановления, принятого нашими оппонентами. Оставляя в стороне постановления об акционерных банках, на которые глаза публики теперь, к счастью, уже открыты, и возвращаясь к банковской хартии, с ее теорией регулирования денежного обращения, мы хотя и не желали бы, но должны представить приверженцев

этой теории в не совсем выгодном свете. Их обычная политика состоит в том, чтобы изображать всякий антагонизм равносильным увлечению в самые грубые заблуждения. Они обыкновенно допускают одну лишь альтернативу — или их собственный догмат, или такую дикую доктрину, о которой нельзя и говорить серьезно: «Держитесь нашей партии, иначе вы — анархисты» — вот сущность их выводов.

В каждом споре об этом предмете оппоненты наши очень смело уверяют, что они — защитники «принципа», на возражения же, делаемые им, отвечают упреком в «эмпиризме». Мы, однако, не находим ничего эмпирического в том выводе, что обращение банковых билетов должно регулироваться точно таким же образом, как и обращение других кредитных знаков. Мы не усматриваем ничего «эмпирического» в замечании, что естественная охрана, заключающаяся в предвидении банкротства, удерживая купца от выдачи слишком большого числа платежных обещаний на известные сроки, точно так же удержит и банкира от выдачи сверх меры платежных обещаний по востребованию. В нем же заключается «эмпиризм» человека, который доказывает, что личные свойства и обстоятельства людей определяют количество кредитных обязательств, находящихся в обращении, и что денежное расстройство, которое по временам вызывается ненадежными характерами и изменчивыми обстоятельствами, может быть только усиливается, а никак не устраняется правительственными врачеваниями. С другой стороны, мы не можем понять, в силу какого «принципа» обязательство, написанное на банковом билете, должно быть рассматривается не так, как всякий другой договор. Мы не можем признать такого принципа, который требует, чтобы правительство контролировало дела банкиров, не допуская их до заключения обязательств, превышающих их средства, — и который не требует от правительства того же самого в отношении к другим торговым людям. Для нас непостижим такой «принцип», который позволяет Английскому банку выпустить билетов на 14 000 000 ф. ст. с обеспечением государственным кредитом — и который не дает разрешения на пользование этим кредитом свыше упомянутой суммы, — «принцип», который говорит, что билеты на 14 000 000 ф. ст. могут быть выпущены без обеспечений золотом, но настаивает в то же время, что за всякий

фунт свыше этой суммы могут быть выпускаемы билеты лишь с неперменным обеспечением их размена. Любопытно видеть, как из этого «принципа» сделан был вывод, что средний размер обещания билетов по каждому провинциальному банку, в течение двенадцати недель 1844 г., был именно тот размер, который оправдывался капиталом банка. Не усматривая здесь никакого «принципа», мы находим, напротив, что как сама мысль, изложенная выше, так и ее применение отличаются вполне эмпирическим характером.

Еще более удивительно уверение этих «теоретиков денежной школы», будто бы их доктрины — те же доктрины свободной торговли. В законодательной сфере лорд *Оверстон*, а в журналистике «*Saturday Review*» поддерживали, между прочим, это мнение. Причислять к мерам свободной торговли то, что имеет явной целью ограничить свободные действия обмена, значит допускать невероятное противоречие в понятиях. Вся система законодательства о кредитных знаках имеет от начала до конца запретительный характер, она имеет этот характер и по духу, и в частности. Можно ли назвать законом свободной торговли такой закон, который запрещает учреждение выпускных банков на пространстве шестидесяти пяти миль от Лондона? или такой, который говорит, что только имеющий правительственную привилегию может выдавать платежные обещания по востребованию? или такой, который в известный момент становится между банкиром и его клиентом и произносит *veto* против дальнейшего обмена между ними кредитных документов? Если б случилось, что два купца пожелали войти между собой в сделку, и если б в то самое время, как один из них собирался выдать другому вексель в обмен за купленные им товары явился бы чиновник, который остановил бы покупателя замечанием, что, рассмотрев его большую книгу, он не находит осторожной предполагаемую им покупку и что закон, во имя принципа свободной торговли, уничтожает эту сделку, — если б все это случилось, что сказали бы обе стороны? Если в этом примере вместо шестимесячных платежных обещаний мы поставим платежные обещания по востребованию, то он в равной степени применяется к сделке между банкиром и его клиентом.

Правда, что «кредитные теоретики» находят очень сильное оправдание в том факте, что в числе их оппонентов есть

защитники различных несбыточных планов и изобретатели постановлений, столь же протекционных по духу, как и их собственная теория. Правда, что в рядах их есть защитники нераменных «трудовых билетов» и люди, старающиеся доказать, что в пору торговых затруднений банки не должны возвышать учетного процента. Но оправдывает ли этот факт беспощадный укор, обращенный из этого лагеря к лицу антагонистов, ввиду того явления, что против Банкового акта восставали высшие авторитеты в политической экономии? Неужели защитники «денежного принципа» не знают, что в числе их противников являются: *Торнтон*, давно известный писатель по части денежных вопросов; *Тук* и *Ньюмарч*, отличившиеся многотрудными исследованиями кредитной системы и цен; *Фуллертон*, которого сочинение «*Regulation of Currencies*» есть мастерское произведение, *Маклеод*, которого книга* изображает бесконечные несправедливости и нелепости, ознаменовавшие монетную историю Англии; *Джеймс Уилсон*, член парламента, который в знании торгового, денежного и банкового дела не встречает себе соперников; *Джон Стюарт Милль*, стоящий в передовом ряду и как философ и как экономист? Неужели «теоретики денежной школы» не понимают, что мнимое различие между банковыми билетами и другими кредитными документами, различие, составляющее основу Банкового акта (в подкрепление которого сэр *Роберт Пиль* мог привести лишь слабый авторитет лорда *Ливерпуля*), отвергается не только вышеупомянутыми авторитетами, но и *Гаскиссоном*, профессором *Шторхом*, доктором *Траверсом Твиссом* и известными французскими экономистами *Жозефом Гарнье* и *Мишелем Шевалье*?¹ Разве они не знают, что против них стоят и глубокомысленные мыслители, и терпеливые труженики? Если они этого не подозревают, то пора же им приняться за изучение предмета, о котором они пишут с видом знатоков. А если они это знают, то не мешало бы им показывать несколько больше уважения к своим противникам.

¹ См.: *Tooke. Bank Charter Act of 1844 etc.*

Х ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕФОРМА ОПАСНОСТИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ¹

Тридцать лет тому назад страх грядущих зол волновал не мало умов в Англии. Инстинктивная боязнь перемены, с виду оправдываемая вспышками народной жестокости, вызывала в воображении многих призрак анархии, которая непременно должна наступить вслед за проведением билля о реформе*. Среди фермеров царил хронический ужас: они боялись, как бы новоиспеченные участники политической власти как-нибудь не присвоили себе всех выгод, даваемых скотоводством и земледелием. Владельцы замков и больших поместий говорили о мелких собственниках, т.е. годовой доход которых равняется 10 ф. ст., что проявляет юридически условие избирательного права (*ten-pound house holders*) в таком духе, как будто те составляли армию хищников, грозящих разграбить и опустошить их владения. Были и среди горожан такие, которые рассматривали отмену старых укоренившихся зол как переход правления в руки черни, что для них, в свою очередь, было равносильно грабежу. Даже в парламенте выражались иногда подобные опасения, как, например, устами сэра Роберта Инглиза, позволившего себе намекнуть, что национальный долг, пожалуй, и не будет признаваться обязательным, если предполагаемая мера делается законом.

Может быть, и теперь есть люди, испытывающие подобные же страхи при мысли о предстоящей перемене, полагающие, что рабочие и вообще люди низшего сословия, заполучив власть, сейчас же наложат руки на собственность. Мы надеемся, однако, что столь неразумно бьющие тревогу составляют лишь незначительную часть нации. Не только либеральная партия, но и консервативная понимает народ лучше и правильнее тех, кто строит такие мрачные предположения. Многие представители

¹ Впервые напечатано в «Westminster Review» за апрель 1860 г.

высшего и среднего классов признают тот факт, что в общем, если сравнить критически, поведение богатых людей в смысле честности ничем не отличается от поведения бедняков. Виды и степени соблазнов, которым подвергаются эти два слоя общества, различны, но нравственные устои того и другого, в сущности, одинаковы. Неуважение к правам собственности, проявляющееся среди народа, в широком смысле слова, в прямой форме, т.е. в виде мелких краж, в более богатой среде проявляется косвенными путями, в различных формах, однако ж не менее гнусных и часто гораздо более убыточных для сограждан. Торговцы оптом и в розницу сплошь и рядом совершают нечестные поступки, от обмеривания и обвешивания до злостного банкротства включительно, — некоторые из видов мошенничества были нами указаны в нашей статье «Торговая нравственность» («Morals of the Trade»). Плутни на скачках, подкуп избирателей, неуплата по счетам поставщиков, барышничество железнодорожными акциями; непомерно высокие цены, назначаемые помещиками за землю при продаже ее железнодорожным компаниям; подкуп и лихоимство при проведении через парламент частных биллей — все эти и другие примеры в том же роде показывают, что в высшем слое общества недобросовестность — явление не менее обычное, чем в низшем, хотя проявляется она и в иных формах; что процентное отношение в обоих случаях одинаково велико и что в смысле результатов оно такое же, если не большее зло.

А раз факты доказывают, что в смысле честности намеренный один класс стоит другого, неразумно противиться распространению льготы на низший класс на том основании, что это грозит прямой опасностью собственности. Предполагать, что земледельцы и ремесленники в своей массе, пользуясь своей политической властью, будут сознательно несправедливы к своим более богатым согражданам, на это у нас не больше оснований, чем полагать, что эти более богатые сограждане уже теперь сознательно совершают легальные несправедливости по отношению к ремесленникам и земледельцам.

В чем же тогда опасность? Чего бояться? Если владение землей, домами, железными дорогами, капиталами и всякой иной собственностью и тогда будет обеспечено в той же степени, как и теперь, с какой же стати бояться злоупотребления новыми

политическими правами? И каких, собственно, злоупотреблений есть разумное основание бояться?

О том, как могут злоупотреблять своими политическими правами те, кого предполагается наделить ими, мы можем судить по тому, как злоупотребляли ими те, которые обладали ими раньше.

Чем характеризовалось в главных чертах правление донные господствовавших классов? — Нельзя сказать, чтоб эти классы искали всегда своей *прямой* выгоды в ущерб другим, но нередко они вырабатывали меры, *косвенно* выгодные для них. Добровольное самопожертвование являлось исключением; руководящее же правило было: законы должны оберегать частные интересы, все равно, в ущерб или не в ущерб интересам общественным. По справедливости, землевладелец имеет не больше прав на имущество недоимщика-арендатора, чем всякий другой кредитор, однако же землевладельцы, составляющие большинство законодателей, издавали законы, дающие им преимущество перед всеми другими кредиторами и обеспечивающие получение ренты. Пошлина, взимаемая правительством за ввод во владение наследством, перешло ли оно по закону или по завещанию, по справедливости должна бы ложиться тяжелее на более богатых, чем на сравнительно бедных, и на недвижимое имущество тяжелей, чем на движимое; однако же законом установлено обратное; закон этот держался очень долго и до известной степени остается в силе еще теперь. Право представления кандидатов на духовные должности идет совершенно вразрез с духом закона; однако же право это было утверждено парламентом и ревниво отстаивается донные, причем вовсе или почти не принимается в расчет благо тех, для кого, собственно, существует церковь. Чем, как не влиянием личных мотивов, можно объяснить то обстоятельство, что в вопросе о покровительстве земледелию класс землевладельцев и подвластных им лиц резко разошелся во мнениях с другими классами, хотя факты для всех были одни и те же? Если нужно, можем привести еще более яркий пример: оппозиция англиканского духовенства отмене хлебных законов. Профессиональные проповедники справедливости и милосердия, постоянно осуждающие эгоизм и воображающие, что подают пример высоко-го самоотвержения, настолько, однако же, доступны влиянию

мирских расчетов и соображений, что, когда им показалось, что интересы их в опасности, они почти единодушно воспротивились предлагаемой перемене. Из десяти с лишним тысяч друзей *ex officio* бедняков и нуждающихся только один (преподобный Томас Спенсер) принял деятельное участие в борьбе против налога, которым был обложен хлеб крестьянина ради обеспечения ренты землевладельцу.

Вот пример того, какими путями люди, стоящие у кормила власти, в наше время добиваются того, что выгодно для них в ущерб другим. Надо полагать, что и всякая общественная группа, получившая преобладание вследствие политической перемены, действовала бы аналогичными способами, жертвуя ради собственного блага благом других. Мы не видим причины думать, чтобы низшие классы были, по существу, менее добросовестны, чем высшие, но точно так же не видим и основания считать низшие классы более добросовестными. Мы утверждаем, что во всех обществах и во все времена уровень нравственности был в общей сложности одинаков для всех сословий; и потому нам кажется ясным, что, если богатые при случае издают законы, несправедливо покровительствующие им преимущественно перед всеми прочими, бедные, будь власть на их стороне, делали бы то же самое. Не совершая заведомых несправедливостей, они бессознательно руководились бы личными соображениями, и законодательство наше, блуждавшее до того в одном направлении, опять стало бы блуждать в другом.

Распространенные в среде рабочих взгляды и мнения только подтверждают этот абстрактный вывод. Чего теперь желают рабочие классы, того они, надо полагать, и добивались бы, если бы правительственная реформа отдала власть в их руки. Судя по этим ходячим взглядам, они, несомненно, добивались бы или помогли бы добиться многих вещей, весьма желательных. Вопросы, вроде вопроса о церковном налоге (*Church-rates*), были бы решены давным-давно, если бы политические права распространялись на большее количество лиц. Сильно возросшее влияние народа непременно сказалось бы на упорядочении отношений между группой, исповедующей религию, установленную государством, и между остальной частью общества. Были бы уничтожены и другие остатки сословного классового законодательства. Но, помимо идей, способных вызвать перемены, неоспоримо

благодетельные, рабочие классы лелеют и другие, которые не могут быть осуществлены без грубой несправедливости по отношению к другим классам и — в будущем — без вреда для самих рабочих. Так, например, все они питают вражду к капиталистам. До сих пор еще как между сельскохозяйственными рабочими, так и между жителями городов сильно распространено убеждение, будто машины приносят только вред рабочим, причем высказывается желание не только устанавливать число рабочих часов, но и регулировать все отношения между нанимателями и наемниками. Рассмотрим вкратце факты.

Когда, присоединив еще одно ошибочное воззрение к несчетному числу таких же воззрений, внушенных ею народу, законодательная власть приняла билль о десятичасовом рабочем дне и тем самым признала, что ограничивать продолжительность работы есть обязанность государства, в среде рабочих классов естественно возникло желание добиться дальнейших улучшений своей участи тем же путем. Первым результатом этого явилась весьма крупная стачка «соединенных механиков» (*Amalgamated Engineers*). Устав этого союза имеет целью ограничить различными способами предложения труда. Членам его не дозволяется работать более определенно-го числа часов в неделю; плата должна быть не ниже установленной. Никто не может быть принят в союз, не заработав себе на то права «пробной» службой (*probationary servitude*). Союз ведет строгую регистрацию своих членов; отмечаются все перемены в жизни рабочего: брак, потеря одного места, переход на другое, — и малейшее упущение в доставке сведений наказывается штрафом. Совет решает безапелляционно все дела, частные и общественные. Какая тирания царит в союзе видно из того, что члены наказываются за сообщение посторонним каких бы то ни было сведений о делах союза, за порицание действий другого члена, за оправдание поведения оштрафованных и т.д. Обеспечив такими принудительными мерами единодушие в своей среде, члены союза путем долгого и упорного воздействия на своих хозяев вынудили их согласиться на множество различных уступок, по их мнению выгодных лишь для механиков. Позднее мы видим, как те же результаты были достигнуты такими же средствами во время стачки рабочих строителей (*operative builders*). В одной из первых прокламаций, изданных

стачечниками, они заявили, что «имеют одинаковое с другими право на общественное сочувствие, проявляющееся теперь в широких размерах и направленное к тому, чтобы сократить число рабочих часов», — чем разом выяснили и обольщение свое, и источник этого обольщения. Веря, как тому научил их верить парламентский акт, что отношение между количеством выполняемого труда и получаемой за него платой не естественное, а искусственное, они требовали, чтобы плата осталась та же, а число рабочих часов с десяти было уменьшено до девяти. Они рекомендовали хозяевам на будущее время принимать это в расчет при составлении контрактов, говоря, что они «питают полную уверенность в том, что желание их неизбежно осуществится», — уctивый намек на то, что хозяева должны будут уступить могуществу их организации. В ответ на угрозу подрядчиков прекратить работы им напоминали, что ответственность за причиненное таким путем общественное бедствие ляжет на них же. Когда разрыв наконец совершился, стачечники пустили в ход все уже выработанные меры, чтобы вынудить подрядчиков уступить, и добились бы своего, если бы противники их, уверенные, что уступка будет равносильна разорению, не соединились для такого же дружного и единодушного отпора. Уже в течение нескольких лет перед тем подрядчики и архитекторы уступали многим сумасбродным требованиям рабочих, и требования эти, предъявленные им, были только логическим следствием предыдущего. Если б подрядчики согласились укоротить рабочий день и отменить систематические прибавочные работы, т.е. если бы выполнили то, чего от них добивались, рабочие вряд ли остановились бы на этом. Успех сделал бы их еще более требовательными, и чем дальше, тем больше бы ширилась и росла пагубная борьба труда с капиталом.

Наиболее совершенным образцом промышленной организации во вкусе рабочих, вероятно, является союз работников печатного дела (Printers Union). За исключением служащих в редакции «Times» и еще в одном большом деле, где владельцы сумели отстоять свою независимость, все наши наборщики, тискальщики и т.д. входят в состав союза, регулирующего все отношения между нанимателем и наемником. Существует установленная плата за набор — столько-то за тысячу букв хозяин не может дать, а наборщик не имеет права принять меньшей платы.

За печатание также установлена плата, и, кроме того, определено количество экземпляров, меньше которого вы не можете напечатать, не заплатив за несделанную работу. Наименьшее число экземпляров — 250; если вам нужно всего 50, вы все равно должны платить за 250, а если нужно 300 — за 500. Помимо регулирования цен и порядка печатания, союз работников печатного дела заботится еще и о том, чтобы уменьшить конкуренцию, ограничивая число учеников, поступающих в типографию. Эта лига так хорошо организована, что хозяева вынуждены были покоряться. Нарушение правил в какой-либо книгопечатне ведет за собой стачку всех служащих, а так как их поддерживает весь союз, хозяину обыкновенно приходится уступить.

И в других отраслях промышленности рабочие держались бы, если б могли, той же ограничительной системы, что наглядно доказывают часто повторяемые попытки в этом направлении. В стачках лудильщиков, жестянщиков (*Tin-plate workers*), ткачей г. Ковентри, механиков, башмачников, строителей, — всюду обнаруживается явное стремление к регулированию заработной платы, числа рабочих часов и разных других условий труда, словом, к уничтожению вольного договора между наемником и нанимателем. Если бы рабочие повсюду добились своего, все отрасли промышленности были бы до того стеснены, что пришлось бы поднять цены на продукты производства, что легло бы тяжким бременем на те же рабочие классы. Каждый производитель, находящийся под покровительством своего союза во всем, что касается его профессии, платил бы крайнюю цену за каждый *покупаемый им продукт* благодаря тому, что и другие рабочие пользуются подобным же покровительством. Короче говоря, мы опять вернулись бы к старой (только в новой форме) и вредной системе взаимного обложения (*taxation*). В результате — уменьшение способности конкурировать с другими нациями и подрыв нашей иностранной торговли.

От подобных результатов следует предостерегать. Не рискованно ли дать политическую власть людям, которые держатся таких ошибочных взглядов на основы общественных отношений и упорно стремятся провести свои взгляды в жизнь? Это становится вопросом серьезным. Люди, подчиняющие свою свободу, как частных лиц, деспотическими постановлениями рабочих союзов, вред ли достаточно независимы, чтобы хорошо

воспользоваться своей свободой политической. Кто до такой степени плохо понимает истинный смысл свободы и допускает, что отдельная личность или корпорация имеет право запретить наемнику и нанимателю заключать между собой договоры, какие им угодно, тоже, по нашему мнению, почти не способен оберегать и свою собственную свободу, и свободу своих сограждан. Если понятия о честности так смутны, что люди считают долгом повиноваться приказаниям вождей союзов, отказываясь от права лично располагать своим трудом и ставить свои собственные условия; если, повинувшись этому извращенному чувству долга, они рискуют жизнью своих семейств, заставляя их голодать; если они называют «гнусным правилом» (*odious document*) простое требование, чтобы хозяин и работник были свободны заключать между собою какие им угодно договоры; если чувство справедливости в них так притупилось, что они способны даже бить, лишать работы, морить голодом, даже убивать своих же братьев, восстающих против диктатуры союза и отстаивающих свое право продавать свой труд кому угодно и по вольной цене, — словом, они доказали, что способны быть рабами и в то же время тиранами, мы смело можем погодить с распространением на них привилегий политических прав.

Цели, которых рабочие давно уже стремятся достигнуть с помощью частных организаций, — те же самые цели, каких они старались бы достигнуть, будь у них в руках политическая власть, путем общественных постановлений. Раз в таких вопросах, как вышеуказанные, убеждения их так прочны и решимость так сильна, что они систематически подвергают себя крайним лишениям в надежде добиться своего, — мы имеем полное основание ожидать, что *такие* взгляды, под давлением *такой* решимости, скоро вылились бы в форму закона, если бы рабочие стояли у кормила власти. Для рабочих вопросы, касающиеся регулирования труда, представляют живейший интерес. Для кандидата в парламент лучший способ заручиться их голосами — поддакивать им в этих вопросах. Нам скажут, что дурных результатов можно опасаться только в том случае, если рабочие получают численный перевес в среде избирателей; на это можно возразить, что нередко, при двух приблизительно равносильных политических партиях, результаты выборов определяет третья, значительно меньшая. Припомним, что рабочие

союзы в Англии насчитывают до 600 000 членов и владеют капиталом в 300 000 ф. ст.; припомним, что эти союзы обыкновенно помогают друг другу и даже соединены в одно целое — ассоциацию рабочих вообще; припомним, что все они превосходно организованы и безжалостно пользуются своею властью над членами: во многих городах совместное воздействие их непременно должно иметь решающее влияние на результат общих выборов, хотя бы в каждом данном случае рабочие составляли лишь небольшую часть избирателей. Какого влияния может достигнуть небольшая, но сплоченная группа, нам это уже показали ирландцы в палате общин и еще нагляднее ирландские эмигранты в Америке. Организация рабочих союзов не менее совершенна; не менее сильны и побуждения, руководящие их членами. Судите же сами, как велико должно быть их влияние.

Правда, в городских советах и земледельческих округах класс ремесленников не имеет никакой власти; правда и то, что антагонизм между ними и земледельцами всегда будет ставить им преграды на пути к достижению цели. Зато, с другой стороны, в этих вопросах за рабочих будут стоять многие, не принадлежащие к рабочему классу. Множество мелких торговцев и других, так же мало обеспеченных материально людей, будут заодно с ними добиваться урегулирования отношений между трудом и капиталом. В средних классах также найдется немало доброжелательных людей, незнакомых с политической экономией и уверенных, что рабочие правы в своих стремлениях. Возможно, что даже и среди землевладельцев они встретят поддержку. Вспомним, как враждебно относились землевладельцы в парламенте к интересам фабрикантов во время агитации из-за десятичасового рабочего дня, и мы убедимся, что деревенские сквайры очень и очень способны поддерживать рабочих в издании постановлений, неблагоприятных для нанимателей. Правда, чувство раздражения, руководившее ими, тогда до известной степени угасло. Притом же, надо надеяться, что они с тех пор поумнели. Но все же, памятуя прошлое, надо и это принимать в расчет.

Итак, вот одна из опасностей, которая может повлечь за собой распространение избирательного права. Опасаться прямых нарушений прав собственности нелепо, но это вполне основательные опасения, что права эти могут быть нарушены косвенным путем, что закон может сдавить в железных тисках

и рабочего, и капиталиста, запрещая одному распоряжаться по произволу своими деньгами, а другому продавать свой труд по вольной цене. Мы не подготовлены настолько, чтобы сказать, какой именно степени расширения представительства могут быть обусловлены подобные результаты. Мы не беремся и высчитывать, насколько возрастет влияние рабочих, если льгота будет распространена на лиц, имеющих ценз в 5—6 ф. ст., как не беремся и решать, хватит ли противных сил на то, чтобы парализовать это влияние. Мы просто хотели указать на одну из опасностей, о которых не следует забывать, — возможность в области промышленности издания постановлений пристрастных и несправедливых.

Обратимся теперь к другой опасности, отличной от предыдущей, но родственной ей. Распространение законодательства на не подлежащую ему область, перепроизводство законодательства (*overlegislatori*), стесняющее обмен труда и капитала, есть зло; другое зло — когда законодательство, через посредство государства, старается обеспечить обществу выгоды, которые труд и капитал должны бы доставлять ему сами по себе. А между тем лица, стоящие за такое превышение законодательной власти в одном случае, обыкновенно стоят за него и в другом; это естественно, хотя и печально. Люди, ведущие трудовую жизнь, мало скрашенную наслаждением, охотно внимают учению, требующему, чтобы государство снабжало их различными положительными преимуществами и удовольствиями. Нельзя ожидать, чтобы достаточно натерпевшийся бедняк относился особенно критически к тем, кто сулит ему даровые удовольствия. Как утопающий хватается за соломинку, так тот, чья жизнь — тяжелое бремя, хватается за что угодно, если ему светит откуда хоть призрачный луч надежды на получение маленькой доли счастья. Поэтому мы не должны порицать рабочие классы за то, что они охотно слушают социалистов и веруют в «верховное могущество политического механизма» (*political machinery*).

Да и не одни рабочие классы поддаются таким иллюзиям. К несчастью, их поддерживают и даже до известной степени вводят в заблуждение люди, стоящие выше их. И в парламенте, и вне его многие доброжелатели рабочих из высших и низших слоев общества являются деятельными проповедниками ложных учений. Во все времена издавалось и издается

много законов, основанных на ложном убеждении, будто обязанность государства не только заботиться о том, чтобы в битве жизни люди боролись честным оружием, но и помогать каждому бороться, причем издержки на это покрываются деньгами, вынутыми предварительно из его собственного или из чужого кармана. Стоит заглянуть в газеты, чтоб убедиться, что за стенами палат ведется деятельная агитация в пользу дальнейшего развития той же политики, и что агитация эта грозит с каждым днем усиливаться. Целый ряд разнообразных примеров этого можем почерпнуть из деятельности Чэдваикской (Chadwick) и Шэфтсберийской школ*. В протоколах общества, нелепо титулующего себя «Национальной ассоциацией покровительства социальной науке» (National Association for the Promotion of Social Science), находим еще более многочисленные образцы действия этих пагубных заблуждений.

Говоря, что рабочие классы вообще и класс ремесленников в частности питают сильную склонность к социалистическим утопиям, в чем их, к несчастью, поддерживают и поощряют многие, кому следовало бы быть умнее, мы говорим не наобум. Мы не делаем выводов *a priori* касательно доктрин, которые легко могут прийтись по вкусу людям в их положении, и руководимся не только указаниями, почерпнутыми из газет. В нашем распоряжении прочный базис фактов, которые нам дает деятельность преобразованных муниципальных учреждений. Эти учреждения год от году расширяли свои функции, и вытекающие отсюда местные налоги в некоторых случаях оказывались до того тяжелы, что вызывали реакцию против политической партии, ответственной за реформу. Городские советы, вначале почти исключительно состоявшие из виггов, за последнее время переполнены консерваторами, и это благодаря усилиям состоятельных классов, наиболее страдавших от муниципальной расточительности. Кому же могла быть по душе такая расточительность? Беднейшей части избирателей. Кандидаты в городские советы не нашли лучшего средства привлечь на свою сторону большинство голосов, как затевая разные местные сооружения. Стоило предложить выстроить бани и прачечные на городской счет, чтобы сделаться популярным. Предложение поддерживать общественные сады на средства, собранные путем местных налогов, было встречено большинством рукоплесканиями.

То же было и с проектом учреждения бесплатных библиотек. Он, конечно, был принят сочувственно как рабочими, так и людьми, желавшими к ним подладиться. В наших фабричных городах сплошь и рядом устраиваются дешевые концерты; если бы кто-нибудь, воспользовавшись этой идеей, предложил угощать рабочих музыкой на общественный счет, его, несомненно, провозгласили бы другом народа. То же и со всеми социалистическими затеями, которым нет счета и нет конца.

А раз муниципальные правления, в которых представительство поставлено весьма широко, обнаруживают такие тенденции, не следует ли заключить, что и центральная власть, основанная на более широком, чем ныне, базисе представительства, проявила бы подобные же стремления? Мы имеем тем более оснований бояться этого, что люди, стоящие за многообразное вмешательство государства в общественные дела, обыкновенно поддерживают тех, кто добивается законов, регулирующих труд. Эти две доктрины родственны одна другой, и поддерживают их в значительной степени одни и те же лица. Соединившись вместе, эти две партии будут очень могущественны, а так как к ним нередко будут взывать кандидаты, согласные с ними по обоим пунктам, они, хотя бы и составляя меньшинство, могут получить более сильное, чем следует, представительство в законодательной власти. В такой по крайней мере форме рисуется нам опасность. Руководимые филантропами, которых симпатии сильнее их умов, рабочие классы, по всей вероятности, будут содействовать перепроизводству законов не только агитацией в пользу регламентации промышленности, но и различными другими способами. Как далеко должно зайти расширение избирательного права, чтобы опасность стала серьезной, — этого мы определять не беремся; здесь, как и раньше, мы просто имели в виду указать возможный источник зла.

Какими же мерами можно предупредить это? Прежде всего не теми, какие, по всей вероятности, будут приняты. Для избежания зол, которые грозит повлечь за собой надвигающаяся политическая перемена, будут, как водится, прибегать к паллиативам вроде мелких ограничений, условий и т.д. В таких случаях обыкновенно стараются не высушить источник зла, а лишь преградить ему путь плотиной. Мы не верим в такие средства.

Единственной надежной гарантией была бы перемена убеждений и побуждений. Но чтобы произвести такую перемену, нет иного средства, как дать ощутимо почувствовать заинтересованным лицам, до какой степени пагубно отражается на них чрезмерное законодательство. «Как же это сделать?» — спросит читатель. Для этого надо лишь то, чтоб причины и следствия находились в их естественных соотношениях и чтобы было устранено все, что теперь мешает людям видеть ту реакцию, какую влечет за собой всякое действие законодателя.

В данный момент *расширение общественной администрации* популярно главным образом потому, что народу не внушены правильные понятия, что он не видит определенной связи между предлагаемыми ему выгодами и теми расходами, которыми придется окупать эти выгоды. Народ знает по личному опыту, что всякое новое учреждение с новым штатом служащих и некоторым денежным фондом в своем распоряжении приносит ему известные степени выгоды и удобства; в этом он убедился непосредственно; но что за издержки расплачивается нация, а следовательно, и он сам, и каким образом это делается — этого он не знает, ибо непосредственного опыта у него нет. Финансовое управление устроивается так, что возрастание общественных затрат и усиление тягот, которые несет всякий трудящийся, как будто не имеют между собою ничего общего, и, разъединяя эти две идеи, поддерживает в народе ошибочную веру в то, что закон может давать что бы то ни было даром. Это, очевидно, и есть главная причина вышеуказанной муниципальной расточительности. Трудящийся элемент в наших городах пользуется общественной властью, хотя в большинстве случаев и не несет общественных тягот, или, вернее сказать, они не ложатся на него прямо. За небольшие дома в местечках все налоги платит обыкновенно землевладелец; в последние годы, в видах экономии и удобства, установился такой порядок, что даже и налог в пользу бедных землевладелец платит за всех своих арендаторов. Вначале это делалось по добровольному соглашению, но теперь это признано обязательным, причем домовладельцу, ввиду того что он вносит всю сумму налога сразу, избавляя власти от труда и хлопот собирания его по частям, делается скидка, соответственно числу ферм. Предполагается, что внесенную за арендаторов сумму он получит обратно в ренте. Таким образом, большинство муници-

пальных избирателей, не платя особо местных налогов, не получают постоянных напоминаний о связи и зависимости между общественными тратами и их личными издержками. А благодаря этому во всякой местной затее, хотя бы она была сумасбродна и стоила бешеных денег, население видит чистый выигрыш для себя, если только эта затея мало-мальски для него выгодна. Порешили, например, перестроить городскую ратушу. В этом вовсе нет надобности, но решение одобрено и принято большинством. «Для торговли это хорошо, а нам ничего не стоит» — вот довод, который смутно мелькает в голове каждого и является решающим. Если кто-нибудь предложит купить соседний участок и превратить его в общественный парк, рабочие, разумеется, будут поддерживать его; приобретение места для даровых прогулок — чистая для них выгода, а что из-за этого могут увеличить налоги, это их не касается. Таким образом, по необходимости возникает тенденция расширять поприще общественной деятельности и умножать общественные расходы. Охотники за популярностью добиваются ее, ходатайствуя о разных сооружениях и начинаниях, которые должны быть выполнены городом. Политика у всех одна и та же, а люди, не одобряющие ее, не смеют энергично протестовать из страха потерять свои места на будущих выборах. В результате — местные администрации неизбежно получают аномальное развитие.

Если б налоги раскладывались на всех избирателей и взимались с каждого непосредственно, этому муниципальному коммунизму был бы нанесен жестокий удар; в этом, надо полагать, не усомнится никто. Если б каждый мелкий обыватель убедился, что каждая новая затея городских властей обходится ему в несколько лишних пенсов расхода на фунт, он начал бы соображать, высчитывать, стоит ли полученная выгода заплаченной за нее цены, и нередко приходил бы к отрицательному заключению. Он задался бы вопросом, не мог ли бы он, вместо того чтобы позволять местному правлению предоставлять ему какие-то отдаленные выгоды в обмен на известную сумму денег, — не мог ли бы он за те же самые деньги получить сейчас же и большие выгоды, и в большинстве случаев нашел бы, что это вполне возможно. Мы не беремся судить, как далеко может простираться влияние подобных соображений, но можем с уверенностью сказать, что оно будет благотельно. Всякий согласится,

что обывателю следует беспрестанно напоминать о зависимости между тем, что для него делается городом, и величиной суммы, которая с него взимается в пользу города. Нельзя отрицать, что привычка постоянно иметь в виду эту зависимость удержала бы в должных границах деятельность многих муниципальных правлений.

То же самое и с центральной властью. Здесь причины и следствия еще более разобщены между собою, и общественные предприятия, на первый взгляд, не имеют ничего общего с расходами, которые из-за них несут граждане. Налоги собираются таким незаметным образом, такими разнообразными и неуловимыми путями ложатся на массу, что массе едва ли возможно реально представить тот факт, что суммы, выдаваемые правительством на содержание школ, на эмиграцию, на контроль и надзор за рудниками, заводами, железными дорогами, судами и т.д., по большей части взяты из ее же кармана. Наиболее интеллигентные понимают это как отвлеченную истину, но истина эта не настолько ясна для них и памятна им, чтобы она могла влиять на их действия. Иное дело, если бы налоги были прямые и стоимость каждого нового государственного предприятия давала бы себя чувствовать каждому обывателю добавочным сбором. Тогда все, путем личного и часто повторяющегося опыта, убедились бы в том, что каждый раз, как государство даст вам что-нибудь одной рукой, оно что-нибудь отнимает у вас другой; эта истина сделалась бы всем ясной, и уж не так легко было бы распространять в обществе нелепые иллюзии насчет могущества и обязанностей правительства. Всякий придет к тому же заключению, если только припомнит, как принято объяснять введение косвенных налогов: без них-де не хватало бы денег на поддержание государственного бюджета. Государственные люди понимают, что, если бы, вместо того чтобы брать с обывателя немножко здесь и немножко там, притом так, чтобы он этого или не замечал, или сейчас же забывает об этом, с него потребовали всю сумму разом, он вряд ли был бы в состоянии уплатить ее. Недовольство и ропот возросли бы до пределов совсем нежелательных. Не обошлось бы, конечно, и без принудительных мер, да и с их помощью не удалось бы собрать всей суммы налога, так как огромное большинство обывателей нерасчетливы и не способны копить. И полученного далеко не хватило бы на расходы, признанные

необходимыми. Всякий, кто согласен с этим, должен поневоле признать, что при системе прямого обложения возникновение новых ведомств, влекущее за собой новые траты, встречало бы со всех сторон отпор. Вместо того чтобы умножить функции государства, возникла бы тенденция сократить их количество.

Итак, вот одна из предохранительных мер. Пропорционально понижению избирательного ценза надо приближаться к системе прямого обложения. Перемены нужны не в том направлении, какое открывает *Compound Householders Act 1851* г., устраняющий необходимость для избирателя ранее подачи голоса уплатить налог в пользу бедных, но в направлении прямо противоположном. С властью распоряжаться государственным доходом должно быть неразрывно связано *сознательное* внесение своей доля в этот доход. Вместо того чтобы уменьшать прямые налоги, как того желают многие, следует, наоборот, распространить их на низшие и более многолюдные классы в той мере, в какой эти классы наделены политической властью.

Это наше предложение, по всей вероятности, не придется по вкусу политикам. Не в природе человека одобрять такую систему, которая стремится ограничить его власть, что не в порядке вещей. Мы знаем также, что значительное расширение прямого обложения будет в данный момент сочтено невозможным; пока мы еще не имеем и данных, чтобы доказать противное. Но это еще не причина восставать против уменьшения косвенных и увеличения прямых налогов, насколько позволяют обстоятельства. И если бы, когда первые уменьшатся, а вторые возрастут до высшей степени, возможной при данных условиях, — если бы с того момента правительство поставило себе за правило все добавочные суммы дохода собирать путем прямых налогов, это было бы действительно надежным оплотом против одного из зол, которое, по всей вероятности, повлечет за собою дальнейшее расширение политических прав.

Однако же этим не предотвратить другого указанного нами зла, а бояться его также есть разумное основание. Постоянные напоминания о связи между деятельностью государства и окупающими ее налогами помешали бы росту тех государственных учреждений (*agencies*), которые берутся снабжать граждан положительными удобствами и удовольствиями, но не ограничили бы отрицательных и не связанных с затратами втор-

жений закона в жизнь — стеснения индивидуальной свободы граждан, пагубного вмешательства в отношения между трудом и капиталом. Против этой опасности единственное средство — распространение более здравых понятий между рабочими и, как результат этих более здравых понятий, — нравственный прогресс рабочих классов. «Иными словами, надо воспитать народ», — скажет читатель. Да, воспитать его необходимо, но это не то воспитание, в пользу которого ратует большинство. Обыкновенное школьное обучение вовсе не подготавливает к правильному пользованию политическими правами. Лучшее доказательство — тот факт, что ремесленники, ошибочные воззрения которых всего больше грозят опасностью, являются в то же время наиболее образованным классом рабочего населения. Распространение образования в том виде, в каком оно теперь дается народу, не только не обещает быть предохранительным средством, но, наоборот, грозит увеличить опасность. Поднимая рабочие классы вообще на уровень культурности ремесленников, мы рискуем не уменьшить, а скорее увеличить их способность причинять политический вред. Ходячая вера в то, что умение читать, писать и считать делает человека гражданином, кажется нам совершенно неосновательной, как и вообще ожидание множества различных благ от первоначального обучения. Между умением сделать грамматический разбор фразы и правильным пониманием причин, обуславливающих высоту вознаграждения, нет никакой связи. Таблица умножения не поможет рассмотреть несостоятельность доктрины, гласящей, что уничтожение собственности полезно для торговли. От долгой практики можно сделаться отличным каллиграфом, ничуть не научившись понимать тот парадокс, что с введением машин увеличивается число рабочих, употребляемых в той или другой отрасли производства. Точно так же не доказано, что обрывки геометрии, астрономии и географии помогают делать правильную оценку свойствам и побуждениям парламентских кандидатов. В сущности, стоит только сопоставить данные и ожидаемые от них следствия, чтобы убедиться, как несостоятельна вера в связь между ними. Когда мы хотим сделать из девочки музыкантшу, мы сажаем ее за фортепьяно; мы не даем ей в руки рисовальных приборов и не ждем, что музыкальная техника придет вместе с умением владеть карандашом и кистью. Заставить маль-

чика корпеть над книгами законов — крайне нерациональный способ готовить его в инженеры. И в этих и в других случаях мы ждем хороших результатов только при условии, что у человека была хорошая подготовка к известной функции, в смысле изучения и управления во всем, что касается этой функции. Как же можно ожидать, что человек будет хорошим гражданином, если полученная им подготовка не имеет ничего общего с обязанностями гражданина? Нам могут ответить, что, научив рабочего читать, мы дали ему доступ к источникам знания, из которых он может почерпнуть умение пользоваться своими избирательными правами; что изучение других предметов изощряет его способности и делает его лучшим судьей в политических вопросах. Это верно, и сама тенденция, несомненно, хороша. Но что, если книги, которые он читает, только подтверждают усвоенные им ошибочные понятия? Что, если существует целая литература, взывающая к его предрассудкам, снабжающая его лживыми доводами в пользу предварительных идей, за которые тот, само собой, спешит схватиться? Что, если он отвергает в науке все, клонящееся к тому, чтобы лишить его заветных иллюзий? Не должны ли мы признать, что образование, только помогающее рабочему укрепляться в своих заблуждениях, делает его скорее непригодным, чем пригодным, быть гражданином? Разве тред-юнионы не лучшее доказательство этому?

Как мало так называемое образование подготавливает к пользованию политической властью, об этом можно судить по некомпетентности лиц, получивших высшее образование, какое только можно у нас получить. Оглянитесь назад, на ошибки вашего законодательства; припомните, что люди, совершавшие их, по большей части кончили университет с ученой степенью, и вы должны будете сознаться, что близкое знакомство со всеми отраслями знания, которые наше цивилизованное общество считает ценными, может идти рука об руку с глубочайшим невежеством в области социологии. Возьмите юного члена парламента, только что вышедшего из Оксфорда или Кембриджа, спросите его, что, по его мнению, должен делать закон и почему он должен это делать? Или чего он не должен делать, и на каком основании? И сразу обнаружится, что ни знакомство его с Аристотелем, ни чтение Фукидида не подготовили его к ответу на тот первый вопрос, решение которого обязательно

для законодателя. Довольно одного примера, чтоб показать, насколько образование, обыкновенно получаемое у нас, отличается от того, которое необходимо для законодателей, а следовательно, и для тех, кто избирает их: мы говорим об агитации в пользу свободы торговли. Короли, пэры, члены парламента, по большей части получившие образование в университетах, подрезали крылья торговле, стесняли ее покровительствами, запрещениями и премиями. Целый век держались у нас законодательные постановления, вред которых ясен для каждого, даже не особенно умного, человека. А между тем за эти столетия из всех высокообразованных законодателей нашей нации не нашлось ни одного, который бы понял их пагубность. Свет был пролит на дело не ученым, посвятившим себя общепринятой науке, но человеком, вышедшим из коллегии без диплома и посвятившим себя изысканиям, которыми не занимались в учебных заведениях. Адам Смит сам, по собственной инициативе, рассмотрел хозяйственные явления в жизни общества, производительные и распределительные деятельности, проследил их сложную взаимную зависимость и, таким образом, вывел общие руководящие принципы для политики. И после него люди, которые лучше всех поняли и оценили возвещенные им истины и настойчивой популяризацией их заставили в них уверовать общество, — эти люди также не имели ученых степеней и дипломов. И наоборот, люди, прошедшие обязательный *curriculum*, оказывались обыкновенно упорнейшими и жесточайшими противниками перемен, предписываемых политической экономией. В такой крайне важной области поборниками правильного законодательства были люди, которым недоставало так называемого «хорошего образования», а противниками его, и притом в огромном большинстве, люди, получившие его!

Истина, за которую мы стоим и которой так странно пренебрегают другие, в сущности, почти трюизм. Разве не подразумевает вся наша теория воспитания, что для политической власти необходима специальная подготовка, необходимо политическое образование? Для того чтобы образование могло руководить гражданином в его общественной деятельности, оно обязательно должно знакомить его с результатами этой деятельности.

Итак, второе и надежное предохранительное средство есть распространение не специально технических и разношерстных

знаний, которое так ярко пропагандируется у нас, но распространение политических знаний или, говоря точнее, знания социологии. Главное — установить правильную теорию правления, правильное понимание назначения законодательства и его границ. Этого вопроса наши политики обыкновенно совсем не затрагивают в своих прениях, а между тем этот вопрос важнее какого бы то ни было другого. Изыскания, над которыми политики теперь смеются, называя их умозрительными и непрактичными, когда-нибудь будут признаны несравненно более практичными, чем исследования, ради которых они по целым дням корпят над Синими книгами* и о которых препираются по ночам. Разглагольствования, каждое утро наполняющие столбцы *Тайнса*, — вздор и пустяки в сравнении с основным вопросом: в чем, собственно, сфера действия правительства? Прежде чем обсуждать, каким образом закон должен урегулировать то или другое, не умнее ли будет задать себе сначала вопрос: подлежит ли это вмешательству закона? — и, прежде чем ответить на этот вопрос, поставить несколько более общих вопросов: что должен делать закон и чего он не должен затрагивать? Если законодательство вообще имеет границы, точное определение этих границ несомненно должно иметь гораздо более серьезные последствия, чем тот или другой парламентский акт, и, следовательно, само по себе несравненно более важно. Раз имеется в виду опасность злоупотребления политической властью, в высшей степени важно объяснить народу, для каких целей исключительно следует пользоваться этой властью.

Если бы высшие классы понимали свое положение, они, надо полагать, сообразили бы, что распространение в обществе здравых понятий по этому вопросу ближе, чем что бы то ни было, затрагивает их благополучие и благо нации вообще. Влияние народа неизбежно будет возрастать. Если власть перейдет в руки масс раньше, чем она усвоит себе более правильные взгляды на общественный строй и законодательство, результатом этого будет весьма прискорбное вмешательство закона в отношения труда и капитала и столь же пагубное расширение государственной регламентации. А отсюда произойдет огромный ущерб: во-первых, нанимателям, во-вторых, наемникам и, наконец, всей нации. Если можно вообще предупредить это зло, его можно предупредить только одним путем: прочно укоренив

в обществе убеждение, что функции государства имеют определенные границы и что границ этих ни в каком случае не следует переступать. Научившись распознавать эти границы, высшие классы должны употребить все средства, чтобы сделать их ясными и для народа.

В нашей статье «Представительное правление и к чему оно пригодно» мы поставили себе задачей показать, что, если представительное правительство, по самой природе своей, более всякого другого пригодно к отправлению правосудия и обеспечению справедливости в отношениях граждан между собою, — оно, в силу той же природы своей, менее всякого другого пригодно к выполнению различных добавочных функций, которые обыкновенно берет на себя правительство. На вопрос: «К чему пригодно представительное правление?» — мы ответили: «Оно пригодно, чрезвычайно пригодно, более всех других пригодно именно к тому, что является настоящей задачей всякого правительства; и непригодно, совершенно непригодно, особенно непригодно для делания того, чего правительство вообще не должно делать».

К этой истине можно присоединить еще одну. По мере того как власть становится представительной и более приспособленной к охранению прав граждан, она становится не только непригодной для других целей, но прямо-таки опасной. Приспосабливаясь к своей главной и самой существенной функции, правительство утрачивает способность выполнять другие функции не только потому, что сложность его состава служит помехой его административной деятельности, но и потому еще, что при выполнении других функций оно поддается пагубному влиянию классовых интересов. Пока оно ограничивается предупреждением всяких насилий и нападений одного индивидуума на другого и защитой нации в целом от внешних врагов, чем шире его базис, тем лучше; ибо все люди одинаково заинтересованы в обеспечении жизни, собственности и свободы пользоваться своими способностями. Но как только оно берется доставлять гражданам положительные выгоды или вмешивается в специальные отношения между классами, тотчас же, по необходимости, возникает повод к несправедливости. Ибо в таких случаях непосредственные интересы классов не могут быть одинаковы.

А потому мы повторяем, что, по мере расширения представительства, сфера правительственных начинаний должна быть ограничиваема.

Postscriptum. После того как были написаны эти страницы, лорд Джон Рассел внес билль о реформе (*Reform Bill*). Здесь не мешает сказать об этом билле несколько слов, в применении к общим принципам, за которые мы ратуем.

Понижение избирательного ценза для сельских жителей встретит одобрение большинства, за исключением тех, чье незаконное влияние благодаря этому уменьшится. Присоединение к избирателям земледельческих округов класса, менее непосредственно зависящего от крупных землевладельцев, не может не иметь благодетельных последствий. Даже если бы вначале это и не оказало заметного влияния на выбор представителей, оно все же будет хорошим стимулом к политическому воспитанию и вытекающим отсюда выгодам в будущем. О перераспределении мест мало что можно сказать, кроме того разве, что, хоть от этого еще далеко до правильного хода вещей, в настоящее время, пожалуй, и нельзя сделать ничего большего.

Правильно ли установлены границы избирательного ценза для городов — это вопрос очень спорный. Всякий, кто рассматривает обе стороны его и взвесит факты, говорящие за и против, вероятно, почувствует некоторое колебание. Будучи убеждены, что везде и во всем следует руководствоваться идеей абстрактной справедливости, хотя бы и с большими ограничениями, мы были бы очень рады по возможности приблизиться к ней; ибо очевидно, что только с отменой несправедливых исключений в области политических прав исчезнут и вытекающие отсюда политические несправедливости. Тем не менее мы убеждены, что формы, необходимые для свободы сами по себе, не создадут реальной свободы при отсутствии соответственного национального характера точно так же, как самый совершенный механизм не станет работать при отсутствии движущей силы. По-видимому, есть основание думать, что в каждый данный период времени существует известная определенная норма свободы, к которой способен народ, и всякое расширение ее с одной стороны неминуемо влечет за собой ограничение ее с другой. Французская республика обнаруживает, пожалуй, не больше уважения к правам личности, чем вытесненный

ею деспотизм, а французы-избиратели пользуются своей свободой только для того, чтобы снова впасть в рабство. В Америке пути, налагаемые государством, заменены оковами общественного мнения, и граждане там во многих отношениях более стеснены, чем у нас. Если нужно доказательство тому, что равенство прав на представительство — еще недостаточная гарантия свободы, мы имеем его в тех же тред-юнионах; организация их чисто демократическая, и между тем строгость и беззастенчивость их в отношении членов недалеко ушли от неаполитанской тирании. Если истинная цель состоит в том, чтобы добиться настолько большой свободы, какая только доступна для индивида, если средство, ведущее к этой цели, как обыкновенно думают, заключается в том, чтобы открыть массе доступ к политической власти, то, рассматривая дальнейшие степени понижения ценза, надо прежде всего поставить перед собою вопрос: повысится ли от этого средний уровень свободы граждан? Будет ли иметь каждый в отдельности большую, чем прежде, свободу по-своему добиваться намеченных себе в жизни целей? В данном случае вопрос надо ставить так: не будет ли добро, которое могут принести обладатели ценза в 7,6 или 5 ф. ст., содействуя устранению существующих несправедливостей, отчасти или всецело парализовано злом, которое они же могут причинить, вводя несправедливости иного рода? *Desideratum* есть такое умножение числа избирателей, какое возможно допустить, не давая возможности народу приводить в исполнение свои обманчивые схемы чрезмерной государственной регламентации. Главное — определить, будет ли предлагаемое нам увеличение числа избирателей больше или меньше, чем нужно. Рассмотрим вкратце факты.

Цифры, приводимые лордом Расселом, показывают, что новый разряд избирателей будет состоять главным образом из ремесленников, а большинство ремесленников, как мы уже видели, соединены в одно целое общим желанием урегулировать отношения труда и капитала. Лорд Рассел ошибается: как класс, они далеко не «вполне пригодны к свободному и независимому пользованию политическими правами (*franchise*)». Наоборот, они более, чем всякий другой класс, стеснены в своих действиях. Они — рабы авторитетов, ими же и поставленных. Зависимость фермеров от помещиков и рабочих от хозяев

далеко не так велика, ибо каждый из них может перенести свой труд или капитал в другое место. Кара же за неповиновение правилам рабочих союзов настаивает виновного, где бы он ни был. А следовательно, надо ожидать, что масса новоиспеченных городских избирателей (*borough electors*) будет действовать единодушно, по предписаниям центрального правления соединенных рабочих союзов. Мы только что получили известие, подтверждающее наши догадки. Только что опубликован адрес, поднесенный всем английским рабочим конференцией строительных ремесел (*Conference of the Building Trades*): рабочих благодарят за поддержку, советуют держаться той же организации; предсказывают в будущем успешное достижение целей и намекают, что пора возобновить агитацию в пользу девятичасового рабочего дня. Итак, мы должны быть готовы к тому, что индустриальные вопросы скоро сделаются очередными и руководящими, ибо для ремесленников они представляют более жгучий интерес, чем всякие другие. И можно с уверенностью сказать, что ими будет определяться большинство избраний.

Сколько же именно? Местах в тридцати новый разряд избирателей составит численное большинство; действуя единодушно, они непременно возьмут верх над уже имеющимися ныне избирателями, даже предполагая, что партии, враждующие теперь между собою, соединятся. В полдюжине других мест новоиспеченные избиратели составят возможное большинство, т.е. возьмут верх, если только местные либералы и консерваторы не сплотятся и не будут действовать вполне единодушно, что маловероятно. В городах приблизительно пятидесяти число избирателей возрастет в полтора раза и больше; иначе говоря, новая партия будет иметь возможность выбирать между двумя уже имеющимися партиями и, конечно, поддержит ту, которая обещает оказывать наиболее содействия планам ремесленников. Нам возразят, что для этого надо предположить, что весь новый разряд избирателей состоит из ремесленников, чего нет на самом деле. Это правда. Но, с другой стороны, надо взять в расчет, что среди домохозяев с цензом в 10 ф. ст. есть много ремесленников, а вольные граждане (*freemen*) — почти сплошь те же ремесленники; а следовательно, общее число ремесленников в каждой отдельной группе избирателей будет не меньше, чем мы предполагаем. Если же принцип тред-юнионистской

организации будет целиком применен к делу выборов, что, по нашему мнению, непременно и будет, под давлением его окажутся 80—90 городов, которые могут посадить в парламент от 100—150 представителей, предполагая, что найдется такое количество подходящих кандидатов.

Но ведь представители сельских общин не подлежат и не будут подлежать влиянию рабочих союзов; следовательно, надо ожидать антагонизма между ними и избирателями-ремесленниками; такой же антагонизм могут обнаружить и небольшие местечки. Возможно, однако же, что землевладельцы, раздраженные возрастающей властью богатого купечества, с каждым годом нагоняющего их, предпочтут примкнуть не к нанимателям, но к наемникам, а за ними и все, кто подвластен им. Так в былые времена дворяне, соединившись с народом, восставали против королей или короли вместе с народной массой шли против дворян. Но оставим в стороне эти отдельные возможности. В данный момент есть полное основание думать, что сельские избиратели по вопросам промышленности станут в оппозицию с городскими. Значит, вопрос надо ставить так нельзя ли обеспечить выгоды, истекающие от дарования права голоса большому количеству граждан, — а выгоды эти, несомненно, будут велики, — поставив в то же время преграду сопутствующим им пагубным тенденциям? Возможно, что эти новые избиратели-ремесленники будут иметь большую силу делать добро, тогда как власть их приносить вред будет в значительной степени парализована. Но это следовало бы еще хорошенько обсудить.

Один только вопрос не возбуждает в нас никаких колебаний, а именно вопрос об уплате налогов как необходимом условии (*rating qualification*). Из ответа лорда Рассела м-ру Брайту и позднее, из ответа его же м-ру Стилю, мы видим, что этот пункт предполагается оставить без изменений, т.е. что избиратели с цензом в 6 ф. ст. будут сравнены с избирателями 10-фунтового ценза. В 1851 г. *Compound Householders Act*'ом, о котором мы уже упоминали, постановлено было, что нанимателей домов в 10 ф. ст., за которых налоги уплачивают их хозяева, если они уплатили *однажды* налог подлежащим властям, на будущее время должно рассматривать как плательщиков налогов, и, соответственно этому, они должны получить право голоса. Иными словами, условие платы налогов является номинальным:

на практике так оно и выходит, доказательством служит тот факт, что в Манчестере по выходе этого акта сразу прибавилось 4000 избирателей.

Удерживать это постановление и продолжать действовать в том же духе мы считаем безусловно вредным. Мы уже доказали, что по мере усиления власти народа необходимо приближаться к системе прямого обложения, и, следовательно, отмена уплаты налогов, как необходимое условие для получения права голоса, есть шаг назад, в смысле уменьшения личного опыта избирателя касательно расходов на общественное управление. Но это вовсе не единственное основание для неодобрения. Поставленная условием уплата налогов есть надежное испытание, — испытание, отделяющее в среде рабочих классов более достойных от менее достойных. Мало того, таким путем подбираются люди, наиболее пригодные к пользованию правом голоса, обладающие специальными умственными и нравственными качествами, необходимыми для разумного политического поведения. Какие умственные свойства предполагает подобное поведение? Прежде всего, умение мысленно представлять отдаленные последствия. Демагоги легко вводят в заблуждение именно тех людей, которые видят перед собой лишь ближайшие результаты и не принимают в расчет отдаленных, хотя бы им и указывали на них; результаты эти представляются им смутными, туманными, теоретическими и не отвращают их от желания вцепиться зубами в обещанную кость. Наоборот, мудрый гражданин представляет себе грядущие беды так же ясно, как если бы они стояли у него перед глазами, и страх перевешивает в нем соблазн данного момента. Соответственно этим двум характеристикам, обязательное условие уплаты налогов делит арендаторов на два разряда: одни предоставляют платить за себя хозяевам и лишаются права голоса; другие сами уплачивают налоги, чтобы получить это право; одни не способны противиться искушениям, не способны откладывать и предпочитают лишиться права голоса, чем подвергать себя неудобству периодической уплаты налогов; другие противятся соблазну и делают сбережения, между прочим, с целью уплатить налоги и сделаться избирателями. Исследуем эти характерные черты, дойдем до источников их, и мы убедимся, что в большинстве случаев человек, непредусмотрительный в денежном отношении, будет

не предусмотрителен и в области политики, и, наоборот, между людьми расчетливыми в житейском смысле найдется много недурных политиков. А потому было бы безумием отменить постановление, благодаря которому население само собой распадается на два разряда — людей, добывающихся гражданских прав, и людей, добровольно их теряющих.

ХІ | «КОЛЛЕКТИВНАЯ МУДРОСТЬ»¹

Для суждения о том, в какой мере человек обладает способностями законодателя, определенного критерия не существует. Мы редко узнаем, насколько близки или, напротив, далеки от цели расчеты наших государственных людей: медленность и сложность социальных реформ не допускают точного сравнения достигнутых ими результатов с составленными заранее предположениями. В некоторых случаях, однако же, нам представляется возможным оценить в полной мере мудрость парламентских решений. Одно из них, имевшее место несколько недель тому назад, дает нам мерило для суждения об их законодательных способностях, и мерило это настолько знаменательно, что мы не можем умолчать о нем.

По самому краю Котсуольда, как раз над долиной Северна, расположены ключи, которые, вследствие своего положения у самого длинного из целой сотни потоков, образующих своим слиянием Темзу, названы, в силу некоторой поэтической фикции, «источниками Темзы». Имена, даже и в том случае, когда они являются поэтическими фикциями, наводят на заключения, а заключения, хотя и выведенные не из фактов, а из слов, одинаково способны влиять на наш образ действия. Таким образом случилось, что, когда недавно образовалось общество, чтобы снабжать Чельтенгам и некоторые другие соседние пункты водой из этих источников, это вызвало сильную оппозицию. «Times» поместила статью под заглавием «Угрожающее исчезновение Темзы» («Threatened Absorption of the Thames»), в которой сообщалось, что сделанное этой компанией парламенту предложение «вызвало в городе Оксфорде некоторое смущение, которое распространится, несомненно, по всей долине Темзы» и что «подобная мера в случае ее осуществления уменьшит количество воды в этой благородной реке на миллион галлонов в день». Миллион — слово, устрашающее и внушающее мысль

¹ Впервые напечатано в «Reader» от 15 апреля 1865 г.

о чем-то необъятном. Между тем переведение этих слов в мысль успокоило бы, может быть, страхи сотрудника *Times*. Рассчитав, что миллион галлонов воды можно было бы заключить в пространство в 50 куб. футов емкости, он убедился бы, что благородство Темзы не слишком бы пострадало от такой потери: дело в том, что течение Темзы выше того места, где на него влияет морской прилив, в течение 24 часов дает такое количество воды, которое в 800 раз превышает указанную выше цифру!

При вторичном чтении билля об утверждении этого вновь проектированного водопроводного общества в палате общин стало очевидным, что воображение наших правителей находится приблизительно под таким же давлением фраз вроде: «источники Темзы», «миллион галлонов ежедневно», как и воображение невежд. Хотя количество воды, которым предполагалось воспользоваться, относится к количеству, протекающему по Теддингтонскому шлюзу, приблизительно как 1 ярд к полумиле, многие члены полагали, что такая потеря будет серьезным несчастьем для страны. Не существует достаточно точного способа измерения, чтобы открыть разницу между Темзой, как она есть, и Темзой минус Сернейские ключи; несмотря на то, в палате серьезно утверждалось, что при предполагаемом уменьшении количества воды в Темзе «отношение содержания сточной к чистой было бы значительно увеличено». Отнять у 12 часов одну минуту — вот пропорция, которая соответствовала бы тому количеству воды, которое желало отнять у Темзы население Чельтенгама. Тем не менее палата общин постановила, что предоставить его Чельтенгаму значило б «лишить города, расположенные по берегам Темзы, принадлежащих им прав». Хотя из количества воды, проносимой Темзой мимо этих городов, 999 из 1000 частей не утилизируются, тем не менее наши законодатели считали великою несправедливостью, если бы одна или две из этих частей были присвоены обитателями города, жители которого могут иметь теперь ежедневно только четыре галлона гнилой воды на душу!

Но это очевидное неумение составить себе соответствующее истинным количественным отношением представление о причинах и следствиях какого-либо явления обнаружилось еще более разительным образом. Многие члены утверждали, что общество *Thames Navigation Commissioners* воспротивилось бы

этому биллю, если бы оно не обанкротилось раньше, и эта гипотетическая оппозиция, как оказалось, имела в глазах членов большой вес. Если можно доверять газетным известиям, палата общин серьезно отнеслась к утверждению одного из своих членов, что в случае отвлечения Сернейских ключей «образуются отмели и перекаты», и даже пророческое заявление, что объем и сила течения Темзы серьезно пострадают от потери 12 гал. в секунду, не вызвало, по-видимому, ни смеха, ни выражений удивления! Все количество воды, доставляемое этими ключами, могло бы быть приносимо потоком, текущим через трубу в 1 фут в диаметре при скорости, не превышающей две мили в час. И между тем, когда заявлялось, что судоходность Темзы серьезно пострадает от такой потери, это никому не показалось смешным. Напротив, палата отвергла билль о чельтенгамском водопроводе большинством 118 против 88. Правда, что все эти данные не были тогда подобным образом сопоставлены. Но что удивительно: даже и при отсутствии специального сравнения, и что при этом не бросилось сразу в глаза, вода ключей, орошающая как-нибудь несколько квадратных миль, может представлять только бесконечно малую часть воды, вытекающей из бассейна Темзы и распространяющейся на пространство многих тысяч квадратных миль. Сам по себе этот вопрос не имеет большого значения; он занимает нас только лишь как пример законодательной мудрости. Вышеуказанное решение этого вопроса представляет собою один из тех небольших пунктов, с которых открывается вид на большое пространство, и этот вид неутешителен. На примере очень простого вопроса здесь обнаруживается почти невероятная неспособность представить себе соотношение между причиной и ее следствиями; между тем задача собрания, обнаружившего такую неспособность, заключается именно в решении вопросов, касающихся причин и результатов чрезвычайно сложного рода. Все процессы, имевшие место в человеческом обществе, возникают вследствие совпадения и столкновения человеческих действий, характер и размеры которых определяются человеческой природой в ее настоящем состоянии. Они являются настолько же результатом естественной причинности, как и все другие результаты, и точно так же предполагают определенные количественные отношения между причинами и следствиями. Всякий законодательный акт

предполагает диагноз и прогноз, из которых каждый требует разумной оценки социальных сил и их действий. Прежде чем какое-нибудь зло может быть устранено, оно должно быть прослежено до своих корней, лежащих в мотивах и идеях людей, какими они в действительности являются при данных социальных условиях, — задача, требующая, чтобы действия, стремящиеся к известному результату, были приведены к одному знаменателю и чтобы существовало нечто вроде верного представления об их результатах как в качественном, так и в количественном отношении. Затем должны быть в должной мере оценены род и степень влияния тех побочных факторов, которые будут приведены в действие проектируемым законом. Каковы будут результаты, созданные новыми силами в их совместном действии с силами, прежде существовавшими, — задача еще сложнее предыдущей.

Нам, конечно, возразят на это, что люди, неспособные составить приблизительно верное суждение о самом простом вопросе физической причинности, могут быть, несмотря на это, очень хорошими законодателями. И это представляется для большинства людей настолько естественным, что молчаливое предположение противоположного покажется им нелепым; это последнее обстоятельство служит одним из многих показателей господствующего глубокого невежества. Справедливо, что эмпирические обобщения, которые люди извлекают из своих взаимных сношений, достаточны для того, чтобы внушить им некоторые представления о тех приблизительных результатах, которые явятся следствием новых мероприятий, и это заставляет их предполагать, что они вообще достаточно дальновидны. Между тем прошколенный точными науками ум скоро доказал бы им шаткость выводов, основанных на подобных данных. И если нужны доказательства неосновательности подобного рода выводов, то достаточное количество их представляет тот колоссальный труд, который тратится ежегодно законодательным собранием на исправление сделанных им в предшествующие годы ошибок.

Если бы нам возразили на это, что бесполезно останавливаться на такой неспособности палаты общин, раз мы лучших суждений получить не можем, ибо палата состоит ведь из сливок нации, — мы возразили бы на это, что тут возможны два заключения, имеющие важное практическое значение.

Во-первых, мы убеждаемся, насколько пресловутая интеллектуальная культура наших высших классов недостаточна для того, чтобы дать им возможность сделать более или менее правильный вывод даже из простых явлений, не говоря уже о сложных. Во-вторых, мы можем сделать еще и тот вывод, что если последствия тех сложных явлений, которые имеют место в человеческих обществах и которые представляют такие значительные трудности, так мало им доступны, то их вмешательство в подобного рода вопросы было бы полезно ограничить.

В особенности в одном направлении считали бы мы разумным положить предел расширению их законодательной деятельности. Недавно высказано было предположение, что образование такого класса народа, который якобы делит, как с пренебрежением говорят, свои силы между работой и посещением церкви, следовало бы подчинить контролю того класса, относительно которого с такою же справедливостью можно было бы сказать, что он делит свои силы между клубом и охотой. Такой проект вряд ли много обещает в будущем. Если вспомнить, что в течение последнего столетия наше общество было преобразовано именно по идеям этого предполагаемого ученика, причем ему пришлось преодолеть упорное противодействие своего предполагаемого учителя, — такая комбинация вряд ли покажется удачной. И если она не предполагает такую же с первого взгляда, то еще менее благоприятною станет она тогда, когда будет поставлен на очередь вопрос о компенсациях в данном случае этого предполагаемого учителя. Британская интеллигенция, пропущенная, во-первых, сквозь наши университеты и, во-вторых, перегнанная еще раз в палаты общин, есть продукт, все же требующий еще очень серьезного улучшения в качественном отношении. Было бы очень грустно, если бы нынешний способ производства этой интеллигенции получил распространение и был прочно установлен навсегда.

XII | ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕТИШИЗМ¹

Европейцу представляется чем-то поразительным, что индус, прежде чем приняться за дневную работу, молится импровизированному богу, слепленному им же самим в несколько минут из глины. Мы читаем с изумлением, почти с недоверием, о молитвах, предполагаемая сила которых зависит от ветра, приводящего в движение листки, где эти молитвы написаны. Когда нам говорят о том, что иной житель Азии, недовольный своими деревянными божками, опрокидывает и бьет их, это вызывает в нас смех и удивление.

Но чему же здесь удивляться? Того же рода предрассудки мы видим каждый день и в тех людях, с которыми мы живем; правда, предрассудки не столь резкие, но по существу того же характера. Есть и такие идолопоклонники, которые хотят и не мастера объекты своего поклонения из мертвого вещества, но которые, вместо этого, берут в качестве сырого материала живых людей, которые укладывают известную массу их в некоторую особенную форму и думают, что после такой формовки у человечества появляются силы и свойства, каких до того времени не было. И в том и в другом случае сырой материал насколько возможно маскируется. При помощи прикрас декоративного характера дикарь помогает своей уверенности, что перед ним нечто более, чем простое дерево. Точно так же и гражданин придает политическим учреждениям, созданию которых он способствовал, столь внушительные внешние атрибуты и названия, выразительно говорящие о власти, что его уверенность в ожидаемых от них благодеяниях усугубляется. То же сияние «божественного величия», которым окружены короли, хотя сияние и не столь яркое, окружает и всех начальствующих лиц, до самых низких ступеней их, так что в глазах народа даже простой полицейский, одетый в форменное платье, является облеченным особою непостижимую властью. Даже более того,

¹ Впервые напечатано в «Reader» от 10 июня 1865 г.

символы власти, совершенно отжившие, тоже вызывают благоговение даже у тех, кто хорошо понимает, что они уже отжили свое время. Людям кажется, что в формуле закона заключается какая-то особая сила, которая обладает способностью связывать людей, и что правительственный штампель тоже не лишен такой сверхъестественной силы. Эти два вида идолопоклонства походят один на другой еще вот в каком отношении: в том и в другом случае вера, несмотря на вечные разочарования, держится в душе очень упорно. Трудно понять, каким образом идолопоклонник, избив резное изображение своего бога за неисполнение какого-нибудь желания, снова потом поклоняется ему и испрашивает милостей от него. Мы можем успокаивать себя тем, что, в свою очередь, и все идолы нашего политического пантеона терпят наказания за то, что не оправдали возлагавшиеся на них надежды, и тем не менее на них все же продолжают смотреть с полной надеждой, что в будущем обращенные к ним молитвы будут услышаны. В любой почти газете то и дело доказывается бестолковость, мешковатость, испорченность, бесчестность официализма в том или ином его проявлении. По всей вероятности, в половине передовых статей, какие пишутся, речь идет о какой-либо полнейшей официальной ошибке, возмутительной проволочке, поразительной подкупности, огромной несправедливости, невероятной расточительности в официальных сферах. И, однако, за таким бичеванием, в котором постоянно находит исход обманутое ожидание, следует непосредственно возобновление прежней веры: если такие-то благодеяния еще не имели места, на них продолжают надеяться и продолжают молить о новых. Что ни день, то новые доказательства, что старые правительственные механизмы сами по себе инертны, и если, по-видимому, они имеют силу, то обязаны ею общественному мнению, приводящему в движение их части; тем не менее одновременно с этим, тоже каждый день, нам то и дело предлагаются новые государственные механизмы, устроенные по шаблону старых. Эта неисчерпаемая доверчивость наблюдается и среди людей самой широкой политической опытности. Лорд Пальмерстон, который, вероятно, знает свою публику лучше, нежели кто-либо иной, между прочим, сказал, отвечая на запрос в палате: «Я вполне убежден, что ни одно лицо, принадлежащее к правительству, все равно, — в высшем или

в низшем управлении, — не позволило бы себе нарушить доверие в каком-либо деле, ему порученном». Утверждать подобную вещь перед лицом бесконечного числа обличительных фактов лорд Пальмерстон мог лишь потому, что ему было прекрасно известно, до какой степени вера людей в официализм могущественнее, чем противоречащая ей действительность. В каких же случаях оправдываются надежды, возлагаемые на деятельность государства? Можно было бы подумать, что основные интересы людей побудят их воспользоваться вездесущим государственным аппаратом, например, в целях правосудия; но на деле выходит не так. С одной стороны, мы видим несправедливо осужденных, невиновность которых позднее доказывается и которым «прощают» преступление, им не совершенное; и это — их утешение после незаслуженного страдания. С другой стороны, лорд-канцлер смотрит на тяжкие проступки иных сквозь пальцы, если ущерб, причиненный этими проступками, частью возмещен: более того, лорд-канцлер хлопочет о назначении преступнику пенсии. Один человек, действительно провинившийся, вознаграждается, тогда как другому, чья невиновность доказана, не возмещают ни перенесенных им страданий, ни имущественных убытков! Если эта удивительная несообразность и не очень часто проявляется в делах официального правосудия в форме такого резкого контраста, то частями она обнаруживается в бесконечном ряде случаев.

Мальчишка крадет на два пенса плодов — его ждет тюремное заключение; тысячи фунтов стерлингов переходят из государственных касс в карман частного лица — за это оно не несет никакого наказания. Но ведь это аномалия? В том-то и дело, что нет! Это — узаконенная форма для массы судебных решений. Теоретически государство — защитник прав своих подданных; на практике же оно постоянно действует как нападающая сторона. По общепризнанному принципу правосудия, всякий истец, начавший несправедливое судебное преследование, обязан возместить судебные издержки ответчика: государство же по сие время упорно отказывается покрывать судебные издержки граждан, несправедливо привлеченных им к судебной ответственности. Более того: оно сплошь и рядом пыталось добиваться обвинения с помощью преступных средств. Некоторые из наших современников, вероятно, еще помнят,

как в процессах, преследующих акцизные нарушения, государство подкупало присяжных: когда выносился приговор в пользу государства, присяжные получали двойное вознаграждение, — это вошло в обычай; а чаще всего дело кончалось лишь тогда, когда адвокат ответчика, в свою очередь, тоже давал обещание вдвойне вознаградить присяжных, если их вердикт будет в пользу его клиента!

И не в одних только высших сферах судебной администрации зло официального отношения к делу всегда и во все времена так явно бросалось в глаза, что даже вошло в поговорку; оно проявлялось не только в судебной волоките, способной отравить жизнь человека; не только в разорительных судебных издержках, благодаря которым самое слово «канцелярия» стало каким-то пугалом; не только в процессах коммерческих судов, — процессах, которые всегда вели за собой такие чудовищные издержки, что кредиторы бегали от судей хуже, чем от чумы; проявлялось не только в сомнительном характере самих тяжб, благодаря которому лучше согласишься вынести грубейшую несправедливость, лишь бы избежать еще худшей несправедливости во имя закона, так как последний результат, столь же вероятен, как и первый, — но проявлялось всюду, в самых низших сферах судебной администрации, где ежедневно можно наблюдать множество промахов и нелепостей. Кому не известны ходячие насмешки, сочиненные на полицию? Что могут нам возразить на это? Что в такой массе людей, несомненно, должны быть и нечестные, и неспособные? Да, но в таком случае по крайней мере те распоряжения, которые идут к этим людям сверху, должны быть справедливы и обдуманно. Однако одного взгляда достаточно, чтобы убедиться, что на деле это вовсе не так. Возьмем, для примера, хорошо всем знакомую историю с телеграммой, отправленной по крайне важному и безотлагательному делу одним ирландским административным учреждением; ничтожный расход на эту телеграмму был занесен в отчет, который представляется в главное управление в Лондоне; там это вызвало возражение; возникла длинная переписка, прежде чем последовало разрешение на отпуск требуемой суммы, и то с оговоркой, что впредь таких утверждений даваться не будет, если на подобный расход предварительно не будет испрошено согласия главного управления

в Лондоне. Мы не отвечаем за достоверность факта, но вот вам другой, за достоверность которого мы можем поручиться, а он, в свою очередь, подтвердит возможность и вышеприведенной истории. Один из моих друзей, заметив, что его обворовал повар, бежит в полицейское бюро, излагает там свое дело, дает самые точные указания о дороге, по какой должен был, по его мнению, скрыться вор, и просит полицию распорядиться по телеграфу о его задержании во время пути. На это ему отвечают, что без разрешения сделать этого нельзя; на получение же разрешения потребовалось довольно много времени. В результате вор, прибывший в город в тот самый час, какой был указан моим другом, ускользнул: следов его так и не нашли. Перейдем к другой области полицейской деятельности: к упорядочению уличного движения. Ежедневно на улицах Лондона десятки тысяч легких экипажей с седоками, спешащими по крайне нужным делам, задерживаются какими-нибудь четырьмя телегами и столькими же ломовыми фурами, которые там и сям ползут медленным шагом. Эти телеги и фуры — ничтожное меньшинство в общем движении: ускорив их движение или приурочив его к утренним и вечерним часам, полиция значительно уменьшила бы неудобство. Но вместо того, чтобы заняться устранением препятствий, действительно затрудняющих уличное движение, полиция занимается совсем другим: она следит за всем тем, что вовсе уже не является такой помехой этому движению. Так, недавно еще продавцам афиш запрещалось ходить по улицам под тем предлогом, что они будто бы мешают движению толпы: многие из них, неспособные к другой работе, лишились благодаря этому ежедневного заработка в размере одного шиллинга и были таким образом как бы поставлены в ряды нищих и воров. Есть примеры похуже этого. Несколько лет тому назад между полицией и маленькими продавщицами апельсинов возникла настоящая война: их гнали отовсюду, говоря, что они мешают прохожим. А между тем ежедневно на самых людных пунктах неподвижно торчат субъекты с игрушками, надувающие детей и родителей, чтобы продать эти игрушки: они сами издают разные звуки и уверяют покупателей, что так кричит игрушка, а рядом стоит полисмен и с отеческим видом наблюдает, как сколачивается деньга путем обмана и надувательства; и, если вы его спросите, почему он не находит нужным вмешаться,

он вам ответит, что он не получал на это приказаний. Неправда ли, милый контраст! Если вы — недобросовестный торговец, то вы можете смело собрать вокруг себя на тротуаре небольшую толпу, не опасаясь, что вы получите выговор за задержку движения. Если вы честны, вас оттолкнут далеко от края тротуара, как докучную помеху; оттолкнут куда? — на нечестную дорогу.

Такая беспомощность официальной машины в тех случаях, когда дело идет о нашей защите от несправедливости, по-видимому, должна была бы заставить нас относиться скептически к другим ее предназначениям. Уж если в деле судебной защиты и полицейской охраны, в котором свои же неотложные интересы должны побуждать граждан требовать от официальной машины правильного функционирования; уж если здесь эта машина, в теории являющаяся защитником гражданина, становится так часто его врагом; если слова «прибегать к закону» звучат для нас равносильно фразе «обеднеть» и, может быть, даже «разориться окончательно», — то, разумеется, в других делах, где наши интересы, поставленные на карту, менее настоятельны, никак уж нельзя ждать, чтобы официальная машина оказалась на высоте своего положения. Но такова сила политического фетишизма! Ни упомянутый ряд опытов, ни другие, им подобные, которыми нас дарит каждое административное учреждение, не могут поколебать всеобщей веры. Несколько лет тому назад обществу были предъявлены факты относительно употребления капитала Гринвичского госпиталя: оказалось, что только одна треть этого капитала шла на призреваемых моряков-инвалидов, две же остальные уходили на издержки по администрации: но ни этот факт, ни другие, ему подобные, не помешают нам создавать всё новые административные учреждения. Притча о людях, которые фильтровали воду, чтоб удалить из нее едва заметную мошкару, и в то же время не замечали, как глотали в ней целых верблюдов, как нельзя более подходит к действиям официальной машины. Полюбуйтесь, с какой тщательностью здесь относятся к мелочам бюджета, как все сортируется, раскладывается по небольшим пакетам, перевязанным красной лентой, и в то же время по какой-то необъяснимой безалаберности целый департамент, и притом такой, как департамент по выдаче патентов и привилегий, оставляется совершенно без контроля. Разумеется, это ничуть не мешает раздаваться

голосам, предлагающим ввести в торговых компаниях отчетность наподобие правительственной. Общество узнает, насколько, однако, не теряя от этого своей веры, такие невероятные нелепости, которых, казалось бы, не могло создать даже и самое большое воображение! Возьмем, например, практикующийся в правительственных учреждениях, как обнаружилось недавно, порядок поощрения служащих: чиновник одного из отделений департамента занимает по смерти своего начальника его место; новый пост, конечно, налагает на него новые, более сложные обязанности, но жалованья ему не прибавляют; в то же время в другом отделении чиновник, ответственность которого ничуть не увеличилась, получает прибавку содержания из образовавшихся таким путем остатков.

Мы никогда не кончили бы, если б вздумали перечислять все такие промахи и нелепости: это наследство, переходящее от поколения к поколению; ни комиссии, ни отчеты, ни дебаты ничего с этим поделать не могут. И в то же время каждый год приносит новую жатву проектов в области административных начинаний, и с каждым новым проектом общество снова и снова рассчитывает получить наконец-то то, что оно от этого проекта ждет. А возьмем между тем армию — в ней царит система производства, которую нельзя назвать иначе, как организованным торжеством невежества, но которая тем не менее продолжает действовать вопреки постоянным нападкам; возьмем адмиралтейство — ни для кого не тайна, что его организация никуда не годна и что все его поступки способны только вызывать смех; возьмем церковь — она цепляется за давно отжившие формы, вопреки общественному мнению, которое их отвергает, — и, несмотря на все это, с каждым новым днем все настоятельнее и настоятельнее раздаются требования о необходимости распространять законодательные определения на новые области. Что нужды, что наши строительные законы повели лишь к постройке менее прочных домов, чем прежде; что нужды, что инспекция каменноугольных копей бессильна предупредить взрывы рудничного газа; что нужды, что введение инспекции на железных дорогах лишь увеличило число катастроф на этих дорогах; среди нас, будто на смех всем таким неудачам и многим другим, свидетелями которых мы постоянно бываем, царит и продолжает царить то, что Гизо

так удачно называет «грубым обольщением, верою в верховное могущество политического механизма».

Великую услугу оказал бы обществу тот, кто взял бы на себя труд проанализировать законы, изданные... ну хотя бы за последние 50 лет; кто сравнил бы результаты, ожидавшиеся от этих законов, с результатами, действительно полученными. Для того, чтоб написать такую полную откровений и в высшей степени поучительную книгу, достаточно было бы привести мотивы, вызвавшие то или другое законодательное определение, и показать, сколько зла, подлежащего теперь устранению, было порождено предыдущими мероприятиями. При этом для исследователя было бы всего труднее, разумеется, удержаться в должных рамках при повествовании, которое легко может сделаться бесконечным, о розовых надеждах, всегда кончавшихся неожиданными крушениями. В заключение было бы очень полезно указать, насколько выигрывал тот воздержанный законодатель, который после ряда убедительных уроков решился наконец раз навсегда прекратить свои законодательные попытки.

Не думайте, однако, чтобы и подобная сводка фактов, при всем богатстве и поучительности содержания, могла хоть сколько-нибудь повлиять на изменение среднего уровня умов. Политический фетишизм будет жить, доколе люди будут лишены научного образования, доколе они будут считаться лишь с ближайшими причинами, не ведая о причинах более отдаленных и более общих, которые двигают первыми. И пока то, что теперь называют образованием, не будет свергнуто настоящим образованием, цель которого объяснить человеку сущность мира, в котором он живет, до тех пор новые политические иллюзии будут расцветать на иллюзиях погибших. Но и теперь уже есть избранные умы — и ряды их все пополняются, — умы, для которых вышеупомянутая книга не прошла бы бесследно; для них-то и стоило бы ее написать.

XIII | АМЕРИКАНЦЫ¹

1. Разговор 20 октября 1882 г.

— Отвечает ли то, что вы видели, вашим ожиданиям?

— Оно их далеко превзошло. Несмотря на все, что я читал об Америке, я не имел достаточно ясного представления о том колоссальном развитии материальной культуры, которое мне пришлось здесь повсюду наблюдать. Размеры, богатство и роскошь ваших городов и в особенности великолепие Нью-Йорка просто поразили меня. Хотя я и не видел еще чудес вашего Запада, вашего Чикаго, но некоторые из ваших не столь людных городов, как, например, Кливленд, поразили меня как результат деятельности одного только поколения. Обычно, когда мне приходилось бывать в местах с несколькими десятками тысяч жителей, где телефоны у каждого под рукой, мне становилось как будто бы стыдно за отсутствие предпринимчивости в наших городах, в которых часто при 50 и более тысячах жителей телефоны совершенно отсутствуют.

— Вы усматриваете, я полагаю, в этих результатах великие преимущества свободных учреждений?

— Вот теперь-то и выступает на сцену одна из неудобных сторон интервьюирования. Я был в вашей стране менее двух месяцев, видел относительно небольшую ее часть и сравнительно мало людей, и между тем вы хотите, чтобы я высказал вам совершенно определенное мнение по такому серьезному вопросу.

— Но вы согласитесь, может быть, отвечать с оговоркой, что вы передаете только лишь свои первые впечатления?

— Ну хорошо, с этим условием я могу ответить, что хотя свободные учреждения и были отчасти причиной вышеуказанного явления, но, во всяком случае, причиной не главной, как мне кажется. Прежде всего, на долю американцев выпало

¹ Разговор с интервьюером и речь, сказанная автором во время его пребывания в Северо-Американских Соединенных Штатах в 1882 г.

беспримерное счастье: у них громадные минеральные богатства и обширные пространства девственной почвы, производящей все в изобилии и притом при самых незначительных расходах на культуру. Само собою разумеется, что одно уже это обстоятельство должно было значительно способствовать достижению такого колоссального результата. Затем, они выиграли также и в том отношении, что получили в наследство все искусства, приспособления и методы, созданные другими, более древними, обществами, оставляя в то же время в стороне существующие там неудобства. Они имели возможность выбирать из продуктов всего предшествующего опыта, присваивая себе все, что хорошо, и отвергая все, что дурно. Затем, помимо этих благоденствий фортуны, американцы располагают еще факторами, заключающимися в них самих. В лицах американцев я замечаю всегда непреклонную решимость — нечто вроде: «сделай или умри», — и эта черта характера, в соединении с рабочей силой, превосходящей силу других народов, создает, понятно, прогресс, беспримерный по быстроте развития. К тому присоединилась также и их изобретательность, поддерживаемая необходимостью экономии труда и так разумно поощряемая. У нас, в Англии, немало таких безрассудных людей, которые, вполне признавая, что человек, работающий руками, имеет справедливое право на продукты своего труда и если обладает особенным умением, то может совершенно справедливо воспользоваться своим преимуществом, в то же время полагают, что если человек работает головой, может быть, многие годы, и, соединяя талант с настойчивостью, создает какое-либо ценное изобретение, то выгода от этого по справедливости принадлежит не ему, а публике. Американцы были в этом отношении гораздо дальновиднее. Громадный музей патентов, который я видел в Вашингтоне, красноречиво свидетельствует об уважении к правам изобретателей, и нация очень много выигрывает, признавая в этом направлении (хотя и не во всех остальных) право собственности на продукты ума. Не подлежит сомнению, что в области механических приспособлений американцы опередили все другие нации. Если бы у вас параллельно с вашим материальным прогрессом развивался в такой же мере и прогресс более высокого рода, вам ничего большего не оставалось бы желать.

— Это несколько двусмысленное объяснение. Что вы хотите этим сказать?

— Вы поймете меня, когда я расскажу вам, о чем я думал на этих днях. Когда я размышлял над всем, что я у вас видел: над вашими обширными фабриками и торговыми заведениями, над кипучей торговлей на ваших уличных тележках и возвышающихся над вашими головами железных дорогах, над вашими гигантскими гостиницами и дворцами на Fifth Avenue, — мне вдруг пришли в голову итальянские средневековые республики, мне вспомнилось при этом, что по мере расширения их коммерческой деятельности, по мере развития искусства, возбуждавшего зависть всей Европы, возведения княжеских чертогов, которые до нашего времени не перестают удивлять путешественников, население их постепенно утрачивало свободу.

— Вы хотите этим сказать, что мы находимся на том же самом пути?

— Мне думается, что так. Вы сохраняете свободные формы, но, насколько я могу судить, вы утратили уже значительную долю самой сущности свободы. Правда, те, которые вами управляют, не пользуются для этого людьми, вооруженными кинжалами, они действуют посредством целой армии людей, вооруженных избирательными бумажками и так же слепо повинующихся их команде, как повиновались некогда своим повелителям слуги феодальных баронов; эта армия дает своим вождям возможность так же успешно подчинять себе волю большинства и предписывать обществу свои требования, как это делали и их прототипы в старину. Не подлежит сомнению, конечно, что каждый из ваших граждан подает голос за кандидата, которого желает избрать на ту или другую должность до президента Штатов включительно, но им руководит при этом сила, вне его лежащая и почти не оставляющая ему свободы выбора. «Пользуйтесь вашими политическими правами, как мы вам указываем, или откажитесь от них», — такова альтернатива, которая предлагается вашим гражданам. Политический механизм, находящийся теперь в действии, весьма мало походит на тот, который имелся в виду на заре вашей политической жизни. Тем, которые создавали вашу конституцию, очевидно, и не снилось, что двадцать тысяч граждан пойдут к избирательным урнам под предводительством «хозяина». На противоположном

конце социальной скалы Америка представляет явление, аналогичное тому, которое имело место в различных деспотических странах. В Японии, как вы знаете, перед последней революцией, божественный правитель, микадо, номинально всемогущий, в действительности был марионеткой в руках своего первого министра, шогунa. Мне представляется, что ваш «*peuple souverain*» (самодержавный народ) стал почти такою же марионеткой, говорящей и двигающейся по желанию того, кто держит в руках нити.

— Так что, республиканские учреждения, по-вашему, никуда не годятся?

— Вовсе нет; я далек от такого вывода. Лет тридцать тому назад мне часто приходилось толковать о политике с одним приятелем, англичанином; я тогда, как и теперь, всегда защищал республиканские учреждения. Когда мой приятель в своих возражениях ссылался на их несостоятельность здесь, у вас, я отвечал всегда, что Америка получила свою форму правления благодаря счастливой случайности, а не в силу естественного процесса и что вам придется вернуться назад для того, чтобы быть потом в состоянии идти вперед. И все события последнего времени вполне, как мне кажется, подтвердили этот взгляд, а то, что я вижу теперь, еще более меня укрепляет в нем. Америка доказала в небывалом до сих пор масштабе, что «бумажные конституции» не могут действовать так, как от них требуется. Истина, впервые выраженная Макинтошем, что конституции не делаются, а развиваются, составляющая только часть более обширной истины, что человеческие общества во всех частях своей организации не создаются, а развиваются, совершенно разбивает старое представление, что мы можем создать по своему желанию ту или другую систему правления; ясно, что если ваш политический строй был сфабрикован, а не явился как продукт естественного развития, естественного роста, то он должен будет развиваться в нечто совершенно отличное от того, что имелось в виду при его создании, нечто согласное с характером граждан и с условиями жизни данного общества. Так оно, очевидно, и было у вас. На почве ваших конституционных форм выросла та организация профессиональных политиков, совершенно непредвиденная вначале, которая и сделалась в значительной мере силой правящей.

— Но разве просвещение и распространение политических понятий не подготовят людей, способных пользоваться свободными учреждениями?

— Нет. Это составляет главным образом вопрос характера и только в слабой степени — вопрос знания. Что же касается всеобщего заблуждения относительно просвещения как панацеи против политических бед, то оно прекрасно могло бы быть развеяно доказательствами, ежедневно появляющимися на столбцах ваших газет. Разве все эти люди, которые управляют и контролируют все ваши учреждения — муниципальные, федеральные, государственные, которые орудуют на ваших предвыборных митингах и собраниях и ведут ваши партизанские войны, разве все это не образованные люди? А разве их образование удержало их от участия, или допущения, или, по крайней мере, терпимости по отношению к подкупу, к шушуканью с депутатами в преддверии вашего законодательного собрания, к другим бесчестным приемам, которые опорочивают деятельность вашей администрации? Газеты преувеличивают, может быть, все эти явления, но что сказать против свидетельства преобразователей вашей администрации, людей, принадлежащих к различным партиям? Если я верно понимаю, они восстают против системы — позорной и опасной, по их мнению, которая выросла под сенью ваших свободных учреждений, и указывают на пороки, для предупреждения которых образование оказалось бессильным?

— Понятно, что честолюбивые и бессовестные люди постараются захватить для себя общественные должности и находят поддержку для своих эгоистических целей в образовании. Но разве эти цели не будут расстроены или, вернее, разве правительство не будет иметь лучших исполнителей, когда повысится уровень знаний во всем народе?

— Очень мало. Ходячая теория утверждает, что если детям объясняют, что то или другое дурно и почему дурно, то, выросши, они будут поступать хорошо. Но если только принять в соображение деятельность учителей религии в течение последних двух тысячелетий, то нам *станет* ясно, что вся история, как мне кажется, противоречит этому выводу, так же точно как и поведение тех образованных людей, на которых я указывал выше, и я, право, не знаю, почему вы ожидаете лучших результатов

от масс. Личные интересы будут направлять и их туда же, куда они направляют теперь людей, выше их стоящих, и образование, которое не заставляет теперь последних заботиться об общем благе более, чем о частном, потом не заставит делать это и первых. Проистекающая от политической честности выгода имеет такое общее и такое отдаленное значение, а часть ее, выпадающая на долю каждого отдельного гражданина, так неосязательна, что средний гражданин, как бы он ни был образован, будет обязательно заниматься своими личными делами и не почтет нужным бороться против всякого замеченного злоупотребления. Корень зла тут заключается не в недостатках сведений, а в недостатках известного нравственного чувства.

— Вы думаете, что люди не имеют достаточно ясного представления об общественных обязанностях?

— Можно, пожалуй, и так сказать, но тут есть и нечто другое, более специальное. Вы, может быть, удивитесь, если я скажу вам, что американцы, по моему мнению, не имеют достаточно живого сознания своих собственных прав и в то же самое время, как естественное последствие этого, и достаточно живого сознания чужих прав, так как эти две черты органически между собою связаны. Я заметил, что они терпеливо сносят различные мелкие вмешательства и предписания властей, которым англичане, напротив, очень склонны противиться. Я слышал, что живущие здесь англичане известны своею склонностью роптать в подобных случаях, и я в этом не сомневаюсь.

— Разве вы полагаете, что человеку стоит ссориться из-за всякого пустого посягательства на его права? Мы, американцы, находим, что это отнимает слишком много времени, портит кровь и вообще не стоит труда.

— Вот именно это-то я и понимаю под словом «характер». Эта-то легкая готовность подчиняться мелким обидам, потому что восставать против них скучно, безвыгодно или непопулярно, и ведет к привычке переносить несправедливости и к падению свободных учреждений. Свободные учреждения могут существовать только при поддержке граждан, и потому каждый из них обязан неукоснительно протестовать против всякого незаконного действия, всякой попытки к присвоению верховенства, ко всякому превышению власти со стороны должностных лиц, как бы ничтожно оно ни казалось.

Как говорит Гамлет, иногда «благородно спорить и из-за соломинки», когда эта соломинка олицетворяет собою принцип. Если американец, как вы говорите, в таких случаях ставит себе прежде вопрос, может ли он пожертвовать столько-то времени и труда и стоит ли ими жертвовать, — путь для испорченности несомненно открыт. Все эти уклонения от более высоких к более низким формам начинаются с пустяков, и только непрерывная бдительность может их предупредить. Как сказал один из ваших старинных государственных людей: «Свобода покупается ценою постоянной бдительности», — и эта бдительность требуется гораздо менее по отношению к внешним покушениям на национальную свободу, чем по отношению к незаметному росту домашних вмешательств в область личной свободы. Участвуя в некоторых частных администрациях, я всегда настаивал на том, что совершенно неправильно считать, что все обстоит благополучно, раз нет доказательств противного, — наоборот, следовало бы считать, что дело обстоит плохо, пока не будет доказано противное. Вы можете видеть всегда и везде, что частные корпорации, акционерные банки, например, страдают от несоблюдения этого принципа, и то, что относится к этим маленьким и несложным частным предприятиям, имеет еще более важное значение для больших и сложных общественных администраций. Людям внушают, и они этому, я думаю, верят, что «сердце человеческое в высшей степени обманчиво и безнадежно испорчено», и, веря этому, они, однако, как это ни странно, возлагают неограниченное доверие на тех, которым вверяют те или другие функции. Я не такого дурного мнения о человеческой природе, но, с другой стороны, и не такого хорошего, чтобы верить в то, что она и без надзора будет идти прямым путем.

— Вы раньше намекнули, что американцы, не отстаивая в достаточной мере в мелких вещах своей индивидуальности, не питают зато и достаточного уважения в индивидуальности чужой.

— Разве я это сказал? Вот вам и второе неудобство интервьюирования. Я должен был оставить это мнение про себя, раз вы меня о нем не спрашивали; теперь же мне приходится или сказать то, чего не думаю, что для меня невозможно, или отказаться отвечать, зная, что моему молчанию будет придано

более значения, чем оно на самом деле имеет, или, наконец, войти в подробности, которые могут даже показаться обидными. Выбираю последнее, как наименьшее из всех этих зол. Черта, о которой я говорю, проявляется различным образом и в важных, и в мелких обстоятельствах жизни. Она проявляется в той бесцеремонности, с какой ваши газеты обращаются с личностью граждан, — в расклеивании афиш с сенсационными заголовками, касающихся ваших общественных деятелей, в обсуждении деятельности частных лиц и самих их в печати. У вас существует, кажется, представление, что общество имеет право вторгаться в частную жизнь граждан сколько хочет, а это, по-моему, есть своего рода нравственное воровство. Затем, в более широких размерах, эта черта проявляется в безвозмездном присвоении чужой собственности вашими железными дорогами; она же обнаруживается и в действиях ваших железнодорожных автократов, не только в захвате ими прав пайщиков, но и в господстве их над вашими судами и над государственным управлением. Дело в том, что свободные учреждения могут сохранять свой истинный характер только там, где каждый гражданин ревниво оберегает свои права и с такою же ревностною симпатией относится и к чужим правам, — не посягает на права других, будь то в крупных или мелких вещах, но и другим не позволит посягать на свои права. Республиканская форма правления есть наивысшая его форма, но именно потому-то она и требует для своего осуществления наивысшего типа человеческой природы, — типа, пока еще нигде не существующего. Мы не доросли еще до него, да и вы также.

— Но мы думали, что вы, м-р Спенсер, приверженец свободного правления в смысле упразднения стеснений и предоставления людей и вещей самим себе, т.е. того, что называется *laissez faire*?

— Это составляет предмет вечного недоразумения со стороны моих оппонентов. Высказывая порицание вмешательству государства в различные сферы, в которых частная деятельность людей должна быть совершенно свободна, я, однако же, всюду и везде высказывал убеждение, что в своей специальной сфере, в поддержании справедливых отношений между гражданами, деятельность государства должна быть развита и тщательно организована.

— Но, возвращаясь к вашим разнообразным критическим замечаниям, должен ли я прийти к выводу, что вы не питаете особенных надежд относительно нашего будущего? — Относительно вашего будущего пока возможны только самые неопределенные и общие заключения. Факторы, находящиеся в действии, слишком многочисленны, слишком крупны, слишком превосходят всякую меру, как в смысле количества, так и в смысле интенсивности. До сего времени мир никогда не видел таких социальных явлений, какие могли бы идти в сравнение с теми, которые представляют Соединенные Штаты. Общество, занимающее колоссальное пространство, сохраняя при этом свою политическую целостность, — это факт до сих пор небывалый. Это прогрессивное присоединение к государственному организму обширных групп поселенцев различной крови, и при том в таких размерах, нигде еще не имели места. В прежние времена обширные империи, составленные из различных народностей, образовались путем завоевания и присоединения. Теперь же ваше обширное сплетение железных дорог и телеграфов стремится сплотить этот обширный агрегат штатов таким путем, которым никогда до сих пор подобные агрегаты не сплачивались. Кроме того, существуют и другие, менее крупные, кооперирующие факторы, совершенно непохожие на все те, которые были известны ранее, и невозможно сказать, что из всего этого выйдет. Что все это приведет впоследствии к разного рода затруднениям, даже и очень серьезным, кажется мне в высшей степени вероятным; но каждая нация имела и будет иметь свои затруднения. Вы преодолели уже одно большое затруднение и имеете право надеяться, что справитесь и с другими. Справедливо, как мне кажется, предположить, что американская нация как по своей многочисленности, так и вследствие разнородности своего состава будет еще долгое время вырабатывать свою окончательную форму, но эта окончательная форма будет по своему достоинству очень высока. Один громадной важности результат, мне кажется, и теперь уже достаточно очевиден. Мы можем заключить, основываясь на данных биологии, что случайное смешение родственных разновидностей арийской расы, составляющей население ваших Штатов, создаст в будущем более высокий тип человека, нежели существовавший до сих пор, — тип человека более гибкого, лучше приспособляющегося

ся, более способного подвергнуться тем видоизменениям, которые необходимы для создания совершенной социальной жизни. Я думаю, что, каковы бы ни были те затруднения, которые им предстоит побороть, каковы бы ни были те тревожения, которые им придется пережить, американцы могут спокойно ждать того времени, когда они создадут цивилизацию более высокую, чем все те, какие когда-либо существовали.

2. Речь

Господин Президент и милостивые государи! Одновременно с вашей благосклонностью меня постигла большая неблагоклонность судьбы: ибо именно теперь, когда я нуждаюсь в полном обладании всем доступным мне красноречием, расстроенное здоровье заставляет меня опасаться, что я окажусь далеко не на высоте своей задачи. Я вынужден поэтому просить вас отнестись хоть часть недостатков моей речи на долю крайне расстроенной нервной системы. Рассматривая вас как представителей всей американской нации, я понимаю, что случай дает мне возможность выплатить вашей нации долг благодарности. Я должен бы начать с того времени, когда, лет двадцать тому назад, мой высокопочтенный друг, профессор Юманс, стремясь к распространению в Америке моих сочинений, заинтересовал ими гг. Аплтон, которые с тех пор оказывали мне всегда так много уважения и любезности, и, наконец, я должен бы перечислить все те доказательства сочувствия, которыми Америка поощряла меня в борьбе, бывшей для меня долгое время очень тяжелой. Но, высказав таким образом вкратце, как глубоко я обязан моим многочисленным и в большинстве случаев неизвестным мне друзьям по эту сторону Атлантического океана, я должен особенно помянуть все то внимание и гостеприимство, которое было ими оказано во время моего последнего пребывания здесь или, и еще более, то сочувствие и те добрые пожелания, для выражения которых многие из вас совершили столь большой путь с значительным ущербом времени, которое так дорого для американца. Я могу с уверенностью сказать, что улучшение здоровья, которое вы мне с такою сердечностью желаете, будет действительно в известной мере осуществлено благодаря этим пожеланиям, так как приятные впечатления содействуют

здоровью, а вы, конечно, не сомневаетесь, что воспоминание об этом собрании останется для меня навсегда источником приятных чувствований. Теперь, высказав вам, хотя и в коротких словах, свою искреннюю благодарность, я намереваюсь поспорить с вами. В немногих словах, сказанных мною по поводу американских дел и американского характера, я позволил себе несколько критических замечаний, которые были приняты гораздо более добродушно, чем я мог, по справедливости, ожидать; поэтому может показаться странным, что я опять собираюсь критиковать, тем более что недостаток, о котором я намерен говорить, большинству вряд ли даже покажется недостатком. Мне кажется, что в одном отношении американцы слишком далеко ушли от дикарей. Я не хочу этим сказать, что они вообще слишком цивилизованны: в обширных частях населения, даже в давно населенных областях, не замечается избытка тех добродетелей, которые необходимы для поддержания социальной гармонии; особенно на дальнем Западе действия людей обнаруживают не слишком много той «мягкости и теплоты», которые, как говорят, отличают культурного человека от дикаря. Тем не менее в одном отношении мое утверждение все же справедливо. Вам известно, что первобытный человек лишен способности применяться к обстоятельствам. Движимый голодом, опасностью, мезтью, он способен к временному напряжению энергии, но не надолго: его энергия имеет спазматический характер. Монотонный ежедневный труд для него невозможен. Совсем другое — человек более цивилизованный. Строгая дисциплина социальной жизни постепенно развила в нем способность к постоянным занятиям, так что у нас и еще более у вас работа стала для многих своего рода страстью. Этот контраст в характерах имеет еще и другую сторону. Дикарь думает только об удовлетворении своих потребностей в настоящую минуту и не заботится об удовлетворении их в будущем. Американец, наоборот, страстно преследуя будущие блага, не замечает того блага, которое представляет ему сегодняшний день; и, когда это будущее благо достигнуто, он пренебрегает им, устремляясь снова в погоню за другим, еще более отдаленным, благом.

Все, что я видел и слышал во время моего пребывания среди вас, убеждает меня в том, что этот медленный переход от обычной инертности к постоянной деятельности достиг крайней

своей точки, с которой должно начаться обратное движение — реакция. Повсюду меня поражал вид лиц, на которых написано глубокими чертами, сколько тяжелого им пришлось перенести. Меня поразил также значительный процент людей с седыми волосами, и мои расспросы подтвердили для меня тот факт, что у вас волосы седеют лет на десять ранее, чем у нас. Кроме того, в различных кругах мне приходилось встречать людей, которые или сами страдали нервным расстройством, вызванным переутомлением, или могли назвать знакомых, умерших от переутомления или расстроивших свое здоровье — некоторые навсегда, другие временно, причем они должны были потратить продолжительное время в попытках восстановить его. Я только повторяю мнение всех наблюдательных людей, с которыми мне приходилось беседовать по этому вопросу, и утверждаю, что эта жизнь под высоким давлением принесла населению громадный вред, систематически подгачивая его организм. Тонкий мыслитель и поэт, которого вам пришлось так недавно оплакивать, Эмерсон, в своем опыте о джентльмене говорит, что первое требование, которое предъявляется к джентльмену, — это чтобы он был хорошим животным. И это требование всеобщее — оно распространяется на человека, на отца, на гражданина. Нам достаточно толкуют о «презренном теле», и эти фразы побуждают многих преступать законы здоровья. Но Природа спокойно устраняет тех, которые так пренебрежительно относятся к одному из прекраснейших ее произведений, и предоставляет населять мир потомками тех, которые не были так безумны.

Помимо этого непосредственного вреда, это явление влечет за собой еще другое косвенное зло. Исключительная преданность труду приводит к тому, что развлечения перестают нравиться, и, когда отдых становится наконец необходимым, жизнь кажется скучною вследствие отсутствия в ней единственного интереса — интереса к работе. Ходячее мнение в Англии, что для американца, когда он путешествует; главное заключается в том, чтобы в возможно кратчайшее время увидеть возможно больше видов природы, оказывается распространенным и здесь: признано, что удовлетворение, доставляемое ему самим передвижением, поглощает почти всякое другое удовлетворение. Когда я был недавно на Ниагаре, где мы с наслаждением провели целую неделю, я узнал от хозяина гостини-

цы, что большинство американцев приезжает туда на один только день. Фруассар, сказавший о современных ему англичанах, «что они наслаждаются грустно, по своему обыкновению», если бы дожил до наших дней, несомненно, сказал бы об американцах, что они наслаждаются поспешно, по своему обыкновению. У вас, еще более, чем у нас, отсутствует то увлечение минутой, которое необходимо для полного наслаждения, и этому увлечению мешает вечно присутствующее сознание многосложной ответственности. Таким образом, помимо серьезного физического вреда, причиняемого переутомлением, оно создает еще и другое зло, понижая ту ценность, которую в противном случае представляла бы часть жизни, посвященная досугу.

Но этим не исчерпывается еще все зло. Ко всему прочему присоединяется еще вред, причиняемый всем этим потомству. Поврежденное здоровье отражается на детях, и вред, причиняемый им таким образом, далеко превосходит то благо, которое вносит в их жизнь большое состояние. Когда наука сделает нашу жизнь в должной мере рациональной, люди поймут, что из всех обязанностей человека забота о здоровье одна из наиболее важных, и не только в интересах личного благополучия, но также и в интересах потомства. Здоровье человека будет рассматриваться как унаследованное достояние, которое он обязан передать потомству если и не улучшенным, то, во всяком случае, не умаленным; люди поймут тогда, что оставленные в наследство миллионы не могут вознаградить за слабое здоровье и пониженную способность наслаждаться жизнью. Затем нужно упомянуть также и о вреде, причиняемом своим согражданам несправедливым отношением к конкурентам. Я слышал, что один ваш крупный торговец прямо старается давить всякого, кто конкурирует с ним; естественно, что человек, становясь рабом своей страсти к накоплению, захватывает чрезмерную долю торговли или вообще профессии, которую занимается, затрудняет жизнь всем остальным, занимающимся ею, и исключает из нее многих таких, которые могли бы заработать себе, благодаря ей, необходимые средства к жизни. Вот, следовательно, помимо эгоистического мотива, еще два альтруистических, которые должны бы удерживать от чрезмерного труда.

Дело в том, что мы нуждаемся в новом жизненном идеале. Оглянитесь на прошлое или взгляните хорошо

в настоящее, и вы убедитесь, что идеал жизни изменяется в зависимости от социальных условий. Всякому известно, что быть искусным воином составляло высшую цель у всех более значительных народов древности, как оно составляет теперь у большинства диких народов. Если мы припомним, что, по древнескандинавским представлениям, время на небесах проводится в ежедневных войнах, причем полученные раны магически исцеляются, мы увидим, как глубоко может укорениться представление, что война есть единственное соответствующее человеку занятие, все же остальное, вся промышленная деятельность, годится только для рабов и низшего класса людей. То есть, другими словами, когда хроническая борьба между различными расами вызывает постоянные войны, является жизненный идеал, соответствующий потребностям этой борьбы. В современных культурных обществах, особенно в Англии, еще более в Америке, все это радикально изменилось. Вместе с ослаблением милитаристской деятельности и с развитием деятельности промышленной, занятия, считавшиеся прежде постыдными, стали пользоваться почетом. Обязанность воевать сменила обязанность трудиться, и как в одном, так и в другом случае жизненный идеал так прочно установился, что вряд ли кому приходится в голову подвергнуть его пересмотру. Промышленная деятельность, как цель существования, практически заменила в этом отношении войну.

Суждено ли этому современному идеалу удержаться в будущем? Не думаю. Раз все остальное подвержено постоянному изменению, невозможно, чтобы один только идеал оставался неизменным. Древний идеал соответствовал эпохе покорения человека человеком и расцвету сильнейших рас. Современный идеал соответствует эпохе, господствующей целью которой является покорение сил природы и подчинение их человеку. Но когда обе эти цели в существенном будут достигнуты, тогда сложится идеал, который будет, вероятно, в значительной степени отличаться от нынешнего. Возможно ли предвидеть характер этого различия? Я думаю, что да. Лет двадцать тому назад большой мой друг, а также и ваш, хотя вы его никогда не видели, Джон Стюарт Милль, прочел вступительную речь в колледже St. Andrew по случаю своего назначения на должность ректора его; эта речь заключала в себе много замечательного, как все, что

исходило из-под его пера, но в ней сквозило молчаливое признание того, что цель жизни — учиться и работать. Мне хотелось тогда выдвинуть противоположный тезис. Я охотно постоял бы за то, что жить нужно не для того, чтобы учиться или работать, а наоборот: учиться и работать нужно для того, чтобы жить. Знание должно прежде всего служить для направления нашего поведения при всевозможных обстоятельствах жизни в таком духе, чтобы сделать наше существование полным. Всякое другое употребление знания имеет побочное значение. Вряд ли нужно говорить, что первая цель работы — доставление материала и средств для полного существования и что все другие цели работы имеют только подчиненное значение. Между тем в представлении людей подчиненное в значительной степени завладело местом главного. Апостол культуры, как ее обыкновенно понимают, Мэтью Арнолд, не придает почти никакого значения тому факту, что первейшее назначение знания есть правильное регулирование всех действий; а Карлейль, прекрасный представитель ходячих мнений о труде, настаивает на его достоинствах, исходя из совершенно других оснований, а отнюдь не из того, что он поддерживает существование. Во всех человеческих действиях можно проследить тенденцию превращать средства в цели. Всякий может убедиться в этом на примере скупца, который, находя удовлетворение исключительно в накоплении денег, забывает, что ценность их заключается единственно в том, что они доставляют возможность удовлетворения наших желаний. Еще менее распространено понятие, что то же самое относится и к труду, посредством которого накапливаются деньги, что промышленность, в смысле ли физической работы или умственного труда, есть только средство и что так же неразумно отдаваться ей до отказа от той полноты жизни, которой она должна служить, как и неразумно со стороны скупца копить деньги и не пользоваться ими. Поэтому я думаю, что, когда настоящая эпоха активного материального прогресса сослужит Человечеству свою службу, наступит более разумное распределение труда и наслаждения. Одно из оснований для этого мнения заключается в том, что процесс эволюции во всем органическом мире вообще дает возрастающий запас энергии, не поглощенной удовлетворением материальных потребностей, и обещает еще больший запас в будущем. Я имею также и другие основания, на которых

здесь не останавливаюсь. Говоря коротко, я могу сказать, что нам уже достаточно проповедовали «евангелие труда», пора уже проповедовать евангелие досуга (relaxation).

Мой послеобеденный спич вышел совсем не по форме. Особенно странным покажется то, что, намереваясь высказать свою благодарность, я говорю нечто, сильно напоминающее проповедь. Но мне казалось, что я не могу лучше доказать свою благодарность, как посредством выражения симпатии к вам, которая и внушает мне мои опасения. Если, как я предвижу, неумеренность в работе принесет вред главным образом англо-американской части населения; если в результате ее получится подтачивание организма не только у взрослых, но и у детей, на которых, как я вижу из ваших ежедневных газет, эта чрезмерная работа также очень дурно влияет; если конечным следствием всего этого будет исчезновение тех из вас, которые являются наследниками свободных учреждений и наиболее к ним подготовлены, — тогда выступит на сцену новая помеха в процессе выработки того великого будущего, которое предстоит американской нации. Этим тревожным мыслям я прошу вас приписать необычный характер моей речи.

Затем мне остается только проститься с вами. Отплывая в субботу на *Germanic*, я увезу с собою приятные воспоминания о сношениях со многими американцами вместе с сожалением о том, что плохое состояние моего здоровья помешало мне войти в соприкосновение с большим числом ваших сограждан.

Postscriptum. Здесь не лишнее будет прибавить несколько слов относительно причин этой чрезмерной активности американской жизни, — причин, которые могут быть отождествлены с теми, которые в последнее время действовали отчасти и у нас и вызвали аналогичные, хотя и менее крупные, результаты. Генезис этого чрезмерного поглощения энергии тем более заслуживает внимания, что он прекрасно иллюстрирует одну общую истину, которая должна бы всегда присутствовать в сознании законодателей и политиков, а именно, что косвенные и не предусмотренные результаты какого-либо действующего в жизни общества фактора бывают часто, если и не всегда, обширнее и важнее, чем непосредственные и предвиденные результаты.

Это высокое давление, тяготеющее над американцами и наиболее интенсивное в местах, подобных Чикаго, где благосо-

стояние и развитие достигли высших пределов, является, как это признают также и многие интеллигентные американцы, косвенным результатом их свободных учреждений, а также отсутствие того классового различия, которое существует в более старых обществах. Общество, в котором люди, умирающие миллионами, так часто начинали жизнь с бедности и где (перефразируя французскую поговорку о солдате) всякий мальчишка-газетчик носит в своей сумке президентскую печать, есть, по необходимости, общество, в котором все подвержены погоне за богатством и почестями, — погоне гораздо более интенсивной, чем та, которая может существовать в обществе, где все почти вынуждены оставаться в рамках и в том сословии, в котором родились, и имеют только очень слабую возможность приобрести состояние. В тех европейских обществах, которые в значительной мере сохранили старый тип устройства (как, например, у нас, в Англии, вплоть до того момента, когда сильное развитие индустриализма стало открывать все новые поприща для производящих и распределяющих классов), так мало шансов к преодолению препятствий и сколько-нибудь значительно повышению в общественном положении или в приобретении богатства, что почти всем приходится удовлетворяться своим положением ввиду слабой уверенности в возможности подняться. Замечательно сопутствующее этому явление: исполняя с некоторой успешностью, как того требует умеренная конкуренция, свою ежедневную, сообразную его положению, задачу большинство привыкает довольствоваться теми удовольствиями, которые доступны в их положении, и то только в пределах предоставленного им досуга. Иначе дело обстоит там, где громадное развитие промышленности значительно увеличивает шансы на успех, и еще более там, где классовые ограничения ослаблены или совершенно отсутствуют. Не только потому, что время, занятое ежедневной работой, поглощает более энергии и мысли, но также и потому, что сам досуг отнимается посредством прямого сокращения свободного времени или заботами о своем деле. Понятно, что, чем больше число людей, приобретших при таких условиях богатство или более высокое общественное положение, тем сильнее подстрекает это остальных; устанавливается повышенный уровень деятельности, который постоянно продолжает повышаться.

Общественное одобрение, сопровождающее успех и ставящееся в такого рода обществах наиболее обычным видом одобрения, все более усиливает стимул к деятельности. Борьба становится все более и более упорною; является постоянно возрастающий страх банкротства, страх быть «оставленным» (left), как говорят американцы; многозначительное слово, характеризующее расу, в которой какой-нибудь сильный человек бежит, а другие сильные стараются поспеть за ним, — слово, говорящее о той страстной поспешности, с какой каждый переходит от только что достигнутого успеха к преследованию нового дальнейшего успеха. По контрасту между англичанами нашего времени и тем, чем они были лет сто тому назад, мы можем судить о том, как аналогичные причины вызвали здесь, и даже в значительной степени, аналогичные результаты.

И даже те, которых эта интенсивная борьба из-за богатства и почестей непосредственно не подстрекает, подвергаются косвенному ее влиянию. Ибо один из ее результатов заключается в повышении уровня жизни вообще и, следовательно, в повышении среднего размера общих расходов. Частью для личного удовольствия, но еще более для того, чтобы вызвать удивление других, добившиеся богатства ведут роскошный образ жизни. Чем более увеличивается их число, тем острее становится их соревнование в приобретении того внимания, которое общество посвящает людям, отличающимся расточительностью. Соревнование распространяется все шире и шире книзу, и, наконец, для того, чтобы считаться «респектабельными», люди с относительно небольшими средствами чувствуют себя обязанными увеличить расходы на квартиру, меблировку, платье, стол и должны больше работать, чтобы добыть потребные для этого средства; этот процесс достаточно ясно проявляется у нас; еще яснее он обнаруживается в Америке, где расточительность еще значительнее, чем у нас. Таким образом, оказывается, что, хотя на первый взгляд и представляется несомненным, что упразднение всех политических и социальных преград и открытые для всех поприща деятельности должны приносить одну только выгоду, из этой выгоды подлежит сделать большой вычет. Между людьми, добившимися в более старых обществах трудовой жизнью известного положения, найдутся многие, которые конфиденциально готовы признаться,

«что игра не стоит свеч», и которые, видя, как другие готовятся идти по их стопам, качают головой и говорят: «Если бы они только знали...» Не принимая во всем объеме такой пессимистической оценки успеха, мы должны все же сказать, что обыкновенно стоимость-то свечей и поглощает значительную долю выигрыша в игре. И то, что в таких исключительных случаях происходит у нас, в Англии, проявляется еще чаще в Америке. Доведенная до крайней степени интенсивности жизнь, которая может быть изображена как сумма из трех слагаемых — большого труда, большого барыша, большого расхода, — сопровождается таким быстрым изнашиванием, которое в значительной степени уменьшает в одном направлении то, что приобретает в другом. Все вместе взятое: ежедневное напряжение в течение многих часов тревоги, наполняющие многие другие часы; сознание, занятое чувствованиями безразличными или неприятными, оставляющими сравнительно мало времени для занятия его приятными впечатлениями, — стремятся понизить уровень жизни более, чем он повышается тем удовлетворением, которое вносится успехом и сопряженными с ним выгодами. Так что, может случиться, как оно часто и бывает, что счастье постепенно понижается по мере возрастания благосостояния. Несомненно, что, пока ничто не нарушает порядка, это отсутствие каких бы то ни было политических и социальных ограничений, открывающее свободный простор борьбе за богатство и почести, значительно содействует материальному прогрессу общества — развивает промышленные искусства, расширяет и улучшает организацию промышленности, увеличивает благосостояние, но из этого отнюдь не следует, что оно увеличивает ценность индивидуальной жизни, как она выражается в среднем состоянии ее самочувствия. Что это будет так в будущем — не подлежит сомнению, но относительно настоящего времени оно, по меньшей мере, очень сомнительно.

Дело в том, что общество и его члены находятся в таком состоянии взаимодействия, что, в то время как, с одной стороны, характер общества определяется характерами составляющих его членов, с другой — деятельность его членов (и вместе с теми и их характеры) находится в зависимости от изменяющихся потребностей общества, — перемена в одном влечет за собой изменение другого. Что общественная жизнь в значительной

мере воздействует на волю членов общества, направляя ее соответственно своим целям, — это факт, не подлежащий сомнению. То, что существует в воинствующую стадию жизни, когда социальный агрегат вынуждает входящие в его состав единицы к совместным действиям для общей обороны и жертвует жизнью многих из них для охраны целого, то же самое, только в другой форме, происходит, как нам теперь известно, и в течение промышленной стадии. Хотя кооперация граждан перестала теперь быть принудительной и сделалась добровольной, но социальные силы заставляют их осуществлять социальные цели в то время, как они сами, по-видимому, стремятся только к достижению личных целей. Человек, работающий над новым изобретением и думающий только об обеспечении своего личного благосостояния, в гораздо большей мере служит благосостоянию общества; для примера приведем контраст между состоянием, приобретенным Уаттом, и тем благом, которое доставила человечеству паровая машина. Тот, кто вводит в употребление новый материал, улучшает какое-нибудь производство или совершенствует какую-нибудь отрасль промышленности, делает это с целью опередить своих конкурентов, но его личный выигрыш при этом ничтожен по сравнению с тем, что выигрывает общество вследствие облегчения жизни его членов. Без их ведома или даже вопреки им, Природа заставляет людей из чисто личных мотивов осуществлять ее общие цели, — Природа в смысле одного из наших обозначений конечной причины вещей, и цель, отдаленная, если не непосредственная, в смысле высшей формы человеческой жизни.

Тем не менее никакой аргумент, как бы он ни был убедителен, не может рассчитывать на значительный успех, — разве только повлияет на одного, другого. Как в стадию напряженной милитаристской деятельности невозможно убедить людей, что существует добродетель более высокая, чем избиение врагов, так в эпоху быстрого материального роста, требующего безграничного простора для деятельности каждого члена общества, трудно убедить, что жизнь имеет более высокое назначение, чем работа и накопление богатства. До тех пор, пока в числе наиболее сильных чувств присутствуют стремление к одобрению общества и страх перед его осуждением, пока страстная погоня за общественным положением, путем победы над врагами

или устранения конкурентов, продолжает быть господствующим явлением и, наконец, пока страх перед общественным осуждением сильнее страха перед Божественным правосудием (что доказывается существованием в христианских обществах обычая дуэли), — этот чрезмерный труд, одерживаемый честолюбием, будет, по-видимому, продолжаться с незначительными только изменениями. Страстное преследование почестей, сопряженных с успехом, первоначально на войне, в более позднее время в промышленности, было необходимо для населения Земли более высокими типами людей и для покорения ее поверхности и ее сил потребностям человека. Когда выработка этих потребностей приведет к концу и когда, следовательно, уменьшится простор для удовлетворения честолюбия, это последнее займет, вероятно, со временем менее заметное место среди других мотивов человеческих действий. Те, которые извлекают из учения об эволюции ее очевидные выводы и которые верят, что процесс модификации, приведший жизнь к ее настоящей высоте, должен продолжать вести все выше и выше, легко могут предвидеть, что «последний дефект благородного ума» в ближайшем будущем будет постепенно уменьшаться. Так как сфера стремлений сузится, то и стремление к одобрению потеряет свой преобладающий характер. Одновременно может взять верх более высокий идеал жизни. Когда представление о том, что нравственная красота выше умственной силы, достигнет всеобщего признания, когда желание внушать почтение будет в значительной мере заменено желанием внушать любовь, свойственная нашему тезису цивилизации, погоня за почестями будет значительно ослаблена. Рядом с остальными преимуществами может тогда явиться и рациональное распределение труда и отдыха, и тогда установится и надлежащее равновесие между относительными правами сегодняшнего и завтрашнего дня.

XIV | ПРАВСТВЕННОСТЬ И ПРАВСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА¹

Если писатель, обсуждающий спорные вопросы, будет поднимать все бросающиеся ему перчатки, то полемические статьи отнимут у него слишком много сил. Обладая ограниченной работоспособностью, не позволяющей мне достаточно быстро исполнять взятую на себя задачу, я принял за правило избегать, насколько это возможно, всяких споров, даже рискуя быть ложно истолкованным. Вот почему, когда в апреле 1869 г. м-р Ричард Геттон напечатал в «Macmillan's Magazine» статью под заглавием: «A Questionable Parentage for Morals («Сомнительное происхождение нравственности»), содержащую критику одной из моих доктрин, я решил не оспаривать ее, пока сам ход моей работы не приведет меня к полному изложению этой доктрины, что устранил всякие искажения ее. Мне не приходило в голову, что за это время неверно понятые положения, принимаемые за верные, будут повторяться другими писателями, в силу чего взгляды мои будут считаться не выдерживающими критики. Однако это случилось. Уже не в одном периодическом издании я видел подтверждение того, как м-р Геттон распорядился моей гипотезой. Сэр Леббок, предполагая, что она верно выражена м-ром Геттоном, заявил о своем неполном согласии с нею в своей книге «Origin of Civilisation», что бы, я полагаю, он не сделал, если бы был знаком с моим изложением ее. Также и м-р Миварт в своем недавно вышедшем «Genesis of Species» был введен в заблуждение. А теперь и сэр Александр Грант, следуя по тому же пути, сообщил читателям «Fortnightly Review» еще одно из этих воззрений, лишь отчасти верное. И вот я принужден высказаться хотя бы настолько, чтобы помешать дальнейшему распространению сделанного мне вреда.

Если общая доктрина, касающаяся в высшей степени сложного класса явлений, может быть вполне удовлетворительно

¹ Впервые напечатано в «Fortnightly Review» за апрель 1871 г.

выражена в нескольких строках письма, то незачем было писать книги. В кратком изложении некоторых из моих этических доктрин, помещенных в «Mental and Moral Sciences» профессора Бэна, говорится, что они «до сих пор нигде не выражены со всею полнотою. Они составляют часть более общего учения об эволюции, которое Спенсер в настоящее время разрабатывает, и могут быть только выбраны из разных мест его сочинений. Правда, в своем первом труде „Социальная статика“ он изложил то, что считал тогда довольно полным воззрением на один отдел Нравственности. Но не отказываясь от этого воззрения, он считает его теперь неудовлетворительным, особенно вопрос об его основании».

Однако м-р Геттон, взявший простое изложение одной части этого основания, подвергает ее критике и, за отсутствием всякого объяснения с моей стороны, излагает свои предположения о том, каковы должны быть мои обоснования, и принимается доказывать, что они неудовлетворительны.

Если б в своем беспокойном желании упразднить вредную, по его мнению, доктрину, м-р Геттон не мог дожидаться моего объяснения, то можно было рассчитывать, что он постарается воспользоваться всеми ее данными, относительно доступными ему. Но он не только не искал этих сведений, а каким-то непонятным для меня образом игнорировал и те данные, которые у него были прямо под рукой.

Своей критической статье м-р Геттон дал название: «Сомнительное происхождение нравственности». Он имел полную возможность видеть, что я признаю первичную основу нравственности, совершенно независимую от той, которую он излагает и отвергает. Я не ссылаюсь на тот факт, что, разбирая «Социальную статистику»¹ и высказывая свое положительное разногласие относительно первичной основы, он не мог не знать, что я подтверждаю ее, — не ссылаюсь потому, что он может сказать, что в течение многих прошедших с тех пор лет он все это забыл. Но я ссылаюсь на ясное изложение этой первичной основы в том самом письме к Миллю, из которого он цитирует мои слова. В этом же письме я выяснил, что, принимая утилитаризм в абстракте, я не принимаю того ходячего утилитаризма, кото-

¹ См. «Prospective Review» за январь 1852 г.

рый признает руководящей нитью поведения исключитель-но эмпирические обобщения. Я утверждал, что «так называемая в тесном смысле слова нравственность, наука правильного поведения, имеет целью определить, как и почему одного вида образ действий вреден, а другой — полезен. Хорошие и дурные результаты их не могут быть случайными, но должны быть необходимыми следствиями положения вещей; по-моему, наука о нравственности состоит в том, чтобы из законов жизни и условий существования вывести заключение о том, какого рода действия должны неизменно давать счастье и какого рода действия — несчастье. Раз эти выводы сделаны, они и должны быть признаны законом поведения и с ними следует сообразоваться независимо от непосредственной оценки счастья и несчастья».

Да это и не единственное объяснение того, что я считаю первичной основой нравственности, высказанное в этом письме. Четырьмя строками ниже приводимого м-ром Геттоном отрывка говорится: «Прогресс цивилизации, необходимо состоящий из последовательного ряда компромиссов между старым и новым, требует постоянного обновления и идеалов, и практики в социальном строе, и для этой цели надо постоянно иметь в виду оба элемента компромисса. Если правда, что чистая справедливость предписывает порядок вещей, слишком хороший для людей с их несовершенствами, то не менее правда и то, что обыденная практичность сама по себе не стремится создать лучшего порядка вещей, чем тот, который существует. Она, правда, не допускает, чтобы абсолютная нравственность впадала в утопические нелепости, но зато абсолютная нравственность одна дает стимул для усовершенствования. Допустим, что мы главным образом заинтересованы в знании того, что *относительно справедливо*; все-таки следует сначала рассмотреть, что *абсолютно справедливо*, так как одно понятие предполагает другое».

Не понимаю, как можно было яснее выразить убеждение в существовании первичной основы нравственности, независимой и в некотором смысле предшествующей той, которую создает понятие о полезности; а следовательно, независимой, а в некотором смысле предшествующей тем нравственным чувствам, которые, по моему мнению, порождаются таким опытом. Однако из статьи м-ра Геттона никто не может заключить, что я утверждаю это, не может даже иметь малейшего основания

заподозрить меня в этой мысли. Из ссылок на мои дальнейшие воззрения читатель должен вывести, что я принимаю тот эмпирический утилитаризм, от которого я так настойчиво отказался. И самое заглавие, данное м-ром Геттоном своей статье, ясно намекает на то, что я не признаю иного «происхождения нравственности», помимо накопления и организации того, что дает опыт. Не могу поверить, чтобы м-р Геттон намеренно дал такое неверное представление. Я полагаю, что он был слишком поглощен обдумыванием того положения, которое оспаривал, и не заметил или, по крайней мере, не придавал значения тем положениям, которые сопровождали первое. Но мне жаль, что он не понял, какое он мог сделать мне зло, распространяя это одностороннее показание.

Перехожу теперь к частному вопросу — не о происхождении нравственности, а о происхождении нравственных чувств. М-р Геттон, излагая мой взгляд на эту более специальную доктрину, к сожалению, опять оставил без внимания те данные, которые помогли бы ему составить приблизительно верный очерк моей идеи.

Нельзя допустить, чтоб он не знал об этих данных. Они содержатся в «Principles of Psychology», а м-р Геттон рецензировал эту книгу в ее первом издании¹. В конце ее есть глава о Чувствах, в которой излагается процесс эволюции, вовсе не сходный с тем, на который указывает м-р Геттон. Если б он прочел эту главу, то увидел бы, что его изложение генезиса нравственных чувств от организованных опытов не могло быть моим. Позвольте мне привести отрывок из этой главы:

«Подобное же объяснение применимо и к тем эмоциям, при которых субъект остается совершенно пассивным, как, например, к тому душевному волнению, которое производит в нас прекрасный вид. Мы сейчас покажем, что те обширные агрегаты чувств и идей, которые возбуждаются в нас непосредственно каким-либо величественным видом природы или вызываются им более или менее косвенным образом, также представляют результат постоянного совокупления все более и более сложных групп ощущений и идей. Дитя, попавшее в горы, остается

¹ Его критику можно найти в «National Review» за январь 1856 г. под заглавием «Atheism» («Атеизм»).

совершенно бесчувственным к их красотам, но оно очень сильно наслаждается той сравнительно незначительной группой атрибутов и отношений, которые представляет ему игрушка. Дети могут также оценить и более сложные отношения, представляющие хорошо им знакомые предметы и местности, каковы сад, поле, улица; все эти предметы способны трогать их и производить в них приятное волнение. Но только в юности и в зрелом возрасте, т.е. только тогда, когда индивидуальные предметы и мелкие группы их стали вполне знакомы нам и познаются нами чисто автоматически, могут быть схвачены нами надлежащим образом те обширные группы предметов и явлений, которые представляют нам живописные и величественные ландшафты, и только тогда могут быть испытываемы нами те в высшей степени интегрированные состояния сознания, которые производятся ими в нашей душе. Однако тогда разнообразные, более мелкие группы психических состояний, возбуждавшихся в нас в прежнее время и при различных случаях видом деревьев и цветов полей, болот и скалистых пустынь, потоков, водопадов, обрывов и пропастей, голубых небес, облаков и бурь, возникают в нас вместе. Рядом с непосредственными ощущениями в нас возникают в некоторой, более слабой, степени целые мириады ощущений, получавшихся нами от предметов, сходных с теми, которые представляются нам в данную минуту; затем в нас возбуждается также отчасти множество случайных чувств, испытанных нами при этих прошедших случаях; наконец, в нас возбуждаются также еще более глубокие, хотя и теперь смутные, комбинации психических состояний, сложившиеся органически в нашей расе в течение эпохи варварства, когда наибольшая часть приятных деятельностей испытывалась в лесах и в водах. И вот из всех этих возбуждений, из которых большая часть есть возрождение прежних, и слагается то душевное волнение, которое производит в нас какой-либо прекрасный ландшафт».

Вполне очевидно, что указанные здесь процессы — интеллектуальные процессы — не те процессы, в которых признанные отношения между удовольствиями и их прецедентами или разумные приспособления средств к целям составляют доминирующие элементы. Состояние ума, производимое агрегатом живописных предметов, не то, которое может быть разлагаемо на логические предложения. Чувство не заключает в себе

никакого сознания причин счастья и его последствий. Пробуждаемые чувством слабые и смутные воспоминания о других прекрасных местностях и приятных днях пробуждаются не в силу рациональной координации идей, образовавшихся в минувшие года. Но м-р Геттон предполагает, что, говоря о генезисе нравственных чувств как о результате унаследованных опытов удовольствий и страданий, причиняемых теми или другими видами поведения, я говорю о продуманных опытах, — опытах, сознательно накапливаемых и обобщаемых. Он упускает из виду тот факт, что генезис эмоций тем и отличается от генезиса идей, что последние состоят из простых элементов, находящихся в определенных отношениях, а в случаях общих идей — и в отношениях постоянных, между тем как эмоции состоят из чрезвычайно сложных скоплений элементов, которые никогда не бывают и двух раз совершенно одинаковыми и никогда не находятся даже двух раз в совершенно одинаковых отношениях между собою. Разница в происходящих из этого видов сознания следующая: — в генезисе идей следующие один за другим опыты, будут ли это звуковые, цветовые, осязательные или вкусовые опыты, или они будут относиться к специальным объектам, которые представляют собою комбинации многих из этих элементов в группы, эти опыты, говорю я, имеют между собою столько общего, что о каждом из них, когда он имеет место, можно определенно мыслить как о сходном с предшествующим. Но в генезисе эмоций последовательные опыты настолько отличаются друг от друга, что каждый из них, когда имеет место, внушает (*suggest*) мысль о прошедших опытах, неспецифично одинаковых с ним, но имеющих лишь общее сходство, а в то же время внушает воспоминание о благах или бедах в минувшем опыте, которые также разнообразны со стороны своей специальной природы, хотя представляют некоторую общность по своей общей природе. Отсюда вытекает то, что пробужденное сознание есть многочленное смутное сознание, в котором, наряду с известного рода комбинацией впечатлений, получаемых извне, существует туманное облако сродных им идеальных комбинаций и столь же туманная масса идеальных чувствований удовольствия или страдания, которые связывались с этими комбинациями. Мы имеем много доказательств, что чувства растут без отношения к признанным причинам и послед-

ствиям, и сам обладатель чувств не может сказать, почему они растут, хотя анализ тем не менее показал, что они образовались из сочетанных опытов. Знакомый всем факт, что варенье, которое дают ребенку после лекарства, может сделаться, благодаря простой ассоциации чувств, настолько противным, что впоследствии взрослый не в состоянии переносить его, ясно иллюстрирует, каким образом могут устанавливаться отвращения в силу обычной ассоциации ощущений, без всякой веры в причинную связь, или, лучше сказать, несмотря на знание, что нет причинной связи. То же можно сказать и о приятных эмоциях. Карканье грачей само по себе нельзя назвать приятным звуком; с музыкальной стороны оно даже неприятно. Но оно обыкновенно вызывает в людях приятные чувства; эти чувства большинство приписывает качеству самого звука. Лишь немногие склонные к самоанализу люди понимают, что карканье грачей приятно потому, что связано в минувшем с бесчисленными и величайшими удовольствиями: с собиранием полевых цветов в детстве, с послеобеденными экскурсиями в школьном возрасте, с летними каникулами, когда книги бросаются в сторону и уроки заменяются играми и похождениями в полях; со свежими солнечными утрами в последующие годы жизни, когда далекая прогулка представляет громадное облегчение после дня, полного труда. И этот звук хотя и не имеет причинного отношения ко всем этим минувшим радостям, но только часто связывается с ними, всегда пробуждает в нас смутное сознание этих радостей, подобно тому как голос старого друга, неожиданно вошедшего в наш дом, всегда поднимает внезапную волну того чувства, которое явилось результатом прошлой дружбы. Желая понять генезис эмоций в отдельном ли лице или в расе, мы должны принять в расчет этот в высшей степени важный процесс. М-р Геттон, очевидно, просмотрел его и не вспомнил, что я в своих «Основаниях психологии» настоятельно указываю на этот процесс. По описанию Геттона, моя гипотеза состоит в том, что известное чувство есть результат сплочения умственных заключений! Он говорит обо мне как о человеке, который думает, что «все, что кажется нам теперь «необходимыми» интуициями и «априорными» предположениями о свойствах человеческой природы, при научном анализе окажется не чем иным, как однородным конгломератом лучших наблюдений и наипо-

лезнейших эмпирических правил наших предков. По мнению Геттона, я думаю, что люди в давно прошедшие времена *увидели*, что правдивость полезна, а «привычка поощрять правдивость и верность своим обещаниям, развивавшаяся вначале на почве пользы, так укоренилась, что утилитарная почва была забыта, и теперь *мы* перешли к вере в то, что правдивость и верность обещаниям происходят от унаследованных стремлений к пользе». И везде м-р Геттон так употребляет и объясняет слово «полезность», что выходит, будто я хочу сказать, что нравственное чувство образуется из *сознательных обобщений* относительно того, что полезно и что вредно. Если б я держался такой гипотезы, то его критика была бы верна по существу, но так как моя гипотеза не такова, то она падает сама собой. Те опыты полезности, на которые я ссылаюсь, зарегистрированы не как признанная связь между известными видами действий и известными видами отдаленных результатов; я ссылаюсь на те, которые принимаются в виде ассоциаций между группами чувств, часто повторяющихся вместе, хотя связь между ними не была сознательно обобщенной, — ассоциаций, происхождение которых так же мало прослежено, как и происхождение удовольствия, доставляемого карканьем грачей, но которые тем не менее возникли в течение ежедневного общения с вещами и служат или побудительным, или отталкивающим фактором.

В том отрывке из моего письма к Миллю, которое приводится м-ром Геттоном, я указал на аналогию, существующую между этими действиями эмоциональных опытов, из которых, по моему взгляду, развились нравственные чувства, и теми действиями интеллектуальных опытов, из которых, по моему мнению, развились пространственные интуиции. Справедливо полагая, что первая из данных гипотез не может устоять, если ложность последней доказана, м-р Геттон часть своих нападок направил на последнюю. Но разве не лучше было бы, прежде чем критиковать, справиться с «Основаниями психологии», где я изложил подробно эту последнюю гипотезу? Не лучше ли было бы дать краткое описание данного процесса, сделанное мною, а не заменять его тем описанием, которое, *по его мнению*, я должен был сделать. Каждый, кто прочтет из «Оснований психологии» две главы «Восприятие тела с его статическими свойствами» и «Восприятие пространства», поймет, что сообщение

м-ра Геттона о том, как я смотрю на этот предмет, не дает ни малейшего понятия о высказанном мною и, быть может, не будет тогда улыбаться, как, вероятно, он улыбался, читая критику м-ра Геттона. Здесь я могу только таким образом намекнуть на несостоятельность тех аргументов м-ра Геттона, которые вытекают из этого неправильного толкования. Страницы, потребные для полного объяснения той доктрины, что пространственные интуиции суть результат организованных опытов, лучше употребить на то, чтоб объяснить стоящую перед нами аналогичную доктрину. Это я попытаюсь теперь сделать не прямым исправлением неверного толкования, а изложением, которое будет настолько кратким, насколько дозволит крайне запутанная природа самого процесса.

Грудной младенец, который уже настолько развился, что смутно различает окружающие его предметы, улыбается в ответ смеющемуся лицу и нежному, ласкающему голосу матери. Пусть теперь кто-нибудь, сделав сердитое лицо, заговорит с ним громким, грубым голосом. Улыбка исчезает, черты лица выражают страдание, и ребенок, начиная плакать, отворачивает голову и делает возможные для него движения, чтоб убежать. Что означают эти факты? Почему нахмуренное лицо не вызывает улыбки, а смех матери не вызывает слез у ребенка? Существует лишь один ответ. Уже в его развивающемся мозге действуют такие аппараты, через посредство которых одна группа зрительных и слуховых впечатлений возбуждает приятные чувствования, и другие аппараты, через посредство которых другая группа зрительных и слуховых впечатлений возбуждает мучительные чувствования. Отношения между свирепым выражением лица и страданиями, могущими следовать за восприятием этого выражения, столь же мало известны сознанию ребенка, как мало известно молодой птице, только что покинувшей свое гнездо, отношение между возможностью смерти и видом приближающегося к ней человека; и, конечно, в том или другом случае ощущаемая тревога зависит от полуустановившегося нервного аппарата. Почему этот полуустановившийся нервный аппарат обнаруживает свое присутствие у человеческих существ уже в такую раннюю пору? Просто потому, что в прошедшей опытности рас улыбки и ласковые тоны голоса у окружающих были обычными спутниками приятных чувствований,

а страдания разного вида, непосредственные и более или менее отдаленные, постоянно ассоциировались с впечатлениями, получаемыми от нахмуренных бровей, стиснутых зубов и грубого голоса. Но чтоб найти начало этой связи, мы должны спуститься гораздо глубже, чем история человеческого рода. Внешние признаки звука, возбуждающие в ребенке неопределенный страх, указывают на опасность, но указывают потому, что они — физиологические спутники разрушительного действия; некоторые из них общи человеку и низшим млекопитающим, а потому и понимаются животными, как доказывает нам каждый щенок. То, что мы называем естественным языком гнева, происходит от сокращения тех мускулов, которые стали бы сокращаться и при действительной борьбе; все признаки раздражения, вплоть до мимолетной тени на лбу, являющейся признаком легкой досады, суть зачаточные степени тех же самых сокращений. Обратное можно сказать об естественном языке удовольствия и о том состоянии ума, которое мы называем чувством симпатии; этот язык имеет также физиологическое объяснение¹.

Перейдем теперь от грудного младенца к детям в детской. Какую помощь оказали опыты каждого из них тому эмоциональному развитию, которое мы рассматриваем? По мере того как члены их становились проворнее от упражнения, а искусство рук увеличивалось от практики, восприятия предметов делались, в силу постоянной работы в этом направлении, более быстрыми, более точными и более широкими; ассоциации между этими группами впечатлений, получаемых от окружающих людей, и удовольствия или страдания, сопровождавшие их или следовавшие за ними, также усиливались вследствие частого повторения, и их взаимное приспособление становилось лучше. Смутное чувство страдания и радости, ощущаемое грудным младенцем, приняло у более взрослого дитяти более определенные формы. Гневный голос няньки возбуждает уже не одно только бесформенное чувство страха, но также и специфическую идею о шлепке, который может последовать за таким голосом. Хмурое лицо более взрослого брата вместе с первич-

¹ Я надеюсь впоследствии выяснить подробнее эти выражения. В настоящее время я могу сослаться только на те указания, которые находятся в двух опытах, — «Физиология смеха» («The Physiology of Laughter») и «Происхождение и деятельность музыки».

ным, неопределенным чувством беды возбуждает еще чувство таких бед, которые отчетливо представляются в виде толчков, тумачков, дерганья за волосы и отнятия игрушек. Лица родителей, то ясные, то мрачные, ассоциировались с многочисленными формами удовольствия и многочисленными формами неудобства или лишения.

Вследствие этого те внешние знаки и звуки, по которым можно заключить о дружелюбии или враждебности окружающих, становятся символом счастья или несчастья; так что восприятие той или другой из этих групп почти не может иметь места без того, чтобы не вызвать волны приятного или неприятного чувствования. Главная масса этой волны сохраняет, в сущности, ту же самую природу, какую имела вначале; ибо хотя в каждом из этих многочисленных опытов специальная группа лицевых и голосовых признаков и связывалась со специальной группой удовольствий или страданий, однако же, в силу того что эти удовольствия и страдания представляли громадное разнообразие видов и комбинаций и что предшествующие им признаки не бывали сходны между собою даже в двух каких-нибудь случаях, то в результате выходит, что производимое сознание остается даже до конца столь же смутным, как и широким. Тысячи не вполне пробудившихся идей, представляющих результаты прошлых опытов, скопляются в общую груду и ложатся одна на другую, образуя агрегат, в котором ничего нельзя ясно различить, но общий характер которого бывает или приятный, или тяжелый, смотря по природе его первоначальных составных элементов; причем главное различие между этим развившимся чувством и чувством, пробудившимся в грудном младенце, состоит в том, что теперь на ярком или мрачном фоне, образующем главную его массу, могут обрисоваться в мысли особенные удовольствия и страдания, на которые данные обстоятельства указывают как на вероятные.

Каково должно быть действие этого процесса при условиях первобытной жизни? Эмоции, доставляемые молодому дикарю естественным языком любви и ненависти в его племени, приобретают сперва частную определенность, относящуюся к его сношениям с его семейством и с товарищами его детских игр; испытывания его полезности научают его — поскольку дело касается достижения его собственных целей — избегать

таких действий, которые вызывают у других проявления гнева, и избирать тот образ действий, который вызывает проявления удовольствия. Не то чтобы он делал в это время сознательные обобщения: в этом возрасте — да, вероятно, и ни в каком другом — он не формулирует своих опытов в тот общий принцип, что для него хорошо делать такие вещи, которые заставляют других улыбаться, и избегать таких вещей, которые заставляют хмуриться. Происходит здесь следующее: унаследовав указанную выше путем связь между восприятием гнева у других и чувством страха и заметив, что некоторые из его поступков навлекают на него этот гнев, он не может впоследствии подумать о совершении какого-либо из этих поступков, чтоб не подумать одновременно и о гневе, который этот поступок вызовет, и не ощутить в большей или меньшей степени страх, который вызывается гневом других. Он не думает о том, полезно или бесполезно само действие; и мотив, отвращающий его от этого действия, — преимущественно смутный, но отчасти определенный страх перед той бедой, которая может затем последовать. Понимаемая в этом смысле эмоция, отвращающая дикаря от совершения того или другого поступка, развилась из испытываний полезности, употребляя слово полезность в его этическом смысле; и если спросить себя, чем вызывается этот пугающий гнев у других, то обыкновенно оказывается, что запрещенное действие причиняет кому-нибудь вред, т.е. отрицается пользой. Переходя от семейных правил к правилам поведения, господствующим в данном племени, мы видим не менее ясно, каким образом эмоции, вызываемые одобрением и порицанием, вступают в связь, благодаря опыту, с действиями, полезными для племени, и с действиями, вредными для него; и каким образом впоследствии слагаются стремления к одному классу действий и предубеждения против другого. Еще мальчиком дикарь слышит рассказ об отважных подвигах своего вождя, слышит хвалы в его честь, видит лица, сияющие восторгом при этих рассказах. Время от времени он слышит и рассказ о чьем-нибудь трусливом поступке, сопровождаемый презрительными метафорами; он видит, что человека, подозреваемого в трусости, встречают всюду оскорблениями и издевательствами; т.е. храбрость прочно ассоциируется в его душе с улыбающимися лицами, символами удовольствия вообще, а трусость ассоциируется

в его уме с нахмуренным лбом и другими знаками враждебности, которые для него символизируют несчастье. Эти чувствования сложились у него не потому, чтоб он додумался до той истины, что мужество полезно для племени и, следовательно, для него самого; или до той истины, что трусость есть причина несчастья. В зрелом возрасте он, может быть, и поймет, но, наверно, не понимает этого в то время, когда мужество ассоциируется в его сознании со всем хорошим, а трусость со всем дурным. Точно так же в нем вырабатываются чувства склонности или отвращения к другим видам поведения, которые установлены или запрещены в его племени за то, что они полезны или вредны для племени, хотя при этом ни юноша, ни взрослый не знают, почему они установлены или почему они запрещены. Например, считается похвальным поступком украсть жену и непохвальным — жениться на женщине из своего племени.

Мы можем подняться теперь на одну ступень выше и рассмотреть мотивы побудительные и удерживающие, происходящие от тех, которые только что рассмотрены нами. Существует первобытное верование, что каждый умерший становится демоном, который часто находится где-нибудь поблизости и может вернуться в каждый момент, чтобы помогать или вредить, и которого надо постоянно умилостивлять. Вследствие этого в числе других лиц, одобрения и порицания которых рассматриваются дикарем как последствия его поступков, находятся и духи его предков. Ему, еще ребенку, говорят об их делах то ликующим тоном, то шепотом, полным ужаса и отвращения, и мало-помалу он проникается верою в то, что они могут причинить какое-то смутно представляемое им, но страшное зло или принести ему какую-либо великую помощь; эта вера служит могущественным побудительным или задерживающим мотивом для его действий. В особенности это случается, когда рассказывается о вожде, отличившемся силой, свирепостью и той настойчивостью в мщении врагам, которое опыт научил дикаря считать добродетелью, полезною для племени. Сознание, что такой вождь, предмет ужаса для соседних племен и даже для соплеменников, может явиться вновь и наказать тех, кто пренебрегает его повелениями, становится могущественным мотивом. Но, во-первых, ясно, что воображаемый гнев и воображаемое одобрение этого обоготворенного вождя просто

преображенные формы гнева и удовольствия, обнаруживаемого окружающими людьми, и что чувствования, сопровождающие эти воображаемые гнев и удовольствие, коренятся в опытах, которые с проявлениями гнева со стороны других людей ассоциировали неприятные для себя результаты, а с выражением удовольствия — приятные. Во-вторых, ясно, что запрещаемые и поощряемые таким образом действия должны быть большею частью действиями в первом случае пагубными, во втором — полезными для племени; так как пользующийся постоянным успехом вождь — лучший судья того, что нужно для племени, и принимает близко к сердцу его благо. Потому и в основании его повелений лежат его опыты полезности, сознательно или бессознательно организовавшиеся; и чувства, побуждающие других к повиновению, относятся тоже, хотя очень косвенным образом и без ведома тех, кто повинуется к опытам полезности.

Трансформированная форма сдерживающего мотива, мало отличающаяся вначале от первоначальной формы, весьма способна к дифференциации. Накопление преданий, величие которых растет по мере передачи их от поколения к поколению, придает все более и более сверхчеловеческий характер первому герою расы. Проявления его могущества и власти карать и благодетельствовать становятся все многочисленнее, все разнообразнее, так что страх Божественного гнева и желание заслужить Божественное одобрение приобретают некоторую широту и общность. Но понятия все же остаются антропоморфными. Человек продолжает мыслить о мстительном божестве с точки зрения человеческих эмоций и представляет его себе проявляющим эти эмоции такими же способами, как и человек. Сверх того, чувства справедливости и долга, насколько они развиты в это время, сводятся преимущественно к Божественным запрещениям и повелениям и имеют мало отношений к самому существу заповеданных или запрещенных действий. Принесение в жертву Исаака, жертвоприношение дочери Иевфая, изрубленный на части Агаг* и бесчисленные другие жестокости, совершаемые во имя религиозных мотивов различными первобытными историческими расами, как и существующими в наше время дикими расами, показывают нам, что нравственность и безнравственность поступков, с нашей точки зрения, были сначала мало известны и чувства, заменявшие их, были

преимущественно чувствами страха перед невидимыми существами, от которых исходили повеления и запрещения.

Здесь могут заметить, что эти чувства нельзя назвать нравственными чувствами в точном смысле слова. Это просто чувствования, предшествующие или делающие возможными высшие чувства, которым нет дела до того, какого личного блага или зла можно ждать от людей, нет дела до более отдаленных наград или наказаний. На это замечание можно сделать несколько возражений. Первое: что, оглядываясь назад на прошлые верования и соответствующие им чувствования, как они проявляются в поэме Данте, в средневековых мистериях, в Варфоломеевской резне, в сжиганиях еретиков, мы видим доказательства того, что в сравнительно новейшее время слова хорошо (right) и дурно (wrong) значили немного более, чем повиновение или неповиновение прежде всего Божественному Правителю, а затем стоящему под ним правителю человеческому. Второе: что даже и в наше время это понятие широко распространено и даже воплощается в ученых этических сочинениях, как, например, «Essays on the Principles of Morality» («Опыт оснований нравственности») Джонатана Даймонда, не признающего иных основ нравственной обязательности, кроме воли Бога, выраженной в исповедуемой ныне вере. Слыша, как в проповедях мучения грешников и радости праведников выставляются как главные побудительные и сдерживающие мотивы нашего поведения, читая письменные наставления, как сделать, чтобы хорошо прожить и на этом, и в будущем свете (to make the best of both worlds), нельзя отрицать, что чувства, побуждающие и сдерживающие людей, и теперь в значительной мере состоят из тех же элементов, которые влияют на дикаря; т.е. страха отчасти неопределенного, отчасти специфического, соединенного с идеей порицания Божеского и человеческого, и чувства удовлетворения отчасти неопределенного, отчасти специфического, соединенного с идеей одобрения Божеского и человеческого.

Но с ростом цивилизации, сделавшейся возможной только благодаря этим эгоальтруистическим чувствованиям, медленно развивались чувства альтруистические. Развитие этих последних шло только по мере того, как общество подвигалось к тому состоянию, в котором деятельности приобретают преимущественно мирный характер. Все альтруистические чувства коренятся

в сочувствии или в симпатии, а симпатия могла сделаться доминирующим началом лишь тогда, когда образ жизни изменился в том смысле, что вместо того, чтобы наносить обычное прямое страдание, жизнь стала давать прямое и косвенное удовлетворение: наносимые страдания приняли лишь случайный характер. Адам Смит сделал большой шаг по направлению к этой истине, признавши симпатию за основу этих верховных контролирующих эмоций. Впрочем, его «Теория нравственных чувств» («Theory of Moral Sentiments») требует двойного дополнения.

Во-первых, требуется объяснить тот естественный процесс, посредством которого симпатия развивалась во все более и более важный элемент человеческой природы; во-вторых, объяснить тот процесс, посредством которого симпатия производит самое высокое и самое сложное из альтруистических чувств — чувство справедливости.

Относительно первого процесса я могу только сказать, что существуют и индуктивные, и дедуктивные доказательства того, что всякая симпатия есть спутник стадности, и они усиливают одна другую. Все существа, пища которых и условия ее добывания делают ассоциацию возможной, размножаясь, неизбежно стремятся вступить в более или менее тесную ассоциацию. Установленные физиологические законы ручаются нам за то, что неизбежным результатом привычного обнаружения чувствований в присутствии друг друга является симпатия и что стадность, увеличиваясь от усиления симпатии, в свою очередь, облегчает развитие симпатии. Но этому развитию ставятся препятствия и отрицательные и положительные: отрицательные потому, что развитие симпатии не может идти быстрее, чем развитие ума, так как оно предполагает способность понимать естественный язык различных чувствований и мысленно воспроизводить эти чувства; положительные — потому что непосредственные потребности самосохранения часто стоят в противоречии с тем, что подсказывает чувство симпатии, как это бывает во время хищнических стадий человеческого прогресса. За объяснениями второго процесса я должен отослать читателя к «Психологии» и «Социальной статике», часть II, глава V¹.

¹ Могу прибавить, что в «Социальной статике» (глава XXX) я указал общие причины развития симпатии и условия, задерживающие ее

За отсутствием места я здесь покажу только, каким образом даже симпатия и происходящие от нее чувства берут начало из опытов полезности. Если мы предположим, что всякая мысль о наградах и наказаниях, непосредственно следующих или отдаленных, оставляется в стороне, то ясно, что человек, который не решается причинить страдание потому только, что в его сознании возникает яркое представление об этом страдании, сдерживается не чувством какого-нибудь долга или какой-нибудь определенной доктрины о полезности, но мучительной ассоциацией, установившейся в нем. Ясно, что если после повторных опытов нравственного беспокойства, испытанного им при виде несчастья, причиненного косвенно каким-либо его действием, он будет противиться искушению вновь повторить такое действие, то это воздержание от поступка принадлежит к той же категории. То же самое, только в обратном смысле, можно сказать и о действиях, доставляющих удовольствие; повторение добрых дел и последующие за ними опыты сочувственного удовлетворения (*gratification*) ведут всегда к усилению ассоциации между добрыми делами и сопровождающим их чувством счастья.

Под конец эти опыты могут подвергнуться сознательному обобщению, и в результате может явиться обдуманная погоня за сочувственным удовлетворением. Может также явиться отчетливое сознание и признание тех истин, что более отдаленные результаты доброго и злого поведения бывают полезны и вредны, — что должное уважение к другим ведет в конце концов к личному благополучию, а невнимательное отношение к другим — к личному горю; и тогда, как суммирование опытов, является поговорка: «Честность — лучшая политика» (*honesty is the best policy*). Но я далек от мысли, что такое умственное признание полезности предшествует и служит причиной нравственных чувств. Я думаю, что нравственное чувство предшествует такому признанию полезности и делает его возможным. Удовольствия и неприятности, вытекающие из сочувственных и несочувственных действий, должны сначала медленно ассоциироваться с такими действиями, а вытекающие из этого побудительные и задерживающие мотивы должны долго управлять нами, прежде

развитие, но ограничился при обсуждении этого вопроса одной человеческой расой, как того и требовала задача моего труда.

чем может пробудиться представление о том, что сочувственные и несочувственные действия могут быть впоследствии полезны или вредны для того, кто совершает их; а эти мотивы требуют еще более продолжительного подчинения себе, прежде чем явится сознание, что эти действия полезны и вредны в общественном отношении. Когда же отдаленные результаты, личные и общественные, уже получили всеобщее признание, когда они выражаются в ходячих поговорках и когда порождают повеления, облеченные религиозной санкцией, тогда чувства, побуждающие к сочувственным и удерживающие от несочувственных поступков, приобретают огромную силу от этого союза. Одобрение и порицание, Божеское и человеческое, ассоциируются в мысли с сочувственными и несочувственными действиями. Требования религии, кара, налагаемая законом, и кодекс общественного поведения — все соединяется, чтоб усилить влечение к сочувственным действиям; каждый ребенок, вырастая, ежедневно, из слов, из выражений лица и голоса окружающих людей получает сознание необходимости подчиняться этим наивысшим принципам поведения. Теперь мы можем понять и то, почему возникает вера в специальную святость этих наивысших принципов и сознание верховной власти соответствующих им альтруистических чувств. Многие из тех действий, которые на ранних стадиях общественности получили религиозную санкцию и приобрели одобрение общества, имели ту невыгоду, что оскорбляли существовавшие тогда симпатии; отсюда происходило неполное удовлетворение, даваемое ими. Между тем как альтруистические действия, также получившие религиозную санкцию и одобрение общества, вносят сочувственное сознание доставленного удовольствия или предотвращенного страдания; кроме того, они вносят сочувственное сознание, что такие альтруистические действия, становясь обычными, должны способствовать человеческому благополучию вообще. И это специальное, и это общее сочувственное сознание становится сильнее и шире по мере того, как развивается способность к умственному воспроизведению, и по мере того, как представления о близких и отдаленных последствиях становятся все более и более яркими и обширными. Наконец, эти альтруистические чувства начинают подвергаться критике те авторитеты тех эгоальтруистических чувств, которые некогда бесконтрольно управляли человеческими поступками.

Они побуждают к неповиновению тем законам, которые не воплощают собою идеи о справедливости, дают людям смелость идти наперекор старым обычаям, признаваемым ими вредными для общества, и не бояться гнева своих собратий; приводят даже к расколу в религии или к неверию в те божественные атрибуты и действия, которые не одобряются этим верховным нравственным судьей, и, наконец, даже к отрицанию той веры, которая приписывает божеству такие атрибуты и действия.

То многое, что остается сказать для полного уяснения моей гипотезы, я оставляю до окончания второго тома «Оснований психологии», где я намерен изложить ее подробно. То, что сказано мною здесь, достаточно выясняет, что сделаны две фундаментальные ошибки в толковании ее. Слова «полезность» и «опыт» поняты были в слишком узком смысле. Хотя слово «полезность» очень удобно по своей обширности, но ведет к очень неудобным и неверным заключениям. Оно вызывает в уме яркое представление о пользовании, о средствах, о ближайших целях, но очень неясное представление об отрицательных или положительных удовольствиях, которые составляют конечную цель и которые в этическом смысле слова одни принимаются во внимание.

Далее, под этим словом подразумевается сознательное изыскание средств и целей, — подразумевается обдуманый образ действий с целью достичь намеченной выгоды. То же можно сказать и об опыте. Принятое в обычном значении, оно включает в себе определенные восприятия причин и последствий, стоящих в наблюдаемых отношениях; оно не означает той связи, которая образуется между состояниями, совместно повторяющимися, когда отношение между ними, будь оно причинное или какое-нибудь иное, ускользает от непосредственного наблюдения. Но я обыкновенно употребляю эти слова в их самом широком смысле, что будет очевидно для каждого читателя «Оснований психологии», и в этом же широком смысле я употребил их в письме к Миллю. Я полагаю, что из вышесказанного ясно, что при таком понимании этих слов моя гипотеза, коротко изложенная в этом письме, не так уж безнадежна, как предполагают. Во всяком случае, я доказал то, что для меня казалось необходимым в настоящее время доказать, — что толкование моих мыслей, сделанные м-ром Геттоном, не должны считаться правильными.

XV | ПОЛЬЗА И КРАСОТА¹

Эмерсон в одном из своих опытов замечает, что то, что природа в одно время производит для пользы, она обращает впоследствии в предмет украшения, и в доказательство этого положения приводит устройство морской раковины, у которой части, служащие одно время вместо рта, в дальнейшем периоде ее развития остаются позади и принимают форму красивых бугорков и рубчиков.

Оставляя здесь без внимания телеологию, которая здесь и не уместна, мне часто приходила мысль, что то же самое замечание может быть распространено и на развитие человечества. Здесь также предмет пользы одной эпохи становится предметом украшения для последующей. В области учреждений, верований, обычаев и предрассудков мы точно так же можем указать на это развитие прекрасного из того, что прежде составляло исключительно предмет пользы.

Прежде всего нам, естественно, представляется контраст между ощущением, с которым мы смотрим на необработанные участки земли, и ощущением, с которым смотрел на них дикарь. Если кто-нибудь, гуляя по *Hampstead Heath*, обратит внимание на то, как резко бросается в глаза живописность этой Пустоши, вследствие контраста с окружающими ее обработанными полями и с множеством домов, расположенных в отдалении, то он легко представит себе, что, если б это беспорядочное, покрытое бурьяном пространство тянулось до линии горизонта, оно скорее показалось бы печальным и прозаичным, нежели приятным; он поймет, что подобная местность вовсе не представляла никакой красоты для первобытного человека. Для него она просто была жилищем диких животных и почвой, из которой он мог добывать себе корни. То, что для нас сделалось местом отдыха и наслаждения, местом послеобеденных прогулок и собирания цветов, было для него местом труда и добывания пищи, которое, вероятно, пробуждало в уме его только одно понятие о пользе.

¹ Впервые напечатано в «Leader» от 3 января 1852 г.

Развалины замков представляют очевидный пример этого превращения полезного в прекрасное. Для феодальных баронов и их ленников безопасность была главной, если не единственной, целью, которую они имели в виду при выборе местоположения и стиля замков. Они, вероятно, столько же заботились о красоте построек, сколько заботятся о ней строители дешевых каменных домов в наших новейших городах. А между тем то, что прежде воздвигнуто было для защиты и безопасности и имело важное значение в общественной экономике, приняло теперь характер простого украшения. Замки эти служат теперь декорациями для пикников; изображения их украшают наши гостиные, и каждый из них снабжает окружающую местность легендами для святочных рассказов.

Следуя этим путем размышлений, мы находим, что не только вещественные остатки отживших обществ делаются украшением наших пейзажей, но и описания костюмов, нравов и общего домашнего строя древности служат украшением нашей литературы. Тирания была тяжелой и гнетущей действительностью для рабов, страдавших от нее; вооруженные раздоры были весьма реальным делом жизни и смерти для тех, кто участвовал в них; палисады, рвы и караулы наводили скуку на рыцарей, которых они защищали; заточения, пытки и средства спасения от всего этого представляли суровую и вполне прозаическую действительность для тех, кто подвергался им; а нам все это послужило материалом для романтических повестей, материалом, который, будучи вплетен в «Айвенго» и «Мармиону»*, служит усладой в часы досуга и становится поэтическим вследствие контраста с нашей повседневной жизнью.

Совершенно то же бывает и с отжившими верованиями. Глыбы камня, которые, как храм, в руках жрецов (друидов) имели некогда правительственное значение, стали в настоящее время служить предметом антикварных поисков; а сами жрецы сделались героями опер. Изваяния греков, которые за красоту свою сохраняются в наших художественных галереях и снимки с которых служат украшением общественных мест и входов в наши залы, некогда считались за божества, требовавшие повиновения; подобную же роль играли некогда и те чудовищные идолы, которые теперь забавляют посетителей наших музеев.

Подобная же перемена значения замечается и в отношении более мелких суеверий. Волшебство, которое в прошедшие времена было предметом глубокого верования и имело влияние на народную нравственность, сделалось впоследствии материалом для украшений «Сна в летнюю ночь», «Бури», «Волшебной королевы» и множества других мелких рассказов и поэм; оно даже и до сих пор представляет сюжеты для детских сказок, балетов и завязка в комических сочинениях Планше (Planche). Подземные духи, гении и чудовища не страшат уже нас и сделались предметом остроумных гравюр в иллюстрированном издании «Арабских ночей». Между тем повести о привидениях и рассказы о волшебстве и чародействе, забавляя детей в часы досуга, в то же время дают повод к шуточным намекам, оживляющим наш разговор за чайным столом.

Даже наша серьезная литература и наши парламентские речи нередко пользуются украшениями, взятыми из подобных источников. Чтобы избежать монотонности при изложении какой-нибудь серьезной аргументации, часто приводится в параллель греческий миф. Профессор прерывает мертвенное однообразие своей практической речи объяснениями, взятыми из древних обычаев, происшествий или верований. Подобные же метафоры придают блеск политическим рассуждениям и передовым статьям «Times».

Мне кажется, что внимательное исследование показало бы, что мы обращаем в предметы украшений большей частью те явления прошедшего, которые наиболее замечательны. Бюсты великих людей, стоящие в наших библиотеках, и их гробницы — в наших церквях; предметы, некогда бывшие полезными, а теперь сделавшиеся геральдическим символом; монахи, монахини и монастыри, украшающие известного рода рассказы; средневековые воины, вылитые из бронзы и украшающие наши гостиные; золотой Аполлон на столовых часах; повествования, служащие завязкой для наших великих драм, и происшествия, дающие сюжеты для исторической живописи, — эти и еще другие примеры превращения полезного в прекрасное так многочисленны, если только поискать их, что положительно убеждают нас, что почти каждый в каком-либо отношении замечательный продукт прошедшего принимал декоративный характер.

При разговоре здесь об исторической живописи мне пришло в голову, что из этих соображений можно сделать некоторый вывод относительно выбора сюжетов в этом искусстве. В последние годы часто порицали наших исторических живописцев за то, что они выбирали свои сюжеты из истории прошедших времен; говорили, что они положили бы начало оригинальной и жизненной школе, если бы передавали на холсте жизнь, дела и стремления своего времени. Но если предыдущие факты имеют какое-нибудь значение, то едва ли это порицание справедливо. Если процесс вещей действительно таков, что то, что имело некоторое практическое значение в обществе в течение одной эпохи, становится предметом украшения в последующей, — можно до известной степени верно заключить, что то, что имеет какое-нибудь практическое значение в настоящее время или имело такое значение в очень недавнее время, не может получить характера украшения и, следовательно, не будет приложимо к целям искусства.

Это заключение окажется еще основательнее, если мы рассмотрим самое свойство процесса, по которому полезное превращается в украшающее. Существенное предварительное условие всякой красоты есть *контраст*. Для того чтобы получить художественный эффект, свет должен быть располагаем рядом с тенью, яркие цвета — с мрачными, выпуклые поверхности — с плоскими. Громкие переходы в музыке должны сменяться и разнообразиться тихими, а хоровые пьесы — соло; богатые звуки не должны быть постоянно повторяемы. В драме мы требуем разнообразия в характерах, положениях, чувствах и стиле. В прозаическом сочинении красноречивое место должно иметь сравнительно простую обстановку, в поэмах достигается значительный эффект изменением характера стихосложения. Мне кажется, что этот общий принцип объяснит, почему полезное прошлого превращается в прекрасное настоящего. Только по причине своего контраста с нашим настоящим образом жизни кажется нам интересным и романтическим образ жизни прошедшего. Точно так же и пикник, который на минуту возвращает нас к первобытному состоянию, получает для нас нечто поэтическое, чего он не имел бы, если б обстановка его была обыкновенным делом; таким образом, все древнее становится интересным по относительной новизне

своей для нас. По мере того как вместе с развитием общества мы постепенно удаляемся от привычек, нравов, домашнего строя жизни и всех материальных и умственных продуктов прошедшего века и по мере того как удаление наше возрастает, — все это начинает постепенно принимать для нас поэтический характер и получать значение украшения. Поэтому вещи, происшествия, близкие к нам, влекущие за собой сцепление идей, которые не представляют значительного контраста с нашими ежедневными представлениями, являются *относительно* невыгодным сюжетом для искусства.

XVI | ИМПЕРИАЛИЗМ И РАБСТВО¹

«Подчиняйтесь! Вы в нашей власти, и мы заставим принять наше господство!» Такими словами выражается чувство, которое руководит британской нацией в ее поступках с бурскими республиками. Чувство, выказывающееся в этом случае совершенно открыто, образует также скрытую подкладку политических стремлений, которые проявляются теперь в Англии под фирмой империализма. Властное преобладание, не всегда представляющееся умственному взору в совершенно явственных чертах, присутствует в таких случаях туманным образом на заднем фоне этих стремлений. Не только по существу самого слова, «империализм» по точному его смыслу и возбуждаемым им сочетаниям представлений, заставляет подразумевать идею преобладания над кем-либо и соответственное подчинение кого-либо. Деятельная или потенциальная принудительная власть над кем-либо другим — над отдельными личностями или же целыми народами — необходимо заключается в понятии империализма.

Многие, составляющие, к несчастью, в современном человечестве громадное большинство, усматривают нечто особенно благородное (как в смысле нравственного величия, так и в историческом смысле) в самом командовании, принуждающем других отречься от их собственной воли и выполнять волю начальствующего. Не имея здесь в виду опровергать добропорядочность этого чувства, скажу лишь, что существуют люди другого типа, встречающиеся, к несчастью сравнительно редко, которые считают недостойным ставить своих ближних в подчиненное положение и усматривают благородство в том, чтобы не только уважать, но и защищать чужую свободу. Не вдаваясь в сравнение обоих этих типов, я хотел бы теперь ограничиться лишь доказательством того, что пользование властью

¹ Впервые напечатано в: *Spencer H. Facts and Comments. New-York, 1902.*

неизбежно увлекает самого властелина в некоторую более или менее ясно выраженную форму рабства. Мне кажется, что было бы недурно убедить в этом сторонников империализма. Дело в том, что необразованные народные массы и даже большая часть образованного люда несомненно сочтет заявление о подневольной жизни деспотов вопиющей нелепостью. Правда, что многим из тех, кто читал историю, не только заурядную внешнюю ее сторону, сколько в существенные ее законы, известно, что это заявление представляет собой истинный парадокс, т.е. что оно фактически верно, хотя и не кажется таковым на первый взгляд. Тем не менее даже и они навряд ли признают вполне явственно, какой массой фактических данных подтверждается эта истина, а потому им тоже не повредит, если они найдут здесь некоторые образчики такого подтверждения. Начнем с самых древних и простых случаев, позволяющих символически уяснить суть дела.

На ассирийских барельефах нередко встречается изображение пленника со связанными руками и с веревкой, привязанной к шее, которого ведет за эту веревку свирепый победитель, намеревающийся обратить его в рабство. Скажут, пожалуй, что тут всего лишь один невольник, так как его властелин совершенно свободен. Однако верно ли это? Он держит ведь в руке конец веревки, привязанной к шее раба, и если не хочет дать этому последнему возможность к бегству, должен оставаться все время и сам как бы на привязи. Он вынужден так крепко держаться за веревку, чтобы у него нельзя было ее вырвать. Можно сказать поэтому, что как победитель, так и его пленник привязаны к одной и той же веревке. Впрочем и в других отношениях сфера деятельности победителя, который обзавелся таким рабом, стеснена, а вместе с тем на него легли многие добавочные обязанности. Положим, что дикий зверь пересекает ему дорогу: он не может пуститься за этим зверем в погоню. Желая напиться из протекающего тут же ручейка, он должен предварительно привязать своего пленника, который в противном случае не преминет воспользоваться беззащитным его положением. Сверх того, властелину надо позаботиться о прокормлении и себя самого, и своего раба. Таким образом, он во многих отношениях оказывается не вполне свободным. Здесь проявляется в простейшей, наглядной своей форме мировая истина, заключающаяся в том,

что орудия, которыми достигается подчинение других, в свою очередь подчиняют себе победителя или властелина. Совпадение во времени между южноафриканской войной и недавней вспышкой империализма наглядно свидетельствует о тесной связи между воинственным духом и империализмом, оказывающимися на самом деле различными проявлениями одного и того же состояния общества. Впрочем, оно и не могло быть иначе. Подчиненные расы или государства покорялись властвующим расам или государствам не добровольно. Почти во всех случаях подчинение их является результатом принуждения, достигнутым с помощью армии, которую надо содержать в постоянной готовности, чтобы покоренные не вышли из повиновения. Если за преобладанием не стоит активная или потенциальная сила, то из империи вырабатывается в лучшем случае федерация. Как уже упомянуто, здесь не имеется в виду доказывать, что империалистское общество необходимо должно быть воинственным, мы ограничиваемся только указанием на неизбежность ограничения свободы такого общества по мере стеснения свободы подчиненных ему государств.

Как нельзя более подходящие примеры доставят нам древнейшие исторические памятники. Правда, у нас не имеется данных, которые свидетельствовали бы о том, что во времена постройки пирамид могущество египетских деспотов, оставивших после себя эти изумительные памятники зодчества, оплачивалось обстоятельно выработанной системой стеснения их собственной свободы. Зато у нас имеются доказательства тому, что в последующие времена фараон был и в самом деле рабом правительственной организации. Не только административная деятельность фараона, но и каждый вообще поступок в его частной жизни строжайше обуславливались государственными египетскими законами. Часы, которые он должен был посвящать омовениям, прогулке и т.п., равно как и весь распорядок повседневных занятий и удовольствий, — все это было установлено с величайшей тщательностью законами, которые определяли также количества и качества полагающейся ему пищи¹.

¹ См.: Уилкинсон. Нравы и обычаи древних египтян. Т. I. С. 166 (Manners and Customs of the Ancient Egyptians, Birch's ed. of Wilkinson. Vol. I. P. 166).

Соотношение между покорением чужеземных народов и ограничением свободы самих завоевателей свидетельствует между прочим надписью в Карнаке, повествующей о том, «как горько расплачивался Египет за свои завоевания тяжкими налогами, обусловленными необходимостью содержать многочисленную постоянную армию»¹.

Обратимся теперь к обществу другого типа, а именно к Спарте, и мы встретимся там с теми же самыми социальными истинами. Раса завоевателей, а именно полноправные спартанцы, которым были подчинены потомки двух других покоренных ими рас, илоты и периеки, властвовали не только над ними, но дважды заручались преобладанием над всем Пелопонесом. Какой же ценой оплачивали они свое верховенство? — Каждый отдельный спартанец, являясь властелином над рабами и полурабами, состоял и сам в рабстве у общественной спартанской организации. Он должен был вести жизнь не такую, какая ему заблагорассудится, а сообразно с предписаниями общества, в состав которого входил и он сам в качестве единицы. Его жизнь была подчинена строжайшей дисциплине, не оставлявшей в нем места умственной культуре, изящным искусствам, поэзии и тому подобным источникам удовольствия. Вообще, истинный спартанец представлял собой образчик самого полного осуществления древнегреческой теории, в силу которой гражданин всецело принадлежал не себе самому и своей семье, а родному своему городу.

Если вместо небольшого и достаточно простого спартанского общества обратиться к обширному и сложному организму Римской империи, то убедимся, что необходимая связь между империализмом и ограничением гражданской свободы выдвигалась там еще сильнее на первый план. Речь идет здесь не о том, что во времена императоров три четверти итальянского населения состояло из рабов, которые днем, работая днем в полях, закованные в цепи, спали ночью тоже в цепях, а те из них, которые служили привратниками, сидели на цепи у ворот. Все это, разумеется, было ужасно, но я имею в виду упомянуть лишь о том, что даже считавшаяся свободной часть населения Римской империи состояла на самом деле из людей,

¹ *Flinders Petrie. History of Egypt. Vol. ii. P. 252*

находившихся в более или менее тяжелой зависимости от чужой воли. Над римскими гражданами тяготело прежде всего рабство, обусловленное долгосрочной или сокращенной воинской повинностью, осложнявшейся такой суровой дисциплиной, при которой солдату приходилось бояться своего офицера в большей степени, чем неприятельского воина. Сверх того, даже и граждане, которые всецело или по преимуществу вели частную жизнь, вынуждены были подневольно трудиться для государства. «Каждый гражданин фактически рассматривался как слуга государства... каждому назначалась определенная постоянная работа. Римское общество состояло исключительно из людей подневольных: военных, ремесленников, земледельцев и чиновников, которые все оказывались в большей или меньшей степени рабами. В таком же положении находился и сам император, верховный глава чудовищной бюрократии, в которую превратилось римское общество. Он сделался игрушкой преторианской гвардии, которая являлась для него одновременно и средством охраны, и грозной опасностью. Вместе с тем римскому императору приходилось следовать всем установленным обрядностям. Гиббон имел поэтому полное право утверждать: «Сам император был первым рабом установленного им церемониала». Таким образом, всматриваясь в положение императорского Рима, мы убеждаемся, что, как всегда и всюду в подобных же случаях, те, кто обращал в рабство других, утрачивал через это и собственную свою свободу.

Тот же самый урок преподается временами хаотической неурядицы, насилия и кровопролития, наступившими после того, как рухнула Римская империя, представляющаяся многим еще и теперь достойной восхищения и подражания. Люди, которым так нравятся римские порядки, готовы простить самые мерзостные ужасы, если они в окончательном результате приводят к могуществу, льстящему грубой страсти к господству, хотя бы лишь в воображении. Пропустив эти кровавые времена, типической чертой которых служат преступления Хлодвига и злодейства Фредегонды и Брунгильды, перейдем от них к феодальному режиму, который вкратце можно охарактеризовать четырьмя словами: сюзерены, вассалы, крепостные и рабы. Этот режим, кроме непрерывной борьбы за преобладание между местными мелкими державцами, обусловливавшей хрони-

ческое военное положение, характеризовался неограниченной властью каждого вождя или державца — герцога или графа — в пределах его собственной территории и различными степенями рабства у всех его подчиненных. Установленная формула присяги «Я ваш человек», для принесения которой вассал становился на одно колено перед своим сюзереном и касался рукой его руки, выражала взаимное соотношение различных степеней рабства в тогдашнем общественном строе. Верховный властелин всех рабов оказывался, как всегда, обращенным в подневольное состояние вследствие забот и стараний оградить свою жизнь и сохранить свое могущество. Он не снимал с себя лат, был всегда при оружии и самым тщательным образом оберегался от убийц и отравителей.

Переходя к позднейшей стадии западноевропейской истории, когда окончательное подчинение мелких державцев главному властелину стало свершившимся фактом и когда все графы и герцоги обратились непосредственно в королевских вассалов, мы убеждаемся, что свобода самих королей стеснялась не только постоянными заботами о государственных делах, но также и рабством, которое налагали на них безжизненная рутина придворного церемониала. Говоря о Франции Людовика XIV, госпожа Ментенон замечает: «Кроме самых высокопоставленных особ в государстве я не знаю никого злополучнее тех, кто им завидует. Если бы вы могли только составить себе понятие о том, какую жизнь приходится им вести!..»

Упомянем вскользь крайнюю степень подчинения правителя атрибутам правления, достигнутую в Японии, где божественный микадо, плененный требованиями своего священного состояния, лишен обычных свобод, и в чьей затворнической жизни одно время существовало такое наказание как ежедневное трехчасовое сидение на троне; не будем также подробно останавливаться на случае Китая, где, как сообщает профессор Дуглас, у императора «вся жизнь представляет собой непрерывный круговорот соблюдения церемониала» и «со дня вступления на трон до момента, когда он будет перенесен в могилу на Восточных холмах, часы и почти что минуты расписаны для выполнения особых обязанностей, предписываемых ему Советом по церемониям»; обратимся лучше к примеру, доставляемому Россией. Наряду с непрекращаю-

щимся покорением национальных меньшинств, в котором проявляется ее империализм, что можно сказать о ее внутренней организации? Мы видим многочисленную армию, служить в которой реально или потенциально обязаны все мужчины; мы видим огромный бюрократический аппарат, протянувший повсюду свои щупальца и жестко контролирующей жизнь каждого человека; мы видим государственные расходы, вечно превосходящие имеющиеся ресурсы, в результате чего возникает потребность в займах. В результате постоянного ощущаемого давления, как на личность, так и денежного, мы видим тайные революционные общества, постоянные заговоры, хроническую угрозу социального взрыва; и при том что каждому грозит Сибирь, мы видим у всемогущего руководителя этого поработанного народа постоянный страх за свою жизнь. Даже когда он отправляется инспектировать свои войска, возникает необходимость соблюдения строгих мер предосторожности, предпринимаемых дополнительной армией солдат, жандармов и шпионов, рассредоточенных там и тут в целях предотвращения возможных нападений; аналогичные меры предосторожности, которые иногда не помогают, предпринимаются против убийства с помощью бомб при передвижениях на автомобилях и по железной дороге. Часть жизни, не поглощаемая государственными делами и религиозными ритуалами, отнимается заботами о личной безопасности.

Какой урок можно извлечь из этого? Может, в нашем случае не следует объединять империализм и рабство, как они оказываются объединены повсюду в мире и во все времена? Большинство с этим согласится. Более того, они соединяют, как это недавно сделал наш поэт-лауреат* в названии стихотворения, слова «Империализм и свобода», как в старые времена путая имя с вещью. Гиббон пишет: «Август понимал, что люди ориентируются на названия, и оказался совершенно прав, ожидая, что сенат и народ подчинятся рабству, при условии что их будут уважительно уверять в том, что они по-прежнему пользуются своими древними свободами» (*Decline and Fall*, i. 68.).

«Я свободный! — Думает англичанин. — Как же может быть иначе, если я имею право голоса при выборе представителя, который участвует в определении действий страны, как внутри, так и за рубежом?» Опускание избирательного бюллетеня

он отождествляет с обладанием правом осуществлять те неограниченные действия, которые подразумеваются в понятии «свобода»; возьмем только один пример: угроза наказания каждый день напоминает ему о том, что его дети должны воспитываться по лекалам государства, — не так, как хочет он, а так, как хотят другие люди.

Но давайте посмотрим, как на фоне номинального расширения конституционной свободы происходит сужение свободы реальной. В качестве первого факта следует указать на сокращение законодательных функций Парламента при одновременной узурпации этих функций Кабинетом министров. В наше время важные мероприятия осуществляются не частными лицами, а для их реализации обращаются к государству: законотворчество постепенно сосредотачивается в руках узкой группы лиц. Точно так же как в прошлом Кабинет министров развился из Тайного совета путем ограничения круга членов этого органа, причастных к принятию решений, сегодня небольшая группа министров выполняет функции всей группы. Добавьте к этому наличие подчиненных ведомств вроде Министерства внутренних дел, Министерства торговли, Министерства образования, Министерства местного самоуправления, которым делегированы полномочия по принятию определенного вида законов и контроль за их соблюдением, и мы получим правление посредством административных приказов. Аналогично путем затрачивания на государственные цели все большего и большего времени, которым прежде располагали частные агенты, путем обрывания дискуссий методом прекращения прений, и наконец, путем требования голосовать сразу за весь блок предложений, относящийся к отдельному министерству, не вдаваясь в критику деталей, демонстрируется, как на фоне расширения избирательного права, которое, казалось бы, увеличивает свободу граждан, свободы последних уменьшаются путем ограничения сферы действий их представителей. Все это представляет собой этапы концентрации власти, сопутствующие империализму¹. А во что выливается эта тенденция, когда оживляется воинственный дух, мы видим на примере мер, предпринимаемых

¹ Продолжающие появляться новые процедурные правила еще сильнее сужают свободу членов Парламента.

в Южной Африке, — объявление военного положения губернатором, который тем самым становится деспотом, и временное приостановление конституционного правления, каковое приостановление многочисленные так называемые лоялисты доводят до логического конца.

Для уяснения себе этого факта надо обратить внимание на то, что каждый гражданин является и в настоящее время подневольным рабом государства. Можно уяснить себе это ссылкой на некоторые старинные обычаи. В те времена, когда совместно с настоящим рабством, существовало уже крепостное право, крестьянин, прикрепленный к земельному участку, обязан был оказывать его владельцу разные имущественные и личные услуги. Эти последние сводились к обязательной работе, длившейся в зависимости от времени и места от одного дня до шести дней в неделю, т.е. представлявшей различные степени рабства, от частного до полного. С течением времени бóльшая часть таких обязательных работ и личных повинностей заменилась денежными повинностями, причем прямо подразумевалась равноценность между оброчной податью и работой, которую пришлось бы в противном случае выполнять в пользу помещика. С практической точки зрения все сводится для нынешнего британского гражданина к замене феодального лорда и местной оброчной подати общими государственными налогами. И прежде и теперь суть дела заключалась и заключается в том, какая именно часть всего труда, производимая гражданином, отбирается у него предержавшими властями и какая часть оставляется ему на удовлетворение его собственных потребностей. Труд, затрачиваемый на уплату государственных налогов, представляет собой в действительности такую же натуральную повинность, какой являлась работа на полях феодального лорда. Тут вся разница только в названии и в том, что повинность уплачивается деньгами, а не натурой. Во всяком случае гражданин является рабом государства в размерах именно податного своего обложения. Лет пять тому назад оказывалось, по расчетам Гюйо, что во Франции все вообще государственные расходы (в том числе и затраты на военное ведомство) поглощают ежегодно около 30% всего национального труда или, иными словами, что французский гражданин обязан работать на государство средним числом 90 дней в год.

Нечто подобное, хотя и в меньших размерах, тяготеет и на британском гражданине. Отметив финансовые обязательства нынешней Великобритании, оставленные в наследство прежними ее империалистическими увлечениями, как, например, долги в 150 млн ф. ст. на американскую войну и в 50 млн от Ост-Индской компании, ежегодно поглощающими своими процентами соответственную часть британского национального труда, попытаемся уяснить себе, какие именно финансовые тягости налагает на англичан нынешнее их увлечение империализмом. На основании самых надежных статистических выводов, относящихся до Великобритании, оказывается, что для покрытия ежегодного государственного расхода в 100 млн ф. ст. британские подданные должны работать общим числом около 18 дней в году, т.е. отдавать в казну каждый 17-й свой день. Нынешний британский бюджет постоянной армии и флота, вместе с процентами недавно заключенного долга, составляет около 76 млн ф. ст., что соответствует 13,5 дня подневольной работы. К этому надо добавить, кроме 153 млн ф. ст., затраченных на южноафриканскую и китайскую войны также и суммы, которые потребуются для уплаты пенсий и различного рода вознаграждений за убытки, причиненные войнами, что увеличит предшествующий итог по меньшей мере до 200 млн ф. ст. Предоставляем самому читателю вычислить, насколько должны будут возрасти государственные британские налоги для покрытия этих расходов и процентов по займам. Он располагает всеми данными, дабы определить число добавочных дней, в продолжение которых англичанину придется, в угоду империализму, работать каждый год для правительства. Здесь идет речь только о добавочных днях, потому что каждый гражданин должен во всяком случае работать ежегодно изрядное число дней уже для покрытия расходов по обыкновенному государственному бюджету. Тот, кто способен, подобно древнему римлянину, довольствоваться словами, упуская из виду сущность предмета, без сомнения, признает эти соображения просто напросто вздорными. Но человек, который не разделяет древнеримской точки зрения и усматривает свободу лишь в возможности невозбранно пользоваться своими способностями для достижения личных своих целей, с единственным условием не стеснять такую же свободу прочих сограждан, поймет, что как бы

ни маскировалось обязательство работать на государство, каждый подданный оказывается рабом в действительном размере требуемой от него подневольной работы. По мере того как в Великобритании с возрастанием империализма увеличивается количество такой подневольной работы, каждый из сынов Альбиона становится все в большей степени рабом государства.

Кроме рабочей повинности, взимаемых в виде прямых и косвенных налогов, соответствующих заработку за известное число дней, который не может быть затрачен на улучшение жизненных условий самого гражданина и его семьи, возникает для него действительная или потенциальная воинская повинность, вызываемая потребностью в солдатах и офицерах для осуществления империалистской политики. Учувствовавшие в южноафриканской войне могут удостоверить то, что, несмотря на красивые фразы, служба в британской армии является в военное время рабством, худшим, чем то, в котором находились негры у плантаторов, и к тому же осложняющимся еще риском насильственной смерти.

Впрочем, даже если бы удалось уяснить сынам Альбиона, до какой степени условия жизненной их обстановки зависят от размеров государственных нужд, с возрастанием которых должно оставаться все меньше средств на удовлетворение личных потребностей каждого гражданина, то это произвело бы в настоящее время лишь слабое впечатление. Пока страсть к господству берет у большинства англичан верх над всем остальным, они будут мириться с рабством, которое неразлучно с империализмом. Для людей, гордящихся чертами характера, свойственными не исключительно только человеку, а также и грубому зверю, для людей, считающих храбрость бульдога равноценной мужеству, и заимствующих понятие долге и чести из кулачного боя на призы, где участники добровольно подвергаются физической боли, увечьям и даже рискуют жизнью для того, чтобы взять верх над противником, все приведенные здесь соображения покажутся не заслуживающими внимания. Пока не утратится возможность завоевывать и держать в подчинении другие народы, такие люди станут охотно ограничивать личную свою свободу для возвеличения государственного могущества и будут столь же охотно, как в прежние времена мириться с рабством, являющимся неразлучным спутником империализма.

XVII | ПОВОРОТ К ВАРВАРСТВУ¹

Во всех человеческих обществах, начиная с диких племен, успешных уже приобрести некоторую политическую организацию, и заканчивая государствами, расширившимися путем завоевания соседних стран, усматривается, как уже упомянуто*, характерная для воинственных народностей черта, заключающаяся в иерархическом подчинении отдельных личностей и целых групп друг другу. Стройная лестница иерархического подчинения, служащая общей схемой для организации вооруженных сил, становится в воинственных странах все в большей степени образцом также и для гражданской организации. Дело в том, что в таких странах, вследствие непрерывных войн, гражданское ведомство оказывается чем-то вроде интендантства, должностующего удовлетворять потребностям военного ведомства. При таких обстоятельствах оно, по самой силе вещей, стремится обзавестись дисциплиной наподобие военной. Общеизвестные исторические факты доказывают, что общества, по мере того как они выходят из варварского типа, обусловленного непрерывными войнами, постепенно суживают сферу иерархического подчинения, установленного по военному образцу, причем, как это выяснилось за последние века, возрастает и личная свобода. К этому можно присовокупить, что в странах, подобных, например, Великобритании, где военная организация не достигла столь высокого развития, как на материке Европы (вследствие сравнительно редкого ведения войн), свободные институты начали вырабатываться раньше и развились до более высокого уровня. При таких обстоятельствах следует признать очевидной истиной, что характерной чертой в процессе возврата к варварству должно быть возрастание иерархической подчиненности. Истина эта подтверждается также и фактическими данными. Североамериканские Соединенные Штаты могут служить

¹ Впервые напечатано в: *Spencer H. Facts and Comments. New-York, 1902.*

весьма пригодным объектом для наблюдения подобных фактов. С тех пор как там завелись местные «боссы»*, каждый из которых подчинил себе многочисленную группу избирателей, установилась между этими «боссами» система иерархического подчинения, вследствие которой явились крупные «боссы», авторитет которых распространялся на все более значительные массы избирателей, так что в настоящее время несколько отдельных личностей вроде Платта, Ханна и Крокера определяют по собственному усмотрению результаты как местных земских, так и общегосударственных выборов. Съезды выборщиков, должностующих служить представителями общественного мнения избирательных округов, превратились в собрания, которые просто напросто принимают к сведению решения, постановленные вождями, которые в форме советов фактически отдают приказания. Прежние традиции личной свободы до такой степени подавлены этой системой, что попытка их проявления считается почти непристойностью. Сравнительно немногие встречающиеся кое-где независимые граждане, которые не хотят отказываться от законного права иметь собственное свое суждение, носят презрительное прозвище *twigwumps**.

В Англии иерархия «боссов» не достигла еще такой степени развития, при которой воля отдельного избирателя является окончательно парализованной. Тем не менее этот избиратель фактически утратил значительную долю свободы, которой он пользовался в течение первых 25 лет по утверждению билля об избирательной реформе*. Тогда, как мне это известно из личного опыта, инициатива каждого гражданина (даже не принадлежащего к местным избирателям) не оставалась без некоторого влияния. Теперь в каждом избирательном округе организовались уже особые корпорации, берущие на себя судить за всех членов партии, кого именно следует назначить кандидатом в члены местной земской управы или британского парламента. Избирателям предоставляется только подавать голоса за приисканных для них кандидатов. Эти партийные корпорации фактически сделались олигархиями выборщиков. Подобное же ретроградное движение в смысле ограничения свободы, на этот раз уже британских народных представителей, обнаруживается за последнее время также и в парламентском уставе. Несколько лет тому назад палата общин

отказалась от предоставленной народным представителям «привилегии высказывать свое недовольство правительственными мероприятиями, когда внесено предложение организовываться в бюджетную комиссию». Между тем в старину привилегия эта считалась одной из самых существенных, так как утверждение бюджета зависело до известной степени от удовлетворения жалоб, предъявлявшихся народными представителями, вследствие чего правительство оказывалось вынужденным к уступкам, способным смягчить народное недовольство. Затем недавно лишь палата общин вторично урезала права народных представителей, отменив признававшуюся за ними привилегию одобрять поправки к предложению организовываться в комитет так называемых «средств и способов». Таким образом, поворот к варварству указывается в Великобритании ограничением свободы граждан в качестве как избирателей, так и народных представителей. В обоих случаях ограничение это произошло вследствие усиления субординации.

Течения, обнаруживающиеся теперь в среде англиканской церкви, свидетельствуют, что и там происходят изменения подобном же смысле. У англичан замечается поворот к характерному для варварских типов общества теократическому строю. Возмущения духовенства против гражданской власти служат указанием на имеющееся желание вернуться к давно минувшим порядкам, при которых короли оказывались в подчинении у пап. Вся вообще иерархия англиканской церкви стремится к усилению внешнего своего престижа, хотя и не сознается в этом открыто. Главы церковной иерархии, когда их просят о пресечении и предотвращении новшеств, сглаживающих разницу между обрядами церковью англиканской и римской, отвечают в уклончивом тоне и предоставляют таким новшества распространяться беспрепятственно, но в то же время энергично препятствуют попыткам помешать такому возврату к традициям католичества. За последнее двадцатипятилетие обнаруживалось в англиканской церкви стремление создать для своего священства обособленное положение корпорации посредников между Богом и людьми. Меры, которые принимались при этом, имеют характер возврата к средневековым обрядам, рассчитанным на удовлетворение потребностей народа, еще не вышедшего из варварства.

Изменения, происшедшие в последнее время в политическом и религиозном строе британского общества, были обусловлены действием различных причин. Первый толчок к ним дала весьма скромная сама по себе мера усиления государственной обороны, вполне оправдывавшаяся тогдашними политическими условиями, а именно организация волонтеров. Когда политика Людовика Наполеона приняла такой оборот, что заставила подозревать его в намерении вторгнуться с оружием в руках в Англию, раздался повсеместно в Великобритании боевой клич, поэтическим выражением которого служил гимн: «Собирайтесь стрелки под знамена!»* При таких обстоятельствах образовалась все более увеличивавшаяся с тех пор армия добровольцев, собиравшихся еженедельно на учения и упражнявшихся еженедельно же в ружейной стрельбе. И то и другое пробуждало дремавшие в мирных гражданах воинственные идеи и чувства, унаследованные от предков, живших во времена непрестанных войн. Организация добровольцев в роты и полки, обучение их военному строю, подчинение рядовых офицерам, маршировка в колоннах по улицам с музыкальным оркестром впереди, в связи с честолюбивыми стремлениями дослужиться до офицерского или по крайней мере унтер-офицерского чина, вырабатывали в городской и сельской британской молодежи воинственные мысли и эмоции. Это неминуемо влекло за собой возрождение интереса к войне, причем дремавшие в народных массах предковские инстинкты дикарей начали постепенно пробуждаться и развиваться путем упражнения, если не над действительными, то над воображаемыми врагами, о которых предполагалось, что они намереваются вторгнуться в Англию. За последние 20 лет действовала в том же направлении и другая столь же распространенная причина. Немногие лишь согласятся сразу же признать ее влияние, оно не замедлит выясниться при более внимательном рассмотрении. Заметим, что качественный характер страсти остается в значительной степени одним и тем же, т.е. почти не зависит от возбуждающего ее предмета. Страх, ощущаемый при нападении бешеной собаки, оказывается по существу одинаковым с эмоцией, вызываемой занесенным над нами оружием убийцы. Чувство ненависти к какому-нибудь противному для нас животному само по себе такого же свойства, как и ненависть, питаемая к человеку,

который нам не очень нравится. В таких случаях, когда страсти вызываются воображаемыми предметами, разница между душевными состояниями, обусловленными их действием, оказывается еще ничтожнее. Вместе с тем, развитие враждебного чувства к воображаемому предмету, усиливая способность испытывать означенное чувство, облегчает возбуждение вражды и к другим воображаемым предметам.

Все вышеупомянутое можно непосредственно применить и к деятельности Армии спасения*. Многозначительным здесь является уже само название этой организации, а также названия ее начальствующих чинов, начиная с главнокомандующего «генерала» и постепенно нисходя через «бригадных командиров», «полковников», «майоров» и так далее до местных «унтер-офицеров», каждому из которых присвоен соответствующий мундир. По основной своей идее и вызываемом ею чувствам система эта представляет собой величайшее сходство с организацией настоящей армии. Посмотрим теперь, к какого рода эмоциям она обращается. Официальная газета Армии спасения именуется «Боевой клич». На первой же странице напечатано жирным шрифтом название отдела: «Огнем и мечом». Без сомнения, чувства ненависти и злобы, выражающиеся в этих заголовках, непосредственно направлены против олицетворенного или безличного принципа зла, — «против дьявола и всех дел его». Подобным же образом можно сказать, что встречающиеся сплошь и рядом в гимнах этой армии выражения вроде следующих: «Сделай нас навсегда Твоими воинами, пошли нас на поле битвы... Мы истребим врага огнем и мечом... К оружию, братья, враги уже близко, адские силы нас окружают... час битвы наступил, ринемся же в бой»* и т.п., сами по себе не представляют ничего зловредного. На самом деле, однако, они являются стимулами к милитаризму. Возбуждение, вызываемое такими гимнами в сочетании с процессиями, имеющими характер строевых движений под военную музыку, неизбежно должны в значительной степени развивать в народных массах дремлющие страсти, которые и без того так легко разгораются даже от случайностей повседневной жизни. Обращение к более нежным христианским чувствам фактически стушовывается среди таких воинственных возгласов. Из разнородной смеси противоречащих друг другу увещаний толпа воспринимает только те, которые наи-

более соответствуют ее природе, пропуская все остальное мимо ушей. При таких обстоятельствах под номинальными формами религии любви ежедневно упражняются чувства, приличествующие лишь религии ненависти. Как уже упомянуто, страсти разрушающего характера, направленные против врага, в котором олицетворяется принцип зла, могут быть легко перенесены с него на любого иного врага. Место злых духов могут заступать злые люди, на которых и перейдут возбужденные чувства ненависти. Если благодаря беззастенчивой клевете сложится в народных массах мнение, будто данная нация состоит из злых людей, взращенные в этих массах чувства ненависти и злобы будут иметь своим объектом оклеветанную нацию.

В то же самое время, когда я диктовал эту статью, мне указали на многочисленные факты, подтверждающие справедливость вышешприведенных соображений. Оказалось, что не только в Армии спасения, но и в самой англиканской церкви на молебствиях при отправлении войск в Южную Африку некоторые церковные гимны употреблялись в такой форме, при которой место врага рода человеческого очевидно заступали буры. Вообще, можно сказать, что в продолжение целого двадцатипятилетия под маской внешних форм религии, проповедующей мир, любовь и всепрощение, раздавался непрерывный боевой клич, приучавший умы к войне, кровопролитию, истреблению врага огнем и мечом и т.п., вследствие чего постоянно развивались и усиливались в народных массах чувства, совершенно противоположные христианским.

Совместно с этим всюду в Великобритании обнаруживалось распространение идей и чувств, организации и дисциплины, свойственные милитаризму. Наряду с Армией спасения сформировалась соперничающая с ней «Церковная армия», которая, как можно заключить из самого названия прибегает к таким же способам действия на умы, как и ее конкурентка. Еще явственнее выражается это злоупотребление религией любви в «Церковной бригаде отроков», которая не только обмундирована и обучена по-военному, но даже снабжена оружием. Здесь, как и во многих других случаях, обнаруживается полная симпатия клерикалов к милитаризму. Преосвященный д-р Уорр, старший воспитатель в Итонской школе, прочел недавно доклад, в котором требовал включения в программу среднеобразовательной

школы элементарных сведений из военных наук. Вместе с тем он указывал на желательность упражнять учащуюся молодежь в маршировке, военных построениях, обращении с огнестрельным оружием и т.п. Другой старший воспитатель, преосвященный м-р Гуль, в докладе, прочитанном в учительской коллегии, сообщил, что при 79 общественных школах сформированы уже кадетские корпуса и что теперь стараются «ввести» военное обучение «в начальные школы для мальчиков из простонародья». Он присовокупил, что комитет конференции старших воспитателей единогласно высказался за теоретическое и практическое элементарное обучение военному делу мальчиков старше пятнадцатилетнего возраста, воспитывающихся в средних учебных заведениях, вследствие чего по настоянию этих преосвященных старших воспитателей внесен в обе палаты британского парламента¹ билль о военном образовании, соответствующий их воззрениям и заручившийся сочувственной поддержкой со стороны военного департамента. Подобным же образом на празднествах в Клифтонской коллегии старший ее воспитатель, преосвященный каноник Глазеврук, в присутствии двух епископов прославлял в самых лестных выражениях участие клифтонских питомцев в южноафриканской войне. С особенной гордостью распространялся он о «благородной жертве, принесенной столь патриотичному делу» гибелью 19 бывших клифтоноцев, павших на поле брани. Он разглагольствовал и о непрестанно возрастающем усердии этой школы к изучению военного дела. На днях также в Кембридже университетский синод настаивал на желательности принять меры к организации при университете обучения военным наукам.

Одновременно с этим приходится отметить явления подобного же характера, но в еще большей степени бросающиеся в глаза. Здесь идет речь о смотрах, маневрах и учебных лагерях волонтеров, о ежегодной состязательной стрельбе в цель, производящейся то в Уимблдоне, то в Бислее, о постоянных лагерях в Шорнклифе и Алдершоте, к которым вскоре присоединится еще более обширный лагерь в Солсберийской равнине. Назад тому 50 лет нигде в Великобритании не встречалось таких инцидентов, как публичные состязания в фехтовальном искусстве,

¹ См.: Educational Times. 1901. June 1.

уподобляющиеся турнирам, а теперь такие состязания повторяются периодически. Точно так же не было у англичан сухопутных и морских военных выставок. Недавно постановлено было в лондонской городской ратуше, как бы с намерением выяснить коренное изменение в наших воззрениях и чувствах, что в память о Всемирной выставке 1851 г.* от которой ожидали, что она откроет эру вечного мира, организована будет в 1901 г. сухопутная и морская военная выставка. Пятидесятилетний юбилей мирной демонстрации должен был ознаменоваться демонстрацией совершенно противоположного свойства.

Все эти причины совокупным своим действием на британские народные массы вызвали в 30 больших и малых английских городах серьезные беспорядки, во время которых люди, позволявшие себе не разделять взглядов большинства на поступки англичан с бурами, подверглись различным насилиям со стороны черни. Она не только разгоняла частные сходки, осыпая бранью и побоями тех, кто собирался в них участвовать, но яростно набрасывалась на жилища лиц, известных своим несочувствием к войне, разбивала окна в магазинах, вламывалась в дома и даже пускала в ход огнестрельное оружие. На все такие беззакония, совершавшиеся в продолжение двух лет, административные власти смотрели сквозь пальцы, да и теперь наиболее влиятельные газеты отзываются с величайшей похвалой о такте, будто бы выказанном полицией, которая «благоразумно воздерживалась» от вмешательства в расправу черни с ораторами партии, требовавшей прекращения войны! Не подлежит сомнению, что такой общественный строй и такое отношение к законности как нельзя более пригодны для «хулиганов».

Совершенно естественно, что наряду с таким превозношением грубой силы в ее вооруженной форме, которое привело к распространению военной организации среди мирных граждан и в церковных кружках, а также породило в педагогических сферах стремление содействовать развитию и укреплению милитаризма в умах и сердцах учащейся молодежи, — наряду с упомянутыми уже буйными проявлениями народных страстей, свидетельствующими, в какой значительной степени стремление к насильственному принуждению, являющееся одним из самых существенных элементов милитаризма, пропитало собой все слои британского общества, — шла усиленная

культура физической силы и ловкости, известная под именем «атлетизма». Слово это новейшего происхождения, так как лет 25 тому назад выражаемые им факты еще не были достаточно многочисленными и бросающимися в глаза для того, чтобы нуждаться в особом обозначении. В моей молодости так называемому спорту исключительно посвящалась лишь одна и причем еженедельная газета — «Лондонская жизнь» Белла, встречавшаяся, как мне рассказывали, только в притонах буйных шалопаев и в трактирах самого последнего разбора. С тех пор увлечение атлетизмом разрослось до таких размеров, что приобретение ловкости в главнейших, т.е. наиболее модных играх приняло характер серьезного занятия, которому можно без стыда отдаться всецело. Крикетные состязания местных клубов интересуют не только ближайшее соседство, но, если можно так выразиться, и всю Великобританию. Имена отличившихся игроков постоянно слышатся в устах толпы. Существуют профессиональные игроки и правильно поставленные курсы, на которых изучаются тонкости игр, обратившихся таким образом из простой забавы в деловое занятие. То же самое случилось и с катанием на лодках. Состязания гребцов устраиваются на всех реках и достаточно широких для этого речках. Кроме того, учреждены периодические гонки, причем некоторые из них, как, например, генлейская и между университетами*, сделались чем-то вроде национальных событий, привлекающих громадные толпы зрителей, подобные толпам, которые собираются на состязания в крикет между лучшими университетскими игроками. Когда я был ребенком, игра в ножной мяч (т.е. футбол. — *Ред.*) не вошла еще настолько в моду, чтобы привлекать к себе общее внимание; теперь же всюду имеются для нее приспособления, а серьезные состязания между платными игроками привлекают не только десятки тысяч, но и как это недавно было в Сиденгеме, даже и сотни тысяч зрителей такого разбора, что полиции нередко приходится энергически вступаться за посредников (т.е. судей. — *Ред.*). Следует и в самом деле заметить, что эта игра, сделавшаяся теперь наиболее популярной в Англии, возбуждает вместе с тем всего сильнее грубые инстинкты и страсти. Беспощадная борьба между игроками и напряженность их взаимного соперничества доказывают, даже помимо частых увечий, а иногда даже и смертных случаев, что игра в ножной мяч настолько

близко подходит к настоящей битве, насколько это оказывается возможным без употребления оружия.

Прежние виды спорта, запрещенные в Великобритании законом вследствие чрезмерной своей грубости, воскресают теперь снова. В газетах попадаются отчеты о тайных петушиных боях, накрытых и остановленных полицией. В возобновившемся журнале «Праздношатающийся» («The Rambler»), редактором которого был когда-то Джонсон, прямо отстаивают этот вид спорта как невинную забаву. Столь же многозначительно и возобновление моды относительно кулачных боев. Состязания в боксе на призы все еще признаются противозаконными, но они заменяются теперь боксом в перчатках, почти не отличающимися от прежнего бокса. За последние несколько лет состязания в перчатках привели к четырем смертельным случаям, но сочувствие властей к этому виду спорта настолько велико, что во всех этих случаях смертоубийство было признано заслуживающим снисхождения. Одновременно с развитием атлетического спорта у людей, его развивали также и у животных, что выразилось в возрастании числа скаковых состязаний. Оба вида спорта сопровождалась в своем развитии громадными усилениями страсти к закладам и азартным играм. Эти порочные страсти распространились теперь в Великобритании повсеместно и во всех слоях общества, начиная с великосветских гостиных и оканчивая вертепами последнего разбора. Они способствуют возврату к варварству, так как удовольствия, достижимые при их посредстве в ущерб своему ближнему, несомненно ведут к ослаблению уз взаимной симпатии.

Тем временем вследствие возрастающего спроса на известия, касающиеся спорта, они стали появляться не только в разных ежедневных и еженедельных газетах, посвященных этой специальности, но и во всех остальных органах периодической печати. В нынешних английских газетах нередко целая страница отводится спорту. При этом следует отметить многозначительный факт. В то время как телесное развитие выдвигается теперь на первый план, умственное превосходство остается в тени. Давно уже было замечено, что выдающемуся атлету оказывают больше почестей, чем ученому, лучше всех выдержавшему выпускные университетские экзамены. Наглядным доказательством этому могли бы в случае надобности служить

английские иллюстрированные журналы, в которых постоянно помещаются фотографические портреты отличившихся гребцов и других выдающихся спортсменов, тогда как в них стали бы тщетно искать портреты кандидатов и магистров, с честью выдержавших университетские испытания. Преобладающее значение атлетического спорта свидетельствуется уже тем, что по поводу кандидатуры сэра Майкла Фостера в представители от Лондонского университета считалось уместным поддерживать ее именно потому, что он мастерски играл в крикет! «Все игроки в крикет, несомненно, подадут за него голоса, писал в «Таймс» почтенный ученый, «игравший с ним в одной команде». Все эти многообразные изменения указывают на возврат к идеалам средневековых времен, когда телесная сила и мужество были единственными ценными качествами правящих классов, а умственная культура, поскольку она вообще существовала, встречалась лишь в среде духовенства, да и то преимущественно лишь в монастырях.

Искусство, литература и периодическая печать, все втроем, пособляют теперь в Англии процессу возврата к варварству. В течение уже долгого времени процветали у англичан писатели таких повестей и рассказов из уголовной хроники, весь интерес которых заключался в изображении преступлений, отличавшихся зверской кровожадностью. Другие писатели снабжали английских малышей и подростков рассказами о заговорах, битвах и кровопролитиях. За последние несколько лет разошлись целые миллионы таких книжек¹. Тем временем пользовались столь же большим успехом многочисленные повествования о путешествиях, гвоздем в которых служили схватки с туземцами и сцены из охоты на крупную дичь (о чем неукоснительно публиковалось в объявлениях [т.е. в рекламе. — *Ред.*]). Было также издано несколько книг одного направления с выдержавшим более 30 изданий сочинением профессора Кризи «Пятнадцать решающих мировых сражений». Даже и теперь в последнем номере журнала «Атеней» сообщается о двух печатающихся произведениях той же категории, одно из которых озаглавлено «Исторические великие битвы», а другое — «Всеобщее обозрение военных судов за 1901 г.» (ежегодник)*. Уровень национального

¹ См.: *Academy*. 1897. June 5.

английского чувства как нельзя лучше указывается громадной популярностью Редьярда Киплинга, в сочинениях которого одна десятая доля якобы христианства смешана с девятью десятими чистокровного язычества. Писатель этот идеализирует солдатчину и с наслаждением описывает торжество грубой силы. Изображая школьную жизнь, он выдвигает на первый план картины варварских чувств и поступков, ожесточающие души молодых подростков, и выказывает очень мало уважения к цивилизующему влиянию школьного воспитания и образования.

Подобным же образом литературные отделы периодической печати изобилуют теперь картинами насилия. В американских журналах, весьма распространенных в Великобритании, публику угощали еще до войны с Испанией подогретыми рассказами из междоусобной войны*, описаниями тех или других выдающихся боевых ее событий и биографиями отличившихся в ней вождей. Не довольствуясь описаниями сражений, близких нам по времени, и рассказами про участвовавших в них полководцев, издатели, чтобы угодить вкусам читающей публики, обратились к временам более отдаленным и давно прошедшим. Недавно издано иллюстрированное описание жизни и походов Александра Великого, а вместе с тем биография Наполеона появилась в ряде журнальных статей и вышла отдельной книгой. Точно так же изданы отдельные жизнеописания Веллингтона и Нельсона. Для удовлетворения спроса на такой материал для чтения пришлось даже обнародовать мемуары нескольких морских разбойников и корсаров. Одновременно с этим беллетристика английских ежемесячных журналов приобрела весьма кровавую окраску. Повествования о преступлениях и грубых насилиях с рисунками, изображавши людей, дерущихся не на живот а на смерть, падающих под ударами убийц или же с трудом уклоняющихся от смерти, обнаженные кинжалы и нацеленные пистолеты, обращались, в самых разных сочетаниях, к инстинктам предкового зверства, которые обыкновенно таятся теперь в дремотном состоянии. В числе таких литературных произведений я встретил недавно два, в которых интерес сосредотачивался на состязаниях кулачных бойцов. Наиболее характерные сцены изображались в политипажах**, резанных на дереве. Такому же образу действий следовала и вся вообще иллюстрированная английская периодическая

печать. Задолго еще до последних войн периодическая печать с жадностью пользовалась каждым удобным случаем для изображения кровопролитных битв или же смертоносных разрушительных приспособлений применяемых в военном деле на суше и на море. Столь же охотно помещала она портреты выдающихся военных вождей. Думаю, что за последнее время такие рисунки и портреты встречаются на столбцах иллюстрированных газет и журналов еще чаще, чем прежде, но не решаюсь этого утверждать, так как подобное подстрекательство к зверству до такой степени мне опротивело, что в течение уже многих лет я умышленно избегал заглядывать в иллюстрированные английские еженедельные журналы.

Вообще в Великобритании усматривается теперь повсеместно и в самых разнообразных отраслях деятельности замена идей, чувств и институтов, приспособленных к мирной жизни, иными идеями, чувствами и институтами, более пригодными для военных целей. Непрестанное усиление армии, организации постоянных лагерей, публичные состязания в воинском искусстве, военные маневры и смотры, с одной стороны, ученья, парады, состязания в стрельбе в цель и маневры волонтеров (вызванные сперва извинительными причинами) — с другой, все более развивали воинственные наклонности в английских народных массах. Бесперывное возбуждение злобных страстей молитвами вроде «Боевого клича» и многих других гимнов Армии спасения, в которых, как бы для борьбы со злом, непрестанно твердят о битвах, кровопролитиях, истреблении врагов огнем и мечом и т.п., оттесняло на задний план эмоции более нежного свойства. Подобным же образом действовали военная организация и дисциплина, введение которых в школы развивает у подрастающих поколений инстинкты борьбы и соперничества. Тому же самому в значительной степени содействовали и атлетические игры, интерес к которым всячески возбуждался сперва еженедельной, а потом и повседневной печатью. При этом чем с большим уважением относились к подвигам физической силы и ловкости, тем меньше почестей выпадало на долю умственных заслуг и духовных доблестей. Искусство и литература содействовали, со своей стороны, этому движению. Книги, в которых описывались сражения, завоевания и подвиги полководцев, издавались и расходились в громадном

количестве экземпляров. Ежемесячные и еженедельные иллюстрированные журналы поощряли вредные инстинкты, помещая на своих столбцах повести и рассказы, в которых главную роль играли смертоубийства и другие зверские преступления, иллюстрированные рисунками. Таким путем в продолжение минувших 50 лет вызывалось повсеместно и самыми различными способами в Великобритании возрождение варварских стремлений, идей и чувств, соединенное с непрерывным развитием кровожадности.

Если бы существовала надобность в наглядном выяснении результатов, достигнутых этими способами, то можно было бы сослаться на заявление любимейшего теперь английского поэта, признающего «самой царственной жизнью на земле»* ту, при которой человек проводит возможно большую часть времени в попытках «ухлопать» кого-нибудь из своих ближних.

XVIII | СУБОРДИНАЦИЯ¹

С первого взгляда заголовок этот обещает как будто лишь несколько более подробное описание упомянутых уже* изменений в обстановке нашей общественной жизни. На самом деле, однако, здесь имеется ввиду не только изобразить одну из сторон этих изменений и указать общие им всем стремления, но одновременно с этим предполагается достигнуть также и других целей, выяснив существование других сопутствующих и еще более обширных изменений.

Как уже упомянуто на предшествующих страницах и обстоятельно изложено в «Принципах социологии» (в главе «О воинственном типе»), иерархическая субординация, подобная установившейся в рядах армии, приобретает все более широкую сферу распространения в воинственном обществе по мере усиления в нем милитаризма.

Такие слова, как «систематизация», «регулирование», «единообразие», «обязательное подчинение» и т.д. беспрестанно употребляются теперь при обсуждении социальных вопросов. Сплошь и рядом считают как бы аксиомой, что решительно все на свете должно созидаться по определенному плану. Недавние проявления общественного мнения в Англии свидетельствуют, до какой степени бессильными оказываются самые бесспорные научные истины, когда из противопоставляют предрассудкам толпы и модным ее прихотям. В настоящее время всем и каждому известно, что прогресс в мире живых организмов обуславливается единственно лишь непрерывной их изменяемостью и что единообразие необходимо влечет за собой косность, заканчивающуюся смертью. Можно было бы поэтому ожидать, что в обществе проявится стремление помогать усилению разнообразия или по крайней мере предоставлять ему возможно более случаев к проявлению. На самом деле, однако, причины, упомянутые в предшествовавшей заметке, вызвали у нас в Англии стремления совершенно противоположного свойства.

¹ Впервые напечатано в: *Spencer H. Facts and Comments. New-York, 1902.*

Правда, что до сих пор еще в Великобритании дело не дошло до такой однообразной систематизации, какой хвастался в соседнем с ней государстве один из министров народного просвещения, который, взглянув однажды на часы, сказал: «Все дети во Франции отвечают сейчас такой-то урок». Тем не менее англичане, сравнивая нынешнее свое положение с тем, которое предшествовало учреждению правительственных училищных советов, легко могли бы убедиться, что стоят теперь на пути к достижению этого идеала. У них имеется обстоятельно разработанная программа, с которой должны соотноситься директора и преподаватели училищ; правительственные инспекторы следят за тем, чтобы воззрения авторитарной власти выполнялись неукоснительно. Казенная регламентация зашла по некоторым отделам так далеко, что департамент народного просвещения позволил себе включить в программу начальных школ изучение метрической системы. Должностное лицо, стоящее во главе этого департамента, обладает достаточной властью для того, чтобы навязать и без того уже слишком обремененным детям изучение целой системы неупотребительных в Англии и совершенно ненужных им «мер».

Кроме начальных государственных народных школ, учреждены были казенные школы с программами, выходящими из рамок начального общего образования, а затем возникли также государственные технические училища для сообщения детям сведений и навыков, пригодных в различных отраслях практической деятельности. Таким образом возникли в Англии казенные училища научного, художественного и промышленного характера, в которых государство подготавливает детей неимущего люда не только к жизни вообще, но и к различным специальным карьерам. Тем временем исполнилось также и то, что я предсказывал лет тридцать уже тому назад. В государственных школах сделан был шаг к переходу от забот об одном только духовном развитии к заботам и о телесном благосостоянии учащихся. Придерживаясь догмата обязательности для общества заботиться о предоставлении детям возможности вступить в жизнь с надлежащей к ней подготовкой, признают теперь необходимым снабжать голодных детей пищей. Предлагали даже доставлять обувь детям малоимущих родителей. Если присовокупить к этому, что в Великобритании

около 30 тыс. детей престолярства обучается теперь в ремесленных и низших технических школах, которые содержатся на государственный счет и снабжены казенными преподавателями, то надо будет признать, что в течение всего лишь одного поколения сделаны уже Соединенным Королевством большие шаги к устройству иерархической системы для обработки детских умов по образцам, одобренным государственной властью.

Подготавливая граждан к жизни, правительство, разумеется, считает себя вправе и упорядочивать законодательным путем дальнейшую их деятельность. Покойный Плейдель-Бувери подсчитал, что в царствование Елизаветы из 269 парламентских актов 68 задавались целью упорядочивания промышленности и торговли. При Якове I та же цель преследовалась 33 актами из 167. Вскоре после этого все эти акты были отменены как бесполезные или даже вредные, но теперь, одновременно со стремлением вернуться к давно минувшему социальному типу, обнаруживается также возврат к правительственному контролю над промышленной деятельностью. Постановления относительно работы несовершеннолетних на фабриках и заводах проложили путь к законодательным мерам, стремящимся ограждать путем государственной опеки все более многочисленные классы рабочих. Несмотря на то что убытки, причиненные владельцу каменноугольных копей взрывом гремучего газа, сами по себе побуждают его принимать надежнейшие меры к предотвращению таких катастроф, нынешнее общественное мнение в Великобритании признает, что соблюдение должных мер предосторожности может быть обеспечено лишь при посредстве государственного надзора. Убеждение это оказывается до такой степени прочным, что его не могли поколебать даже и многочисленные взрывы каменноугольных копей, не предотвращенные воздействием государственного контроля. Казенные суда зачастую подвергаются несчастным случайностям и нередко гибнут от таковых, но тем не менее британское правительство обзавелось целым штатом чиновников, дабы покровительствовать служащим на судах торгового флота и ограждать их от несчастных случайностей. Судя по числу происшедших с тех пор кораблекрушений, мероприятия эти пока не привели к сколько-нибудь осязательным полезным результатам.

Обратимся, однако, от этих обособленных частных случаев, к фактам более общего характера. В первую половину XIX столетия, когда городское управление в Великобритании было еще сравнительно мало развито, деятельность его ограничивалась лишь выполнением немногих существенных задач: охраной общественного порядка (с помощью небольшого числа констеблей), мощением и очисткой улиц, освещением их масляными лампами, прокладкой и ремонтом фановых труб. Для удовлетворения все более возрастающего спроса на приспособления для различных видов обывательского комфорта, предприимчивые частные лица составляли акционерные общества и рисковали значительными суммами, рассчитывая на то, что останутся скорее в барышах, чем в убытке, если возьмутся удовлетворять потребностям своих сограждан. Еще в начале столетия возникли акционерные газовые общества, продававшие городским властям газ для уличного освещения. Вслед за тем возникли общества городского водоснабжения, затратившие громадные суммы на устройство резервуаров и прокладку сети главных и распределительных труб. На долю одного города за другим выпадали значительные выгоды путем применения тех же принципов, какими обыкновенно руководствуются в промышленности и торговле¹. Взамен частных акционерных обществ, составленных из людей, вложивших свои сбережения

¹ Читая сочинения социалистов и коллективистов, где упускаются из виду лишения, которые приходилось в былое время претерпевать городским обывателям, и где осыпают всяческими оскорблениями людей, которые, стремясь к личной для себя выгоде, вместе с тем благодетельствовали своих сограждан, мне не раз приходило в голову, как хорошо было бы перенести этих господ сочинителей лет на сто назад. Пусть бы они пожили в «доброе старое время», когда заставное попечительство не привело еще улиц и дорог в приличное состояние, когда жителям Лондона вода доставлялась не из водопроводных труб, а привозилась в кожаных мешках на вьючных лошадях, когда для освещения улиц обыватели вывешивали из окон фонари с салными свечами, причем сравнительно еще недавно запоздавшим гостям приходилось возвращаться домой с провожатыми мальчиками, несшими зажженные факелы. Каких-нибудь полгода, проведенных в такой бедственной обстановке, без сомнения, изменили бы чувства, питаемые упомянутыми сочинителями к газовым обществам и крупным компаниям водоснабжения, о которых они говорят теперь, как о врагах рода человеческого.

в предприятие с естественным желанием нажать на нем кое-что, у нас хозяйничают теперь городские управления, которые не только захватывают в свои руки одно за другим прежние частные предприятия по водоснабжению и уличному освещению, но и затевают на городской счет новые предприятия подобного же рода. Благодаря любезности одного из секретарей бирмингемской городской управы мне удалось ознакомиться с некоторыми подробностями организации различных отделов тамошнего городского хозяйства. Начнем с существеннейшего из них, с полицейского департамента, состоящего из 800 служащих семи различных разрядов. За ним следует департамент городских общественных работ (заведующий мощением улиц, трамваями, удалением нечистот и т.п.), с восемью отделами и 1726 служащими четырнадцати различных рангов. В отделе водоснабжения оказывается 469 служащих двадцати пяти подразделений (не считая служащих при новом эланском водопроводе). В отделе газоснабжения насчитывается 2845 служащих семи разрядов, а в сравнительно недавнем отделе электрического освещения — 113 служащих четырех разрядов. Затем упомянем о пожарной команде из 72 служащих пяти разрядов и об отделе городских бань, купален и парков со 137 служащих одиннадцати категорий. В отделах рынков и базаров имеется 45 служащих шести разрядов, а в отделе мер и весов 13 служащих четырех разрядов. В санитарной комиссии имеется три отдела: карантинный, собственно санитарный и больничный. В первом из них служат по найму 585 человек четырех разрядов, во втором — 75 человек пяти разрядов, а в третьем — 178 мужчин и женщин, принадлежащих тоже к пяти разрядам. В разных отделах департамента городских недвижимых имуществ (в одном из которых сосредоточено заведывание зданиями судебных учреждений) имеется 109 служащих различных категорий. Затем следуют городская богадельня и больница умалишенных. В первой из них 133 служащих одиннадцати разрядов, а во второй — 111 служащих шестнадцати разрядов. В городском ремесленном училище имеется 18, в школе изящных искусств с ее подразделениями — 157, в техническом училище — 66 служащих разных категорий. Наконец, городским музеем и картинной галереей заведуют 29 человек, состоящих на жаловании. Все эти служащие подчинены городской упра-

ве, состоящей из канцелярии и казначейского департамента. В первой из них насчитывается 15, а во втором 26 чиновников, стоящих на различных ступенях городской иерархии. В общей сложности бирмингемское городское управление состоит теперь из 7800 служащих, но в самом непродолжительном времени число их достигнет 8000. Таким образом, не ограничиваясь тем, что забрало в свои руки различные предприятия прежних акционерных обществ, это городское управление организовало еще несколько других предприятий, которые в настоящее время и эксплуатирует. В каждом из них имеется своя администрация, которая, подобно военной администрации, обладает целой иерархией различных чинов. Все это в совокупности напоминает распределение военных сил на роты, из которых последовательно составляются полки и бригады, подчиненные высшему начальству с главнокомандующим во главе.

Уильям Макбейн, коротко знакомый с организацией глазговского городского управления и читавший в прошлогоднем собрании Британского королевского общества доклад по этому поводу, дает следующие фактические данные относительно нынешней организации означенного управления: главный штаб — 60, городская полиция — 1400, отдел городских работ (надзор за строящимися и выстроенными уже зданиями, улицами, сточными трубами и т.п.) — 600, городское освещение — 700, очистка города — 600, городские инженеры и архитекторы — 12, городские трамваи — 3500, водоснабжение — 527, светильный газ — 3000, электричество — 1200, телефон — 400, пожарная команда — 121, городские сады, картинные галереи, музеи и т.п. — 300, рынки, базары, увеселительные заведения, пустопорожние места и т.п. — 150, городские юрисконсульты, ассессоры, и т.п. — 40, санитарный отдел — 700, библиотечный — 100, справочная контора для рабочих — 3, и т.д., а всего — 13 413 служащих. В общий итог не вошли (как в Глазго, так и в Бирмингеме) школьные и приходские власти со своими штабами. Число служащих там простирается для Глазго до 4000.

Как уже было говорено, возрастание и распространение иерархии общественных властей является одним из симптомов общего регресса, о котором свидетельствует в Великобритании усиливающиеся в ней стремления к империализму и сопутствующий им поворот к временам варварства. Весьма интересные

фактические данные, указывающие, что усиление субординации, подобно империализму, ведет англичан обратно к средневековым порядкам, можно почерпнуть из недавно обнародованных отчетов беверлейского городского управления за последние годы XV столетия. Все дела, затрагивавшие так или иначе общественные интересы, велись по тогдашнему обычаю различными цеховыми гильдиями, которых насчитывалось до 23. Эти группы, в которые тогда были организованы купцы, мелочные торговцы и ремесленники, до носильщиков тяжестей включительно, имели каждая своего старосту или альдермана с двумя помощниками и двумя надзирателями или инспекторами. Принадлежавшие к гильдиям и цехам хозяева держали у себя рабочих и учеников. Эти организованные корпорации находились под контролем городского управления, состоявшего сперва из 12 членов, которые выбирались хозяевами. Такие члены городской управы или держатели (keepers) обладали при выполнении своих обязанностей значительной властью над членами гильдий (цехов), позволявшей налагать крупные штрафы за различные проступки и нарушения установленных правил. Иначе говоря тогдашняя организация городского управления, хотя и преследовала несколько иные цели, но все-таки походила на современную английскую городскую администрацию по своему иерархическому устройству, обширности полномочий городской управы и властному надзору ее чиновников на всеми главнейшими проявлениями общественной деятельности.

Не довольствуясь предприятиями, исторгнутыми из рук акционерных компаний, центральное правительство и местные органы самоуправления у англичан начинают вторгаться в область мелкой промышленности и торговли в розницу. До сих пор еще Великобритания отстает в этом отношении от Франции, где фабрикация и продажа спичек, табака, пороха объявлены монополией казны и где существуют казенные заводы и фабрики для изготовления художественных сортов фарфора и ковров. Впрочем, за последнее время она быстрыми шагами движется вперед в этом направлении. Всего энергичнее проявляется это в постройке домов за общественный городской счет. Более 50 лет тому назад и вторично в 1884 г. я указывал*, что муниципальные предприятия такого рода по меньшей мере неуместны. Недавно лорды Эвбюри и Розбери отстаива-

ли в парламенте ту же истину. Теперь, однако, английское общественное мнение находится в состоянии такого увлечения, что его нельзя удержать никакими теоретическими доводами и указаниями на действительные факты, подобно тому, как не удержишь вожжами и лошадь, закусившую удила.

Муниципальные власти хотят во что бы то ни стало подвизаться в самых разнообразных отраслях производства и торговли. Ливерпульское городское управление продает, например, стерилизованное молоко для детей. Принимая во внимание уместность охранять не только детей, но и взрослых от заражения тифом или бугорчаткой, ничто не препятствует этому городскому управлению устроить себе из торговли молоком маленькую местную монополию. Хозяйственное управление квартала Тэнбриджских источников выращивает у себя хмель (весьма успешно, по заявлению его секретаря) и обзавелось для квартала собственным своим телефонным сообщением. В Торквее городская администрация разводит на продажу кроликов и откармливает овец на 2200 акрах городских лугов, вместо того чтобы продавать траву на покос частным лицам.

Следует заметить, что каждый шаг в этом направлении облегчает последующие дальнейшие шаги. Года три или четыре тому назад депутация от земской управы Лондонского графства ходатайствовала об учреждении городских пекарен, а теперь усматриваются симптомы того, что в Великобритании введена будет правительственная торговля спиртными напитками, прецедентами для которой послужат готенбургская система в Швеции и водочная монополия в России. Окрепнув в достаточной степени, коллективизм дойдет до устройства общественным мясных и зеленных лавок и т.д., так что в конце концов производство и распределение всех вообще продуктов будет организовано в многочисленные департаменты, каждый из которых будет состоять из директора с подчиненной ему иерархией чиновников и низших служащих, распределенных по ротам, полкам и бригадам. Во Франции, кроме военной армии, имеется непрестанно возрастающая армия гражданских служащих, численность которых достигает теперь почти 900 000 душ. Когда в Англии промышленность и торговля перейдут в общественное ведение, британское чиновничество окажется, без сомнения, еще многочисленнее.

Тем временем тот же самый процесс идет своим чередом среди ремесленников и другого рабочего люда, объединяющегося в союзы. Несмотря на некоторые различия, обусловленные приспособлением к неодинаковым занятиям, массы этого люда обладают многими общими элементами, одинаковым образом влияющими на их жизнедеятельность. Таково, например, распределение рабочих в иерархической последовательности на мастеров, полноправных рабочих и учеников. Подобно тому как и во времена процветания цехов, усматриваются и теперь узкие рамки для наибольшей дозволяемой численности учеников, а также преграды, затрудняющие рабочим переход из низшего разряда в высший. Существующие на этот предмет правила отличаются строгостью и нарушение их всегда вызывает донос и преследования. Члены рабочего союза, на которых поступил подобный донос, вызываются в распорядительный комитет рабочего союза, уполномоченный налагать тяжкие денежные штрафы на виновных. Еще более суровой карой является исключение из союза, так как изгнаннику весьма трудно найти себе работу.

В каждом ремесле или же роде занятий местные корпорации союза подчинены центральному управлению, которое имеет над ними известного рода контроль. Неоднократно уже предпринимались попытки объединению всех рабочих союзов в общую целостную организацию. При таких обстоятельствах надлежит признать, что повсюду в Великобритании проявляется теперь стремление к порядкам, напоминающим военную организацию с ее подразделениями на роты, полки и бригады. Все рабочие союзы в совокупности смотрят на себя как на армию рабочего люда. Заметим, кстати, что у них на сходках не раз уже заявлялось о дозвоительности применять военное право при столкновениях между рабочими и хозяевами.

В заключение укажем, что распространение и усиление субординации, замечающееся теперь во всех областях как частной, так и общественной деятельности, наглядно свидетельствует о сопринадлежности между проявлениями принудительной власти и подчинения таковой. Люди, которые в стремлении к целям, кажущимся им желательными с точки зрения интересов их труда, попирают ногами свободу других людей, отрекаются вместе с тем и от личной своей свободы. Члены рабочего

союза, наносящие побои посторонним рабочим, которые дерзают наниматься по более низкой цене, и таким образом препятствующие этим рабочим пользоваться свободой заключения договорных сделок, сами добровольно от нее отступаются, так как принимают на себя обязательство подчиняться решениям большинства своих товарищей и распорядительного комитета союза. Отрекаясь от естественных прав в надежде извлечь сравнительно ббльшую выгоду из своих сил и навыков, они не дозволяют посторонним рабочим пользоваться естественными человеческими правами и наделяют презрительной кличкой черноногого*, т.е. жулика, тех, кто настаивает на своем праве самостоятельно вступать в соглашение с работодателем. Впрочем, дело этим не ограничивается. Вожди рабочих союзов отзываются одобрительно о бурском правительстве, так как оно, защищая стачников, отказывало в полицейской защите «черноногим». Члены рабочих союзов добровольно перешли уже в состоянии полурабства, а с дальнейшими успехами империализма, возврата к варварству и распространения субординации, это полурабство превратится в конце концов в полное рабство, которое и окажется вполне ими заслуженным.

ХІХ | САМОПРОИЗВОЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ¹

Мне случалось уже приводить примеры того интересного факта, что социальное зло, пока оно очень еще велико, совершенно игнорируется общественным мнением, или же не привлекает к себе особенного его внимания. Затем, когда зло это по каким-либо причинам смягчается, его начинают замечать, что вызывает стремление к дальнейшему его ослаблению. Впоследствии, когда зло значительно уже уменьшилось, появляется со стороны общества требование строжайших мероприятий для окончательного его подавления. Таким образом, настоятельное требование искусственных мер к подавлению социального зла, предъявляется лишь после того, как значительная часть этой задачи уже выполнена естественными факторами. В качестве одного из примеров приведено было мною чрезвычайное ослабление пьянства, которое стало обнаруживаться в Англии с конца XVIII столетия, после чего, в недавние времена британское общество начало громко требовать принятия законодательных мер к его подавлению. Поводом к тому, чтобы вторично напомнить об этом примере, послужило мое открытие документов, свидетельствующих, до какой крайности доходило у наших прадедов злоупотребление спиртными напитками. Разбирая материалы для приходской истории, хранившиеся на полках одного из деревенских домов в Суссекском графстве, я нашел там выдержки из дневника местного мелочного торговца Томаса Тернера, показывающие, что он был человеком религиозным и охотно читал «хорошие» книжки. Компилятор упомянутых материалов говорит о Тернере: «Он ходил по воскресеньям в церковь каждый раз, когда ему удавалось не слишком сильно напиться в субботу вечером, и всегда заносил в свой дневник критические заметки о проповедях, которые ему доводилось слушать... Несмотря на крайнюю невоздержанность

¹ Впервые напечатано в: *Spencer H. Facts and Comments. New-York, 1902.*

в употреблении спиртных напитков, он, по-видимому, не был в этом отношении значительно хуже большинства своих соседей. Когда они сходились вместе по делам или удовольствия ради, им доводилось расходиться не иначе, как в пьяном виде».

Вот что повествует сам Тернер: «21 апреля 1756 г. побывал в ревизионной комиссии и вернулся оттуда пьяный... 25 ноября. — Заходил ко мне в лавку лофтонский викарий... Он сидел у нас после обеда, пока не охмелел, а я из любезности напился совсем допьяна ему за компанию... Общество из 15 человек, в том числе викарий нашего прихода мистер Портер и его супруга, собралось в четыре часа пополудни... После ужина пили все время так проворно, как только успевали проглатывать». Часам к трем утра Тернеру удалось вернуться домой, «даже не спытаясь», жену его доставили восвояси двумя часами позже. Затем, по предложению супруги викария г-жи Портер, кутеж возобновился на следующее утро. «Г-н Портер проповедовал после попойки ничуть не хуже обыкновенного, приглашая своих прихожан воздерживаться от площадной брани». Спустя лишь несколько дней то же самое общество собралось у почтеннейшего викария. «Мы пели и пили словно лошади до тех пор, пока многие из нас не оказались пьяными в стельку». В другой выдержке из того же дневника мы видим поучительный образец не только общественного одобрения этих обычаев, но даже чего-то еще более внушительного. Говоря об одном полученном им приглашении, Тернер добавляет: «Если туда пойти, я должен буду пить столько, сколько им вздумается, а не то меня назовут несчастеньким чудачком. Если не принять приглашения, то опять-таки решат, что я негодный и злонравный гордец...» Он решился идти... «Думаю, что когда я собрался уходить, то во всей нашей компании не было ни одного трезвого». Подобные же факты сообщаются школьным учителем Вальтером Генэ, после которого остался тоже дневник. Вообще, из всей совокупности имеющихся материалов видно, что в те времена в британском обществе злоупотребление спиртными напитками было распространено повсеместно. При таких обстоятельствах приходится считать заслуживающей доверие следующую выдержку из «Прогулки на Гебридские острова»*, которые без приведенных нами фактов могла бы показаться неправдоподобным преувеличением: «Доктор Джонсон заметил, что мы пьем

меньше наших предков единственно лишь вследствие перехода от эля к вину. “Я помню, — говорил он, — еще те времена, когда все порядочные люди в Лейчфилде напивались допьяна каждый вечер, причем репутация их от этого не страдала”».

Если бы даже было позволительно скинуть кое-что с этого заявления, нам все-таки пришлось бы заключить из него об изумительных размерах тогдашнего пьянства.

Чем же произведено совершившееся с тех пор преобразование? Во всяком случае не законодательными мерами карательного или принудительного свойства. Подобно многим другим улучшениям в общественном быте, переход от пьянства к трезвости произошел медленно и постепенно от воздействия естественных причин. Тут проявилась целебная сила природы. Этот крупный факт, равно как и другие крупные факты подобного характера, оставляются без внимания политическими агитаторами, которые ни под каким видом не хотят признавать естественный процесс эволюции, вызываемой повседневной человеческой деятельностью, хотя им свидетельствуют о нем на тысячу ладов, во всякое время дня и ночи, очевиднейшие факты. Наши жилища, домашняя утварь, платье, топливо и пища — все это создается самопроизвольными усилиями граждан удовлетворить взаимные насущные потребности. Нынешние пастбища и нивы были прежде пустырями и болотами, причем совершившееся с ними преобразование вызвано частной предприимчивостью. Простые и железные дороги, пароходство и телеграф являются результатом совместных усилий мирных обывателей, подстрекаемых личными выгодами и стремлением к комфорту. Разрастание деревень и городов обуславливается тоже частной деятельностью. Округа, в которых развилась та или иная отрасль производства, достигли нынешней своей специализации вследствие старания частных лиц приискать себе средства к возможно лучшему существованию. Громадная распределительная организация с обширными ее оптовыми складами и лавками для розничной продажи, которые окаймляют улицы и содержат в себе несметное множество всевозможных товаров возникла сама собой, а не по задуманному кем-то плану. Ярмарочные города и местечки сделались центрами периодического обмена тоже без всяких предварительных распоряжений и предписаний. В самом Лондоне вырабо-

тались подобным же образом многочисленные центры для еще более крупных торговых операций высшего порядка, где можно ежечасно чувствовать биение мирового пульса. Точно так же путем самопроизвольной кооперации возникли громадные флоты паровых и торговых судов, которые привозят и увозят товары и пассажиров откуда и куда угодно. В неменьшей степени обязаны мы совместной деятельности частных лиц прокладкой сети подводных телеграфов, при посредстве которой установилось теперь у нас на земле нечто вроде целостного общечеловеческого сознания. Между тем все это устраивалось помимо всякого правительственного почина. Если мы зададим себе вопрос о ходе развития науки, на почве которой выросли такие существенно важные изобретения, то должны будем ответить, что сама наука возникала и развивалась помимо правительственного вмешательства. Тот же ответ следовало бы дать и на вопрос о возникновении всех вообще изобретений. Ежедневная, еженедельная и ежемесячная периодическая печать является таким же результатом частного почина, как и могучий поток книг, непрерывно выходящий в свете. То же самое надо сказать и относительно всех художественных произведений: музыки, живописи и ваяния в многообразных их проявлениях, а также относительно общественных удовольствий, которыми заполняются теперь часы отдыха. Обширная социальная организация, которой каждый из нас помогает действовать и которая, в свою очередь, делает для каждого жизнь возможной путем удовлетворения его потребностей, является постольку же продуктом естественного развития, как и язык, служащий нам для сообщения друг другу о наших потребностях. И эта организация, и язык возникли оба совершенно независимо от авторитета государственной власти — от усмотрения монархов и парламентов. Смешная теория Карлейля о «великом человеке» и его подвигах совершенно игнорирует указанное здесь естественное происхождение общественного строя и различных форм его деятельности. Теория эта смешивает поступки монарха, изменяющего направление деятельности своих современников, с эволюцией великого политического организма, в которой эти поступки имеют характер простого инцидента. Подобным же образом ребенок, увидевший впервые дерево, которое садовник подрезает и подстригает, мог бы, пожалуй, счесть такого

садовника истинным творцом всего дерева. Это было бы с его стороны вполне извинительно, так как ребенок фактически наблюдает деятельность садовника и ничего не ведает о деятельности солнца, дождя, воздуха и почвы. Неразвитые умы оказываются в положении такого ребенка, потому что не могут подметить результатов медленного, незримого и неслышного воздействия естественных причин.

Воспитание и образование в том виде, в каком они применяются теперь, не только не уменьшают этой неспособности, но даже, напротив того, как будто стремятся к ее увеличению. Так называемое гуманитарное образование, которое стараются по преимуществу прививать нынешней молодежи, занимается, поскольку оно выходит из рамок языковедения, почти лишь подвигами отдельных личностей. По ознакомлении с традиционной деятельностью богов и героев, великих полководцев и завоевателей, изучаются произведения историков и философов и поэтов. Переходя затем к Средним векам и наконец к истории последних столетий, излагают эту якобы историю так, как если бы она состояла, главным образом, из биографий монархов, рассказов об их взаимных столкновениях, об интригах и смутах между их вассалами и различными вельможами. При таких условиях в сознании человека, закончившего общее свое образование по программам, которые считались до последнего времени наилучшими, нет места для понятия о естественной причинности заменяется идеей, если так можно выразиться, искусственной причинности, действующей через посредство предназначенных для того личностей и с помощью сил, управляемых той или иной индивидуальной волей. Вследствие подобной замены получается возможность явственно постигать мелкие изменения, производимые теми или другими официальными деятелями, но не возникает представления о крупных преобразованиях, вырабатывающихся постепенно, путем повседневного воздействия факторов, не направляемых авторитетом государственной власти. При таких обстоятельствах создается понятие об обществе, как о мануфактуре весьма сложного устройства, а не об организме, способном к самоусовершенствованию. Это ошибочное понятие, искажающее в широких размерах политическое мышление, приводит, как в случае, которым я воспользовался здесь в качестве примера, к убеждению,

что изменения к лучшему могут быть достигнуты лишь путем принудительных мероприятий. Усмотрев какое-нибудь общественное зло, считают поэтому необходимым издать для подавления его соответствующий закон. Подобным же образом признают желательным подкреплять каждое благое начинание приличествующим парламентским актом.

XX | ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ¹

Еще в ранней молодости мне неоднократно случалось оставаться при обсуждении спорных вопросов в меньшинстве, иногда весьма незначительном, так как оно равнялось подчас всего лишь одному голосу против всех остальных. В то время как в Англии государственное образование обсуждалось скорее академически, чем в качестве вопроса, способного представлять практический интерес, я расходился во взглядах на него почти со всеми моими соотечественниками, потому что осмеливался порицать самый принцип такого образования. И теперь еще я продолжаю относиться к нему неодобрительно, хотя большинство англичан признает в настоящее время политической аксиомой ответственность правительства за умственное развитие своих подданных.

В 1840-х годах вопрос о народном образовании путем правительственного воздействия зачастую обсуждался мною с одним из моих друзей, указывавшим в своих письмах, что необходимые для такого воздействия денежные средства могут быть получены путем обложения церковных имуществ. Уже и в то время я стоял за ограничение сферы правительственного воздействия, а потому на основании как этого общего принципа, так и особых частных соображений, высказывался против включения в нее народного образования. Основной принцип, из которого я исходил и к которому присоединялись частные соображения, вполне выяснившиеся лишь позже, заключаются в том, что общество является продуктом последовательного развития, а не фабричным изделием, изготовленным по чьему-то заказу. Особые соображения, согласовывавшиеся с этим основным принципом, сводились к тому, что закон спроса и предложения распространяется на сферу не только

¹ Впервые напечатано в: *Spencer H. Facts and Comments. New-York, 1902.*

вещественных, но и духовных соотношений. Так как правительственное вмешательство положительно вредит в вещественной сфере спроса и предложения, то позволительно заключить, что оно окажется вредным также и в психической сфере спроса и предложения развитых умственных способностей. Спустя много лет мнение моего друга, по собственному его признанию, существенно изменилось вследствие житейского опыта, приобретенным им в бытность судьей в Глостерском графстве. Он убедился, что искусственное распространение образования вредно влияет на земледельцев и ремесленников, вызывая у них честолюбивое стремление к иной карьере, которая, вследствие разочарований, нередко приводит к дурным результатам, а иногда и к преступлениям. Он пришел к убеждению, что в тех случаях, когда умственное развитие распространяется в народных массах быстрее, чем совершенствование нравственности, получается, вместо ожидаемой пользы для общества, положительный вред. Убеждение это, высказанное в несколько иных и менее определенных выражениях, сперва меня изумило и поразило, но вскоре я уяснил себе полную его солидарность с воззрениями, которые всегда мною отстаивались.

Я не имею здесь в виду входить в обстоятельное рассмотрение общего вопроса о народном образовании в Англии. В противном случае мне пришлось бы протестовать против компетентности британского правительства определять, в чем именно должно заключаться народное образование по своему существу, способу и порядку усвоения.

Мне пришлось бы отрицать у государственной власти право навязывать подданным свою систему преподавания и требовать под угрозой кары за неповиновение, чтобы детские умы обрабатывались по одобренному ею образцу. Я вынужден был бы заявить о несправедливости законодательных мер, с помощью которых отнимаются в форме налога сбережения у А, чтобы платить за обучение детей Б, короче сказать, мне пришлось бы снова протестовать против политического суеверия, заменившего божественное право английских королей божественным правом парламентов. Намереваясь ограничиться лишь одной, слегка намеченной уже здесь, стороной этого вопроса, я хочу выяснить отсутствие обыкновенно предполагаемой связи между умственным развитием и нравственным

совершенствованием. Вместе с тем представлены будут доказательства тому, что искусственное умственное развитие, не сопровождающееся соответственным развитием нравственности, приносит обществу не пользу, а только вред.

Одним из лучших способов для определения хорошего или дурного влияния на народные массы искусственно усиленного умственного их развития является рассмотрение того, чему именно обучает их повседневная печать и каковы результаты этого обучения.

Весьма хорошим вступлением к такому исследованию может служить следующая выдержка из старинного журнала «The Idler». В ноябре 1758 г. д-р Джонсон писал: «В военное время всегда проявляется в народных массах единодушное стремление слышать что-нибудь хорошее о самих себе и что-нибудь дурное о неприятелях. Задача газетчиков становится тогда очень легкой. Для выполнения ее достаточно сообщить сперва, что ожидается сражение, а потом — что оно состоялось, причем, каков бы ни был его исход, англичане и союзники и выказали величайшие доблести, тогда как неприятель ничего путного не сделал. К бедствиям, сопровождающим войну, надо, по всей справедливости, причислить уменьшение любви к истине, обусловленное привычкой лгать, предписываемой личными выгодами и поощряемой легковерием. Заключение мира оставляет как английского воина, так и повествователя о его подвигах без определенных занятий и я не знаю, чего именно надо в большей степени опасаться: переполнения улиц солдатами, привыкшими к грабежу, или же переполнения чердаков писателями, привыкшими ко лжи?»

С тех пор минуло уже полтора столетия, но положение вещей за это время, сколько можно судить, изменилось лишь очень немного. Известия с театра южноафриканской войны оказывались сплошь и рядом переполненными всяких вымыслов, преувеличений и умолчаний. Много было в них искажено или совершенно стусhevано. Образчиком может служить появившееся после начала войны, а именно в октябре 1899 г., сообщение о том, что хлеба у буров гниют на корню (сочиненное, без сомнения, в Лондоне репортером, который забыл, что здешней осени соответствует в Южном полушарии весна). Несколько месяцев спустя это не помешало объявить, что у буров уборка хлебов

в полном разгаре, благодаря чему население Ледисмита отнеслось будто бы совершенно равнодушно к известию от отражении британских войск, намеревавшихся освободить этот осажденный бурами город. Однако же, значительно позже, обнаружено было в «Таймс» письмо корреспондента этой же газеты из Ледисмита, где заявлялось, что упомянутая неудача повергла всех жителей злополучного города в величайший ужас. Подобным же образом по известиям из различных укрепленных местностей, осажденных бурами, бомбардирование не приносило английским их гарнизонам почти никакого вреда, а между тем по освобождении Кимберли выяснилось, из доклада мистера Родса, что в этом городке урон за время осады простирался до 120 человек убитых и раненых. Специальный корреспондент газеты «Глоуб» прямо сознается, что искажение фактов считалось для репортеров обязательно необходимым. Он пишет: «По отношению к этой войне проявляется у нас своеобразное ложное понимание верноподданничества и патриотического долга. Если бы кто-нибудь дерзнул заявить, что дела принимают критический оборот, то это было бы сочтено с его стороны чет-то вроде государственной измены. Поражения должны поэтому выставляться победами» (Globe. 1900. 26 февраля).

Другой газетный корреспондент, м-р Янг, имел случай лично убедиться, что военная цензура не только препятствовала сообщать о действительных фактах, но в то же время охотно распространяла заведомо ложные известия. В качестве примера приведем следующий случай. Находящиеся в плену у буров английские офицеры и солдаты единодушно утверждали, что буры обращались с ними очень хорошо до последнего периода войны, когда англичане принялись систематически выжигать фермы и захватывать бурских женщин и детей. Покойный сэръ Джордж Грей говорил о бурах: «Не знаю ни одного народа, который был бы богаче доблестями как в частной, так и в общественной жизни», а между тем корреспондент газеты «Дейли мейл» м-р Рамер позволил себе писать о бурах: «У них нет ни мужества, ни добросовестности... это трусы, не осмеливающиеся смотреть прямо в глаза опасности... бесчеловечные полудикари, исполненные сатанинского коварства» т.п.

Подобного рода известия получались с театра южноафриканской войны в продолжение не только всей зимы, но также

весны и лета. Очевидная лживость их вызывала у некоторой части читающей публики все более возрастающую недоверчивость, но масса газетных читателей поглощала с такой же алчностью, как и во времена Джонсона, все рассказы, лестные для соотечественников и заторные для неприятелей, пока наконец английскую публику не угостили присланным из Китая образчиком лживости газетных известий, настолько уже поразительным, что он сразу же подорвал доверие к газетам. Сперва появился отчет о резне, будто бы происходившей в Пекине, с обстоятельным описанием стойкого сопротивления европейцев, отчаянных рукопашных схваток и окончательного истребления малочисленных представителей западной цивилизации желтолицыми извергами, причем приводились ужасающие подробности о зверствах, которые проделывались китайцами на несчастными, попавшими им живьем в руки. Несколько дней спустя неопровержимо выяснилось, что этот обстоятельный отчет был просто напросто вымыслом, лишенным всякого основания. На самом деле не было ни резни, ни зверств. Эта наглая ложь и ее разоблачение обрушились на английскую публику без предварительной подготовки, а потому произвели более сильное впечатление, чем масса противоречивых известий о южноафриканских событиях, и заставили общественное мнение обратить внимание на бесцеремонное искажение истины, принявшее характер установившегося обычая. Вспомнили, что телеграммы подвергаются при случае тщательной обработке на Флотской улице*, причем из четырех слов изготавливается иной раз сорок. «Старый публицист» в заметке, которая была помещена в «Таймс» от 29 августа 1900 г., рассказывает, что блестящее описание разных перипетий боя, занявшее в газете целый столбец, было выработано таким путем из телеграммы в 20, много 30 слов.

Такое систематическое надувание публики объясняется заведомой ее жадностью к сенсационным известиям, ввиду которой газеты, дабы не упускать денежных своих интересов, считают себя вынужденными соперничать друг с другом в измышлении ложных или, по крайней мере, преувеличенных сообщений.

Вышеприведенное было мною написано в 1900 г. Позволю себе добавить к нему показания двух очевидцев южно-

африканской войны, извлеченные из появившихся в декабре 1901 г. в печати «Неофициальных депеш» Эдгара Уоллеса и «С ремингтоном» капитана Филлипса*. Несмотря на свое разногласие относительно способов ведения войны (публицист высказывается за возможно большую ее суровость, а капитану хотелось бы смягчить ее ужасы), оба они единодушно порицают систематическое искажение истины военной цензурой. Мистер Уоллес называет главного цензора при армии лорда Робертса «лордом — искажителем телеграмм», объясняет, что цензор пропускал без всяких возражений депеши «необычайно оптимистического свойства», но в то же время, опасаясь вызвать недовольство главнокомандующего», не решался пропустить пессимистическую депешу, «как бы она ни согласовывалась с действительностью». Капитан Филлипс рассказывает, в свою очередь, что финансовая клика захватила в свои руки печать, распорядилась на телеграфе, пересматривала депеши и решала, какого рода известия должны получаться в Англии... При этом заведомо возводились на буров небылицы, способные возбудить негодование английских народных масс». Болезни и смертность среди буров, совместно с опустошением их ферм, производят на капитана впечатление «долгой, медленной пытки, от которой эти несчастные обливаются кровавым потом и еле дышат... Было бы до чрезвычайности важно выяснить все эти обстоятельства английскому народу, так как это заставило бы изменить способ ведения войны».

Таким образом, бесспорно доказано, что народные массы в Англии обыкновенно вводятся в обман ложными сведениями, которые преподносятся им в газетах.

Рассмотрим теперь следствия, вытекающие из такого порядка вещей. Лондонские ежедневные газеты расходятся, надо полагать, миллионах в трех экземплярах, а провинциальные английские газеты, вероятно, в еще большем количестве. При таких обстоятельствах умышленно искаженные известия поглощались ежедневно всей массой английского народа, которая и перед тем уже была раздражена ложными утверждениями, извлеченными из южноафриканских газет. Все это вместе породило в народной массе чувство свирепого ожесточения, проявляющееся теперь повсеместно в Великобритании зверским обхождением с теми, кто решается думать и говорить,

что в войне с бурами право оказывается всецело на стороне англичан. Здесь мы стоим лицом к лицу с расхордившимися страстями людей, обученных на казенный счет до уровня, на котором проявляется уже стремление читать газеты «с жадностью поглощая восхваления по собственному адресу и уничижительные отзывы о неприятеле». Дремавшие инстинкты предкового варварства были пробуждены беспринципной печатью, которая принесла бы сравнительно ничтожный вред, если бы искусственное распространение умственного развития в народных массах не подчинило их ее влиянию. В одной из пьес Шекспира заявляется: «Истины у нас с трудом лишь хватает на ограждение общественной безопасности». В данном случае можно было бы сказать, применяясь к нынешним условиям: «Истины едва лишь хватает на поддержание общества в здоровом состоянии». Свиристующая теперь военная горячка, причиняющая такие страшные бедствия не только за границей, но и в общественной жизни самой Англии, обусловлена тем, что народным массам ежедневно приходится дышать в атмосфере, пропитанной ложью. Разве не усматривается здесь довода в пользу предположения, что усиленное развитие умственных способностей, когда оно опережает совершенствование нравственности, может повлечь за собой самые бедственные результаты?¹

¹ После того как это уже было написано, мне удалось ознакомиться с замечательным образчиком одного из обычных способов искажения суждений, на которых зиждется общественное мнение. Я буду ссылаться здесь на указания свидетеля, который по своему долгому жизненному опыту и высокому положению в армии должен считаться заслуживающим полного доверия. Фельдмаршал сэр Невил Чемберлен говорит: «Никогда еще до сих пор британская армия не учиняла подобного такому массовому и бесцеремонному истреблению и уводу женщин и детей». В конце июля 1901 г. он послал в один из журналов письмо, в котором содержались заявления вроде только что приведенной выдержки, где порицался образ действия англичан во время южноафриканской войны. Редакция журнала в продолжении нескольких дней не отвечала на это письмо, а когда фельдмаршал стал осведомляться по телеграфу о причинах такого молчания, ему прислали наконец корректурный лист с пометкой, что некоторые места, составлявшие как раз сущность письма, непременно должны быть выпущены. Вследствие мотивированного таким образом промедления, сэр Невил Чемберлен обнародовал свое письмо в другом журнале. В данном случае сделана была обычная в Англии

Другим доводом в пользу того же самого заключения служит распространение анархистских учений в Западной Европе. Подавленная тяжестью налогов, все возрастающей вследствие требований, предъявляемых нынешней системой государственной обороны, значительная часть населения западноевропейских материковых государств живет в состоянии хронического недовольства существующими порядками. Более образованные среди этих несчастливцев оказываются склонными мысленно устанавливать связь между бедственным своим положением и правительственной организацией, которая налагает руку на их средства к существованию и ежегодно привлекает к отбыванию воинской повинности сотни тысяч молодежи. При этом зачастую не хотят или не могут усмотреть, что какая-нибудь правительственная организация все же необходима и до известной степени полезна для народа. Эти лжеучения разделяются не только прирожденными преступниками, но и значительной частью нынешнего образованного западноевропейского люда. Если бы не было таких удобств для обмена мыслей, которые создаются грамотностью, соединенной с некоторым запасом сведений, то пропаганда анархизма, без сомнения, не могла бы так легко прививаться к народным массам.

Очевидно, что в данном случае умственное развитие, опередившее прогресс нравственности, причинило обществу громадный вред.

Можно с уверенностью сказать, что умственное развитие, облегчая для человека возможность проявления эмоций и удовлетворения таковых, придает большую напряженность эмоциональной его жизни. Такое усиление ее, разумеется, выгодно там, где эмоции высшего порядка преобладают над более низменными. Оно окажется безвредным в случае равновесия между обеими категориями эмоций, но, к сожалению, у нынешнего среднего человека низменные эмоции могущественнее более возвышенных. Об этом свидетельствуют между прочим результаты,

попытка воспрепятствовать обнародованию мнений, несогласных с воззрениями преобладающей партии, которые всегда распространяются, напротив того, в самых широких размерах. Таким образом истина замалчивается и подавляется не только цензурой на южноафриканском театре войны, но также и домашней цензурой в самой Англии.

получающиеся при внезапном устранении всех сдерживающих социальных факторов. При таких условиях образование, увеличивая могущество всех вообще эмоций, усиливает, главным образом, преобладающие эмоции низменных категорий, вследствие чего сдерживающее влияние, оказываемое на них эмоциями высшего порядка, ослабляется. Через это возникает для общества сравнительно бóльшая опасность подвергаться различным пертурбациям и катастрофам.

«Отсюда вы заключаете, что в интересах общественной безопасности надо держать народные массы в невежестве!» — воскликнут, пожалуй, многие из читателей. Действительно в Англии очень распространено общепринятое на материке Европы предположение, будто в каждом данном случае непременно надо или «содействовать» или «предотвращать». Вообще говоря, редко кто признает уместность политики невмешательства, которая, воздерживаясь от содействия и предотвращения, дозволяет естественному развитию идти нормальным его ходом. Что до меня касается, то я не имел в виду заключать из вышеизложенных соображений о необходимости насильственно удерживать рабочее сословие во мраке невежества и только хотел заявить, что образование должно распространяться среди рабочего люда таким же способом, каким оно распространялось в высшем и среднем сословии. Я не возражаю даже против поддержки, оказываемой народной школе частными лицами, в той мере в какой эта поддержка обусловлена филантропическими чувствами, потому что такие чувства и вызываемые ими результаты служат элементами нормальной эволюции образования. Возразив против такого ложного истолкования моих мыслей, я позволю себе тем не менее указать на чрезвычайно странный контраст. Ограждение общественной безопасности признается целью до такой степени важной, что для достижения ее разрешается лишать граждан свободы действий и подвергать их смертельной опасности. Можно созывать их в случае надобности под знамена и вести на поле битвы, где они рискуют лечь костями за свою Отчизну. Такое полное подчинение отдельной личности обществу не порицается как несправедливость или жестокость, тогда как в рассматриваемом нами случае признают несправедливым и жестоким заставлять гражданина в интересах той же государственной

безопасности воспитывать собственных его детей без казенной поддержки. В обоих случаях, конечной целью служит общественная безопасность, но в одном случае считается правильным заставлять человека даже рисковать своей жизнью, тогда как во втором случае считается неправильным, что его оставляют делать все что в его силах ради себя и своих детей! То есть считается неправильным не отнимать собственность друзей людей, чтобы помочь ему.

Можно подчеркнуть еще один факт. Если позволить спросу и предложению свободно действовать в интеллектуальной сфере, подобно тому как они действуют в сфере экономической, и не создавать помех для проявления естественного превосходства, образование будет оказывать влияние, совершенно отличное от описанного выше, оно будет способствовать социальной стабильности и производить другие благотворные эффекты. Если в нижних классах повышение культуры своих детей отдать на усмотрение родителей, с тем чтобы они делали для это все, что в их силах, точно так же как в обеспечении их пищей и одеждой, преимущество получают дети лучших из них: бережливые родители, энергичные, обладающие высоким чувством ответственности, будут покупать образование своим детям в большем объеме, чем родители недалековидные и праздные. И если характер наследуется, тогда в среднем дети лучших будут жить богаче и число [их потомков] увеличится больше, чем детей худших. Произойдет преумножение наиболее приспособленных, а не наименее приспособленных.

XXI | ПАТРИОТИЗМ¹

Затронутый за живое, если бы кто-нибудь обозвал меня нечестным или неправдивым, я остался бы совершенно равнодушным, если бы обо мне сказали, что я не патриот. «Так вы, значит, не любите свою отчизну?» — осведомится, пожалуй, читатель. На этот вопрос нельзя ответить сразу совершенно определенно.

В жизни английского народа имеются многие черты, о которых позволительно вспоминать с гордостью. К ним принадлежат, например, давнишняя отмена крепостного права, давнишнее же развитие свободных институтов и признание народных прав в большей мере, чем это произошло на материке Европы после того, как с упадком феодализма прекратилось прикрепление народа к земле.

Постановляя, что каждый раб немедленно же освобождается, как только ему удалось ощутить у себя под ногами английскую почву, прекращая ввоз рабов в английские колонии, уплатившая 20 млн ф. ст. за освобождение рабов в Вест-Индии и держа (хоть и в убыток себе) целый флот для пресечения торговли невольниками, мои соотечественники, разумеется поступали весьма похвально. Давая у себя приют политическим беглецам и вступаясь за маленькие государства, изнемогавшие в борьбе за свободу, Англия опять-таки обнаруживала благородные черты, возбуждающие сочувствие. В ее политике имеются, однако, и другие черты, встречающиеся за последнее время, к несчастью, гораздо чаще и вызывающие впечатления совершенно противоположного свойства. Так, всматриваясь в поступки, с помощью которых Англия приобрела более 80 различного рода владений, именуемых факториями, колониями, протекторатами и т.п., нельзя ощущать ничего похожего на удовольствие.

Последовательные переходы от благочестивых миссионеров к резидентам и к официальным должностным лицам, располагающим вооруженными силами, а затем к строгому наказанию тех, кто дерзал противиться их распоряжениям, и, наконец, к так назы-

¹ Впервые напечатано в: *Spencer H. Facts and Comments. New-York, 1902.*

ваемому умиротворению, — все эти способы присвоения чужих земель, применявшиеся то сразу, то постепенно, как, например, приобретение новой области в Индии и захват южноафриканской страны бароциев, которую объявили английской колонией, столь же мало справлялась с желанием ее населения, как и с желаниями обитающих там диких зверей, не могут вызывать симпатий к виновникам таких поступков. Любовь к Отечеству не разгорается в моем сердце, когда я вспоминаю, что после заявления нашего первого министра о долге и чести, обязывавших нас завоевать Судан, дабы вернуть его египетскому хедиву, мы тот час же принялись управлять Суданом от имени королевы Виктории и хедива, т.е. фактически присоединили эту область у своим собственным владениям. Точно так же я не ощущаю любви к Отечеству, когда вижу, что Англия, обещав устами двух министров колоний не вмешиваться в дела Трансваальской республики, позволила себе настаивать на отмене некоторых ограничений в Трансваальских законах о выборах и, вследствие сопротивления ее требованиям, начала против буров жестокою опустошительную войну¹. Английский национальный характер не представляется мне достойным любви, когда он проявляется в овациях вождю флибустьеров, в присуждении почетного университетского диплома архизаговорщику, в бурных одобрениях, которыми младшие члены университета приветствуют человека, насмехающегося над «елейной честностью» тех, кто противился осуществления агрессивных его замыслов. Если из-за того, что моя любовь к Отечеству не в состоянии пережить этих и многих подобных им испытаний, меня будут называть непатриотом, то я примирюсь с такой кличкой.

Возглас «За Родину, будь она права или нет!» — кажется мне положительно мерзостным. Выражающееся в нем чувство как бы оправдывается до некоторой степени сочетанием с любовью к Отечеству, но стоит только сдернуть с него этот покров и тот час же выяснится, что упомянутое чувство принадлежит

¹ Постоянно твердят, будто война эта начата самими бурами, но заявление это просто напросто уловка, которая никого на самом дела обмануть не может. На Дальнем Западе Северо-Американских штатов, где сложилась поговорка, что жизнь каждого в его собственных руках, и где народ хорошо усвоил себе обычаи поединка, человек, который первый протянул руку к оружию, считается нападающим. Применение этого правила к данному случаю очевидно.

к разряду самых низменных. Рассмотрим оба представляющиеся здесь случая.

Допустим, что наше Отчизна права и что она сопротивляется неприятельскому вторжению. Тогда мысли и чувства, воплощенные в упомянутом возгласе, сами по себе совершенно справедливы. Действительно, можно с успехом доказывать, что самооборона является не только дозволительной, но даже и обязательной. Напротив того, допустим теперь, что наше Отечество вздумало играть роль нападающей стороны, завладело чужой территорией или же навязывает с оружием в руках свои товары (например, опиум) народу, не желающему допускать их к себе, что оно, вступаясь за своих граждан, намеревается «покарать» тех, кто дерзнул против них возмущаться, короче говоря, допустим, что Англия поступает несправедливо. Что именно означает в таком случае возглас «За Родину, будь она права или нет!»? Право тогда оказывается на стороне наших противников, а несправедливость — на нашей стороне. Каким образом следовало бы при таких обстоятельствах точнее выразить патристические наши пожелания? Очевидно, для этого оказались бы самыми подходящими слова: «Долой право! Пусть торжествует несправедливость!» Во всех других случаях такое сочетание целей возможно единственно лишь при самых высших степенях злодейства. В старину верили, а многие верят до сих пор, в бытие олицетворенного принципа зла, в существо, которое повсеместно ведет борьбу против добра и пособляет торжеству зла. Трудно было бы короче выразить цели и стремления этого существа, как теми же самыми словами: «Долой справедливость! Пусть торжествует несправедливость!» Не знаю, понравится ли так называемым патристам это сопоставление.

Несколько лет тому назад мне довелось выразить в довольно резкой форме собственные мысли и чувства, которые, без сомнения, назовут антипатристическими. Это случилось в самый разгар второй афганской войны**, когда в угоду тому, что считалось «британскими интересами», мы вторглись в Афганистан. Только что пришла телеграмма об опасном положении, в котором очутились некоторые наши отряды. Известный в военных кругах офицер, бывший тогда еще в капитанском чине (теперь он уже генерал), встретившись со мной в клубе «Атеней», обратил мое внимание на депешу, в которой сообщалось об угрожав-

шей катастрофе, и прочем эту депешу вслух, очевидно в полной уверенности, что я всецело разделяю его опасения. Тем более поразило его мое возражение: «Если люди нанялись стрелять в других людей, не осведомляясь, имеется ли законное основание совершать такие убийства, то мне будет совершенно безразлично, если их и самих пристрелят».

Легко предвидеть протесты, которые могут быть вызваны этим заявлением. «Такой принцип, получив право гражданства, сделал бы армию невозможной, а правительственную власть бессильной. — Было бы до крайности неудобно предоставлять каждому солдату право судить о законности целей, ради которых дается сражение. — Военная организация оказалась бы тогда парализованной и Англия сделалась бы добычей первого же врага, которому вздумалось бы вторгнуться в ее пределы».

«Нет, извините», — отвечу я на это. Существует такая война, для которой армия останется и тогда столь же пригодной, как и при нынешних условиях. Такова война, которая ведется ради государственной обороны. Каждый солдат, привлеченный к участию в подобной войне, будет сознавать, что сражается за правое дело. Он идет в бой не для того, чтобы сеять смерть между людьми, о которых ему неизвестно, хорошо или дурно они поступают, воюя с англичанами, а чтобы истреблять преступников, злоумышляющих против него самого и его соотечественников.

Тогда сделались бы немислимыми лишь чисто наступательные, а не оборонительные войны. Можно было бы совершенно справедливо заметить на это, что при отсутствии наступательных войн никому не пришлось бы обороняться. Очевидно, однако, что любая нация могла бы, не в пример другим нациям, ограничиться ведением исключительно лишь оборонительных войн. Ничего не препятствует поэтому с теоретической точки зрения осуществлению высказанного здесь принципа.

Англичане, патриотизм которых выражается в возгласе «За Родину, будь она права или нет!» и которые охотно присоединили бы к нынешним 80 с чем-то британским владениям еще кое-что, приобретенное такими же путями, без сомнения, взглянут с отвращением на такое ограничение воинского долга. Похоже ничто не представляется им сумасброднее фактического применения в понедельник тех самых принципов, святость которых они сами признали в воскресенье.

XXII | ПАРТИЙНОЕ ПРАВЛЕНИЕ¹

Общеизвестная истина о возможности для весьма крупных последствий возникать зачастую от сравнительно ничтожных причин, как будто вовсе не состоящих иной раз с ними в связи, приводит меня лично порой в величайшее удивление. В главе XIII «Изучения социологии» я указал, что в науках, исследующих законы живых организмов, проявляется в высокой степени то, что было названо мною плодовитостью причин. В явлениях, составляющих предмет этих наук, последовательное разрастание следствий, усматриваемое вообще в каждом эволюционном процессе, приобретает еще более высокую степень интенсивности. Так, например, болезнетворный зародыш, забравшись в тело, вызывает там сложные, более или менее значительные расстройства в различных органах, причем даже в случаях выздоровления нередко остаются последствия, бедственно влияющие на всю остальную жизнь организма. Подобным же образом и в человеческом обществе такой простой сам по себе случай, как открытие где-либо золотых россыпей, ведет за собой многообразные следствия: прилив туда населения, рождение новых городов, изменение нравов и обычаев, разрастание игорных домов, понижение нравственного уровня и т.п. К этому присоединяются более отдаленные результаты, как, например, учреждение новых коммерческих предприятий, прокладку новых торговых путей и многообразные явления, причиненные повсеместным изменением ценности золота по отношению к другим товарам.

Образчиком плодовитости причин, о котором я хочу теперь упомянуть, служит факт, случившийся год или два тому назад, перед последними общими выборами в английский парламент. Не знаю, чем именно руководствовался Уильям Харкорт: убеждением ли в желательности полного воздержания

¹ Впервые напечатано в: *Spencer H. Facts and Comments. New-York, 1902.*

от спиртных напитков или злополучной иллюзией, будто большинство обладает правом беспредельного контроля над поступками отдельных личностей, или же, наконец, что поддержка «непьющих» обеспечит либералам успех на предстоящих выборах. Как бы то ни было, но в избирательной программе Либеральной партии гвоздем оказалось требование согласия большинства местного населения на открытие каждой портерной в городках и местечках. С тактической точки зрения шаг этот был поистине изумительным, а год до выборов или даже ранее того я неоднократно указывал на неразумность с политической точки зрения вызывать в каждой портерной Соединенного королевства Великобритании и Ирландии ожесточенное недовольство либеральной программой. Даже в городах (не говоря уже о деревнях), громадное большинство избирателей (кроме ирландцев) оставались совершенно равнодушными к вопросу о самоуправлении в Ирландии, выдвинутому либеральной партией на первый план ее программы. Зато народные массы вовсе не были расположены отнестись столь же безразлично к угрожавшему вмешательству в торговлю пивом. Каждый содержатель городской пивной лавки имел полный интерес высказаться против законодательной меры, предложенной либералами. Точно так же и в деревнях все кабатчики, сочувствуя городским своим товарищам и опасаясь распространения стеснительных мероприятий и на сельские округа, присоединись к протестам, встретившим полнейшую себе поддержку и со стороны большинства посетителей портерных заведений. Посетители эти опасались, что в случае торжества либеральной программы останутся не только без пива, но и без помещений, заменявших им клубы. В результате получился, как известно, для либеральной партии, стоявшей тогда у кормила правления, полнейший разгром, после которого власть перешла в руки прежней консервативной оппозиции. Из разнородных многочисленных последствий этого события позволю себе указать прежде всего на те, которые бросаются в глаза.

Деспот по характеру, честолюбец, ознакомившийся в бирмингемской городской управе с искусством подчинять товарищей своему влиянию, выдвинулся благодаря своей смелости и ловкости в передовые ряды министерства, где занял пост статс-секретаря колониального департамента. Ни для кого не подле-

жит теперь сомнению, что последняя южноафриканская война вызвана была его решимостью поставить во что бы то ни стало на своем¹. Эта война обусловила для обеих бурских республик утрату многих тысяч жизней, разрушение множества семейных очагов и разорение обитавших в нем семейств, опустошение страны, приостановку промышленной деятельности и полную дезорганизацию общественного строя, а для англичан — смерть приблизительно 25 000 солдат на полях битв и лазаретах, неспособность к службе 60 000 других солдат, частью изувеченных, частью же осужденных на преждевременную смерть, громадное увеличение налогов и государственных долгов, сокращение промышленной деятельности, воскрешение предковских диких инстинктов, вызывающее зверские поступки черни, усиление ненависти к Англии на материке Европы, неизбежно долженствующее отразиться в областях международных отношений, и полную утрату англичанами приобретенной ими в былое время репутации народа, любящего свободу и сочувствующего тем, кто за нее борется. Эти главнейшие последствия разветвляются и сплетаются друг с другом в невообразимо сложные цепи последствий более высшего порядка, раскидывающихся повсеместно. Все несметное множество таких до не постижимо-сти разнохарактерных результатов вызвано было ничтожным и как будто вовсе не касающимся до них обстоятельством. Действительно, если бы в либеральную программу не была включена угроза ограничить продажу пива, то Консервативная партия, даже и одержав верх на выборах, все-таки не располагала бы в парламенте таким подавляющим большинством, которое фактически дозволило ее вождям делать все, что им вздумается².

¹ Статья эта была написана в то время, когда война с бурами еще не была закончена.

² В дополнение к общим доказательствам того, что не изменение позиции по вопросу о самоуправлении Ирландии вызвало столь резкую партийную реакцию, существует также частное доказательство, касающееся самого сэра Уильяма Харкурта. На предыдущих выборах он был весьма популярен среди избирателей Дерби, но по результатам кампании 1895 г. лишился места в Парламенте в пользу кандидата от Консервативной партии (редчайший случай для Дерби, которое почти неизменно избирает либералов), а затем на недавних выборах (1900 г.), после того как спорный вопрос отправился в долгий ящик, консерватор был отставлен и заменен либералом. Трудно

Как уже упомянуто, эта, по-видимому, совершенно ничтожная причина вызвала многочисленные ряды разнообразнейших важных последствий также и помимо злополучной войны с бурами. Мне хотелось бы обратить особое внимание читателя на эти последствия и вытекающие из них нравоучения. Вожди консервативной партии, забрав в руки бразды правления и опираясь на поддержку подавляющего своего парламентского большинства, провели множество законодательных мер, направленных, как это даже не скрывалось, в пользу сословий, сочувствующих этой партии. Так, в 1896 г. при распределении налогов министерство уменьшило подати с землевладельцев Англии и Шотландии на 1,5 млн ф. ст., накинув эту сумму на других плательщиков податей. В 1897 г. ассигнована была субсидия в 800 тыс. ф. ст. различным церковным школам, дабы облегчить им соперничество со школами, подчиненными ведомству народного просвещения, и таким образом усилить могущество клерикальных партий. Для Ирландии сделана была скидка в размере 727 тыс. ф. ст. (большей частью в пользу землевладельцев), причем надо было увеличить на эту сумму налоги с британских плательщиков податей. Затем в 1899 г. парламентским актом о церковной десятина она была уменьшена наполовину для 10 или 11 тыс. плательщиков, причем пополнение возникавшего чрез это недобора пришлось возложить на остальных прихожан. Короче сказать, этими и разными иными менее крупными законодательными мерами партия, стоящая теперь у кормила правления, обеспечила своим сторонникам денежные льготы на сумму более чем 3 млн ф. ст., разумеется вынутую из карманов всего остального народа. Министерство, облеченное властью для выполнения определенной политической цели, воспользовалось этой властью для достижения многих других целей, которые ни под каким видом не были бы одобрены избирателями, если бы найдено было уместным осведомиться об их мнении.

«Что прикажете делать? — Могут возразить мне на это. — Такие злоупотребления неразрывно связаны с английской правительственной системой и мы должны поневоле с ними мириться. Нам нельзя обойтись без политических партий.

более наглядно показать причину враждебности к сэру Уильяму Харкурту как к стороннику крестового похода трезвенников.

Покорность большинства его вождям неизбежно позволяет им проводить меры, несогласные с желанием избирателей. Этот, без сомнения, несовершенный порядок вещей устранился бы лишь в случае упразднения партийного правительства, о чем никто теперь не считает возможным мечтать».

Категорически отрицая правильность такого возражения, я нахожу, что член парламента мог бы добросовестно придерживаться в каждом данном случае собственных своих убеждений и ни под каким видом не лгать при голосованиях. Если бы верноподданничество вождям партии перестало считаться добродетелью и если бы каждый из народных представителей старался всегда проводить личное свое мнение, не обращая внимания на интересы министерства, то небольшой группе джентльменов, собирающихся на Даунинг-стрит*, было бы фактически невысказано идти наперекор народной воле.

«Но ведь правительство оказалось бы совершенно бесспорным, — заметят мне, пожалуй, на это. — Никакое министерство не продержалось бы и месяца в должности без поддержки достаточно многочисленной группы сторонников, подающих за него голоса, даже в том случае, когда они внутренне не одобряют правительственных мероприятий. Один кабинет падал бы за другим и вся машина государственной администрации остановилась бы сама собой».

Такого рода рассуждения служат образчиком софизма, весьма употребительного в полемике. Он зиждется на допущении, будто при осуществлении предложенной реформы общие условия социальной среды не претерпят никаких изменений, тогда как надлежало бы ожидать, что означенные условия тоже изменятся. Действительно, если бы все народные представители или же многие из них решили, что не станут утверждать своим голосованием беззаветную полезность такой меры, которая кажется им вредной, и если бы министерство, пользуясь надлежащей поддержкой по некоторым существенным вопросам, оставалось иногда в меньшинстве по не столь важным вопросам, то оно могло бы вследствие этого (сообразуясь с установившимся обычаем) подать в отставку. Очевидно, однако, что при таких условиях после смены нескольких министерств выяснится неуместность для кабинета, общая программа которого одобряется в существенных его чертах, удаляться от дел из-за

того только, что он потерпел, хотя бы и несколько раз, поражение по вопросам второстепенной важности, особенно же если народные представители, поддержкой которых оно дорожит, заявляют, что не имели ввиду своим голосованием выразить ему недоверие. Только в тех случаях, когда парламентские поражения окажутся слишком уж частыми и будут свидетельствовать о недовольстве народного представительства общей политикой министерства, будет считаться необходимым и уместным для него подать в отставку. Обыкновенно же министерству придется принимать к сведению несогласие народного представительства на предложенные ими меры и отказываться не от своих должностей, а от законопроектов, негодных парламенту. Попытаемся теперь представить себе общий результат такой реформы. Министерство, утратив возможности проводить меры, не одобряемые оппозицией и многими из собственных его сторонников, окажется в состоянии осуществлять лишь такие мероприятия, которые одобряются большинством народного представительства, причем парламентское большинство будет каждый раз состояться из различных партий или, пожалуй, даже из различных подразделений. Позволительно заключить, что при таких условиях будут проводиться только законопроекты, которые, по всем вероятностям, снискали бы одобрение и самих избирателей. Министерство, облеченное властью выполнить определенную задачу, согласующуюся с желанием народа, окажется не в силах злоупотреблять потом этой властью для достижения целей, вовсе негодных народу. Иначе сказать, министерство делается тогда не господином парламента и народа, как это сплошь и рядом практикуется теперь, а их слугой, что, впрочем, будет вполне сообразовываться и с первоначальным смыслом слова «министр»*.

В настоящее время то, что англичане хвастливо называют политической своей свободой, заключается в возможности выбирать себе деспота или же группу олигархов, а затем заменять этих насильников другими деспотами или же другой группой олигархов, после того как первая группа вызовет дурными своими поступками достаточно сильное общее недовольство. Тем временем «свободные сыны Альбиона» вынуждены подчиняться хотя бы даже самому нелепому и несправедливому произволу деспотов, находящихся у кормила правления.

Стоит только отменить установившийся условный обычай и выработать у народных представителей убеждение, что каждый из них может подать голос против правительственного законопроекта, нисколько не подрывая этим устойчивости министерства, и вся нынешняя столь вредная система исчезнет бесспорно. Народ будет тогда сам издавать для себя законы через посредство представителей, посылаемых ими в парламент.

Что прикажете делать, однако, если каждый избирательный округ предписывает своим представителям повиноваться вождю партии? Здесь мы приходим, так сказать, к поверочному испытанию собственной нашей политической зрелости. Возможность находить кандидатов, соглашающихся связать себя программой партии, и стремление искать таких кандидатов одинаково свидетельствуют о том, что большинство англичан еще не доразвилось до настоящих свободных институтов и приспособились лишь к таким порядкам, при которых деспотизм от времени до времени обуздывается свободой. Что касается до свободы в истинном значении этого слова, предоставляющей каждому возможность пользоваться для всех видов жизненной деятельности простором, который ограничивается лишь необходимостью уважать такую же свободу и у других, то ее понимают у нас в Англии лишь немногие. Примеры такого заурядного непонимания истинной свободы встречаются у англичан чуть ли не на каждом шагу. Владельцы паев акционерного общества, образовавшегося для точно определенных целей, считают себя обязанными вследствие решения, постановленного большинством двух третей всего числа акционеров, стремиться к совершенно иным целям. Они как будто бы не замечают производимого над ними насилия, не усматривают, что лицо, заключившее договор, ни в каком случае не обязано выходить из рамок этого договора и что всякое принуждение к этому несправедливо. Плательщики податей, которые, выбрав членом земской управы для выполнения определенных административных функций, считают себя обязанными платить добавочные налоги, устанавливаемые этой управой, чтобы выполнить предприятия, о которых они сами никогда не думали, — например, чтобы провести какой-нибудь канал, — явно не понимают, в чем именно заключается сущность свободы. То же самое надо сказать и о рабочих, которые, вступая в союзы, отказываются от

права входить по собственному усмотрению с хозяевами в сделки и предоставляют вождям союзов решать, когда именно надлежит работать или же прекращать работу. Очевидно, здесь нет достаточно ясного понятия о неотъемлемом и присущем каждому человеку праве эксплуатировать свои способности наиболее выгодным для себя образом и пользоваться ими, как заблагорассудится. При таких условиях совершенно естественно, что уполномоченные избирателей, имеющих лишь туманное представление о свободе и не выработавших у себя сколько-нибудь сильной внутренней в ней потребности, оказываются способными подчиняться произволу партии и высказываться при голосованиях за такие меры, которые им самим кажутся вредными. В настоящее время не только не усматривается никакой вероятности улучшения этого порядка вещей, но даже, напротив того, следует, по-видимому, ожидать в нем дальнейшего ухудшения. Действительно, обнаруживающееся теперь в Англии ретроградное стремление к воинственному социальному типу неизбежно сопровождается усилением авторитета власти, а не ослаблением такового.

XXIII | САНИТАРНОЕ ДЕЛО В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ¹

Почти позабытый уже инцидент послужит мне теперь поводом высказать относительно образа действий наших хранителей общественного здоровья некоторые соображения, лежавшие под спудом чуть ли полстолетия. Инцидент этот произошел за обедом у одного из моих приятелей, который давно уже скончался, не оставив после себя потомства. Приятель этот, Ф. О. Уард, принимал тогда деятельное участие в санитарной агитации и, по-видимому, помещал иногда в «Таймс» передовые статьи по поводу водоснабжения и по другим вопросам, относящимся до общественной гигиены. Он был восторженным сторонником правительственного вмешательства в санитарное дело и вскоре нашел случай свести разговор на любимую свою тему, причем отозвался с величайшей похвалой о своем друге Эдвине Чэдвике, стоявшем во главе агитации в пользу такого вмешательства. Особенно похвальной находил Уард непреклонную стойкость, с которой Чэдвик руководил необходимыми для достижения его целей обширными статистическими исследованиями. Если ему надо было заручиться по какому-либо пункту своей программы фактическими доказательствами, он поручал кому-нибудь навести на месте справки и представить соответствующий доклад. В случае неудовлетворительности результатов, полученных докладчиком, Чэдвик давал то же самое поручение другому лицу и успокаивался, лишь заручившись в конце концов желанным «фактическим» доказательством. Уард рассказывал все это, по-видимому, не сознавая, какие невыгодные заключения можно было бы вывести отсюда касательно точности статистических данных, помещенных в правительственные «Синие книги». Он откровенно разоблачал способы, с помощью которых доказывают якобы точными статисти-

¹ Впервые напечатано в: *Spencer H. Facts and Comments. New-York, 1902.*

ческими данными, какое угодно положение, отбрасывая все факты, которые идут с этим положением вразрез. Впоследствии я имел два раза случай проверить целые вороха официально собранных статистических данных и оба раза убедился, что предвзятые воззрения лиц, собиравших эти данные, совершенно исказили их характер.

В числе нынешних моих соотечественников немногие лишь могли бы теперь припомнить, до какой степени была распространена в начале 1850-х годов весьма естественная и казавшаяся по наружности вполне правдоподобной гипотеза о том, что всевозможные заразные горячечные болезни порождаются неприятными запахами: миазмами и зловониями. Отвратительные запахи разлагавшихся органических веществ считались тогда или носителями болезнетворных зародышей, или же непосредственными причинами заразных болезней. Грязные кварталы, заселенные бедным людом и служившие очагами разных эпидемий, обыкновенно отличались зловонием, обусловленным уличной грязью, кучами всевозможных отбросов и недостаточностью мер, принимавшихся к удалению нечистот. Вышеприведенное объяснение связи между зловонием и частыми заболеваниями как будто навязывалось тогда само собой. По обычному способу рассуждения, при котором принято руководствоваться только одним методом согласования, без проверки такового методом различия, усматривали, что зловоние и болезни сопутствуют друг другу, и заключали отсюда, что вторые являются следствием первого. Можно было бы, разумеется, задать себе вопрос: не служат ли кварталы, являющиеся очагами заразных болезней, вместе с тем также и обиталищем люда, ведущего вредный для здоровья образ жизни, как, например, пьяниц, проституток, нищенствующих и голодающих мужчин и женщин, которые, вследствие антигигиенической жизни, дурного питания и чрезмерной тесноты жилищ, находятся, если можно так выразиться, на большой дороге к смерти. Никто не осведомлялся, однако, о возможности для болезней происходить скорее от этих причин, чем от зловония. Общественное мнение было убеждено, что приговор обоняния вполне подтверждается статистическими данными.

Между тем и тогда уже существовало бесчисленное множество фактов, наглядно доказывавших полную несостоятель-

ность этого приговора. В каждой из британских деревень любая из полудюжины составлявших ее ферм являлась блестящим опровержением гипотезы о болезнетворном влиянии неприятнейших видов зловония. Двор каждой такой фермы, заваленный навозом, ее хлева и конюшни выделяли громадные массы газообразных продуктов разложения органических веществ, весьма неприятно действовавших на обоняние. По тогдашним теоретическим воззрениям эти деревни и отдельные фермы должны были бы служить очагами всяческих эпидемий, тогда как опыт свидетельствовал, напротив того, что там совокупность жизненных условий оказывалась сравнительно очень благоприятной. Больные нередко выздоравливали, переселившись из города на ферму, где им приходилось все время обонять запах разлагающихся экскрементов. Столь же веские возражения можно было бы приискать и не выходя из города. Стоило лишь обратить внимание на конюшни, в которых грумы, конюхи и т.п. проводят большую часть жизни и над которыми находятся в больших городах сплошь и рядом квартиры, обитаемые большими семьями. В самом Лондоне можно указать на факты, еще более бросающиеся в глаза.

В летнюю жару улицы британской столицы усеяны конским навозом, который непрестанно размалывается колесами экипажей, по временам смачивается водой из приспособлений для поливки улиц и в добавление к всему этому согревается знойными лучами июльского или августовского солнца. Отвратительный запах, издаваемый лондонскими улицами в жаркую погоду, служит неопровержимым доказательством происходящего там повсеместно разложения экскрементов. Каково же влияние этого процесса на санитарное состояние города? — Никакого вредного влияния не усматривается.

Таблицы смертности свидетельствуют, что она в Лондоне в жаркое время года несколько не сильнее, чем в другие сезоны, а иногда оказывается даже слабее, чем в Брайтоне, пользующемся репутацией местности, очень благоприятной для здоровья. Впрочем, личное наблюдение дало мне еще более поразительное доказательство неверности санитарной гипотезы, которая считалась в былое время теорией, строго доказанной несметным множеством неопровержимых фактических данных. Мне приходилось часто навещать осенью близких своих

родственников, переселявшихся на это время года из Лондона в свое поместье на западном берегу Шотландии. В июле и августе я часто ездил на пароходе вниз по течению Клайда, причем на пространстве между Глазго и Гриноком не раз оказывался вынужденным затыкать себе нос платком, чтобы по возможности ослабить впечатление отвратительного зловония, распространяемого глазговскими нечистотами, которые выпускались из фановых труб прямо в реку. Между тем на берегах этой реки расположены громадные корабельные верфи, на которых многие тысячи людей работают изо дня в день пилами, молотками и топорами. Если бы зловоние служило средством к распространению заразных болезней, то эти рабочие должны были гибнуть как мухи. На самом деле, однако, между ними не замечалось сколько-нибудь усиленной смертности.

При всем том допустим на минуту правильность гипотезы о вреде зловония и посмотрим, в чем именно заключались меры, принимавшиеся установленными властями для борьбы с этой болезнетворной причиной. Было найдено, что сама по себе земля была пригодна для дезинфекции и что экскременты, смешанные с нею не только утрачивают способность издавать дурной запах, но вместе с тем повышают ее плодородие. Какое же заключение из этого вывели? — Стоит только распределиться городские нечистоты на достаточную площадь полей для того, чтобы они утратили болезнетворное свое влияние, сопутствующее зловонию, и вместе с тем значительно увеличили бы плодородие самих полей. На основании такого вывода устроены были ассенизационные фермы. При этом упустили из виду, что присущая пахотной земле способность к дезинфекции зависит от способности почвы поглощать в себя газы из веществ, с которыми она смешана или которые на нее вылиты. Земля, насыщенная газами, утрачивает все свои дезинфицирующие свойства. Это заключение, очевидное для каждого здравомыслящего человека, даже и не получившего никакого образования, не пришло в голову правительственным санитарным властям.

Вследствие этого поля, орошаемые городскими нечистотами, сделались обильными источниками тех самых зловонных газов, которым приписывались столь убийственные свойства. Миазмы распространялись от ассенизационных ферм во все стороны на большое расстояние. Мне доводилось читать

о множестве возникавших через это неприятностей. Один такой случай известен мне, впрочем, и лично. Дело в том, что мои приятели, жившие верстах в семи от ассенизационной фермы, до такой степени страдали от доносившегося оттуда зловония, что собирались было совсем покинуть свой дом. Понятно, что более близким соседям фермы приходилось выносить еще больше неприятностей, особенно же если ветер дул по направлению с фермы к ним. Такое распространение зловоний, о которых в то время думали, будто они служат причинами распространения заразных болезней, продолжалось до тех пор, пока бертонской городской управе не пришлось затратить крупную сумму денег на то, чтобы хотя бы отчасти устранить дурной запах городских нечистот, прежде чем выливать их на поля.

Обратимся теперь к мерам, одновременно с этим принятым в городах для предотвращения вредного воздействия, которое приписывалось зловонным газам. В высшей степени необходимым профилактическим средством считали тогда вентиляцию отхожих мест и помойных ям. Даже и в настоящее время фасады зданий уродуются трубами из оцинкованного железа, предназначенными для того, чтобы удалять в верхние слои воздуха газообразные продукты разложения нечистот, которые невозбранно разносились с полей ассенизационных ферм по окрестностям. Те же самые зловонные газы, признававшиеся в одном месте вредными, когда они выделялись в самых небольших количествах, считались в другом месте безвредными даже и в больших количествах. Непоследовательность в санитарных мероприятиях этим не ограничивалась.

При переделках в домашних дренажах приходится иногда отрезать от сообщения с общей сетью некоторые из старых фановых труб. Английская санитарная полиция обыкновенно требует в таких случаях немедленного уничтожения этих труб. Их приходится удалять, иногда с большими издержками, несмотря на то что в самом непродолжительном времени содержимое их должно окончательно разложиться, а до тех пор всей массе выделяющихся из них газов, прежде чем она попадет в атмосферу, надо проходить через шесть, восемь и даже более футов той самой земли, которую санитары признают таким эффективным дезинфицирующим средством. Сумасбродство подобного образа действий нельзя в достаточной степени оха-

рактизовать даже и старинной поговоркой о неуместности давиться комаром, когда свободно проглатываешь верблюда.

Каким же образом могли установиться такие до очевидно-сти ложные воззрения на санитарное дело и отчего придерживаются их до сих пор центральные и местные британские власти со всем штатом своего чиновничества? Дело в том, что на почве означенных воззрений развилась могущественная бюрократия, заинтересованная в их существовании. Каждый из ее членов порознь находит лично для себя выгодным настаивать на том, чтобы бесполезные затраты ассигнованных сумм производились и впредь. Известно, что всякая организованная корпорация стремится к разрастанию и к усилению собственного своего значения. За последнее пятидесятилетие военное сословие в Англии неустанно кричит о своей незащищенности, хотя тем временем численность британской армии несколько раз уже увеличилась. Адмиралы и капитаны английского флота настоятельно требуют, в свою очередь, его усиления. Выполнение этих требований только побуждает корпорацию английских моряков предъявлять дальнейшие новые требования. Подобным же образом поступает и государственная английская церковь. Ссылаясь на недостаточность средств к душевспасительному попечению о верующих, она требует возведения все новых церквей, а затем, разумеется, также и назначения соответственного содержания полагающемуся при них штату священнослужителей. Подчиняясь подобным же стремлениям, корпорация санитаров, численность которых значительно возросла со времен Чэдвика, постоянно преувеличивает опасности, с которыми она призвана бороться, и всячески превозносит заслуги, оказываемые ее членами. Санитарный инспектор, состоящий на общественной службе, стремится доказать свою бдительность. Он может это сделать, лишь усмотрев возможно большее число упущений и беспорядков. Нет никакого иного средства приобрести себе хорошую репутацию. При таких обстоятельствах новый арендатор какого-либо дома, приглашая санитарного инспектора и желая отдать предпочтение самому сведущему и наиболее опытному, неизбежно остановит свой выбор на санитаре, который снискал лестную свою репутацию, преувеличивая замеченные им недостатки и настаивая на выполнении фактически бесполезных требований. Не следует упускать

из виду условия, в которые поставлен санитарный инспектор. Если бы он стал частенько докладывать, что все обстоит благополучно и не нуждается ни в каких улучшениях, то на него начали бы смотреть столь же скептически, как на врача, не прописывающих лекарств.

В данном случае усматривается, однако, воздействие еще одной сокровенной причины. Бесперестанно изобретаются новые санитарные приспособления, которые, удостоившись одобрения подлежащих врачей, применяются там, где потребует санитарный инспектор.

У нас в Англии эти инспектора могут иногда иметь личный интерес в распространении того или другого приспособления, например состоят пайщиками в акционерных обществах, занимающихся изготовлением ассенизационных средств, или же получают известный процент со стоимости таких фабрикатов, купленных по их приказу. В настоящее время, когда то и дело раскрываются случаи взяточничества в самых разнообразных видах, было бы безрассудством полагать, что там, где имеется возможность получать без особенных хлопот конфиденциальным образом барыши, не станут пользоваться такой возможностью.

«Да ведь это фактически безразлично! — Воскликнут, пожалуй, некоторые легкомысленные читатели. — Такие порядки вовлекут лишь в несколько большие расходы богатых домовладельцев или арендаторов, которые от этого не разорятся». Подобное возражение послужило бы хорошим образчиком неправильного мышления, столь часто применяемого к общественным делам. Еще в 1850 г. я указал* на дурные последствия искусственного повышения стоимости домов. В другом месте я привел обстоятельные доказательства тому, что возрастание санитарного надзора нередко побуждает частных лиц от постройки небольших домов.

В связи с этим находится и другое неблагоприятное обстоятельство. Вследствие созданного английскими законами недостатка в жилых домах, слышаться все громче и громче жалобы на отсутствие удобных помещений для бедного люда. В газетах все чаще встречаются статьи о квартирном вопросе, в которых как бы признается аксиомой существование для общества обязанности снабжать своих членов приличествующими

квартирами. С таким же точно основанием можно было бы, разумеется, возбудить вопросы о снабжении их приличествующей пищей и одеждой, после чего оказалась бы приблизительно но исчерпанной вся программа социалистов.

Изложенные здесь соображения не должны рассматриваться как порицание правительственного вмешательства в санитарное дело. Контроль всего общества над отдельными членами необходим в сфере общественной гигиены точно так же, как и во всех прочих сферах человеческой деятельности, потому что отдельные личности везде могут наносить своими поступками вред соседям или даже всему населению. В городах общественные власти, очевидно, должны принять на себя заботу о чистоте улиц, исправности мостовых и устройстве надлежащей ассенизации (в Челтенхэме до присоединения его к Лондону местной ассенизацией заведовало акционерное общество). Понятно, что здесь трудно указать пределы законного правительственного вмешательства в деятельность частных лиц. При всем том нелепости и злоупотребления, обнаруживающиеся в действиях санитарного надзора, равно как создаваемые им косвенно препятствия к постройке новых домов, являются сами по себе достаточной причиной для желательности хоть сколько-нибудь обуздывать санитарную бюрократию и подвергать тщательной проверке представляемые ею доклады.

XXIV | О ПРИЧИНАХ РАЗНОГЛАСИЯ С ФИЛОСОФИЕЙ О. КОНТА¹

В «Revue des Deux Mondes» от 15 февраля 1864 г. напечатана статья об одном из последних моих сочинений, а именно об «Основных началах». Я должен принести свою благодарность автору этой статьи, г-ну Огюсту Ложелю, за ту тщательность, какую он обнаружил при изложении некоторых основных положений этого сочинения, а также и за то справедливое и благожелательное отношение, с каким он дал им должную оценку. Однако в одном отношении г-н Ложель передает своим читателям превратное суждение, которое он сам лично считает вполне достоверным, и выражает его несомненно с полным убеждением. Г-н Ложель выставляет меня отчасти учеником Конта. Описав сначала влияние Конта, сказавшееся на трудах некоторых других английских писателей, особенно Милля и Бокля, он старается отыскать это влияние, хотя и не признаваемое мною в моем сочинении, которое он разбирает. В своей статье он несколько раз возвращается к доказательству своего высказанного мнения. С большой неохотой я вижу себя вынужденным возражать критику столь беспристрастному и искусному, но так как «Revue des Deux Mondes» очень распространен в Англии, как и в других странах, и так как подобное же заблуждение, как и высказанное г-ном Ложелем, существует среди многих людей как в Европе, так и в Америке, — заблуждение, которое может только укрепиться от упомянутой статьи, то мне кажется необходимым выступить с некоторым опровержением.

Две причины совершенно различного рода способствовали распространению ошибочного мнения, будто Конт является общепризнанным творцом науки. Мнение это распространяется

¹ Первоначально напечатано в апреле 1864 г. как приложение к статье «Классификация наук».

бессознательно как его жаркими врагами, так и наиболее преданными приверженцами. С одной стороны, Конт, обозначив под названием *позитивной философии* все окончательно установленное знание, приведенное учеными в систему или в связанное целое, выставил ее как нечто противоположное бессвязному собранию мнений, поддерживаемых теологами; вследствие этого и теологи усвоили себе привычку называть противоположную партию, т.е. людей науки, *позитивистами*. Подобная привычка породила мнение, что члены этой партии сами назвали себя *позитивистами* и тем признали себя учениками Конта. С другой стороны, те, которые усвоили себе систему Конта и смотрели на нее как на философию будущего, были естественно склонны видеть везде следы ее прогресса, и везде, где они находили мнения, согласные с нею, они приписывали их влиянию ее основателя. Это общее свойство всех учеников и последователей, всегда преувеличивать значение учения их учителя и считать его основателем всех поучаемых им доктрин. Имя Конта в умах его последователей связано с понятием о научном мышлении, потому что большая часть его последователей усвоила себе впервые научное мышление из того изложения, какое он ему дал в своих сочинениях. Под неизбежным влиянием такой ассоциации идей последователи Конта всегда вспоминают своего учителя, как только они наталкиваются на образ мышления, имеющий некоторое сходство с научным мышлением, описанным их учителем; вследствие этого они склонны думать, что Конт и в умах других людей вызвал те же понятия, какие он вызвал в умах их самих. Однако подобные суждения в большинстве случаев лишены всякого основания. Что Конт дал общее изложение доктрины и метода науки — это, конечно, верно; ошибка состоит в том, что нельзя всех, кто принимает эту доктрину и следует этому методу, называть учениками Конта. Ни процессы их исследований, ни их мнения относительно природы человеческого знания и его границ не изменились сколько-нибудь заметно сравнительно с тем, в каком положении находились они до Конта. Если их можно назвать «позитивистами», то только в том смысле, в каком все люди науки всегда были более или менее последовательными позитивистами; но считать их учениками Конта это равносильно тому, если бы мы стали называть его учениками тех, кто жил и умер прежде самого Конта.

Конт вовсе не говорит того, чего требуют во имя его некоторые из его приверженцев. Он говорит: «Есть, без сомнения, большее сходство между моей *позитивной философией* и тем, что английские ученые разумеют — особенно со времен Ньютона — под *философией естественной*» (см. «Avertissement»^{*}). Далее он указывает на «великое движение, возникшее в человеческом уме, два века тому назад, под совокупным воздействием учений Бэкона, умозрений Декарта и открытий Галилея, как на момент, когда впервые начал проявляться в мире дух позитивной философии». Из этого видно, что общие процессы исследования и способ объяснения явлений, которые Конт называет *позитивной философией*, им самим признаются за результат двухвековой работы; по его признанию, они ко времени его труда достигли уже заметного развития и составляли собою наследство всех людей науки.

Задача, принятая на себя Контом, состояла в том, чтобы дать философскому мышлению и методу более совершенную форму и организацию и приложить их к истолкованию тех классов явлений, которые еще не были изучены научным образом. Такой замысел полон величия, а попытка осуществить его является предприятием, заслуживающим удивления и одобрения. У Бэкона также был подобный план, он также стремился к организации наук и также был убежден, что «физика (естественные науки) есть мать всех наук»; в то же время он был убежден, что науки могут подвигаться вперед только при условии общего союза и взаимной связи, причем указал и на то, в чем должен состоять этот союз и связь. Он понимал, что нравственная и политическая философия может расти и процветать только в том случае, если она берет свои корни в естественной философии; таким образом, он как бы предвидел идею социальной науки, возникающей из наук естественных. Однако состояние знаний в его время воспрепятствовало ему пойти дальше этого общего умозрения, и, по правде сказать, достойно удивления то обстоятельство, что он мог зайти так далеко. Вместо смутной и неопределенной идеи Конт дал миру идею ясно и вполне определенную. В развитии этой концепции Конт обнаружил замечательную широту воззрений, недюжинную оригинальность, громадную находчивость и выходящую из ряда вон способность к обобщениям. Его система позитивной философии, рассматри-

ваемая сама по себе, независимо от того, верна ли она, является творением, полным величия. Но, признавая за Контом неоспоримое право на наше удивление за его концепцию, за его усилия осуществить ее и за то умение, какое обнаружил он в этой попытке, надо еще спросить: добился ли он успеха? Мыслитель, реорганизуемый научный метод и знание своего века и передающий своим последователям эту новую организацию, которую те и принимают, по справедливости может считаться главой школы, а его преемники — его учениками. Но если среди его преемников есть такие, которые принимают этот метод и эти знания века, но *отвергают* предложенную им реорганизацию, то эти, очевидно, не могут считаться его учениками. Что можно сказать в этом отношении о Конте? Есть небольшое число людей, которые почти вполне принимают его учение, и они, конечно, по справедливости могут называться его учениками. Есть другие, которые принимают, как истинные, некоторые из этих принципов, но все остальное отвергают; эти если и могут считаться его учениками, то только отчасти. Наконец, есть еще и такие, которые отвергают все существенное в его учении: эти, очевидно, должны считаться его противниками. Все члены этого последнего класса остаются в том же положении, в каком они были бы, если бы Конт ничего совсем не писал. Отвергая его реорганизацию наук, они принимают эти науки в том виде, как они существовали до него, как общее достояние, завещанное прошедшим настоящему. Их согласие с этой научной доктриной вовсе не ставит их в положение учеников относительно Конта. К этому классу принадлежит большинство людей науки. К этому же классу принадлежу и я.

Переходя теперь к тому, что лично касается меня в этом вопросе, я укажу сначала на главные общие принципы, относительно которых Конт вполне солидарен с мыслителями, ему предшествовавшими, и относительно которых и я сам с ним вполне солидарен.

Конт полагает, что источником всякого знания является опыт; я держусь того же мнения, но я держусь его в смысле более широком, чем Конт, потому что я не только думаю, что все идеи, приобретенные индивидами, а следовательно, и все идеи, переданные прошедшими поколениями, происходят из этого источника, но я также полагаю, что самые способности,

облегчающие приобретение этих идей, являются продуктом накопленного и организованного опыта, переданного нам от предшествовавших рас (см. «Основания психологии» Герберта Спенсера). Но доктрина, что всякое знание берет свое начало из опыта, обоснована вовсе не Контом, да он и сам не приписывает ее себе. Он говорит, что «все здравые умы повторяют со времен Бэкона, что нет иных действительных знаний, кроме тех, которые основываются на наблюдаемых фактах». Сверх того, отличительный характер английской школы психологов и состоит главным образом в разработке этой доктрины и в ее окончательном установлении. Насколько мне известно, Конт, приняв эту доктрину, не сделал ничего такого, что могло бы придать ей большую достоверность и определенность. Да он и не мог бы сделать ничего подобного, так как он отвергает ту часть науки о духе, которая одна только может доставить доказательства в пользу этой доктрины.

Далее, Конт держится того мнения, что всякое знание относительно и не идет дальше знания одних феноменов; в этом я с ним вполне согласен. Но кто станет утверждать, что относительность всякого знания провозглашена впервые Контом? Среди тех, кто более или менее последовательно придерживался этой доктрины, сэр Уильям Гамильтон насчитывает Протагора, Аристотеля, св. Августина, Боэция, Аверроэса, Альберта Великого, Жерсона, Меланхтона, Скалигера, Фр. Пикколомини, Джордано Бруно, Кампанеллу, Бэкона, Спинозу, Ньютона, Канта. Сам Уильям Гамильтон в своей «Философии безусловного», напечатанной впервые в 1829 г., дал научное доказательство этому убеждению. Конт, получив эту доктрину от своих предшественников вместе с другими мыслителями, не сделал, насколько мне известно, ничего такого, что подвинуло бы вперед это учение. В сущности, он и не мог ничего сделать в его пользу, потому что, как мы уже сказали, он не признает возможности того анализа мышления, который заключает в себе доказательства относительности всех наших знаний.

Конт требует, чтобы при объяснении различных классов явлений не прибегали к помощи метафизических сущностей, рассматриваемых в качестве их причин; я также полагаю, что употребление подобных сущностей — хотя и удобно, если не необходимо для целей мышления — с научной точки

зрения вполне незаконно. Мнение это, в сущности, есть не что иное, как следствие из предыдущего, и оно должно быть принято и откинуто вместе с ним. Но, как и предыдущее, мнение это с большим или меньшим постоянством поддерживалось в продолжение нескольких веков. Сам Конт цитирует любимое выражение Ньютона: «О, физика! Берегись метафизики!». Доктрина эта, как и предыдущая, не получила от Конта никакого более солидного обоснования. Он всего только снова высказал ее. Сделать большее он был не в состоянии, потому что и в этом случае, как и в прежних, его скептицизм относительно субъективной психологии лишил его возможности доказать, что эти метафизические сущности суть простые символические концепции, не допускающие поверки.

Наконец, Конт верит в неизменность законов природы, в постоянство и единообразие отношений между явлениями. Но и до него многие также верили в это. Предположение это, что во Вселенной существует неизменный порядок, принятое даже теми, кто не имеет претензии считать себя учеными, сохраняло в течение веков силу принципа или постулата, который некоторые ученые считали приложимым только к явлениям мира неорганического, тогда как другие ученые признавали его всеобщим. Наследуя эту доктрину от своих предшественников, Конт оставил ее такой же, какой и усвоил. Хотя ему удалось открыть несколько новых законов, я, однако, не думаю, чтоб ученые признали, что он своим доказательством сделал индукцию более достоверной в данном случае; ему не удалось доказать этого положения и посредством дедукции, как это легко можно было бы сделать, указав на то обстоятельство, что постоянство и единообразие отношений между явлениями есть неизбежное следствие постоянства силы.

Таковы принципы, служащие исходной точкой отправления Конта, и принципы эти отнюдь не могут считаться исключительной собственностью его философии. «Но быть может, — возразят мне, — какая надобность во всех этих замечаниях, так как ни один образованный читатель не станет приписывать Конту открытия этих истин?» На это я отвечаю, что хотя никто из учеников Конта не станет приписывать этому философу открытия истин, о которых идет речь, и хотя никто из противников в лагере теологов, как бы ни был он несведущ

в области науки и философии, не станет считать Конта первым человеком, высказавшим эти истины, однако существует сильное стремление связывать всякую доктрину с именем того, кто изложил ее с особенным успехом в более близкое время, и такое стремление иногда вносит ложное представление даже в высокопросвещенные умы. У нас под рукой доказательство того, на чем я настаиваю. В указанном выше номере «*Revue des Deux Mondes*», на с. 936, можно прочесть следующее: «Всякая религия, как и всякая философия, имеет претензию объяснять Вселенную; философия, называемая *позитивною*, отличается от всех других философий и религий тем, что она отказалась от этого притязания человеческого ума». Остальная часть абзаца посвящена объяснению доктрины об относительности наших знаний. Следующий абзац начинается так: «Весь проникнутый этими идеями, которые мы излагаем без всякого обсуждения в настоящую минуту, г-н Спенсер разделяет...» и т.д. Теперь я спрашиваю, не способны ли эти выражения и эти идеи породить и укрепить то ошибочное впечатление, которое я хочу рассеять. Я ни на минуту не останавливаюсь на предположении, чтобы г-н Ложель имел намерение выразить ту мысль, что идеи, которые он выдает за идеи позитивной философии, принадлежат исключительно Конту. Но хотя у него и не было такого намерения, его выражения заставляют предполагать противное. На языке учеников Конта и его противников слова *позитивная философия* означают философию Конта и выражение «быть проникнутыми идеями *позитивной философии*» равносильно выражению — получить свои идеи от Конта. После того что было сказано выше, мне нет надобности повторять, что порождаемое таким образом по неосмотрительности мнение есть мнение ложное. Конт только в кратких выражениях излагает эти общие истины, и предложения, в которых он их излагает, не дали мне более ясного понятия, нежели то, какое я имел раньше. Если я кому и обязан особенно выяснением мне этих принципов, то разве только сэру Уильяму Гамильтону.

От принципов, общих Конту и многим другим мыслителям, как прежним, так и современным, перейдем теперь к принципам, составляющим исключительную особенность его системы. Насколько я вполне солидарен с Контом относительно тех основных доктрин, которые являются нашим общим

наследием, настолько же я расхожусь с ним относительно принципов, которые составляют его личную философию и обуславливают ее организацию. Для уяснения этого несогласия достаточно сравнить между собой положения Конта и те, которые я им противопоставляю.

Положения Конта	Мои положения
<p>«...Каждая из наших основных концепций, каждая отрасль наших знаний проходят последовательно через три различных теоретических состояния: через состояние теологическое, или фиктивное; через состояние метафизическое, или абстрактное; через состояние научное, или позитивное. Другими словами, человеческий ум по природе своей употребляет последовательно в каждом из своих исследований три метода философствования, характеры которых существенно различны и даже радикально противоположны: сначала метод теологический, потом метод метафизический и, наконец, метод позитивный» («Cours de Philosophie Positive», p. 3).</p>	<p>Прогресс наших концепций и каждой отрасли наших знаний, с самого начала и до конца, является существенно одинаковым. Неверно, будто есть три метода философствования, радикально противоположных друг другу; есть только один метод, который всегда существенно остается одним и тем же. От начала до конца все наши концепции причин явлений имеют степень общности, соответствующую широте обобщений, определенной опытами; обобщения наши изменяются по мере того, как накапливается опыт. Интеграция причин, которые вначале считались многочисленными и местными, но в конце концов оказались едиными и всеобщими, является процессом, действительно требующим прохождения через все промежуточные ступени между его двумя крайними пределами; но только иллюзия может делать из этого прохождения ряд восходящих стадий. Причины которые, мы раньше</p>
<p>«Теологическая система достигла высшего совершенства, на какое она способна, когда она провиденциальное действие единого существа поставила на место разнообразных действий многочисленных</p>	

независимых божеств, придуманных воображением вначале. Точно так же последнее слово метафизической системы состоит в установлении на место различных частных сущностей единой великой общей сущности, *природы*, рассматриваемой в качестве единственного источника всех явлений. Точно так же и совершенство позитивной системы, к которому она неуклонно стремится, хотя легко может быть, что ей никогда не придется достичь его, заключалось бы в возможности представить себе все различные, доступные наблюдению явления в виде частных случаев единого общего факта, такого, например, как тяготение» (р. 5).

«Совершенство позитивной системы, к которому она стремится неуклонно, хотя весьма возможно, никогда его не достигнет, заключалось бы в возможности представить себе все различные доступные наблюдению явления в виде частных случаев единого общего факта» (р. 5).

«Считая совершенно недоступным и лишенным смысла для нас изыскание того, что принято называть *причинами* первичными, или конечными» (р. 44).

считали конкретными и индивидуальными, сливаются в уме, как только схожие явления начинают группироваться. Сливаясь и охватывая все большее и большее количество явлений, причины становятся все менее и менее различными в их индивидуальности. Если же слитие продолжится, то они постепенно делаются расплывчатыми и неопределенными в мысли; и наконец, без всякого изменения в природе процесса ум приобретает сознание о всеобщей причине, которая не может быть понята*.

* Хорошим объяснением этого процесса мысли может служить новая интеграция тепла, света, электричества и т.д., как видов молекулярного движения. Если мы сделаем шаг назад, мы увидим, что современное понятие об электричестве произошло из интеграции в уме двух форм, под которыми оно обнаруживается в гальванической батарее и в электрической машине. Если мы шагнем назад к периоду еще более древнему, мы увидим, каким образом идея статического электричества родилась из отождествления в мысли сил, которые сначала были обнаружены отдельно в янтаре, в натертом стекле и в молнии. После таких примеров никто, я думаю, не станет сомневаться, что процесс был таким же всегда с самого начала.

«...Читателям этого сочинения я никогда не нашел бы нужным доказывать, что идеи управляют и творят перемены в мире или, другими словами, что весь социальный механизм покоится в конце концов на мнениях. Читатели знают хорошо, что великий политический и нравственный кризис современных обществ вытекает, в сущности, из умственной анархии» (р. 48)*.

* Один критик снисходительно возражает мне, что Конт неверно освещается этой цитатой и что он, напротив, вызывает на себя порицание своего биографа Литтре за свое преувеличение роли чувства как двигателя человечества. Если в своей «Позитивной политике», которую, очевидно, имеет в виду это возражение, Конт оставил принципы, выдвинутые им вначале, то тем лучше. Но я говорю здесь о том, что известно под именем «Позитивной философии», а что место, приведенное выше, передает вполне верно доктрину Конта, это доказывается тем, что мнение это вторично встречается в начале «Социологии».

«Я не должен пренебречь случаем указать заранее, как на существенное свойство, на общее соответствие предлагаемого мною со всем ходом истории наук, в том смысле, что, несмотря на действительную

Как ход мысли — один, так и исход ее — один. Трех предельных концепций не бывает, но есть единая предельная концепция. Когда теологическая идея провиденциального действия единого существа, заменяя собою все второстепенные независимые причины, развивается со всей ясностью, на какую она способна, она становится понятием единого существа, постоянно действующая власть которого проявляется во всех явлениях; понятие в этой окончательной форме вытесняет из мысли все те антропоморфические атрибуты, которыми отличалась первоначальная идея. Предполагаемое последнее слово метафизической системы — понятие единой великой общей сущности *природы*, рассматриваемой в качестве источника всех явлений, — есть понятие тождественное с первым: идея единой причины, которая, являясь нам всеобщей, перестает рассматриваться как доступная нашему пониманию и разнится только по имени от идеи о едином существе, проявляющемся во всех явлениях. И точно таким же образом и то, что энциклопедического ряда нам выдают за идеальное совершенство науки,

и постоянную одновременность в развитии различных наук, те из них, которые будут классифицированы, как предшествующие, будут действительно более древними и постоянно более разработанными, чем науки, поставленные как последующие» (р. 84).

«...Этот порядок определяется степенью простоты или, что то же самое, степенью общности явлений» (р. 87).

«В окончательном результате математика, астрономия, физика, химия, физиология и социальная физика: такова энциклопедическая формула, которая одна, из весьма значительного числа классификаций, возможных для шести основных наук, логически соответствует естественной и неизменной иерархии явлений» (р. 115)*.

* В 1885 г. во время спора с одним из английских учеников Конта я принужден был выслушать упрек за то, что я говорю о Конте, будто он установил ряд из шести наук, тогда как он во всех своих сочинениях, кроме первого, устанавливает ряд из семи наук. Так как я касался именно позитивной философии, то и считал всего лучшим ссылаться именно на «Курс позитивной философии».

т.е. возможность представлять себе все наблюдаемые явления как частные случаи единого всеобщего факта предполагает идею о некотором конечном существовании, к которому относится этот единственный факт, и верование в это конечное существование составляет такое состояние сознания, которое вполне тождественно с двумя первыми.

Хотя наши обобщения, охватывая более широкий круг, уменьшают для нас число причин и делают наши понятия о них все более и более неопределенными; хотя многочисленные причины, сводясь к единой всемирной причине, теряют возможность быть представленными мысленно и перестают считаться доступными уму, — однако идея причины все же остается и в конце, как в начале, преобладающей и неразрушимой в мысли. Чувство и идея причины не могут быть уничтожены иначе как с уничтожением самого сознания («Основные начала», §25)*.

* Может быть, скажут, сам Конт допускает, что то, что он называет совершенством позитивной системы, никогда, вероятно, не будет достигнуто и что он осуждает изыскания природы причин, а не общее верование

Мой оппонент вежливо называл это «недосмотром», забывая, что если с моей стороны было недосмотром говорить, что Конт признавал шесть наук, когда он позднее признавал их семь, то еще более серьезным недосмотром было со стороны самого Конта так долго упустить из виду седьмую науку.

«Понятно, действительно, что рациональное изучение каждой основной науки, требуя предварительного развития всех прочих наук, предшествующих ей в нашей энциклопедической иерархии, не могло иметь действительного успеха и усвоить себе свой истинный характер, как только после значительного развития предшествующих наук, относящихся к явлениям более общим, более абстрактным, менее сложным и независимым от остальных. Именно в этом порядке и должно было происходить их развитие, хотя и одновременное» (р. 100).

в причину. На первое возражение я отвечаю, что, насколько я понимаю Конта, препятствие к совершенному осуществлению позитивной философии состоит в невозможности уничтожить идею причины. На второе возражение я отвечаю, что основной принцип философии Конта есть полное признание неведения относительно причины вообще. Иначе если это не так, то что станет с принимаемым им *различием между совершенством позитивной системы и совершенством системы метафизической!* В данном случае я могу позволить себе сказать, что, утверждая здесь совершенно противоположное тому, на чем настаивает Конт, я тем самым исключаю себя из позитивной школы. Если надо принимать его собственное определение позитивизма, то ясно, что я не могу быть назван позитивистом, потому что то, что он называет позитивизмом, кажется мне полной невозможностью.

Идеи не управляют миром и не вносят в него переворотов: мир управляется и изменяется через чувства, для которых идеи служат только руководителями. Социальный механизм покоится в конце концов не на мнениях, но почти всецело на характерах. Не умственная анархия, а нравственный антагонизм является причиной политических кризисов. Все социальные явления

оказываются результатами совокупности человеческих чувств и верований, причем первые оказываются по большей части определенными заранее, а вторые определяются всегда впоследствии. Человеческие страсти почти все наследственны, тогда как верования приобретаются каждым человеком особо и зависят от обстоятельств, в какие поставлен человек. А среди этих обстоятельств наиболее важные зависят от социального состояния, которое, в свою очередь, находится в зависимости от преобладающих страстей; социальное состояние, в какую угодно эпоху, есть равнодействующая честолюбий, интересов, опасений, негодований и симпатий всех граждан, живших прежде и ныне еще живущих. Идеи, циркулирующие в таком социальном состоянии, должны в среднем согласоваться с чувствами граждан, а следовательно, согласоваться в среднем с социальным состоянием, порожденным этими чувствами. Идеи, вполне чуждые данному состоянию общества, не могут быть приняты, а если они внесены извне, они не могут быть приняты, если же они и будут приняты, то все же исчезнут немедленно, как

только исчезнут чувства, вызывавшие их принятие. Следовательно, хотя передовые идеи, раз установившись, и влияют на общество и на его дальнейший прогресс, однако установление таких идей зависит от способности общества их воспринять. На практике преобладающий ход идей определяется национальным характером и социальным состоянием; таким образом, отнюдь не идеи определяют социальное состояние и национальный характер. Изменение нравственной природы человека, порождаемое постепенным непрерывным воздействием дисциплины в социальной жизни, есть главная непосредственная причина прогресса общества («Социальная статика», гл XXX).

Порядок, в котором идут обобщения наук, обуславливается количеством и силой, с которыми различные классы отношений повторяются в нашем сознательном опыте; а это зависит: отчасти от более или менее непосредственных отношений этих явлений к нашему личному благосостоянию — отчасти от важности того или другого из тех двух явлений, между

которыми мы отмечаем соотношение, отчасти от абсолютного или относительного постоянства, в котором обнаруживаются явления, — отчасти от степени их простоты и отчасти от степени их абстрактности («Основные начала», §36)

Порядок, в котором Конт располагает науки, вовсе не соответствует логически естественной и неизменной иерархии явлений и вовсе не может быть такого последовательного порядка для их размещения, который представлял бы логическую зависимость наук или явлений (см. «Генезис науки»).

Историческое развитие наук не совершалось согласно с этим последовательным порядком и вообще ни с каким иным последовательным порядком; *истинной филиации наук — нет*. С самого начала науки абстрактные, абстрактно-конкретные и науки конкретные развивались одновременно: первые разрешали проблемы, выдвигаемые вторыми и третьими, и развивались исключительно через решение этих проблем; вторые, т.е. науки абстрактно-конкретные, развивались также,

способствуя первым в разрешении проблем, выдвигаемых науками конкретными. Во все время их развития происходило тесное непрерывное взаимодействие между тремя большими классами, ими образуемыми; от фактов конкретных переходили к абстрактным, а затем факты абстрактные прилагались к анализу новых классов конкретных фактов (см. «Генезис науки»).

Вот принципы, которыми Конт воспользовался для организации своей философии. За исключением тех общих истин, которые были известны и до него и являются общим достоянием всех современных мыслителей, не остается ничего, кроме этих общих доктрин, что отличало бы и характеризовало бы его систему. Ни с одной из этих доктрин я не согласен. На каждое его положение я выдвигаю или положение совершенно особое, или же вовсе противоположное; такого отношения я держался всегда с самого того времени, когда впервые познакомился с его произведениями. Я думаю, что одного этого факта отрицания его основных принципов было бы вполне достаточно, но в философии Конта есть немало иных воззрений, составляющих ее отличительную особенность, которые я также не признаю. Укажем на них мимоходом.

Вопрос о происхождении органических существ Конт относит к числу бесполезных умозрений, так как он действительно полагает, что виды неизменны.

Самый важный из всех отделов психологии, именно тот,

По моему мнению, вопрос этот доступен решению и будет решен рано или поздно. Отдел биологии, изучающий происхождение видов, кажется мне самым важным ее отделом, все остальные являются вспомогательными, так как от решения, какое биология

который состоит в субъективном анализе наших идей, считается Контом вполне невозможным.

По мнению Конта, самое идеальное общество есть такое, в котором управление достигло своего высшего развития; в котором отдельные функции подчинены в значительно большей степени, чем теперь, общественной регламентации; в котором иерархия, крепко сложенная и снабженная признанной властью, заправляет всем; в котором индивидуальная жизнь должна быть подчинена в наивысшей степени жизни социальной.

Исключая из своей философии идею и сознание причины, обнаруживающейся нам во всех явлениях, но, однако, признавая необходимость религии со свойственным ей объектом, Конт принимает за тот объект человечество. Эта коллективная жизнь (общества) в системе Конта есть «Высшее Существо» (*Être Suprême*) единственное, доступное нашему познанию и, следовательно, единственное, подлежащее нашему обоготворению.

даст этой проблеме, должно зависеть всецело наше понятие о человеческой природе в ее прошедшем, настоящем и будущем, должна зависеть наша теория познания и наша теория общества.

В моем сочинении, озаглавленном «Основания психологии», половина которого субъективна, я решительно выразил свою веру в субъективную науку о духе.

По моему мнению, напротив, идеалом, к которому мы идем, является общество, в котором управление будет доведено до наивозможно меньших пределов, а свобода достигнет наивозможной широты, в котором человеческая природа будет путем социальной дисциплины так приспособлена к гражданской жизни, что всякое внешнее давление будет бесполезно и каждый будет господином сам себе; в котором гражданин не будет допускать никакого посягательства на свою свободу, кроме разве того посягательства, которое необходимо для обеспечения равной свободы и для других; в котором самопроизвольная кооперация, развившая нашу промышленную систему и продолжающая развивать

ее с быстротой все более возрастающей, поведет к упразднению почти всех социальных функций и оставит в качестве цели правительственной деятельности былого времени только обязанность блюсти за свободой и обеспечить эту самопроизвольную кооперацию; в котором развитие индивидуальной жизни не будет ведать себе иных пределов, кроме наложенных на него социальной жизнью, и в котором социальная жизнь будет преследовать только одну цель — обеспечение свободного развития индивидуальной жизни.

Я же, напротив, полагаю, что объектом религиозного чувства всегда останется то, что было им всегда и раньше, а именно неизвестный источник бытия. Тогда как формы, под которыми люди сознают неизвестную причину вещей, меняют и исчезают, сущность, заключающаяся в этом явлении сознания, всегда остается одна и та же. Начав с понятия причинных деятелей не вполне известных, перейдя потом к понятию деятелей менее известных и менее доступных познанию и дойдя наконец до понятия всеобщей причины, признанной за абсолютно

непознаваемую, — религиозное чувство достигло объекта, от которого оно никогда не должно отказываться. Придя, после целого ряда эволюции, к принятию Бесконечного Непознаваемого за объект созерцания, религиозное чувство не может более (если только не пойдет вспять) снова принять за объект созерцания конечное познаваемое, каким является человечество.

Вот еще несколько пунктов, и весьма важных, причем два последних даже чрезвычайно важны, относительно которых мои идеи диаметрально противоположны идеям Конта; если бы позволяло место, к этим пунктам разногласия я мог бы прибавить много других. Таким образом, расходясь с Контом решительно во всем, что есть существенного в его философии, и заявляя постоянно свое разногласие печатно и в частных беседах с самого того времени, когда я впервые познакомился с его сочинениями, я был крайне удивлен, когда увидел себя причисленным к его ученикам. Я понимаю, что те, которые читали только «Основные начала», могли еще быть введены в заблуждение указанным выше образом вследствие двусмысленности термина «позитивная философия». Но чтобы тот, кто знает мои предшествующие сочинения, мог предположить, что между учением Конта и моим есть какое-либо общее сходство, кроме разве того сходства, которое вытекает из предпочтения, оказываемого доказанным фактом перед простыми предвзвешиваниями и суевериями, этого я никогда не мог предполагать.

Правда, расходясь с Контом во всех его основных принципах, характеризующих его систему, я приближаюсь к нему во многих вопросах второстепенной важности. Так, я ссылаюсь на Конта в своей попытке подтвердить новыми доказательствами учение о том, что воспитание отдельной личности должно согласоваться как в своей цели, так и в направлении с воспитанием человечества, рассматриваемого исторически. Я вполне

разделяю мнение Конта относительно необходимости в новом классе ученых, на обязанности которых лежало бы сведение во едино результатов, добытых другими. Конту же я обязан и своим понятием социального консенсуса; и когда настанет время рассмотреть это понятие, я засвидетельствую ему мою признательность. Я принимаю также изобретенное им слово *социология*. Кроме того, в тех его сочинениях, которые я читал, я находил немало побочных наблюдений, весьма верных и глубоких, и я не сомневаюсь, что еще большее количество таких истин скрыто и в других его трудах, которые я не читал¹. Весьма также возможно (так как в этом меня уверяют), что я сказал несколько таких вещей, которые были сказаны Контом раньше меня. Было бы трудно, я думаю, найти двух людей, у которых не оказалось бы некоторых одинаковых мнений. Тем более было бы странно, если бы два человека, исходя из одних и тех же общих доктрин, установленных современной наукой, могли идти по одному пути исследований, никогда не сталкиваясь друг с другом. Но какое значение может иметь наше единомыслие относительно второстепенных пунктов, если мы расходимся в основных принципах? Если исключить те общие истины, которыми мы владеем сообща со всеми учеными и мыслителями нашего времени, различия между нами оказываются весьма существенными, тогда как сходство весьма несущественно. А я беру на себя смелость думать, что родство должно основываться на признаках существенных, а не на побочных обстоятельствах².

Кроме двусмысленного значения выражения «Позитивная философия», имевшего своим следствием то, что к числу уче-

¹ Я прочел «Exposition» Конта в подлиннике в 1853 г.; впоследствии мне также приходилось справляться с оригиналом, чтобы сверить его точные выражения. «Неорганическую физику» и первую главу из «Биологии» я прочел в сокращенном переводе мисс Мартино, как только он появился. Остальные взгляды Конта известны мне только из сочинений м-ра Льюиса и из сведений, усвоенных мною из различных мест.

² Литтре в своем недавно изданном труде «Огюст Конт и позитивная философия», защищая Контову классификацию наук против критических замечаний, сделанных мною в «Генезисе науки», обращается со мною вполне как с противником. В начале главы, посвященной им возражению, он ставит меня в оппозицию к английским ученикам Конта, каковы Милль и Бокль.

ников Конта были причислены многие мыслители, или отчасти, или вовсе не признававшие его принципов, есть еще одно особое обстоятельство, которое еще более способствовало причислению меня к той же категории. Предположение о некотором соотношении между Контом и мною неизбежно должно было вытекать из заглавия, данного моему первому труду: *Социальная статика*. Когда эта книга печаталась, я не знал, что заглавие это было уже раньше употреблено; если бы я знал, я дал бы своему труду иное название, которое имелось у меня в виду¹. Однако если вместо одного заглавия обратиться к самому сочинению, то станет очевидно, что оно не имеет никакого отношения к философии Конта. Относительно этого имеется решительное свидетельство. В «North British Review» за август 1851 г. в рецензии о «Социальной статике» говорится следующее: «Заглавие этого труда не вполне ему соответствует. Согласно аналогии, выра-

¹ Я думал в то время, да и теперь продолжаю также думать, что выбор этого заглавия имел совершенно особый смысл, чем какой давал ему Конт. В то время как я писал эти строки, я напал на некоторые причины, заставившие меня предположить противное. Перечитывая Социальную статику, чтобы припомнить свои взгляды на социальную эволюцию в 1850 г., когда о Конте я знал только понаслышке, я нашел следующую фразу: «Социальная философия весьма удобно (подобно Политической экономии) может быть разделена на две части: статику и динамику». Я вспомнил, что это была ссылка на деление, которое я прочитал в Политической экономии Дж. С. Милля. Но почему я не сослался тогда на Милля? Перечитывая первое издание его сочинения, я нашел в начале IV книги следующую фразу: «Три предшествующие части заключают в себе настолько подробное, насколько это позволяют пределы этого сочинения, обозрение того, что, по удачному обобщению математической формулы, было названо статикой этого предмета». Это помогло мне решить вопрос. Разделение это было сделано не Миллем, но, по моему предположению, каким-нибудь другим писателем по политической экономии, которого он не назвал, а сам я не знал. Тем не менее теперь достаточно ясно, что, рассчитывая дать более обширный смысл этому делению, я пользовался им только в том узком смысле, какой придал ему Милль. Другое обстоятельство, по-моему, также ясно: так как я очевидно хотел указать на мое заимствование у неизвестного мне экономиста, разделение которого я постарался расширить, то я конечно назвал бы его по имени, если бы знал. И в этом случае я не стал бы считать расширения этого разделения за нечто новое.

жение *социальная статика* следовало бы употреблять только в том смысле, в каком, как мы это уже объяснили, оно было употреблено Контом, т.е. в смысле обозначения той отрасли исследований, которая имеет своей задачей открытие законов равновесия или социального порядка, поскольку эти законы идейно отличаются от законов движения и социального прогресса. Обо всем этом Спенсер не имел, кажется, никакого понятия, так как, по-видимому, он дал своему труду это заглавие только в видах неопределенного указания на то, что в книге этой излагаются социальные отношения научным образом» (с. 321).

В настоящее время, когда я знаю то употребление, какое Конт дал словам *статика* и *динамика* относительно социальных явлений, мне достаточно будет сказать, что, вполне понимая возможность употребления, путем законного расширения того значения, какое термины эти имеют в математике, одного из них для обозначения *социальных функций, находящихся в состоянии равновесия*, а другого для обозначения *функций, вышедших из состояния равновесия*, я, однако, совсем не в состоянии понять, каким образом явления *строения* могут скорее скрываться в одном отделе, чем в другом. Но здесь мне важны две вещи: 1) доказать, что я не имел «никакого понятия» о том смысле выражения *социальная статика*, какое придал ему Конт; 2) объяснить, в каком смысле я употребил это выражение. Единицы всякой материальной агрегации находятся в равновесии, когда все они действуют и воздействуют друг на друга во все стороны и с равными силами. Изменение в их состоянии предполагает в некоторых из единиц наличность особых сил, которые не уравниваются равными силами в других. Состояние покоя предполагает между ними равновесие сил: предполагает, если они однородны, равенство расстояний между ними; предполагает, что они все удерживаются в постоянных сферах их молекулярного движения. Точно так же и относительно единиц, из которых слагается общество: главное условие равновесия состоит в уравниваемости сил, действующих друг на друга. Если сферы действия некоторых единиц уменьшатся вследствие расширения сфер действия других единиц, то от этого неизбежно произойдет пертурбация, вызывающая политическое изменение в отношениях между индивидами; а это стремление к изменению может прекратиться

только тогда, когда индивиды перестанут, со своей стороны, нападать одни на других, когда каждый будет наблюдать закон, гарантирующий всем равную свободу, — закон, изучить который в его сущности и последствиях было задачей «Социальной статике». Кроме этого различия в главном понимании того, что такое социальная статика, сочинение мое, носящее это заглавие, и почти во всем остальном радикально противоположно учениям Конта. Совсем не предполагая, как Конт, что общественная реорганизация произойдет от философии, оно говорит, что реорганизация эта произойдет лишь вследствие накопленных влияний привычных действий на характер; оно утверждает, что надо не расширять, но суживать контроль правительственной власти над гражданином и что идеал, к которому надлежит стремиться, состоит не в национализме, но в самом широком индивидуализме. Мои политические убеждения так глубоко различны от убеждений Конта, что, если я не ошибаюсь, один из главных английских учеников Конта даже указал на них, как на такие, к каким Конт питал самое полное отвращение. Однако есть один пункт, на котором мы сходимся: аналогия между индивидуальным организмом и организмом социальным, предвиденная Платоном и Гоббсом, признается как в «Социальной статике», так и в «Социологии» Конта. Сообразно своим взглядам Конт сделал из этой аналогии основную идею этого отдела своей философии. В «Социальной статике», задача которой существенно этическая, аналогия эта упоминается только мимоходом, для придания большей силы некоторым нравственным размышлениям и почерпнута автором отчасти из определения жизни Кольриджем по учению Шеллинга, отчасти из обобщений физиологов, на которых сделаны ссылки (гл. XXX, §§12, 13, 16). За исключением этого сходства, вполне незначительного, содержание *Социальной статике* совершенно противоположно философии Конта, так что, если бы не заглавие, сочинение это никогда не вызвало бы напоминания о Конте, как разве только по закону ассоциации противоположного¹.

¹ Считаю нужным прибавить, что идеи, развитые в «Социальной статике», были сперва выражены в ряде писем об «Истинной сфере правительства», напечатанных в «Non-Conformist» в последней половине 1842 г. и выпущенных отдельной брошюрой в 1843 г.

Теперь я позволю себе указать на то, что действительно оказало глубокое влияние на ход моей мысли. Истина, которую смутно предвидел Гарвей в своих эмбриологических исследованиях и которую так ясно усвоил себе Вольф и, наконец, окончательно сформулировал фон Бэр, — истина, что всякое органическое развитие состоит в переходе их состояния однородности в состояние разнородности, была тем принципом, из которого я косвенно извлек все свои окончательные заключения. Везде в «Социальной статике» обнаруживается полное убеждение в эволюцию человека и общества. Везде также обнаруживается убеждение, что эволюция эта в обоих случаях определяется влиянием случайных условий и действием обстоятельств. К этому убеждению присоединяется, в том же труде, признание того факта, что органическая и социальная эволюция подчиняется одному и тому же закону. Подкрепляя мое убеждение в эволюцию различных порядков, всегда определяющуюся естественными причинами (эволюцию, излагаемую в «Теории населения» и в «Основаниях психологии»), формула фон Бэра послужила мне организующим принципом. Я распространил ее и на другие явления, кроме явлений индивидуальной и общественной организации; я приложил ее в последнем параграфе опыта о «Философии слога», напечатанного в октябре 1852 г., в опыте о «Нравах и обычаях», напечатанном в апреле 1854 г., позднее с большою смелостью в опыте о «Прогрессе, его законах и причинах», напечатанном в апреле 1857 г. Затем я пришел к сознанию необходимости ограничить этот принцип; когда

В этих письмах среди многих неразвитых мыслей высказывается то же убеждение в неизменность законов, управляющих социальными явлениями; то же убеждение в нравственное изменение людей, создаваемое социальной дисциплиной; то же убеждение в стремление различных форм правительства «самостоятельно прийти в состояние устойчивого равновесия»; то же осуждение правительственного контроля в различных областях общественной жизни; то же ограничение пределов государственной деятельности, сводимой к единственной функции — поддержанию уважения к правосудию и равенства во взаимных отношениях граждан. Социальная статика была написана только затем, чтобы перестроить на основаниях более солидных доктрины, изложенные в этих письмах: в первой части устанавливаются принципы этих доктрин, во второй — эти доктрины развиваются и доказываются.

я занялся изучением общих законов силы, из которых неизбежно вытекает это всемирное преобразование, я свел тогда все эти законы к одному-единственному — к постоянству силы; далее я открыл закон разложения, как дополнение закона эволюции; и наконец, я определил условия, при которых совершаются эволюция и разложение. Связь этих результатов, я думаю, достаточно ясна. Прогресс состоял в непрерывном развитии и в приложении закона фон Бэра, в связи с некоторыми другими соответствовавшими ему идеями, к объяснению прочих явлений. Если моя мысль подпала под какое-либо иное влияние, то разве только помимо моего сознания.

Однако возможно, что влияния, которые я не сознаю, действовали на мой ум, и среди этих влияний имеет место, может быть, и мое несогласие с Контом. Часто случается, что знакомство с противоположной системой дает мыслителю возможность уяснить себе свои собственные идеи и полнее развить их. Весьма вероятно, что доктрины, изложенные в опыте о «Генезисе науки», никогда бы не возникли, если бы мое решительное несогласие с системой Конта не подтолкнуло меня к разработке их, а без этого обстоятельства я никогда не дошел бы до классификации наук, изложенной в моем опыте того же заглавия. Весьма возможно, что и в других отношениях мое несходство со взглядами Конта помогло мне расширить мои собственные идеи, но если это и было так, то совершенно мимо-вольно и бессознательно.

Из того, что мною сказано, не следует, однако, выводить того заключения, будто я не придаю умозрениям Конта большой ценности. Верная или ошибочная, система его, в своем целом, произвела в идеях большинства мыслителей важные и спасительные перевороты и произведет такое же влияние и на многих других. Несомненно также, что многие из тех, которые отбрасывают его общие принципы, тем не менее извлекли из знакомства с этими его принципами энергичный и спасительный мотив для своего развития. Вся его система и его научный метод, хорошо или дурно сложенные, не могли не оказать влияния на расширение идей большинства его читателей. Конт оказал еще и ту важную услугу, что он освоил людей с идеей социальной науки, основанной на других науках. Кроме этих услуг, вытекающих из общего характера и цели его философии, на страницах его труда рассе-

яно немало широких идей, не только ценных в качестве стимулов жизни, но и замечательных по своей собственной ценности.

Для меня было малоприятно заниматься вопросом личного характера; но я не считал себя вправе уклониться от этой задачи. Исповедуя идеи, радикально несогласные с идеями Конта относительно всех основных доктрин, за исключением тех, которые достались нам как общее наследие от прошлого, я считал необходимым опровергнуть распространенное мнение о моей солидарности с Контом. Я счел необходимым показать, что большая часть того, что вообще известно под названием «позитивной философии», не составляет «позитивной философии» в том смысле, что она является личной философией Конта, а также, наконец, и объяснить, что я отбрасываю все в так называемой «позитивной философии», исключая того, что не принадлежит лично Конту.

В конце, как и в начале, я позволю себе сказать, насколько я сожалею о том, что объяснения эти были вызваны статьей писателя, отнесшегося ко мне столь снисходительно. Я боюсь, как бы страницы эти не показались слишком грубыми сравнительно с доброжелательными замечаниями г-на Ложеля; мне остается только та надежда, что важность вопроса может служить мне извинением, если не оправданием.

Примечание

Предыдущая статья «О причинах разногласия с философией О. Конта» была в первый раз напечатана в 1864 г. и первоначально составляла вторую часть брошюры, озаглавленной «Классификация наук». Несколько времени тому назад эта брошюра была включена в третий том моих «Опытов» и стала уже недоступна в отдельном издании. Но в последнее время снова распространилось то же ошибочное мнение, которое раньше принудило меня заявить о моем полном несогласии с взглядами Конта, существенно отличающими его систему от других систем, — и те же мотивы, которые побудили меня в то время высказать в печати причины моего несогласия, побуждают меня теперь дать возможность ознакомиться с ними всем, кто интересуется этим вопросом. Нижеследующее добавление, пред-

ставляя перечень основных положений «Системы синтетической философии», в свою очередь, поможет читателю составить себе о нем более правильное суждение.

1 октября 1884 г.

Добавление А

Четырнадцать или больше лет тому назад один мой друг, американец, просил меня, для указанной им определенной цели, снабдить его кратким изложением основных положений, развиваемых мною в последовательном ряде трудов, которые я издал и намерен издать. Эти положения я и воспроизвожу здесь. Это написано исключительно ради пояснения, без всякой мысли об О. Конте и его системе, и будет полезнее для нашей цели, чем только что написанное, так как не возбудит подозрений в преднамеренности¹.

1. Во всей Вселенной, как целом, и в каждой мельчайшей ее части совершается непрерывное перераспределение материи и движения.
2. Это перераспределение создает эволюцию там, где преобладает интеграция материи и рассеяние движения, и создает разложение там, где преобладает потеря движения и дезинтеграция материи.
3. Эволюция является простой, когда процесс интеграции или образование концентрированного агрегата не осложняется другими процессами.
4. Эволюция является сложной, когда вместе с первичным переходом от бессвязной формы к более связной происходят вторичные изменения вследствие различия условий, в которых находятся различные части агрегата.
5. Эти вторичные изменения представляют превращение однородного в разнородное, превращение, совершающееся, как и первое, во всей Вселенной, как целом, и во всех (или

¹ Этот перечень, изданный много лет тому назад в Америке, был вторично издан в Англии восемь лет тому назад (см. «Athenaeum» от 22 июля 1882 г.).

почти во всех) ее мельчайших частях: в агрегате небесных светил и туманностей, в Солнечной системе, в Земле, как неорганической массе, в каждом растительном и животном организме (закон фон Бэра), в агрегате организмов геологического периода, в сознании, в обществе, во всех продуктах социальной деятельности.

6. Процесс интеграции, обнимающий всю Вселенную и действующий в каждом данном месте, комбинируется с процессом дифференциации, благодаря чему происходит уже не простой переход однородного к разнородному, но переход от неопределенной однородности к определенной разнородности, — и эта возрастающая определенность, которая сопровождает возрастающую разнородность, обнаруживается, как и последняя, во всей совокупности вещей и в каждом их разряде, вплоть до самых мельчайших.
7. Одновременно с перераспределением материи в каждом развивающемся агрегате происходит также перераспределение сохраненного движения его составных элементов по отношению друг к другу; это последнее также постепенно становится более определенно разнородным.
8. Так как бесконечной и абсолютной однородности не существует, перераспределение, одной из фаз которого является эволюция, неизбежно. Причины этой неизбежности следующие:
9. Неустойчивость однородного вследствие различного воздействия на различные части ограниченного агрегата посторонних сил. Проистекающие отсюда превращения усложняются благодаря:
10. Размножению следствий. Каждая масса и части массы, на которые действует сила, разлагает и дифференцирует эту силу, вследствие чего она производит в них новые разнообразные перемены, и каждая из этих последних становится, в свою очередь, источником подобным же образом размножающихся перемен: размножение их все возрастает по мере того, как агрегат становится разнороднее. Действию этих двух причин возрастающей дифференциации способствует
11. Разложение, т.е. процесс, постоянно направленный к разъединению несходных единиц и соединению сходных единиц и способствующий более резкому выражению или большей определенности, вызванной иным путем дифференциации.

12. Равновесие есть конечный результат превращений, претерпеваемых каждым развивающимся агрегатом. Изменения в нем продолжают до тех пор, пока не установится равновесие между посторонними силами, действию которых подвергаются все части агрегата, и противопоставляемыми им силами этих частей. Прежде чем установится окончательное равновесие, могут быть переходные стадии уравниваемости движений (как в Солнечной системе) или уравниваемости функций (как в живом организме); но неизбежным пределом изменений, в которых заключается эволюция, является состояние покоя в неорганических телах или смерть в органических телах.
13. Разложение представляет обратное изменение, претерпеваемое рано или поздно каждым развившимся агрегатом. Продолжая подвергаться действию окружающих неравновешенных сил, каждый агрегат всегда может подлежать дезинтеграции в силу постепенного или внезапного возрастания содержимого им движения; это разложение совершается быстро в телах, бывших недавно одушевленными, медленно — в неодушевленных массах и продолжается в течение бесконечно долгого периода в каждой планетной или звездной массе, в которой в прошедшем, с бесконечно отдаленного времени, медленно совершался процесс эволюции: цикл ее превращений, таким образом, завершается.
14. Эта смена эволюции и разложения, завершающаяся в небольших агрегатах в течение коротких периодов, а в обширных, рассеянных в пространстве, агрегатах в течение периодов, неизмеримых для человеческого ума, насколько мы можем видеть, — универсальна и бесконечна, причем каждая из чередующихся фаз преобладает попеременно, в зависимости от местных условий, то в той, то в другой сфере пространства.
15. Все эти явления как в главных, так и в мельчайших своих чертах необходимо вытекают из постоянства силы в ее формах: материи и движения. Количество последних, распределенное в пространстве, не увеличивается и не уменьшается, а остается неизменным; отсюда должно неизбежно следовать непрерывное перераспределение, выражающееся как

в эволюции и разложении, так и во всех их перечисленных выше главных чертах.

16. То, что изменяет вечно форму и остается неизменным по количеству в той ощутимой нами видимости, которую представляет Вселенная, превышая человеческое знание и понимание, — есть неизвестная нам и непознаваемая сила, которую мы должны признать не имеющей границ в пространстве и начала и конца во времени.

В этом ряде параграфов изложен в крайне абстрактной форме процесс превращения, совершающийся во всем Космосе, как целом, и в каждой большей или меньшей его части. Заключающиеся в этих параграфах положения мы разработали, разъяснили и иллюстрировали в «Основных началах», а в следующих томах нашей серии мы хотели истолковать, согласно с установленными в «Основных началах» законами, некоторые обширные группы явлений, как то: астрономических, геологических (оба эти труда отложены), биологических, психологических, социологических и химических.

Если кто-нибудь докажет, что то или другое из перечисленных выше положений заимствовано из позитивной философии или внушено ею, то будет очевидно, что система синтетической философии в этих пределах обязана первой. И если окажется возможным указать у Конта определенно выраженное убеждение, что факторы, производящие изменения всех родов, как неорганические, так и органические, действуют одновременно всюду, во всей Вселенной, одинаковым образом и всюду производят те же самые в существенных чертах метаморфозы, то можно с полным основанием предположить еще более тесную зависимость нашей системы от позитивной философии.

Но, насколько нам известно, позитивная философия не содержит в себе ни одной из перечисленных выше главных идей, а также и более общих идей, на которых они основаны.

Добавление Б

Я уже указывал, что последователи О. Конта, руководимые духом прозелитизма, обыкновенно приписывают ему многое,

что уже раньше него было общим наследием ученых и на что он сам не предъявлял никаких притязаний.

Позднее на то же указывали и другие: Милль в Англии и Фулье во Франции.

Милль говорит: «Итак, основные идеи философии Конта никоим образом не принадлежит ему, но составляют общее достояние века, хотя они еще далеко не всеми признаны, даже среди мыслителей. Философия, называемая позитивной, — не новое открытие Конта, а простое присоединение к традициям всех великих ученых, чьи открытия сделали человечество тем, что оно есть теперь. О. Конт никогда не выставлял это в другом свете. Но эта доктрина сделалась его собственной, благодаря его особым приемам рассуждения» («Огюст Конт и позитивизм», с. 8 и 9).

Альфред Фулье в 1875 г. в своей «Истории философии» пишет:

«Сен-Симон хотел организовать последовательно: общество для содействия наук (из этого намерения возник позитивизм), затем общество для содействия промышленности и, наконец, общество для содействия новой религии с правом «принуждать каждого члена следовать заповеди любви к ближнему» (с. 428).

«Социальные доктрины Сен-Симона вместе с натурализмом Кабаниса и Бруссе дали начало позитивизму Огюста Конта. Последний, как и Сен-Симон, смотрел на науку об обществе или «социологию» как на предел и цель всех научных изысканий» (с. 422).

«К этому методу Огюст Конт присоединил совершенно новое, по его мнению, учение о трех фазисах, которые он считает неизбежными в истории развития человеческого знания: теологического, метафизического и научного. Зачатки этой теории были уже у Тюрго» (с. 424).

«Вообще заслуга Конта состояла в том, что он установил надлежащие методы в естественных науках, но следует признать, что эти методы были уже известны до него» (с. 425).

XXV | МИЛЛЬ ПРОТИВ ГАМИЛЬТОНА. КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ¹

Британская мысль, которой современная философия обязана своими начальными идеями и признанными истинами, не дремлет; своей «Системой логики» Милль больше всех других писателей способствовал ее пробуждению. К этой великой заслуге, оказанной им лет двадцать тому назад, он теперь присоединяет «Исследование философии сэра Уильяма Гамильтона», где взгляды сэра Уильяма Гамильтона берутся за положения, и различные конечные вопросы, до сих пор не решенные, вновь подвергаются обсуждению.

В числе этих вопросов есть один весьма важный, который вызвал полемику между Миллем и другими; этот-то вопрос я и намерен здесь рассмотреть. Но предварительно считаю уместным бросить взгляд на две основные доктрины философии Гамильтона, с которыми Милль расходится, так как комментарии к ним пояснят дальнейшие рассуждения.

В пятой главе Милль говорит: «То, что Гамильтон отвергает как познание, он все-таки принимает под именем веры». Цитаты подтверждают такой взгляд на положение Гамильтона и удостоверяют, что он признает относительность знания только номинально. Я думаю, что его несостоятельность сводится к употреблению слова *верование* в двух совершенно различных значениях. Обыкновенно мы говорим *верить* о том, чему можем приписать перевес очевидности или относительно чего мы получили впечатление, которое не поддается определению. Мы верим, что следующая Палата общин не уничтожит церковных налогов, или, при взгляде на какого-нибудь человека, *мы верим*, что он добр. Другими словами, если мы не можем дать никаких доказательств или можем привести лишь недостаточные доказательства того, о чем мы думаем, то мы называем это *верованиями*. Особенность верований, в противопо-

¹ Впервые напечатано в «The Fortnightly Review» в июле 1865 г.

ложность убеждениям, та, что в первом случае легко отделить связь с предыдущими состояниями сознания, а во втором трудно. Но, к несчастью, слово *верование* применяется также к каждой из временно или постоянно неразрывных связей в сознании, и единственным основанием для принятия их служит то, что от них нельзя отрешиться. Говоря, что я чувствую боль, или что слышу звук, или что одна строка мне кажется длиннее другой, я признаю, что в моем состоянии произошла какая-то перемена, но этого факта я не могу доказать иначе как тем, что он представляется моему уму. Каждое доказательство, в свою очередь, разлагается на последовательные впечатления сознания, которые говорят только сами за себя. Если меня спросят, почему я отстаиваю какую-нибудь выведенную истину, например что сумма углов треугольника равна двум прямым, то я отвечу, что доказательство может быть разложено на ступени. Каждая ступень есть непосредственное сознание, что какие-то два количества или отношения равны или неравны между собой, и это сознание можно объяснить только тем, что оно существует во мне. Доходя, наконец, до какой-нибудь аксиомы, лежащей в основе целой системы доказательств, я тоже могу лишь сказать, что это — истина, которую я непосредственно сознаю. Но тут выходит путаница. Огромное большинство истин, которые мы принимаем как не подлежащие сомнению и из которых мы составляем отвлеченное понятие о непреложной истине, имеют ту общую черту, что они были порознь выведены из более глубоких истин.

Эти два признака так тесно слиты, что один как будто обуславливает присутствие другого. Для каждой геометрической истины мы можем указать какую-нибудь дальнейшую истину, из которой она вытекает; для этой дальнейшей истины мы можем опять-таки указать другую, еще более отдаленную, и т.д. Так как точное знание устанавливается обыкновенно этого рода доказательствами, то выработался ошибочный взгляд, будто бы такое знание действительнее, чем непосредственное познание, которое не имеет более глубокой опоры. Привычка во всех случаях требовать доказательств и давать доказательства породила заключение, что можно требовать доказательств и для конечных положений сознания, на которые разлагается всякое доказательство. Затем, ввиду невозможности дока-

зять их, появляется смутное чувство, что они связаны с другими вещами, которых нельзя доказать, — что они подлежат сомнению, — что у них неудовлетворительные основы. Это чувство еще усиливается от попутного неправильного употребления слов. Слово «верование», как указано выше, стало вызывать впечатление, для которого мы можем привести лишь явно недостаточное доказательство или вовсе никакого. Если требуется, чтобы мы объяснили конечное положение сознания, то при отсутствии какого-нибудь неопровержимого довода мы иногда говорим, что *верим* ему. Итак, два противоположных полюса знания известны под одним и тем же именем. Вследствие противоположных значений этого имени, вызывающего самые последовательные и самые непоследовательные соотношения мысли, происходят ошибочные представления. В этом, как мне кажется, и кроется *ошибка* Гамильтона. Относя к *верованиям* прямые неразлагаемые положения сознания, которые не требуют доказательств, он уверяет, что по значению они стоят выше знания (подразумевая под знанием то, что можно доказать), и в этом он вполне прав. Но когда он отводит такое же место впечатлениям сознания, которые известны под тем же именем *верований*, но в отличие от последних являются лишь косвенными или совсем неопределенными впечатлениями сознания, то с ним нельзя согласиться. Он сам признает, что нет положительного знания, соответствующего слову «бесконечный», и, наоборот, знания, которые он справедливо считает непреложными, не только положительны, но еще обладают той особенностью, что их нельзя отвергнуть. Как же в таком случае ставить их на одну доску, словно они имеют одинаковое значение?

С этим приблизительно сходна и другая доктрина Гамильтона, которую Милль разбивает по существу. Я говорю о выводе относительно ноуменального существования, который Гамильтон делает из закона об исключенном третьем или, выражаясь точнее, из закона противоположных необходимостей (Alternative Necessity).

Вещь должна или существовать, или не существовать, — должна иметь известное свойство или не иметь его: третья возможности не существует, до тех пор пока этот закон излагают нам как закон мысли, в отношениях к феноменальному существованию, никто не может подвергнуть его сомнению.

Но сэр Гамильтон распространяет этот закон за пределы мысли и выводит положительные заключения касательно ноуменального существования. Он говорит, например, что хотя мы можем представлять себе пространство бесконечным или конечным, но по принципу исключенного третьего нужно допустить или то, или другое. Этот вывод Милля следует отвергнуть. Его доказательство можно дополнить другим, которое само напрашивается, если от слов Гамильтона мы перейдем к идеям, которые они должны выражать. Если мы вспоминаем известный предмет как находящийся в известном месте, то мы умственно воспроизводим сразу и место, и вещь; между тем когда мы думаем о несуществовании этой вещи в данном месте, то в нашем сознании воспроизводится только данное место, но не вещь. Подобным же образом, если вместо того, чтобы думать о каком-либо предмете как о бесцветном, мы думаем о нем как об обладающем известным цветом, то вся перемена состоит в прибавлении к нашему представлению некоторого элемента, который прежде отсутствовал в нем: предмет не может быть мыслим сначала как красный, а потом как не красный, без того чтобы один из составных элементов мысли не был совершенно вытеснен из души каким-либо другим элементом. Следовательно, учение об исключенном третьем есть просто обобщение того всеобщего опыта, что некоторые душевные состояния прямо разрушают другие состояния. Это учение формулирует некоторый абсолютно постоянный закон, в силу которого никакая положительная форма сознания не может иметь места без исключения соотносительной ей отрицательной формы, и сама антитеза положительного и отрицательного есть в действительности не что иное, как выражение этого опыта. Отсюда следует, что если сознание не находится в одной из этих двух форм, то оно должно находиться в другой из них. Но при каких условиях может иметь место этот закон сознания? Он может иметь место лишь до тех пор, пока существуют некоторые положительные состояния сознания, которые могут исключать и быть сами исключаемыми. Если у нас нет вовсе никаких положительных состояний сознания, то не может быть и никакого взаимного исключения, а потому и закон противоположных необходимостей не прилагается. Следовательно, здесь лежит слабое место предложения сэра У. Гамильтона. Поставленные лицом к лицу с его двумя

альтернативами — что пространство должно быть или бесконечным, или конечным, — мы вовсе не обязаны смотреть на одну из них как на необходимую, так как мы не имеем никакого состояния сознания, которое соответствовало бы какому-либо из этих слов, в их приложении к пространству, взятому в его целом, а следовательно, у нас не существует никакого взаимного исключения между двумя антагонистическими состояниями сознания. Так как обе альтернативы немыслимы, то это предложение следовало бы написать так пространство есть или —, или оно есть —; причем ни один из этих случаев не может быть представлен себе, но один из них может быть истинным. В этом случае, как и в других, сэр У. Гамильтон продолжает развивать формы мысли даже тогда, когда они не содержат никакой субстанции, а потому, конечно, он не достигает ни до чего, кроме подобия заключений.

Заканчивая на этом комментарий доктрин Гамильтона, опровергнутых Миллем, по причинам, которые, в общем, должны быть признаны основательными, я позволяю себе перейти к доктрине, которая поддерживается частью Гамильтоном, частью другими, в различной обработке и оценке, и которую, как мне кажется, можно успешно защищать от нападков Милля.

В четвертом и пятом изданиях «Логики» Милль пространно трактует вопрос: служит ли непостижимость доказательством ложности? — и возражает критике, предварительно высказавшейся в отрицательном смысле. Ответ его здесь главным образом сводится к объяснению слова *немыслимый*. Милль находит, что это слово употребляется в одинаковом значении со словом *невероятный*; и, переводя его таким образом, он свободно распоряжается различными выставленными против него аргументами. Быть может, другие лица, употреблявшие эти слова в философских рассуждениях, сделали их синонимами, — этого я не знаю; но чтобы они употреблялись в таком смысле в моих доводах, которые оспаривает Милль, этого я не предполагал и потому крайне удивился его ссылке на меня. Очевидно, я недостаточно остерегался ложных толкований, могущих вытекать из двоякого значения слова *верование*, которое, как мы видели, обозначает самые связные и самые несвязные отношения в сознании, так как по общему признанию, ни для тех, ни для других не имеется доказательств. В рассуждении, на которое

возражает Милль, это слово везде употребляется мною только в первом смысле.

«Неизменные верования», нерушимые верования — это неразрывные понятия в сознании, никогда не подлежащие разграничению. Но слово *невероятный* свидетельствует о разграниченности понятий. По ассоциации с другим, более общим, значением слова *верование* слово *невероятный* относится к случаям, где предложение, хотя и с трудом, можно построить в мысли и где, следовательно, противоположение может быть разложено. Для большей верности определим и поясним значение слов *немыслимый* и *невероятный*. Немыслимым называется такое предложение, члены которого никакими силами не могут войти в сознание при установленном между ними отношении. В этом предложении подлежащее и сказуемое представляют непреодолимое препятствие для соединения их в мысли. Невероятным называется такое предложение, которое может быть создано в мысли, но оно настолько расходится с опытом, что без усилия нельзя привести его термины в утверждаемое предложением соотношение. Так, например, невероятно, чтобы пушечное ядро от выстрела, сделанного в Англии, могло достигнуть Америки; *но это не есть немыслимое*. Наоборот, не только невероятно, но и немыслимо, чтобы одна сторона треугольника равнялась сумме двух других сторон. В сознании нельзя представить себе, что сумма двух сторон равняется третьей, не нарушая этим представления о треугольнике. Представление о треугольнике также не может составиться без того, чтобы не нарушилось представление о равенстве этих величин. Другими словами, подлежащее и сказуемое не могут соединиться в одной и той же интуиции т.е. предложение немыслимо. Только в таком смысле я и употреблял слово *немыслимый*, и только при таком строгом ограничении этого слова я смотрю на испытание немыслимостью, как на имеющее какую-либо цену.

Я думал, что этим объяснением я устраню разногласие с доводами Милля. Однако только что вышедшее его произведение показывает, что, даже ограничивая слово *непостижимый* указанным здесь значением, он все-таки отрицает, чтобы правильность предложения доказывалась непостижимостью его отрицания. Трудно в умеренных границах возразить на все полемические нападки. Однако, прежде чем перейти

к главному вопросу, я попытаюсь очистить поле от нескольких второстепенных.

Разбирая доктрину сэра Уильяма Гамильтона относительно конечных фактов сознания, или таких фактов, которые не подлежат доказательствам, Милль пишет: «Он ставит единственным условием, чтобы мы не могли свести его (факт этого рода) к обобщению из опыта. Это условие осуществляется, если факт обладает характером необходимости. Должно быть невозможным не мыслить его. Действительно, только в силу одной этой необходимости мы можем признать его за подлинное данное разума и отличить от простого результата обобщения и привычки. В этом сэр Уильям Гамильтон стоит заодно со своими единомышленниками философами: Рейдом, Стюартом, Кузеном, Узвеллем и, можем мы еще добавить, Кантом и даже Гербертом Спенсером. Критерий, по которому все они решают, что *верование* составляет часть нашего первобытного сознания — первоначальную интуицию ума, — это необходимость мыслить его. Их доказательство того, что мы должны были всегда, с самого начала, иметь веру, сводится к невозможности отрешиться от нее теперь. Такой аргумент в приложении к каким-нибудь спорным философским вопросам вдвойне неправилен. Нельзя допустить здесь ни большей, ни меньшей посылки. Самый факт, что вопрос подлежит спору, опровергает указанную невозможность. Все те, против кого нужно защищать веру, считаемую необходимой, сами наглядно показывают, что она не необходима. Итак, эти философы, и в их числе сэр Уильям Гамильтон, заблуждаются на счет истинных условий психологического исследования, когда доказывают, что вера есть самобытный факт сознания не потому, что она не могла быть приобретена, а на основании ложного и не всегда достаточно мотивированного довода, что наше сознание теперь не может отрешиться от нее» (гл. IX).

Такое изложение моих собственных взглядов несколько удивило меня. Ввиду того что я признал свою солидарность с Миллем в той доктрине, что всякое знание вытекает из опыта, и защищал критерий непостижимости, так как он выражает «чистый результат нашего опыта до нынешнего времени» («Основания психологии», §430); ввиду того что я не только не утверждал различия, приведенного со слов сэра Уильяма Гамильтона, а стремился уничтожить такое различие; ввиду

того что я старался показать, насколько наши понятия, даже такие, как о пространстве и времени, *приобретены*; ввиду того что я пытался объяснить формы мышления (а следовательно, и все интуиции) как продукт организованного и унаследованного опыта («Основания психологии», §208), — ввиду всего этого я с удивлением встретил свое имя в вышеупомянутом перечне. Однако, оставляя личности, я позволю себе перейти в тому утверждению, будто различие мнений относительно критерия необходимости само опровергает пригодность этого критерия. Здесь может быть двоякий выход. Во-первых, если какое-нибудь предложение некоторыми принимается как необходимое верование, а одним или несколькими лицами не принимается, то разве этим опровергается пригодность критерия необходимости по отношению к упомянутому предложению?

Во-вторых, если пригодность критерия опровергнута для данного предложения, то разве из этого следует, что критерий не может зависеть от других условий? Разве следует, что не существует верований, которые всемирно приняты как необходимые и для которых критерий необходимости пригоден? На каждый из этих вопросов, я думаю, можно с полным правом ответить отрицательно.

Говоря, что если одни считают какую-нибудь уверенность необходимой, а другие считают эту уверенность не необходимой, то это самое показывает, что критерий необходимости вовсе не есть критерий, — Милль безмолвно предполагает, что все люди обладают одинаковой способностью внутреннего самонаблюдения; между тем как многие из них совершенно не способны к правильному истолкованию своего сознания, за исключением самых простейших его форм; да даже и остальные люди склонны ошибочно принимать за показания сознания то, что, при более внимательном исследовании, вовсе не оказывается показаниями сознания. Возьмем случай арифметической ошибки. Школьник складывает длинный столбец цифр и получает неверную сумму. Он переделывает сложение сначала и вновь ошибается. Учитель приказывает ему проделать весь процесс вслух; и тогда слышит, как он говорит: «35 да 9 — сорок шесть», — ошибка, которую он повторял каждый раз. Но, не вступая в исследование того умственного акта, посредством которого мы знаем, что 35 и 9 составляют 44, можно видеть ясно, что неправиль-

ное истолкование школьником своего собственного сознания, заставляющее его безмолвно отрицать эту необходимую истину, утверждая, что «35 и 9 составляют 46», не может считаться доказательством, что данное отношение ($35 + 9 = 44$) не необходимо. Неправильные суждения этого рода, совершаемые часто даже опытными счетчиками, показывают только, что у нас есть склонность недосматривать необходимые связи в наших мыслях и принимать за необходимые другие связи, которые вообще не суть необходимые. То, что изредка случается в вычислениях, очень часто случается в более сложном мышлении: люди неясно переводят употребляемые ими слова в эквивалентные этим словам состояния сознания. Эта небрежность так привычна для многих, что они совсем не сознают, что они неясно представили себе те предложения, которые они утверждают, а потому они способны совершенно искренно, хотя и ошибочно, уверять, будто бы они могут мыслить вещи, которые на самом деле совершенно невозможно мыслить.

Но предположим даже, что если какая-нибудь уверенность считается необходимой, то существование лиц, подтверждающих собою возможность верить иначе, уже доказывает не необходимость его; но разве из этого вытекает, что критерий необходимости недействителен? Я думаю, что нет. Люди могут по ошибке считать за необходимые некоторые не необходимые верования, и все-таки справедливо будет, что существуют необходимые верования и что необходимость таких верований служит нам за них ручательством. Если бы проверенные таким образом заключения в ста случаях оказались неправильными, то из этого еще не следовало бы, что критерий недействителен; скорее это указало бы на сто ошибок в пользовании логической формулой, чем на ее непригодность. Если из посылки: все рогатые животные жуют жвачку — заключать, что носорог, как рогатое животное, жует жвачку, то ошибка не послужит доказательством против какого бы то ни было значения силлогизмов вообще. Сплошь да рядом бывают тысячи ошибочных дедукций, и лица, совершающие их, считают гарантией те данные, из которых они их выводят. Однако никакое количество ошибочных дедукций не считается доказательством того, что не бывает дедукций правильных и что прием дедукции не основателен. В этих случаях, как и в предыдущем, с которым они здесь

сравниваются, необходимой является только проверка данных и критика актов сознания.

«Это доказательство», — говорит Милль о доказательстве необходимости, — в применении к спорным философским вопросам вдвойне неправильно... Самый факт, что вопрос подлжит спору, опровергает указанную невозможность». На это кроме упомянутых возражений можно привести и еще одно. Допустим, что к этому критерию прибегали неправильно; допустим, что есть много вопросов чересчур сложных, чтобы их решить с его помощью, но люди делали такие попытки и, естественно, входили в полемику; и все-таки можно, по справедливости, утверждать, что по сравнению со всеми, или почти со всеми, вопросами, правильно обсужденными на основании этого критерия, ответ не подлжит спору. С древнейших времен и до наших дней люди не изменили убеждений относительно числовых истин. Аксиома, что если прибавить равные величины к неравным, то суммы будут неравны, у греков так же, как и у нас, считалась прямым приговором сознания, неизбежным и безапелляционным. Каждая из теорем Евклида для нас так же безусловна и несомненна, какими были и для них. Мы соглашаемся с каждой ступенью любого их доказательства, так как мы непосредственно видим, что утверждаемое отношение действительно таково, как оно утверждается, и что невозможно мыслить его иначе.

Но как же решить, что есть правильное приложение критерия? Ответ не трудно найти. Милль указывает на верование в антиподов, отвергнутое греками, ввиду его непостижимости, но принятое нами, как постижимое и правильное. Он приводил этот пример и раньше, и я в свою очередь возражал ему («Основания психологии», §428) по той причине, что состояния сознания, связанные с суждением, слишком сложны, чтобы допустить какой-нибудь надежный вердикт. Следующий пример покажет разницу между правильным и неправильным применением критерия. Даны две линии А и В (см. «Основания психологии», т. II, с. 252): как решить, равны они или неравны между собою? Нет другого способа, как только сравнить оба впечатления, произведенные ими на сознание. Я узнаю их неравенство с помощью непосредственного акта, когда разница между ними велика или если, даже при умеренной разнице, они лежат близ-

ко одна от другой. При совсем маленькой разнице я решаю вопрос наложением линий в том случае, когда они подвижны, или перенесением некоторой подвижной линии от одной из них на другую, если они неподвижны. Но во всяком случае, я получаю в сознании свидетельство того, что впечатление от одной линии отличается от впечатления от другой. Доказать эту разницу я могу только тем, что сознаю ее и, пока созерцаю эти линии, нахожу невозможным освободиться от этого сознания. Предположение, что эти линии неравны, есть предположение, отрицание которого непостижимо. Теперь допустим, что нас спрашивают, равны ли между собою линии В и С или же С и D?

На это невозможно дать никакого положительного ответа. Мы не можем сказать, что для нас немислимо, чтобы В была длиннее, чем С, или равна ей, или короче ее; напротив того, мы можем мыслить одинаково каждое из этих трех утверждений. Здесь обращение к прямому приговору сознания неправильно, незаконно; потому что при перенесении внимания от В к С или от С к D перемены в других элементах впечатлений так запутывают и затемняют сравниваемые элементы, что мешают поставить их в сознании рядом друг с другом. Если вопрос об относительной длине все-таки должен быть решен, то это может быть сделано только посредством выпрямления кривой линии; а это может быть произведено лишь путем целого ряда приемов, из которых каждый требует непосредственного суждения, сродного тому, с помощью которого сравнивались А с В. Но как здесь, так точно и во всех других случаях только простые усмотрения (*percepts*) и представления (*concepts*) таковы, что их отношения могут быть удостоверяемы непосредственным сознанием; и как здесь, так точно и во всех других случаях только посредством разложения на такие простые усмотрения и представления может быть достигнуто истинное суждение касательно сложных усмотрений и представлений. Что вещи, равные порознь той же самой вещи, равны между собою — есть факт, который может быть узан посредством прямого сравнения действительных или идеальных отношений и который не может быть узан никаким другим путем; а само предположение таково, что отрицание его немислимо, и оно совершенно законно утверждается на основании этого ручательства. Но тот факт, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника

равняется сумме квадратов остальных его двух сторон, — есть факт, который не может быть узнан непосредственно, с помощью прямого сравнения двух состояний сознания. Здесь истина может быть достигнута лишь посредственно, не прямым путем, а именно через посредство целого ряда простых суждений касательно сходств и несходств некоторых отношений; причем каждое из этих суждений обладает, в сущности, той же самой природой, как и то, посредством которого узнается предыдущая аксиома, и имеет за себя то же самое ручательство. Таким образом, становится очевидным, что тот ошибочный результат, к которому привело испытание с помощью нашего критерия в примере, приведенном Миллем, зависел просто от неправильного приложения этого критерия.

Эти предварительные объяснения нужны были для того, чтобы разъяснить вопрос в корне. Теперь перейдем к его сущности.

Метафизическому рассуждению обыкновенно вредит какой-нибудь скрытый *petitio principii**. При любом доказательстве за или против подразумевается, что верно то или другое: вещь либо доказана, либо опровергнута. Так, например, с доказательством идеализма. Хотя и выводится заключение, что разум и идеи — единственные существования, но ступени, по которым оно проходит, допускают, что внешние предметы имеют именно то независимое существование, которое решительно отвергается. Если протяженность, бытие которой идеалисты оспаривают, есть только впечатление сознания и в сознании ничто ей не соответствует, то в каждом из предложений о протяженности всегда должно подразумеваться впечатление сознания и больше ничего. Но если там, где они говорят о расстояниях и размерах, мы понимаем идеи расстояний и размеров, то их предложения сводятся к бессмыслице. То же относится и к скептицизму. Разложение всякого знания на *впечатления* и *идеи* совершается посредством анализа, который подразумевает на каждом шагу объективную действительность, производящую впечатление, и субъективную действительность, воспринимающую их. Рассуждение становится невозможным, если с самого начала не допустить существования объекта и субъекта. Согласимся с сомнениями скептика и затем попробуем проверить его доказательства так, чтобы они гармонировали с его сомнения-

ми. Из двух альтернатив, между которыми он колеблется, допустим сначала существование объекта и субъекта. Действительно ли его доказательство или недействительно, но оно возможно. Теперь допустим, что объект и субъект не существуют. Скептик не может подвинуться ни на шаг к своему заключению, — он даже не может его предлагать, так как слово *впечатление* нельзя перевести в мысль, не допустив, что есть предмет, производящий впечатление, и предмет, воспринимающий впечатление.

Хотя эмпиризм, как его понимают в настоящее время, не в такой степени побивает себя, но в своем методе он подлжит аналогичной критике, которая также свидетельствует о несостоятельности его выводов. Он предлагает признавать так называемые необходимые верования наряду с другими и при этом не считать никакого верования необходимым. Он выдвигает многочисленные доказательства того, что связь между состояниями нашего сознания определяется опытом: часто два опыта вместе отпечатлеваются в сознании и так тесно ассоциируются, что один неминуемо влечет за собою другой, а если их совместное возвращение постоянно и неизменно, то связь между ними становится неразрывной; из этого он заключает, что произведенная таким образом неразрывность есть все, что мы подразумеваем под необходимостью. Затем он старается объяснить таким происхождением каждое из так называемых необходимых верований. Если бы чистый эмпиризм мог достигнуть этого анализа и последующего синтеза, не делая никаких допущений, то его аргументы были бы неоспоримы. Но он не может сделать этого. Вспомните в его фразеологию, и у вас явится вопрос: опыты чего? Переведите слово в мысль: ясно, что требуется нечто большее, чем состояния ума и связь между ними. В противном случае гипотеза гласила бы, что состояния ума порождаются опытами состояний ума; и если продолжить исследование, то в конце концов мы пришли бы к начальным состояниям ума, которые не признаются, — и гипотеза рушилась бы. Очевидно, здесь подразумевается что-то помимо ума, производящего «опыты», что-то такое, где существуют объективные отношения, которым соответствуют субъективные — внешний мир. Откажитесь от такого объяснения слова *опыт*, и гипотеза не будет иметь смысла. Но, считая внешнюю действительность необходимой основой своих рассуждений, чистый

эмпиризм дальше не может ни доказать, ни опровергнуть своего постулата. Всякая попытка опровергнуть его или придать ему другое значение разбивает его; а попытка установить его путем заключения вводит в заколдованный круг. Что же мы должны сказать о предположении, на котором основывается эмпиризм? Есть ли это необходимое верование или нет? Если оно необходимо, то гипотеза в своей чистой форме отвергается. Если оно не необходимо, если оно не установлено заранее как абсолютно достоверное, то гипотеза основывается на неопределенности и вся система доказательств неустойчива. Мало того, помимо ненадежности, обусловленной построением на фундаменте, который явно подлежит сомнению, еще ненадежнее строить предположение на предположениях, из которых каждое явно подлежит сомнению. Сказать, что нет необходимых истин, — это равносильно признанию, будто каждый последующий вывод не вытекает в силу необходимости из посылок, — таково эмпирическое суждение, суждение не вполне достоверное. Отсюда, строго разбирая доктрину чистого эмпиризма, мы видим, что он исходит из неопределенности, затем следует через ряд неопределенностей и потому не может похвалиться большой определенностью своих заключений.

Конечно, можно возразить, что никакая теория человеческого знания не может обойтись без постоянных или временных предположений, и состоятельность их определяется достигнутыми с их помощью результатами. Чтобы такие предположения сделаны были правильно, требуются два условия. Во-первых, они не должны повторяться из ступени в ступень, иначе заключение также выйдет предположением. Во-вторых, не нужно упускать из виду того факта, что это — *предположения*: заключениям нельзя приписывать достоверности, которой не отличались послышки. Итак, чистый эмпиризм, как и другие теории знания, подлежит критике за то, что он не называет своих первоначальных предположений временно действительными, если отрицает, что они могут быть обязательно действительными. Он подлежит критике и за то, что на каждом шагу в доказательствах делает предположения, которые забывает признать временными и которые также не могут быть признаны необходимыми. Пока он не представит какой-нибудь гарантии для первых данных и для каждого последовательного вывода или

же не признает их всех гипотетическими, его можно остановить в начале или на любой ступени доказательств. Оппонент может оспаривать каждое «потому что» и «следовательно», пока ему не скажут, отчего же это так утверждается? Он может возражать, что если вывод не необходим, то он не обязан принять его, а если необходим, то требует открыто признать его необходимость и определить известный критерий, чтобы отличать его от не необходимых предположений.

Эти соображения покажут, думается мне, что правильно проведенная первая ступень метафизического доказательства должна состоять в исследовании предположений, для того чтобы удостовериться, какой общий признак есть у тех, которые мы называем бесспорными, и на чем основывается определение их бесспорности. Далее, для правильного исследования мы должны строго ограничить анализ, рассматривая только состояния сознания в их взаимных отношениях и совершенно игнорируя все остальное. Если раньше чем мы удостоверились путем сравнения, какое свойство предположений заставляет нас относить иные из них к бесспорным, мы так или иначе признаем существование чего-то за пределами сознания, то данное предположение будет считаться бесспорным прежде, чем мы убедимся, в чем состоит отличительная черта бесспорных предположений, и анализ будет недействительным. Если мы не можем выйти за пределы сознания и, следовательно, все то, что мы знаем как истину, должно быть некоторым умственным состоянием или комбинацией умственных состояний, то мы должны выяснить, как мы различаем то или другое состояние. Определение истины должно выражаться в терминах сознания; и действительно, его и нельзя выразить иначе, если нельзя выйти за пределы сознания. Итак, метафизик первым делом должен устранить из своего исследования все, что несубъективно, и не допускать существования чего-либо объективного, соответствующего его идеям, пока он не убедился, каким свойством отличаются его идеи, когда он называет их истинными. Посмотрим, что из этого выходит.

Когда мышление ведется с должной точностью, когда душевные состояния, называемые нами словами, переводятся в те душевные состояния, которые они символизируют собою (что часто вовсе не делается), — то мышление предположения

состоит в совместном появлении в сознании его подлежащего и сказуемого. «Птица была бурая» есть утверждение, предполагающее соединение в мысли некоторого особенного свойства, или атрибута, с некоторой группой других свойств.

Если исследователь будет сравнивать между собою различные предложения, переведенные таким образом в состояния сознания, то он найдет, что эти предложения различаются между собою по той легкости, с которой состояния сознания вступают во взаимную связь и разъединяются друг от друга. Душевное состояние, означаемое словом *бурый*, может соединяться с теми душевными состояниями, которые составляют фигуру, означаемую словом *птица*, без всякого заметного усилия, или может быть отделяемо от этих состояний тоже без всякого заметного усилия, т.е. птица легко может быть мыслима черной, зеленой или желтой. Наоборот, рассматривая такое утверждение, как «лед был горяч», наш исследователь найдет очень трудным привести свой ум в соответствие с этим предложением. Элементы этого предложения не могут быть поставлены рядом в мысли без большого сопротивления. Между разными состояниями сознания, созначаемыми словом *лед*, и между состоянием сознания, означаемым словом *холод*, существует крепкая связь, — связь, крепость которой измеряется тем сопротивлением, которое нужно преодолеть, чтобы мыслить себе лед как *горячий*. Затем, наш исследователь найдет, что во многих случаях сгруппированные вместе состояния сознания вовсе не могут быть разъединены одно от другого. Идея о давлении не может быть разъединена от идеи о чем-либо, занимающем пространство. Движение не может быть мыслимо без того, чтобы мы не мыслили в то же самое время о каком-либо движущемся предмете. Эти связи в сознании остаются абсолютными при всех обстоятельствах.

Замкнувшись в предписанных себе пределах, пусть наш исследователь спросит себя теперь, что он думает об этих различных степенях связи между его состояниями сознания и как он ведет себя по отношению к ним. Если ему представляется, откуда бы то ни было, предложение: «Птица была бурая», — подлежащее и сказуемое, соответствующее этим словам, мгновенно вырастают вместе в его мысли; и если тут не существует никакого противоположного предложения, то он соединяет

между собою специфицированные и подразумеваемые свойства без всякого усилия и принимает предложение. Но если предложение будет таково: «Птица необходимо была бурая», — то он делает *один* из числа описанных выше опытов и, находя, что может легко отделить свойство *бурости* и думать о птице как о зеленой или о желтой, не принимает, чтобы птица была необходимым образом бурой. Когда в нем возникает такое предложение, как «лед был холоден», — элементы его мысли ведут себя, как и в первом случае; и до тех пор, пока это предложение не подвергается проверке, союз сознания о холоде с теми состояниями сознания, которые означаются словом *лед*, кажется союзом той же самой природы, как и союз между состояниями сознания, соответствующими словам *бурый* и *птица*. Но если это предложение изменится в такое: «Лед необходимо был холоден», — то мы получим результат, отличный от того, который получился в предыдущем случае. Идеи, соответствующие подлежащему и сказуемому, так связаны, что они почти могли бы сойти за неразделимые, и это новое предложение почти могло бы быть принято. Но предположим, что это предложение подвергается намеренному испытанию и что он старается испробовать, не может ли лед быть мыслим как нехолодный. Всякая такая попытка встречает в сознании сильное сопротивление. Однако же с помощью некоторого усилия он может вообразить себе, что вода переходит в твердое состояние при температуре высшей, чем теплота крови, а потому он может думать о застывшей воде, как о теплой, а не о холодной. Еще один пример. Соответственно предложению: «Вместе с движением существует нечто движущееся» — он представляет себе движущееся тело; и пока он не проверит этого представления путем опыта, он может предполагать, что элементы этого представления соединены между собою тем же самым способом, как и элементы тех представлений, о которых шла речь перед этим. Но предположим, что наше предложение будет видоизменено таким образом: «Вместе с движением необходимо существует нечто движущееся»; ответ, вызываемый в мысли этими словами, покажет, что состояния сознания, являющиеся в этом случае, неразрывно связаны между собою указанным в предложении образом. Он пробует думать о движении, как об имеющем место, без чего-либо движущегося, и его неспособность думать

таким образом показывает его неспособность разорвать одно от другого те состояния сознания, которые составляют проверяемую им мысль.

Эти предложения, противостоящие всем таким усилиям, суть предложения, отличающиеся им как необходимые. Подразумевает ли он под этим словом еще что-либо другое или нет, но он очевидно хочет сказать им, что в его сознании утверждаемые этими предложениями связи оказываются неизменными постольку, поскольку он может удостовериться в этом. Голый факт состоит в том, что он подчиняется этим связям просто потому, что не имеет никакого другого выбора. Они управляют его мыслями, желает ли он того или нет. Оставляя в стороне все вопросы касательно происхождения этих связей, все теории касательно их значений, наш исследователь открывает, что некоторые из его состояний сознания так сплавлены между собою, что все другие звенья в цепи сознания могут разорваться, прежде чем эти раздадутся хотя немного.

Продолжая игнорировать все существования, предполагаемые вне области сознания, пусть наш исследователь спросит себя теперь, что он понимает под рассуждением? Анализ показывает ему, что рассуждение есть образование связанного ряда состояний сознания. Он нашел, что мысли, выражаемые предложениями, различаются между собою по степени сцепления между подлежащим и сказуемым в каждой из них; и он находит, что при каждом шаге вперед его аргументации, если она ведется тщательно, он подвергает испытанию силу всех связей, утверждаемых и подразумеваемых. Он смотрит, действительно ли названный предмет принадлежит к тому классу, в который его включили, а для этого он пробует, не может ли он думать о нем, как о несходном с теми вещами, с которыми он считается сходным. Он смотрит, действительно ли названное свойство принадлежит всем членам данного класса; а для этого пробует думать о каком-либо члене этого класса, как о не обладающем этим свойством. И он принимает предложение только после того, как найдет, что между его элементами существует в мысли гораздо более сильная связь, чем между элементами противоположного предложения. Подвергая такому испытанию каждый член аргументации, он достигает наконец заключения, которое опять подвергает такому же испытанию. Если он

принимает его, то делает это потому, что аргументация установила в нем непрямую связь между такими состояниями сознания, которые не были прямо связаны между собою или если и были связаны прямо, то не так сильно, как связывает их аргументация этим непрямым путем. Но он принимает его только в силу того предположения, что связь между двумя состояниями сознания, которые составляют его, не встречает сопротивления в какой-либо более сильной противоположной связи. Если тут окажется случайно противоположная аргументация и если он почувствует, что составляющие ее мысли, при их испытании, представляются более связными; или если, даже при отсутствии противоположной аргументации, тут существует некоторое противоположное заключение, элементы которого соединены между собою более сильной прямой связью, чем та непрямая связь, которая соединяет между собою элементы заключения, добытого им путем аргументации, — то это добытое им заключение не принимается им.

Таким образом, рассуждение, имеющее место в сознании, оказывается просто испытанием сравнительной силы различных связей в сознании, систематической борьбой, служащей для определения того, какие из состояния сознания суть наименее связные. Результат же этой борьбы тот, что наименее связные состояния сознания отделяются друг от друга, а наиболее связные остаются вместе, образуя предложение, сказуемое которого постоянно присутствует (*persistes*) в душе вместе со своим подлежащим, и составляют одну из связей мысли, которая, смотря по силе, называется «знать что-нибудь», «быть уверенным в чем-нибудь».

К какому же выводу может прийти или, лучше сказать, должен прийти наш исследователь, если он доведет свой анализ до его последних границ? Если существуют какие-либо неразрывные связи, то он принужден принимать их. Если некоторые состояния сознания абсолютно связаны между собою известным образом, то он обязан думать о них именно таким образом. Впрочем, это предложение представляет простое тождество. Сказать, что существуют некоторые мысли, значит просто сказать, только в другой форме, что есть мысли, элементы которых не могут быть разорваны. Никакое рассуждение не может дать для этих безусловных связей в мысли никакой более солид-

ной гарантии, потому что всякое рассуждение, будучи процессом испытания силы связей, ведется само в силу принятия некоторых абсолютных связей и не может, в самой последней своей инстанции, сделать ничего более, как только представить некоторые безусловные (абсолютные) связи в подтверждение других, а такой акт признает, без всяких других гарантий, большую ценность в тех безусловных связях, которые он предлагает, сравнительно с той ценностью, какую он допускает в других безусловных связях, подтверждаемых первыми. Итак, здесь наш исследователь приходит к основному (ultimate) умственному единообразию — к всеобщему закону своего мышления. Как совершенно подчинена его мысль этому закону, можно видеть из того факта, что он не может даже представить себе возможности какого-либо другого закона. Предположить, что связи между его состояниями сознания определяются каким-либо другим образом, значило бы предположить, что меньшая сила преодолевает большую, а такое предложение может быть выражено словами, но не может быть переведено в идеи.

Наш исследователь приходит к этим результатам, не предполагая никакого другого существования, кроме того, которое он называет состоянием сознания. Эти результаты не предполагают никакой посылки относительно сознания или материи, субъекта или объекта. Они оставляют совершенно незатронутыми вопросы о том, что подразумевает собою сознание и каким образом рождается мысль. Этот анализ не включает в себе никакой гипотезы насчет того, каким образом являются слабые связи, сильные связи и абсолютные связи. Что бы ни соозначали, по видимому, употребленные здесь термины, но, изучая каждый шаг этого анализа, мы найдем, что он не требует, в сущности, ничего, кроме душевных состояний и связей между ними. Итак, доказательство до сих пор не нарушено никаким *retitio principii*.

Если бы наш исследователь захотел объяснить себе эти факты, то ему следовало бы рассмотреть прежде всего, каким образом должно вестись всякое дальнейшее исследование и какова степень состоятельности заключений, которые он тут получит. Так как всякая гипотеза, которую он примет, в своей попытке объяснить себе самого же себя может быть выражена только в терминах его душевных состояний, то из этого следует, что сам этот процесс объяснения себе себя должен быть выполняем

посредством испытания силы различных связей между душевными состояниями и посредством принятия тех из этих связей, которые при такой пробе окажутся абсолютными. Следовательно, его заключение, достигнутое посредством многократно повторенных признаний этого критерия абсолютной связности, никогда не может иметь более высокой состоятельности, чем сам этот критерий. Для сущности дела несколько не важно, какое имя дает он своему заключению, — называет ли он его уверенностью, теорией, фактом или истиной. Все эти слова сами не могут быть ничем иным, как только различными названиями некоторых отношений между его состояниями сознания. Все вторичные значения, которые он приписывает им, также должны быть значениями, выражаемыми в терминах сознания, а следовательно, подчиненными законам сознания. А потому для него не существует апелляции на этот окончательный приговор (*ultimate dictum*); он видит, что единственный способ примирить данные сознания между собою состоит в приведении всех других данных сознания к конечным данным.

В этом критерии исследователь имеет вполне достаточную гарантию в пользу утверждения объективного существования. Сколь ни таинственным может показаться нашему исследователю сознание чего-то, что находится, однако, вне сознания, тем не менее он находит, что утверждает реальность этого нечто в силу основного закона мысли, т.е. что он принужден думать таким образом. Существует неразрывная связь между каждым из тех живых и определенных состояний сознания, которые известны как ощущения, и некоторым неопределенным сознанием, которое представляет собою некоторую форму бытия, существующего вне сознания и отдельного от него самого. Когда он берет вилку и кладет ею в рот кусок пищи, он бывает совершенно не способен изгнать из своей души понятие о чем-то, что сопротивляется употребляемой им силе. И он не может подавить рождающейся в нем мысли о некотором независимом существовании, разделяющем его язык от неба, и доставляющем ему то ощущение вкуса, которое он не способен породить в сознании посредством своей собственной деятельности, хотя сама критика показывает ему, что он не может знать, что это такое, что лежит вне его, и хотя он не может сделать заключения, что все, о чем он не способен сказать, что оно такое, есть факт,

тем не менее он открывает, что такой самокритике совершенно не удастся уничтожить его сознания об этом «нечто», как о действительно существующем вне его, т.е. как о реальности.

Заключение, к которому он приходит, что с субъективным существованием не связано объективного существования, оканчивается простым словоизлиянием, которому мысли не соответствуют. Это отношение не поддается никакому усилию разрушить его. Опытом множество раз доказывалось, что при этом отрицание непостижимо; следовательно, оно в высшей степени авторитетно. Тщетно он стремится придать ему больший авторитет рассуждением, ибо какую бы из двух альтернатив он ни выставил, в конце концов он останется на том месте, откуда начал. Если, не зная ничего, кроме собственных состояний сознания, он отказывается признать что-либо помимо сознания, пока это не доказано, то он может продолжать рассуждение, не подвигаясь вперед; постоянная выработка одних состояний сознания из других не может дать ничего, кроме состояния сознания. Если же, наоборот, он заключение о чем-то внешнем выводит и считает его только выведенным, то вся система доказательств, основанная на постулате, имеет не больше значения, чем дает сам постулат, минус возможная недействительность самого доказательства. Этот случай не нужно смешивать с тем, когда гипотеза, или временное предположение, благодаря совпадению с фактами, считается решительно доказанной. Ведь факты, с которыми она совпадает, добыты не путем гипотезы: вычисленное затмение Луны служит проверкой для гипотезы тяготения, так как оно наблюдается, хотя бы эта гипотеза и не была принята. Но если допущено существование внешнего мира и предположено, что действительность постулата может быть показана объяснением представляемых им умственных явлений, то ошибка заключается в том, что самый процесс проверки возможен только тогда, когда вещь считается доказанной.

Признавая неразрывную связь между сознанием я и неизвестным не-я, образующую положение сознания, которое он вынужден принять и которое подтверждается анализом, наблюдатель, исходя из такого положения, в состоянии решить, может ли он на этой основе построить удовлетворительное объяснение того, что он называет знанием. Он находит такое объяснение возможным. Гипотеза, что более или менее связные соотно-

шения в состояниях сознания порождаются опытом более или менее постоянных соотношений где-то вне сознания, дает ему разъяснение многих фактов сознания, но, однако, не всех, если он допустит, что такое сличение внутренних и внешних соотношений произошло только на основании его опыта. Тем не менее если он позволяет себе предположить, что образование мыслей соответственно предметам происходило в бесчисленных предыдущих поколениях и что результаты опытов были унаследованы в виде изменений организации, то он может объяснить себе все явления. Он начинает понимать, что постоянная связь между состояниями сознания сама есть продукт повторного опыта и даже то, что известно как «формы мысли», есть абсолютное внутреннее единообразие, вызванное бесконечными повторениями абсолютного внешнего единообразия. Он начинает также понимать, как во время организации этого широкого и сложного опыта могут развиваться и неверные ассоциации идей, мало соответствующие предметам. Эти ассоциации идей, временно принятые за нераздельные, впоследствии могут быть разделены, если представить себе, что внешние отношения идут вразрез с ними. Но даже и в этом случае нет причины сомневаться в критерии нераздельности. Процесс, при помощи которого разбивается какая-нибудь ассоциация, прежде считавшаяся нераздельной, есть простое установление ассоциации противоположной; сильнее оказывается та из них, которая при сопоставлении остается неразрывной, в то время как другая рушится. Вследствие этого критерий остается в прежнем виде и, как видно, ошибке подлежит только то, что составляет ассоциацию неразрывную. От самого начала и до конца объяснения, с критикой выводов и нахождением ошибок включительно, пригодность этого критерия не требует доказательств. Отсюда ясно, как было сказано выше, что само объяснение есть не что иное, как приведение всех положений сознания в гармонию с конечным положением.

К положительному доказательству предложения можно присоединить доказательство от противного, которое вытекает из несостоятельности противоположного предложения. Говоря о чистом эмпиризме, мы указывали, что его противоположения несостоятельны; но здесь уместно специальное коснуться основных возражений, которые можно ему сделать.

Если конечный критерий истины не тот, который был здесь указан, то в чем же он заключается? Если не существует конечного критерия истины, то где же гарантия для того, чтобы одни предложения принять, а другие отвергнуть? Оппонент, который отрицает пригодность этого критерия, имеет право сам не приводить критерия только в том случае, если не уверяет, будто какие-нибудь истины существуют. Но если, по его мнению, одни вещи истинны, а другие нет, то от него смело можно потребовать и какой-нибудь гарантии в этом. Если спросить, отчего он считает бесспорной истиной, что два количества, в неодинаковой степени отличающиеся от третьего, неравны между собою, то он может дать двоякий ответ. Он может сказать, что это конечный факт сознания или же что это индукция от личного опыта. Если некоторые из этих фактов признать за несомненные, так как они конечны, а другие не признать за несомненные, так как они неконечны, то неизбежно придется потребовать критерий конечности. Если же сказать, что эта истина узнается только посредством индукции, из личного опыта, то явится вопрос, где же гарантия личного опыта? Об опыте свидетельствует только память, и его значение всецело зависит от качества памяти. Тогда выходит, будто качество памяти подлежит меньшему сомнению, чем непосредственное сознание, что два количества, в неодинаковой степени отличающиеся от третьего, должны быть неравны между собою. Едва ли это можно допустить. Память явно изменяет человеку. Нам иногда кажется, будто мы говорили что-нибудь, а на самом деле мы этого не говорили. Часто мы забываем, что видели то или другое, а можно бывает доказать, что мы действительно это видели. Иной период жизни нам кажется сном, и мы смутно можем представить себе, что все прошлое только иллюзия. Мы скорее можем познать то, что наши воспоминания не соответствуют действительности, чем то, что Пространства не существует. Но, даже допуская, что свидетельство памяти не подлежит критике, по поводу опыта, о котором свидетельствует память, можно сказать лишь то, что мы принуждены думать, будто он был, и нельзя понять отрицания предложения, что он у нас был; но утверждать это — значит принимать отвергнутую гарантию.

Можно сделать и еще одно возражение. В аргументах чисто-го эмпиризма допускается существование такой философии,

где ничто не принимается без доказательств. Он предлагает не вводить в стройную систему выводов ни одного заключения, которое не основывалось бы на очевидности. Итак, он признает, что можно доказать не только все производные истины, но также все истины, из которых первые выведены, до самых глубоких включительно. Но если не признавать какой-нибудь фундаментальной недоказанной истины, то вся система выводов лишена будет основы. Если возникает сомнение относительно общего предложения, которое приведено в оправдание известного предложения, то ход доказательств должен показать, что это общее предложение вытекает из другого или из других еще более общих предложений. Если потребуют доказательств для каждого из таких более общих предложений, то единственное средство — повторить вышеупомянутый прием. Можно ли его продолжать до бесконечности? Если да, то значит, ничего нельзя доказать, и весь ряд предложений зависит от какого-то неопределенного предложения. Есть ли предел для этого приема? Если да, то когда-нибудь мы дойдем до самого общего предложения, которого нельзя вывести из другого, более общего, не подлежащего доказательству. Другими словами, каждый вывод основывается на посылках. Каждая посылка, допускающая доказательство, сама зависит от других посылок: если постоянно требовать доказательств доказательства, то в конце концов мы должны прийти или к недоказанной посылке, или к признанию, что нельзя достигнуть посылки, на которой основывался бы весь ряд доказательств. Отсюда если философия не опирается на какое-нибудь данное, подлежащее доказательству, то она должна признать, что ей не на что опираться.

Я взялся объяснить, в чем я расхожусь с Миллем в этом основном вопросе, очень неохотно, и то лишь потому, что счел это необходимым из личных и общих интересов, затронутых его объяснениями и доказательствами. По двум причинам я особенно жалею, что мне пришлось полемизировать против доктрины того мыслителя, солидарностью с которым я больше всего дорожу. Во-первых, по-моему, разница скорее поверхностна, чем существенна, и я защищал этот критерий лишь в интересах опытной гипотезы и примиряя его с фактами. Во-вторых, пространное изложение одного пункта разногласия, без указания на многочисленные точки соприкосновения, производит

впечатление гораздо большего разногласия, чем существует на самом деле. Однако Милль, всегда так неуклонно стремящийся к истине, наверное признает основательным мнение о разногласии в вопросе, имеющем столь важное философское значение, и не поставит мне в вину полной свободы, с которой я критиковал его взгляды, пытаясь доказать свои собственные.

КОММЕНТАРИИ¹

с. 13*

petitio principii (лат. претензия на то, чтобы стать основой доказательства) — допущение в качестве основы доказательства положения, которое само еще требует доказательства.

с. 23*

Иератическое письмо — ранняя форма древнеегипетской скорописи. Иератическое письмо применялось шире, чем иероглифическое.

с. 23**

Сиденгам (Сайденхэм) — район Лондона, куда по завершении Всемирной выставки 1851 г. перенесли здание выставки, знаменитый Хрустальный дворец, после чего здание стало местом проведения концертов, выставок, собраний и т.п.

с. 25*

Полиטיפаж — гравюры, рисунки, виньетки, заголовки и т.п., которые используются в качестве типовых иллюстраций в книгах и других изданиях.

с. 27*

...из таинств Аписа... — Апис — священный бык в древнеегипетской мифологии.

с. 45*

Ост-Индский архипелаг — совр. Индонезийский архипелаг, Филиппины, Молуккские острова и острова Большого и Малого Зонда.

с. 53*

Thomas Hancock. Personal Narrative of the Origin and Progress of the Caoutchouc, or India-Rubber Manufacture in England.

с. 53**

...вследствие событий, подобных тем, какие мы недавно видели в Кантоне — бомбардировка Кантона (совр. Гуанчжоу) в ходе Второй опиумной войны в 1856 г.

с. 54*

Школа прерафаэлитов — английская школа живописи второй половины XIX в., ставившая целью борьбу с условностями эпохи и академическими традициями. Название «прерафаэлиты» (англ. Pre-Raphaelites) символизирует духовное родство с флорентийскими художниками раннего Возрождения.

¹ Комментарии составлены Татьяной Даниловой.

с. 54**

Доктрина Рёскина — по-видимому, речь идет о концепции интегрирующей и жизнестроительной функций искусства, которую пропагандировали Рёскин и Уильям Моррис.

с. 58*

Первые моравские братья... — моравские братья, гернгутеры, были протестантской деноминацией, основанной в Чехии в XV в. после гуситского революционного движения. Отказываясь от учения Католической церкви, моравские братья проповедовали собственное «учение о справедливости» и, по примеру ранних христиан, жили в бедности и смирении, строго придерживаясь правил морали и принципа непротивления злу насилеием.

с. 63*

Фрейр — (др.-исл. Freyr), также Ингви — в германо-скандинавской мифологии бог плодородия и лета.

с. 63**

...рожденный от Ванов... — Ваны (др.-исл. Vanir), в германо-скандинавской мифологии группа богов плодородия, которые то враждуют с Асами, то заключают с ними союз.

с. 67*

...подобно шотландским Mac и Fitz... — шотландский и английский патронимические префиксы, означающие «сын такого-то».

с. 72*

Obéissance (фр.) — подчинение, повиновение.

с.72**

...в Японии это обнажение ног составляет обыкновенное приветствие... — по японскому обычаю, обувь снимают, входя в дом.

с. 83*

Clique (фр.) — клика, малая группа.

с. 102*

Вест-эндская клика — то есть фешенебельное общество Лондона, диктующая моду и мнения.

с. 107*

Они помнят, как разные подставные лица имели акции на 100 000 и даже на 200 000 ф. ст... — по-видимому, Спенсер говорит о двух громких делах о мошенничестве с акциями (1857 г.), в ходе которых были подделаны акции The Crystal Palace Company и The Great Northern Railway соответственно на 100 тыс. ф. ст. и на 250 тыс. ф. ст.

с. 109*

...a whitewashing committee — комитет по отбеливанию.

с. 113*

...разразилась сумасбродная спекуляция 1844 и 1845 г. — «железнодорожная лихорадка» 1844 г. и биржевой кризис 1845 г.

- с. 124*
Грэт-джордж-стритские сплетни... — на Грэт-Джордж-стрит располагался Институт инженеров-строителей.
- с. 125*
...отклонение в пределах 5 гюнтеровых цепей... — гюнтерова цепь, употребляемая в Англии для землемерных работ, равна 66 футам; квадрат в десять таких цепей составляет один акр.
- с. 183*
Аккомодационные векселя — также *аккомодационные расписки, дружеские векселя, ссудные расписки*; встречные, взаимные векселя, не связанные с коммерческой сделкой; выписываются друг другу в целях последующего получения по ним банковского кредита.
- с. 190*
Complete English Tradesman — «Английский купец» (1726), памфлет Даниеля Дефо.
- с. 209*
Земля Ван-Димена — совр. о-в Тасмания.
- с. 209**
Пентонвилль — мужская тюрьма, открытая в 1842 г. Считалась образцовой. По модели Пентонвилля в Англии было построено 54 тюрьмы.
- с. 215*
Vis medicatrix naturae (лат.) — «целительная сила природы», латинский перевод греческой фразы, приписываемой Гипократу.
- с. 220*
Пандемониум — в мифологии место обитания злых духов; в поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай» — место обитания сатаны.
- с. 221*
Меттрэ — исправительная колония для молодых преступников от 6 до 21 года во французской деревне Меттрэ, близ Тура, открыта в 1840 г. и послужила образцом исправительных заведений нескольких стран.
- с. 240*
Даммара — племя тропической Южной Африки.
- с. 265*
Племя билучей — белуджи, народность Ирана, Пакистана и Афганистана.
- с. 281*
Когда в 1793 г. наступило общее расстройство дел... — финансирование войн с Францией привело к тому, что в 1793 г. треть банков Англии приостановила платежи в монетах, а в 1797 г. приостановил монетные платежи и Банк Англии. Эта приостановка длилась 24 года, до завершения войны с Францией.

с. 288*

...*банковый акт 1844 г.* — акт 1844 г. ограничил выпуски билетов Банка Англии определенной суммой публичных ценностей в 14 000 000 ф. ст., с тем чтобы каждый билет, выпускаемый сверх этой суммы, был обеспечен металлом.

с. 288**

...*ее первообраз...* — под этим первообразом разумеется *echelle mobile*, примененная в торговле хлебом. Попыты подобной системы, имеющей целью в обыкновенные годы обеспечить на национальном рынке всю хлебную торговлю, производились в Англии еще в XVII в., а во Франции в XVIII в.; но полного развития она достигла в эпоху Реставрации.

с. 295*

Greenbacks («зеленые спинки», гринбеки) — неразменные банкноты, выпущенные во время Гражданской войны в США в 1861—1865 г. Задняя сторона их зеленая, от этого они и получили свое название.

с. 307

Маклеод. Основные начала политической экономии / Пер. М. П. Веселовского. СПб., 1865.

с. 308*

Билль о реформе — Билль о парламентской реформе 1) предоставлял избирательное право фермерам-арендаторам в графствах, а в городах съемщикам домов с ежегодной платой, превышавшей 10 ф. ст. в год; 2) упразднял «гнилые местечки», а их места в парламенте передавал промышленным городам и графствам. Билль о реформе был внесен в 1831 г. и принят в 1832 г. Избирательная реформа изменила представительство отдельных городов и районов.

с. 318*

...из деятельности Чэдвикской и Шафтсберийской школ — то есть последователей социальных реформаторов Энтони Эшли Купера, графа Шафтсбери (1801—1885), знаменитого политического деятеля и филантропа, и Эдвина Чедуика (1800—1890), немало потрудившегося над реформой законов о бедных и над состоянием общественного здравоохранения.

с. 327*

...*корпят над Синими книгами...* — здесь: национальные статистические сборники Великобритании, публикуемые ежегодно.

с. 382*

Принесение в жертву Исаака... — отцу библейского патриарха Аврааму бог повелел принести сына в жертву, и Исаак повиновался; ангел отклонил жертвенный нож.

...*жертвоприношение дочери Иевфая...* — Иевфай, военачальник и один из судей израильских, для победы над аммонитянами дал обет принести в жертву того, кто выйдет ему навстречу из ворот его дома.

Навстречу Иеффаю вышла его единственная дочь и была принесена в жертву.

...изрубленный на части Агаг... — царь амалекитян, побежденный и плененный Саулом и убитый пророком Самуилом.

с. 389*

«Айвенго» и «Мармиона» — романы Вальтера Скотта.

с. 396*

илоты — в древней Спарте земледельцы, находящиеся на промежуточном положении между крепостными и рабами; *периеки* — члены одной из групп лично свободного населения Лаконии и Мессении в ту эпоху, когда на этих территориях существовало древнегреческое государство Лакедемон (Спарта).

с. 399*

...наш поэт-лауреат — имеется в виду Альфред Остин; *поэт-лауреат* — в Великобритании звание придворного поэта, утвержденного монархом и традиционно обязанного откликаться памятными стихами на события в жизни королевской семьи и государства. Звание поэта-лауреата присваивалось пожизненно, а с 1999 г. — на десятилетний срок. С XIX в. оно считается скорее почетным, нежели предполагающим какие-либо обязательства, и его обладатель обычно продолжает собственную литературную карьеру.

с. 404*

См. выше, с. 393.

с. 405*

босс (политический) — официальный или неофициальный лидер политической машины (см. далее «боссизм») на любом уровне (от города до штата). Обычно это лицо, стремящее отстаивать свои интересы или интересы, выдвинувшей его группы, в том числе, если требуется, незаконными путями. Босс далеко не всегда занимал выборную должность. Используя местную партийную организацию, босс способен преодолевать бюрократические барьеры на местном уровне, способствовать получению нужных постов, контрактов, лицензий, франшиз, манипулировать законодателями и т.п. Многие из первых боссов были иммигрантами из бедных семей, сумевших приспособить тесные родственные и этнические связи у нуждам политической карьеры;

боссизм — негласная иерархия политического руководства на местном уровне; подразумевает безусловное подчинение интересов партии и ее членов диктату ее босса. Получил широкое распространение в конце XIX — начале XX в. в обеих политических партиях. Его рост совпал по времени с бурной урбанизацией и усилением влияния европейской иммиграции. Снижение влияния боссизма и боссов на политическую жизнь также вызвано определенными реформами, включая введение прямых первичных выборов,

системы заслуг при найме госслужащих, программ соцобеспечения, конкурсов на получение контрактов и т.п. Избавление от босизма стало основной целью реформирования власти на муниципальном уровне.

с. 405**

...носят презрительное прозвище *twigwits* — «магвампы» — независимо настроенные члены политической партии (от алгонкингского слова, означавшего «вождь»).

с. 405***

См. комм. к с. 308.

с. 407*

«Собирайтесь стрелки под знамена!» — имеется в виду стихотворение поэта-лауреата (см. комм. к с. 399) Альфреда Теннисона «Война», опубликованное в газете «Таймс» 9 мая 1859 г. и призывающее записываться в добровольческий стрелковый корпус в связи с опасениями французского вторжения.

с. 408*

Армия спасения (The Salvation Army) — международная религиозная и благотворительная организация, существующая с середины XIX в. и поддерживаемая протестантами-евангелистами. Штаб-квартира находится в Лондоне. Работает более чем в 125 странах мира.

с. 411*

...в память о *Всемирной выставке 1851 г.* — полное название: Великая выставка промышленных работ всех народов; проходила в лондонском Гайд-парке с 1 мая по 15 октября 1851 г. и стала вехой в истории Промышленной революции. Из-за участия многих стран вскоре ее прозвали всемирной. На этой первой мировой выставке были представлены промышленные товары и различные изделия ремесла, машины, производственные методы, а также полезные ископаемые и работы изобразительного искусства. Инициатива по проведению выставки принадлежит британскому союзу ремесленников (Society of Arts). Когда в 1849 г. проект был представлен общественности, резонанс среди британских промышленников и коммерсантов был положительным. Они видели в выставке идеальную платформу для поддержки всемирной свободной торговли.

с. 412*

...и между университетами — «лодочная гонка» (The Boat Race); лодочная регата по Темзе между командами лодочных клубов Оксфордского и Кембриджского университетов. Первая гонка прошла 10 июня 1829 г. С 1856 г. регата проводится ежегодно, за исключением нескольких лет во время мировых войн.

с. 414*

Упоминаются следующие книги: Edward Shepherd Creasy «Fifteen Decisive Battles of the World»; Stephen Crane «Great Battles of the

World»; Frederick Thomas Jane «All the World's Fighting Ships for 1901» (ежегодник, выходявший с 1898 г.).

с. 415*

...до войны с Испанией... из междоусобной войны — имеются в виду испано-американская война 1898 г. и Гражданская война в США между Севером и Югом в 1861—1865 гг.

с. 415**

См. выше, комм. к с. 25.

с. 417*

...любимейшего теперь английского поэта, признающего «самой царственной жизнью на земле»... — имеется в виду поэма Редьярда Киплига «Островитяне» («The Islanders», 1902).

с. 418*

См. выше, с. 404.

с. 424*

Более 50 лет тому назад и вторично в 1884 г. я указывал... — в книгах «Социальная статика» и «Личность и государство».

с. 427*

...и наделяют презрительной кличкой черноногого... — так (blackleg) называли штрейкбрехеров, рабочих, продолжавших работать, несмотря на объявление забастовки.

с. 429*

...«Прогулки на Гебридские острова» — имеется в виду книга James Boswell «The Journal of a Tour to the Hebrides with Samuel Johnson, L.L.D.» (1785).

с. 438*

...на Флотской улице — на этой улице (Флит-стрит) располагаются редакции ведущих английских газет.

с. 439*

Упоминаются книги: Edgar Wallace «Unofficial Despatches» и capt. L. M. Phillipps «With Remington».

с. 446*

...второй афганской войны — англо-афганская война 1878—1881 гг.

с. 452*

...на Даунинг-стрит — на этой улице расположены официальные резиденции премьер-министра и министра финансов Великобритании.

с. 453*

...будет вполне сообразовываться и с первоначальным смыслом слова «министр» — это слово восходит к латинскому minister — слуга.

с. 462*

Еще в 1850 г. я указал... — см.: «Социальная статика», Гл. XXVII: Санитарная полиция.

с. 466*

«*Avertissement*» — имеется в виду предисловие к первому изданию книги Конта «Курс положительной философии», опубликованной в 1830 г. (*Auguste Comte. Cours de philosophie positive. Paris, 1830*).

с. 506*

См. комм. к с. 13.

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН¹

- Августин Блаженный* (Aurelius Augustinus Hipponensis, 354—430) — христианский теолог и философ, епископ Гиппонский (с 395 г.). Один из Отцов христианской церкви, основатель августинизма. Родоначальник христианской философии истории. — 468
- Аверроэс*. См. Ибн Рушд
- Александр III Великий* (Александр Македонский, 356—323 гг. до н.э.) — македонский царь с 336 г. до н.э., полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти. — 415
- Альберт Великий* (ок. 1200—1280) — средневековый немецкий философ, теолог, ученый. Видный представитель средневековой схоластики, наставник Фомы Аквинского. — 468
- Апльтон, братья, Уильям и Джордж* (Appleton, William, 1814—1899; Appleton, George, 1821—1878) — американские издатели. — 357
- Аристотель* (384 до н.э. — 322 до н.э.) — древнегреческий философ. Основоположник формальной логики. Создал понятийный аппарат, который до сих пор пронизывает философский лексикон и сам стиль научного мышления. — 325, 468
- Арнольд, Мэтью* (Arnold, Matthew, 1822 — 1888) — английский поэт и критик. — 362
- Артур, Джордж* (Arthur, Sir George, 1784—1854) — британский государственный деятель, губернатор колонии Земля Ван Димена (ныне Тасмания, часть Австралии) в 1838—1841 гг. — 209
- Баилли-Кокрен, Александр* (Baillie-Cochrane, Alexander, 1816—1890) — британский консервативный политический деятель. — 210 сн., 220—221
- Бартон, Уильям* (Burton, William Westbrooke, 1794—1888, судья и член законодательного собрания Нью Саут Уэльса, Австралия. — 209
- Бейкер, Сэмюэл* (Baker, Samuel White, 1821—1893) — британский путешественник, натуралист, разведчик, инженер и писатель, борец с рабством. — 240
- Бентам, Иермия* (Bentham, Jeremy, 1748—1832) — английский социолог, юрист, крупнейший теоретик политического либерализма, основоположник философии утилитаризма. — 263

¹ Указатель составлен Татьяной Даниловой.

- Бокль, Генри** (Buckle, Henry Thomas, 1821—1862) — английский историк, автор «Истории цивилизации в Англии». — 464, 483
- Борни (Берни), Чарльз** (Burney, Charles, 1726—1814) — английский историк и теоретик музыки, отец писательницы Френсис (Фанни) Берни. — 29
- Бортон.** См. Бартон
- Босман, Виллем** (Bosman, Willem, 1672 — ?) — голландский торговец, картограф и исследователь побережий Западной Африки. — 240
- Бозций Дакийский** (ок. 1230—1284) — один из основных представителей «латинского аверроизма», или радикального аристотелизма, независимого философского учения, возникшего в Парижском университете в 60-х годах XIII в. — 468
- Брайт, Джон** (Bright, John, 1811—1889) — британский политический деятель и полеводательный либерал, вместе с Ричардом Кобденом основал Лигу против хлебных законов. — 154, 332
- Брунгильда** — (ок. 543 — 613) — супруга Сигиберта I (с 566 г.), короля Австразии (с 561 г.), дочь вестготского короля Атанагильда и Госвинты (Госвинды). После гибели Сигиберта в 575 г. управляла за своего малолетнего сына Хильдеберта. Имя Брунгильда переводится со старогерманского как «Закованная в броню воительница». — 397
- Бруно, Джордано** (Bruno, Giordano, 1548—1600) — итальянский монах-доминиканец, философ и поэт, представитель пантеизма. Будучи католическим монахом, Джордано Бруно развивал неоплатонизм в духе возрожденческого натурализма, пытался дать в этом ключе философскую интерпретацию учения Коперника. Бруно высказал ряд догадок, опередивших эпоху и обоснованных лишь последующими астрономическими открытиями: о том, что звезды — это далекие солнца, о существовании неизвестных в его время планет в пределах нашей Солнечной системы, о том, что во Вселенной существует бесчисленное количество тел, подобных нашему Солнцу. Бруно не первый задумывался о множественности миров и бесконечности Вселенной: до него такие идеи выдвигались античными атомистами, эпикурейцами, Николаем Кузанским. — 468
- Бруссе, Франсуа** (Broussais, François Joseph Victor, 1772—1838) — французский врач, профессор в Париже. Основатель особого учения о болезнях (бруссеизм), по которому жизнь поддерживается и сохраняется только возбуждением; автор терапии кровопусканием. — 494
- Бэкон, Френсис** (Bacon, Francis, 1561—1626) — английский философ, историк, политический и государственный деятель, основоположник эмпиризма; известен прежде всего как философ и защитник научной революции, а также основатель индуктивной методологии научного исследования, часто называемой методом Бэкона. — 97, 466, 468

- Бэн, Александер* (Bain, Alexander, 1818—1903) — шотландский философ и деятель образования. — 370
- Баэр, Карл Эрнст фон* (Карл Максимович) (Baer, Karl Ernst von, 1792—1876) — один из основоположников эмбриологии и сравнительной анатомии, академик Петербургской академии наук. — 8, 31, 487, 488, 491
- Веллингтон, Артур Уэлсли, герцог* (Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington, 1769—1852) — английский полководец и государственный деятель, английский фельдмаршал, участник Наполеоновских войн, победитель при Ватерлоо (1815). Премьер-министр Великобритании в 1828—1830 и 1834 г. — 415
- Вольф, Каспар* (Wolff, Caspar Friedrich, 1733—1794) — немецкий физиолог, один из основателей эмбриологии. — 8
- Галилей, Галилео* (Galilei, Galileo, 1564—1642) — итальянский физик, механик, астроном, философ и математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Галилей — основатель экспериментальной физики. Своими экспериментами он убедительно опроверг умозрительную метафизику Аристотеля и заложил фундамент классической механики. При жизни был известен как активный сторонник гелиоцентрической системы мира. — 466
- Гальтон, Френсис* (Galton, Francis, 1822—1911) — английский ученый, антрополог, евгеник, географ, метеоролог, изобретатель, статистик; путешественник и исследователь экваториальной Африки. — 240
- Гамильтон, Уильям* (Hamilton, Sir William, 1788—1856) — шотландский метафизик, с 1836 г. профессор логики Эдинбургского университета. — 468, 501
- Гампден, Джон* (Hampton, John, 1653—1696) — английский политический деятель, автор памфлетов и противник Карла II и Якова II, участник мятежа Монмаута; обвинен в измене. — 86
- Гарвей, Уильям* (William Harvey, 1578—1657) — английский медик, основоположник физиологии и эмбриологии. — 487
- Гарнье, Клеман Жозеф* (Garnier, Clément Joseph, 1813—1881) — французский экономист, друг Фредерика Бастиа, ведущая фигура французской школы *laissez faire*. — 307
- Гаррис, Александер* (Harris, Alexander, 1805—1874) — австралийский писатель, описывавший жизнь осужденных в Австралии. — 224
- Гаскиссон, Вильям* (Huskisson, William, 1770—1830) — британский государственный деятель и финансист. — 307
- Генрих VII Тюдор* (1457—1509) — король Англии в 1485—1509 гг. — 59
- Гёте, Иоганн Вольфганг* (Goethe, Johann Wolfgang von, 1749—1832) — немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель. Автор «Учения о цвете». — 8

- Геттон, Ричард* (Hutton, Richard Holt, 1826—1897) — английский писатель и теолог. — 369—372, 374—377
- Гиббон, Эдвард* (Gibbon, Edward, 1737—1794) — английский историк. Автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776—1788). — 399
- Гиль (Хилл), Мэтью* (Hill, Matthew Davenport, 1792—1872) — английский юрист и исследователь проблемы тюрем. — 221
- Гоббс, Томас* (Hobbes, Thomas, 1588—1679) — английский философ-материалист, один из основателей теории общественного договора и теории государственного суверенитета. Известен идеями, получившими распространение в таких дисциплинах, как этика, теология, физика, геометрия и история. — 486
- Госкинс, Джордж* (Hoskins, George Alexander, 1802—1863) — путешественник, знаток древностей и художник. — 225—226
- Грант, Александр* (Grant, Alexander, 1826—1884) — британский деятель образования, ректор Эдинбургского университета. — 369
- Грей, Джордж* (Grey, Sir George, 1812—1898) — военный и колониальный деятель Великобритании. Губернатор Южной Австралии, дважды губернатор Новой Зеландии, губернатор Капской колонии (Южная Африка), 11-й премьер-министр Новой Зеландии. Также известен как писатель и путешественник. — 437
- Гук, Роберт* (Hooke, Robert, 1635—1703) — английский естествоиспытатель, ученый-энциклопедист, один из отцов физики. — 244
- Гумбольдт, Александр фон* (von Humboldt, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr, 1769—1859) — немецкий ученый-энциклопедист, физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог и путешественник. — 1
- Гуйо, Ив* — (Guyot, Yves, 1843—1928) — французский политический деятель и экономист, представитель французской либеральной школы. — 401
- Д'Обинье, Франсуаза, маркиза де Ментенон* (d'Aubigné, Françoise, Marquise de Maintenon; 1635—1719) — воспитательница детей Людовика XIV и мадам де Монтепан, затем официальная фаворитка короля, с 1683 г. его морганатическая жена. Известна также как основательница первой в Европе женской школы светского характера. — 398
- Даймонд, Джонатан* (Dymond, Jonathan, 1796—1828) — квакерский философ-моралист. — 383
- Данте Алигьери* (Alighieri, Dante, 1265—1321) — итальянский поэт, один из основателей литературного итальянского языка, создатель «Комедии» (позднее получившей эпитет «Божественной»). — 383
- Дарвин, Чарльз* (Darwin, Charles, 1809—1882) — английский натуралист и путешественник, основоположник эволюционного направления

мысли (дарвинизм), автор труда «Происхождение видов путем естественного отбора, или выживание благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». — 48

Декарт, Рене (Descartes, René, лат. Renatus Cartesius — Картезий; 1596—1650) — французский философ, математик, механик, физик и физиолог, автор метода радикального сомнения в философии, механицизма в физике. Главным вкладом Декарта в философию стало классическое построение философии рационализма как универсального метода познания. — 466

Дефо, Даниель (Defoe, Daniel, ок. 1660—1731) — предприниматель-авантюрист, влиятельный памфлетист и автор романов. Спенсер упоминает памфлет Дефо «Английский купец» («The Complete English Tradesman», 1726). — 190

Диксон, Томас (Dixon, Thomas Hill, 1816—1880) — первый руководитель и реформатор колоний осужденных в западной Австралии. — 224

Диодор Сицилийский (Diodorus Siculus, ок. 90 — 30 гг. до н.э.) — древнегреческий историк родом из Агириума на Сицилии, автор «Исторической библиотеки» из 40 книг. — 80

Дуглас, Роберт (Douglas, Sir Robert Kennaway, 1838—1913) — британский китаист, профессор лондонского Кингз колледжа, хранитель коллекции восточных книг и рукописей Британского музея, работал консул в Китае. Автор большого числа исследований, посвященных Китаю. — 498

Дэви, Гемфри (Davy, Humphry, 1778—1829) — английский химик и физик. — 242

Елизавета I (1533—1603) — королева Англии и королева Ирландии с 17 ноября 1558 г., последняя из династии Тюдоров. Время правления Елизаветы иногда называют «золотым веком Англии» в связи с расцветом культуры (т.н. «елизаветинцы»: Шекспир, Марлоу, Бэкон и др.) и с возросшим значением Англии на мировой арене (разгром Непобедимой Армады, Дрейк, Рейли, Ост-Индская компания). — 420

Жерсон, Жан (Gerson, Jean, 1363—1429) — виднейший теолог XIV в., доктор теологии (с 1392 г.), канцлер Парижского университета (с 1395 г.), реформатор системы образования. — 468

Ибн Рушд, Абуль Валид Мухаммад ибн Ахмад (1126—1198) — западноарабский философ. В Западной Европе известен под латинизированным именем Аверрбэс. Перевел с сирийского и прокомментировал ряд сочинений Аристотеля. В спорах с Аль-Газали он выступал как рационалистический защитник философии. В западноевропейской средневековой философии существовало направление, сто-

ронники которого продолжили начатую Ибн Рушдом интерпретацию учения Аристотеля. Направление получило название аверроизма. — 468

Инглиз, Роберт (Inglis, Robert Harry, 1786—1855) — британский консервативный политический деятель. — 308

Кабанис, Пьер (Cabanis, Pierre Jean Georges, 5 июня 1757, Конак, Коррез, — 5 мая 1808, Рюэй) — французский философ-материалист и врач. Материализм и атеизм Кабаниса были менее последовательными и воинствующими, чем у старшего поколения французских материалистов XVIII века. Кабанис утверждал, что мышление — такой же продукт мозга, как секреция поджелудочной железы или печени. Это дало основание считать Кабаниса одним из предшественников вульгарного материализма. Вместе с Антуаном Дестютом де Траси Кабанис был основателем учения об «идеологии» как науке о всеобщих и неизменных законах образования идей. — 494

Камб (Комб), Джордж (Combe, George, 1788—1858) — английский юрист и публицист, писал о френологии и об образовании. — 221

Кампанелла, Томмазо (Campanella, Tommaso, 1568—1639) — итальянский философ и писатель, один из первых представителей утопического социализма. — 468

Кант, Иммануил (Kant, Immanuel, 1724—1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма. — 239—263, 468, 501

Кардвел, Эдвард, виконт (Cardwell, Edward, Viscount Cardwell, 1813—1886) — английский политический деятель, сторонник Пиза и либералов, министр торговли до 1855 г. В 1854 г. был принят т. наз. Акт Кардвелла о железных дорогах, который смягчил жесточайшую конкуренцию железнодорожных компаний. — 137, 154

Карлейль, Томас (Carlyle, Thomas, 1795—1881) — британский писатель, публицист, историк и философ шотландского происхождения, автор многотомных сочинений «Французская революция» (1837), «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841), «История жизни Фридриха II Прусского» (1858—1865). Исповедовал романтический «культ героев» — исключительных личностей вроде Наполеона, которые своими делами исполняют божественное предначертание и двигают человечество вперед, возвышаясь над толпой ограниченных обывателей. — 61, 362, 431

Карпентер, Уильям (Carpenter, William Benjamin, 1813—1885) — английский физиолог и натуралист, участник океанографической экспедиции на корабле «Челленджер», автор «Принципов сравнительной физиологии». — 1, 6, 14

- Карус, Пауль* (Carus, Paul, Paul Carus, 1852—1919) — немецко-американский ученый, писатель и редактор, исследователь религий. — 253—254 сн.
- Кеплер, Иоганн* (Kepler, Johannes, 1571—1630) — немецкий математик, астроном, оптик и астролог. Открыл законы движения планет, ввел термины «среднее арифметическое» и «инерция», был зачинателем геометрической и физиологической оптики. — 32
- Киплинг, Редьярд* (Kipling, Joseph Rudyard, 1865—1936) — английский писатель, поэт и новеллист. В 1907 г. стал первым англичанином, получившим Нобелевскую премию по литературе. — 415, 417
- Кольридж, Сэмюэл* (Coleridge, Samuel Taylor, 1772—1834) — английский поэт-романтик, критик и философ. — 486
- Крокер, Ричард* (Croker, Sr., Richard, 1843—1922) — американский политик ирландского происхождения, лидер располагавшейся в Нью-Йорке политической организации «Таммани-холл» — в то время являвшейся «политической машиной» Демократической партии, игравшей важную роль в контроле за политической жизнью города Нью-Йорк и одноименного штата, а также помогавшей иммигрантам (главным образом ирландцам) взбираться по ступенькам американской политической иерархии. — 405
- Крофтон, Уолтер* (Crofton, Sir Walter Frederick, 1815—1897) — администратор и реформатор тюрем. — 223
- Кузен, Виктор* (Cousin, Victor, 1792—1867) — французский философ и политический деятель. Задачей философии, по его мнению, является критический отбор истин из прошлых философских систем на основе «здорового смысла». — 501
- Кэмпбелл, Джон* (Campbell John, 1802 — 1878) — британский военный деятель и этнограф, исследователь Индии. — 241
- Лаинг, Джеймс* (Laing, James, 1816—1882) — основатель британской строительной и девелоперской компании John Laing plc, занимающейся крупными общественными и инфраструктурными проектами. — 158
- Леббок, Джон* (Lubbock, John, Baron Avebury, 1834—1913) — английский банкир, политический деятель, натуралист и археолог. — 239, 369
- Лейярд, Остин* (Layard, Austen Henry, 1817—1894) — британский путешественник, археолог, специалист по клинописи, историк, коллекционер, писатель и дипломат; прославился находкой стелы с изображением Нимрода. — 77
- Ложел, Огюст* (Laugel, Antoine-Auguste, 1830—1914) — французский историк и инженер. некоторое время служил секретарем и доверенным лицом Генриха Орлеанского, герцога Омальского (пятого сына последнего короля Франции). Позднее работал директором

- французской железнодорожной компании. Автор большого числа исторических и философских сочинений. — 464
- Людовик XIV* (1638—1715) — король Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. — 398
- Людовик Наполеон*. См. Наполеон Бонапарт, Шарль Луи
- Лютер, Мартин* (Luther, Martin, 1483—1546) — христианский богослов, инициатор Реформации, переводчик Библии на немецкий язык; именем Лютера названо одно из направлений протестантизма. — 86
- Макинтош, Джеймс* (Mackintosh, James 1765—1832) — шотландский юрист, политический деятель и историк. — 351
- Маклеод, Генри* (Macleod, Henry, 1821—1902) — шотландский экономист. — 307
- Меланхтон, Филипп* (Melanchton, Philipp, 1497—1560) — немецкий гуманист, теолог и педагог, евангелический реформатор, систематизатор лютеранской теологии, сподвижник Лютера. — 468
- Ментенон, госпожа*. См. Д'Обинье, Франсуаза, маркиза де Ментенон
- Миварт, Джордж* (Mivart, George, 1827—1900) — английский биолог; пытался примирить дарвинизм с учением Католической церкви, в конце жизни осудил и Дарвина, и церковь. — 369
- Милль, Джон Стюарт* (Mill, John Stuart, 1806—1873) — британский философ, экономист и госслужащий. Ведущий представитель классической политической экономии XIX в. Его называли «наиболее влиятельным англоязычным философом XIX в.». — 298, 307, 361, 370, 376, 387, 464, 483, 484, 494, 495 сл.
- Монат*. См. Моуэт
- Монтезинос, Мануэль* (Montesinos, Manuel, годы жизни неизвестны) — полковник, в 1835—1865 гг. инспектор-реформатор тюрем в Валенсии, затем генеральный инспектор тюрем Испании. — 225—226
- Моуэт, Фредерик* (Mouat, Frederic John, 1816—1897) — хирург, статистик и деятель колониальной администрации в Индии. — 236—238
- Мэноночи, Александер* (Macnochie, Alexander, 1787—1860) — шотландский морской офицер, географ и реформатор тюрем. — 211, 223—224
- Найлор, Томас Бигли* (Naylor, Thomas Beagley, 1805—1849) — англиканский священник и миссионер в поселениях западной Австралии. — 224
- Наполеон I Бонапарт* — (1769—1821) — император французов в 1804—1815 гг., полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства. — 415
- Наполеон Бонапарт, Шарль Луи* (Charles Louis Napoléon Bonaparte), именовавшийся Луи-Наполеон Бонапарт (Louis-Napoléon Bonaparte),

- позже Наполеон III (1808—1873) — первый президент Французской республики с 20 декабря 1848 г. по 1 декабря 1852 г., император французов с 1 декабря 1852 г. по 4 сентября 1870 г. — 407
- Нельсон, Горацио* (Nelson, Horatio, 1758—1805) — великий английский флотоводец, вице-адмирал (1 января 1801). — 415
- Немврод* (Нимрод, Немрод) — в Пятикнижии и агадических преданиях — герой, воитель-охотник и царь; стела с изображением Немврода найдена в 1766 г. — 77
- Ньюмарч, Уильям* (Newmarch, William, 1820—1882) — английский банкир, экономист и статистик. — 307
- Ньютон, Исаак* (Newton, Isaac, 1643—1727) — английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики. — 243, 466, 468
- Оверстон, Сэмюэл* (Samuel Jones-Loyd, Baron Overstone, 1796—1883) — британский банкир и политический деятель. — 306
- Остин, Альфред* (Austin, Alfred, 1835—1913) — английский журналист и поэт; в 1896 г. назначен поэтом-лауреатом (придворным поэтом); его произведения в качестве поэта-лауреата, приуроченные к определённым событиям, подверглись враждебной критике. — 399
- Оуэн, Ричард* (Owen, Richard, 1804—1892) — английский биолог, специалист по сравнительной анатомии и палеонтолог; автор термина «динозавр». — 14
- Пальмерстон. См.* Темпл, Генри
- Песталоцци, Иоганн* (Pestalozzi, Johann Heinrich, 1746—1827) — знаменитый швейцарский педагог. — 58
- Пиль, Роберт* (Peel, Robert, 1788—1850) — британский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1834—1835 и 1841—1846 гг. — 288—290, 307
- Планше, Джеймс* (Planché, James, 1796—1880) — британский драматург и антиквар. — 390
- Платон* (428/427 до н.э.—348/347 до н.э.) — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. — 486
- Платт, Томас* (Platt, Thomas Collier, 1833—1910) — американский политический деятель, избирался на два срока в Палату представителей (1873—1877) и на три срока в Сенат (в 1881 и 1897—1909 гг.) от штата Нью-Йорк. Наибольшую известность получил как «политический босс» Республиканской партии в штате Нью-Йорк в конце XIX — начале XX вв. После его смерти «Нью-Йорк таймс» написала, что «никто не имел меньшего влияния в Палате представителей и Сенате, чем он», но «никто не обладал большей властью как политический лидер». Он считал себя «политическим крестным отцом» многих

- губернаторов-республиканцев, включая Теодора Рузвельта, которому он помог при избрании губернатором штата Нью-Йорк в 1898 г. — 405
- Плейдель-Бувери, Эдвард* (Pleydell-Bouverie, Edward, 1818—1889) — британский либеральный политик, член первого кабинета лорда Пальмерстона в качестве главного казначея и заместителя министра торговли в 1855 г. и руководителя комитета по исполнению нового закона о бедных 1834 г. между 1855 и 1858 гг. — 420
- Прескотт, Уильям* (Prescott, William 1796—1859) — американский историк, автор трудов об испанских завоеваниях в Америке. — 62
- Протагор* (ок. 490 до н.э. — ок. 420 до н.э.) из Абдер — древнегреческий философ. Один из старших софистов, в числе их родоначальников. Приобрел известность благодаря преподавательской деятельности в ходе своих многолетних странствий. Ему принадлежит знаменитый тезис «Человек есть мера всех вещей». — 468
- Рамильи. См. Ромили*
- Рассел Джон, лорд* (Russell, John, 1792—1878) — премьер-министр Великобритании в 1846—1852 и 1865—1866 гг., виг и либерал. — 329—330, 332
- Рейд (Рид), Томас* (Reid, Thomas, 1710—1796) — шотландский философ, современник и критик Давида Юма, основатель шотландской школы здравого смысла, сыграл существенную роль в Шотландском просвещении. — 501
- Рёскин, Джон* (Ruskin, John, 1819—1900) — английский писатель, художник, теоретик искусства, литературный критик и поэт. Оказал большое влияние на развитие искусствознания и эстетики второй половины XIX — начала XX в. — 54
- Ромили, Джон* (Romilly, John, 1802—1874) — английский судья и государственный деятель. — 208—209
- Савар, Феликс* (Savart, Félix, 1791—1841) — французский естествоиспытатель, врач и инженер, исследователь акустики. — 244
- Свифт, Джонатан* (Swift, Jonathan, 1667—1745) — настоятель собора Св. Патрика в Дублине, писатель, публицист, поэт и общественный деятель, автор тетралогии «Путешествия Гулливера». — 97
- Селгзден. См. Сельден*
- Сельден, Джон* (Selden, John, 1584—1654) — английский юрист, знаток древнеанглийского права, историк и гебраист. Спенсер цитирует труд Сельдена «Titles of Honour» (1614), который сохранял актуальность почти два столетия. — 67, 68, 69, 72
- Сен-Симон Анри* (Comte de Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy, 1760—1825) — французский философ, социолог, социальный реформатор, основатель школы утопического социализма. — 494

- Скалигер, Жозеф* (Scaliger, Joseph Juste, 1540—1609) — французский гуманист-филолог, историк и воин, итальянец по происхождению, один из основателей современной научной исторической хронологии, издатель и комментатор античных текстов. — 468
- Смит, Адам* (Smith, Adam, 1723—1790) — шотландский экономист, философ-этик и один из основоположников современной экономической теории. — 326, 384
- Смит, Октавиус* (Smith, Octavius Henry, 1781—1871). — 231 сн.
- Спенсер, Томас* — дядя Герберта Спенсера. — 311
- Спиноза, Бенедикт* (1632—1677) — нидерландский философ-рационалист, натуралист, один из главных представителей философии Нового времени. — 468
- Стефенсон, Джордж* (Stephenson, George Robert, 1819—1905) — британский инженер-железнодорожник, сын изобретателя паровоза. — 158
- Страбон* (ок. 64/63 до н.э. — ок. 23/24 н.э.) — греческий историк и географ. Автор «Истории» (не сохранилась) и сохранившейся почти полностью «Географии» в 17 книгах. — 80
- Стюарт, Дугалд* (Stewart, Dugald, 1753—1828) — шотландский философ и математик периода Шотландского просвещения, представитель школы «здорового смысла». — 501
- Твисс, Траверс* (Twiss, Travers, 1809—1897) — английский юрист. — 307
- Теккерей, Уильям* (Thackeray, William Makepeace, 1811—1863) — английский писатель-реалист, автор романов и очерков. — 99
- Темпл Генри, виконт Пальмерстон* (Henry Temple, 3rd Viscount of Palmerston, 1784—1865) — английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1855—1865 гг. (с перерывом). — 342
- Теннисон, Альфред* (Tennyson, Alfred, 1809—1892) — английский поэт, наиболее яркий выразитель сентиментально-консервативного мировоззрения викторианской эпохи, любимый поэт королевы Виктории, которая дала ему почетное звание поэта-лауреата и титул барона, сделавший его в 1884 г. пэром Англии. — 407
- Томпсон, Джордж* (Thompson, George, 1796—1889) — предприниматель и путешественник, автор книги о жизни в южноафриканских колониях. — 240
- Томсон, Уильям, барон Кельвин* (Thomson, William, Baron Kelvin, 1824—1907) — британский математический физик и инженер автор проекта трансатлантического телеграфа; ввел понятие температурного «абсолютного нуля». — 267
- Торнтон, Генри* (Thornton, Henry, 1760—1815) — английский экономист, банкир, филантроп и борец с рабством. — 307

- Тук, Джон* (Тооке, John Hoone, 1736—1812) — английский политический деятель и филолог. — 69
- Тук, Томас* (Тооке, Thomas, 1774—1858) — английский экономист, известный своими трудами по проблеме денег и по экономической статистике. — 307
- Тэт (Тейт), Питер* (Tait, Peter, 1831—1901) — шотландский ученый в области математической физики. — 267
- Турго, Анн Робер Жак* (Turgot, Anne Robert Jacques, 1727—1781) — французский экономист, философ и государственный деятель. Вошел в историю как один из основоположников экономического либерализма. — 494
- Уатт, Джеймс* (Watt, James, 1736—1819) — шотландский инженер, изобретатель-механик, создатель универсальной паровой машины двойного действия. — 367
- Уилсон, Джеймс* (Wilson, James, 1805—1860) — шотландский фабрикант шляп, политик-либерал и экономист, основатель журнала «The Economist». — 307
- Уильямс, Томас* (Williams, Thomas, 1815—1891) — миссионер узслианской церкви, жтнограф и художник. — 240, 264
- Уэвелл, Уильям* (в оригинальном произношении — Хьюэлл) (Whewell, William, 1794—1866) — английский философ, теолог, англиканский священник, историк науки, человек энциклопедических знаний. К существенному вкладу Уэвелла в науку относятся работы в области индукции, разработка теории индукции. В этике оппонировал современному английскому эмпиризму (Милль). Уильямом Уэвеллом впервые были введены термины science, наука и scientist, ученый. — 501
- Фокс, Георг* (Fox, George, 1624—1691) — английский ремесленник, основатель (1652) религиозного Общества друзей истины, или квакеров («трепещущих»). — 58
- Фостер, Майкл* (Foster, Sir Michael, 1836—1907) — английский физиолог, хирург, гистолог и ботаник.; в 1900 г. был избран от Лондонского университета депутатом парламента, где никак себя не проявили и потерпел поражение на выборах 1906 г. — 414
- Франклин, Бенджамин* (Franklin, Benjamin, 1706—1790) — деятель Просвещения, один отцов-основателей США, ученый-физик, журналист, издатель, дипломат. — 58
- Фредегонда* — (ок. 545 — 597) — франкская королева, сначала наложница, затем жена меровингского короля Нейстрии Хильперика I, чью предыдущую супругу вестготку Галесвинту она погубила. Была в непримиримой вражде с сестрой Галесвинты австралийской королевой Брунгильдой. Имя Фредегонда в переводе

- с древневверхненемецкого означает «Мирная воительница», от *fridu* — «мирный», *gund* — «бой, битва». — 397
- Фукидид** (ок. 460 — ок. 400 до н.э.) — афинский историк. — 325
- Фуллертон, Джон** (Fullarton, John, ок. 1780—1849) — британский хирург и банкир, известный работами по валютному контролю и теории денег. — 307
- Фулье, Альфред** (Фулье, Фуйе) (Fouillée, Alfred Jules Émile, 1838—1912) — французский философ, объединявший идеи волонтаризма с принципами позитивизма, сторонник органической школы в социологии, автор работ по психологии народов. — 494
- Хаксли (Гексли) Томас** (Huxley, Thomas Henry, 1825—1895) — британский биолог, сторонник Чарльза Дарвина и изобретатель термина «агностицизм». — 15 сн.
- Ханна, Маркус «Марк»** (Marcus Alonzo «Mark» Hanna, 1837—1904) — сенатор-республиканец от штата Огайо, друг и политический менеджер президента Уильяма Мак-Кинли. Ханна заработал миллионное состояние в бизнесе и использовал свои деньги и деловую хватку в избирательных кампаниях Мак-Кинли в 1896 и 1900 г. — 405
- Харкурт, Уильям** (Harcourt, Sir William George Granville Venables Vere, 1827—1904) — британский юрист, журналист и либеральный политик. Многолетний член Парламента, министр внутренних дел и министр финансов в кабинете Гладстона, затем лидер оппозиции в Парламенте. — 448, 450—451 сн.
- Хлодвиг I** (ок. 466—511) — король франков, правил в 481/482 — 511 гг., из династии Меровингов. — 397
- Чэдвик, Эдвин** (Chadwick, Sir Edwin, 1800—1890) — английский социальный реформатор, известный своей работой по реформе законов о бедных, агитацией в пользу государственного регулирования санитарного дела и создания системы государственного здравоохранения. — 318, 456, 461
- Шевалье, Мишель** (Chevalier, Michel, 1806—1879) — французский инженер, государственный деятель, либеральный экономист. — 307
- Шеллинг, Фридрих** (Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von, 1775—1854) — немецкий философ. Был близок йенским романтикам. Выдающийся представитель идеализма в новой философии. — 486
- Шопенгауэр, Артур** (Schopenhauer, Arthur, 1788—1860) — выдающийся немецкий философ, тяготел к немецкому романтизму, увлекался мистикой, изучал философию Иммануила Канта, философские идеи Востока, Упанишады, и стоиков (Эпиктета, Овидия, Цицерона и других). — 260

- Шторх, Андрей Карлович* (Storch, Heinrich Friedrich von, 1766—1835) — русский экономист, популяризатор идей Адама Смита, историк и библиограф, академик. — 307
- Эмерсон, Ральф Уолдо* (Emerson, Ralph Waldo, 1803—1882) — американский эссеист, поэт и философ. — 359
- Эрскин, Джеймс* (Erskine, James Elphinstone, 1805 — 1887) — британский морской офицер и исследователь островов Тихого океана. — 240
- Юманс, Эдвард* (Youmans, Edward, 1821—1887) — американский популяризатор науки, издатель, преподаватель и основатель журнала «Popular Science». — 357
- Яков I* (1566—1625) — король Шотландии (Яков VI, с 24 июля 1567 г. — под опекой регентского совета, с 12 марта 1578 г. — единолично) и первый король Англии из династии Стюартов с 24 марта 1603 г. Яков I был первым государем, правившим одновременно обоими королевствами Британских островов. Великобритании как единой державы тогда ещё юридически не существовало, Англия и Шотландия представляли собой самостоятельные государства, имевшие общего монарха. — 420

ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

IV том

Подписано в печать 30.01.2015. Формат 60х90/16.
Бумага офсетная. Гарнитура «Minion Pro». Усл. печ. л. 35.
Тираж 500 экз. Заказ .

ООО «ИД «Социум»,
e-mail: info@sotsium.ru ; (495) 330-51-98

Дополнительные материалы см. на сайте
spencerworks.ru

В частности, на сайте будет опубликован
pdf I тома «**Оснований этики**»,
вышедшего на русском языке в 1899 г.,
и состоящего из трех частей:

Часть I. Данные этики

Часть II. Индукции этики

Часть III. Этика индивидуальной жизни

Готовится к изданию в сентябре 2015 г.:

Спенсер Г. Из истории политических институтов

В книге будут опубликованы главы, не вошедшие
в т. III «История политических институтов»:

Глава X. Кабинеты министров

Глава XI. Местные органы власти

Глава XII. Вооруженные силы

Глава XIII. Системы судебной

и исполнительной власти

Глава XIV. Законы

Глава XV. Собственность

Глава XVI. Государственные доходы

Томас Бетелл
СОБСТВЕННОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ
(М.: ИРИСЭН, 2008. 408 с.)

Книга в популярной форме рассказывает об истории частной собственности со времен Древнего Рима и до наших дней. Эта тема рассматривается сразу с двух точек зрения: истории института и истории идей. Показана фундаментальная роль института частной собственности в общественном развитии. В то же время в книге собрана богатая коллекция исторических примеров того, как ослабление этого института вело к распаду и гибели сообществ или к увековечению низкого уровня жизни: судьба первых североамериканских колоний в Джеймстауне и Плимуте, история коммуны Роберта Оуэна, картофельный голод в Ирландии, социалистические эксперименты в СССР и Китае, проблемы арабского мира, земельные реформы в развивающихся странах и т.д. Автор анализирует экономическую логику стимулов и демонстрирует пагубность общего пользования ресурсами. Особое внимание уделено взаимосвязям между институтом собственности и состоянием окружающей среды, а также проблемам интеллектуальной собственности. В своем исследовании истории идеи частной собственности автор опирается на философские и юридические основы этого института. Если политический философ или экономист когда-либо написал что-то важное о связи прав собственности и процветания, то изложение его идей обязательно найдется в этой книге, где представлены взгляды Адама Смита, Иеремии Бентама, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, Кеннета Эрроу, Милтона Фридмана и многих других мыслителей. Особое внимание уделено возрождению интереса к правам собственности в экономической теории в 1950-е—1960-е годы (А. Алчиан, Г. Демсец, Р. Коуз).

Фридрих Хайек
Капитализм и историки
(Челябинск: Социум, 2012. 410 с.)

В книге подробно разбирается, как возник миф о том, что промышленная революция в Англии в конце XVIII — начале XIX в. привела к резкому ухудшению условий жизни рабочих. В статьях Т. С. Эштона и У. И. Хатта исследуются вопросы экономической истории этого периода — статистика уровня жизни городских фабричных рабочих (в т.ч. в сравнении с другими); в статьях Ф. Хайека, Л. Хэкера, Б. де Жувенеля, Т. С. Эштона изучается роль интеллектуалов в создании общего идеологического климата в обществе и в частности роль историков в формировании общего негативного отношения к капитализму. Русское издание дополнено статьей Хайека «Интеллектуалы и социализм», статьей Л. фон Мизеса «Капитализм» и его же очерком «Антикапиталистическая ментальность».

Бертран де Жувенель
ВЛАСТЬ
Естественная история ее возрастания
(М.: ИРИСЭН, 2011. 546с.)

Бертран де Жувенель — выдающийся французский политический мыслитель XX века — в своей книге представляет всесторонний анализ феномена политической власти как в теоретическом, так и в историческом аспектах. Он исследует различные теории суверенитета и показывает, к каким результатам приводит реализация этих теорий на практике. Большое внимание уделено неумолимому стремлению к экспансии, свойственному власти. Автор исследует психологические корни и культурные последствия этой экспансии. Особое внимание в книге уделяется взаимоотношениям власти и права. Б. де Жувенель прослеживает эволюцию политических институтов на протяжении демократической эпохи, которая вручила президентам и парламентам такую власть, которой позавидовали бы средневековые бароны. В книге ярко показаны опасности, заложенные в современной демократии, а также тоталитарные тенденции, заложенные в концепте суверенитета народа.

Дэвид Боуз
ЛИБЕРТАРИАНСТВО
История, принципы, политика
(Челябинск: Социум, 2014. 408с. 32 илл.)

Либертарианство — это политическая философия, выводящая принципы устройства общества из аксиомы самопринадлежности права собственности человека на собственное тело. Исходя из убеждения, что человек сам должен распоряжаться своей жизнью и имуществом и имеет право самостоятельно решать, как ему жить, при условии, что он признает такое же право за другими людьми, либертарианцы отстаивают максимально широкие права личности и требуют сведения роли государства к необходимому минимуму защите жизни и собственности граждан. Автору удалось в популярной форме представить весь комплекс либертарианских идей в области философии, экономики и права в их историческом развитии. В книгу включены 32 цветные иллюстрации, освещающие основные вехи развития либертарианской традиции и выделяющие наиболее важные идеи.

Людвиг фон Мизес
ЛИБЕРАЛИЗМ
(М.: Челябинск: Социум, 2014. 300 с.)

Единственное систематическое изложение принципов либерального устройства общества и государства, основ либеральной экономической и внешней политики. Демонстрирует тесную связь между международным миром, частной собственностью, гражданскими правами, свободным рынком и экономическим процветанием. Автору удалось развеять множество сомнений и недоразумений, возникавших при обсуждении социальных и политических проблем, а также касающихся либеральной доктрины.

Джон Локк
ДВА ТРАКТАТА О ПРАВЛЕНИИ
(Челябинск: Социум, 494 с.)

Джон Локк (1632—1704) по праву считается первым настоящим либералом и отцом современной политической философии. В «Двух трактатах о правлении» содержится социально-политическая концепция Локка — теория конституционной парламентской монархии.

Локк задается вопросом, в чем суть правительства и зачем оно нужно. Он убежден, что люди наделены правами независимо от существования правительства — именно поэтому мы называем их естественными правами, коли они существуют от природы. Люди создают правительство для защиты своих прав. Они могли бы делать это сами, но правительство является более эффективной системой защиты прав. Но если правительство выходит за рамки этой роли, люди имеют право на восстание. Лучший способ удерживать правительство на нужном для общества пути — система представительного правления.

Идеи Локка сыграли огромную роль в истории философии и общественно-политической мысли европейского Просвещения. Они оказали большое влияние в Великобритании на Толанда, Пристли, Беркли и Юма, во Франции — на Вольтера, Кондильяка и в особенности на материалистов XVIII в. — Ламетри, Гельвеция и Дидро. Политическая философия Локка развивалась Монтеスキе и нашла отражение в политических теориях Французской и Американской революций.

Людвиг фон Мизес
ВСЕМОГУЩЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Тотальное государство и тотальная война
(Челябинск: Социум, 2013. 472 с.)

В книге представлена неотразимая критика политических, социальных и экономических идеологий, определявших историю Западной Европы и США в течение последних 200 лет. Автор подробно анализирует, как в специфических исторических и географических обстоятельствах в Германии эти идеологии (этатизм и национализм) породили стремление к автаркии и завоеванию требующего для этого «жизненного пространства», став причиной Второй мировой войны, а также как те же самые идеологии помешали другим западноевропейским странам предотвратить надвигавшуюся общеевропейскую катастрофу.

Мизес первым показал, что нацизм и фашизм представляют собой тоталитарные коллективистские системы, имея гораздо больше общего с коммунизмом, чем с капитализмом свободного рынка. Более того, они являются логическим следствием необузданного этатизма и милитаризма дофашистских обществ. В пропитанной марксизмом интеллектуальной атмосфере 1940-х годов установленная Мизесом связь фашизма с марксистским социализмом стала настоящим шоком.

Последняя глава содержит пророческую критику идеи мирового правительства, включая всемирные торговые соглашения. Особую актуальность для нашего времени представляет объяснение автором природы современного протекционизма как необходимого следствия вмешательства государства в экономику вообще и социального законодательства в особенности.

Гвидо Хюльсманн
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ ЛИБЕРАЛИЗМА
Жизнь и идеи Людвига фон Мизеса
(М.; Челябинск: Социум, 2013. 893 с. 100 ил., портр.)

Людвиг фон Мизес (1881—1973) — один из величайших мыслителей XX в., австрийский экономист, философ и политолог. С 1940 г. жил и работал в США. Наибольшую известность ему принесли сочинения по экономике, прежде всего экономический анализ социализма, теория денег и теория экономического цикла. Мизес завершил разработку экономической теории австрийской школы (ведущей свое начало от К. Менгера и О. Бём-Баверка), превратив ее в общую теорию человеческой деятельности — праксеологию, отличающуюся от естественных наук, с одной стороны, и от истории — с другой. Не столь широко известны его не менее новаторские сочинения в области политической философии и эпистемологии и методологии социальных наук. Научное наследие Мизеса включает 15 книг и около 350 статей.

Европейские коллеги Мизеса называли его «последним рыцарем либерализма» за то, что он отстаивал идеал свободы, по их мнению, окончательно сошедший со сцены в эпоху централизованного планирования и социализма всех видов.

Опираясь почти исключительно на архивные документы, Й. Г. Хюльсманн ведет подробное жизнеописание своего героя на богатом событиями историческом фоне первых двух третей XX в. Особое внимание уделяется интеллектуальному и идеологическому климату, в котором проходило вначале мировоззренческое становление Л. фон Мизеса, а затем его политическая и/или научно-преподавательская деятельность: Австро-Венгрия и Вена рубежа XIX—XX вв., межвоенная Европа, США 1940—1960-х годов, титанические битвы между социализмом/интервенционизмом и капитализмом, свободой и диктатурой, централизованным планированием и рынком, историзмом и австрийской школой, позитивизмом и праксеологией.

В книге впервые представлена подробная история возникновения и развития австрийской экономической школы, одной из трех составных частей маржиналистской революции в экономической науке. Автор мастерски рисует портреты, своего рода микробиографии, наиболее значительных фигур той эпохи: Менгера, Бём-Баверка, Визера, Шумпетера, Роббинса, Хайека, Кейнса

и многих других, кратко излагая по ходу повествования основные идеи соперничающих теорий и идеологий. В результате мы видим место Людвига фон Мизеса не только в истории австрийской школы, ведущим, а в определенный период буквально единственным представителем которой он был, но и в политической и интеллектуальной истории XX века.

Многое о жизни Л. фон Мизеса мы узнаем впервые: о его службе на фронтах Первой мировой войны, о том, насколько глубоко он был вовлечен в разработку экономической политики Австрии в 1920-е — первую половину 1930-х годов, о влиянии на европейскую экономическую мысль в 1930-е годы, о его роли в зарождении либертарианского движения в США в 1950-е — 1960-е годы.

Марк Пенningтон
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ
и будущее социально-экономической политики
(М.: Мысль, 2014. 452 с.)

Автор предлагает всеобъемлющую защиту принципов классического либерализма. При этом он связывает экономические аргументы, которые обычно выдвигаются в пользу социально-экономической политики классического либерализма, ограниченного правительства и открытых рынков, с моральными и этическими аргументами, которые также имеют отношение к институциональным аргументам. Эту связь обеспечивает понятие «робастная политическая экономия» — нам нужны робастные (устойчивые) политические институты, способные выдерживать давление и напряжения, создаваемые слабыми сторонами человеческой природы. В книге рассматривается две из них: проблема ограниченной рациональности (люди не всеведущи и им приходится действовать в условиях неопределенности) и проблема стимулов (в некоторых ситуациях люди склонны действовать оппортунистически, так что требуются институты, дисциплинирующие потенциально оппортунистического агента).

Первая часть книги представляет собой прямую полемику с представителями конкурирующих социальных философий: сторонниками государственного вмешательства, черпающих свои аргументы в ложных «провалах рынка», сторонниками двух разновидностей коммуитаризма и эгалитаристами, отстаивающими специфически понимаемое равенство и социальную справедливость.

Во второй части автор систематически применяет принципы, сформулированные в первой части, к проблемам социального обеспечения, формированию наднациональных бюрократических надстроек, защите окружающей среды и др. вопросам.

Роберт Нисбет
ПРОГРЕСС
История идеи
(М.: ИРИСЭН, 2007. 557 с.)

Идея прогресса в значительной степени определила облик западной цивилизации. Человечество развивается, «движется вперед», причем это движение понимается в двух аспектах — как накопление знания и как наращивание материального богатства. Рождение идеи прогресса — результат взаимодействия христианства с античными представлениями. Первоначально она была вариацией на тему линейного представления об истории, свойственного иудео-христианской религиозной традиции. В период с 1750 примерно до 1900 г. происходит отделение идеи прогресса от религиозных корней и «срастание» понятий прогресса и науки. Этот процесс сопровождался угрожающими явлениями: если первоначально прогресс трактовался как расширение человеческой свободы, то примерно со второй половины XIX в. он все более стал пониматься как расширение «управляемости» — попросту говоря, власти абстрактного государства над человеком и природой.

Книга Роберта Нисбета представляет собой классический труд по социальной философии и является одной из наиболее известных и цитируемых работ, написанных в традиции консервативной школы в американской социологии.

Вильгельм фон Гумбольдт
О пределах государственной деятельности
(Челябинск: Социум, 2009. 303 с.)

Написанное в 1792 г. сочинение Вильгельма фон Гумбольдта (1767—1835) является одним из важнейших вкладов немецкой мысли в политическую философию либерализма. В памятной записке, составленной по просьбе будущего правителя Майнцского курфюршества, автор дал детальное описание устройства государства, ограничивающегося в своей деятельности только задачами поддержания закона и порядка, которое Гумбольдт противопоставляет порядкам прусского просвещенного деспотизма с его заботой о положительном благе граждан под девизом «Все для народа, ничего посредством народа». Опубликованная только после смерти автора книга оказала большое влияние не только на Германию, но и на таких мыслителей, как Дж. С. Милль в Англии и Э. де Лабурэ во Франции.

**В Москве книги издательства «Социум»
можно купить в магазине**

«Фаланстер»

Пн-Вт 11⁰⁰—20⁰⁰

м. Тверская, Пушкинская, Чеховская

Малый Пездниковский пер. 12/27

Вход в арку, над аркой вывеска "КНИГИ", 2-й этаж.

Тел: (495) 749-57-21



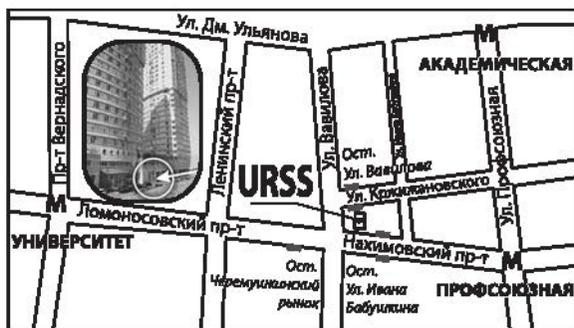
**В Москве книги издательства «Социум»
можно купить в магазине издательства URSS:**

9⁰⁰—18⁰⁰ Пн—Пт

12⁰⁰—18⁰⁰ Сб—Вс

Нахимовский пр-т, д. 56

Тел. (499) 724-25-45



От м. Профсоюзная:

8 мин. пешком (до офиса) или одна остановка наземным транспортом:
автобусы №67, 37к, 130; троллейбус №43
до остановки «Ул. Ивана Бабушкина»

От м. Университет:

трамваи №14, 39 до остановки «Черемушкинский рынок»;
трамваи №22, 26 до остановки «Ул. Вавилова»;
автобусы №22, 26 до остановки «Ул. Ивана Бабушкина»